

М. ГОРЬКИЙ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

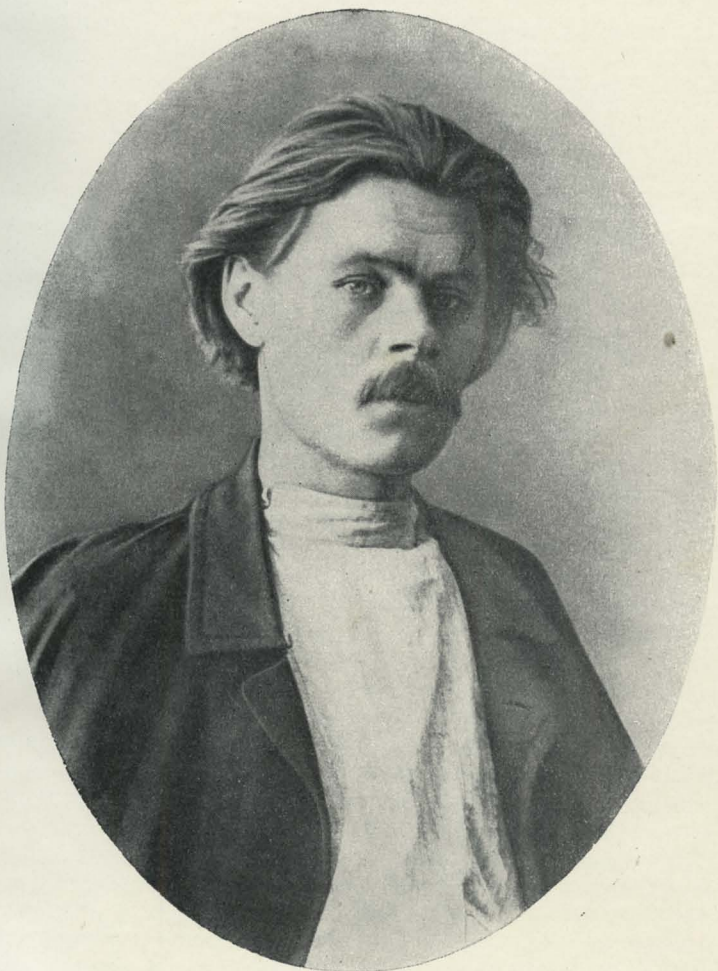
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1949

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ 2

РАССКАЗЫ, СТИХИ

1895 — 1896



А. М. ГОРЬКИЙ
Нижний-Новгород, 1896 г.

«ВЫВОД»

По деревенской улице, среди белых мазанок, с диким воем двигается странная процессия.

Идет толпа народа, идет густо, медленно и шумно, — движется, как большая волна, а впереди ее шагает шероховатая лошаденка, понуро опустившая голову. Поднимая одну из передних ног, она так странно встряхивает головой, точно хочет ткнуться шершавой мордой в пыль дороги, а когда она переставляет заднюю ногу, ее круп весь оседает к земле, и кажется, что она сейчас упадет.

К передку телеги привязана веревкой за руки маленькая, совершенно нагая женщина, почти девочка. Она идет как-то странно — боком, ноги ее дрожат, подгибаются, ее голова, в растрепанных темнорусых волосах, поднята сверху и немного откинута назад, глаза широко открыты, смотрят вдаль тупым взглядом, в котором нет ничего человеческого. Все тело ее в синих и багровых пятнах, круглых и продолговатых, левая упругая, девическая грудь рассечена, и из нее сочится кровь. Она образовала красную полосу на животе и ниже по левой ноге до колена, а на голени ее скрывает коричневая короста пыли. Кажется, что с тела этой женщины содрана узкая и длинная лента кожи. И, должно быть, по животу женщины долго били поленом, а может, топтали его ногами в сапогах — живот чудовищно вспух и страшно посинел.

Ноги женщины, стройные и маленькие, еле ступают по серой пыли, весь корпус изгибается, и нельзя понять,

почему женщина еще держится на этих ногах, сплошь, как и все ее тело, покрытых синяками, почему она не падает на землю и, вися на руках, не волочится за телегой по теплой земле...

А на телеге стоит высокий мужик, в белой рубаше, в черной смушковой шапке, из-под которой, перерезывая ему лоб, свесилась прядь яркерыжих волос; в одной руке он держит вожжи, в другой — кнут и методически хлещет им раз по спине лошади и раз по телу маленькой женщины, и без того уже добитой до утраты человеческого образа. Глаза рыжего мужика налиты кровью и блещут злым торжеством. Волосы оттеняют их зеленоватый цвет. Засученные по локти рукава рубахи обнажили крепкие руки, густо поросшие рыжей шерстью; рот его открыт, полон острых белых зубов, и порой мужик хрипло вскрикивает:

— Н-ну... ведьма! Гей! Н-ну! Ага! Раз!..

Сзади телеги и женщины, привязанной к ней, валом валит толпа и тоже кричит, воеет, свищет, смеется, улюлюкает, подзадоривает. Бегут мальчишки... Иногда один из них забегают вперед и кричат в лицо женщины циничные слова. Взрывы смеха в толпе заглушают все остальные звуки и тонкий свист кнута в воздухе. Идут женщины с возбужденными лицами и сверкающими удовольствием глазами. Идут мужчины, кричат нечто отвратительное тому, что стоит в телеге. Он оборачивается назад к ним и хохочет, широко раскрывая рот. Удар кнутом по телу женщины. Кнут, тонкий и длинный, обвивается около плеча, и вот он захлестнулся подмышкой. Тогда мужик, который бьет, сильно дергает кнут к себе; женщина визгливо вскрикивает и, опрокидываясь назад, падает в пыль спиной. Многие из толпы подскакивают к ней и скрывают ее собой, наклоняясь над нею.

Лошадь останавливается, но через минуту она снова идет, а избитая женщина попрежнему двигается за телегой. И жалкая лошадь, медленно шагая, все мотает своей шершавой головой, точно хочет сказать:

«Вот как подло быть скотом! Во всякой мерзости люди заставляют принять участие...»

А небо, южное небо, совершенно чисто, — ни одной тучки, солнце щедро льет жгучие лучи...

.....

Это я написал не выдуманное мною изображение истязания правды — нет, к сожалению, это не выдумка. Это называется — «вывод». Так наказывают мужья жен за измену; это бытовая картина, обычай, и это я видел в 1891 году, 15 июля, в деревне Кандыбовке, Херсонской губернии, Николаевского уезда.

Я знал, что за измену у нас, в Заволжье, женщин обнажают, мажут дегтем, осыпают куриными перьями и так водят по улице. Знал, что иногда затейливые мужья или свекры в летнее время мажут «изменниц» патокой и привязывают к дереву на съедение насекомым. Слышал, что изредка изменниц, связанных, сажают на муравьиные кучи. И вот — видел, что все это — возможно в среде людей безграмотных, бессовестных, одичавших от волчьей жизни в зависти и жадности.

ПРОЩАЙ!

Прощай! Я поднял паруса
И встал со вздохом у руля,
И резвых чаек голоса
Да белой пены полоса —
Все, чем прощается земля
Со мной... Прощай!
Мне даль пути грозит бедой,
И червь тоски мне сердце гложет,
И машет гривой вал седой...
Но — море всей своей водой
Тебя из сердца смыть не может!..
О, нет!.. Прощай!
Не замедляй последний час,
Который я с тобой вдвоем
Переживал уже не раз!
Нет, больше он не сблизит нас,
Напрасно мы чего-то ждем...
Прощай!
Зачем тебя я одевал
Роскошной мантией мечты?
Любя тебя, — я признавал,
Что я себе красиво лгал
И что мечта моя — не ты!
Зачем? Прощай!
Любовь — всегда немного ложь,
И правда вечно в ссоре с ней;

Любви достойных долго ждешь,
А их все нет... И создаешь
Из мяса в тряпках — нежных фей...

Прощай!

Прощай! Я поднял паруса
И встал со вздохом у руля,
И резвых чаек голоса
Да белой пены полоса —
Все, чем прощается земля
Со мной... Прощай!

НЕСКОЛЬКО ИСПОРЧЕННЫХ МИНУТ

I

Сад дремал чуткой весенней дремой, и на всем — на листе деревьев, на цветочных клумбах и дорожках сада — лежали узоры теней и призрачные пятна лунных лучей. Свежий весенний воздух был полон сочного аромата сирени, резеды и свежей листвы.

Зелень, окутанная теньями, была бархатисто-мягка, кое-где на общем темном фоне сверкали приставшие листья серебристых тополей, освещенные луной, а в самой густой чаще зелени спрятался маленький павильон из березы в коре, которая белым атласом сверкала сквозь темные листья. Было так тихо, все точно ждало чего-то неотразимого, но не страшного, и было грустно от полноты тишины.

Сквозь листья сада виднелось небо, где сияние луны скрашивало блеск звезд, всегда бледных и скромных при нем...

— Что же теперь будет? — испуганно и вопросительно воскликнул в павильоне звучный голос женщины.

За восклицанием раздался звук поцелуя, и тотчас же снова нервно и пугливо заговорила женщина.

— Нет, оставь... оставьте меня! Это... гадко! Я говорила, что это убьет меня. Пока я только любила вас, я чувствовала себя правой пред мужем... но теперь... я ваша любовница! Видит бог, — я боялась

этого! Мне больно... и стыдно за себя и так тяжело... тяжело... о!

И она заплакала. Короткие звуки рыдания почти не нарушали тишины, утопая в ней.

Дунул легкий, теплый ветер, весь сад слабо вздрогнул, и тени странно заколебались, точно собираясь улететь куда-то.

А запах цветов, поколебленный ветром, стал острее.

В павильоне раздался сильный мужской баритон...

— Нина! Перестань, если ты любишь меня! Мне... неприятно видеть тебя такой... Полно же, Нина!

— Вам неприятно?! А! Вот вы уже начинаете требовать... ради любви к вам... — вздыхая, сквозь слезы сказала женщина.

— Я прошу, Нина! И буду просить, пока ты не перестанешь плакать. Ну... — И снова раздался сочный звук поцелуя.

— Оставьте же! Я уйду! — нервно вскричала женщина.

— Куда?! Не шали, моя милая Нинка! К чему все это? Кому нужна драма среди такой чудной идиллии? Не мне, поверь. И не тебе, надеюсь. О чем ты, собственно, плачешь? О чем?

— А, вы не понимаете?! Да? — возмущенно заговорила она. — Ты думаешь, что замужней женщине так легко стать любовницей другого... Ты думаешь, что я в силах, мне возможно теперь открыто смотреть в глаза мужа? А дети? Мои милые детки! Ваша мамка... грязная... о!.. о!

— О! О! — откликнулось эхо где-то далеко в темном саду.

— Нина! Поговорим серьезно! Ну, будь же умной... Ведь ты идешь против здравого смысла. И твои слезы только результат пережитого волнения... Только! Поверь мне и не пытайся объяснять их себе как-либо иначе. Ты не докажешь мне, что они вызваны возмущенной совестью или там... сознанием вины... боязнью кары... Все это не должно, не может иметь здесь места...

Он начал говорить мягким, успокаивающим тоном, но к концу тирады уже впал в решительный и веский, даже несколько сухой и подсмеивающийся тон хозяина положения.

— Вы что же? Не верите мне? Уже не верите? Уже моя боль непонятна и чужда вам? Скоро! О!.. А вы же так много говорили, — ведь это вы говорили о необходимости искать в любимом человеке его загадок и тайн... о возможности разрешить вдвоем непонятное одному?.. Я уже, кажется, наказана. Боже мой!

— Нина, Нина! Как же тебе не стыдно?! Уже упреки, уже! Да разве я сказал что-либо противное сказанному ранее?

— Что же ты говоришь? — оскорбительно просто поставила вопрос женщина. — Как ты смотришь на будущее?

— Ага, вот видишь! С этого и нужно было начать тебе... Что я говорю? Я говорю, что твои слезы вызваны не болью совести, а волнениями этой ночи. Я говорю, что не нужно рисовать себе фантастических страхов, разных там несуществующих преступлений и потому невозможных наказаний. Все так просто! Разберись-ка: ты не любишь мужа, но хочешь любить и быть любимой. Ты любила меня. Не будь меня — явился бы другой. Ведь так?

— Нет! — твердо сказала женщина.

Он засмеялся.

— Да! Поверь мне — да! Ведь любовь — это нечто такое же роковое, как смерть. От нее не спрячешься. Любовь — это желание жить. Кто скажет, что он в силах и хочет бороться с желанием жить? Никто. Нынче не говорят уже абсурдов в таких важных вещах. Значение их понято точно. Нет, Нина, не нужно гасить в себе желаний, — напротив, — нужно беречь их, дорожить ими, — они становятся так редки теперь. Ты хотела любить. И вот ты любишь. Да, ведь так! — Его голос спустился до шопота — мягкого, вкрадчивого, но и торжествующего шопота. Женщина долго молчала до того, как, тихо вздохнув, ответила:

— Так...

Тогда, вслед за ее словами, в тишине родилось много поцелуев. Они стремительно вспыхивали один за другим и звучали так тихо и странно, как звучат лопающиеся мыльные пузыри.

Сад стоял молча и неподвижно, но в каждом его листе и в каждом стебле травы чувствовалось много скрытой энергии.

Все кругомросло и развивалось, окутанное теплыми тканями теней.

Безмолвное творчество природы не имеет ни секунды покоя, и никто не скажет, где ждут отдыха вечно творящие тайные силы ее...

II

— Но как я скажу о всем этом мужу? — тихо прошептала женщина.

— Разве ты думаешь, что не сумеешь скрыть от него это? — тревожно спросил мужчина.

— Скрыть? Слушай... Как скрыть? Ведь я уже...

И, снова встревоженная, она оборвала фразу.

Прошло несколько секунд молчания, прежде чем он отвечал ей своим твердым и уверенным голосом.

— Давай же посмотрим, что может из этого выйти. Прежде вспомним, в каком положении мы стоим теперь. Я хорошо принят у вас, Федор, мой старый приятель, верит в мою порядочность и стоит совершенно вне подозрений. Все у нас так хорошо, тепло, родственно...

— И ты думаешь? — испуганно прошептала женщина.

— Подожди! Посмотрим, что выйдет, когда ты расскажешь все это ему. Прежде всего — это удар. Заслуженный, незаслуженный — все равно удар. Нужно бы жалеть человека... Потом: ты уедешь от него ко мне — ведь да? — Ну вот! Что же из этого получится? Тебе будет скучно без детей, а он не отдаст их. Что бы ему осталось, если бы он отдал их? Ты будешь тосковать о них, а я болеть за тебя... Дети — они всегда играют страдальческую роль в подобных комбинациях... Мы не должны допускать этого...

— Слушай! Что ты говоришь? Ведь это подло. Неблагородно! Гадость, гадкий обман... И ты... — умоляюще зашептала женщина.

— А! Так говорят твои теории? Милая! Жизнь давно оставила их далеко позади себя... Нужно заботиться о возможном уменьшении общей суммы страданий в жизни, а не вводить в нее благородство, в котором, как я вижу, никто, кроме тебя, не нуждается. Оно дорого стоит и...

слишком слабо для жизни. Будь оно сильно духом и нужно нам, поверь, — оно давно уже победило бы. Этого нет. И нужно брать от жизни то, что она дает нам. Ты ведь знаешь — она не часто делает нам честь дать что-нибудь приятное и вкусное. Для того, чтобы жить, нельзя не обижать кого-нибудь. Это не мы установили, и мы, очевидно, не в силах заменить этот порядок другим... лучшим... Имей мы силы, — мы сделали бы...

— Однако! Как ты... циничен. Я не зна-ала...

— Да? Ты думаешь, это цинизм? Я считаю это здравым смыслом, возможным в жизни.

И они замолчали.

Снова пронесся ветер, и сад глубоко вздохнул от его дуновения. И когда листья тополя трепетали, то они казались роем белых бабочек, собиравшихся куда-то лететь.

— Впрочем, ты вольна, конечно, поступать по твоему желанию. Да... Но подумай обо мне — в какое положение ты ставишь меня пред Федором... Подумай-ка...

Она молчала, очевидно, думая об этом.

— И мне остается одно... Это уехать отсюда... Завтра же!

— Ты хочешь ехать? За...завтра же? А я?

— Что же мне делать? Я не могу портить отношений со старым товарищем и не хочу вступать в какие-то драматические коллизии. Я испытал уже их... Зачем искусственно усложнять жизнь, и без того до ужаса сложную?

Тогда женщина в павильоне засмеялась горьким и едким смехом, нервно сотрясавшим печальную тишину сада. И листья на деревьях задрожали от этого смеха или оттого, что ветер все лился по саду теплой и легкой волной.

— Какое это несчастье — любить! — сквозь смех сказала женщина и замолчала. Медленно прошла минута молчания.

— Ну, что же? — нерешительно спросила женщина.

— То есть? — твердо переспросил ее собеседник.

— Как же ты хочешь поставить все это? — усмехнулась она.

Он начал диктовать ей свои условия тоном, не допускающим возражения, тоном победителя.

— Отношения не изменяются, вот и все. Я хожу к вам, и Федор ничего не знает. Да... Потом он... конечно... со временем догадается... И тогда... Силу удара ослабит постепенность его приближения... Та медленность, знаешь... Ему будет легче примириться с фактом, если этот факт не бросят ему в голову, как камень...

Молчание, наступившее за его словами, продолжалось томительно долго.

Казалось, что деревья росли и, разрывая ткани теней, одевавшие их, становились зеленее и свежее... Это казалось потому, что свет луны уже померк и в воздухе повеяло острой свежестью весеннего утра. Запах цветов все усиливался, и утренняя роса, упавая с неба невидимыми глазу каплями, окропляла бархатную зелень сада крупной серебряной пылью.

— ...Ну... я знаю тебя... кажется. Итак... Он будет верить нам, мы же будем наслаждаться тайной любовью... Да... хорошо! Тут много романтизма... Но я не думала, что, идя к тебе, дойду до этого... — иронически заговорила женщина.

Он же молчал.

— А возвращаться назад... теперь?.. имеет ли это смысл? — задумчиво добавила она. — Да... пожалуй, что нет... Да я не могла бы... Я люблю тебя и теперь, когда ты вдруг стал уродом, — люблю больше, чем вчера, когда я еще уважала тебя... Но как же вы, мужчины, подлы! И ловки... Ты прости меня! Ведь я все равно уступаю тебе. Знаешь... все так запутано, что трудно понять, что хорошо и что дурно... Ты где же это вычитал такие... теории? Впрочем, теперь... так легко.

Он молчал...

— Ты сердисься... Брось! Все уже... прошло! Ах, как мне смешно! Ты знаешь, ведь я верила в возможность чистой — пойми! — вполне чистой, порядочной любви! Но этого, оказывается, слишком много для человека. А одна... нужно любить. Жить без любви... скучно и тяжело! Ну... поцелуй же меня еще... мой философ... я уже взяла реванш... Жалкий... да?

— Вот видишь, дурочка! — заговорил он покровительственно и солидно. — Зачем же ты испортила себе

и мне несколько приятных минут? Затем, чтоб показаться мне еще более тонкой .. порядочной и чистой? Не стоило!

И снова раздались поцелуи . Много поцелуев ..

III

Через полчаса из павильона вышел человек в легком светлом костюме, высокий, мощный, с большими русыми усами на бледном и холодном лице...

Уходя в глубь сада, в темнозеленую чащу кустарников, он, устало опустив голову на грудь, недовольно что-то напевал сквозь зубы .

А потом из кустов сирени и жасмина, окружавших павильон, на дорожку сада вышла женщина в длинном белом платье

Она пошла в сторону, противоположную той, где скрылся ее собеседник, и шла она медленной, нерешительной походкой человека, который очень устал или глубоко задумался. Роса, упавшая с листьев, задетых ею по дороге, кропила ее голову в густой массе черных волос и ее плечи, с которых кружевная накидка сползла и одним концом висела по земле.

Пятна теней, лежавшие на всем вокруг нее, казалось, делались темнее и, проникая ей в душу, погружали ее в печально-сладкую дрему

Рассветало уже, на вершины деревьев упали розовые пятна первых лучей солнца, и капли росы сверкали в них, как драгоценные камни. А тени, тонкие и прозрачные тени весенней ночи, тихо таяли и исчезали с земли и деревьев сада.

Женщина в белом платье тихо скрылась в густой листве, сад же, освеженный влагой ночи и утренней росой, неподвижно ожидал возрождения дня.



А. М. ГОРЬКИЙ
Самара, 1895 — 1896 гг.

ДЕЛЕЖ

От церкви на площадь падала большая и густая тень. Недавно перестал идти обильный летний дождь, и между выбоинами в мостовой площади скопились маленькие лужицы воды. Тусклые там, где их покрывала тень от церкви, они отливали серебром вне границ тени, отражая в себе лучи луны — полной, яркой и неподвижно стоявшей в мягком синем небе. Отошла всеночная, и через площадь в разные стороны расходились темные фигуры людей. Они, осторожно обходя лужи, пропадали в улицах — пяти узких каналах, выходивших на площадь.

И вот на ней стало пусто, тихо и печально.

Тогда в тени около церковной паперти раздался слабый звук металла, упавшего на камни, и откуда-то выскочила маленькая фигурка. Она, странно подпрыгивая, побежала по мостовой и вдруг уменьшилась — не то наклонилась, не то упала на землю.

В то же время из одной улицы появилась крупная, немного согнутая фигура человека и, медленно шагая, направилась в сторону первой. Шла она, не разбирая дороги, и лужицы воды то и дело всхлипывали под ее ногами, разбрызгиваясь по сторонам. Вот они обе сошлись в одну массу, — вторая фигура скрыла собой первую, изогнувшись над ней.

— Ты чего шарить? — раздался хриплый, надтреснутый бас.

— Пятачок! — ответил звонкий детский альт, озабоченно и тревожно. — Стал считать, сколько всего, а он, еретик, вырвался из рук, да и покатился. Сколько вот ишу! Ах ты!

— Верно знаешь — пятак? — меланхолично спросил бас.

— Ну, еще бы! Она всегда пятак дает... Это вот ее и был.

— Кто — она?

— Она-то? Барыня такая...

— И всегда пятак? — вздохнул большой.

— Всегда... — кратко и озабоченно кинул мальчик.

И все так же плотно слитые в густое темное пятно, они оба замолкли, тщательно шаря по земле.

— Не найти! Вода. Грязь. А монета крупная. Жаль! — проговорил бас, вздохнул и выпрямился.

— А наплевать ин! — вдруг решил маленький и тоже встал во весь рост. Он был горбат, а его собеседник высок, тонок и странно съезжен. Казалось, что его сильно ударили сверху по голове и она у него глубоко вошла в плечи.

— Наплевать? — задумчиво переспросил он. — Ишь ты! Много, значит, насбирал?

— Ежели без пятачка — двадцать две! — самодовольно ответил горбун.

— Хорошо дают, значит! А вот мне — не везет! Ступай, говорят, работай. В трудолюбивый дом. Вроде как бы в тюрьму. Хе! Разве я могу... со всякой рванью? Ты мал вот... ничего не понимаешь.

Он заговорил обиженным тоном, а кончил уже с раздражением. Оба они стояли неподвижно друг против друга.

— Это меня сцапали в дом-то, — оживленно заговорил горбатый мальчик. — Привел бутушник... а там этой дяденька в очках. Бутушник говорит: «Вот, говорит, ваше благородие, — поймал! Получите!» Тот меня сейчас же мочало щипать засадил. Жарко. Беда! В глаза, в нос — пыль лезет. Уж я чихал, чихал! Ах ты! — И мальчик засмеялся, вспомнив, как он чихал.

— Ну? — с интересом спросил большой.

— Ничего. Убег на другой день.

— Убег?

— Убег...

— Ага! Вот видишь ты! — с большим торжеством в тоне заявил большой, но не пояснил, что именно нужно было тут видеть. Где-то в одной из улиц раздались дребезжащие звуки трещотки ночного сторожа. Вслед за ними раздался удар в колокол. Печальный медный звук, волнуясь, поплыл в воздухе, медленно угасая и точно жалуюсь на что-то.

— Идти уж! — сказал мальчик и двинулся вперед.

— Ты куда? Квартира — мать-отец есть, али так где? — спросил его собеседник, крупно шагая рядом с ним.

— Я-то? Так. Мать померла в холеру. Я тут у тетки.

— Родная?

— Тетка-то? Нету. Где уж ей? Так, злая пьяница... — ответил мальчик, очевидно, имевший высокое мнение о родных.

— Бьет?

— Ищо бы! Вот как дует... Чем попадая...

— Это уж всегда так, — утешил его спутник. Они вошли в узкую улицу и медленно шагали вдоль ее, держась в тени зданий... Кругом было пустынно и темно. Где-то громкий дребезг пролетки нахально врывается в печальную тишину ночи...

— А отец?

— Отца-то не было... — равнодушно ответил мальчик.

— А! Бывает и это. Часто бывает. У нас тоже вот горничная — родила сына, а отца нет! Почему такое? Где? Тю-тю! — юмористически печально рассказал старший из спутников.

Мальчик тихо рассмеялся и, помолчав, задумчиво проговорил:

— В нашей улице много ребят, которые без отцов родились. Это вот потому все, что уж больно свободно матери-то их гуляли, — тоном взрослого и не без цинизма кончил он.

— Верно! А ты из какой улицы?..

— Я? Из Полевой. А ты?

— А я с той, на которой лучше. У меня, брат, нет квартиры-то. Была она... да вчера выгнали вот...

— А ты кто? — тихо спросил мальчик, поднимая голову и заглядывая в лицо своему спутнику.

— Я, брат, лакей был... Ха-ароший лакей! Большие жалованья получал. Ну... спился. От хорошей жизни... спился. Где бы держаться мне за фарт и руками и зубами, — я зачертил во-сю. Потому — скучно жить... И больше ничего... Я и давай пить. Попил — и пропал. Здорово попил! Учись вот...

Мальчик молчал, должно быть, думая, чему можно учиться в этом рассказе. И его спутник тоже молчал.

Так прошли сажен десять...

— Мальчик! — вдруг тихо и просительно начал бывший лакей и почему-то оборвался.

— А? — И мальчик, шагавший задумчиво и неторопливо, приподнял голову.

— Вот что, мальчик... Дал бы ты мне немного милостыни-то? а?..

— Ишь ты! — сказал мальчик, сухо усмехаясь. Потом он оттолкнулся в сторону от спутника и, весь съежившись, встал у тумбочки, облокотясь на нее и с усмешкой недоверчивого ожидания глядя на своего собеседника. Тот — тоже остановился и зачем-то поправил рванный картуз на своей голове, не переставая говорить:

— Ты рассуди, милый... Отдашь ты деньги своей скаредной тетке. Ну, что ей?.. Пропьет ведь. А избить тебя — изобьет, так ты лучше сам первый сделай ей на зло. А я бы поесть купил чего... И выпил бы тоже, за три копейки, например. Давно я не пил. Ни капельки не пил, брат! — с дрожью в голосе закончил он...

Мальчик вдруг пошел прочь от него через дорогу на другую сторону улицы. Когда он, колыхаясь на изогнутых рахитом ногах и выпятив вперед свой острый горб, вошел в полосу света от фонаря, — на мостовую легла черная уродливая тень, легла и исчезла, точно влажная земля растворила и впитала ее в себя. У панели он встал и оглянулся на лакея, смотревшего ему вслед, вытянув шею...

— Не дашь? — раздалось на улице безнадежно, укоряюще и робко. Раздалось и замерло среди тяжелых зданий, холодно смотревших друг на друга светлыми пятнами окон, похожими по своему тусклому блеску на глаза слепцов.

Лакей нерешительно тоже стал переходить улицу.

— Изобьет уж больно, коли мало-то принесешь... — задумчиво произнес маленький горбун навстречу ему.

— Да ты немного! — чуть не шопотом говорил лакей. — Дай пятак, и будет с меня! За три выпью, а на две хлеба съем... а?

Горбун поднес руки к своему лицу и стал пристально смотреть в них. И тоже что-то шептал. Послышался звон медных монет.

— Пять... три... восемь... семишник... Давай пополам! Чорт с ней. Пусть ее лопнет со зла. Вздует, так вздует... Айда! На-ка! Одиннадцать все! — с удовольствием сказал он, протягивая руку.

— Ах ты! Вот мне... и. праздник! Спасибо, брат! Вот так — ты! Н-ну! Как я теперь хвачу за пять? Ах ты, цыпленок! — радостно и смущенно забормотал лакей...

И вдруг он странно изогнулся и сорвался с места так быстро, как будто его больно ударили по животу... Горбун отшатнулся в сторону от него. Но он уже исчез, припрыгивая на ходу. Мальчик посмотрел ему вслед и молча пошел по улице в сторону, противоположную той, где исчез лакей.

Скоро и сам он исчез во тьме улицы.

А на улице было пустынно и темно, и все так же равнодушно и холодно большие белые дома смотрели друг на друга своими слепыми стеклянными глазами...

И все кругом было тихо и печально.

НА ПЛОТАХ

Пасхальный рассказ

I

... Грузные тучи медленно ползут над сонной рекой; кажется, что они спускаются все ниже и ниже; кажется, что вдали их серые лохмотья коснулись поверхности быстрых и мутных весенних волн, и там, где они коснулись воды, — встала до небес непроницаемая стена облаков, заградившая собою течение реки и путь плотам.

И волны, безуспешно подмывая эту стену, бьются о нее с тихим, жалобным рокотом, бьются и, отброшенные ею, разбегаются вправо, влево, где лежит сырая тьма весенней, свежей ночи.

Но плоты плывут вперед, и даль отодвигается перед ними в пространство, полное тяжелых облачных масс.

Берегов не видать — их скрыла ночь и оттолкнули куда-то широкие волны разлива.

Река — точно море. Небо над нею окутано облаками, тяжело, сыро и скучно.

Плоты скользят по воде быстро и бесшумно, а навстречу им из тьмы выдвигается пароход, выбрасывая из трубы веселую толпу искр и глухо ударяя по воде плечами колес...

Два красных фонаря на отводах все увеличиваются, становятся ярче, а фонарь на мачте тихо покачивается из стороны в сторону и таинственно подмигивает тьме.

Пространство наполнено шумом разбиваемой воды и тяжелыми вздохами машины.

— По-оглядывай! — раздается на плотях сильный грудной оклик.

У рулевых весел, на хвосте плота, стоят двое: Митя — сын сплавщика, русый, хилый, задумчивый парень лет двадцати, и Сергей — работник, хмурый, здоровый детина в рыжей бороде; из ее рамки выдаются крепкие, крупные зубы, не закрытые верхней губой, насмешливо вздернутой кверху.

— Клади лево! — снова сотрясает тьму громкий крик спереди плотов.

— Знаем и сами, чего орешь? — недовольно ворчит Сергей и, вздыхая, наваливается грудью на весло.

— О-ух! Вороти крепчае, Митюк!

Митрий, упираясь ногами в сырые бревна, тянет к себе тонкими руками тяжелую жердь — руль — и хрипло кашляет.

— Гни... бери левей!.. Черти, дьяволы! — кричат спереди тревожно и озлобленно.

— Ори! Твой-то чахлый сын соломину о колено не переломит, а ты его на руль ставишь, да и орешь потом на всю реку. Жаль было еще работника нанять кощеюснохачу. Ну, и рви теперь глотку-то!..

Сергей ворчит уже громко, очевидно, не опасаясь, что его услышат, и даже как бы желая этого...

Пароход мчится мимо плотов, с ропотом выметывая из-под колес пенистые волны. Бревна раскачиваются на воде, и скрученные из сучьев связи скрипят жалобным и сырым звуком.

Освещенные окна парохода смотрят на реку и плоты, как ряд огненных глаз, отражаются на взволнованной воде светлыми трепещущими пятнами и исчезают.

Волны сильно плещут на плоты, бревна прыгают, и Митрий, покачиваясь на ногах, крепко прижимается к рулю, боясь упасть.

— Ну, ну! — насмешливо урчит Сергей, — заплясал! Вот отец-то гаркнет тебе опять... А то пойдет да всадит тебе в бок-то разà, тогда не так запляшешь! Бери право! Ой-ну! О-о!..

И упругими, как стальные пружины, руками Сергей мощно ворочает свое весло, глубоко разрывая им воду...

Энергичный, высокий, немного злой и насмешливый, он стоит так, точно прирос к бревнам босыми ногами, и в напряженной позе, готовый каждую секунду поворотить плоты, зорко смотрит вперед.

— Ишь, отец-то у тебя, как обнимает Марьку-то! Ну и дьяволы же! Ни стыда, ни совести! И чего ты, Митрий, не уйдешь куда от них, чертей поганых?.. а? Слышь, что ли?

— Слышу! — вполголоса говорит Митрий, не глядя туда, где Сергей, сквозь тьму, видит его отца.

— Слышу-у! Эх ты, тюря! — дразнится Сергей и хохочет. — Дела! — продолжает он, подзадориваемый апатией Митрия. — Ну и старик — чорт! Женил сына, отбил сноху и — прав! Старый галман!

Митрий молчит и смотрит назад по реке, где тоже образовалась стена густых облаков.

Теперь облака везде, и кажется, что плоты не плывут, а неподвижно стоят в этой густой и черной воде, подавленной тяжелыми темносерыми грудками туч, — упав в нее с неба, они заградили ей путь.

Река кажется бездонным омутом, со всех сторон окруженным горами, высокими до неба и одетыми густым покровом тумана.

Кругом — томительно тихо, и вода точно ждет чего-то, слабо поплескивая на плоты. Много грусти и какой-то робкий вопрос слышится в этом бедном звуке, единственном среди ночи и еще более оттеняющем ее тишину...

— Ветру бы теперь дунуть... — говорит Сергей. — Нет, не надо ветру — ветер дождя нагонит, — возражает он сам себе, набивая трубку.

Вспыхивает спичка, слышно хрипение в засоренном чубуке, и красный огонек, то разгораясь, то угасая, освещает ныряющее во тьме широкое лицо Сергея.

— Митрий! — раздается его голос. Теперь он менее угрюм, и в нем яснее звучит насмешливая нота.

— А? — вполголоса отвечает Митрий, не отводя глаз из дали, где он пристально рассматривает что-то большими и грустными глазами.

— Как же это, брат ты мой, а?

— Чего? — отзывается Митрий недовольно.

— Женился-то?! Смехи! Как это было-то? Ну, пошли вы, значит, с женой спать? Ну, как же?!

— Эй, вы, там! По-оглядыва-ай! — угрожающе пропеслось над рекой.

— Ишь, ревет, снохач анафемский! — с восхищением отмечает Сергей и снова возвращается к своей теме. — Ну, скажи, что ли? Мить! Скажи, чай! а?

— Отстань, Серега! — говорил ведь! — просительно шепчет Митрий; но, должно быть, зная, что от Сергея не отвяжешься, торопливо начинает: — Ну, пришли мы спать. Я и говорю ей: «Не могу я мужевать с тобой, Марья. Ты девка здоровая, я человек больной, хилый. И совсем я жениться не желал, а батюшка, мол, силком меня — женись, говорит, да и все! Я, мол, вашу сестру не люблю, а тебя больше всех. Бойка больно... Да... И ничего я этого не могу... понимаешь... Пакость одна да грех... Дети тоже... За них ответ богу дать надо...»

— Пакость! — взвизгивает Сергей и громогласно хочет. — Ну и что ж она, Марька-то? а?

— Ну... «Что же, говорит, мне делать теперь?» Плачет сидит. «Чем, говорит, я тебе не по сердцу? Али, говорит, я уродина какая?» Бесстыдница она, Серега!.. «Что же, говорит, мне с моим здоровьем к свекру, что ли, идти?» Я говорю: «Как хошь, мол... Куда хошь иди. Мне, мол, супротив души невозможно поступить... Дедушка Иван говорил — смертный грех это дело. Скоты мы с тобой, что ли, мол?» Плачет все. «Загубили, говорит, мою девичью красоту». Жалко ее было мне. «Ничего, мол, как-нибудь обойдесся. А то, мол, в монастырь иди». Она ругаться: «Дурак ты, говорит, Митька, подлец...»

— А, б-батюшки! — восхищенным шопотом шипит Сергей. — Так ты ей и отколол — в монастырь?

— Так и сказал, — просто говорит Митя.

— А она тебя — дураком? — повышает тон Сергей.

— Да... обругала.

— За дело, брат! А-ах и за дело! Вздутъ бы еще надо! — вдруг меняет тон Сергей. Теперь он говорит строго и внушительно. — Разве ты можешь супротив закону идти? А ты — пошел! Установлено — ну, значит, и шабаш! Не моги спорить. А ты накося! Эко, выворотил корягу! В монастырь! Дурья голова! Ведь девке-то что

надо? Али монастырь? Ну и люди нынче! Ты подумай — что вышло? Сам ты ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку, девку погубил... полюбовницей стариковой стала — старика во грех снохаческий ввел. Сколько ты закона нарушил? Го-олова!

— Закон-то, Сергей, в душе. Один закон про всех: не делай такого, что против души твоей, и никакого ты худа на земле не сделаешь, — тихо и умиротворяюще проговорил Митрий, тряхнув головой.

— А ты вот сделал! — энергично возразил Сергей. — В душе! Эко, тоже... Мало ли что в душе-то есть. Всему запрета полагать — нельзя. Душа, душа... Ее, брат, понимать надо, а потом уж и того...

— Нет, ты это не так, Сергей! — горячо заговорил Митрий, точно вспыхнул вдруг. — Душа-то, брат, всегда чиста, как росинка. В скорлупке она, вот что! Глубоко она. А коли ты к ней прислушаешься, так не ошибешься. Всегда по-божески будет, коли по душе сделано. В душе ведь бог-то, и закон, значит, в ней. Богом она создана, богом в человека вдунута. Нужно только в нее заглянуть уметь. Нужно только не жалеючи себя...

— Эй, вы! Деймоны сонные! Гляди в оба! — раскатисто загремело и поплыло по реке.

По силе звука чувствовалось, что кричит человек здоровый, энергичный, довольный собой, человек с большой и ясно сознанной им жизнеспособностью. Кричалось не потому, что окрик был вызван сплавщиками, а потому, что душа была полна чем-то радостным и сильным, — это радостное, сильное — просилось на волю, и вот — вырывалось в гремящем, энергичном звуке.

— Ишь, как тявкнул, старый чорт! — с удовольствием отметил Сергей, зорко глядя вперед. — Милуются, голубки! Завидно не бывает, Митька?

Митрий равнодушно посмотрел туда, к передним веслам, где две человеческие фигуры перебежали по плотам справа налево и, останавливаясь близко друг к другу, иногда сливались в одну плотную, темную массу.

— Не завидно? — повторил Сергей.

— Что мне? Их грех — их ответ, — тихо сказал Митя.

— Та-ак! — иронически протянул Сергей и подложил табак в трубку. Снова во тьме заблестел красный огонек.

А ночь становилась все гуще, и серые тучи, черные, все ниже спускались над тихой, широкой рекой.

— Где ж это ты, Митрий, нахватал такой мудрости, а? Али уж у тебя это врожденное? Не в отца ты, браток. Герой у тебя отец-от. Смотри-ко — полсотни годов ему, а он какую кралечку милует! Сок один баба. И любит она его — что уж тут! Любит, брат. Нельзя не любить козыря такого. Король козырей, бардадын отец-от у тебя. Работает — любо глядеть, достаток большой; почета — хошь отбавляй, и голова на месте. Н-да. А ты вот ни в мать, ни в отца. Мить? А что бы отец-от сделал, кабы покойница Анфиса жива была? Чудно! Посмотрел бы я, как она его... Тоже баба была — бой, матка-то твоя... Под пару Силану-то.

Митрий молчал, облокотясь на весло и глядя в воду.

Сергей тоже замолчал. Спереди плотов доносился звонкий женский смех. Ему вторил басовитый смех мужчины. Затканые мглой, их фигуры были еле видны Сергею, с любопытством смотревшему на них сквозь тьму. Можно было видеть, что мужчина высок и стоит у весла, широко расставив ноги, вполоборота к кругленькой, маленькой женщине, прислонившейся грудью к другому веслу, саженьях в полутора от первого. Она грозит мужчине пальцем, рассыпчато и задорно посмеиваясь. Сергей отвернулся со вздохом сокрушения и, сосредоточенно помолчав, заговорил опять:

— Эхма! И ладно же им там. Мило! Мне бы вот так-то, бобылю-шатале! Ни в жисть бы от такой бабы не ушел! Эх ты! Так бы все и мял ее в руках, не выпускал. На, чувствуй, как люблю... Чорт те! Не везет вот мне на бабу... Не любят, видно, бабы рыжих-то. Н-да. Капризная она — баба эта... А шельма! Жадна жить. Митя! Эй, спишь?

— Нет, — тихо ответил Митя.

— То-то! Как же ты, брат, жизнь проходить будешь! Ведь ежели говорить правду — один ты, как перст. Тяжело! Куда ж ты себя теперь определишь? Житья тебе настоящего на людях не найти. Смешон больно. Али это человек, который постоять за себя не умеет! Нужно, брат, зубы да когти. Всякий тебя будет забиждать. Рази ты можешь оборониться? Чем тебе оборониться? Эхе-хе! Чудён! Куда ж ты?

— Я-то? — вновь вострепнулся Митя. — Я уйду. Я, брат, осенью ныне — на Кавказ, и — кончено! Господи! Только бы скорее от вас! Бездушные! Безбожные вы люди, бежать от вас — одно спасенье! Зачем вы живете? Где у вас бог? Слово у вас одно... Али вы во Христе живете? Эх вы, — волки вы! А там иные люди, живы души их во Христе, и сердца их содержат любовь и о спасении мира страждут. А вы? Эх вы! Звери, пакость рыкающие! Есть иные люди. Видел я их. Звали меня. К ним и уйду. Книгу святого писания принесли мне они. «Читай, говорят, человек божий, брат наш любезный, читай слово истинно!..» И читал я, и обновилась душа моя от слова божия. Уйду. Брошу вас, волки безумные, — от плоти друг друга питаетесь вы. Анафема вам!

Митрий говорил это страстным шопотом и задышался от переполнявшего его чувства презрительной злобы к безумным волкам, от жажды тех людей, души которых мыслят о спасении мира.

Сергей был ошеломлен. Он помолчал, широко открыв рот, держа в руке свою трубку, подумал, оглянулся кругом и сказал густым, угрюмым голосом:

— Ишь, как взъелся!.. Злой тоже. Напрасно чёл книгу-то. Кто ё знает, какая там она? Ну... вали, вали, утекай, а то совсем испортиться можешь. Айда! Беги, пока не озверел совсем... А что ж это за люди там, на Кавказе? Монахи? Аль, может, староверы? Они молоканы, что ли? А?

Но Митрий потух уже, так же быстро, как и вспыхнул. Он ворочал веслом, задыхаясь от усилий, и что-то шептал быстро и нервно.

Сергей долго ждал его ответа и не дождался. Его здоровую, несложную натуру давила мрачная, мертвенно тихая ночь, ему хотелось напомнить себе самому о жизни, будить эту тишину звуками, всячески тревожить и вспугивать это притаившееся созерцательное молчание тяжелой массы воды, медленно лившейся в море, и уныло застывшие в воздухе неподвижные груды облаков. На том конце плота жили и его возбуждали к жизни.

Оттуда то и дело долетал то тихий, довольный смех, то отрывочные восклицания, стушеванные тишиной и

тьмой этой ночи, полной запаха весны, возбуждавшего горячее желание жить.

— Брось, Митрий, куда воротишь? Ругнет старик-то, смотри, — заметил он, наконец, не вынося более молчания и видя, что Митрий бесцельно буравит воду веслом. Митрий остановился, отер вспотевший лоб и замер, прислонясь грудью к веслу и тяжело дыша.

— Мало сегодня пароходов чего-то... Кой час плывем, а всего один встретился.

И, видя, что Митрий не собирается ответить, Сергей резонно объяснил сам себе:

— Это потому, что навигация еще не открылась. Начинается только еще. А живо мы сплывем в Казань-то — здорово тащит Волга. Хребет у нее богатырский — все поднимет. Ты чего стоишь? Осерчал, что ли, а, Мить? Эй!

— Ну что? — недовольно спросил Митрий.

— Ничего, чудак человек... Чего, мол, молчишь? Думаешь все? Брось. Вредно это человеку. Эх ты, мудрец, мудришь ты, мудришь, а что разума-то у тебя нет, — это тебе и невдомек! Ха-ха!

И Сергей, посмеявшись, в сознании своего превосходства крепко крикнул, помолчал, засвистал было, но оборвал свист и продолжал развивать свою мысль далее:

— Думы! Али это для простого человека занятие? Вон, глянь-ко, отец-от твой не мудрит — живет. Милует твою жену да посмеивается с ней над тобой, дураком мудрым. Так-то! Чу, как они? Ах ты, дуй их горой! Поди, уже беременна Марька-то! Не бойсь, не в тебя дите-то будет. Такой же, надо полагать, ухарь, как и Силан Петров. А твоим ведь зачислится ребенок-то. Дела! Ха! «Тятка», — скажет тебе. А ты ему, значит, не тятка, а брат будешь. А тятка-то у него — дедушка! Эх ты, ловко! Эки пакостники! А удалцы народы! Так ведь, Митя?

— Сергей! — раздался страстный, взволнованный, чуть не рыдающий шопот. — Христа ради прошу, не рви ты мою душу, не жги меня, отстань! Молчи! Христом-богом прошу, не говори со мной, не растравляй меня, не соси мою кровь. Брошусь в реку я, грех ляжет на тебя

большой! Душу мою загублю я, не трожь ты меня! Богом кляну — прошу!..

Тишину ночи разорвал болезненно визгливый вопль, и Митрий, как стоял, опустился на бревна, точно его пришибло что-то тяжелое, упавшее на него сверху из угрюмых туч, нависших над черной рекой.

— Ну, ну, ну! — боязливо заворчал Сергей, поглядывая, как его товарищ метался по бревнам, точно обожженный огнем. — Чудак человек! Этакий чудак... сказал бы, чай... коли не тово тебе... не этово...

— Всю дорогу ты мучишь меня... за что? Ворог я тебе? а? ворог? — горячо шептал Митя...

— Чудак ты, брат! Ах, какой чудак! — смущенно и обиженно бормотал Сергей. — Рази я знал что? Мне твоя душа неведома, чай!

— Забыть я хочу это, пойми! Забыть на всю жизнь! Позор мой... мука лютая... Свирепые вы люди! Уйду я! Навек уйду... Не в мочь мне...

— Да уходи!.. — гаркнул Сергей на всю реку, подкрепил восклицание громоподобным циничным ругательством и сразу осекся, как-то съезжился и присел, очевидно, тоже подавленный развернувшейся пред ним душевной драмой, не понять которой теперь — он не мог уже.

— Эй, вы! — носился над рекой голос Силана Петрова. — Что у вас? Чего лаετε? а-эй?

Должно быть, Силану Петрову нравилось шуметь на реке среди тяжелого молчания своим густым и крепким басом. Окрики лились один за другим, сотрясая воздух, теплый и сырой, подавляя своей жизненной силой тщедушную фигуру Митрия, уже снова стоявшего у весла. Сергей, во всю мочь отвечая хозяину, в то же время вполголоса ругал его крепкой и соленой русской руганью. Два голоса рвали тишину ночи, будили ее, встряхивали и то сливались в одну густую ноту, сочную, как звук большой медной трубы, то, возвышаясь до фальцета, плавали в воздухе, гасли и гибли. Потом — снова стало тихо.

Сквозь разрыв в гучах на темную воду пали желтые пятна лунных лучей и, посверкав с минуту, исчезли, стерты сырой тьмой.

Плоты плыли дальше, посреди тьмы и молчания.

У одного из передних весел стоял Силан Петров, в красной рубахе с расстегнутым воротом, обнажавшим его могучую шею и волосатую, прочную, как наковальня, грудь. Шапка сивых волос нависла ему на лоб, и из-под нее усмехались большие, горячие, карие глаза. По локоть засученные рукава рубахи обнажали жилистые руки, крепко державшие весло, и, немного подавшись корпусом вперед, он что-то зорко высматривал в густой тьме дали.

Марька стояла в трех шагах от него, к течению боком, и с улыбкой поглядывала на широкогрудую фигуру милого. Оба молчали, занятые наблюдением: он — за далью, она — за игрой его живого бородатого лица.

— Костер рыбацкий, должно! — поворотился он к ней лицом. — Ничего. Держим прямо! О-ох! — выдохнул он из себя целый столб горячего воздуха, ровно ударив веслом влево и мощно проводя им по воде. — Не натужься больно-то, Машурка! — заметил он, видя, что и она делает тоже ловкое движение своим веслом.

Кругленькая, полная, с черными бойкими глазами и румянцем во всю щеку, босая, в одном мокром сарафане, приставшем к ее телу, — она повернулась к Силану лицом и, ласково улыбаясь, сказала:

— Уж больно ты бережешь меня. Чай, я слава те господи!

— Целую — не берегу! — передернул плечами Силан.

— И не след! — вызывающе прошептала она.

Они замолчали, оглядывая друг друга жадными взглядами.

Под плотами задумчиво журчала вода. Справа, далеко где-то, запели петухи.

Чуть заметно колыхаясь под ногами, плоты плыли вперед, туда, где тьма уже редела и таяла, а облака принимали более резкие очертания и светлые оттенки.

— Силан Петрович! Знаешь, чего они там визжали? Я знаю, право слово, знаю! Это Митрий жалился на нас Сережке, да и проскулил так-то жалобно с тоски, а Сережка-то и ругнул нас.

Марья пылливо уставилась в лицо Силана, теперь, после ее слов, — суровое и холодно упрямое.

— Ну, так что? — коротко спросил он.

— Так. Ничего.

— А коли ничего, так и говорить было нечего.

— Да ты не серчай!

— На тебя-то? И рад бы иной раз, да не в силу.

— Любишь Машку? — шаловливо прошептала она, наклонясь к нему.

— Э-эх! — выразительно крикнул Силан и, протянув к ней свои сильные руки, сквозь зубы сказал: — Иди, что ли... Не задорь...

Она изогнулась, как кошка, и мягко прильнула к нему.

— Опять собьем плоты-то! — шептал он, целуя ее лицо, горевшее под его губами.

— Будет уж! Светает... Видно нас с того конца.

Она попыталась оттолкнуться от него. Но он еще крепче прижал ее рукой.

— Видно? Пускай видят! Пускай все видят! Плюю на всех. Грех делаю, точно. Знаю. Ну что ж? Подержу ответ господу. А все ж таки женой ты его не была. Свободная, стало быть, ты сама своя... Тяжко ему? Знаю. А мне? Али снохачом быть лестно? Хоть оно, положим, ты не жена ему... А все ж! С моим-то почетом — каково мне теперь? А перед богом не грех? Грех! Все знаю! И все преступил. Потому — стоит. Один раз на свете-то живут, и кажинный день умереть можно. Эх, Марья! Месяц бы мне один погодить Митьку-то женить! Ничего бы этого не было. Сейчас бы после смерти Анфисы сватов я к тебе заслал — и шабаш! В законе. Без греха, без стыда. Ошибка моя была. Сгрызет она мне лет пяток-десяток, ошибка эта. Умрешь от нее раньше смерти...

— Ну ладно, брось, не тревожь себя. Было говорено про это не раз уж, — прошептала Марья и, тихонько освободившись от его объятий, подошла к своему веслу. Он стал работать порывисто и сильно, как бы желая дать исход той тяжести, что легла ему на грудь и омрачила его красивое лицо.

Светало.

И тучи, редая, лениво расползались по небу, как бы не желая дать места всходящему солнцу. Вода реки приобрела холодный блеск стали.

— Опять он намерен толковать. «Батюшка, говорит, **али** это не стыд-позор тебе и мне? Брось ты ее, тебя-то **то** есть, — усмехнулся Силан Петров, — брось, говорит, **войди** в меру». — «Сын, мол, мой милый, отойди прочь, **коли** жив быть хошь! Разорву в куски, как тряпицу гни-лую. Ничего от твоей добродетели не останется. На муку, **мол**, себе родил я тебя, выродка». Дрожит. «Батюшка! **али**, **говорит**, я виноват?» — «Виноват, мол, комар пискливый, — потому камень ты на моей дороге. Виноват, **мол**, **потому** постоять за себя не умеешь. Мертвечина, мол, ты, стерва тухлая. Кабы, мол, ты здоров был, — хоть бы убить тебя можно было, а то и этого нет. Жалко тебя, кикимору **несчастную**». Воеет! — Эх, Марья! Плохи люди стали! Другой бы — э-эхма! Выбился бы из петли-то скоро. А мы — в ней! Да, может, так и затынем друг друга.

— Это ты о чем? — робко спросила Марья, с испугом глядя на него, сурового, мощного и холодного.

— Так... Умер бы он... Вот что. Кабы умер... ловко бы! Все бы в колею вскочило. Отдал бы твоим землю, замазал бы им глотку-то, а с тобой — в Сибирь... али на Кубань! Кто такая? Жена моя! Поняла? Документ бы такой достали... бумагу. Лавку бы открыл в деревне где. И жили бы. И грех наш перед господом замолили бы. Много ли нам надо? Помогли бы людям жить, а они бы помогли нам совесть успокоить... Хорошо? а? Маша?!

— Да-а! — вздохнула она и крепко, зажмурив глаза, задумалась о чем-то.

Они помолчали... Журчала вода...

— Чахлый он... Может, скоро умрет, — глухо сказал Силан Петров.

— Дай-ко ты, господи, поскорее бы! — молитвенно произнесла Марья и перекрестилась.

.....
Брызнули лучи весеннего солнца и заиграли на воде золотом и радугой. Дунул ветер, все дрогнуло, ожило и засмеялось. Голубое небо между туч тоже улыбалось раскрашенной солнцем воде. А тучи остались уже сзади плотов.

Там, собравшись в тяжелую, темную массу, они раздумчиво и неподвижно стояли над широкой рекой, точно выбирая путь, которым скорее уйдешь от живого солнца

весны, богатого блеском и радостью, и врага им, матерям зимних вьюг, запоздавшим отступить пред весной.

Впереди плотов сияло чистое, ясное небо, и солнце, еще холодное по-утреннему, но яркое по-весеннему, важно и красиво всходило все выше в голубую пустыню неба из пурпурно-золотых волн реки.

Справа от плотов был виден коричневый горный берег в зеленой бахrome леса, слева — бледноизумрудный ковер лугов блестел брильянтами росы.

В воздухе поплыл сочный запах земли, только что рожденной травы и смолистый аромат хвои.

Силан Петров посмотрел на задние весла.

Сергей и Митрий точно приросли к ним. Но еще трудно было, за далью, видеть выражение их лиц.

Он перевел глаза на Марию.

Ей было холодно. Стоя у весла, она сжалась в комок и стала совсем круглой. Вся облитая солнцем, она смотрела вперед задумчивыми глазами, и на ее губах играла та загадочная и чарующая улыбка, которая и некрасивую женщину делает обаятельной и желанной.

— Поглядывай в оба, ребятушки-и! О-о!.. — во всю мочь громыхнул Силан Петров, чувствуя мощный прилив бодрости в своей широкой груди.

И от его крика все кругом как бы колыхнулось. Долго по горному берегу звучало эхо.

В ЧЕРНОМОРЬЕ

Знойно. Тихо... Чудный вид!
Там, далеко, — море спит.
С берегов же в волны пали
Тени тонких миндалей,
И чинары в них купали
Зелень пышную ветвей;
И в прибрежной белой пене,
Как улыбка — эти тени, —
Как улыбка старых гор,
Чьи угрюмые вершины
Вознеслись туда, в пустынный,
Голубой небес простор,
Где суровый их гранит
От земли туманом скрыт.

* * *

Важно, молча и сурово
В бархат неба голубого
Смотрят главы старых гор,
Сизой дымкою объаты.
И пугают мысль и взор
Их крутые к морю скаты.
Им в дали небес не слышны
Вздохи волн и пены пышной —
Этот стройный плеск и шум,

Полный нежной, сладкой ложью,
Шум, притекший к их подножью,
Чтоб нарушить мир их дум.
Но, безмолвны и угрюмы,
Схоронили скалы думы
Глубоко в гранит сырой.
И, одеты облаками,
Так стоят они, веками
Тешась шумной волн игрой.
В мягком пухе нежной пены
Волны скалам, как сирены,
Что-то нежно так поют,
Но в ответ на их набеги
Тайн суровые ковчеги
Ничего им не дают:
Ни намека, ни полслова,
Ничего из тайн былого...

* * *

Между камня выползали
Полусонные кусты
Роз, жасминов и азалий,
И кадили их цветы
Душной, сочною истомой
Небесам, объатым дремой,
Морю, серым грудам скал,
На которых чинно в ряд
Сели чайки и следят:
Не дарит ли их тот вал,
Что пришел из дали зыбкой,
Золотистой, вкусной рыбкой?

* * *

Но седой, — на эти груды
Набегая, — им дарил
Только брызги-изумруды
И о чем-то говорил...
И, взмахнувши гребнем белым,
Вновь бросал движеньем смелым

Разноцветных брызг каскад.
А ему с вершины горной
Лысый гриф свой крик задорный
Вниз кидал... И вал назад
Уходил, кипя сердито,
О твердыни скал разбитый.

* * *

Моря даль — покрыта сонной
Дымкой нежного опала.
Глубиной своей бездонной
В волны небо там упало
И смешалось с ними странно.
Мягко эти два титана,
Оба полны южным зноем,
Грудь на грудь друг другу пали,
Обнялись, слились — и спали.
И не видным глазу роем
Там, по светлой синей выси,
Надо мной в ту даль неслися
Грез гирлянды...

В чудном сне
Сам я жил, — казалось мне...

ОТКРЫТИЕ

Из мемуаров современника

...Сегодня, после обеда, жена, — когда мы сидели с ней у меня в кабинете, — тревожно и ласково сказала мне:

— В твоих отношениях ко мне, Поль, появилось что-то странное. Ты иногда смотришь на меня так вопросительно... точно ждешь чего-то от меня и хочешь узнать: когда же?... скоро ли? И — потом ты стал как-то особенно внимателен ко мне... внимателен не как к женщине... этого я бы наверное не заметила... это так обыденно и привычно... нет, это опять-таки то же странное, спрашивающее и ожидающее внимание, как и твои молчаливые взгляды. Что с тобой? Меня пугаешь ты, Поль!

И, когда она сказала это, на ее глазах блеснули слезы — боязни и недоумения...

Какая она чуткая!..

Я тоже испугался ее вопроса и, как мог, — стал утешать ее. На это пошло немного времени... — женщины во всем быстро утешаются, — и когда мне это удалось, то я с некоторым внутренним трепетом спросил ее: не пыталась ли она объяснить себе как-либо мое настроение?

— Да, — сказала она и смутилась. — Я думаю, что ты недоволен тем, что... вот уже пять месяцев... как мы с тобой... муж и жена... а я... все еще...

Вся красная от стыда и волнения, она кончила свою фразу шопотом и, закрыв лицо руками, свернулась рядом

со мною на диване в красивый, мягкий комок — чувственную и шаловливо подстерегающую позу, из всех животных возможную только для кошек и женщин.

Сквозь тонкие, белые пальчики рук сверкали ее черные глазки, и платье цвета морской воды окутывало всю ее мягкими, пышными волнами.

Я объяснил ей мое настроение некоторым недомоганием, успокоил ее и успокоился сам, видя из ее слов, что она убеждена в моей любви и поэтому, при всей своей чуткости, неспособна понять, о чем именно я ее спрашиваю, когда смотрю на нее. И мне стало жалко ее. Потом я ушел гулять, предупредив ее не дожидаться меня, потому что я зайду в клуб. Она посетовала и отпустила меня с поцелуем, а когда я воротился, она уже спала.

...Я сейчас только отошел от ее постели, где просидел часа два, глядя на нее, эту маленькую женщину, мою жену.

Она лежит там на спине, полуприкрытая тонким одеялом, рельефно обрисовывающим все изгибы ее тела, — лежит и улыбается сквозь сон, а вокруг ее головы по подушке черным венцом раскинулись спутанные пряди ее волос. Одна из них легла ей на плечо и на горло, другая на розовую щеку, несколько волосков заползли во впадину глаза, к длинным ресницам... и густой локон осыпал ей левое ухо. Вся она — такая красивая, соблазнительно свежая, и ее кожа дышит острым, волнующим нервы ароматом женщины. В окно смотрит луна, на окне стоят цветы, и от них легли тени на ковер около кровати... на стену за ней. Ночь так тиха и тепла... зелень первого летнего месяца ласково шепчет о чем-то и наполняет спальню сочным, теплым наркозом, облекающим душу в ленивую негу...

Я — совершенно здоровый человек, может быть, несколько выше нормы впечатлительный, но здоровый. Впрочем, — прочь и оговорку, — может ли быть речь о норме в сфере восприятия впечатлений? Итак, я, здоровый человек, — вот уже восьмую ночь провожу таким странным и смешным образом у постели моей жены, боясь дотронуться до нее и чувствуя, что, если я моей законной лаской потревожу ее сон, — это оскорбит ее и меня, хотя она и не поймет этого оскорбления, а — как всегда —

будет рада ему. С того момента, когда последний раз я, полный страсти, менялся с нею ласками, прошло тринадцать дней.

Что же случилось до этого времени?

Ничего особенного...

Все шло так, как и должно было идти в первое время после свадьбы, — хорошо, ласково, горячо. Мы любовались друг другом, наслаждались друг другом, и часто она, в восхищении, говорила мне, что никак не ожидала встретить в любви столько новизны и счастья.

Я всегда с полной готовностью и чистым сердцем подтверждал ее слова.

И вот — вдруг откуда-то наплыла на меня тень, странная, холодная тень, обессиливающая чувство и изощряющая ум. В первый раз я ощутил ее присутствие тринадцать дней или, вернее, тринадцать ночей тому назад.

Это случилось так.

* * *

Я воротился домой из клуба, возбужденный и огорченный разговором с одним знакомым. Говорили мы о жизни и ее ехидной игре с человеком; эта тема всегда в конце концов дарит вас ощущением полного бессилия, одиночества и беспомощности.

И вот, войдя в спальню, где и тогда все было так же вызывающе красиво, как сегодня, — я остановился у постели жены, чтобы прежде полюбоваться ею спящей, а потом уж разбудить ее. Мне хотелось много говорить с нею еще о этой жизни, которая ни над одним животным не смеется так грубо, безжалостно и иронически и никого не преследует так беспощадно, как она делает это с человеком и преимущественно с лучшим человеком.

Я наклонился над спящей женой, чтобы поцеловать ее в лоб, после чего она обыкновенно просыпалась, наклонился и залюбовался ею. Она же улыбалась во сне, и от лучей луны ее лицо казалось мне прозрачным. Во всей ее маленькой фигурке было что-то игрушечное, детское, и улыбка ее была по-детски наивно хитра. Мне показалось сначала, что она не спит, а наблюдает за мною сквозь ресницы полузакрытых глаз, я уже хотел засме-

яться над ее маленькой хитростью, но она дышала так ровно, и я знал, что она неспособна притворяться так долго.

Тогда мне стало жалко будить ее.

«Зачем, в сущности, я разбуджу ее? Чтоб сообщить ей, как трудно жить?» — спросил я себя.

И мне показалось глупым и смешным будить человека для того, чтоб жаловаться ему на жизнь, — о сущности которой ни он, ни я не имеем ясного понятия...

«Поймет ли она то, что я скажу ей?»

И, подумав, я должен был ответить себе: «Нет, не поймет! Она слишком молода, свежа и неопытна для того, чтоб уметь углубляться в бездну тех дум, которые охлаждают душу и оставляют на ней болезненные пятна ржавчины, — пятна тоскливого недоумения пред явлениями жизни. Нужно ли ей понимать все это?»

Нет! Зачем же? Что даст такое понимание? Очень редко умение ориентироваться и избрать прочную точку в жизни — и всегда обессиливает душу.

И, наконец, — зачем я, именно я, который люблю ее, свою жену, и имею несчастье знать жизнь ближе и более, чем она, — зачем я должен посвящать ее в неприглядную и суровую суть происходящего пред нею и рассказывать ей о тех камнях и терниях, что лежат на пути человека, на его мучительно трудном, кровавом пути к неизвестному?

Мне выгоднее сохранить ее, полуробенка, возможно долгое время в этом состоянии свежести чувств и мысли, в состоянии приятного полусна ее души, так горячо чувствующей и так много верующей. Пусть она понимает меньше, — это даст мне возможность наслаждаться ею долее, как цветком.

И если я захочу, — могу доставить себе тонкое удовольствие подливать в светлую влагу ее чувствований капельки темного скептицизма, капельки острой горечи понимания. Она будет постепенно вянуть, а я буду наблюдать это и наслаждаться моей маленькой местью жизни, которая отравила меня.

Я отравлен, — и вот отравляю сам, отравляю ценное, свежее, еще не жившее существо... Наношу убыток жизни, лишая ее энергии, которая служила бы ее целям, если б я хотел этого».

И тут я снова протянул руку, чтоб разбудить жену.

Но... почему-то я снова откинулся на спинку кресла и, глядя в лицо жены, стал думать — теми странными думами, которые так трудно отличить от ощущений. В моей голове как бы катилась густая лавина чего-то, бросавшего на душу мне плотные тени. Было скучно мне. И долго я не мог добиться ясности и связи моих дум.

Но когда добился, — мне стало холодно и страшно. Все, о чем я думал, отлилось в твердую и резкую форму вопроса: люблю ли я свою жену? Тогда я встал, отошел к окну и, прислонясь лбом к переплету рамы, стал смотреть в сад. Он весь утонул в лунных лучах и тенях. И он молчал сосредоточенным молчанием существа, созерцающего тайны и уже много разгадавшего их.

«Жена...» — повторил я про себя и почувствовал, что это коротенькое слово, такое простое и, казалось бы, ясное, — звучит так холодно и ровно ничего не говорит ни уму, ни сердцу.

Таких звуков — много, они рождаются и умирают, не оставляя за собой ничего. Жена?! — Есть даже что-то рабски пошлое в этом.

Мы привыкли думать, что понимаем наши слова, и мы обманываем себя этой привычкой, — душа слов, значение их темны и незнакомы нам.

«Итак, — люблю ли я жену?» — спросил я. Я любил ее глаза, ее поцелуй и улыбку, ее голос и жесты и еще много таких мелочей и, пожалуй, всю ее в этих мелочах. Но без них, как человека и живую душу, как сознание и загадку, как вечно вибрирующий в ответ на впечатления тонкий, чуткий, гармоничный инструмент? Любил ли я ее такой?

Я не мог сказать себе, что искал в ней все это — искал и желал найти... Мы встретились... Она, живая и бойкая девочка, понравилась мне более других, мне же тогда жилось так скучно и тяжело, и я подумал, что, может быть, ничего не проиграю, если женюсь. Я заинтересовал ее собой и ощутил в себе желание быть горячо обласканным ею.

Заставил ее немного пожалеть себя. Это так просто — заставить женщину пожалеть себя. Особенно теперь,

когда мужество в мужчине так же редко, как и женственность в женщине. Но, утратив много женственности, женщина все-таки не разучилась жалеть — и в настоящее время любовь женщины — почти вся — сожаление к мужчине... слишком нищему духом и слабому телом для женщины.

...Я все забываю о главной теме...

Ответив на этот вопрос, я поставил себе другой...

«Что она любит во мне?» На это мне было труднее ответить, ибо — поистине — будь я на ее месте, будь я вообще женщиной, я не думаю, что мне удалось бы найти что-нибудь положительное и сильное, что-нибудь достойное внимания в человеке таком, как я... кроме разве способности думать какими-то бесконечными спиралями, увлекающими мысль куда-то в пропасть без дна и без намека на свет.

Но у женщин такая несчастная логика...

Порешив на этом с вопросом о ее любви, я спросил себя еще раз:

«Зачем, на что мы нужны друг другу, раз мы чужие, незнакомые люди?»

И тут я понял, что не люблю жену, ибо когда бы я любил ее хоть немного, — я не в состоянии был бы так спросить себя... Мне стало холодно...

Что же будет дальше, когда она поймет меня? Что будет с нею тогда? И как скверно, скучно будет мне! Сколько, наверное, будет слез, сколько бесполезного, острого, рвущего нервы, отравляющего жизнь! Она вообразит себя сначала обманутой, потом мученицей долга, потом станет искать утешения и... заведет себе любовника... Фи!..

Я снова подошел к ней. Она все спала, крепко, беспечно, и все улыбалась мило, как дитя. Но теперь она не будила во мне тех приятных чувств, что были обязательны так недавно... еще вчера.

Я смотрел на нее и спрашивал себя:

«Зачем мне она, эта игрушка? Искать ли мне единения с нею теперь, когда я знаю, что его нет? Возможно ли оно для нас с ней... и вообще для людей возможно ли оно, это пресловутое «слияние душ», это понимание друг друга?.. Единство интересов? Ба! Мы не сойдемся на этой

почве. Я хотел бы, чтоб меня ничто не задевало, я хочу покоя — вот мой единственный интерес».

Я еще не прочь думать... но жить — нет, благодарю! Я уже жил лет десять и знаю, чего это стоит, жизнь — после двадцати пяти лет — это прогрессивная утрата сил, желаний, воображения... всего лучшего, в чем именно и есть жизнь. Ты создан для чего-то и должен делать что-то.

И все, что бы ты ни делал, --- должно, во-первых, согласоваться с существующими в данный момент моральными рамками, всегда достаточно тяжелыми и тесными для того, чтоб раздавить человека, а во-вторых, все эти твои деяния очень мелкие, очень скучны, очень пошлы.

Ибо ты — не гений...

Итак, значит, это дитя, моя жена, в один прекрасный день спросит меня, люблю ли я ее, и с этого прекрасного дня у нас начнется прескверная жизнь.

Как же все это назвать? Ошибкой? Недоразумением? Не знаю, право... Между прочим, всегда почти и, кажется, всеми делается именно так — женятся, потому что влюбляются, узнают друг друга и разочаровываются, затем начинают «влачить существование» — что и называется семейной жизнью... Влачат существование те, у которых в душу вбит этот гвоздь, называемый долгом, те же, что поумнее, — разбегаются в разные стороны с хорошей памятью в виде тоски о времени и злобы друг на друга. И то и другое — неизреченно скверно.

Но «все это фи-илософия, братец», как говорит один мой знакомый. А действительность — вот она — я боюсь моей жены, как человека, который принесет мне в будущем много горя и беспокойства...

И теперь я смотрю на нее и думаю:

«Вот человек, который скоро заявит о своих правах на мое внимание к нему и на весь мир моей души... Станет рыться во мне, изучать меня, следить за мной, думать обо мне, и все это затем, чтобы узнать, — что есть я. Я же сам так смутно представляю себе то, что есть мое «я».

И мне кажется, что, когда детские глазки моей жены смотрят в мои глаза, — они пытаются проникнуть в бездонную яму, полную едкого тумана.

И мне жалко немного мою жену, она испортит свой ясный взгляд на человека и жизнь, рассматривая своего

мужа. Я знаю ее мнения обо мне, — она считает меня очень оригинальным, очень тонким и умным человеком.

Дурочка...

Я немного циничен, кажется? Ну, что ж?! Право, это не важно. Да и ничто не важно для человека, кроме веры в себя. И, в сущности... все это гораздо более смешно, чем грустно. Да... И все-таки я смотрю на мою жену и жду.. ее приговора? Нет, конечно! Ей ли судить меня? Но я жду дня, в который женщина почувствует себя человеком — это будет, чорт возьми! — и заявит свое право на мой внутренний мир.

И начнет хронически портить мою жизнь.

А в конце концов она, наверное, сама погрязнет в трясине тоски, смутных желаний, неясных идей... и скептических экскурсий в область души мира, души своей, души своего мужа... Ха-ха... тоже и ее ждет кое-что!..

...Ах, кажется, что я скоро начну понемногу ненавидеть ее, мою милую жену... так сладко спящую пока женщину...

...Уж хоть бы она никогда не просыпалась больше, что ли!

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В РОЛИ РЕДАКТОРА ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ

ПРЕКРАСНАЯ ТЕМА ДЛЯ ОСТРОУМНЫХ ЛЮДЕЙ
(Перевод с американского)

Судьба вообще очень неблагоприятна ко мне, но все-таки я не ожидал, что она сыграет со мной такую скверную штуку.

Я вступил в жизнь — в активную жизнь — учеником маляра, затем пек булки, писал иконы, пас лошадей, копал землю для разных надобностей, — между прочим для покойников, — был крючником, ночным сторожем, корчевал пни, был садовником, испытал еще много свободных профессий, везде чувствовал себя более или менее не на своем месте, дожился до такой степени выносливости, что стал считать безделье утомительнее труда, нажил себе «нервы», боль в груди, некоторый житейский опыт, еще несколько неприятных вещей, — наконец, однажды вдохновился, нечто смело написал, робко снес в редакцию, меня благосклонно напечатали, мне это понравилось, я решил остановиться на этом труде, близко родственном по своей сущности к корчеванию пней, — занятие, к которому я всегда питал особенную слабость, — решил и — стал провинциальным литератором.

И успокоился на этом, не порываясь больше никуда, убежденный, что пост литератора обеспечивает голодную смерть не хуже и не менее, чем всякий другой пост.

Мне очень нравится быть литератором: ты пишешь, а тебя читают, и хотя ты не знаешь, каковые отсюда вытекают результаты, но, при некоторой наивности, вправе предполагать, что они будут очень почтенны и солидны; а если природа позабыла наделить тебя скромностью, то ты можешь даже и мечтать о том, например, что люди тебя послушают и, согласно твоим советам и доказательствам, станут относиться сами к себе и друг к другу внимательней и благородней...

Я лишен этих удовольствий, — жизнь темна, я довольно потолкался в ней, и крылья моей мечты сломались.

Это очень печально, ибо преждевременно. Но я взялся за гуж литератора с благими намерениями и с успокаивающим убеждением, что ведь могло быть и хуже... Я наивно полагал, что мне не будет хуже, чем было. И вот однажды, поутру, я встал с постели редактором газеты.

Сначала я ничего не почувствовал, кроме некоторого лестного ощущения, и, преисполненный сознанием важности возложенной на меня задачи и крупного общественного значения моего как руководителя органа, имеющего целью влиять на общественное мнение, — отправился в редакцию...

Но уже дорогой я подумал — как же я буду руководить общественным мнением, в которую сторону позволено направлять его, где оно у нас есть, и знаю ли я, в чем оно выражается?

«Мне нужно прислушаться к голосу публики», — решил я и по дороге стал прислушиваться.

Но голоса не услышал — была какая-то разногласица и этакое туманное мычанье, хотя и близко напоминающее человеческую речь, но без всякого намека на гражданственные звуки.

Два, по внешности, вполне приличных господина рассуждали так.

Один горячо спрашивал:

— Да ведь он украл общественные деньги?

— Растратил, то есть, — спокойно поправлял другой.

— Ну, все равно... все-таки виноват он?

— Нет!..

— Как?!

— Так!

— Да ведь это преступление?!

— Нет, увлечение... несчастное увлечение...

— Да деньги-то крестьянские пропали?

— Пропали!

— Ну, так как же?

— Э, брат!.. это ригоризм у тебя. Нужно быть мягче, вдумчивее, гуманней...

— А у тебя отсутствует инстинкт общественности. Да! Общественный интерес выше...

Мне показалось, что человек, утверждавший, что растрата есть преступление... жалеет, что ему самому не удалось растратить, и потому так зол и строг, а его противник уже растратил, боится быть открытым и потому так чело-
веколюбиво мягок...

Чтоб окончательно не убедиться в этом, я не стал больше слушать — и прошел дальше...

Но мне не везло... Везде, где я видел двоих, я слышал два мнения... а иногда даже три и более. Это противно логике, но русскому человеку, очевидно, нимало не противно...

Мне стало немножко скверно, и я от души пожалел о том, что забыл справиться у старого редактора о цвете, форме и направлении общественного мнения, которым он руководил до своего отъезда в отпуск. Не имея представления — по неопытности моей — о том, каково оно у нас — это общественное мнение, — я готов был предположить, что оно тоже уехало в отпуск из русской жизни. Но в это время мне в глаза бросилась спокойная фигура полицейского, а в голову вскочила одна преоригинальная идея. Я подошел к нему...

— Послушай, служивый, — сказал я... — Не знаешь ли ты, какое у нас сегодня общественное мнение?

— Время? — переспросил он.

— Нет — мнение... Знаешь — разговор... О чем и как говорят...

— Говорят? Про цирк говорят...

— Ну? Что же именно?

— Говорят — очень интересно! Во-первых, ломка... и потом — можно корову выиграть... али самовар...

— Нет, это не то...

— То самое... Оно и есть... Уж нам это известно, мы за непотребством и безобразием обязаны следить... публичные развлечения нам известны.

Нет, он, очевидно, не понимал меня...

И, в смущении, я направился в редакцию, думая, что, может быть, по старым номерам газеты мне удастся определить вид и суть существующего общественного мнения, а также и направление, по коему я должен буду его вести...

В редакции меня ждал некто, очевидно, забывший в этот день вымыть руки, выбрить лицо и почистить костюм. В правой руке у него была палка, в левой рукопись, и на одном усе висело перо какой-то птицы...

— Имею удовольствие видеть нового редактора? — очень басовито, но вежливо осведомился он. Я убедил его в этом.

— Пр-принес р-рукопись... одну... Препочитаюсь — бранд-майор в отставке — Терсит... впрочем, наплевать! Здешний обыватель... свой дом на Грязной улице... но это чепуха! Учился в гимназии... четыре класса... служил... познал несправедливость... и вот принес вопль оскорбленного сердца... Выпиваю и в пьяном виде — дерусь!

Я не смел сомневаться во всем этом, осторожно взял его рукопись, весом не более двух фунтов, и сказал, что — прочитаю ее... непременно...

— Д-да... буду обижен, если не прочтаете. Прежний редактор ничего не понимал в литературе... Трижды я приходил и предлагал ему: «Печатай!» — «Нецензурно», говорит. — «Сокращу!..» — «Все равно нельзя». Раз даже смел сказать мне, что выгонит вон. Хотел его бить... но он осторожен...

— Вы... бьете редакторов, которые... отказывают вам в помещении ваших произведений? — осведомился я, чувствуя, что это высоко интересно для меня.

— Всегда! — кратко и внушительно сказал он. — Бью и публично изрыгаю на них хулу. Заслуживают! Двенадцать лет тому назад написал вещь — и не могут напечатать! В двадцать редакций посылал, наверное, — и ни одна! «Братья-писатели!» и так далее.... Нужно поощрять таланты, а вы, редакторы... чорт!

— Я прочитаю... я вот сейчас возьму и прочитаю... — умиротворяюще произнес я.

— Подожду... — И он сел на стул, грозно насупив брови.

— Нет, знаете что? Вы лучше идите...

— Куда?

— Домой... или куда вам угодно...

— Как эт-то понимать? а? Хорошо, не бойся — пойду... а ты мне дай двугривенный в счет гонорара...

Я дал ему два пятиалтынных, и он ушел. Я отер пот со лба и посмотрел на рукопись. Она была довольно сильно потрепана и называлась... «Взгляд на мир с высоты каланчи. Откровенно философский взгляд на вещи, предметы, факты и события, а также и очерки из быта местной жизни и всякая всячина общежития, изложенная в форме отдельных сцен и в трех отделениях. Часть (отделение) первое... Сверху вниз. Взгляд высокопоставленного человека на низшие потребности людей и необходимость их».

Я отложил «Взгляд» в сторону, чувствуя, что сразу, с первого дня, мне не по силам чтение таких мудрых вещей...

Пришел хроникер и мрачно заявил, что хроники нет.

— То есть — это как же?

— Событий нет...

— Но ведь в городе случилось же что-нибудь за сутки?

— Ничего не случилось. Никто не удавился, не утопился, ниже иным родом покончил с собой. Привыкли все к такой жизни... Живут, живут и привыкнут... Не только по собственному почину не умирают — силком не заставишь.

— Но ведь за сутки в чем-нибудь да выразилась же общественная жизнь! — огорченно воскликнул я.

— Ничего нет... Ни драк, ни краж, никакого озорства. Ничего...

— Да, может, хоть лошадьми переехали кого ни то?

— Говорю вам — нет. Знал бы уж...

— Как же мы без хроники? а?

— Да я чего ни то напишу...

— То есть?

— Выдумую какое ни то событие...

«Да... вон оно что! Значит, для оживления зеркала жизни газете иногда события-то выдумывать прихо-

дится», — сообразил я и в душе восхитился человеческой находчивостью...

Вошла барышня... Совсем молоденькая барышня, с бумажной трубочкой в руке. Она вошла и, покраснев, остановилась у двери.

Я спросил ее, что ей угодно.

— Я, видите ли... написала стихи...

И она уже так покраснела, что мне даже стыдно стало чего-то. Я начал, как мог, утешать и ободрять ее, говоря, что пусть она не смущается — нынче это поветрие, все ныне этим грешат, и что, в сущности, если говорить объективно, так поступок не особенно зазорен и даже может быть прощен ввиду ее молодости. Пусть она доверится мне, — я не буду строг.

Грудным ребенком я сам писал стихи «к ней...»

И даже пробовал трагедию.

— Ах! — сказала она тогда и подала мне свою бумажку...

Крылья ночи
Мне на очи
Темный бросили покров;
Засыпаю
И мечтаю
Про объятья, про любовь...

Читал я и смотрел на нее. А ей было лет так около тринадцати. Увы! скорбно в такие молодые годы испытывать неудачи... и разочарования! Но она испытала их...

Виноват в этом я... Думаю все-таки, что я не до смерти убил младенческую душу...

Потом принесли еще стихи. Тоже девица, но уже лет на тридцать старше первой.

Она была одета в розовое платье, а ее стихи начинались словами:

О, сколь в душе моей сокрыто страсти бурной.
И сколько в голове надежд на счастье чада!

Зубы у нее были черные оттого, очевидно, что чад надежд, переполняя голову, выходил из нее через рот...

Потом еще пришли длинные стихи в клетчатых брюках и в желтых башмаках. Очень странные. Потом явилась поэма в серенькой кружевной накидке. Еще по почте

получено четыре пакета стихов. Наконец я разделался с ними и взялся за корреспонденции. Корреспонденции были разные. Большинство из них были длинные, безграмотны и таинственны — никак нельзя было понять, о чем они именно трактовали. Некоторые были кратки, ясны и грамотны — но в силу этих причин неудобны для печати. Были также серенькие корреспонденции, кисло-сладкого характера и невинного содержания. Мне, по неопытности моей, самыми удобными для газеты корреспонденциями показались краткие, ясные и грамотные. Их я решил сдать в набор. Хроникер преподнес несколько событий. Подкинул трех младенцев, обличил мостовые, пустил в городскую пыль несколько стрел остроумия и полил все это водой пространного рассуждения о женщине, покончившей с собой самоубийством. Вышло очень хорошо.

Затем я прочитал фунтов тридцать беллетристики. Несмотря на легкость содержания, она довольно сильно подавила мой дух, и точно я болотной воды напился — так неловко было мне.

Потом пришел некий почтенный человек, просивший обличить своего соседа, удивительного мерзавца, убившего у него камнем курицу. Я отказался от обличения, ссылаясь на его голословность. Тогда он ушел, обещая мне подтвердить факт трупом курицы, который он завтра готов принести в редакцию.

— По моему мнению, — сказал он мне на прощание, — долг прессы в том именно и заключается, чтоб доводить до сведения общества факты такие вопиющие, как вот этот, и защищать обывателя от злодейских посягательств на жизнь его домашних животных. Я, милостивый государь, человек семейный.

Мне его взгляд на задачи прессы показался несколько односторонним, и я задумался по поводу его. Но в то же время мне льстило то, что вот обыватель обращается к прессе и ищет у нее защиты. Значит, он доверяет ей и считает ее в некотором роде силой. Это хорошо.

Пришел человек с желчным лицом и с опровержением.

— Это вы и есть редактор? — кислым тоном спросил он... — Вы... ну да... теперь я понимаю, каким образом в вашей газете печатается разная голословная чепуха. Вы слишком молоды для ответственной роли редактора...

вот что, милостивый государь! В одном из номеров вашей газеты было напечатано скандальное сообщение о том, что я будто бы прибил свою горничную. Какой дурак сообщил вам такую чушь? Удивительно! Она сама меня прибила туфлей, моей же туфлей и отшлепала, — каков цинизм, а? Но как бы то ни было — я ее или она меня — это не важно... важно вот что: с какой это вы стати взяли, что мои отношения к горничным подлежат контролю прессы? а? Да вы понимаете, что я с вами могу за это сотворить? У меня, батенька, т-такие связи, что если мне цыкнуть, так вас в двадцать четыре часа...

— Позвольте, но ведь сообщение сделано на основании полицейского протокола... — заметил я.

— А вам какое дело до этого?

Я стал убеждать его, что мне есть до этого дело, ибо это рисует нравы.

— Задача прессы, государь мой, не в том, чтоб рисовать что-то такое, а в том, чтоб проводить в жизнь идеи добра, справедливости и благородства. Да. Вот вы этого не знаете, а беретесь за редакторство.

Я возразил, что не считаю драку с горничной туфлями благородной дракой и...

— А что же, на шпагах мне с ней драться? — сердито и ядовито спросил он.

Я сообщил ему, что, на мой взгляд, вовсе не следует драться, а...

— Вы ничего не понимаете в житейских отношениях! Ваш долг — восстановить истину в ее первобытном виде...

Тогда я спросил его, какова она была, эта истина, в первобытном виде, но оказалось, что в этом виде ее нельзя было напечатать, не нарушая устава о неприкосновенности, о чем я и заявил ему.

Тут он обругался и убежал, сильно хлопнув дверью.

У меня уже немножко кружилась голова, когда явился человек, заявивший, что он есть не кто иной, как убийца курицы.

Я сделал строгое лицо.

Оказалось, что курица была возмездием за ухо, оторванное сыну убийцы собственником курицы. Затем оказалось, что долг прессы — защита детей с оторванными ушами.

Я принял это к сведению.

Все это мне нравилось — я видел, что обыватель признает прессу, даже говорит о ее долге. Голова побаливала...

Пришел очень приличный и весьма любезный человек. Он раскланялся, сел, высморкался и начал:

— Я к вам, господин редактор, с просьбой о некотором одолжении. Видите ли, в чем дело: принесут вам тут одну инсинуацию на меня, плод творчества некоего туземного писаки... Будет он там распространяться о том, что у меня недочеты и что я будто бы... употребляю средства Общества на устройство пикников. Не верьте и не помещайте... Ложь из зависти. Пикники, действительно, люблю, вот скоро устраиваю еще один и буду почтительно просить вас принять в нем участие. С веселыми дамами, с шампанским... превесело будет, чорт возьми!.. Пожалуйте?

Ах, какое милое, простосердечное отношение к прессе! Как ошибаются те, которые утверждают, что обыватель и пресса — непримиримые враги!

— Знаете, — продолжал он, — мое мнение такое: долг прессы — стоять как можно ближе к жизни и ее интересам... Жизнь — это каждый из нас. Знаете, как говорит Гейне, «человек — это вселенная, под каждым гробовым камнем погребена целая всемирная история». Я вселенная, вы вселенная, он вселенная, — таким образом, интересы прессы — интересы каждого из нас, и наоборот, — верно? Значит, вы должны защитить мои интересы, правильно?..

Экая прямая логика у этого милого человека! Приятно поговорив с ним с полчаса, мы радушно распростились. Я, собственно, не согласен несколько с ним, но после выясню мою точку зрения...

И, наконец, я пошел домой. Так разнообразно истек первый день моего редакторства. Я был немного утомлен с непривычки и, придя домой, лег спать. Снились мне несколько странные вещи.

Будто бы вокруг меня витает рой младенцев, дам, дев, девушек и юношей, и все сразу читают мне разнообразные стихи. Рифмы сыплются мне в уши, как горох, фальшивые цезуры пилят меня, как... тупой пилой... Потом являются зрелые и незрелые мужи и жены в фантастических одеяниях и читают загробными голосами поэмы,

романы, повести, рассказы, этюды, эскизы, очерки, памфлеты, опыты, статьи, кроки, сцены...

Еще снилось мне, якобы иду я по вековому лесу, растущему на болоте, и сквозь тьму и ветви деревьев за мной, вкусно чавкая челюстями, следует крокодил. Следует неотступно и почему-то плачет. Физиономия у него как бы знакомая...

И еще снилось мне, будто бы мне велят петь сладкие кантаты, а у меня для оных голоса нет. И, разевая рот, я безмолвствую.

Тогда мне втыкают в спину иглу, и я издаю соответствующий случаю звук, но глотку мне немедленно затыкают, я задыхаюсь и... просыпаюсь...

Второй день моего редакторства был весьма чреват событиями.

Прежде всего судьбе угодно было познакомить меня с литератором-туземцем. Это был господин неопределенных лет, но весьма определенной физиономии и сильно потертый временем. Будь я романистом — я сказал бы: «преступления и страсти отметили его чело роковой печатью», — но я не романист и говорю просто: физиономия его была хищна, жалка и изношена; в силу гармонии этих причин она не вызывала никакого доверия к себе.

— Имею удовольствие видеть нового редактора? — спросил он, уставив мне в лицо серые острые глаза.

— Да! — вздохнул я.

— Езоп Фаланга! Бывший сотрудник органа, которого вы в данный момент имеете быть редактором. Корреспондирую во многие столичные и крупные провинциальные издания с того момента, как ушел из вашей газеты. А ушел я из нее потому, что редактор, бывший до вас... как бы это вам определить мягче? Гм! Ну, одним словом, мы с ним принципиально разошлись. Он, знаете, слишком легко относится к принципу — фундаменту жизни... Он, в сущности, знаете, как себе был...

— Чем бы я мог вам служить? — спросил я, ибо не чувствую любви к биографиям... Скучный род литературы.

— Пришел предложить вам свои услуги как сотрудника. На любое амплуа. Я со всем справляюсь. И мы бы сошлись, я не ригорист... и люблю мир. Мои условия... обыкновенные.

Но это было не совсем верно... Его условия, с моей точки зрения, были далеко не обыкновенны... Так, например, статья, написанная просто, — стоит две копейки; с жаром — уже три, с жаром и негодованием — три с половиной и так далее, пока, наконец, он не дошел до статьи с благородным гневом по пяти копеек за строчку и до статей с гражданским мужеством — по гривеннику.

Я возразил ему, что столь разнообразная и сложная котировка, пожалуй, поставит в большие затруднения нашу контору...

— Это ничего! Я помогу ей сам... обязательно, — воскликнул он. — Когда я работал в «Карболке»...

— «Карболка»?! Вы работали в ней? Но ведь ее принципы противоположны нашим...

— Это ничего! — повторил он... — Я могу изменить принципы по вашему желанию... Для такого опытного работника, как я, — это не составит затруднения. Знаете, какой случай был со мной года три тому назад?

И он пустился рассказывать мне о случае...

Воистину, это дьявольски интересный случай! Он в одно и то же время сотрудничал в пяти газетах противоположных направлений... В понедельник ему нужно было быть радикалом — он был им, во вторник либералом — он был им, в среду консерватором — он был и им, в четверг он был только спиритом и христианином, в пятницу ему нужно было быть чистым эстетиком и язычником-пантеистом... он был!

И, наконец, субботу и воскресенье он был пьян, что нельзя поставить ему в вину, принимая во внимание каторжный труд, которому он посвящал пять дней своей недели...

Я видел пред собой интереснейшего человека... и я очень пожалел, что не могу предложить себя ему как антрепренера...

Я бы стал возить его по ярмаркам и показывать публике как образец редкой разносторонности.

Мне казалось, что на его теле есть «пунктики», этикие, знаете, чувствительные местечки, регулирующие его словоистечение: подавить один из них — он заговорит тако, подавить другой — он скажет инако, третий — он заговорит в другом тоне...

Не знаю, насколько это удобно для газеты, но мне столь современно усовершенствованный человек не понравился.

Человек, внутреннее содержание которого свободно формируется посредством внешних нажимов, — неудобен для литературы, по моему мнению.

Я так и высказался, а он удивился.

— Я не понимаю, право, что вас смущает. Ведь я могу действовать всецело в вашем духе.

Но мы не сошлись с ним все-таки.

И он ушел, мне показалось, разочарованный и сердитый.

Я же погрузился в думы о жизни, которая так разнообразно prepares человека к смерти. Сначала частями вытравит из него душу, потом примется за ум, затем постепенно превращает в прах тело. Веселенький процесс...

Затем на меня пошел начинающий литератор, всех видов. Он наступал рассыпным строем. Первый застрельщик, которого я увидел, был старенький старичок. Ему было лет восемьдесят, и он выстрелил в меня стихами о козочке и розочке. Приходили беллетристы, драматурги и поэты без счета.

Был фонарщик, написавший стихи о могилах, и могильщик, сочинивший нечто о звездах. Приходил человек с трактатом о геморрое как причине распространения пессимистических теорий. Приходил человек, сразу попросивший аванс.

— Вы что-нибудь написали? — спросил я его.

— Нет... Но я, пожалуй, могу... Вам что нужно — стихи или проза?

Я испугался, что он и в самом деле, пожалуй, напишет что-нибудь, и дал ему аванс — в огромном размере пятнадцати копеек.

Он принял это как должное и ушел. Благородный человек! Как он дешево берет за то, что ничего не делает. Я рекомендую его гуманный поступок со мной за образец всем начинающим литераторам. И все редакторы, я уверен, единодушно присоединятся к моей рекомендации.

Обилие начинающих литераторов, в конце концов, совершенно подавило меня и повергло в мрачное уныние.

Я думал — зачем природе, в которой, что бы там ни говорили любители гармонии, приписывающие природе разумное стремление к какой-то таинственной цели, — в которой и без начинающих литераторов ужасно много совершенно лишних и никуда не годных вещей, — зачем природе нужны начинающие литераторы в таком грандиозном количестве?

Пришел будочник. Он был огненно-рыж и сугубо мрачен.

— Их благородие помощник частного пристава прислали! — заявил он гробовым голосом.

— Что они прислали? — осведомился я.

— Меня вот. Они говорят, что вы пропечатали неправду насчет женщины... Такого происшествия не было в нашей части. У нас живет народ смирный. Точно, что была драка, а самоубийств не было. А вот драка, это точно, была. Только дрались не женщины, а сапожники, и один другому ухо откусил. Вот вы, видно, и смешали эти дела. Их благородие говорит, что надо это исправить. Они бумагу прислали, вот...

И он сунул мне бумагу. В ней кратко опровергался факт самоубийства. Меня это огорчило, хотя я и не забыл о том, что этот факт — результат свободного творчества нашего хроникера.

— Господин газетчик! А то вот еще было у вас напечатано про буйство... Нельзя ли и это исправить?

— А разве и буйства не было? — с унынием спросил я.

— Нет, оно верно... мордобой был.

— Ну, вот видишь! — с гордостью заметил я.

— Верно... — вздохнул он... — Только все-таки нельзя ли исправить? Потому как люди это мне знакомые...

— Ну?

— Знакомые... кум один-то... а другой сродни... третий — тезка... Зазорно им... Жили-жили... люди все семейные, и вот — в газету попали.

У него был предвзятый взгляд на газету. Он говорил «в газету» таким тоном и с такой гримасой, что это оскорбило меня.

— Солдат! — сказал я строго и внушительно поднял палец кверху. — Говори о газете без гримас и почти-

тельно. Ибо ты — о, солдате! — не понимаешь ее значения... Ты видишь, я в газете, и однако...

— Ведь это, конечно, кому какая доля, — вздохнул он. — Мало ли что случится с человеком... Не уберешься...

— Это ты о чем?

— Да вот насчет вас... Вы сказали — сам я в газете, я и говорю.

Он не понимал меня. И он ушел недовольный мной. Но я был рад, что так говорил со мной. Я боялся, что он будет строг.

Пришел хроникер. Он улыбался. Довольство светилось в каждом волоске его усов, и они подрагивали.

— Какой вам аванс закатали! — с восхищением изрек он, пожимая мою руку.

— Аванс? Издатель?

— Нет, не издатель, а «Карболка».

Я взял номер газеты из его рук и прочитал в ней:

«Мы искренно поздравляем подписчиков «Саламандры» — этого приюта моральных и интеллектуальных калек — поздравляем их с новым надзирателем за сотрудничающими в ней убогими людьми. Мы говорим о новом редакторе «Саламандры», господине, подписывающем свои туманные измышления за недостатком собственного приличного имени пошлым псевдонимом Паскарелло — что значит площадной гаер. Это новое приобретение «Саламандры» несколько знакомо нам, и мы считаем необходимым поделиться с публикой некоторыми данными из его биографии — кладбищенский могильщик, некогда подозревавшийся в ограблении трупа, за что он и был лишен должности, вполне соответствующей его природным способностям...»

Далее шли еще несколько фактов из моей жизни и сведений обо мне, совершенно новых для меня, и статья была заключена патетическим восклицанием:

«Вот кто ныне руководит общественным мнением! О времена! О нравы!»

Мне показалось, что земля разверзлась подо мной и образовала вулкан, сразу обдавший меня волной липкой и пахучей грязи. Но я быстро сообразил, что это открыт исландский гейзер газетной полемики... не больше...

— Вы как... вам это нравится?! — спросил я хроникера...

— Подло, конечно... но хорошо! Бойко, ядовито! Распишитесь в получении...

— То есть?.. — спросил я уныло...

— Будете отвечать?..

— Н-нет, знаете... я недостаточно... усвоил себе такие приемы... Я еще неопытен в полемике...

— Следует поторопиться...

— Да?

— Конечно!.. А то вам перервут глотку...

— Разве это... принято в прессе?

— Как же?.. Во всяком торговом предприятии необходима конкуренция...

— Но мне кажется, что пресса преследует не исключительно коммерческие цели...

— Это в идеале пока еще... На самом же деле присмотритесь к отношениям ее органов друг к другу, и вы увидите, что эти отношения регулируются конкуренцией: на популярность в публике — цель явная, на увеличение подписки — цель скрытая и первенствующая...

— Вы давно работаете... — я не решился назвать место, где он работает, так, как мне хотелось назвать его в тот момент...

— Третьи зубы съедаю... — кратко ответил он.

Я понял его жаргон. И я пожалел его. Несчастный!.. Он ничем никогда не возмущался и ничему и никогда не выражал каких-либо иных чувств. Я начинал постигать психический процесс, который привел его в состояние такого одеревенения...

Потом пришел человек, объявивший мне, что он хотел бы поговорить со мной о необходимости изменения тона газеты. Я попросил его объясниться...

— Видите ли что... постоянные указания людям на их пороки... едва ли в состоянии исправить кого-либо. Людям нужна ласка, теплая ласка матери... Ну, и с этой точки зрения ваш орган — не удовлетворяет своей задаче... Зачем говорить все только о темных и горьких вещах? В жизни есть явления светлые и сладкие...

У этого господина был трехэтажный подбородок и славные, глазированные жирным румянцем щеки. Я вспомнил

желтые и худосочные физиономии всех известных мне представителей прессы. У этого господина была недурная эрудиция и громадный запас светлых фактов, которыми он поддерживал ее. Факты поражали своей свежестью — казалось, они только что создались в его воображении. Очевидно было, что пункт, с которого наблюдал жизнь этот человек, — замечательно удобный пункт для сохранения чистоты души.

Он долго говорил, он много сказал... Задача прессы, по его мнению, — во что бы то ни стало поддерживать дух общества и его надежды на будущее. Отсюда вывод: с печальными явлениями нужно обращаться осторожно и не часто рассказывать о них обществу, это ведет к пессимизму. Мы не сошлись с ним. Мое мнение — надежды, позволяя думать о будущем, мешают правильно понимать настоящее и даже развивают индифферентизм к нему. Господин рассердился на меня за все это и ушел, сказав мне, что он прекращает подписку...

И еще пришел господин с опровержением. В пылу гнева он раздробил своей горничной челюсть, бросив в нее машинкой для снятия сапог. Наша газета нашла необходимым заметить по этому поводу, что машинки для снятия сапог не могут быть применяемы к делу воспитания порядочности в прислуге. Господин не соглашался с этим... и приводил в доказательство ложности нашего взгляда тот факт, что он уже усадил одного редактора в тюрьму.

— Задачи прессы — не оглашения скандалов, а проповедь культуры, культуры, культуры, милостивый государь! — И, грозя побить меня палкой при первой же встрече со мной, он убежал взбешенный.

А я остался на своем посту. Меня радовало то обстоятельство, что у каждого обывателя есть свой взгляд на прессу, но я огорчился, что обыватели не имеют общего взгляда на нее. Впоследствии я увидал, что это разнообразие взглядов скрывает в себе очень хорошо построенный общий взгляд... и это еще более огорчило меня.

Затем я получил письмо по городской почте. В нем было кратко и ясно сказано следующее:

«М. Г.

Вы приглашены на пикник известным вором и шантажистом Х. У.!!! И вы дали согласие ему!!!! Это подло! И это рисует вас как...»

Я не выговорю, как, по его мнению, это меня рисует...

Я только почувствовал, что все тело мое ноет, ноет так, как будто б меня уже вздули.

Мимо окон редакции ходили какие-то мрачные фигуры. От контролера принесли гранки завтрашнего номера. Оказалось, что я неудачно выбрал корреспонденции, много послал хроники... Оказалось, что вообще я не имел точного представления о контроле... Это печальное обстоятельство привело к тому, что все статьи, посланные мною к контролеру, были им гильотинированы.

Он отчертил им начала, четвертовал их и вытянул из них жилы смысла. В красных рубцах лежали предомной гранки, и мне казалось, что это их до крови высекли.

Кое-как склеив изувеченные остатки некогда вполне здоровых статей, я отправился домой, стараясь пройти так, чтоб менее бросаться в глаза прохожим. Благополучно придя домой, я сел в кресло, пытаясь подвести итоги дня. Но я тотчас же погрузился в кошмар... Мне начало казаться, что из всех углов моей комнаты на меня смотрят суровыми глазами разные чудища.

Ах, как страшно быть предметом их внимания!

Затем мне показалось, что будто б я и издатель, взяв друг друга за руку, в мирном молчании и живописно нищенских костюмах шествуем по пустыне куда-то вглубь ее, где тьма и голод.

Затем на макушку мне сел ворон и стал методически продавливать мой череп. Иногда он заглядывал в мои глаза, и его клюв, красный от моей крови, — я ждал — лишит меня зрения.

Потом при звуках торжественного марша меня повесили вверх ногами на высокое дерево, а люди, которых я видел за день, танцевали подо мной фантастический танец торжествующих победителей.

Я же висел без движения, и единственное желание, которое мешало мне погрузиться в нирвану, было желание высморкать нос.

Но, повешенному так неудобно, мне и этого нельзя было сделать.

Но если б я знал, что будет дальше со мной! Если б я знал, что я, редактор «Саламандры», вступлю в полемику с «Карболкой»!

Если б я знал это — я застрелился бы ранее, чем допустил себя пережить это...

Ибо в конце полемики я все-таки ведь застрелился же! И вот! Я дожил до «полемики».

Началось с того, что однажды утром, подавая мне чай, моя кухарка оповестила меня:

— Приходил какой-то...

— Ну?

— Прохвост, надо быть...

— Почему?

— Да так. Разговор у него пустой...

— Говори толковее.

— Да я скажу... Про вас спрашивал... «Водку пьет твой барин?» — «Пьет», мол. — «Много?» — «Разно, говорю: когда больно много, когда поменьше». — «А насчет женского полу как?» — «Это, мол, нам неизвестно». — «Тебе, говорит, никаких зазорных предложений не делал!» Рассердилась я. «Что ты, говорю, анафема? Смеешься, что ли?» А он уговаривать: «Ты, говорит, бабушка, не сердись и говори все, как есть по правде. Вот тебе...» — и дал мне три двугривенных. «Сколько, говорит, у него белья, и какое это белье?..» И вообще спрашивал про домашнее житейство ваше... Я говорю: «Вам, господин, зачем все это?» А он: «Это, говорит, секрет покаместь. А вот, коли ты грамотная, то во вторник узнаешь». И чего уж это он — не могу в разум взять! Так, не сказавши, и ушел.

Я задумался. Любопытство этого господина было очень странного характера, с этим, я полагаю, всяк согласится... Но, подумав немного, я скоро забыл обо всем этом, обремененный своими обязанностями.

Я принимал опровергателей, прочитывал пудами творения начинающих литераторов, выслушивал от обывателей их разнообразные взгляды на прессу... И мне казалось, что я живу в густом и тесном болоте, засасывающем меня все глубже и глубже в свой неприятно

пахучий ил, в нем цвели разные цветы благородных намерений, корни которых питала влага грязненьких побуждений, в нем кишели массой бесхвостые и безголовые, невероятно уродливые существа, — и это были обывательские мысли. В нем было еще много всякой дряни, и вся она кипела, разлагалась и наполняла воздух ароматами необыкновенно крепкими.

Седые волосы, появившиеся у меня на висках, всего лучше свидетельствовали о сладости моего бытия...

Мрачные видения смущали мой сон...

И вот — я дожил до некоего вторника.

В этот день я пришел в редакцию и увидел на моем столе номер «Карболки». Он был развернут, и его фельетон был заботливо и любезно очерчен красным карандашом. Я взял в руки номер и стал читать его...

«Прогулка по городскому саду при благородном свете беспристрастия» — называлась эта статья...

«Читатель! — гласила она... — Позволь мне рекомендовать тебе ту кучку монстров и раритетов, которая всегда торчит в городском саду и вызывает у тебя изумление своим размашистым поведением и той намеренной эксцентричностью костюмов, которая всегда достигает своей цели, сразу обращая на себя внимание людей, действительно благомыслящих и неподкупно любящих свою родину. Ты, наверное, уже давно заинтересован внутренним содержанием этих лиц, всячески ухищряющихся импонировать тебе и во что бы то ни стало желающих быть популярными... И вот мы — не стесняясь приличиями в нашем искреннем желании помочь тебе правильно оценить этих господ, претендующих на благородное звание русских людей, — раскрываем пред тобой их прогоркшие, развращенные души и срываем маски благородства и оригинальности с их хамелеоновских физиономий... Ты видишь этого громадного детину в шляпе турецкого бандита или плантатора восточно-американских штатов? В руках его толстущая палка, — может быть, на ней есть и запекшаяся кровь, — и он бросает фиолетовые взоры животной страсти на проходящих мимо благородных матрон...

Читатель, не бойся его! Не так страшен чорт — как его малюют! Мы имеем подробные сведения об этом господине».

И далее сообщалось об этом господине, что он женолюбив и всегда склонен к прелюбодеянию, что он бил и забил в гроб свою жену, что он ныне склоняет на прелюбодейный блуд свою кухарку, невинную девицу пятидесяти восьми лет и семи месяцев от роду, что он никогда не покупает носовых платков, но тем не менее имеет оные, что у него нет белья, что он трижды в своей жизни не заплатил денег извозчикам за провоз его громоздкой туши... что, наконец, его развращающий пессимизм расцвел на почве хронического расстройства желудка и что в пользу истинности последнего обстоятельства автор имеет в своих руках вещественные доказательства своей правоты и болезни «этого господина».

Я читал и изумлялся. «Боже мой, какие люди есть на свете!» — думал я в тоске и страхе. А правдивая статья звенела медным звоном, поражая мой слух благородством своего тона и едкостью речи.

«И это человек!» — гласила она.

И я про себя восклицал:

«И это человек!»

Я был переполнен пылким негодованием к нему — этому человеку. Уважение к автору громовой статьи росло в груди моей и буквально распирало ее. Я хотел крикнуть ему: «бис! bravo!» Но — увы! — я сообразил, что он не услышит меня.

Ах, я люблю людей, пылающих благородством!

Мне решительно все равно, чем они были до того, как их прорвало горячей тирадой по адресу порока. Я по отношению к ним — читатель и слушатель, мне не нужно знать, гармонирует ли их слово с их делом; требовать этого от людей — бесполезно, это чрезмерно роскошное требование! И если пылкое слово защитника добродетели проникает мне в душу и зажигает в ней искорки стыда за ее слабость, — я ценю человека, успевшего сказать такое слово. Да, я ценю его и всегда готов прибавить ему от моего скудного заработка еще по копейке за печатную строчку, помимо того семишника, который платит издатель за изложенное на бумаге благородство взглядов.

Человек любит быть благородным в свободное от непосредственных обязанностей время...

Я был в восторге от этой прекрасной статьи, написанной в высшей степени живо, образно и метко, стилем ясным, простым и вполне достигающим своей цели. В ней было еще несколько живых характеристик представителей нашего общества, и все они поражали своей мудростью, знанием человеческой души и полным забвением приличий, столь необходимых в сношениях людей друг с другом, но в данном случае смело, с истинно гражданским мужеством принесенных на алтарь правды и чести автором этого фельетона, человеком, действительно, в поте лица зарабатывающим свой семишник.

О семишник, источник благородства, главный стимул наших деяний и роковой рычаг, столь часто свергающий нас с почвы, и без того шаткой, в гнилую пропасть бесстыдного служения Мамону, в область подлости, где мы теряем всякое представление об истинных потребностях духа нашего, всякие заботы о растленной жизнью душе нашей!

Много, много лирических дум возбудила во мне статья этого благородного человека!

И вдруг!.. О, будь я проклят!

И вдруг пришел наш хроникер — мой злобный гений.

По его сияющей физиономии, по его танцующим усам я сразу заключил, что он «на седьмом этаже блаженства», — как любил выражаться один мой приятель.

— Читали? — спросил он меня.

Я утвердительно кивнул головой.

— Славно вас отделали!.. — восхитился он.

— Где?

— Как — где? В «Карболке»... в «Прогулке»...

— Да разве это меня? Р-разве это я?

— Ну вот еще! Сам автор фельетона говорил мне, что это вы! — резонно сказал хроникер.

Сам автор фельетона! Мне оставалось поверить, что этот, столь жестоко описанный «турецкий бандит» — я и есть, — раз сам автор фельетона категорически утверждает, что это так.

— Но он, может быть, ошибся? а? — робко выразил я надежду.

— Не понимаю, как это можно тут ошибиться! — пожал плечами хроникер. — Раз я пишу о вас — зна-

чит, я пишу про вас... А вы почему не верите, что это вы?

— Да мне, видите ли, кажется, что я не такой уж...

— А! А вы присмотритесь к себе попристальнее...

Я почувствовал, что меня «оглушили», выражаясь новейшим литературным языком, или — меня «взбукетенили», говоря тем же стилем, меня «взъерепенили», «подмазали», «задали феферу» и показали мне полемическую «коку с соком».

Я почувствовал себя нехорошо и отправился домой.

Там я взял зеркало, поставил его против себя и с холодным ужасом в душе стал рассматривать отраженную в нем физиономию — мрачное вместилище всевозможных гнусных пороков. Так вот каков я! До сей поры я не знаком был с собой — значит... И я смотрел, смотрел на себя, пытаюсь открыть на лице своем печати совершенных мною преступлений... Но я видел мало.

Лунообразное лицо мое не отражало на себе ничего, кроме гнетущей тоски. И тогда во мне пробудилось горячее желание насладиться лицемерием автора фельетона, на роже которого — автора, конечно, а не фельетона — должны были сиять разноцветные добродетели. О, сколько бы я дал ему за одно посмотрение на благочестивый лик его! Но, сообразив, что мой ядовитый взор мог омрачить сияние его младенческой рожицы, — я испустил тяжкий вздох разочарования и погрузился во мрак скорби о себе... Я припомнил все, совершенное мной...

Но, сосчитав мозоли на руках, я не нашел пятен преступлений на душе моей. Ах, это меня не утешило! Я знаю, что человек почти слеп, когда он смотрит на себя, я знаю, что он не видит теней на сердце своем, и только светлые пятна бросаются ему в глаза.

Но вдруг я подумал: «Однако... однако, откуда автор фельетона собрал столь точные сведения о количестве моего белья, о моих увлечениях дамами и о прочем, что поставлено им в столь тяжкую вину мне и что так омрачило репутацию мою?»

И тогда я вспомнил о господине, собиравшем обо мне справки у Акулины Ивановны, моей почтенной кухарки. Я удивился и умилился: вот что значит быть апологетом истины! Человек ничем не брезгает ради торжества ее...

И я позвал кухарку и сказал ей:

— Ивановна! Когда в другой раз придет этот достойный человек, расспрашивавший тебя обо мне и о жизни моей, — ты отнесись к нему с почтением! Пригласи его на кухню к себе и напой его чаем — он заслуживает этого...

— Вчера опять был... для воскресного фальтона какого-то спрашивал про вас. Я говорила ему: «Войди, мол, миленок, попьем кофию вместе...» — «Вдругорядь, говорит, приду, бабушка...» Неколи, вишь, ему было.

Отдав это распоряжение, я — чорт меня дернул! — вздумал написать маленькую поправку к фельетону...

Мне хотелось объяснить, что обвинение меня в женолюбстве построено только на почве моих платонических чувств к одной женщине и что, на мой взгляд, оно не особенно прочно построено, а что касается до носовых платков, то я в опровержение каких-либо подозрений предлагал придти ко мне и посмотреть оплаченный мной счет из магазина. Там четко было написано, что платки я покупал и деньги за них полностью платил.

Но — увы! Через день появилось опровержение моего опровержения. Оно озаглавлено: «Честь по представлению о ней редактора «Саламандры».

«Эта убогая газета, — говорилось в статье, — все понимает по-своему. Обратите внимание на ее правописание — она не пишет «честь» — а пишет «чeсть».

И затем начиналось разъяснение, что такое честь с мягким знаком на конце и как надо понимать честь с твердым знаком. Выходило, что твердый знак, хотя он и был поставлен к чести по вине корректуры, радикально изменяет представление о чести.

Порядочный человек должен иметь при себе честь с мягким знаком на конце, люди же, употребляющие честь с твердым знаком, — душегубы и разбойники. Я возразил кратко и ясно, сказав, что это только корректурная ошибка.

Мне ответили, что за недостатком аргументации я, конечно, не мог найти иного оправдания своей моральной нищеты и духовной извращенности. Кстати, было упомянуто и о том, что моя бабушка собирала на папертях

церквей милостыню, а мой дед был горчайший пьяница, а незадолго перед смертью сошел с ума.

Я немного разгорячился и заявил, что как моя бабушка, так равно и дедушка никакого отношения к прессе не имели и даже всю свою жизнь и не знали о ее существовании.

Тогда мне сказали, что человек, публично сознающийся в своем незнании задач прессы и в то же время состоящий руководителем одного из ее органов, — достоин быть за это повешенным.

Я взбесился и ответил кратко:

«Вы сами все висельники!»

Это было принято за оскорбление. В новой статье мне ответили внушительно и тяжело. Перечислив все свои будущие заслуги пред обществом, «Карболка» напечатала мою подробную биографию, по прочтении которой на моей голове сразу образовалась внушительная лысина. Я стер себе зубы, скрежеща ими, и разбил руку, стуча ею о стол. В заключение статьи мне представлялась на разрешение такая дилемма: или быть избитым палками, или публично покаяться во всех моих преступлениях и благоразумно предать себя в руки правосудия.

Я чувствовал себя квартирующим на раскаленной сковороде и вкушающим горячие угли. Я чувствовал себя неспособным к такой полемике, хотя во дни моей юности и славился как ловкий и смелый кулачный боец.

.....

По всем вышеизложенным причинам я впал в отчаяннейшую тоску. Это было мучительное состояние, выход из которого, я знал, один — самоубийство. Я всегда в такие моменты и прибегал к самоубийству и не знаю лучшего средства против сплина. На самоубийство обыкновенно смотрят ошибочно — считают его весьма часто преступлением и всегда почти малодушием. Это безусловно неверный взгляд. Самоубийство — великодушный поступок, и если бы разные никому не нужные и слабые для жизни люди были несколько вдумчивее и более серьезно относились к жизни — она была бы гарантирована от таких громадных скоплений элементов, никуда не годных в смысле продуктивности их бытия.

Самоубийство — это самодействующий запасный клапан, выпускающий из жизни излишки дурных испарений. И только.

И вот я решил покончить с собой. Я с трудом решаю, но не привык медлить, раз уже решил.

А посему я вынул свой револьвер, тщательно зарядил его, нащупал рукой сердце и уже готов был прекратить его биение, как вспомнил, что «Карболка» может опередить нашу газету сообщением о моей трагической кончине.

И, движимый чувством любви к моей газете, я, отложив револьвер в сторону, взял в руки перо, чтоб написать о себе несколько теплых слов. Ибо, по совести говоря, кроме себя я не знаю человека, который имел бы так много права почтить меня парой теплых слов. Да, в течение моей жизни я сделал себе много совершенно бескорыстных услуг и могу вполне искренно сказать себе: «Спасибо, брат! Ты мог относиться ко мне гораздо хуже и не относился так — спасибо же, брат!..»

И вот я сел за стол и написал хронику.

«Трагическая смерть М. Г. Паскарелло.

Вчера ночью, в 11 ч. 55 м., мало известный в настоящем литератор, наш уважаемый сотрудник (имя рек), — лишил себя будущего выстрелом из револьвера в левую сторону груди. Пуля, раздробив ребро, вошла в сердце, — сердце было мягкое и хранило в себе много тяжелых воспоминаний, а потому, не желая увеличивать собой общей суммы тяжести в сердце покойного, пуля, пробив его навылет, впилась в спинку кресла.

Покойный был человек крупного роста и носил широкие одежды, за что раз подвергся ядовитому обличению в печати.

Но мы надеемся, что теперь, ввиду его смерти, — не будут ставить ему в вину любовь к некоторой эксцентричности в костюме; не надо забывать, что, как бы мы ни одевались, в конце концов всех нас ждет один и тот же универсальный костюм — саван. Мы не будем говорить о заслугах покойного перед обществом, мы обойдем молчанием и его личные свойства, — но уже один тот факт, что он решился умереть в таких молодых летах, ясно свидетельствует, как неустанно этот человек до последнего

момента своей жизни боролся со всем, что ненужно в жизни, и как последовательно он истреблял его. Этот же факт рисует и недюжинный ум покойного. Что сказать еще о нем?

Скажем главное — он умер. Мы все тоже умрем со временем — это факт. Все люди, покойные и беспокойные, будут абсолютно покойными, ибо всем, рано или поздно, придется лечь в могилу. Ввиду этого обстоятельства, также и в силу нашего полного незнания о том, что нас ждет за гробом, — мы рекомендовали бы публике, — как нашим читателям, так равно и собратьям по искусству просвещения, — быть, елико для них возможно, порядочнее.

Вот все, что мы имеем сказать по поводу роковой кончины нашего сотрудника. Мир душе его!»

Написав это, я расстегнул рубашку и выстрелил себе в грудь.

Все произошло так, как написано мною, — пуля пробила меня насквозь, и вслед за ней из меня выскочила душа.

Вследствие этого я умер.

ДЕЛО С ЗАСТЕЖКАМИ

. Нас было трое приятелей — Семка Каргуза, я и Мишка — бородатый гигант с большими синими глазами, вечно ласково улыбавшимся всему и вечно опухшими от пьянства. Мы обитали в поле, за городом, в старом полуразрушенном здании, почему то называвшемся «стеклянным заводом», может быть, потому, что в его окнах не было ни одного целого стекла. Мы брали разные работы: чистили дворы, рыли канавы, погребя, помойные ямы, разбирали старые здания и заборы и однажды даже попробовали построить курятник. Но это нам не удалось — Семка, всегда относившийся педантически честно к взятым на себя обязанностям, усомнился в нашем знакомстве с архитектурой курятников и однажды в полдень, когда мы отдыхали, взял да и снес в кабак выданные нам гвозди, две новые доски и топор работодателя. За это нас прогнали с работы; но так как взять с нас было нечего — к нам не предъявили никаких претензий. Мы перебивались «с хлеба на воду» и все трое ощущали вполне естественное и законное в таком положении недовольство нашей судьбой.

Иногда оно принимало острую форму, вызывавшую в нас враждебное чувство ко всему окружающему и увлекавшее на подвиги довольно буйственные и предусмотренные «Уложением о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»; но вообще мы были меланхолично тупы, озабочены приисканием заработка и крайне слабо реагировали

на все те впечатления бытия, от которых нельзя было **чем-либо** поживиться.

Мы все трое встретились в ночлежном доме недели за две до факта, о котором я хочу рассказать, считая его **интересным**.

Через два-три дня мы были уже друзьями, ходили **всюду** вместе, поверяли друг другу свои намерения и желания, делили поровну все, что перепало кому-либо одному из нас, и вообще заключили между собой **безмолвный оборонительный и наступательный союз** против жизни, обращавшейся с нами крайне враждебно.

Мы весьма усердно отыскивали в течение дня возможность что ни то разобрать, распилить, выкопать, перетаскать, и если таковая возможность представлялась, то сначала довольно ревностно принимались за работу.

Но потому, должно быть, что в душе каждый из нас считал себя предназначенным для выполнения более высших функций, чем, например, копанье помойных ям или чистка их, — что еще хуже, прибавлю для непосвященных в это дело, — часа через два работы нам она переставала нравиться. Потом Семка начинал сомневаться в ее надобности для жизни.

— **Копают яму...** А для чего? Для помоев. А просто бы так лить на двор? Нельзя, вишь. Пахнуть, дескать, будет. Ишь ты! Помои будут пахнуть! Скажут тоже у безделья-то. Выброси, например, огурец соленный — чем он будет пахнуть, коли он маленький? Полежит день — и нет его, сгнил. Это вот ежели человека мертвого выбросить на солнце, он, действительно, попахнет, потому — гадина крупная.

Такие Семкины сентенции сильно охлаждали наш трудовой пыл... И это было довольно выгодно для нас, если работа была взята поденно, но при сдельной работе всегда выходило так, что плата за нее забиралась и проедалась нами ранее, чем работа была доведена до конца. Тогда мы шли к хозяину просить «прибавки»; он же в большинстве случаев гнал нас вон и грозил с помощью полиции заставить нас докончить труд, уже оплаченный им. Мы возражали, что голодные мы не можем работать, и более или менее возбужденно настаивали на прибавке, чего в большинстве случаев и достигали.

Конечно, это было непорядочно, но, право же, это было очень выгодно, и мы — ни при чем, если в жизни устроено так неловко, что порядочность поступка всегда почти стоит против выгоды его.

Пререкания с работодателями всегда брал на себя Семка и, поистине, артистически ловко вел их, излагая доказательства своей правоты тоном человека, измученного работой и изнашивающего под тяжестью ее...

А Мишка смотрел, молчал и хлопал своими голубыми глазами, то и дело улыбаясь доброй, умиротворяющей улыбкой, как бы пытаясь сказать что-то и не находя в себе решимости. Он говорил вообще очень мало и только в пьяном виде бывал способен сказать нечто вроде спича.

— Братцы мои! — восклицал он тогда, улыбаясь, и при этом его губы странно вздрагивали, в горле першило, и он несколько времени после начала речи кашлял, прижимая горло рукой...

— Н-ну? — нетерпеливо поощрял его Семка.

— Братцы вы мои! Живем мы, как собаки... И даже не в пример хуже... А за что? Неизвестно. Но, надо полагать, по воле господ бога. Все делается по его воле... а, братцы? Ну, вот... Значит, мы достойны собачьего положения, потому что люди мы плохие. Плохие мы люди, а? Ну, вот... Я и говорю теперь: так нам, псам, и надо. Верно я говорю? Выходит — это нам по делам нашим. Значит, должны мы терпеть нашу судьбу... а? Верно?

— Дурак! — равнодушно отвечал Семка на тревожные и пытливые вопросы товарища.

А тот виновато ежилась, робко улыбался и молчал, моргая слипавшимися от опьянения глазами.

Однажды нам «пофартило».

Мы, ожидая спроса на наши руки, толкались по базару и наткнулись на маленькую, сухую старушку с лицом сморщенным и строгим. Голова у нее тряслась, и на совином носе попрыгивали большие очки в тяжелой серебряной оправе; она их постоянно поправляла, сверкая маленькими, сухо блестящими глазками.

— Вы что — свободны? Работы ищите? — спросила она нас, когда мы все трое с вожделием уставились на нее.

— Хорошо, — сказала она, получив от Семки почтительный и утвердительный ответ. — Вот мне надо разломать старую баню и вычистить колодец... Сколько бы вы взяли за это?

— Надо посмотреть, барыня, какая такая будет у них, у баньки вашей, величина, — вежливо и резонно сказал Семка. — И опять же колодец... Разные они бывают. Иногда очень глубокие...

Нас пригласили посмотреть, и через час мы, уже вооруженные топорами и дрекольем, лихо раскачивали стропила бани, взявшись разрушить ее и вычистить колодец за пять рублей. Баня помещалась в углу старого запущенного сада. Невдалеке от нее в кустах вишни стояла беседка, и с потолка бани мы видели, что старушка сидит в беседке на скамье и, держа на коленях большую развернутую книгу, внимательно читает ее... Иногда она бросала в нашу сторону внимательный и острый взгляд, книга на ее коленях шевелилась, и на солнце блестели ее массивные, очевидно, серебряные застёжки...

Нет работы спорее, чем работа разрушения...

Мы усердно возились в клубах сухой и едкой пыли, поминутно чихая, кашляя, сморкаясь и протирая глаза; баня трещала и рассыпалась, старая, как ее хозяйка...

— Ну-ка, наляжь, братцы, дружно-о! — командовал Семка, и венец за венцом, кряхтя, падал на землю.

— Какая бы это у нее книга? Толстенная такая, — задумчиво спросил Мишка, опираясь на стяг и отирая ладонью пот с лица. Мгновенно превратившись в мулата, он поплевал на руки, размахнулся стягом, желая всадить его в щель между бревнами, всадил и добавил также задумчиво: — Ежели евангилье — больно толсто будто...

— А тебе что? — полюбопытствовал Семка.

— Мне-то? Ничего... Люблю я послушать книгу... священную ежели... У нас в деревне был солдат Африкан, так тот, бывало, как начнет псалтырь честь... ровно барабан бьет... Ловко читал!

— Ну, так что ж? — снова спросил Семка, свертывая папироску...

— Ничего... Хорошо больно... Хоть оно непонятно... а все-таки слово этакое... на улице ты его не услы-

шишь... Непонятно оно, а чувствуешь, что это слово для души.

— Непонятно, ты говоришь... а все-таки видно, что глуп ты, как пень лесной... — передразнил Семка товарища.

— Известно... ты всегда ругаешься... — вздохнул тот.

— А с дураками как говорить? Разве они могут что понимать? Валяй-ка вот эту гнилушину... о-о!

Баня рассыпалась, окружаясь обломками и утопая в тучах пыли, от которой листья ближайших деревьев уже посерели. Июльское солнце не щадило наших спин и плеч, распаривая их...

— А книга-то в серебре, — снова заговорил Мишка.

Семка поднял голову и пристально посмотрел в сторону беседки.

— Похоже, — кратко изрек он.

— Значит, евангилье...

— Ну, и евангилье... Так что?

— Ничего...

— Этого добра у меня полны карманы. А ты бы, коли священное писание любишь, пошел бы да и сказал ей: почитайте, мол, мне, бабушка. Нам, мол, этого взять не-откуда... В церкви мы, по неприличности и грязноте нашей, не ходим... а душа, мол, у нас тоже... как следует... на своем месте... Подь-ка, ступай!

— А и впрямь... пойду?

— И пойдешь...

Мишка бросил стяг, одернул рубаху, размазал ее рукавом пыль по роже и спрыгнул с бани вниз.

— Турнет она тебя, лешмана... — проворчал Семка, скептически улыбаясь, но с крайним любопытством провожая фигуру товарища, пробравшегося среди лопухов к беседке. Он, высокий, согнувшийся, с обнаженными грязными руками, грузно раскачиваясь на ходу и задевая за кусты, тяжело двигался вперед и улыбался смущенно и кротко. Старушка подняла голову навстречу подходившему босяку и спокойно мерила его глазами.

На стеклах ее очков и на их серебряной оправе играли лучи солнца.

Она не «турнула» его, вопреки предположению Семки. Нам не слышно было за шумом листвы, о чем говорил

Мишка с хозяйкой; но вот мы видим, что он грузно опускается на землю к ногам старухи, и так, что его нос почти касается раскрытой книги. Его лицо степенно и спокойно; он — мы видим — дует в свою бороду, стараясь согнать с нее пыль, возится и, наконец, усаживается в неуклюжей позе, вытянув шею вперед и выжидающе рассматривая сухие маленькие руки старушки, методично переворачивающие листы книги...

— Ишь ты... лохматый пес!.. Отдых себе сделал... Айда — и мы? Чего так-то? Он там будет проклаждаться, а мы — ломи за него. Айда?

Через две-три минуты мы с Семкой тоже сидели на земле по бокам нашего товарища. Старушка ни слова не сказала встречу нам, она только посмотрела на нас пристально и снова начала перекидывать листы книги, ища в ней чего-то... Мы сидели в пышном зеленом кольце свежей пахучей листвы, над нами было раскинуто ласковое и мягкое безоблачное небо. Иногда пролетал ветерок, листья начинали шелестеть тем таинственным звуком, который всегда так смягчает душу, родит в ней тихое, умиротворяющее чувство и заставляет задумываться о чем-то неясном, но близком человеку, очищая его от внутренней грязи или, по меньшей мере, заставляя временно забывать о ней и дышать легко и ново...

— «Павел, раб Иисуса Христа...» — раздался голос старушки. Он старчески дребезжал и прерывался, но был полон благочестия и суровой важности. При первых звуках его Мишка истово перекрестился, Семка заерзал по земле, выскивая более удобную позу. Старушка окинула его глазами, не переставая читать.

— «Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешаться с вами верою общюю, вашею и моею».

Семка, как истинный язычник, громко зевнул, его товарищ укоризненно вскинул на него синими глазами и низко опустил свою лохматую голову, всю в пыли...

Старушка, не переставая читать, тоже строго взглянула на Семку, и это его смутило. Он повел носом, скосил глаза и — должно быть, желая изгладить впечатление своего зевка — глубоко и благочестиво вздохнул.

Несколько минут прошли спокойно. Вразумительное и монотонное чтение действовало успокоительно.

— «Ибо открывается гнев божий с неба на всякое несчастье и...»

— Что тебе нужно? — вдруг крикнула чтица на Семку.

— А... а ничего! Вы извольте читать, — я слушаю! — смиренно объяснил он.

— Зачем ты трогаешь застёжки своей грязной ручищей? — сердилась старушка.

— Любопытно... потому — работа очень уж тонкая. А я это понимаю — слесарное дело мне известно... Вот я и пощупал.

— Слушай! — сухо приказала старушка. — Скажи мне — о чем я тебе читала?

— Это — извольте. Я ведь понимаю...

— Ну, говори...

— Проповедь... стало быть, поучение насчет веры, а также и нечестия... Очень просто и... все верно! Так за душу и щиплет!

Старушка печально потрясла головой и оглядела всех нас с укором.

— Погибшие... Камни вы... Ступайте работать!

— Она тово... рассердилась будто бы? — виновато улыбаясь, заявил Мишка.

А Семка почесался, зевнул и, посмотрев вслед хозяйке, не оборачиваясь, удалявшейся по узкой дорожке сада, задумчиво произнес:

— А застёжки-то у книжицы серебряные...

И он улыбнулся во всю рожу, как бы предвкушая что-то.

Переночевав в саду около развалин бани, уже совершенно разрушенной нами за день, к полудню другого дня мы вычистили колодец, вымочились в воде, выпачкались в грязи и, в ожидании расчета, сидели на дворе у крыльца, разговаривая друг с другом и рисуя себе сытный обед и ужин в близком будущем; заглядывать же в более отдаленное — никто из нас не имел охоты...

— Ну, какого чорта старая ведьма не идет еще, — нетерпеливо, но вполголоса возмущался Семка. — Подохла, что ли?

— Эх он ругается! — укоризненно покачал головой Мишка. — И чего, например, ругается? Старушка — на-стоящая — божья. А он ее ругает. Этаким характер у человека...

— Рассудил... — усмехнулся его товарищ. — Пугало... огородное...

Приятная беседа друзей была прервана появлением хозяйки. Она подошла к нам и, протягивая руку с деньгами, презрительно сказала:

— Получите и... убирайтесь. Хотела я вам отдать баню распилить на дрова, да вы не стоите этого.

Не удостоенные чести распилить баню, в чем, впрочем, мы и не нуждались теперь, мы молча взяли деньги и пошли.

— Ах ты, старая кикимора! — начал Семка, чуть только мы вышли за ворота. — Накося! Не стоим! Жаба дохлая! Ну-ка, вот скрипи теперь над своей книгой...

Сунув руку в карман, он выдернул из него две блестящие металлические штучки и, торжествуя, показал их нам.

Мишка остановился, любопытно вытягивая голову вперед и вверх к поднятой руке Семки.

— Застежки отломал? — спросил он удивленно...

— Они самые... Серебряные!.. Кому не надо — рубль даст.

— Ах ты! Когда это ты? Спрячь... от греха...

— И спрячу...

Мы молча пошли дальше по улице.

— Ловко... — задумчиво говорил Мишка сам себе. — Взял да и отломил... Н-да... А книга-то хорошая... Старуха... обидится, чай, на нас...

— Нет... что ты! Вот она нас позовет назад, да на чай даст... — трунил Семка.

— А сколько ты за них хошь?

— Последняя цена — девять гривен. Ни гроша не уступлю... себе дороже... Видишь — ноготь сломал!

— Продай мне... — робко спросил Мишка.

— Тебе? Ты что — запонки хочешь завести себе?.. Купи, ха-арошие запонки выйдут... как раз к твоей харе.

— Нет, право, продай! — и Мишка понизил тон просьбы...

- Купи, говорю... Сколько дашь?
- Бери... сколько там есть на мою долю?
- Рубль двадцать...
- А тебе сколь за них?..
- Рубль!
- Чай, уступи... для друга!..
- Дура нетрепанная! На кой те их дьявол?
- Да уж ты продавай знай...

Наконец торг был заключен, и застешки перешли за девяносто копеек в руки Мишки.

Он остановился и стал вертеть их в руках, наклонив кудластую голову и наморщив брови и пристально рассматривая два кусочка серебра.

— Нацепи их на нос себе... — посоветовал ему Семка.

— Зачем? — серьезно возразил Мишка. — Не надо. Я их старушке стащу. Вот, мол, мы, старушка, нечаянно захватили эти штуковины, так ты их... опять пристрой к месту... к книге этой самой... Только вот ты их с мясом выдрал... это как теперь?

— Да ты, чорт, взаправду понесешь? — разинул рот Семка.

— А как?.. Видишь ты, такая книга... нужно, чтоб она в полной целости была... ломать от нее куски разные не годится... И старушка тоже... обидится... А ей умирать надо... Вот я и того... Вы меня, братцы, подождите с минутку... а я побегу назад...

И раньше, чем мы успели удержать его, он крупными шагами исчез за поворотом улицы...

— Ну, и мокрица-человек! Жиделяга грязная! — возмутился Семка, поняв суть факта и его возможные последствия.

И, отчаянно ругаясь через два слова в третье, он начал убеждать меня:

— Айда, скорей! Провалит он нас... Теперь сидит, чай, поди, руки у него назад... А старая карга уж и за будочником послала!.. Вот те и водись с таким пакостником! Да он ни за сизо перышко в тюрьму тебя вопрет! Нет, каков мерзавец-человек?! Какая, подлой души, тварь с товарищем так поступить может?! Ах ты, господи! Ну, и люди стали! Айда, чорт, чего ты растяпился! Ждешь?

Жди, чорт вас всех, мошенников, возьми! Тьфу, анафемы! Не идешь? Ну так...

Посулив мне нечто невероятно скверное, Семка ожесточенно ткнул меня кулаком в бок и быстро пошел прочь...

Мне хотелось знать, что делает Мишка с нашей бывшей хозяйкой, и я тихонько отправился к ее дому. Мне не думалось, что я подвергаюсь какой-либо опасности или неприятности.

И я не ошибся.

Подойдя к дому и приложившись глазом к щели в заборе, я увидел и услышал только следующее: старуха сидела на ступеньках крыльца, держала в руках «выдранные с мясом» застешки своей библии и через очки пытливо и строго смотрела в лицо Мишки, стоявшего ко мне задом...

Несмотря на строгий и сухой блеск ее острых глаз, по углам губ у нее образовалась мягкая складка кожи; видно было, что старушка хочет скрыть добрую улыбку, — улыбку прощения.

Из-за спины старухи смотрели какие-то три рожи: две женские, одна красная и повязанная пестрым платком, другая простоволосая, с бельмом на левом глазу, а из-за ее плеч высывалась физиономия мужчины, клинообразная, в седых бачках и с вихром на лбу... Она то и дело странно подмаргивала обоими глазами, как бы говоря Мишке: «Утекай, брат, скорей!»

Мишка мямлил, пытаясь объяснить:

— ...Такая редкостная книга. Вы, говорит, все — скоты и псы... собаки. Я и думаю... Господи — верно! Так надо говорить по правде... сволочи мы и окаянные люди... подлецы! И опять же, думаю: барыня — старушка, может, у ней и утеха одна, что вот книга — да и все тут... Теперь застешки... много ли за них дадут? А ежели при книге, то они — вещь! Я и помыслил... дай-ка, мол, я обрадую старушку божью, отнесу ей вещь назад... К тому же мы, слава те господи, заработали малу толику на пропитание. Счастливо оставаться! Я уж пойду.

— Погоди! — остановила его старуха. — Понял ты, что я вчера читала?..

— Я-то? Где мне понять! Слышу — это так... да и то — как слышу? Разве у нас уши для слова божия? Нам оно непонятно... Прощевайте...

— Та-ак! — протянула старуха. — Нет, ты погоди...

Мишка тоскливо вздохнул на весь двор и по-медвежьи затоптался на месте. Его уже, очевидно, тяготило это объяснение...

— А хочешь ты, чтоб я еще почитала тебе?

— Мм... товарищи ждут...

— Ты плюнь на них... Ты хороший малый... брось их.

— Хорошо... — тихо согласился Мишка.

— Бросишь? Да?

— Брошу...

— Ну, вот... умница!.. Совсем ты дитя... а борода вон какая... до пояса почти... Женат ты?..

— Вдовый... померла жена-то...

— А зачем ты пьешь? Ведь ты пьяница?

— Пьяница... пью.

— Зачем?

— Пью-то? По глупости пью. Глуп, ну и пью. Конечно, ежели бы человеку ум... да рази бы он сам себя портил? — уныло говорил Мишка.

— Верно рассудил... Ну вот, ты и копи ум... накопи, да и поправься... ходи в церковь... слушай божие слово... в нем вся мудрость.

— Оно, конечно... — почти простонал Мишка.

— А я еще почитаю тебе... хочешь?..

— Извольте...

Старуха достала откуда-то из-за себя библию, порывшись в ней, и двор огласился ее дрожащим голосом:

— «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же!»

Мишка тряхнул головой и почесал себе левое плечо.

— «...Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда божия?»

— Барыня! — плачевно заговорил Мишка, — отпустите меня для бога... Я вдругорядь лучше приду послушаю... а теперь больно мне есть хочется... так те вот и пучит живот-от... С вечера мы не евши...

Барыня сильно хлопнула книгой.

— Ступай! Иди! — отрывисто и резко прозвучало на дворе.

— Покорнейше благодарим!.. — И он чуть не бегом направился к воротам.

— Нераскаянные души... Звериные сердца, — шипело по двору вслед ему...

Через полчаса мы с ним сидели в трактире и пили чай с калачом.

— Как буравом она меня сверлила... — говорил Мишка, ласково улыбаясь мне своими милыми глазами. — Стою я и думаю... Ах ты, господи! И зачем только пошел я? На муку пошел... Где бы ей взять у меня эти застежки, да и отпустить меня, — она разговор затеяла. Экий народ-чудак! С ними хочешь по совести поступать, а они свое гнут... Я по простоте души говорю ей: вот те, барыня, твои застежки, не жалуйся на меня... а она говорит: нет, погоди, ты Расскажи, зачем ты их мне принес? И пошла жилы из меня тянуть... Я — даже взопрел от ее разговору... право, ей-богу.

И он все улыбался своей бесконечно кроткой улыбкой...

Семка, надутый, взъерошенный и угрюмый, серьезно сказал ему:

— Уми ты лучше, пень милый! А то завтра тебя с такими твоими выкрутасами мухи али тараканы съедят...

— Ну уж! Ты скажешь слово. Дава-ко выпьемте по стакашку... за окончание дела!

И мы дружно выпили по стакашку за окончание этого курьезного дела.

МА-АЛЕНЬКАЯ!..

...«И была она, браток, телом-ту ма-аленькая!..»

Каждый раз, как я вспоминаю эту фразу, из дали прошлого мне улыбаются две пары подслеповатых, старческих глаз, улыбаются такой тихой, ласковой улыбкой любви, сожаления, и в ушах звучат два надтреснутые голоса, одинаково характерно подчеркивавшие то обстоятельство, что «она» была ма-аленькая!..

И мне делается так хорошо и легко от этого воспоминания, лучшего за все десять месяцев моего хождения пешком по кривым дорогам нашей родины, такой большой и такой печальной...

По пути из Задонска в Воронеж я догнал двух богомольцев — старика и старуху. Обоим им с виду было лет полтора; они шли так медленно и неумело, тяжело двигая ступни по горячей пыли дороги, и оба имели в физиономиях и в одежде еле уловимое нечто; это нечто сразу позволяло заметить, что старики идут издалека.

— Из Тобольской губернии шагам... со господней помощью! — подтвердил старик мое предположение.

А старуха на ходу ласково оглянула меня добрыми, когда-то голубыми глазами и, добродушно улыбаясь, добавила, вздыхая:

— Из самого Н-ского заводу, деревеньки Лысой будем мы с отцом-то!

— То-то, чай, изустали?

— Мы-то? Ничего! Пока двигаемся... ползем божьей милостью!..

— По обету, что ли, али так, старости ради?

— По обету, браток... Обещанье, значит, дали киевским и соловецким угодникам Божиим... Да... — снова подтвердил старик. — Мать! посядем, вздохнем ма-ленько? — обратился он к спутнице.

— Ну, что ж? — согласилась та.

И вот мы сели в тень от старой придорожной ветлы. День был жаркий, небо безоблачно, впереди и сзади нас извивалась дорога и уходила в дали, завешенные знойной мглой. Кругом было пустынно и тихо. По оба бока дороги неподвижно стояла чахлая рожь.

— Высосали землю-то!.. — сказал старик, подавая мне несколько сорванных колосьев.

Мы заговорили о земле и о жестокой зависимости от нее крестьянской судьбы. Старуха слушала нас и вздыхала, порой вставляя в наши речи хорошее, опытное слово.

— Кабы жива была она, сколько бы нанудила сердечко свое на таком-ту поле! — вдруг сказала старуха, оглянувшись вокруг на полосы низенькой, выгоревшей ржи, испещренные плешинами.

— Да-а! уж порадела бы... — качнул головой старик.

И оба они вдруг замолчали.

— О ком это вы? — спросил я.

Старик добродушно улыбнулся.

— Тут... вспоминаем об одной...

— Стоялка наша была... барышня... — вздохнула старуха.

И вдруг оба они, глядя на меня, точно сговорясь между собой, протянули медленно и жалостно, в унисон друг другу:

— Ма-анинькая така была телом-ту!..

Это было странно и очень больно резнуло меня по сердцу. Нечто заупокойное звучало в их старых голосах... А они вдруг, торопясь и перебивая друг друга, стали рассказывать так быстро, что мне, сидевшему среди них, оставалось только поворачивать голову от одного рассказчика к другому.

— Привез ее к нам урядник и сдал, значит, старосте. «Определи ее на постой», говорит...

— На квартиру, стало быть, кому-нибудь! — пояснила старуха.

— Ее к нам и определили...

— Глядим, — красная вся... дрожит с холоду-то...

— А сама така ма-анинькая...

— Аж в слезы мы...

— Господи, думаем, куда ее таку заслали?

— На какую ее потребу? За каку таку провинность?..

— А она, слышь ты, отколе-то отсудова...

— Из России, стало быть...

— Мы ее первым делом на печь...

— Печь-то у нас бо-ольша... да тё-епла... — сокрушенно вздохнула старуха.

— Ну, потом, значит... кормить ее!

— Смеется!

— Глазенки-те че-ерные... как у мыша...

— И вся-то она, как мыша... гладка да кругла...

— Отдыхалась... плачет... Спасибо, говорит, родимы!

— И учала вертеть!!

— Уж и начала же!.. — с восхищением выкрикнул старик и засмеялся, сощутив глаза.

— Катается тебе по избе-то, как клубок, и гоношит, и гоношит... И то, и это... и то поставит так, и это эдак... «Лохань с помоем вон, свиньям, говорит, тащите...» Да сама ее ихвати ручонками-те, да осклизнулась... да по плечи руки-те в по-омон-то будух! Ах ты...

И оба они засмеялись, задыхаясь и кашляя до слез.

— Поросята опять же...

— Целует их прямо в рыла!..

— «Невозможно, говорит, вон поросёв!»

— В неделю умучила вот как!

— В пот, бывало, вгонит...

— Хохоchet, кричит, ножонками топает...

— А то вдруг потемнится вся, заробет...

— Как умрет!..

— Да в слезы... Уж ревит, ревит, так это ее сподыма бьет. Кружишься, кружишься около-то ее... Чего ей? Непонятно... Хоть сама плачь. И плачешь, бывало... не знай о чем. Обоймешь ее, да и зальешься вместе...

— Известно... дитё как бы...

— А живем-то мы одни. Сына в солдаты сдали, а другой на золотых промыслах...

— А ей-то осьмнадцатый, кажись, годок...

— Какое! С виду ежели давать, никак не больше двенадцати...

— Ну, уж ты больно!.. двенадцати!.. тоже!..

— А больше — скажешь?.. Как бы!

— Чего? Девушка она была сочная... А што малоросла, так это рази что в упрек ей?

— А я в упрек говорю? Эко!

— То-то!.. — добродушно уступила старуха.

Поспорив, старики оба и сразу замолчали.

— Ну, а что же дальше? — спросил я.

— Дальше?.. ничего, браток!.. — вздохнул старик.

— Умерла она... Огневица ее изожгла, — и по морщинистым щекам потекли две слезинки.

— Да-а, брат, умерла... Два годочка только с нами и пожила... Вся ее деревня знала. Чего вся деревня!.. Многие знали. Грамотейка была. На сходы хаживала... Кричит себе, бывало... Ничего, умница!..

— А главное дело — душа!.. Ах, ка-акая душа андельская!.. Все-то до нее доходило, все-то ее сердечушко ведало!.. Барышня ведь как есть городская, в бархатной кофточке... ленточки... башмачки... книжки читает и все это, а крестьянство понимала, ах, как просто! Все знала! «Откуда толь ты это, милушка?» — «В книжке, говорит, прописано!..» Н-ну уж!.. Чего бы ей это, зачем? Замуж бы вышла, барыней была, а тут вот заслали, и померла...

— И чудно!.. Учит всех... така-то манинькая!.. да всех это так сурьезно... То не так, друго не так...

— Грамотница... что толковать... Раделица про все, да про всех... Где кто болен, — бежит, где кто...

— Умирала-то без памяти... бредила только. «Мама, говорит, мама!..» — жалостно таково... Поехали было за попом, может, мол, придет в себя... А она, милушка, не дождала... скончалась.

По лицу старухи текли слезы, и мне было так хорошо, точно это обо мне плакали...

— Вся деревня собралась к нам... Толкутся на улице и на дворе... Как?!. Как?!. Все ее любили, души не чаяли в ней...

— Эх, девчурочка была золотая!.. — вздохнул старик.

— Всем миром и похоронили!.. А потом к масляной сорок дён вышло, и сообразились... айда-ка, мол, помолимся за нее!.. И суседи тоже... «Чего вы, говорит, и в самделе? Идите-тко! Люди вы, значит, свободные, не рабочие... А ей авось зачтется». Мы и тронулись.

— Так это вы за нее? — спросил я.

— За нее, девочку, родной, за нее! Авось, мол, господь бог батюшка примет нашу грешну молитву, простит ей! И пошли вот на первой поста, как раз во вторник вышли...

— За нее!.. — повторил я.

— За нее, друг! — подтвердил старик.

Мне хотелось еще много раз слышать, что, именно, желая помолиться за нее, они прошли тысячи верст. На мой взгляд, это было так хорошо, что казалось неправдоподобным. Я подсказывал им другие побудительные причины, желая еще более убедиться, что они пошли именно «за нее», маленькую девочку с черными глазами... И к великому моему удовольствию я, наконец, убедился в этом.

— Неужто пешком все идете?

— Нет, куда нам!.. когда и присядем... Поедем с денек, а потом опять... трудимся помалу. Стары уж больно мы пешком-ту все идти... Господь видит, стары... Кабы нам ее ножки-то... ну, так ино дело!

И оба они опять вперебой принялись говорить о ней, маленькой девочке, заброшенной судьбой далеко от дома и мамы и умершей от огневицы.

.....
Часа через два мы встали и пошли. Я думал о маленькой девочке, но не мог представить ее себе... и мне было до боли обидно это бессилие воображения.

Русский человек плохо умеет представлять себе хорошее, светлое...

Скоро нас догнал хохол на телеге. Он меланхолично оглянул нас и, приподняв шапку на наш поклон, крикнул старикам:

— Садитесь, подвезу до деревни!

Они сели и исчезли в облаке пыли... Я долго шел в нем и смотрел, как вдали исчезала телега, увозя стариков, прошедших многие тысячи верст, чтоб помолиться о маленькой девочке, которая заставила их полюбить себя...

КОЛЮША

Набросок

В самом бедном углу кладбища, среди осыпавшихся, размытых дождями и распыленных ветром могильных холмов, на одном из них, под кружевной тенью двух чахлых березок, сидела пожилая женщина в старом ситцевом платье и в черном платке на голове.

Прядь полуседых волос спускалась ей на левую щеку, сухую и морщинистую, тонкие губы были плотно сжаты, и их углы опускались книзу, образуя скорбные складки по обеим сторонам рта, и веки глаз ее тоже были опущены книзу, как всегда это бывает у людей, много плакавших и не спавших много тоскливых ночей.

Она сидела неподвижно все время, пока я наблюдал за ней издали, и не пошевелилась, когда я подошел к ней; она только подняла на меня большие, тусклые глаза и снова равнодушно опустила их, не выразив ими ни вопроса, ни смущения, ничего, что бы позволило мне догадаться, как она отнеслась к моему появлению пред ней.

Я поздоровался с ней и спросил, кто здесь лежит у нее?

Она отвечала покорно и равнодушно:

— Сын...

— Большой?

— На тринадцатом году...

— Давно умер?

— Пятый год пошел...

Она вздохнула и заправила волосы со щеки под платок. Было жарко. Солнце беспощадно палило город мертвых; тощая трава на могилах побурела от солнца и пыли, и жалкие деревья, уныло торчавшие кое-где среди крестов, тоже покрытые слоем пыли, стояли неподвижно, точно и они были мертвы...

— От чего он умер? — спросил я женщину, кивнув головой на могилу ее сына.

— Лошади раздавили... — кратко сказала она и погладила землю холма своей морщинистой рукой.

— Как же это случилось?

Я чувствовал, что я не деликатен, но равнодушие этой матери и интриговало и раздражало меня. Мне, в силу какого-то таинственного каприза, хотелось видеть слезы на ее глазах. Это ее равнодушие было неестественно, в то же время я видел, что она нисколько не сдерживает себя.

Мой вопрос заставил ее снова поднять глаза на меня. И молча, тщательно оглядев мою фигуру с головы до ног, она тихонько вздохнула и стала рассказывать задумчиво и ровно...

— А видите ли, как это случилось. Отец-то его в тюрьме сидел года полтора за растрату казенных денег, и в это время мы все достатки свои и проели. Мало их было, достатков-то. И к тому времени, как выйти отцу из тюрьмы, я уж печку-то хреном топила. Подарил мне огородник один воз негодного хрена — я его высушила да пополам с кизяками и жгу. Угарно. И от варева — запах. Колюшка учился в ту пору. Бойкий он был... и домовитый. Идет, бывало, из училища — щепку, полено где увидит, сейчас подмышку его и домой. Да... Весна была, таяло уж, а сапожнишки-то у него еще валяные были. Бывало, намокнут... Снимет он их, а ножонки-то кра-асные. В эту самую пору отца из тюрьмы выпустили и привезли на извозчике домой. Паралич его разбил в тюрьме-то. Лежит это он, улыбается таково кисло, а я стою над ним и думаю: «Чем я его-то еще, погубителя моего, кормить буду? Так бы в лужу на улицу и вышвырнула». А Колюша-то смотрит и плачет. Побледнел весь, смотрит на отца, а по щекам-то слезы — крупные, крупные — так и бегут. «Мамочка, говорит, что это

он?» — «Дожил», говорю... Да. И пошло с этого дня. И пошло-с. Мечусь я, как угорелая, а больше двадцати копеек, да и то в счастливый день, достать не могу... Смерть моя... хоть руки на себя наложить. А Колюшка-то смотрит... и такой темный становится... Как-то не стерпела я... «Окаянная жизнь, говорю. Издохнуть бы... А то помирали бы хоть вы который...» Это на них я, на отца-то с Колюшей... Отец-то кивает головой: я, дескать, скоро помру, не ругайся, потерпи. А Колюша... посмотрел на меня, да и ушел из дому-то. После опомнилась я... ну, опоздала уж. Опоздала, да. Потому что часу, сударь вы мой, не прошло с той поры, как он, Колюша-то, ушел, — является полицейский на извозчике. «Вы госпожа Шишенина?» Я уж сразу почуяла несчастье... «Пожалуйте, говорит, в больницу, сына вашего, говорит, лошади купца Анохина зашибли...» Поехала я в больницу. На пролетке-то точно на раскаленных гвоздях сажу. Думаю про себя: «Окаянная ты женщина, анафема!» Приехали. Лежит он, Колюша-то, обвязанный весь. Улыбается... и слезы у него из глаз текут... Тихонько так шепчет мне: «Мамочка, простите! Деньги у околоточного». — «Какие, говорю, Колюша, деньги, бог с тобой?!» — «А те, говорит, деньги, которые публика мне набросала и Анохин дал...» — «За что?» — «А вот, говорит, за это...» — и застонал он... тихонько так. Глазки-то большие у него... Я говорю: «Колюшенька, да как же ты это, батюшка, не видал?» А он, сударь вы мой, ясно так и говорит мне: «И видел я ее... коляску... да... мне не хотелось уйти-то. Я думал — коли раздавят, — денег дадут. И дали...» Вот... так он сказал... Поняла я, уразумела его, ангела, но поздно. Поутру он и скончался... В памяти скончался. Говорил все: «Мамочка, купите, говорит, папе того-то и того-то, и себе, говорит, купите...» Денег, дескать, много. Денег, действительно, — сорок семь рублей было. Ходила я было к Анохину, но он дал пятишницу... и ругается: «Мальчишка, говорит, — все это видели — сам под лошадей бросился, а ты ходишь кланчишь?» Я уж и не пошла больше. Вот как все это случилось, сударь вы мой.

Она замолчала, такая же равнодушная и сухая, как и до своего рассказа.

На кладбище было тихо и пустынно; кресты, чахлые деревья между ними, холмики земли и равнодушная женщина, сидевшая в скорбной позе на одном из них, — все напоминало о горе людей и о смерти.

А безоблачное небо было ясно и изливало сухой зной.

Я достал из кармана сколько-то денег и протянул их этой, еще при жизни омертвевшей от несчастий, женщине...

Она кивнула головой и странно медленно сказала мне:

— Не беспокойте себя, сударь мой, у меня на сегодня хватит... Мне ведь немного надо, одна я... теперь уж... Один человек на свете...

И, глубоко вздохнув, она снова плотно сжала свои тонкие, искривленные скорбью губы.

ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ

Это очень грустная история.

Когда моя муза — маленькая, бледная и нервнобо́ль-
ная женщина с белокурыми волосами и глубокими голу-
быми глазками, в которых вечно горит огонь неосуше-
ствимых желаний, огонь, медленно, но верно сжигающий
ее душу сомнением и тоской, — когда моя муза рассказы-
вала мне эту историю, она горько рыдала, и мое сердце
тоже плакало, вторя ей, что, впрочем, к делу не относится.

Герой мой был поэт. Когда-то на земле были истин-
ные поэты... Не будем говорить на такую печальную тему,
в этой истории и без нее много грусти.

Герой мой был поэт. Как большинство поэтов, он писал
стихи, что, конечно, еще не говорит за или против его
достоинств. В этих стихах он воспевал природу, любовь
и женщин, свои желания, грезы и свои страдания, то есть
страдания человека, который, имея счастье быть поэтом,
подвержен несчастью жить на земле, где даже подлецам
живется нелегко. Он говорил в своих стихах, что его
сердце все изъязвлено сомнением и что черви тоски
неустанно гложут его грудь, и, хотя трудно было понять,
в чем он сомневается, в торжестве ли всего прекрасного
или в том, что слава со временем увенчает его чело и тем
отличит его от тысяч собратий по перу, — тем не менее
его читали.

Его читали... Из всех способов, которыми люди уни-
жают время, этот еще не самый худший.

Его описания мук души и язв сердца, благодаря обильной лексикации и умелой архитектонике, выходили довольно правдоподобны и даже, казалось, были искренни... Затем, печальные песнопения были в духе времени, и потому на моего героя возлагались надежды, предполагалось, что он способен сказать новое слово, редакторы платили ему сорок копеек за строчку, критики ласково называли симпатичным талантом, барышни, читая его стихи, мечтали о нем, томно закрывая глаза, дамы же, не имея надобности закрывать глаз, просто мечтали.

И он был молод, — вот его главное достоинство. Он был молод, и поэтому порой в его стихах звучали живые, энергичные ноты надежд и желаний, ноты угроз и упреков...

И я рассказываю о том грустном происшествии с ним, моим героем, после которого эти жизнерадостные и сильные ноты в его песнях исчезли, — о том, что окончательно и навсегда убило его молодую душу, его мечты и надежды, его веру в жизнь и людей, силу его любви и остроту его ненависти. Я рассказываю о том, что он есть...

Я начинаю с того времени, когда он, посещая свою музу, вдохновлялся, целуя ее розовые щечки, пунцовые губки, голубые глазки, беленькие ручки, — вот как красочно я пишу его музу!.. — вдохновлялся и разряжался крошечными грациозными картинками жизни природы и своей души, здоровыми и свежими, как весенние цветы, когда он благосклонно и гордо принимал от всех, кому угодно было засвидетельствовать пред ним, дань удивления его таланту, а в свободное от всего этого время думал о том, что, пожалуй, пора ему совершить нечто такое, что перевело бы его из разряда «симпатичных» талантов в разряд «выдающихся», «замечательных», а пожалуй, хоть и в разряд гениальных, — он ничего не имел и против этого. Я начинаю...

Однажды, славной летней ночью, он возвращался от своей музы, маленькой русой шалуньи, жившей в уютной, светлой комнате, где все гармонировало между собой и где его муза, среди массы дорогих, изящных безделушек, неоспоримо и законно главенствовала над ними, как

самая изящная... Эта муза не была одной из девяти, не служила Аполлону и не владела лирой златострунной, она была одной из трех сестер-модисток строго мещанского происхождения, весело служила Венере и, ловко владея иглой, вышивала своими пухленькими ручками и разноцветным шелком инициалы моего героя на его носовых платках.

Он шел, а на его лице еще порхали огненные мотыльки — ее поцелуи, в его сердце ярко пылало могучее пламя вдохновения, и сама собой слагалась светлая и могучая песнь во славу любви и в утешение вам.

Темносинее бархатное небо, усеянное бриллиантами и изумрудами трепетно сверкавших звезд, тихо и ласково улыбалось ему, а легкий ветер, полный аромата цветов, овеяла его горевшее от волнения счастья лицо, причесывал ему мягкие кудри, растрепанные теплыми и пышными ручками его музы.

Он был одет в изящный широкий летний костюм, и в этом широком костюме таилось его несчастье, — в чем вы скоро убедитесь. Он шел, и в сизом сумраке ночи пред очами его, сиявшими светом божественного вдохновения, в фантастическом вальсе кружились дивные образы, и его мысль, мощно связывая их в одно целое, творила чудные, полные огня жизни, поэмы, которым недоставало только слов, звучных, красивых слов, чтоб в стройной гармонии созвучий вырваться из его груди и понестись над землей, зарождая в сердцах людей стыд за прошлое и ярые потуги и поползновения к совершению поступков положительного свойства.

И эти поэмы, уже созданные его сердцем и наполнявшие его грудь мучительно сладкой жаждой формы, рождали в нем божественное чувство сознания его силы и мощи, вознося его туда, в родное его духу небо, где тени уже умерших поэтов-гениев, невидимо носясь в голубом сиянии нежной луны, — он слышал — шептали ему звучные и ободрявшие его слова.

Он шел, чувствуя себя творцом, равным богу, связывая в душе своей дивные образы, облекал в них свои мысли, и небо казалось ему голубой грандиозной поэмой, совместившей в себе все великие идеи вселенной, поэмой, рифмованной живым блеском звезд и проникнутой торжественным сознанием своего совершенства.

— О жизнь! — вскричал он, мой поэт, в восторге от созерцания неба и жизни своей души. — О жизнь! — повторил он и, задыхаясь от желания произнести хвалебную речь жизни, не сказал ничего.

Он, молча, весь излился в улыбку неземного блаженства и восхищения, — и звезды с небес ответили ему одобряющей улыбкой. Он задумался и почувствовал, как на душу ему пахнуло легкое дуновение сладкой печали, той тихой печали, которая не омрачает чела, но облагораживает его...

В этот момент моего героя в первый раз укусила блоха*.

Она укусила его в локтевой сгиб левой руки... Он почувствовал укус, но не отдал себе отчета в нем и, машинально почесав укушенное место, снова погрузился в восторженное созерцание.

Мой герой шел — и тишина вокруг него, казалось, чутко вслушивается в волнения его сердца и мысли... Он шел и, чувствуя себя центром мироздания, мечтал, мечтал, мечтал... Он мечтал о славе и любви и прозревал в тумане будущего себя из бронзы на пьедестале из мрамора...

— Я заслужу это! — шептал он в восторге. — Я сокрушу гидру лжи и драконою злобы уничтожу. Я укажу человечеству дорогу к счастью и славе, я выведу его из мрачного леса сомнений в силах к жизни на сияющую долину веры в высокое призвание его! Я докажу ему его первородство и докажу, что пошло и трусливо продавать это первородство за чечевичную похлебку иллюзорных моментов!.. Несокрушимо сильное желание жизни — залог

* О, читатель! не подумай, что это аллегория, а не блоха. Уверю тебя, клянусь тебе, что это блоха, а не аллегория, не символ, как принято говорить теперь...

Это просто блоха, та самая блоха, которая описана Бремом и которая водится в белье. Темнокоричневая, легкомысленно скачущая, она кусается.. Ты знаешь, как она кусается... Она дьявольски зла и создана природой для того, чтобы дать пессимистам один из несокрушимых доводов в пользу положения «жизнь — страдание». Ты, читатель, может быть, не знал, для чего она создана? Так знай же теперь и преклонись пред объективизмом природы, которая не забывает и философов в своей заботе о людях. Знай это, и извини мне маленькое прыгающее неприличие, выпущенное мною на сцену, — извини мне его! Тебе так легко сделать это, ибо другим авторам ты извиняешь и более крупные неприличия...

успеха во всем, чего хочешь... Будь же тверд духом, человек! — скажу я и заставлю поверить мне. И тогда...

Он почувствовал, как что-то впилося ему подмышкой, и вздрогнул от неожиданности и боли... Но этот эпизод не прерывал его мечтаний.

— Я создам новую боевую философию, в которую вмещу весь цикл великих идей, выработанных человечеством, связав их величием человеческой души, величием, которое я докажу, как никому еще не удавалось до меня. Я разбуджу гордость в людях, поражающе ясно показав им то великое, что они делали уже, и убедив их, что, при желании, они могут сделать и все остальное для счастья и славы...

Ему кусали грудь... Он нетерпеливо почесался.

— ...Разбудить гордость людей — вот моя задача! И я разбуджу ее! Я напишу поэму «Битва Титанов» и в ней воспроизведу все то, что пережило человечество до сего дня. Этого достаточно для того, чтобы убедить людей повысить цену своих способностей. И моя поэма будет лучшей и вечной системой этики, несокрушимой ничем, ибо в основе ее будет лежать гордость богов, творивших жизнь...

Его кусали ожесточенно, больно и часто... Кусали грудь, спину, ноги, руки... И не успевала угаснуть боль одного укуса, как уже в другом месте в его тело вонзалась как бы острая, раскаленная игла. Он, то и дело вздрагивая, раздражался.

— Да, люди мало ценят свои силы, — вот причина их слабости!.. Проклятие ей!..

Тут он бешено скрипнул зубами, ибо почувствовал, что в его грудь как бы воткнули тонкое и острое шило, воткнули и повертывают его... Но, увлеченный своими думами, он пока еще терпел боль, не пытаясь исследовать ее причину.

— Итак, вперед — за работу для славы, для жизни, для людей!.. муза, зову тебя! Иди и дай мне славы, блестящей, как огонь, я полон желания петь, я полон идей и страсти... О музы, жду я вас! идите мне на помощь!..

Но музы не шли... Наша обязанность — извинить им это; мало того, мы даже должны пожалеть их. Бедная Эрата, бедная Эвтерпа, бедная Каллиопа!.. Только

подавленная обилием практики земская акушерка может понять вас, несчастные дочери Аполлона! Бедные музы! думали ли вы, что на земле настанет время всеобщих эстетических потуг и поползновений, и вы, прекрасные и величавые жрицы чистого искусства, будете служить искусству родовспомогания, употребляя сверхъестественные усилия для того, чтобы помочь сотням тысяч психопатически настроенных смертных разрешаться от бремени языкоблудия худосочными поэмами и рахитическими сонетами? Бедные музы! Бедные музы!

Я понимаю, почему вы не явились на зов моего поэта. Можно ли успеть вам удовлетворить всех, ныне зовущих вас на помощь!.. Бедные изнасилованные и истязуемые музы! Вы не пришли на зов моего поэта, и я не поставлю вам в вину этот поступок, хотя и дорог сердцу моему загрызенный жестоким насекомым мой герой... Ибо, дожидаясь, он, наконец, вскричал:

— О-о! Будь я проклят, кто это так ест меня?

Он имел право обратить внимание на свое тело, измученное и принесенное в жертву духа тело, ибо уже достаточно долго дух его парил в надзвездных сферах мечты.

Итак, мой герой почувствовал боль и таким образом спустился из сфер мечты в сферу суровой действительности.

— Кто меня грызет? — спросил он, чувствуя, что в его тело как бы тысячи ос вонзили свои жгучие жала и оставили их там.

И, в недоумении, он стал яростно... чесаться.

Я прошу прощения у читателя с тонко развитым чувством изящного, но... факт — он стал чесаться. Ведь поэты тоже люди. «Когда хорошенько подумать, ведь все мы голыми торчим в наших платьях...» — сказал весельчак Гейне, всю жизнь свою страдавший от тоски. Мой поэт тоже голым торчал в своем платье и поэтому свирепо чесался...

— Однако, чорт возьми! Это ведь, кажется, не что иное, как блохи! — воскликнул он и, сделав это открытие, как бы успокоился несколько, а потом решил, что в следующее посещение своей музы он подарит ей коробку хорошего порошка для истребления вредных насекомых. Затем — он возвратился к своим думам.

— Те, для кого жизнь представляет только удивительное разнообразие форм и полное отсутствие сущности, увидят в моих творениях...

Тут блоха его типнула под ложечкой, и он снова принял меры к уменьшению боли, причем потерял нить своей мысли... А она все-таки кусалась... Стараясь не обращать внимания на боль, он снова попытался вознестись туда, — откуда только что слетел.

— Жизнь бесформенна от разнообразия форм, наполняющих ее... И тот человек, чей могучий ум, уловив в каждой отдельной форме одно и то же истинное и общее всем им содержание, даст всей жизни твердую форму, тот сделает жизнь доступной пониманию всех людей. Это сделаю я в моих песнях!.. И, когда я это сделаю, всем и каждому будет ясно видно его место в жизни, его задачи и пути к счастью... Ах ты, запятая, поставленная сатаной на пути моем!.. погоди же!.. — И он ожесточенно ущипнул себя там, где она его укусила.

— Мои песни будут снять и греть, как солнце, в холодном мраке сомнений, отягчающих души людей... Ты, черное несчастье... прыгающее зло... живой яд!.. Я же поймаю тебя, погоди!..

И, не имея более сил терпеть, он принялся, дрожа от злобы, искать ее. Но когда он ловил ее на груди, она кусала ему спину, и когда он подстерегал ее на плечах, она грызла его колени...

Ночь бледнела, и, убегая от рассвета, по небу быстро плыла угрюмая, сизая туча. Вот из нее упало несколько крупных капель, точно она плакала о чем-то... Весьма вероятно, что и тучи могут плакать, ведь они так хорошо должны знать дела земли, плавая в небе вокруг нее...

Он не мог поймать ее, неутомимо скачущую и сладострастно истязавшую его, то и дело вонзая свои челюсти в тонкую кожу моего героя, измученного борьбой с ней. Она была слишком мала для того, чтобы быть быстро побежденной, и неустанно колола его то тут, то там, точно смеясь над его бессилием. О, эти мелочи! Эти чуть заметные глазом ядовитые пылинки действительности, разрушающие грандиозные и величественные здания мечтаний и отравляющие цветы грез!.. Нужно быть почти великим, чтоб уметь успешно бороться с мелочами. А что, если бы

Геркулесу предложили, вместо совершения известных двенадцати подвигов, выдержать одну битву с дюжиной блох?.. Я полагаю, что, по безрассудной храбрости своей, он согласился бы на это, но... затем?..

Мой герой дорого ценил себя; он по крайней мере час искал ее и не нашел, хотя она была тут и кусала его, кусала лениво и как бы смеясь над ним. И тогда, утомленный и подавленный сознанием своего бессилия, он, печально вздохнув, опустился на землю, чувствуя, что на его теле выступает холодный пот отчаяния и ужаса.

— О жизнь! Коварное чудовище, не знающее сострадания, насмешливое, холодное и злое!.. Я понял твою бесстрастную игру! Ты увидала во мне непримиримого врага твоей разнузданности и победила меня в то время, как я собирался вступить в битву с тобой! Это неблагородно, но предусмотрительно. Да, ты сильна, и я чувствую это. Я признаю себя побежденным, мне больно, но не стыдно, ибо я боролся сколько мог! Больше я не могу. Я не виноват в моей слабости. Если маленькое черное пятнышко заслоняет предо мною весь необъятный горизонт моей мысли... если каждый раз, как я подымаю очи в небеса, я, не достигая их головой, теряю из-под ног почву и бессильно болтаюсь в пространстве... кто виноват в этом?..

Но тут она впиалась ему под правую лопатку с такой яростью, точно пыталась прокусить его насквозь. Он побледнел от боли и тоски...

— О жизнь, не мучь меня, я сдамсь без борьбы! — патетически вскричал он, в то же время стараясь схватить ее рукой, но она уже исчезла и щекотала его поясницу, очевидно приготавливаясь снова куснуть...

— Я полчаса назад тому был орел и, червь теперь, познал, как мало нужно жизни времени и усилий, чтобы сломить гордость человеческого духа. Что поставлю я против всесокрушающей силы действительной жизни? Где черпну я гордого духа для битвы с ней? Мне ли ничтожною крупницею мозга проникнуть в тайный смысл ее намерений? О жизнь, таинственное чудовище без сострадания и любви к детям твоим!

А блоха-то все кусала его... Увы! где нужна персидская ромашка, там ничто самые роскошные цветы рито-

рики!.. Ах, непременно нужно понимать, что к чему!.. И мой герой погиб, изглоданный блохой.

Он низко, низко опустил голову и пошел домой, чувствуя, что все тело его как бы горит в огне, и не обращая внимания на то, что небо над ним уже было покрыто предрассветным румянцем и земля чутко молчала, как бы замерев в ожидании первых лучей солнца. И вот они брызнули, разорвав легкую тучку, мешавшую им свободно излиться в мягкую голубую пустыню небес... Они брызнули, и земля отрадно вздохнула им навстречу. И запели птицы, и зашумели деревья, и небо засияло так ласково и важно над пробудившейся к жизни землей...

Но мой герой не видал ничего этого, ибо душа его угнетена была скорбью и тело истерзано болью. Он шел, опустив голову, и, когда пришел домой, разделся, тщательно обыскал и перетряс свое платье и белье, не нашел ничего и лег спать, чувствуя себя разбитым и больным. Он спал мало, тревожно, и ему снились все такие страшные сны... Он видел, как одна громадная блоха, прокусив ему грудь, грызла его сердце... И видел еще много подобных ужасов. А поутру, проснувшись, он долго лежал в постели и смотрел в потолок глазами, полными грусти. И когда, наконец, он встал, умылся, попил чаю, то сел за стол, охваченный тоскливым вдохновением, с холодом в сердце и с огнем отчаяния в голове, — сел за стол и написал:

Я жизнью жестоко обманут,
И столько я бед перенес,
Что больше в душе не воспрянут
Рои погребенных в ней грез!
Их много там! Склеп им так тесен!..
Я в саваны рифм их одел
И много над ними я песен
Печальных, как стоны, пропел..
Пропел — и теперь не нарушу
Я больше их мертвого сна..
Господь! Упокой мою душу!
Она безнадежно больна...

* * *

Ни капли я счастья не пил,
И ждать я его не могу!
Нет, сердце, сожженное в пепел,
Надеждой я вновь не зажгу!

Обманов и грез мне не надо —
Пусть мир их отраден и мил,
Милей мне бокал того яда,
Который все время я пил!
Я жизнь мою смело разрушу,
Когда его выпью до дна .
Тогда . упокою ли душу,
Что так нестерпимо больна?

~ * *

Мне жизни игра непонятна —
Я пасынок грубой земли,
На сердце мне темные пятна
Глубокой печали легли
И жизнь прохожу я фатально,
Не нужен я в ней никому,
В ней сердцу живется печально
И слишком в ней темно уму!
Я встречи со смертью не трушу,
Пусть смерть холодна и темна.
Господь! Упокой мою душу!
Она безнадежно больна!

И, написав такое стихотворение, он его вскоре напечатал. Те из публики, которые раньше читали его стихи, прочитав эти, говорили:

— Несчастный! Давно ли еще он был так жизнерадостно настроен? О, проклятые условия жизни! Как быстро они дают все мало-мальски талантливое и живое! Какая драма разыгралась в душе этого симпатичного таланта?

Говорили и многое другое... Ведь публика всегда много говорит, это ее специальность, и я не ставлю ей это в вину, твердо памятуя, что всякий делает то, что может. Никак не больше того, что может.

Так печально погиб мой герой!.. Вот как гибнут лучшие силы и мысли наших поэтов! Вот почему печальные песнопения так обильны и громки!..

Погиб мой поэт!.. Я описал один только эпизод из его жизни, но и этот эпизод ясно говорит о том, какой грандиозный и непосильный труд жизнь для человека, который с понятием «жить» соединяет необходимость быть чем-нибудь в жизни!

А если этот эпизод не говорит ничего подобного? Все равно! Вообразите, что он говорит именно это. Мне, видите ли, нужно, чтоб в моей истории лежала какая-либо мораль. Вам же ничего не стоит вообразить так мало... Воображаете же вы, читатель, что, при данных ваших свойствах, вы все-таки достойны лучшей участи в жизни!..

Погиб мой герой!.. А если кто-либо подумает, что я неверно осветил причины его гибели, — тот ошибается. Мне нет надобности делать его лучше или хуже, чем он есть. Я — покорный слуга истины, он — поэт. Мы с ним чужды друг другу; он хочет быть знаменитым, я не люблю пошлости... Затем мы оба все-таки люди. Да помогут же нам боги быть более мудрыми, чем мы есть, и тогда, может быть, он не будет писать своих стихов, а я — моей прозы. Аминь!

ЖЕНЩИНА С ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ

I

Помощник частного пристава Зосим Кириллович Подшибло, грузный и меланхоличный хохол, сидел в своей канцелярии, крутил усы и сердито таращил глаза в открытое окно на двор части. В канцелярии было сумрачно, душно и тихо, только маятник больших стенных часов, взвизгивая, отсчитывал монотонными ударами минуты. А на дворе было так заманчиво, ярко... Три березы среди него бросали от себя густую тень, и в ней на куче сена, недавно привезенного для пожарных лошадей, свободно раскинувшись, спал унтер-офицер Кухарин, недавно сменившийся с дежурства. Зосим Кириллович смотрел на него и злился. Подчиненный спит, а вот он, его несчастный начальник, должен торчать в этой дыре и дышать сырыми испарениями ее каменных стен. И, представив себе, с каким бы удовольствием он сам растянулся отдохнуть в тени на душистом сене, если бы время и служебное положение позволило ему это, Зосим Кириллович потянулся, зевнул и еще более обозлился. Он почувствовал непреодолимое желание разбудить Кухарина.

— Эй, ты!.. Эй... скот! Кухарин! — зычно рявкнул он.

Отворилась дверь, и в канцелярию кто-то вошел. Подшибло смотрел в окно, не оборачиваясь назад и не чувствуя ни малейшего любопытства к тому, кто вошел, стоя сзади его у двери и заставляет скрипеть половицы под

своей тяжестью. Кухарин не повернулся от его окрика. Закинув руки под голову и вздернув бороду в небо, он спал, и Зосиму Кирилловичу казалось, что он слышит сочный храп подчиненного, этакий насмешливый, вкусный храп, возбуждающий еще более желание отдыха и злобу на невозможность предаться ему. И Подшибло захотелось сойти вниз, чтоб дать хорошего пинка ногой в выпяченный живот подчиненного, а потом взять его за бороду и вытащить из тени на солнцепек.

— Эй, ты... дрыхни там! Слышишь?!

— Ваше-скородие, — дежурный — это я! — проговорил сзади его обольстительно сладким голосом.

Подшибло обернулся, злым взглядом смерил дежурного, таращившего на него большие тупые глаза и готового моментально устремиться куда прикажут.

— Я тебя звал?

— Никак нет!

— Спрашивал? — повысил голос Подшибло, поворачиваясь на стуле.

— Никак нет!

— Так поди же ты к чорту, пока я тебе в башку не пустил чего-нибудь! — И он уже начал судорожно шарить левой рукой чего-нибудь на столе, а правой крепко вцепился в спинку стула, но дежурный быстро юркнул в дверь и исчез. Помощнику частного пристава показалось недостаточно почтительным это исчезновение, и ему во что бы то ни стало хотелось сорвать все сильнее вспавшую злобу на эту духоту, службу, на спящего Кухарина, на близость ярмарочной страды и еще на многое неприятное и тяжелое, почему-то вспоминавшееся ему сегодня невольно, помимо его желания.

— Эй! Поди сюда... — крикнул он в дверь.

Дежурный вошел и вытянулся у двери с лицом испуганным и ожидающим.

— М-морда! — угрюмо адресовался к нему Подшибло. — Ступай на двор, разбуди Кухарина и скажи ему, чтоб он, осел, не смел дрыхнуть среди двора. Безобразия... Ну... ступай...

— Слушаю! Там дама до вас...

— Что?!

— Дама...

— Какая?
-- Высокая...
-- Дурак! Чего ей?
— Да вас...
— Спроси, пошел...
— Я спрашивал... Не рассказывает... Мне, говорит, самого их благородие...
— О, чорт их! Зови... Молодая?
— Так точно...
— Ну зови... Ворочайся! — уже мягче приказал Подшибло, оправился и зашелестел бумагами на столе, изобразив на утрюмой физиономии строго начальническую мину.

Сзади его раздался шелест платья.

— Что вам угодно? — вполоборота спросил Подшибло, критическим оком измерив посетительницу. Та молча поклонилась и медленно поплыла к столу, исподлобья поглядывая на полицейского серьезными голубыми глазами. Одета она была просто и бедно, по-мещански, в платочке, в серой сильно поношенной накидке, концы которой она мяла длинными смуглыми пальцами маленьких красивых рук. Высокая, полная, с сильно развитым бюстом, с большим нахмуренным лбом, она была как-то особенно, не по-женски серьезна и сурова. С виду ей можно было дать лет двадцать семь. Двигалась она так задумчиво, медленно, точно думала — не воротиться ли ей назад.

«Ишь чорт какой... Гренадер, — подумал Подшибло вслед за своим вопросом. — Кляузить станет...»

— Можно мне узнать у вас... — заговорила она густым контральто и остановилась, нерешительно уставив свои голубые глаза в усатое лицо полицейского чиновника.

— Садитесь, пожалуйста... Что, собственно, вам нужно узнать? — официальным тоном спросил Подшибло, продолжая думать про себя: «Экая ядреная женщина! Хе!»

— Насчет книжек... — договорила женщина.

— Квартирных?

— Нет, не этих...

— А каких?

— Вот тех, которые... по которым... женщины гуляют... — спуталась женщина и вдруг покраснела.

— То есть это как?.. Какие женщины гуляют?.. — спросил Зосим Кириллович, поднимая брови и игриво улыбаясь.

— Разные женщины... которые гуляют, ночные...

— Те-те-те! Проститутки? — приятно осклабился Зосим Кириллович.

— Да! Вот они. — И, глубоко вздохнув, дама тоже улыбнулась, точно ей стало легче, когда она услышала это слово.

— Ага! Ну-с? Н-да? Так что же-с? — начал спрашивать Зосим Кириллович, чувствуя что-то очень интересное и пикантное впереди.

— Так вот, насчет этих книжек я пришла, — проговорила женщина и опустилась на стул, вздыхая и как-то странно встряхнув головой, точно ее ударили.

— Ну-с... Заведеньишко открываете? Так...

— Нет, я для себя... — И женщина низко опустила голову.

— Ага... А где же старая книжка у вас?.. — спросил Зосим Кириллович и, пододвинув свой стул поближе к посетительнице, простер свою руку к ее талии и оглянулся на дверь.

— Какая? У меня не было... — вскинула та на него глазами, но не сделала ни одного движения, чтоб уклониться от его руки...

— Тайно промышляли, значит? Незарегистрированно? Бывает! Желаете быть на счету? Это хорошо... Безопаснее, — становясь смелее в своих поползновениях, ободрил ее Зосим Кириллович.

— Да я еще впервой... — окнула дама и смущенно опустила глаза вниз...

— То есть как впервой? Не понимаю, — повел плечами Подшибло...

— Только еще хочу... Первый раз. На ярмарку приехала, — объясняла дама тихим голосом и не подымая глаз.

— Вот оно что! — Зосим Кириллович, отняв руку от ее талии, отодвинул свой стул и несколько смущенно откинулся на его спинку.

Помолчали...

— Вот оно как... Да... это вы... что же? Нехорошо ведь. Трудно... То есть, конечно... Но все-таки... странно!

Я, признаться, не понимаю... как это вы решаетесь. Если, действительно, правда...

Опытный полицейский, он видел, что действительно — правда: она была слишком свежа и порядочна для женщин известной профессии. У ней не было тех характерных признаков продажности, которые необходимо отпечатлеваются на женской физиономии и жестах даже после ничтожной практики.

— Ей-богу, правда! — вдруг доверчиво склонилась она к нему. — На такое поганое дело иду — и стану я врать. Чего уж? Просто надо вести дело. Видите что — вдова я. Овдовела — муж-от лоцман, утонул в апреле в ледоход. Дети у меня, двое, — сын девяти годов да дочь семи. Достатков-то нету. Родных тоже. Сирота я взята была. А его, покойниковы, родные далече. Да и нелюбимая я ими... Как они достаточные, а я вроде нищей пред ними. Толкнуться-то некуда. Работать бы, конечно. Да много денег надо мне, не выработаешь с эстоль. В гимназии сын-то. Конечно бы хлопотать, чтобы без платы, но куда же мне, бабе? А сын-то, мальчонка... такой, знаете, умница... Жалко отрывать-то от ученья... Тоже и дочь... и ей чего ни то надо дать. А работой-то такой, ежели честной... много ли ее? Да и сколько добудешь? И чего работать опять же? Кухарка ежели... то, конечно... пять рублей в месяц. Не хватит! Никак не хватит! А на этом деле — ежели кому счастье — сразу можно окормиться на год. Прошлую ярмарку наша же одна женщина чetyреста с лишком схватила! Теперь за лесника вышла с деньгами-то, и барыня себе. Живет... А ежели стыд... конечно, зазорно... Но только... и то ведь рассудите... Судьба, значит... Всегда уж судьба. Пришло вот мне на ум такое дело — так, значит, и надо — указание это мне от судьбы... И удастся оно — хорошо... не удастся, а только муку да позор приму... тоже судьба. Да...

Подшибло слушал ее и понимал все до слова, ибо у нее говорило все лицо. Было в нем сначала что-то испуганное, а потом оно стало просто, сухо и решительно.

Зосиму Кирилловичу сделалось скверно и чего-то боязно.

«Попадись такой ведьме в руки дурак... всю кожу она с него сдерет и все мясо до костей снимет», — формули-

ровал он свой страх и, когда она кончила, сухо заговорил:

— Я-с тут ничего не могу. Обратитесь к полицеймейстеру. Это полицеймейстера дело и дело врачебной инспекции. А я ничего не могу...

И ему захотелось, чтоб она ушла скорее. Она тотчас же и поднялась со стула, наклонилась и медленно пошла к двери. Зосим Кириллович, плотно сжав губы и сощутив глаза, смотрел ей вслед, и ему хотелось плюнуть ей в спину...

— Так к полицеймейстеру мне, говорите? — дойдя до двери, оборотилась она... Ее голубые глаза смотрели решительно и невозмутимо. А поперек лба легла суровая, глубокая складка.

— Да, да! — торопливо ответил Подшибло.

— Прощайте! Спасибо вам! — И она ушла.

Зосим Кириллович облокотился на стол и минут десять сидел, насвистывая что-то про себя.

— Экая скотина, а? — вслух произнес он, не поднимая головы. — Тоже — дети! Какие тут дети? Х-ха! Этакая гадина!

И опять долго молчал...

— Но и жизнь тоже... если все это правда. Веревки вьет из человека, можно сказать... Н-да... Сердито обращается.

И, еще помолчав, резюмировал всю работу своей мысли тяжелым вздохом, решительным плевком и энергичным восклицанием:

— А и погано ж!

— Что прикажете? — вернулся в дверь дежурный чин.

— А?

— Что прикажете, ваше-скородие?..

— Пошел во-он!

— Слушаю-с.

— Осел! — пробормотал Подшибло и взглянул в окно. .

Кухарин все спал еще на сене... очевидно, дежурный забыл разбудить его...

Но Зосим Кириллович забыл о своем гневе, и вид свободно развалившегося солдата не возмутил его нимало. Он чувствовал себя испуганным чем-то. Пред ним в воздухе стояли голубые, спокойные глаза женщины и реши-

тельно смотрели ему прямо в лицо. Он чувствовал тяжесть на сердце от их упорного взгляда и некоторую неловкость...

Взглянув на часы, он поправил портупею и пошел вон из канцелярии, глухо проговорив:

— Чай, встретимся еще... Наверное уж.

II

И действительно, встретились.

Как-то раз вечером, стоя в наряде у Главного дома, Подшибло заметил ее шагах в пяти от себя. Она двигалась по направлению к скверу своей медленной плывущей походкой, упорно глядя куда-то вперед себя голубыми глазами, и во всей ее фигуре, высокой и стройной, в движениях бюста и бедер, в серьезном покорном взгляде было что-то, отталкивавшее от нее; чересчур покорная, фатальная складка на лбу, еще более резкая теперь, чем в первую встречу, портила ее большое, полное русское лицо, делая его резким.

Зосим Кириллович покрутил ус, дал простор некоторой игривой мысли, сразу зародившейся в его уме, и решил не терять из вида эту женщину.

«Ах ты, крокодил! Подожди...» — мысленно послал он ей вслед многообещающее восклицание.

И минут через пять уже сидел с ней рядом на одной из скамеек сквера.

— Не узнаете? — улыбаясь, спросил он.

Она подняла на него глаза и спокойно смирила его ими.

— Нет, помню. Здравствуйте, — тихо, подавленным голосом сказала она, но не протянула ему руки.

— Ну что, как? Выхлопотали себе книжку?

— Вот! — И она стала шарить в кармане платья, все с той же покорной миной.

Это несколько смутило полицейского.

— Да нет, мне не надо, не кажите, я верю. Да я и не имею права... то есть... Вы лучше расскажите, как успели? — спросил он и тотчас же подумал: «А очень мне нужно это знать! Вот уж! И чего... манерничаю? Ну-ка, Зосим, валяй прямо».

Но, несмотря на то, что он подбодрил себя этой думой, ~~он все-таки~~ не решился пойти прямо. Было в ней что-то такое, что не допускало стать сразу близко к ней в известные отношения.

— Успехи-то? Ничего, слава... — и она, не договорив, оборвала речь и густо покраснела.

— Ну вот и хорошо. И поздравляю... Трудно с непривычки? а?

Она вдруг всем корпусом двинулась к нему, лицо у нее побледнело, исказилось, рот как-то округлился, точно она хотела крикнуть, и вдруг снова откинулась от него, — откинувшись и приняла старую позу...

— Ничего... Привыкну, — ровно и ясно сказала она и, вынув платок, громко высморкалась.

Зосим Кириллович почувствовал, что у него щемит в груди от всего этого, от ее движения, от ее соседства и голубых, спокойных, неподвижных глаз.

Он разозлился на себя за что-то, встал и протянул ей руку, молча и сердито...

— Прощайте! — ласково сказала она...

Он кивнул ей головой и быстро пошел прочь, зло ругая себя дураком и мальчишкой...

«Погоди, матушка! Я тебе задам феферу! Уж я тебе покажу себя. Ты у меня перестанешь корчить из себя недоτροгу», — грозил он ей неизвестно за что. И все-таки чувствовал, что ни в чем она не виновата пред ним.

*А это еще более злило его ..

III

Недели полторы спустя Зосим Кириллович шел от караван-сарая по направлению к Сибирской пристани и был остановлен визгом женщин, ругательством и иным скандальным шумом, лившимся на улицу из окна какого-то трактира.

— Полицейский! Караул! — орал задыхавшийся женский голос. Слышались какие-то страшные «лязгающие удары, стучала мебель, и кто-то восхищенно, басом, покрывавшим весь шум, гудел:

— Так ее! Еще... раз! Прямо в морду. Э-эх!

Зосим Кириллович быстро вбежал вверх по лестнице, растолкал публику, столпившуюся в дверях трактирного зала, и его глазам представилась такая картина: перегнувшись корпусом через стол, его знакомая, женщина с голубыми глазами, ухватила левой рукой за волосы другую женщину, притянула ее к себе и своей правой рукой беспощадно, частыми ударами била ее по испуганному, уже вспухшему от ударов лицу.

Голубые глаза теперь были жестко прищурены, губы плотно сжаты, от углов их к подбородку легли резкие морщины, и лицо его знакомой, — раньше так странно спокойное, теперь было беспощадно-зло зверское, — лицо человека, готового бесконечно долго истязать себе подобного и истязать с наслаждением.

Женщина, которую она била, уже только мычала, рвалась и нелепо махала по воздуху своими руками.

Зосим Кириллович ощутил в груди прилив злого чувства — дикого желания мстить кому-то и за что-то, — бросился вперед и, схватив сзади за талию истязавшую женщину, рванул ее к себе.

Опрокинулся стол, загремела разбитая посуда, публика дико завывала, загоготала.

Зосим Кириллович в каком-то опьянении видел, как в воздухе мелькали разнообразные, дикие, красные рожи, держал буянившую в своих объятиях и зло шептал ей в ухо:

— Ах ты! Буянить? Скандалить?.. Ах ты!

Избитая женщина валялась на полу в осколках разбитой посуды и, истерически взвизгивая, рыдала...

— Она, значит, вон та, говорит этой, ваше благородие, «ах ты, говорит, мразь уличная, паскудница!» А эта как ее дербулызнет... Та в нее стакан с чаем и запусти, а эта — ухватила ее за косы, да и давай и давай! Ну, и так, я вам скажу, била, что вчуже завидно! Силища-с! — объяснял ход скандала Зосиму Кирилловичу какой-то юркий человек в чуйке...

— Ага! Вот как?! — рычал Зосим Кириллович, все сильнее сжимая женщину в своих объятиях и чувствуя, что ему самому хочется драться...

— Извозчик! Давай, извозчик! — ревел кто-то с красной шеей из окна на улицу, напрягая широкую спину и странно выгибая ее.

— Ну, иди... На гауптвахту! Марш!.. Обо! Ты! Вставай... А ты где был? Ты к чему приставлен? Р-рожа! Вези на гауптвахту. Живо! Обоих... ну!

Бравый полицейский, подталкивая то ту, то другую женщину в спины, вывел их из зала.

— Дай-ка мне... коньяку и зельтерской, живо! — обратился Зосим Кириллович к половому и грузно опустился на стул у окна, чувствуя себя утомленным и озлобленным на всех и на вся.

* * *

Поутру она стояла перед ним такая же решительная и спокойная, как в первую встречу, — смотрела прямо в глаза ему своими голубыми глазами и ждала, когда он заговорит с ней.

А Зосим Кириллович швырял бумаги по столу, раздраженный и невыспавшийся, и, несмотря на это, не знал, с чего начать с нею. Обычные в этих случаях шаблонные пристрастия и ругательства как-то не срывались с языка, хотелось найти в себе что-то более злое и сильное и бросить ей в лицо.

— С чего у вас началось?.. Ну, говори скорее!

— Она меня обругала... — веско произнесла женщина.

— Велика важность... Скажите! — сиронизировал Подшибло.

— Она не смеет... я не чета ей.

— Ах, батюшки! Кто же ты такая?..

— Я по нужде... ежели что... А она...

— Н-да?! А она из удовольствия, что ли?..

— Она?..

— Н-ну, она. Да?

— Что ж она? У нее детей нет...

— Ты вот что... ты молчи, гадина! Ты меня не мажь по губам твоими детьми... Ты иди, но знай, коли я тебя еще раз встречу, — в двадцать четыре часа вон! С ярмарки вон! Поняла?! Н-ну! Я вас знаю! Я тебя... награжу! Сканда-да-да! Я те поскандалю... дрянь!

И слова, одно другого оскорбительнее, поскакали с его языка в лицо ей. Она побледнела, и ее глаза сузились так же, как вчера в трактире.

— Вон! — гремел Подшибло, грохая кулаком в стол.

— Бог вам судья... — сухо и угрожающе произнесла она и быстро ушла из канцелярии.

— Я тебе покажу — судья! — ревел Зосим Кириллович. Ему нравилось оскорблять ее. Его выводило из себя это спокойное лицо и прямой взгляд голубых глаз. Чего она притворяется и корчит из себя какую-то фуфыру? Дети?! Чушь. Наглость. При чем тут дети? Гулящая баба приехала на ярмарку продавать себя и ломается зачем-то... Страдалица, по нужде... дети. Кого она хочет этим надуть? Нет силы на открытый грех, она и прикрывает его нуждой. Ф-фа! Скажите!..

IV

А они все-таки были — мальчик, беленький и робкий, в старой затасканной гимназической форме, с подвязанными черной косынкой ушами, и девочка в клетчатом, не по росту большим, ватерпруфе. Они оба расположились на досках у пристани Кашина и, вздрагивая от осеннего ветра, вели между собой тихий детский разговор. Их мать стояла сзади их, прислонясь спиной к клади какого-то товара, и сверху вниз смотрела на них голубыми, ласкающими глазами.

Мальчик был похож на нее: у него глаза тоже были голубые, он часто поворачивал свою головку в картузе с надорванным козырьком назад к матери и, улыбаясь, что-то говорил ей. Девочка была сильно ряба, востроноса, с большими серыми глазами, сверкавшими живо и умно. Вокруг их на досках были разложены какие-то узелки и свертки.

Был конец сентября; с угра шел дождь, набережная была покрыта жидкой грязью, и дул ветер, холодный и сырой.

По Волге ходили мутные волны и шумно плескались о берег. Всюду стоял шум, глухой, тяжелый, сильный... Сновали разные люди, озабоченные, стремившиеся

куда-то... И на общем фоне жизни бойкой набережной улицы — группа из двоих детей и их матери, спокойно ожидавших чего-то, сразу бросалась в глаза.

Зосим Кириллович Подшибло давно заметил эту группу и хотя держался в стороне от нее, но пристально наблюдал за ней. Он видел каждое движение каждого из троих, и ему было чего-то стыдно...

С Сибирской пристани шел кашинский пароход, через полчаса отправлявшийся вверх по Волге...

Публика стала сбиваться на дебаркадер.

И женщина с голубыми глазами наклонилась к детям, выпрямилась, вся увешанная свертками и узлами, и пошла вниз по лестнице, сзади своих детей, шедших, взяв друг друга за руки, и тоже нагруженных чем-то...

Зосим Кириллович должен был тоже идти на дебаркадер. Ему не хотелось этого, но было нужно, и через некоторое время он стоял неподалеку от кассы.

Его знакомая покупала билет. В руках ее был толстый желтый бумажник — оттуда смогрела пачка кредиток.

— Мне бы, — говорила она, — видите ли, так нужно... Их вот, детишек, во второй класс, до Костромы нам, а я в третьем. Можно им для обоих один билет?.. Нет? А то уступите? Покорно благодарю! Дай вам бог...

И она отошла с довольным лицом. Дети вертелись около нее и, хватая ее за платье, о чем-то просили... А она слушала их и улыбалась...

— Ах, батюшки, да куплю же, сказала!.. Разве жалко мне? По два? Ну... Пойдите тут.

Потом она отправилась на мостки, где торговали разной галантереей и фруктами.

И через несколько времени уже снова стояла около детей, говоря им:

— Вот тебе, Варя, мыло... Душистое! На-ка, понюхай. А тебе, Петя, — вот нож... Вишь ты, помню, небойсь. А вот апельсины — целый десяток. Кушайте... не сразу только...

Пароход подошел к пристани. Толчок. Все закачались. Женщина с детьми схватила их руками за плечи и прижала к себе, тревожно взглянув вокруг себя. Все были покойны, и она, успокоившись, засмеялась. Дети вторили ей. Положили трап, и публика хлынула на пароход.

— Стой! Куда прешь! Осел! . — распоряжался Зосим Кириллович, пропуская мимо себя публику и обращаясь к какому-то плотнику, сплошь увешанному пещером, пилой, топором и другими инструментами. — Чорт! Пропусти даму и детей. . Экой ты несуразный, братец мой! — добавил он уже мягче, когда дама, его знакомая с голубыми глазами, проходя мимо, улыбнулась и поклонилась ему, проходя на пароход...

... Третий свисток.

— Подбирай носовую!.. — раздалась команда с мостика. Пароход дрогнул и медленно пошел...

Зосим Кириллович окинул глазами публику на палубе и, найдя свою знакомую, почтительно снял фуражку и поклонился ей.

Она ответила ему низким русским поклоном и стала истово креститься.

И поехала в Кострому со своими детьми.

А Зосим Кириллович, посмотрев ей вслед еще немного, глубоко вздохнул и пошел с дебаркадера на свой пост. Был он хмур и подавлен.

«ГОСТЬ»

Волжская картинка

... Прижавшись к крутому обрыву берега, стоит караван барж, ожидающих груза.

Ночь лунная, и от мачт на холодную воду реки легли длинные полосы теней, как узкие тропинки куда-то во тьму, где утонул противоположный берег и где далеко, сиротливо блестит огонек.

Река медленно льется в черную даль, волны ее глядят борта пустых барж, и внутри барж раздаются протяжные, гулкие вздохи.

На берегу недвижно замерли кусты лозняка, и от них на воду и берег луна тоже бросила узорчатые, неподвижные тени.

В одном месте кустарника чуть тлеет костер — освещает корни, вымытые водой из земли, и ветки, опустившиеся над ним. Он смотрит меж них, как большой красный глаз какого-то чудовища.

На носу той баржи, что стоит первая против течения, медленно движется неуклюжая фигура дежурного матроса; иногда он останавливается у борта, долго смотрит вдаль по спокойной воде и снова начинает ходить поперек баржи. В тишине ночи его шаги ясно слышны и на берегу и везде, далеко вокруг каравана, а под ним, в пустых трюмах судна, все вздыхает река, глядя просмоленное де-рево баржи...

Звездное небо смотрит в спокойную воду, и звезды, отражаясь в ней, сверкают, как маленькие, золотые рыбки.

Ночь холодна, тиха... и ясна.

Иногда всплескивает рыба и где-то далеко поют песню и плачет гармоника; слов не слышно, но одна за другой, по сырому, холодному осеннему воздуху, тянутся печальные ноты, тянутся и бесследно исчезают во тьме и молчании...

* * *

Дежурный на передней барже остановился у борта, посмотрел на воду и вдруг, обернувшись лицом к баржам сзади него, закинул голову и уныло-протяжно закричал:

— Го-ость!..

Потом он наклонился, поднял с палубы длинный шест и, истово перекрестясь, опустил его за борт...

Раздалось журчание воды, разрезаемой встреченным ею препятствием.

И на следующей барже, еще ранее, чем успел замереть первый возглас, — тоже раздалось монотонное, певучее слово:

— Го-о-ость!

Потом у борта ее также появилась фигура дежурного матроса с шестом в руках и так же, как и первая, она, крепясь, спустила в воду шест...

— Го-ость! — плакал звонкий фальцет где-то вдали...

Эхо на берегу отчетливо повторяло ноющее, печально выпеваемое вахтенными слово ..

— О-го-о-о-сть!..

Вахтенный передней баржи вдруг энергично стал ворочать багром, и скоро снова воздух огласился его печальным криком:

— При-ния-а-а-л!

Опустив в воду шест, он пошел по борту баржи к корме и, когда подошел к рулю, с силой толкнул что-то в воде и вполголоса бросил на следующую баржу:

— Проводил...

И вслед за тем вытащил свой багор из воды.

Тогда в промежутке между кормой первой баржи и носом следующей за ней, в полосе воды, освещенной луной, появилось что-то белое и круглое, как шар,

утвержденное на темной массе, по очертаниям похожее на человеческую фигуру...

Оно появилось и скоро исчезло в тени от борта баржи...

— При-и-ня-а-а-л! — заплакал в воздухе возглас вахтенного.

И вахтенный второй баржи так же, как и первый, — опустив шест в воду, — пошел по борту к корме...

Вскоре раздался и его короткий возглас:

— Проводил...

* * *

На последней барже «гостя» дожидались двое: один стоял с багром в руках, в выжидательной, сторожкой позе, другой рядом с ним склонился за борт, опираясь руками о колено, и любопытно смотрел вверх по течению...

— Не подойдет к нам? — спросил он тихо товарища.

— Поди, не подойдет...

— А коли подойдет?

— Тогда, брат, табак — дело! Сейчас полиция — как, откуда, да что?.. Всю душу вымотают. Не дай ты, господи! Он идет...

Покачиваясь на воде, «гость» подплывал под нацеленный в него багор вахты...

Он плыл вверх лицом, и оно, очень белое на темном фоне воды, покачивалось, глядя в звездное небо. Так странно покачивалось, точно было недовольно приемом вахты барж и хотело сказать ей:

«Ах вы, братцы мои! Как же вы это так? Нехорошо!»

— Попал!.. — тихо произнес вахтенный и, как все другие ранее его, — пошел с опущенным в воду багром на корму...

Его товарищ, скосив голову к воде, шел за ним.

— В сапогах... — сказал он, когда дошли до середины кормы.

— Чай, поди, наш брат, матросик, — отводя багром «гостя» от борта, ответил его товарищ.

— Надо быть, так...

— Про-о-во-о-дил! — выхватив шест из воды, запел вахтенный на передние баржи...

— А к берегу его поблизости от нас не прибьет?.. Тогда все едино — склока будет...

— Не бойсь! Теперь до мыска-то дойдет, а там его отшибет в фарватер. Выше как на двадцать верст от нас ему не пристать теперь. Да еще, гляди, на тот берег перекинет...

— Это бы ладно было!..

С минуту они молча посмотрели вслед уплывавшему «гостю»...

Потом вахтенный бросил на палубу багор, стащил с себя рваную шапку и вполголоса, крестясь, произнес:

— Упокой, господи, душу раба твоего... Избави, господи, и помилуй нас от нечаянныя смерти!

Его товарищ истово крестился, сильно стучая себя пальцами по плечам и по лбу...

А «гость», неизвестный раб божий, плыл дальше по реке, плыл, покачивался на волнах, и белое лицо его все смотрело в звездное небо, как бы желая спросить его:

«А что, далеко еще мне, утопшему, плыть-то?»

ОДИНОКИЙ

— Вы никуда не пойдете, барин?

Барин сидит в глубоком кожаном кресле, перед большим письменным столом, почти сплошь заставленным разными безделушками, все реликвиями прошлого. С каждой из них связано какое-либо воспоминание, а над столом висит акварельный портрет пожилой, красивой женщины, с лицом строгим и освещенным глубокой мыслью, — это самое дорогое воспоминание.

И везде кругом барина в маленькой уютной комнате нет ничего, что не вызывало бы теней прошлого. Барину с лишком семьдесят лет, у него трясется голова, и все члены давно уже с трудом подчиняются велениям изработавшегося мозга.

Его кухарка, — экономка и единственный в мире близкий ему человек, — стоит в дверях комнаты и, стараясь скрыть зевоту, спрашивает сонно и равнодушно:

— Вы никуда не пойдете, барин?

В семьдесят лет некуда идти, кроме того места, куда необходимо пойдет каждый из нас.

Но все-таки барин справляется:

— Сколько времени?..

— Четверть десятого...

Он знает, что его старуха прибавила времени с полчаса, но не обращает на это внимания. Пожалуй, ему даже приятно, что полчаса как бы скинуты с общей суммы тех часов, которые ему остается провести в одиночестве и печальном ожидании конца концов. Он кротко говорит.

— Никуда не пойду...

Дверь бесшумно затворяется, и он снова один на один с самим собой. Перед ним раскрытая библия, на ней лежат очки, но он не читает, а курит трубку на длинном чубуке, курит и рассматривает так хорошо знакомые ему вещи на столе и фотографии, пожелтевшие от времени.

Дым табака сизыми волнами носится в воздухе, образует голубоватые фантастические узоры, застывает на минуту в виде легкой, еле заметной глазу ткани — и исчезает. Веки старых, тусклых глаз дремотно опускаются, — но это от слабости, а не от желания спать. Сна нет, как нет сил, нет тепла в крови и ясности в мозге.

Там медленно-медленно формируются давно пережитые и уже перепутанные временем образы прошлого, и ослабленная память напрягается, стараясь найти в них хронологическую и внутреннюю связь.

Иногда — точно искра в гряде пепла от угасшего костра — в старой, много думавшей голове сверкнет мысль и быстро гаснет, не успевая зажечь другую.

Снова являются образы, а клубы дыма из трубки становятся все гуще и стоят мягким лиловатым облаком над старческой, трясущейся головой, с лицом, исчерченным глубокими морщинами и украшенным пушистой рамой седых волос.

Время тянется медленно, маятник больших стенных часов строго аккуратно отсчитывает секунды.

Много проходит времени между одним и другим его ударом. С портрета на стене в лицо старика сосредоточенно и важно смотрят темные глаза женщины и как будто ждут чего-то от старого одинокого человека.

А от него, как и ему самому для себя, нечего ждать, кроме смерти.

За окном дождь шумит и печально ноет осенний ветер.

* * *

... Каждый день вечером повторяется эта сцена.

Отворяется дверь, и старуха-слуга равнодушно спрашивает:

— Вы никуда не пойдете, барин?

Тон, которым она говорит свою фразу, звучит скорее как напоминание, чем как вопрос.

«Вы никуда уж не пойдете больше!» — вещает старуха, как бы напоминая своему барину закон времени, которое не щадит жизни даже и тогда, когда она хороша и нужна.

А трясущаяся голова старика точно подтверждает своим движением этот закон:

«Да, мне никуда больше идти...»

Иногда в ней медленно слагается печальная мысль.

«Семьдесят лет жизни! Уметь много думать, много понимать, много чувствовать и делать — и за всем этим не уметь оставить по себе никакой тени в жизни, никакого яркого, поучительного, памятного другим пятна... Родиться, пройти свой путь, снести свой крест и одряхлеть и остаться одному во всем мире, остаться в маленькой комнате над землей и дожидаться в ней переселения в маленькую яму в земле...»

И старик, напрягая память, вспоминает ход своей жизни.

Он жил, как большинство тех серых и скучных людей, которых снисходительно принято называть «порядочными людьми».

Он имел представление о законах морали и никогда без необходимости, по своей воле не шел против них — он желал сохранить то внутреннее равновесие, которое зовут покойной совестью, и без необходимости не нарушал его.

В работу свою, сначала полную огня и оригинальности, он постепенно ввел формализм привычки. Что же? И Везувий потухнет со временем.

Приблизясь к окончательному завершению того внутреннего склада, который называют мирозерцанием, — он стал отдаляться от понимания духа времени, и потом совершенно перестал понимать его, явился по отношению к нему консерватором, застыл в рамках тех понятий, что уже остались далеко назад.

Работал и иногда вносил в свою работу частицу личного я, — если это позволяли.

Потом был женат, любил жену, пока мог любить, после уважал ее как подругу, но если она как-либо восставала

против его желаний и поступков, как-либо стесняла его «я», он давал ей это чувствовать и в ссорах никогда не щадил ее самолюбия.

Были дети, некоторые уже умерли, другие так далеко и так давно не видали отца, что едва ли придут, если их позвать для того, чтоб скрасить их присутствием одиночество, и едва ли будут способны искренно пожалеть о нем, умирающем.

И как их позвать? Он еще жив и, пожалуй, здоров; приехав к нему теперь, они могут теперь подумать о нем про себя:

«Вот беспокойный старик! Еще ведь не умирает, зачем же было беспокоить людей, заставляя их ехать так далеко для того, чтобы показать им себя...»

Они, может быть, и неспособны думать так про отца, это «порядочные люди», и стоили отцу много забот, но они люди все-таки... И время, время! — вот что надо помнить всегда. Оно излечивает все недуги, потому что все убивает — и то, что зовется симпатиями, любовью.

Друзья... В большинстве случаев это — судьи, учителя или опекуны — старость не нуждается в них. В виде редких исключений встречаются друзья, — слишком точно отражающие тебя в себе, как в зеркале; очень интересные и ценные сначала — они скоро становятся скучны и исчезают, превращаясь в знакомых. Лучшие друзья — это люди, которые не любят говорить и умеют понятно молчать. Но эти так редки.

У одинокого старика не сохранилось друзей.

* * *

Веки глаз его становятся все тяжелее, и ему все труднее поднять их.

Он глубже уходил в думы, и от этого ему так нехорошо, точно он погружается в холодную влагу, еще более расслабляющую его дряхлое тело.

Сердце бьется слабо, кости ноют тихой болью. Это оттого, что он долго не переменил позы. Он перемениет ее и снова думает все о том, чем бы скрасить последние дни жизни. Куда пойти, где можно бы оживиться и хотя

на пять минут забыть, заглушить неотвязное чувство близости конца.

Знакомые? Что может он принести людям такое, что дало бы ему право на их внимание?

Чем он может возбудить интерес к себе?

Рассказами о прошлом? — Рассказано все...

Изложением своего взгляда на настоящее? — Он не понимает его наполовину, а другую не хочет понять. Не хочет — потому что он все-таки веровал в то, над чем ныне стали смеяться. О будущем старики не говорят — у стариков нет будущего

От него веет смертью. Он знает это ..

И у него есть своя гордость — гордость человека, который видит нечто фатальное, ожидающее его, оно уже близко, и бесполезно жаловаться людям на законы, управляющие ими, но не ими созданные.

И у него нет веры в то, что люди способны искренно жалеть друг друга — он слишком много жил для того, чтоб сохранить эту веру до сего дня, бесконечно длинного дня, полного боли в костях, тяжести в желудке и в голове и занятого наблюдениями за процессом разрушения организма.

Две старческие мутные слезы выливаются из-под закрытых век и медленно текут по щекам, обвислым и морщинистым.

* * *

Голубые клубы дыма поднялись по потолку и исчезли, потому что трубка потухла, и ее чубук, выпавши из руки старика, уже лежит на полу.

Откинутая на спинку кресла седая голова с морщинистым лицом в раме серебряных волос все вздрагивает, руки, протянутые вдоль туловища, неподвижны, желтые и сухие кисти их с крючковатыми пальцами лежат на коленях.

В комнате тихо, только часы с медленностью, в которой можно заподозрить насмешку, считают секунды, бесследно капающие в вечность.

Со стола на старика в кресле смотрят выцветшие фотографии, статуэтки и разные безделушки, со стены смотрит на него портрет женщины.

Старик неподвижен уже.

Но он не умер еще, нет.

Из-под закрытых век его одна за другой катятся слезы — это мелкие слезы, но от них мокры обе его дряблые щеки.

По резким морщинам, опустившим книзу конвульсивно вздрагивающие углы губ старика, слезы сливаются ему в бороду, с бороды капаят на грудь.

За окном дождь шумит и печально воет осенний ветер.

НЕПРИЯТНОСТЬ

Эскиз

Миляев, поэт из признанных, дописавшийся до эпитета «маленький, но симпатичный талант», мужчина лет под тридцать, с пышной шевелюрой и темными карими глазами, пришел в гости к своим знакомым, но застал дома только сестру хозяйки дома, гимназистку седьмого класса, Верочку.

Ему некуда было идти, и он решил посидеть несколько времени с девочкой, тем более, что она заявила ему:

— Сестра скоро воротится.

Он заметил в ее меланхолических серых глазках желание задержать его, снял пальто, прошел с нею на террасу, любуясь ее смущенным и довольным личиком.

Там они сели за стол друг против друга, и он стал ждать, как девочка будет играть роль хозяйки дома, нарочно не говоря ничего, чтобы продолжить ее замешательство, которое льстило ему.

Он пользовался у женщин репутацией «неотразимого», знал это и никогда не прочь был лишний раз убедиться в этом. Конечно, Верочке еще только семнадцать, но почему не поиграть и с котенком? Иногда это забавно.

Было часов около девяти августовского вечера. Темнело. Сад одевался тенями, деревья стояли неподвижно, все кругом точно задумалось в предчувствии близкой осени. В воздухе стоял тонкий аромат цветов, в небе красивым

узором раскинулась прозрачная группа перистых облаков, а на террасе царило молчание, грозившее стать неловким, если оно затянется еще минуты на две.

Миляев смотрел на бледное личико Верочки, нервно перебиравшей пальцами концы легкого платка, накинутого на ее плечи, смотрел и думал:

«О чем бы с нею заговорить? Вот неудобство знакомств с этими барышнями, болтать они еще не умеют, ничем не интересуются, ничего не понимают».

И, опытный ловелас, он сам начинал чувствовать некоторое смущение перед ребенком, который, сидя против него, украдкой наблюдал за ним глазами, полными не то каким-то серьезным вопросом, не то только желанием как-нибудь прекратить это неловкое молчание.

Он рассмотрел уже ее всю до мельчайших деталей, умелым взглядом знатока, и нашел, что в общем она, эта девчурочка, отнюдь не дурна. Странно, что раньше он не замечал этого.

— Петр Николаевич! — вдруг робко заговорила она, кутаясь в платок.

Он с вопросительной улыбкой на губах ждал продолжения, изучая ее лицо, вспыхнувшее яркой краской волнения.

— У вас много стихов? Дома... не напечатанных еще?

— Да... есть... А что?

— Так... Я бы хотела все, все прочитать их.

— Это мне лестно слышать. А вы читали уже мою книжку?

— О, да! Сколько раз. И много знаю из нее наизусть. Некоторые стихи мне ужасно нравятся. Ужасно! Я вся дрожу, когда читаю их.

— О! Вот как даже. Это какие — можно знать?

— Много! Особенно нравятся мне те, в которых вы говорите о себе и о... своем горе... Они такие красивые, грустные... как вечера, то есть как последние солнечные лучи, пред тем как угаснуть, — я не знаю, как сказать!

— Да вы поэтесса! Вы сами, может быть, пишете? А? Ну, скажите? Или нет, вот что, скажите мне те стихи, которые вам больше других нравятся. Пожалуйста!

— Да я не знаю... у меня так много любимых! — И она снова вся зарделась от смущения.

— Говорите первое, которое вспомните! Мне будет крайне приятно послушать вас. Вы, как птичка, прощечечете. Ну, прошу же вас, Верочка!

Она откинулась на спинку садового кресла, закрыла глаза, ровно качая головой, очевидно, в ритм стихов, повторяемых ею про себя, и через минуту, смущенно улыбувшись, неуверенно начала:

— Вот...

Дремлет сад... И небо дремлет..
И, впивая аромат
Сонных роз, высоко в небе
Крошки-звезды тоже спят..
Вот плывут куда-то тени,
Тихо, медленно плывут,
И мое больное сердце
В даль с собой они зовут.
Под окном моим сквозь дрему
Шелестит ветвями клен,
У корней его левкой
Погрузились в сладкий сон.
И, когда над садом ветер
Вдруг задумчиво вздохнет,
Мне лицо их тонкий запах
С тихой лаской опадет.
Но зачем? Я этой лаской
Не утешен, не согрет.
Что цветы мне, что мне звезды,
Если в сердце жизни нет.

— Это мне нравится потому, что просто так. Просто и грустно очень. И потом рифмы через строчку и так отрывисто, — видно, что это прямо из сердца, как осколки чего-то разбитого, упало на бумагу.

— А вы хорошо, тонко понимаете, — сказал Миляев, сильно польщенный и заинтересованный ею. — Знаете, скажите еще что-нибудь. Прошу вас, вы так мило и умно читаете!

— Еще вот эти мне очень нравятся, — ободренная похвалой и теряя смущение, с блестящими теплом и светом глазами сказала она. — Вот эти, я их не совсем понимаю, но они тоже такие грустные. Вы просите кого-то:

Подожди еще немножко!
Поласкай меня, помучь
До поры, пока в окошко
Не заглянет солнца луч!
Он заглянет — ясно станет,
Что здесь были ночь и ты...

Он быстро остановил ее, боясь быть скандализированным... Стихотворение было нескромно, и она, очевидно, не понимала его соли.

— Ах это? Но скажите...

— Что мне нравится в нем? — перебила она.

— Нет, то есть, пожалуй, да.

— Видите ли, вы говорите далее, что луч солнца разрушит ваши грезы и мечты о неземном счастье, снова возвратив вас к действительности, и что снова грустные песни раздадутся в вашем сердце. Вы не любите действительности, и днем вам все кажется грубым и дурным... и в то же время вы говорите, что вам всегда приятно видеть, как первый солнечный луч возвращает вас к реальному, убивая своим светом ночные видения и чувства.. Я не понимаю — почему это? Почему вам «сладко видеть разрушение светом солнца ночи грез»?

«Скажите! — подумал про себя Миляев. — Вон что она открыла, непременно воспользуюсь ее толкованием, как темой для стихотворения».

Думая, он сделал себе грустное лицо — он всегда, говоря о себе, делал грустное и убитое лицо человека, обиженного жизнью и разочарованного в ней. Это не ново, но всегда производит впечатление на женщин.

— Почему, говорите вы? А видите ли, не знаю, поймете ли вы меня... Постараюсь быть понятным. Для людей моего типа всегда есть и будет:

..Наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю...

Я не умею верить, и, право, мне нечего ждать от жизни. Я одинок. Меня не понимают. В то же время я многого горячо хочу и знаю — не найду я ничего, ничего! Но, по собственному человеку стремлению к лучшему, я увлекаюсь, воображаю, несколько минут живу миражами воображения и — сам разрушаю их. Сам, — раньше, чем это сделает жизнь. Опережая ее, я чувствую горькое довольство самим собой. И это все, чем я живу.

Он сделал паузу, думая про себя:

«Немного топорно, но все равно! Девочка ничего не понимает и, конечно, не станет ловить меня на противоречии с самим собой или читать мне мораль».

Девочка, опустив головку, молчала, слушая его. Пауза заставила ее вздрогнуть, и она быстро вскричала с печалью и болью в голосе:

— Так! Я так и представляла вас себе. Но это... страшно! Какой вы... — она оборвалась, бледная и робкая.

— Какой я? — мягко спросил он, наклоняясь к ней.

— Несчастный... — тихонько сказала она, снова печально опустив головку. И несколько спустя прибавила еще тише: — Но хороший!..

Он улыбнулся, рассматривая ее хрупкую фигурку и порозовевшие кончики ушей, так красиво осыпанные шелковинками русых волос.

— Да... живется нелегко... Из любопытства живешь, говоря поистине.

— То есть как? — широко открыв глазки, переспросила она испуганно и робко.

— Живешь единственно из холодного желания знать, какой мелочью завтра будет отличено от сегодня? А настоящего, горячего желания жить... даже желания желать чего-либо — нет. Душа опустошена жизнью. Холодно и скучно. Позвольте, что вы, Верочка! Простите... я вас расстроил?

Да, она плакала. Она приняла все его слова за чистую монету и плакала. Он забыл, что имеет дело с ребенком еще, и несколько пересолил. Это было уже неприятно. И неприятность увеличилась еще тем, что ее лицо, все в слезах, перестало быть красивым, по-детски сморщилось, потеряло все привлекательное. Плечи у нее уже дрожали, и можно было ожидать, что она разрыдается. Он не знал, что делать с ней. Если бы это была женщина, он подошел бы и взволнованно начал благодарить ее за эти святые, бескорыстные слезы, за это участие к нему, одинокому страдальцу-поэту, поцеловал бы ее руку — почтительно, с глубоким уважением, шею — благоговейно и кончил бы страстным поцелуем в губы; это всегда так начиналось и заканчивалось.

Но это девочка! Что ему делать с ней?

«Вот идиотское положение! — мысленно ругался он, чувствуя себя способным надрать ей уши за эту сцену. — Дернул же меня чорт говорить с ней. Вот что значит

привычка. Извольте, сердце мое, пользоваться плодами сей победы! Ф-фу!»

— Если бы... я... могла... — тихонько шептала она сквозь слезы.

— Успокойтесь, Верочка! — молил он, вертясь около ее стула и ожидая, что вот раздастся звонок, воротится сестра этой плаксы и — это будет картина!

— Я всю бы... себя... вам... жизнь...

«Начинается истерика!» — трагически воскликнул он про себя.

— Верочка! Я уйду! Успокойтесь же! Молю вас.

Но ей трудно было успокоиться. Она была так взволнована, ей было так жалко никем не понятого поэта, стихи которого так музыкально-грустны и так близки, знакомы ей...

— Прощайте! До свидания!

Она не отвечала. Он уходил... Куда? Ей представилось, как он медленной походкой человека, несущего в своей груди много горя, которого ему не с кем разделить, идет один по темной улице и тень его движется рядом с ним по земле. И ему так грустно, больно и боязно своей тени, единственно близкой ему.

Верочка, быстро отирая лицо, просительно заговорила:

— Не уходите! Я не буду больше плакать. Оставайтесь со мной.

Ей так хотелось броситься на его грудь и целовать его долго, много, крепко.

Но когда она подняла голову, его уже не было на террасе. Издали доносились торопливые шаги по полу комнат.

— Петр Николаевич! — умоляюще крикнула она.

Потом, подождав немного ответа, снова бросилась в кресло и заплакала.

* * *

А он быстро шел по улице и чувствовал себя скверно. «Зачем я заговорил с ней об этом? Вызвал слезы. К чему мне они? Кража, вымогательство из любви к искусству. Вот уж сыграл дурака! Но все-таки она премиленькая шельмурочка! И если ее сестра умнее ее, то...

Ну это, положим, глупости! А, впрочем, почему бы? Возня. Женщины — проще. Однако, как я бегу!»

Он пошел тише.

«А все-таки она взволновала меня. Лестно, чорт возьми! Нужно будет посвятить ей маленькие стихи, с раскаянием и с преклонением пред ее девственной чистотой. Нет, лучше не нужно. А то она и в самом деле втюрится по уши. Однако как все это скучно! Куда бы пойти?»

Луна всходила.

Ночь была такая теплая, ясная, звездная.

Но было еще не поздно, в воздухе над городом носился глухой шум жизни, — жизни, в которой так много лишнего и так мало необходимого.

КАК ПОЙМАЛИ СЕМАГУ

Семага сидел в кабаке, один за своим столиком пред полбутылкой водки и поджаркой за пятиалтынный.

В прокопченном табачным дымом подвале с каменным сводчатым потолком, освещенным двумя лампами, подвешенными к нему, и лампой за стойкой, было страшно накурено, и в тучах дыма плавали темные, рваные, неопределенные фигуры, ругались, разговаривали, пели и делали все это очень возбужденно, очень громко и с полным сознанием своей безопасности.

На улице выла суровая выюга поздней осени, носились крупные липкие хлопья снега, а в кабаке было тепло, привычно пахуче и шумно.

Семага сидел и зорко сквозь пелену дыма наблюдал за дверью, особенно зорко, когда она отворялась с улицы и в кабак входил кто-нибудь. Он в этом случае даже нагибался несколько вперед своим крепким и гибким корпусом, а иногда приставлял к бровям ладонь руки, как щит, и долго пристально всматривался в физиономию вошедшего — на что у него были весьма основательные причины.

Рассмотрев нового гостя подробно и, очевидно, убедившись в том, в чем ему нужно было убедиться, Семага наливал себе новую рюмку водки, опрокидывал ее в рот и, насадив на вилку с полдюжины кусков картофеля и мяса, отправлял ее вслед за водкой и долго, медленно

жевал, смачно чавкая и облизывая языком свои щетинистые солдатские усы.

От его мохнатой большой головы на серую и сырую стену падала странная взъерошенная тень, и, когда он жевал, она содрогалась; это было похоже на то, как бы она кому-то усиленно, но безответно кланялась.

Лицо у Семаги было широкое, скуластое, бритое, глаза большие, серые, прищуренные, над ними темные мохнатые брови, и на левую бровь спускался, почти прикасаясь к ней, курчавый клочок волос какого-то неопределенного, сивого цвета.

В общем Семагино лицо не возбуждало к себе доверия и даже несколько смущало выражением решимости, напряженной и неуместной даже и посреди той компании и обстановки, среди которой Семага находился.

На нем было надето рваное драповое пальто, подпоясанное веревкой, рядом с ним лежала шапка и рукавицы, а к спинке стула он приставил свою дубинку, довольно внушительных размеров, с шишкой из корня на одном конце.

И так он сидел, кейфовал и, допив свою водку, собирался спросить еще, как вдруг дверь с дребезгом и визгом распахнулась, и в кабак вкатилось что-то круглое, лохматое и похожее на большой раздерганный пук пакли, — вкатилось и закричало по-детски звонко и очень возбужденно:

— Стрема! Подбирай голяшки, дяденьки!

Дяденьки все вдруг осеклись, замолкли, озабоченно засуетились, из среды их раздался густой и несколько смущенный вопрос:

— Не врешь?

— Лопни глаза, с обеих сторон валят. Конные и пехтурой... Двое частных, околодошники... множество!

— А кого им надо, не знаешь? Не слыхал?

— Семагу, должно. Никифoryча про него спрашивали... — звенел детский голос, в то время как шарообразная фигурка его обладателя суетилась под ногами дяденек, все ближе подкатываясь к стойке.

— Рази Никифoryч попал? — спросил Семага, напаявая на свою мохнатую голову шапку и неторопливо поднимаясь со скамьи.

— Втюрился... сейчас цопнули.

— Где?

— В Стенке у тетки Марьи.

— Ты оттуда, что ли?

— Э-э! Я огородами задал лататы да сюда; а сейчас улепетну в Баржу, там, чай, тоже есть кто.

— Валяй!

Мальчик мгновенно выкатился вон из кабака, и вслед ему раздался укоризненный возглас сидельца, благообразного седенького старичка Ионы Петровича, богобоязненного и сухенького человечка в больших очках и в черненькой скуфейке.

— Экая протобестия, иудин сын! А? Хамово окаянное семя! На-ко? Целую тарелку слизал!

— Чего? — спросил Семага, идя к двери.

— Печенки... всё с тарелки-то ечистил. И как ему, анафемскому змеенышу, доспелось? Хап — и чисто!

— Ну, разорил он тебя! — сурово заметил Семага, скрываясь за дверью.

Вьюга, сырая и тяжелая, глухо шумела, крутясь над улицей и вдоль ее, мокрые хлопья снега летали в воздухе такой густой массой, точно каша кипела и пенилась.

Семага постоял на одном месте с минуту и прислушался, но ничего не было слышно, кроме тяжелых вздохов ветра да шуршания снега о стены и крыши домов.

Тогда Семага пошел и, пройдя шагов с десять, перелез через забор на чей-то двор.

На него залаяла собака — и, как бы в ответ на ее лай, где-то фыркнула и стукнула копытом лошадь. Семага решительно перекинулся вновь на улицу и пошел по ней, направляясь к центру города, уже быстрее.

Через несколько минут, заслышав впереди себя какой-то глухой шум, он снова метнулся через забор, благополучно прошел по двору, дошел до отворенной калитки в сад и вскоре, без приключений миновав еще несколько заборов и дворов, шел по улице, параллельной той, на которой стоял кабак Ионы Петровича.

Идя, Семага думал о том, куда бы ему отправиться, но не мог ничего придумать.

Все надежные места в эту ночь, когда чорт дернул полицию делать обход, являлись уже ненадежными, а провести ночь на улице в такую пургу, с риском попасть

в лапы обхода или ночного сторожа, — это не могло улыбаться Семаге.

Он шел медленно и, сощу́рив глаза, смотрел вперед себя в белую муть вьюжной ночи — из нее навстречу ему выползали молчаливые дома, тумбы, фонарные столбы, деревья, и все это было облеплено мягкими комьями снега.

Странный звук раздался в шуме вьюги — точно будто тихий плач ребенка где-то впереди. Семага остановился и, вытянув шею вперед, стал похож на хищного зверя, насторожившегося в предчувствии опасности.

Звуки замерли.

Семага качнул головой и снова начал шагать, глубже нахлобучив шапку и вобрав голову в плечи, чтобы меньше снега попадало за воротник.

У самых ног его что-то запищало. Он вздрогнул, остановился, наклонился, пошарил руками на земле и выпрямился, отряхая что-то, завязанное в узел, от снега, засыпавшего эту находку.

— Вот так фунт! Ребенок... Ах ты, сделай милость! — в недоумении прошептал он, поднося находку к своему носу.

Находка была теплая, шевелилась и была вся мокре-хонька от растаявшего на ней снега. Рожица у нее была намного меньше Семагиного кулака, красная, сморщенная, глаза закрыты, а маленький рот все открывался и чмокал. С мокрых тряпок на лицо и в этот беззубый ротик текла вода.

Семага совершенно отупел от недоумения, но, чтоб избавить ребенка от неприятной необходимости глотать снежную воду, — догадался, что нужно оправить тряпки, и для этого перекувыркнул ребенка вниз головой.

Тому это, должно быть, показалось неудобным, и он жалобно запищал.

— Нишкни! — сказал Семага сурово. — Нишкни! А то я те задам. Я чего вот с тобой сделаю? А? Куда мне тебя нужно? А ты ревешь? Ишь ты, дурачина.

Но на находку Семаги несколько не подействовала его речь — ребенок все пищал и так жалобно, так тихо, что Семаге сделалось неловко.

— Это, брат, как хошь! Я понимаю, что тебе мокро и холодно... и что ты мал ребенок. Но, иначе, куда ж я тебя дену?

Ребенок все пищал.

— Совсем даже мне некуда тебя девать, — решительно сказал Семага, закутал свою находку плотнее в тряпки и, наклонившись, положил ее на снег.

— Так-то вот. А то куда ж я тебя дену? Я, брат, и сам вроде как подкидыш в моей жизни. Прощай, значит... Больше никаких!

И, махнув рукой, Семага пошел прочь от ребенка, ворча про себя:

— Кабы не обход, мог бы я тебя куда ни то сунуть. А то вон — обход. Что я тут могу сделать? Ничего, брат, не могу. Прости, пожалуйста. Невинная ты душа, а мать твоя — шкуреха. Кабы мне ее узнать, я бы ей ребра обломал и все печенки отбил. Чувствуй и понимай, да вдругорядь не дури. Знай край, да не падай. Эх ты, дьяволица треклятая, проклятая душа, ни дна бы тебе, ни покрышки, чтоб тебя земля не приняла, анафемскую дочь, чтоб тебя тоска-сухотка измаяла! А! Родишь? Бросаешь под забор? А за косы хочешь? Да я тебя... свинья ты! Должна ты понимать, что в такую пургу да мокроть нельзя ребят по улицам швырять, потому они слабые, как в рот снегу нанесет — они и задохнутся. Ду-ура, выбери сухую ночь и бросай свое дитя. В сухую ночь и проживет оно дольше и, главная вещь, увидят его люди. А разве в такую ночь люди ходят по улицам?.. Э-эх ты!

Когда именно, в каком месте своей реплики Семага воротился к находке и снова взял ее на руки, он этого не заметил в увлечении своим негодованием по адресу матери подкидыша. Он сунул его себе за пазуху и, снова на все корки отчитывая мать, двинулся вперед, охваченный чем-то тоскливым, смятенный и от жалости к ребенку, уже и сам жалкий, как ребенок.

Находка слабо возилась и глухо пищала, придавленная тяжелым драпом пальто и могучей рукой Семаги. А под пальто у Семаги была только одна рваная рубаха — отчего скоро Семагина грудь почувствовала живую теплоту маленького ребячьего тельца.

— Ах ты, живой! — ворчал Семага, идя сквозь снег куда-то вперед по улице. — Нехорошо твое дело, братец мой! Потому куда мне тебя? Вот оно что! А мать твоя... ты не возись, лежи! Вывалишься.

Но он возился, и Семага чувствовал, как сквозь дыру в рубашке теплое личико ребенка трется о его, Семагину, грудь.

И вдруг Семага, как пораженный, остановился и громко прошептал:

— А ведь он это грудь ищет! Матернюю грудь... Господи! Матернюю грудь?!

Семага задрожал даже от чего-то — не то от какого-то стыда, не то от страха — от странного и сильного, больно и тоскливо щемящего сердце чувства.

— Я... как бы мать! Ах ты, братец мой! Ну, и чего же ты ищешь? И что ты со мной делаешь?.. Я, брат, солдат, вор я, коли говорить правду...

Ветер шумел глухо и так тоскливо.

— Заснул бы ты. Ты засни. Ну, баю. Спи! Ничего, брат, не вычмокаешь. Спи ты... Я те песню спою. Мать бы спела. Ну, ну, ну... О, о, о! Баю, бай... Я не баба. Спи!

И Семага вдруг тихо и, насколько мог, нежно и протяжно запел, наклонив свою голову к ребенку:

Ты, Матанька, дура, шура,
Не велика ты фигура.

Это он пел на мотив колыбельной песни.

Белая муть на улице все кипела, а Семага шел по тротуару с ребенком за пазухой, и в то время как ребенок, не умолкая, пищал, вор сладко над ним мурлыкал:

Как приду я к тебе в гости,
Обломаю тебе кости.

И по его лицу от глаз текло что-то — талый снег, должно быть. Вор то и дело вздрагивал, у него щекотало в горле и щемило в груди, и было ему до слез тоскливо идти по пустынной улице, среди вьюги, с этим ребенком, пищавшим за пазухой.

Он все шел однако...

Сзади его раздался глухой топот копыт, показались в мутной мгле силуэты всадников, и вот они поравнялись с ним.

— Кто идет?

— Что за человек? — раздалось сразу два оклика...

Семага дрогнул и остановился.

— Что несешь, говори? — подъехав вплотную к тротуару, спросил его один всадник.

— Несу-то? Ребенка!

— Кто таков?

— Семага... Ахтырский.

— Приятель! А тебя ведь и искали! Ну-ка, айда, становись к морде лошади!

— Нам надо сторонкой идти. За домами-то меньше дует. А середь дороги нам не с руки. Мы и так уж.

Полицейские едва поняли его и позволили идти сторонкой, а сами поехали рядом, не сводя с него глаз.

Так он и шел вплоть до части.

— Ага! Попал, сокол. Ну, вот и отлично! — встретил его частный пристав в канцелярии.

Семага тряхнул головой и спросил:

— А как же теперь ребенок? Куда мне его?

— Что? Какой ребенок?

— Подкидыш. Нашел я. Вот.

И Семага вытащил из-за пазухи свою находку. Она дрябло перегнулась на его руках.

— Да он мертвый уж! — воскликнул частный пристав.

— Мертвый? — повторил Семага и, посмотрев на ребенка, положил его на стол.

— Ишь ты, — сказал он и, вздохнув, добавил: — Сразу бы мне его взять. Может бы, он и не того... А я не сразу. Взял да опять положил.

— Ты чего ворчишь? — с любопытством спросил частный.

Семага сумрачно оглянулся вокруг себя.

Со смертью ребенка в нем умерло многое из того, с чем он шел по улице.

Вокруг него была казенщина, впереди тюрьма и суд. Семаге стало обидно. Он укоризненно взглянул на трупик ребенка и со вздохом проговорил:

— Эх ты! Задарма, значит, я втрескался из-за тебя!
Я думал и впрямь... ан ты и умер... Штука!

И Семага ожесточенно стал скрести себе шею.

— Увести! — приказал частный пристав полицейским,
кивая на Семагу головой.

И увели Семагу под арест.

Вот и все.

БАБУШКА АКУЛИНА

Набросок

В осеннюю гололедицу, возвращаясь домой со сбора милостыни, бабушка Акулина поскользнулась, упала и сильно разбилась. Когда она барахталась на панели, пытаясь встать, ее увидел знакомый полицейский, подошел к ней и, думая, что она, по обыкновению, «выпимши», стал ругаться.

— Ишь, старая чертовка, — говорил он, — опять на-клюкалась! И скоро ли только ты издохнешь? Сколько из-за тебя я разного беспокойства принял! Ах ты...

Он смотрел на нее сурово, тон его голоса был зол и резок, но бабушку Акулину все это не смущало. Она знала, что он добрый солдат, зря ее не обидит, в часть не отправит — разве первый раз ему приходится поднимать ее на улице!

Он никогда не отправляет ее в «каталажку», а всегда домой, если же ругается, так это ничего, — нельзя же, в самом деле, не ругать человека, который причиняет беспокойство.

И, стараясь загладить свою вину, она собрала все силы, желая подняться на ноги, но застонала, сморщилась и снова вытянулась на панели, охая и крича.

— Старая швабра! — сказал полицейский и стал поднимать ее.

— Никифорыч, голубчик, не тронь! Разбилась я, видно.

— Ну! Вставай! Разобьешься ты... как же...

— Ми-илый ты мой, Никифорыч, ноженьку можжит... правую ноженьку... не тронь, погоди! Умираю.

— Что ты, в самом деле, старуха! Как я тебя тут не трону? Лежишь на видном месте и орешь, ну ин в уголок вон отползи, коли исправду что у тебя.

— Никифорыч, смерть моя пришла! Отвез бы ты меня домой!

— Возись с вами, черти мохнатые! Извозчик!

Через несколько минут они оба уже ехали на извозчике. Бабушка Акулина сидела внизу пролетки и охала, а Никифорыч, мрачно насупившись, поддерживал ее голову и уговаривал старуху:

→ Эй, чортова перечница! Будет уж... не скули!..

— Больно, голубчик.

— А кто виноват?

— О-ой! И деньги просыпала. Все, старая шкура, потеряла.

— Какие такие?

— Милостыню... семь копеек!

— Эка сумма! Ф-ф! — фыркнул Никифорыч в свои рыжие усы.

— Да ведь, ми-илый! у меня народ на руках... Всякая кроха в дело идет. Ой! вели ты извозчику-то потише ехать!

— Ты! — внезапно озлился Никифорыч, повидимому, без всякой причины. — Деревня чортова! Аль не понимаешь, что больную везешь? Пошел ровней.

Он смерил спину извозчика суровыми глазами и продолжал говорить старухе уже более мягко, чем раньше:

— Народ на руках. Очень ты глупая старуха. И что тебе дался этот народ? На-арод! Рвань разная, жулье, да девки, а она народ! Дура ты, старуха, вот что, и вредная дура, — потому портишь людей... Без тебя они, глядишь, работали бы, а ты их пичкаешь... Они рады, — бабушка Акулина, бабушка Акулина! — а сами верхом на бабушкиной шее катаются. Черти! Пороть бы их! Да и тебя заодно с ними, не балуй народ. Н-да! Эй! ты... святая душа на костылях! Уснула ты? а?..

Но бабушка Акулина, откинув голову на колено полицейского, лежала неподвижно и не отвечала ни слова. Ее лицо посинело, беззубый рот был полуоткрыт, глаза ввалились, и из-под сбитой с головы рваной серой шали выбились пряди полуседых волос, еще густых и волнистых.

«А она, должно, и впрямь расшиблась...» — догадался Никифорыч, пристально посмотрев на нее. — А может, она это умерла? — вслух сказал он, обращаясь к извозчику.

Тот через плечо окинул нищую взглядом и кратко ответил:

— А бог ее знает! Кажись бы, нету еще.

— Верно, тепла потому. Все-таки, пожалуй, ее надо в больницу свезть.

— Н-ну! — сказал извозчик, — до дому-то ближе. Вон он, чай!

Никифорыч ничего не сказал. Извозчик поторопил лошадь:

— Ну ты! Плесень...

Бабушку Акулину привезли домой.

* * *

Не считая бабушку, лежавшую кверху лицом на при-
мостках из досок, в маленькой, сырой и темной комнате
подвального этажа народа было человек восемь: Адво-
кат — сивый и рваный мужчина, лет под пятьдесят, с опух-
шим от пьянства лицом, — сидел на столе; рядом с ним
помещалась Марька Прощелыга, его сожительница, пол-
ная женщина с серыми тупыми глазами, полуидiotка, ко-
торую все, кому было не лень, колотили шутки ради,
на что она никогда не обижалась, но чем всегда бывала
изумлена, круглыми глазами осматривая шутника, только
что кончившего мять ей шею или шупать ребра. На полу
сидели четверо: семнадцатилетний Ярлык, уже трижды
судившийся за кражи; его учитель Мамочка, сухой и
длинный оборванец с совиными круглыми зелеными
глазами, в рваном халате; Петр Исаич Бух, человек,
с неделю тому назад только что отбывший три месяца
тюремного заключения за растрату денег у своего хо-

зяина, представительный молодой человек в бороде и усах, с бледным нервным лицом, и Настенька.

Они играли в карты «на пустышку». Настенька держала банк и, обращая то к тому, то к другому партнеру свое довольно миловидное, но очень избитое лицо, все в ссадинах и кровоподтеках, возглашала хриплым голосом:

— Мечу! Сколько? Тыщу рублей? Идет! Сотку? Бита! Я вас всех, миляги, обтекleshу!

Остальная публика жалаась у стен в темноте, а на подмостках, в ногах у бабушки Акулины, сидел Отец Дьякон — какой-то послушник, флегматичный и громадный мужчина с большими черными глазами и с вихрастой шевелюрой, осыпавшей его крупную голову жесткими прядями черных волос, украшенных соломинками, мочалками, перьями и тому подобным мусором.

— Кабы теперь достать тертого картофеля с хлебом да к ноге-то ей и приляпать! — раздалось откуда-то от стены.

— Глина с уксусом, ежели ее в чулок напихать да к ушибу приложить, тоже хорошо действует! — заявил с пола Мамочка и громогласно высморкался.

— Водка — вот первое лекарство от всяческих немощей человеческого естества! — возгласил Отец Дьякон.

— Голубчики мои!.. — застонала бабушка Акулина так кротко и жалобно, что в подвале сразу сделалось тихо. — Родные... внучатки... бедные вы мои головушки... сделайте вы со мной Христа ради что-нибудь!.. прирежьте меня... приколите меня... мочушки моей больше нет!.. огнем горю живая... о-ох!..

Среди игроков произошло некоторое замешательство, все куда-то двинулись, а Настенька дважды кряду сбросила карту налево...

Отец Дьякон стал сумрачно чесать свою лохматую голову, Адвокат закашлялся и для чего-то ткнул свою соседку локтем в бок, на что та, по привычке, не обратила внимания.

Но скоро все оправились...

— Смотри, что делаешь!.. — строго сказал Ярлык Настеньке. — Мечи с начала...

Настенька со вздохом собрала карты и стала их тасовать. Адвокат поднял глаза и засвистал что-то унылое.

— Ничего, бабуся, потерпи, — заговорил Отец Дьякон и густо отхаркнулся, точно собираясь петь.

— Моченьки моей нет... Родимые детушки... — ныла старуха.

— Про-ойдет, не беспокойся... ты у нас, бабушка, крепкая... — обнадежил ее Мамочка.

— Можжит меня всю.

— Ничего не поделаешь, ты стони шибче, от этого легче бывает, боль-то обманывай криком, — посоветовал Дьякон.

— Господи! Иисусе Христе! Ой-й! Что со мной будет... Умереть бы ин...

— Бита! — радостно возгласила Настенька. — Сколько бы я выиграла, ежели бы это на деньги играть.

* * *

Бабушка Акулина вдруг перестала охать и с полчаса молчала, совершенно неподвижно вытянувшись на своей постели.

— Уснула старуха! — сказал Дьякон и, подойдя к игравшим в карты, присел около них на корточки и что-то замурлыкал про себя.

Адвокат нахмурил брови, слез со стола и занял место Дьякона на койке. Он пристально всмотрелся в лицо бабушки и хрипло подтвердил:

— Верно... Спит!..

Но он ошибся.

Бабушка открыла свой беззубый рот, с сожалением почмокала губами и жалобно заныла:

— Никифорыч, друг! собери милостыню-то, Христа ради... ведь ждут ее люди... и семь копеек найди, тут они, тут, шарь около забора-то... два семишника... один старый, другой поновее... Батюшка-барин! Убо-огой старухе на хлеб копеечку по-одайте! Семья у меня. Детушки! вон он, кузовок-то... кушайте, много его сегодня... хлеба-то. А на выпивку нет! Тюх! не подают деньгами-то... уж разве за всенощной.

Л-ларион мой дорогой!
В-выходи гулять со мной,
Я девчонка молода
На мо-орозе жду тебя...

Голос у старухи порвался, и она заметалась из стороны в сторону, дрыгая здоровой ногой и приговаривая в такт движениям:

— Тюх! Тюх! Тюх!

— Бредит... — сказал Адвокат, почесывая переносицу.

Игравшие в карты все встали с пола и столпились около больной, с любопытными улыбками разглядывая ее.

— Ишь ты, пляшет! — догадался Ярлык и захохотал.

— Запляшешь, — хмуро протянул Адвокат. — А надо нам, братцы мои, чего-нибудь с ней сделать, она, видно, и в самом деле захворала.

— Водки бы ей дать. Этакой солидный стакашек, — со вздохом заявил Дьякон, облизывая губы.

— В больницу отправить, — сухо кинул Мамочка, отходя от койки.

— Так ее и примут, держи карман шире... — скептически усмехнулся кто-то.

— Это верно, бумаг нет... и, тоже, как отправить? Извозчика надо... и прочее, а деньги? — подтвердил Адвокат.

— А ежели, как прошлый раз Федяшку, — отвезть ее к больнице, да и подбросить там... небось, так-то примут! — предложила Настенька.

— Отвези... Ты бы лошадь была хорошая, жаль вот пролетки нет, — съехидничал Ярлык.

— Детушки мои, кушайте! пирог там есть с капустой, целый он, грешница... с лотка я его сперла, он загляделся, а я... Никифорыч! не бей ты меня, старую пьяницу...

— Эх ты, старуха! — вздохнул Адвокат.

— Есть-то как? Имеем? — раздался голос из угла каморки.

— А и впрямь, поесть бы! — поддержал Мамочка.

— Где старухина торбочка? — спросил Ярлык у Настеньки.

Стали искать торбочку и не нашли.

Это обстоятельство произвело на всех неприятное впечатление.

— Эх, чорт! — выругался кто-то.

Переглянулись друг с другом и замолчали все, думая, очевидно, об одном и том же.

— Как же мы теперь, братцы мои, питаться будем, ежели старуха-то того? — жалким голосом спросил Дьякон. Молчание прервалось.

— Н-да-а?

— И вправду?

— Ведь, ежели говорить начистоту, — старухиной милостыней мы живы-то были!

— Ну, теперь надо будет самим о себе заботиться: старуху заездили, — сурово произнес Адвокат.

И все съезжились и потемнели.

— Кушайте, детушки, пока я жива... я вас... — бредила бабушка Акулина.

А ее почтенные внуки чувствовали себя весьма смущенными развернувшимся перед ними истинным смыслом события.

* * *

Бабушка Акулина была филантропкой Задней Мокрой улицы. Она собирала милостыню, а в виде подсобного промысла иногда, при удобном случае, немножко воровала. Около нее всегда ютилось человек пять-десять «внучат», и она всегда ухитрялась всех их напоить и накормить. «Внучатами» являлись самые отчаянные пропойцы-босяки, воры и проститутки, временно, по разным причинам, лишенные возможности заниматься своим ремеслом.

Бабушка Акулина не умела делить людей на достойных и не достойных ее внимания и одинаково тепло и радушно относилась ко всякому, кого судьба толкала в ее землянку.

Вся улица знала ее, и слава о ней выходила далеко за пределы улицы. Но все-таки, на языке босых и загнанных людей, «попасть во внучата» значило дойти до самого печального положения; поэтому бабушка Акулина как бы знаменовала собой крайнюю ступень неудобств жизни и, пользуясь большой известностью за свою филантропическую деятельность, не пользовалась любовью со стороны опекаемых ею людей.

Пребывание около нее имело еще и очень крупное неудобство, — она слишком хорошо была известна поли-

ции, и, когда последняя искала какого-нибудь интересующего ее субъекта, она почти всегда начинала поиски с землянки бабушки Акулины. Те из босяков, которые еще могли как-нибудь перебиваться, сторонились от бабушки, и только самое отчаянное стечение обстоятельств и перспектива голодной смерти загоняли к ней людей.

Ко всему этому, бабушка Акулина имела крайне отталкивающую наружность. Низенькая, всегда почти полупьяная, в невероятно рваных и грязных лохмотьях, с морщинистым и обезображенным шрамами от разных увечий, нанесенных ей ее же «внуками», лицом, среди которого возвышался разбухший багровый нос, и красными слезящимися глазами, — она, по справедливости, заслужила эпитет «киевской ведьмы», который давным-давно укоренился за ней в улице. Когда она шла по улице, согнутая временем в дугу, стучая в панель своей палкой, вечно улыбаясь беззубым черным ртом и о чем-то скрипуче разговаривая сама с собой, она представляла собой отвратительный ком живой пахучей грязи. Да, она никак уже не могла надеяться возбудить к себе симпатию. И при всем этом, старуха, к несчастью, которого она, может быть, не чувствовала, не могла жить без людей около себя, и, если иногда судьба не загоняла к ней «внучат», — бабушка Акулина старалась исправить этот недосмотр судьбы и сама затаскивала к себе всех, кого могла.

В мире «отбросов общества» — в этом печальном и грустном мире — есть свои отвергнутые, и бабушка Акулина принадлежала к последней категории их.

* * *

— Вот так фунт с походом! — воскликнул Ярлык, разрешая общее напряженное молчание.

— Дела наши — табак! — сказал Дьякон.

А Адвокат мрачно подтвердил:

— Последнего приюта мы лишились!

— Н-ну, приют-то останется за нами, — успокоительно протянул Мамочка. — А как и чем мы сегодня будем питаться, — вот это штука.

— Н-да, на сей день мы лишены пищи, — грустно проговорил Дьякон.

— Попищишь, попищишь, да с пустым брюхом и ляжешь! — сострил Ярлык.

— Детушки... водицы бы! — открыв глаза, прошептала больная...

Настенька дала ей воды. Старуха напилась, перекрестилась дрожащей рукой и обвела всех глазами. Потом она тяжело вздохнула и странно двинула головой по куче тряпья, на которой она лежала.

— Господи, сколько вас! — заговорила она своим скрипучим голосом, дрожащим от слабости и еще более неприятным поэтому. — Того вон я не знаю... кто это ты?

— Я — Бух...

— Ну, Бух, так Бух, бог с тобой... все равно человек. Все мы люди одинаковые. А я вот умираю, братеньки... Умираю, старуха, господь с вами! Жила, грешила, пьянствовала, воровала... вот умру и ничего такого больше не буду делать...

— Это ты правильно, — мертвому человеку, должно быть, и выпить никогда не хочется, — шутливо подтвердил Дьякон.

С возвращением к бабушке сознания к нему возвратилась надежда на возможность чего-нибудь поесть сегодня.

— Ничего не хочется, да! А вы простите меня... И вас всех господь простит. Не любили вы меня, старуху, ну, это ваше дело. Я любила вас, ей-богу!.. Прощайте, спаси вас царица небесная!

Старуха снова перекрестилась.

— Ну, это ты, баушка, брось! — хмуро сказал Адвокат. — Поднимешься... полежишь и встанешь...

— Нет, уже не встану. Вся как есть разбилась, — видно, печенки отбила. Вон как горю... Прощайте!

— Бабка! — остановил ее Мамочка, — брось-ка ты это, — лучше вот что скажи: ты собрала сегодня чего?

— Я-то? Отшибло память, не помню. Кажись, собрала... Как, чай, не собрать? Всегда ведь собирала...

— А куда оно делось? — осведомился Дьякон.

— Не знаю... Кто меня поднял? Никифорыч? У него, поди...

— Добеги-ка, Настенька, узнай.

— Пойду я на улицу с такой-то битой рожей!

— Я те швырну, так ты полетишь, а не пойдешь!

— Дьявол!

— Не ругайтесь, дети... не нужно... дайте мне другие какие слова услышать... Умираю ведь... поверьте — умираю... Вот что, детушки: в головах у меня в коробочке трешна есть бумажкой... так это я на гроб себе... припасла... выньте... как помру я... и...

Она задыхалась, — и на лбу у нее выступил пот.

Публика молчала, пристально и сосредоточенно рассматривая ее, и это молчание продолжалось минуты две.

— Бабушка Акулина... — глухо начал Дьякон.

— А?

— Вот что, ты не обижайся на меня. Только я скажу... вот что, — мертвому человеку все равно... он ничего не хочет, а мы живые. Тебе что? Ты в гробу или без гробу... все равно; гроб-то всегда от полиции будет. Ты дай-ка нам треху-то, — мы бы поели.

— Не надо... что ты? — шепнул Адвокат.

Дьякон посмотрел на остальную публику.

Она ждала конца его предприятия, — жадно ждала, он видел это.

— Нам-то тоже, что ли, помирать? — шопотом же ответил Дьякон и, наклонясь к старухе, спросил: — Как же? Возьмем мы?

Бабушка Акулина раскрыла рот, почвакала губами и еле слышно проговорила:

— Берите, берите, дура я старая... ишь ведь, перед смертью-то забыла про вас было... берите... вот тут... конечно... гроб от полиции... дура.

И замолчала.

— Ярлык! Лети! Духом! — торжествующе шептал Дьякон, выволакивая из-под изголовья белую аптечную коробочку с трешницей.

Ярлык сделал гримасу и исчез.

— Отойдем от нее, братцы, надо покой дать человеку, — предложил публике догадливый Дьякон.

Публика отхлынула от бабушки Акулины. Она осталась одна на куче тряпок. Ее серое лицо ярче выделялось на их фоне. Лежала она неподвижно и лишь иногда слабо стонала.

Никто не заметил, когда именно она умерла.

А хоронили ее на другой день. Гроб стоял на телеге, извозчик без шапки шел рядом с телегой и протестующе говорил, обращаясь к Никифору, шагавшему с разносной книгой в руках по другую сторону катафалка бабушки Акулины:

— Говорю я правду. Али это порядок? Хватит человека — вези! На, везу! А кто мне рубль додаст? А-а?! Я бы работал на хлебном базаре за полтора рубля, — а здесь мне полтину сунут. А опосля-то не попадешь. На сколько время проваландаюсь с вами? А мне на полтину-то лошадь не прокормить, — вот оно что, друг.

Но Никифор не обращал внимания на воркотню извозчика. Рядом с ним, старым солдатом, выдавшим виды на своем веку, шел Адвокат, согнувшись в три погребели, без шапки, с завязанными грязной тряпкой ушами и засунув руки глубоко в рукава какой-то рваной кацавейки. Никифорич внушительно говорил ему:

— Старуха была для вас, чертей, — мать. Зашибала она, но это ничего. Воровала — опять для вас. Видишь? И вот я ее провожаю и ты. И, если бы меня не послали, выпросился бы и пошел проводить старуху. Понял? Я, брат, людей вот как вижу, — насквозь. Н-да. А вот ты умрешь, а умрешь ты ско-оро, брат. Уж меня не обманешь, нет, я по роже вижу: скоро ты умрешь! Но тебя я провожать не пойду, коли меня не пошлют. Ни-ни! Поэтому, что ты такое? Плесень.

Адвокат вскинул свои бесцветные глаза на Никифору и криво улыбнулся.

— Мне не надо, не ходи...

— И не пойду. И поезжай ты в могилу один.

— Ну так что? И поеду.

— И поедешь, — потому, что ты есть? А старуха была мать вам... Сердце у ней было. Понял?

Была оттепель, шел снег.

Крупными, тяжелыми и мокрыми хлопьями он падал на гроб бабушки Акулины, и весь этот простой, сосновый некрашенный гроб был мокр от снега, таявшего на нем.

Так-то вот хоронили бабушку Акулину, воровку, нищую и филантропку Задней Мокрой улицы.

ИЗВОЗЧИК

Святочный рассказ

Предпраздничная сутолока, дни всеобщей чистки, мытья и расходов — масса мелких расходов к сочельнику, почти дочиста опустошающих карман человека, живущего на жалованье, — эти два-три дня сильно расстроили и без того не особенно крепкие нервы Павла Николаевича. Проснувшись утром в сочельник, он чувствовал себя совсем больным и полным острого раздражения против всех этих условностей жизни, превращающих праздник, время отдыха, в какую-то бестолковую суету, против жены, придававшей этой суете значение чего-то необыкновенно важного, против детей, отчаянно шумевших без призора над ними, прислуги, утомленной, озабоченной и ничего не делавшей так, как бы следовало.

Он хотел бы стоять вне всей этой «идиотской толкотни», но такая характеристика времени вызвала ссору с женой, и, чтобы успокоить ее и себя, он принужден был вмешаться в события: его откомандировали в магазин, потом на базар за елкой для детей, потом в оранжерею за цветами для стола, и, наконец, к пяти часам вечера, сильно утомленный, плохо пообедавший, с тупой тоской на душе, он получил возможность отдохнуть. Плотно затворив за собой двери, он забрался в спальню, лег там на кровать жены и, закинув руки за голову, стал пристально, ни о чем не думая, смотреть в потолок.

В чистенькой и уютной спальне царил мягкий сумрак от зажженной пред образом лампы, на пол и стены падали мягкие тени, падали и колебались. С улицы доносился шум полозьев по снегу, какие-то крики, стуки, но все это звучало мягко, убаюкивающе.

— Ах, Коля! Отстань ради бога!

«Это жена кричит на сынишку, он, наверное, ни в чем не виноват, но она устала, и он платится за это. Воспитание детей! Глупо говорить о воспитании детей, если мы сами еще не воспитаны», — подумал Павел Николаевич.

«Я давеча тоже накричал на нее... Свинство! Впрочем, она поймет, что это болезненное раздражение, не больше. Она мирится с тем, что я нервничаю. Вполне естественно нервничать, когда положение так незавидно. Жить, вечно работая для того, чтобы достать в месяц сотню рублей, оставляющих неудовлетворенными более сотни твоих потребностей, да еще уметь быть здоровым при такой жизни, — это не по силам современному человеку. Терпение хорошо, когда есть надежды на лучшее будущее. И как все это глупо, мелко, пошло! А между тем вся жизнь в этих мелочах. Работаете для того, чтобы есть, и едите для того, чтобы завтра снова работать. Семья. Кто-то предлагал законодательным путем запретить жениться беднякам. Несомненно, что это был сострадательный человек. Что я, с моим заработком, могу дать семье? Ни сносной в смысле удобств жизни жене, ни достаточно хорошего воспитания детям. Глупо все! И непоправимо глупо, ибо сумма потребностей человека переросла сумму его сил. Это не исправить распределением богатства без того, чтобы не выбросить из жизни нашего брата нейрастеника. Зачем это я философствую? Вот тоже милая культурная привычка, что-то вроде пьянства, по ее воздействию на организм!...»

Он повернулся на бок, поправил подушку под головой и, крест-накрест положив ладони рук на плечи, закрыл глаза.

Ему вспомнился разговор с извозчиком, который вез его давеча с базара. Это был обтерханный, хлибкий мужичонка, какой-то несчастный, унылый, разбитый.

— Али я такой мизгирь был год-другой тому назад? Эх ты! Куда те! Я в дворниках в ту пору жил у одной

купчихи, у Заметовой. Слыхали? У нее, значит. Житье было очень даже приятное. Подручный был, работы мало. Ну, я у безделья и задумался... Над чем? А так, вообще... надо всем... Рази, ежели правильным-то глазом посмотреть на жизнь, — не задумаешься? Дьявол, первое дело. Чуть ты что — а он тебя своим духом и опахнул. Ну, ты сейчас, первое дело, — точку свою и потеряешь, с линии, значит, сшибешься, и пошел колобродить. Будто чего ищешь; а чего искать? Первое дело — себя самого надо найти, свое, значит, приспособление в жизни. Нашел ты это — ну и здравствуй. Так-то..

— ...Купчиха эта, верно, скупущая. Но и деньжищев у нее — страхи! Ужаси! Накопила, дьявол. Капитолина Петровна звать-то ее. А куда вот накопила? Спросите ее — не скажет. Не знат, ей-ей, не знат! Умрет ведь, как все люди; уж это первое дело! А рази для смерти-то деньжищи требуются? Очень даже маленько для смерти человеческой нужно! Так-то, сударь мой?

— ...Чего-с? Так точно... Сродственников у ней нет. Одна, как перст. Как сова в дупле, в своем-то дому. Прислуга вся у нее — трое. Кучер, да я, дворник, значит, да Маришка такая есть; злющая стерва — в кухарках... Только всего! Гостят там и разные монашки, странницы и прочие эдакие народы. И как только они ее не придумают однажды — богу известно. А надо бы ее придумать, — потому как она совсем бесполезная тварь для господ. Но его воля, и ему это знать. Мы не судьи. А что сохранно живет, это даже очень удивительно. Одна ведь, судите сами! Хлясть ее по чувствительному месту разок и — твои капиталы. Надо думать, кто-нибудь догадается про это. Счастлив будет, коли умно сделает! Ну, но, ты, трясогузица!

Извозчик болтал, чмокал на лошадь. ерзал по облучку и то и дело оборачивал к Павлу Николаевичу свое маленькое, опухшее от пьянства лицо. Глаза у него были серенькие, живые, с красными воспаленными веками, нос, как луковица, и на обеих щеках синебагровые пятна от мороза.

— Здорово я пил водку! — восхищенно восклицал он и улыбался во всю рожу от сознания своего удалства.

Павлу Николаевичу казалось, что этот мозглявый философ, мужичонка, где-то тут близко от него, и он ощутил беспокойство от сознания этой близости. Извозчик как бы мешал чему-то. Но это беспокойство, смутное и неопределенное, заставило его только глубже сунуть голову в подушку и поехать.

— Баба старая уж, много ли ей надо? Долбануть ее разик — она и готова! — говорил извозчик.

— Ну вот, возьми и долбани! Убирайся! — сказал Павел Николаевич, раздражаясь.

— Я не могу. А ты сам — вот это так! Ты барин умный, значит, тебе это сручней.

— Пошел вон! Чего ты прилез и мелешь ерунду? Я ведь заплатил! — крикнул Павел Николаевич.

— Точно что, — спокойно сказал извозчик. — Я уйду, не сердись. Я для тебя ведь больше. Дело очень даже простое и совсем уж верное. Ты это обмозгуй. Куда она, подумай?.. Совсем ни к чему она. А ты человек живой. Средств у тебя нет. А тут сразу ее!

— Хорошо, ступай! Я усну вот немного, — сказал Павел Николаевич просто и спокойно.

— Ну, ну, усни, отдохни. Это хорошо. Прощай.

И извозчик исчез.

— Он не глуп, — сказал Павел Николаевич, садясь на постель. — Да, он прав. Я не Раскольников, не идеалист. Дело верное. Ставка рискованная, но выигрыш велик. О, если бы мне даже десять тысяч... Я сумел бы на них жить! Независимость — вот что такое деньги. Свобода-а! Разве я не хочу свободы? А удовольствия? Это ведь иллюзия того, что зовут счастьем и что незнакомо никому. И все это я беру одним ударом. Моя ставка — жизнь плохая, серая, скучная, выигрыш — жизнь независимая, богатая, полная всего, чем я захочу ее наполнить. Мучения совести? Это пустяки, это фантазия. Совесть — это едва ли ощутимо, едва ли есть. Да что мне думать об этом, раз я решил, как поступить.

Когда он решил, он не заметил этого, это вышло как-то между дум, но он всем своим существом чувствовал, что уже решил, и бесповоротно.

— Как мне это сделать? — задал он себе вопрос.

И тотчас же оттолкнул его прочь от себя.

— Нет, не надо обдумывать, ничего не надо. Пусть это удастся сразу или не удастся совсем. Сразу, без думы — это лучше. Сейчас же начинать.

Он ощутил в себе страшный прилив энергии, энергии спокойной, уверенной в успехе предприятия, готовой на борьбу со всевозможными препятствиями. И, готовый к делу, он встал с постели, потянулся, напрягая мускулы рук, и озабоченно посмотрел вокруг себя.

— Однако, чем бы мне ее убить? Тем топориком, которым колют сахар? Легко. Утюгом? Завернутым в полотенце утюгом! Да, да, это очень удобно. Я читал где-то. Прекрасный способ. Мне нужно выйти так, чтоб меня не заметили. Утюг я возьму на окне в прихожей. Еще нужен ридикюль или какой-нибудь мешочек для денег. Это есть у жены. Она наверное стала бы отговаривать меня, знай она, что я решил. Гм... Это так. Но общепринятые точки зрения не могут удержать меня, человека, с такой энергией и с таким светлым духом берущегося за дело, с этих точек зрения — преступное. Человек — мера всему; первый раз я сознал это и сознал так ясно. Из всех философов только софисты назвались мудрецами, и одни они имели на это право. Да, человек — мера всему. Законы во мне, а не вне меня. Я не колеблюсь — значит, я прав. Иду. Это любопытно, помимо всего прочего. Но что так переродило меня? Поистине, никто из нас не знает, что будет с ним в следующую за этой минутой жизни!

Перед дверью купчихи Заметовой Павел Николаевич остановился и пристально посмотрел на фасад дома. Двухэтажный, старый, с облезшей штукатуркой, дом равнодушно смотрел своими четырьмя окнами на улицу и на человека перед ним. А человек стоял и думал:

«Как все это будет — ужасно любопытно. Меня могут схватить, и тогда все будет так глупо и так жалко. В сущности, я на пороге к новой жизни. Кто мне отперет дверь, что мне делать с ним? Ага, конечно. Это будет пробой, первым уроком».

И он сильно дернул ручку звонка, после чего его сердце как бы перестало биться в ожидании будущей минуты. Минут прошло много, пока за дверью не послышались шаги и звонкий голос спросил:

— Кто там?

«Это кухарка Маришка», — сообразил Павел Николаевич и ощупал под полкой своего пальто оружие.

— Сосипатра Андреевна дома?

— Дома. А вы кто?

— Скажите... из... от Бирюкова, — вспомнил Павел Николаевич фамилию хозяина лучшего гастрономического магазина в городе.

Щелкнул ключ, дверь отворилась, и перед Павлом Николаевичем встала молоденькая девушка с черными живыми глазками. Это его обескуражило.

— А разве Марины нет дома? — спросил он, не переступая порога.

— Она в баню пошла. Проходи, — сказала девушка, еще шире растворяя дверь и доверчиво рассматривая лицо гостя.

— А! — задумчиво сказал Павел Николаевич, покусывая свою бороду, — знаете, это очень жаль. Вы такая молодая и... пожалуй, я ворочусь!

— Да господи! Разве не все равно? — воскликнула девушка, широко открывая глаза.

— Все равно, вы говорите? Гм! А, пожалуй, вы правы. Хорошо, я иду дальше. Заприте дверь.

— Сейчас запру; не так же оставлю, — усмехнулась она, и снова щелкнул ключ и загремел какой-то железный крюк.

Девушка наклонилась к ногам Павла Николаевича, желая помочь ему снять калоши, и в этот момент он, высоко взмахнув утюгом, с силой опустил его на ее затылок. Удар был верен и прозвучал так тупо. Девушка глубоко вдохнула, ткнулась лицом в пол и вытянулась на нем. Павел Николаевич слышал, как что-то треснуло и потом еще что-то металлическое покатилося по полу.

«Это, должно быть, у нее пуговица от корсажа отрывалась, — подумал он, глядя на стройное тело, лежавшее у его ног в складках розового ситца. — Однако я ведь убил человека. Это не трудно и не страшно. А говорят и пишут, что убить... Ха-ха-ха! Сколько лишнего на свете, сколько лжи! И для чего лгут, говоря о благородстве человека? Для того, чтобы сделать его благородным посредством этой лжи».

— Аннушка, кто пришел? — раздался сверху женский голос, сухой и твердый.

— Это я! — быстро ответил Павел Николаевич и пошел вверх, шагая по две ступеньки.

— Что вам угодно, батюшка?

На верху лестницы стояла высокая и худая старуха в темном платье, с длинным костлявым лицом и длинной же шеей. Она несколько наклонилась вперед, пытаясь всматриваясь в идущего к ней человека.

«А уют-то я оставил внизу!» — и на мгновение Павел Николаевич замер на месте. Это не укрылось от взгляда Заметовой.

— Что вам угодно? — громче, чем в первый раз, спросила она и отступила шага два назад. Сзади нее было зеркало, и Павел Николаевич видел шею Заметовой сзади.

— Я от Бирюкова! — сказал он, усмехаясь чему-то и идя на старуху.

— Постой, постой! — произнесла она, простирая обе свои руки.

Павел Николаевич развел их так, что они охватили его бока, и быстро схватил старуху за горло.

— От Бирюкова! — повторил он, глубоко втискивая в ее шею свои пальцы и нащупывая под кожей позвонки. Старуха хрипела и цапалась за его пиджак то на груди, то с боков. Лицо у нее посинело и вздулось, изо рта вываливался смешно болтавшийся язык. Своими локтями он сжал ей плечи, и она не могла достать костлявыми пальцами до его головы и лица, но пыталась сделать это. Ей удалось, наконец, схватить его за ворот — из рубашки у него вылетел запонка и покатился по лестнице.

«Улика, — мелькнуло у него в голове, — надо найти».

Старуха уже шаталась, но все еще боролась, толкая его своими коленями и разрывая на нем платье.

— Перестаньте! — вскричал он повелительно и громко, чувствуя ее ногти на коже своей груди, и, крикнув, он сильно стиснул руками ее горло. Она зашаталась и рухнула на пол, увлекая за собой и его. Он свалился на нее и чувствовал предсмертный трепет старческого тела. Затем, когда ему показалось, что она мертва, он разжал свои руки, освободил ее шею и, отирая с лица пот, сел на полу рядом с нею. Он чувствовал себя усталым и

раздраженным чем-то — не злым, не зверем, но именно раздраженным и только. Старуха не двигалась, лежа в изломанной позе. Павел Николаевич смотрел на нее и не чувствовал ничего: ни жалости, ни боязни, ни омерзения к труп. Он был совершенно равнодушен. Он сидел и думал:

«Однако как легко люди умирают, и как им мало для этого надо. Удар куском железа, и человека нет. Все — смысл, слово, движение — исчезает от грубо ясной причины — и все это само по себе так неясно. Скверно умирать. И стоит ли жить для того, чтобы умереть в конце концов; стоит для этого делать что-либо — убивать, например? Глупо и пошло! Ну, зачем я все это сделал? Я уйду, чорт с ними, с деньгами! Это все проклятый извозчик».

— А! Ты здесь?

Он, действительно, был тут; он сидел на перилах лестницы, побалтывая в воздухе ногами и с любопытством смотрел на Павла Николаевича. В одной руке у него был кнут, другой он держался за перила.

— Мы давно здесь! — сказал он спокойно. — Управился с делами-то?

— Скотина ты, зверь! Спрашиваешь ты о чем... Ведь я людей убил! Хочешь, я и тебя убью? Ты хоть заслуживаешь этого, зверь! — возмущался Павел Николаевич.

— Что ты убил людей — это верно. Но сердиться на меня за это не надо. Ведь тебе их не жалко?

— Нет, но все-таки.

— Коли тебе их не жалко — так и говорить не о чем. Да потом, чего жалеть мертвых? Живых бы — другое дело. Живой человек достоин жалости. Это так.

— Ну, ты не философствуй! — сурово сказал Павел Николаевич. — Ты уходи, и я уйду. Глупо все это.

— А деньги-то? Деньги возьми! Возьми, попробуй. Может, ты с деньгами-то и счастье найдешь твое. Деньги надо взять, за этим ты и пришел сюда.

— Да-а! Это верно. Я возьму.

Павел Николаевич, сидя на полу, схватил голову руками и покачнулся. Одна мысль поразила его.

— Как же это я так равнодушен, я — убийца? Ведь я убил сейчас людей — лишил их жизни? Как же это? Где же мои чувства? Совесть? Разве во мне нет закона?

Никакого внутреннего закона? Что же это такое? Извозчик, что ты со мной сделал? Ведь я совершенно равнодушен, а? Пойми же, я — равнодушен!

Извозчик хладнокровно сплюнул в сторону и ударил себя кнутовищем по колену. Потом он повисстал, пристально оглядев Павла Николаевича. Он тоже был совершенно равнодушен. И еще лежал на полу труп задушенной старухи. Павел Николаевич почувствовал не ужас от присутствия смерти около себя и от мертвого равнодушия извозчика и от того, что все чувства в нем самом тоже замерли, — нет, его охватила тупая леденящая душу тоска, только тоска! Ему захотелось закрыть глаза и вытянуться на полу так же, как мертвая женщина. Она хотя и была задушена им, но он чувствовал ее как бы сильнее себя. И он никак не мог взглянуть в лицо извозчика, который все что-то насвистывал такое грустное и в то же время насмешливое. Вот он перестал свистать и заговорил.

— Это ты напрасно жалобные-то слова говоришь. Я в них не верю... Да, брат. А что ты равнодушен, это я знаю. Чего тебе беспокоиться чувствами? Причины нет к тому. Убил ты, это точно. Так ведь сразу убил. И это хорошо по нынешним временам. Без терзаний разных, ахнул — и готово. Медленно, с прохладцей убивать — это действительно подлость, ежели по совести говорить. А сразу — ничего! Кабы человек говорить мог после смерти, он тебе спасибо бы за это сказал. Потому все-таки облегчение ты ему сделал, сразу угомонил. А ты бы об живых подумал. Сколько народу через тебя, через каждого из нас медленными муками умирают? Жены наши... Али мы их не мучим? Друзья... Али мы их не терзаем? Всякие разные люди, которые около нас толкаются... Али они от нас мук не принимают? И все ты это видишь, и всему этому ты препон не кладешь. Ну и загрубел ты в этой жизни, оравнодушел. Это я понимаю.

— Что ты такое говоришь? — тихо спросил Павел Николаевич, перебивая странную речь извозчика.

— Дело говорю. Посмотри чистым глазом на жизнь-то. Какой в ней есть порядок? Никакого уважения у человека к человеку нет. Жалости друг к другу тоже нет. Никто никому не спомогает жить-то. Ёвалка идет за кусок, и все мы грыземся. Дележу правильного нет, любви нет. Ты —

человек, а прочие все до тебя не относятся? Ну и что? Вокруг от нас с тобой сотни и тысячи гибелью гибнут... И все мы это видим, и все мы это за порядок принимаем. Чего же? Коли это возможно, — и убивать возможно, была бы сила в руке. Конечно, опасно убивать, потому судят за это, но ежели бы не судили, то мы очень даже свободно стали бы друг друга убивать. Потому, хоть спинжаки на нас и модные, но все мы притворяемся больше хорошими людьми, а сердца-то у нас каменные. И никакого в нас закона нет. Поодаль нас законы-то, а в сердцах мы их не носим. Чего же ты захлелел? Переступил ты закон, смог это, значит, ты себе верен. Ум у тебя есть, суда ты убежишь, — изловчишься скрыться от него. А людей ты и раньше не жалел. Потому, если бы ты их жалел, рази бы они так трудно жили? Вона! Чай, ты облегчал бы им судьбу-то из жалости. А не облегчаешь, так вот прекращаешь ее. Нет в тебе самом никакого запрету — и нечего толковать. Пустые слова одни. Снаружи тебя ничем не свяжешь, коли в нутре у тебя разнузданность. Перед самим собой не умеешь стыдиться; люди тебе нипочем. Так-то. Ну и действуй, как хошь.

— Ты осуждаешь меня? — спросил Павел Николаевич.

— Мне что! Али это мое дело? Я ведь тоже человек, как и ты. Чего я тебя буду осуждать, коли и во мне закону нет.

— Что же мне теперь делать? — задумчиво спросил Павел Николаевич.

— Доделявай уж, что начал, — все равно!

И вдруг извозчик исчез куда-то.

Павел Николаевич глубоко вздохнул и поглядел вокруг себя. Рядом с ним лежал труп старухи, внизу лестницы труп девочки.

По лестнице был разостлан красный ковер с черными каймами. Где-то далеко, во внутренних комнатах, звенела канарейка. Павел Николаевич встал с пола и громко спросил:

— Это сон?

По комнатам прокатился гул, но никто ничего не ответил ему. Он пошел вперед по коридору и в дверь одной комнаты увидал кровать.

— Это спальня старухи. Здесь деньги. Возьму деньги. Все равно! — вслух сказал он.

Под кроватью стояла старинная низенькая укладка. Павел Николаевич, как вошел в комнату, тотчас же увидел угол укладки, высовывавшейся из-под простыни. Он наклонился, выдвинул ее, — она была заперта, но ключ был тут же. Павел Николаевич отпер ее, причем замок звучно зазвенел.

Укладка была до верха полна денег, и Павел Николаевич стал их аккуратно перекладывать в свой ридикюль. Потом он насовал их себе в карманы. Они были такие тяжелые, эти пачки кредитных бумажек. Он долго рылся в них, и их много осталось в укладке, но он без малейшего сожаления закрыл ее крышку.

Потом он вышел из комнаты, спустился с лестницы, равнодушно пройдя мимо двух трупов, и вышел на улицу.

Улица была пуста, шел снег, и дул сильный ветер. Но Павел Николаевич не чувствовал холода, медленно шел и все думал — почему это он так много пережил и ничего не чувствовал?

* * *

...Восемь лет прошло со дня поступка Павла Николаевича.

Его старшему сыну Коле уже минуло девятнадцать лет, одна дочь была невестой, другая обещала через год стать ею, жена Павла Николаевича превратилась из нервной женщины, вечно обремененной заботами о хозяйстве и детях, в солидную даму-филантропку, а сам Павел Николаевич пользовался общим почетом в городе и был первым кандидатом в городские головы.

Деньги старухи пошли ему впрок — он умно распорядился ими. Не боясь ничего, жил покойно, почетно, много работал. Но его характер, простой и общительный, — стал портиться, по общему замечанию знакомых. Павел Николаевич перерождался из нервного, искреннего человека — в человека необщительного, задумчивого, вечно занятого какой-то одной мыслью.

Не угрызения совести терзали его душу, нет, он никогда не давал себе отчета в том, что сделал, — но его со дня убийства старухи подавлял вопрос:

«Есть во мне внутренний закон или нет?»

Чем более удачно укладывалась его жизнь, тем более сильно давил его душу этот вопрос. В день рождества Христова, восемь лет тому назад, весь город говорил о таинственном убийстве старухи и дочери, и Павел Николаевич, оживленно вступая со всеми в разговоры по этому поводу, зорко следил за собой, ожидая, что вот-вот в нем шевельнется страх или раскаяние. Но таких чувств не зарождалось в его душе, и тогда он спрашивал себя:

— Да неужели же во мне [нет] закона, который принудил бы меня почувствовать себя преступником?

Очевидно, что такого закона не было в его душе. Но он не мог забыть о том, что человеку свойственны такие ощущения, как угрызения совести, раскаяние, сознание своей преступности, и все искал их в себе, — искал, не находил и холодно удивлялся сам себе.

«Куда же все это исчезло из меня?..»

И жизнь казалась ему странной — не то бредом, не то фантастической жизнью человека, у которого умерло сердце.

Однажды, когда он задал себе вопрос о том, куда исчезли из него человеческие чувства, — пред ним внезапно появился извозчик.

Он был все такой же замухрышка, как и раньше, и такой же равнодушный философ; время не действовало на его обтерханную фигуру, не положило заплат на его рваный азам и не увеличило количество дыр на этом азаме. Он появился в кабинете Павла Николаевича, сел на ручку кресла, сдвинул концом кнутовища шапку набок и, поглядев на своего седока, вздохнул.

— Это откуда? — усмехнулся Павел Николаевич. Ему казалось только забавным это неожиданное и таинственное появление извозчика. Это нисколько не смущало и не пугало его.

— Я-то? Я из разных мест... — равнодушно ответил извозчик. — Живешь?

— Живу, как видишь. А ты кто, чорт или Агасфер? — снова усмехнулся Павел Николаевич.

— Зачем? Так я, просто себе... творение. Ну, как — закону-то не нашел в себе? Ищешь все?

— Ищу, — уже вздохнув, ответил Павел Николаевич. — Ищу, брат, но не нахожу... Странно это, да?

— Очень даже просто, — сказал извозчик. — И не ищи — не найдешь. Изжил ты законы-то.

— Да почему? — воскликнул Павел Николаевич.

— А потому, что не применял. Не пускал его в ход, в дело. Все больше рассуждал — какой закон лучше, да так ни одного себе в сердце-то и не вкоренил. Ну, а жизнь-то тебя давила и все из тебя выдавила. И вот ты дошел до того, что не только равнодушно смотришь на смерть вокруг тебя, но и сам спокойно убил и спокойно рассуждаешь, зачем убил. Видишь ты вокруг себя одну мерзость, и скверну, и тьму, а в самом тебе никакого свету не возжег господь. То есть господь-то возжег, да ты его погасил, мудрствуя лукаво. Ну, и отсохло у тебя сердце и все лучшие чувства с ним. И стал ты как дерево.

— Стой, ты врешь! Я действую. Я тружусь ..

— А для че? Можешь и бросить все да так столбом и стоять в жизни-то. Тебе ведь все равно. Разве твоя работа — истинно есть работа? Поди ты! Ты не от сердца делаешь свои дела, а с точки зрения всё.

— Как это с точки зрения? — изумился Павел Николаевич.

— Как? Не понимаешь ты будто! У вас тут есть разные точки зрения — на этом месте одна, на этом другая. Вот коли ты городским головой будешь, для этого места есть своя точка зрения, а полицеймейстером сделаешься — другая... Тебе главное, чтобы почет был, чтобы отвечать той точке зрения, с которой на тебя товарищи привыкли смотреть. А огнем ты никаким не пылаешь — делаешь свои дела по мерке да по обязанности. Так ли?

— Пожалуй... Но почему это я такой?

— А ты подумай...

— Ведь я — как мертвый, поистине говоря.

— А то как же? И в самом деле мертвый.

— Что же со мной будет?

— Умрешь, время придет.

— Это и все другие сделают.

— Еще бы не сделали! Само собой — сделают.

— А при жизни-то что со мной будет?

— Не зна-аю! — протянул извозчик, покачав головой. — Скверная твоя жизнь, без чувств-то, а? Не говори — знаю, скверная. Жалко тебя, паря. Да я сам тоже равнодушен к жизни-то.

— Что же делать? — задумчиво спросил Павел Николаевич.

— А я почему знаю? Кричи всем, что в тебе закону нету, авось люди услышат...

— Ну, так что?

— Ничего. Услышат — посмотрят в самих себя, может, увидят, что и в них тоже закона нет, и они все, как ты сам, такие же пустые и равнодушные к жизни. Им это на пользу.

— А я?

— А ты жертвой будешь. Это хорошо, жертвой-то быть, за это, слышь, грехи отпускаются...

И он исчез так же странно, как явился. Вдруг исчез. Но и это не поразило Павла Николаевича, как не поразило его появление извозчика. Он слишком был поглощен вопросом о том, почему этот разговор не наполнил его ничем, ни одной думы не зародил в его душе. Он слышал слова, отвечал словами — и звуки не возбуждали в нем чувств. Много в жизни вокруг него раздаются разговоры о жизни, о смерти, о судьбах всего живущего, о будущем и настоящем — во всех этих разговорах он сам принимает участие, но молчит его душа, отсутствует его сердце. Его не пугала, впрочем, и эта внутренняя пустота; но все-таки странно было ощущать ее в себе.

И он думал, усмехаясь:

«Бедные люди! Как они плохо знакомы друг с другом и как мало проникательны. Вот я убийца, но никто не догадывается об этом, и я пользуюсь даже почетом среди людей».

И глядя на своих семейных, любивших его, он тоже думал:

«Жалкие люди... если б вы знали!»

Но никто ничего не знал, и человек без чувств все жил и поступал так, как будто бы у него были в груди чувства.

Так и текла его жизнь изо дня в день. Он становился все более внутренне равнодушен к жизни, но продолжал действовать по примеру, по привычке, по обязанности.

Мертвый духовно, он творил мертвые дела и знал, что они безжизненны. У него не было души, и он не мог вложить в жизнь душу. А пустота в нем все росла и развивалась — и это становилось мучительно неловко.

С внешней стороны ему не на что было жаловаться. Его почитали и уважали, считая честным, деятельным человеком. Но это не удовлетворяло его. Все ощущения гибли в нем, как маленькие камешки, брошенные в бездонную пропасть, — прозвучат и исчезают бесследно.

— Неужели нет во мне закона? — все чаще и чаще спрашивал он себя.

Приближался день его выборов в городские головы. Он не радовался, хотя знал, что его выберут. Откуда-то текли к нему деньги, и слава о нем, как о человеке почтенном, достигала его ушей. Но это не приносило ему с собой ничего. Ему нечем было чувствовать, нечем радоваться, нечем плакать. Люди, у которых жизнь высушила сердце, знают цену такого существования.

Не чувствовать в себе желаний — значит не жить. И Павел Николаевич иногда говорит себе:

— Хорошо бы иметь какое-нибудь желание!

Но некуда было вместить его — у человека отсохло сердце оттого, что он увлекся возможностью быть равнодушным к жизни и был равнодушен к ней, сначала не замечая этого за собой, а потом потому, что умертвил свое сердце равнодушием ко всему, кроме себя.

И вот наступил день итога; от него никогда и никуда не уйдет человек. Это был день выборов в головы, когда Павла Николаевича уже выбрали и толпа знакомых горожан собралась к нему с поздравлениями и на обед. Сели за стол, и ели, и говорили похвальные речи. Было шумно и весело, как всегда бывает в таких случаях.

Павел Николаевич принимал поздравления и тосты и презрительно думал о людях, собравшихся вокруг него.

Все слепые, жалкие, все живут вне действительной жизни — жизни сердца. Ни у кого нет чутья — того чутья, которое издает хорошее от дурного. Но есть ли хорошее и дурное?

Как шумят все эти люди! Зачем?

И вдруг в голове его вспыхнула острая мысль, наполнившая сразу все существо его безумным желанием

испугать, изумить, раздавить этих людей... Он взял в руки бокал вина, встал и, когда все замолчали, ожидая, что он скажет, он сказал:

— Господа! Мне глубоко лестно, меня глубоко трогает ваше внимание — так обыкновенно начинаются речи людей в моем положении. Я не могу так начать свою речь, не могу. Я полон других чувств... Господа! Меня глубоко изумляет и страшно возмущает все то, что вы тут говорите. Глупо все это и неуместно, совершенно неуместно. Вы меня не знаете... Положим, я тоже не знаю о вас ничего, кроме того, что все вы духовно слепы и жалки; поэтому жалки вы мне. Слышите? Знаете ли вы, кто я? Я, уважаемый всеми вами, как вы говорите, я — убийца! Это я восемь лет тому назад убил девочку и старуху Заметову... Я... Что? Ха-ха-ха! Это я, я! А вы целовали меня, преклонялись предо мной, сначала как богачом, потом как общественным деятелем... А разбогател-то я с денег старухи... Вы меня не считаете сумасшедшим, нет ведь?

Все чувствовали себя страшно оскорбленными его речью и поэтому не сочли его помешанным, каким наверное сочли бы, если б он покался пред ними смиренно и тихо. Но он оскорблял, издевался, и глаза его блестели огнем внутренней силы, а не безумия. Сильные всегда возбуждают ненависть у слабых.

Все заволновались, затолпились.

— Полицию! — крикнул кто-то, и явилась полиция.

Опьяненный своим подвигом, Павел Николаевич все говорил, решительно и громко:

— Во мне закона нет, и сердце мое умерло! Храните сердца ваши от разрушения — вкорените в них закон. Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека!

Но он был преступник... Как могли видеть в нем пророка? На него смотрели со злобой и ненавистью, а он отвечал всем презрением и сарказмом сильного.

— Вот это так! — сказал извозчик, вдруг появляясь пред ним с улыбкой восхищения на своем маленьком морщинистом лице.

— Вот это так, это дело! Так и надо было давно бы еще. Теперь ты будешь страдать. И страдай — это хорошо!

Теперь у тебя есть крест. Всегда надо иметь крест на вые своей. Это — первое дело для жизни! Страдай, неся его, и воспитаешь душу свою чисту... Без креста невозможно. А с ним всегда в жизни точку найдешь, твердую точку. Теперь ты оживишься страданием-то твоим. И путь есть у тебя: к богу ты придешь... Убил? Ничего! Разбойника помнишь? Прощен был, а всего восьмью словами господу помолился. Теперь ты, брат, осмыслился. Иди себе, страдай. Про людей не забудь. Не многим они лучше тебя...

Все стало как-то линять вокруг Павла Николаевича: все исчезало куда-то, и появлялся свет, красный, дрожащий, — свет, от которого глазам было больно.

Земля сотрясалась...

.....
Перед Павлом Николаевичем, когда он открыл глаза, явилась фигура жены в ночном дезабилье, с утомленным лицом и нервно дрожащей верхней губой; в одной руке она держала лампу под розовым абажуром, другой трясла мужа за плечо.

— Павел! пусти меня... Иди к себе... и разденься. Как это удобно спать столько времени одетым!

— Подожди...

— Пожалуйста, нечего... Пойми, что я утомлена.

— Юля! Что я пережил.

— Переспал.

— А? Да... Верно. Это сон — и прекрасно. И знаешь ли ты...

— Я хочу лечь...

— Нет, послушай... Как фантастично! Этот извозчик, пойми — извозчик! Почему именно извозчик?

— Потому, что ты не выспался и бредишь. Уходи же!

— Но, Юленька, я расскажу все...

— Завтра...

— Ну, хорошо. Чорт знает, что иногда снится! Но знаешь — во всем этом есть смысл. Мы, действительно, слишком равнодушны и слишком легко поддаемся жизни.

— Дай мне заснуть и философствуй потом. Только нельзя ли про себя. Ты не хочешь понять, что я встала сегодня в восемь утра, а теперь третий час ночи.

— Голубонька! Не стану... Молчу...

Он перебрался на свою кровать, и чуть только голова его коснулась подушки, как уже почувствовал сладкое предчувствие обнимающей его дремы.

— Сон, ей-богу, интересней... И с моралью. Послушай же, Юля... А то я забуду все.

Жена не отвечала ему. Огонь лампы подпрыгнул, тени на стенах дрогнули, и комната наполнилась тьмой.

— Осмыслиться. Да, осмыслился... — шептал про себя Павел Николаевич, засыпая.

С улицы в комнату глухо доносилось медное пение праздничных колоколов и порой стук ночного караульщика.

ХАН И ЕГО СЫН

«Был в Крыму хан Мосолайма эль Асваб, и был у него сын Толайк Алгалла...»

Прислонясь спиной к яркокоричневому стволу арбу-туса, слепой нищий, татарин, начал этими словами одну из старых легенд полуострова, богатого воспоминаниями, а вокруг рассказчика, на камнях — обломках разрушенного временем ханского дворца — сидела группа татар в ярких халатах, в тюбетейках, шитых золотом. Вечер был, солнце тихо опускалось в море; его красные лучи пронизывали темную массу зелени вокруг развалин, яркими пятнами ложились на камни, поросшие мохом, опутанные цепкой зеленой плющом. Ветер шумел в купе старых чинар, листья их так шелестели, точно в воздухе струились невидимые глазом ручьи воды.

Голос слепого нищего был слаб и дрожал, а каменное лицо его не отражало в своих морщинах ничего, кроме покоя; заученные слова лились одно за другим, и перед слушателями вставала картина прошлых, богатых силой чувства, дней.

«Хан был стар, — говорил слепой, — но женщин в гареме было много у него. И они любили старика, потому что в нем было еще довольно силы и огня и ласки его нежили и жгли, а женщины всегда будут любить того, кто умеет сильно ласкать, хотя бы и был он сед, хотя бы и в морщинах было лицо его — в силе красота, а не в нежной коже и румянце щек.

«Хана все любили, а он любил одну казачку-полонянку из днепровских степей и всегда ласкал ее охотнее, чем других женщин гарема, где было триста жен из разных земель, и все они красивы, как весенние цветы, и всем им жилось хорошо. Много вкусных и сладких яств велел готовить для них хан и позволял им всегда, когда они захотят, танцевать, играть...

«А казачку он часто звал к себе в башню, из которой видно было море, там для казачки он имел все, что нужно женщине, чтобы ей весело жилось: сладкую пищу, и разные ткани, и золото, и камни всех цветов, музыку, и редких птиц из далеких стран, и огненные ласки влюбленного. В этой башне он забавлялся с ней целые дни, отдыхая от трудов своей жизни и зная, что сын Алгалла не уронит славы ханства, рыская волком по русским степям и всегда возвращаясь оттуда с богатой добычей, с новыми женщинами, с новой славой, оставляя там, зади себя, ужас и пепел, трупы и кровь.

«Раз возвратился он, Алгалла, с набега на русских, и было устроено много праздников в честь его, все мурзы острова собрались на них, были игры и пир, стреляли из луков в глаза пленников, пробуя силу руки, и снова пили, славя храбрость Алгаллы, грозы врагов, опоры ханства. А старый хан был рад славе сына. Хорошо было старику знать, что, когда он умрет, — ханство будет в крепких руках.

«Хорошо было ему это, и вот он, желая показать сыну силу любви своей, сказал ему при всех мурзах и беках, — тут, на пиру, с чашей в руке, сказал:

«— Добрый ты сын, Алгалла! Слава аллаху, и да будет прославлено имя пророка его!

«И все прославили имя пророка хором могучих голов. Тогда хан сказал:

«— Велик аллах! Еще при жизни моей он воскресил мою юность в храбром сыне моем, и вот вижу я старыми глазами, что, когда скроется от них солнце — и когда черви источат мне сердце, — жив буду я в сыне моем! Велик аллах и Магомет, пророк его! Хороший сын у меня есть, тверда его рука и ясен ум... Что хочешь ты взять из рук отца твоего, Алгалла? Скажи, и я дам тебе все по твоему желанию...

«И не замер еще голос хана-старика, как поднялся Толайк Алгалла и сказал, сверкнув глазами, черными, как море ночью, и горящими, как очи горного орла:

«— Дай мне русскую полонянку, повелитель-отец.

«Помолчал хан — мало помолчал, столько времени, сколько надо, чтобы подавить дрожь в сердце, — и, помолчав, твердо и громко сказал:

«— Бери! Кончим пир, — ты возьмешь ее.

«Вспыхнул удалой Алгалла, великой радостью сверкнули орлиные очи, встал он во весь рост и сказал отцу-хану:

«— Знаю я, что ты мне даришь, повелитель-отец! Знаю это я... Раб я твой — твой сын. Возьми мою кровь по капле в час — двадцатью смертями я умру за тебя!

«— Не надо мне ничего! — сказал хан, и поникла на грудь его седая голова, увенчанная славой долгих лет и многих подвигов.

«Скоро они кончили пир, и оба молча, рядом друг с другом пошли из дворца в гарем.

«Ночь была темная, ни звезд, ни луны не было видно из-за туч, густым ковром покрывших небо.

«Долго шли во тьме отец и сын, и вот заговорил хан эль Асваб:

«— Гаснет день ото дня жизнь моя — и все слабее бьется мое старое сердце, все меньше огня в груди. Светом и теплом моей жизни были знойные ласки казачки... Скажи мне, Толайк, скажи, неужели она так нужна тебе? Возьми сто, возьми всех моих жен за одну ее!..

«Молчал Толайк Алгалла, вздыхая.

«— Сколько дней мне осталось? Мало дней у меня на земле... Последняя радость жизни моей — эта русская девушка. Она знает меня, она любит меня, — кто теперь, когда ее не будет, полюбит меня, старика, — кто? Ни одна из всех, ни одна, Алгалла!..

«Молчал Алгалла...

«— Как я буду жить, зная, что ты обнимаешь ее, что тебя целует она? Перед женщиной нет ни отца, ни сына, Толайк! Перед женщиной все мы — мужчины, мой сын... Больно будет мне доживать мои дни... Пусть бы все старые раны открылись на теле моем, Толайк, и точили бы

кровь мою, пусть бы я лучше не пережил этой ночи, мой сын!

«Молчал его сын... Остановились они у двери гарема и, опустив на груди головы, стояли долго перед ней. Тьма была кругом, и облака бежали в небе, а ветер, потрясая деревья, точно пел, шумел деревьями...

«— Давно я люблю ее, отец... — тихо сказал Алгалла.

«— Знаю... И знаю, что она не любит тебя... — сказал хан.

«— Рвется сердце мое, когда я думаю про нее.

«— А мое старое сердце чем полно теперь?

«И снова замолчали. Вздохнул Алгалла.

«— Видно, правду сказал мне мудрец-мулла — мужчине женщина всегда вредна: когда она хороша, она возбуждает у других желание обладать ею, а мужа своего предаёт мукам ревности; когда она дурна, муж ее, завидуя другим, страдает от зависти; а если она не хороша и не дурна, — мужчина делает ее прекрасной и, поняв, что он ошибся, вновь страдает через нее, эту женщину...

«— Мудрость не лекарство от боли сердца, — сказал хан.

«— Пожалеем друг друга, отец...

«Поднял голову хан и грустно поглядел на сына.

«— Убьем ее, — сказал Толайк.

«— Ты любишь себя больше, чем ее и меня, — подумав, тихо молвил хан.

«— Ведь и ты тоже.

«И опять они помолчали.

«— Да! И я тоже, — грустно сказал хан. От горя он сделался ребенком.

«— Что же, — убьем?

«— Не могу я отдать ее тебе, не могу, — сказал хан.

«— И я не могу больше терпеть — вырви у меня сердце или дай мне ее...

«Хан молчал.

«— Бросим ее в море с горы.

«— Бросим ее в море с горы, — повторил хан слова сына, как эхо сынова голоса.

«И тогда они вошли в гарем, где она уже спала на полу, на пышном ковре. Остановились они пред ней, смотрели; долго смотрели на нее. У старого хана слезы текли

из глаз на его серебряную бороду и сверкали в ней, как жемчужины, а сын его стоял, сверкая очами, и, скрежетом зубов своих сдерживая страсть, разбудил казачку. Проснулась она — и на лице ее, нежном и розовом, как заря, расцвели ее глаза, как васильки. Не заметила она Алгаллу и протянула алые губы хану.

«— Поцелуй меня, орел!

«— Собирайся... пойдешь с нами, — тихо сказал хан.

«Тут она увидела Алгаллу и слезы на очах своего орла и — умная она была — поняла все.

«— Иду, — сказала она. — Иду. Ни тому, ни другому — так решили? Так и должны решать сильные сердцем. Иду.

«И молча они, все трое, пошли к морю. Узкими тропинками шли, ветер шумел, гулко шумел...

«Нежная она была девушка, скоро устала, но и горда была — не хотела сказать им этого.

«И, когда сын хана заметил, что она отстает от них, — сказал он ей:

«— Боишься?

«Она блеснула глазами на него и показала ему окровавленную ногу...

«— Дай понесу тебя! — сказал Алгалла, протягивая к ней руки. Но она обняла шею своего старого орла. Поднял хан ее на свои руки, как перо, и понес; она же, сидя на его руках, отклоняла ветви от его лица, боясь, что они попадут ему в глаз. Долго они шли, и вот уже слышен гул моря вдали. Тут Толайк, — он шел сзади их по тропинке, — сказал отцу:

«— Пусти меня вперед, а то я хочу ударить тебя кинжалом в шею.

«— Пройди, — аллах возместит тебе твое желание или простит, — его воля, — я же, отец твой, прощаю тебе. Я знаю, что значит любить.

«И вот оно, море, пред ними, там, внизу, густое, черное и без берегов. Глухо поют его волны у самого низа скалы, и темно там, внизу, и холодно, и страшно.

«— Прощай! — сказал хан, целуя девушку.

«— Прощай! — сказал Алгалла и поклонился ей.

«Она заглянула туда, где пели волны, и отшатнулась назад, прижав руки к груди.

«— Бросьте меня, — сказала она им...

«Простер к ней руки Алгалла и застонал, а хан взял ее в руки свои, прижал к груди крепко, поцеловал и, подняв ее над своей головой, — бросил вниз со скалы.

«Там плескались и пели волны и было так шумно, что оба они не слышали, когда она долетела до воды. Ни крика не слышали, ничего. Хан опустился на камни и молча стал смотреть вниз, во тьму и даль, где море смешалось с облаками, откуда шумно плыли глухие всплески волн, и ветер пролетал, развевая седую бороду хана. Толайк стоял над ним, закрыв лицо руками, — камень, неподвижный и молчаливый. Время шло, по небу одно за другим плыли облака, гонимые ветром. Темны и тяжелы они были, как думы старого хана, лежавшего над морем на высокой скале.

«— Пойдем, отец, — сказал Толайк.

«— Подожди... — шепнул хан, точно слушая что-то. И опять прошло много времени, плескались волны внизу, а ветер налетал на скалу, шумя деревьями.

«— Пойдем, отец...

«— Подожди еще...

«Не один раз говорил Толайк Алгалла:

«— Пойдем, отец.

«Хан все не шел от места, где потерял радость своих последних дней.

«Но — все имеет конец! — встал он, могучий и гордый, встал, нахмурил брови и глухо сказал:

«— Идем...

«Пошли они, но скоро остановился хан.

«— А зачем я иду и куда, Толайк? — спросил он сына. — Зачем мне жить теперь, когда вся моя жизнь в ней была? Стар я, не полюбят уж меня больше, а если никто тебя не любит — неразумно жить на свете.

«— Слава и богатство есть у тебя, отец...

«— Дай мне один ее поцелуй и возьми все это себе в награду. Это все мертвое — одна любовь женщины жива. Нет такой любви — нет жизни у человека, нищ он, и жалки дни его. Прощай, мой сын, благословение аллаха над твоей главой да пребудет во все дни и ночи жизни твоей. — И повернулся хан лицом к морю.

«— Отец, — сказал Толайк, — отец!.. — И не мог больше сказать ничего, так как ничего нельзя сказать человеку, которому улыбается смерть, ничего не скажешь ему такого, что возвратило бы в душу его любовь к жизни.

«— Пусти меня...

«— Аллах...

«— Он знает...

«Быстрыми шагами подошел хан к обрыву и кинулся вниз. Не остановил его сын, не успел. И опять ничего не было слышно — ни крика, ни шума падения хана. Только волны все плескали там, да ветер гудел дикие песни.

«Долго смотрел вниз Толайк Алгалла и потом вслух сказал:

«— И мне такое же твердое сердце дай, о аллах!

«И потом он пошел во тьму ночи...

«...Так погиб хан Мосолайма эль Асваб, и стал в Крыму хан Толайк Алгалла...»

ТОВАРИЩИ

I

Горячее солнце июля ослепительно блесело над Смолкиной, обливая ее старые избы щедрым потоком ярких лучей. Особенно много солнца было на крыше старостинной избы, недавно перекрытой заново гладко выстроганным тесом, желтым и пахучим. Воскресенье, и почти все люди вышли на улицу, густо поросшую травой, усеянную кочками засохшей грязи. Перед старостинной избой собралась большая группа мужиков и баб: иные сидели на завалине избы, иные прямо на земле, другие стояли; среди них гонялись друг за другом ребяташки, то и дело получая от взрослых сердитые окрики и щелчки.

Центром толпы служил высокий человек с большими, опущенными вниз усами. По его коричневому лицу, покрытому густой сивой щетиной и сетью глубоких морщин, по седым кочьям волос, выбившимся из-под грязной соломенной шляпы, — этому человеку можно было дать лет пятьдесят. Он смотрел в землю, и ноздри его большого хрящеватого носа вздрагивали, а когда он поднимал голову, бросая взгляд на окна старостинной избы, видны были его глаза, большие, печальные, — они глубоко ввалились в орбиты, а густые брови кидали от себя тень на темные зрачки. Одет он был в коричневый, рваный подрясник монастырского послушника, едва закрывавший ему колени и подпоясанный веревкой. За спиной

у него котомка, в правой руке длинная палка с железным наконечником, левую он держал за пазухой. Окружавшие осматривали его подозрительно, насмешливо, с презрением и, наконец, с явной радостью, что им удалось поймать волка раньше, чем он успел нанести вред их стаду.

Он проходил через деревню и, подойдя к окну старосты, попросил напиться. Староста дал ему квасу и заговорил с ним. Но прохожий отвечал, против обыкновения странников, очень неохотно. Староста спросил у него документ, документа не оказалось. И прохожего задержали, решив отправить в волость. Староста выбрал в конвоиры ему сотского и теперь, в избе у себя, напутствовал его, оставив арестанта среди толпы, — она грубо потешалась над ним.

Но вот на крыльце избы явился подслеповатый старик с лисьим лицом и седой, клинообразной бородкой. Он степенно опускал ноги в сапогах со ступени на ступень, и круглый его животик солидно колыхался под длинной ситцевой рубахой. А из-за его плеча высывалось бородатое четырехугольное лицо сотского.

— Понял, Ефимушка? — спросил староста у сотского.

— Чего тут не понять? Все понял. Обязан, значит, я проводить этого человека к становому и — больше никаких! — Проговорив свою речь отдельно и с комической важностью, сотский подмигнул публике.

— А бумага?

— А бумага, — она за пазухой у меня живет.

— Ну, то-то! — вразумительно сказал староста и добавил, крепко почесав себе бок:

— С богом, значит, айдате!

— Пошли! Шагаем, что ли, отче? — улыбнулся сотский арестанту.

— Вы бы хоть подводу дали, — глухо ответил тот на предложение сотского. Староста ухмыльнулся.

— Подво-о-ду? Ишь ты! Вашего брата, проходимца, много тут шныряет по полям, по деревням... лошадей про всех не хватит. Прошагаешь и пехтурой.

— Ничего, отец, идем! — ободряюще заговорил сотский. — Ты думаешь, далече нам? Дай бог, два десятка верст! Мы с тобой, отче, живо докатим. А там ты и отдохнешь...

— В холодной, — пояснил староста.

— Это ничего, — торопливо заявил сотский, — человеку, который ежели устал, и в тюрьме отдых. А потом — холодная-то — она прохладная, — после жаркого дня в ней куда хорошо!

Арестант сурово оглянул своего конвоира — тот улыбался весело и открыто.

— Ну-ка, айда, отец честной! Прощай, Василь Гаврилыч! Пошли!

— С господом, Ефимушка!.. Смотри в оба.

— А зри — в три! — подкинул сотскому какой-то молодой парень из толпы.

— Н-ну! Малый я ребенок, али что?

И они пошли, держась близко к избам, чтобы идти по полосе тени. Человек в рясе шел впереди, развинченной, но спорой походкой привычного к ходьбе. Сотский, со здоровой палкой в руке, сзади него.

Ефимушка был мужичок низенького роста, коренастый, с широким добрым лицом в раме русой, свалывшейся в клочья бороды, начинавшейся от его серых ясных глаз. Он всегда почти улыбался чему-то, показывая желтые зубы и так наморщивая переносье, точно он хотел чихнуть. Одет он был в азам, заткнув его полы за пояс, чтоб они не путались в ногах, на голове у него торчал темнозеленый картуз без козырька, напоминая арестантскую фуражку.

Шли они по узкой проселочной дороге; она въюном вилась в волнистом море ржи, и тени путников ползли по золоту колосьев.

На горизонте синела грива леса, влево, бесконечно далеко вглубь, расстилались засеянные поля; среди них лежало темное пятно деревни, за ней опять поля, тонущие в голубоватой мгле.

Справа, из-за купы ветел, вонзился в синее небо обитый жестью и еще не выкрашенный шпиль колокольни — он так ярко блестел на солнце, что на него было больно смотреть.

В небе звенели жаворонки, во ржи улыбались васильки, и было жарко — почти душно. Из-под ног путников взлетала пыль.

Ефимушка, отхаркнувшись, затянул фальцетом:

Ге-эх-да-и с чего-й-то-о-о...

— Не хватаит голосу-то, дуй его горой! Н-да... а бывало, пел я... Вишенский учитель скажет: «Ну-ка, Ефимушка, заводи!» И зальемся мы с ним! Правильный паренё был он...

— Кто он? — глухим басом спросил человек в рясе.

— А вишенский учитель...

— Вишенский — фамилия?

— Вишенки — это, брат, село. А то учитель Павл Михалыч. Первый сорт — человек был. Помер в третьем году...

— Молодой?

— Тридцати годов не было...

— С чего помер?

— С огорчения, надо полагать.

Собеседник Ефимушки искоса взглянул на него и усмехнулся...

— Дело, видишь ты, милый человек, такое вышло — учил он, учил годов семь кряду, и начал кашлять. Кашлял, кашлял да и затосковал... Ну, а с тоски, известно, начал пить водку. Отец Алексей не любил его, и как запил он, отец-от Алексей в город бумагу и посылал — так, мол, и так — пьет учитель-то, это — соблазн. А из города в ответ тоже бумагу прислали и учительшу. Длинная такая, костлявая, нос большущий. Ну, Павл Михалыч видит — дело швах. Огорчился, дескать, учил я, учил... ах вы, черти! Отправился из училища прямо в больницу да через пять дён и отдал душу богу... Только и всего...

Некоторое время шли молча. Лес все приближался к путникам с каждым шагом, вырастая на их глазах и из синего становясь зеленым.

— Лесом пойдем? — спросил Ефимушкин спутник.

— Краешек захватим, с полверсты этак. А что? А? Ишь ты! Гусь ты, отец честной, погляжу я на тебя!

И Ефимушка засмеялся, качая головой...

— Ты чего? — спросил арестант.

— Да так, ничего. Ах ты! Лесом, говорит, пойдем? Прост ты, милый человек, другой бы не спросил, который поумнее ежели. Тот бы прямо пришел в лес да и того...

— Чего?

— Ничего! Я, брат, тебя насквозь вижу. Эх ты, душа ты моя, тонка дудочка! Нет, ты эту думу — насчет лесу — брось! Али ты со мной сладишь? Да я троих таких уберу, а на тебя на одну левую руку выйду...¹ Понял?

— Понял! Дурак ты! — кратко и выразительно сказал арестант.

— Что? Угадал я тебя? — торжествовал Ефимушка.

— Чучело! Чего ты угадал? — криво усмехнулся арестант.

— Насчет лесу... Понимаю я! Дескать, я — это ты-то, — как придем в лес, тяпну там его — меня-то, значит, — тяпну да и зальюсь по полям да по лесам? Так ли?

— Глупый ты, — пожал плечами угаданный человек. — Ну, куда я пойду?

— Уж куда хочешь, — это твое дело...

— Да куда? — Ефимушкин спутник не то сердился, не то очень уж желал услышать от своего конвоира указание, куда именно он мог бы идти.

— Я те говорю, куда хочешь! — спокойно заявил Ефимушка.

— Некуда мне, брат, бежать, некуда! — тихо сказал его спутник.

— Н-ну! — недоверчиво произнес конвоир и даже махнул рукой. — Бежать всегда есть куда. Земля-то, она велика. Одному человеку на ней всегда место будет.

— Да тебе что? Хочется, что ли, чтоб я убежал? — любопытствовал арестант, усмехаясь.

— Ишь ты! Больно ты хорош! Разве это порядок? Ты убежишь, а вместо тебя кого в острог сажать будут? Меня посадят. Нет, я так это, для разговору...

— Блаженный ты... а впрочем, кажется, хороший мужик, — сказал, вздохнув, Ефимушкин спутник. Ефимушка не замедлил согласиться с ним.

— Это точно, называют меня блаженным некоторые люди... И что хороший я мужик — это тоже верно. Про-

¹ «Выйти на одну руку» — значит драться с противником одной рукой, в то время как другая плотно привязана кушаком к туловищу бойца. Противник же действует обеими руками.

стой я, главная причина. Иные люди говорят все с под-
ходцем да с хитрецей, а мне — чего? Я человек один
на свете. Хитровать будешь — умрешь, и правдой жить
будешь — умрешь. Так я все напрямки больше.

— Это хорошо! — равнодушно заметил спутник Ефи-
мушки.

— А как же? Для че я стану кривить душой, коли я
один, весь тут? Я, браток, свободный человек. Как же-
лаю, так и живу, по своему закону прохожу жизнь...
Н-да... А тебя как звать-то?

— Как? Ну... Иван Иванов...

— Так! Из духовных, что ли?

— Н-нет...

— Ну? А я думал — из духовных...

— Это по одежде, что ли?

— Вот, вот! Совсем ты вроде как бы беглый монах,
а то расстриженный поп... А вот лицо у тебя неподходя-
щее, с лица ты вроде как бы солдат... Бог тебя знает, что
ты за человек? — И Ефимушка окинул странника любо-
пытным взглядом. Тот вздохнул, поправил шляпу на го-
лове, вытер потный лоб и спросил сотского:

— Табак куришь?

— Ах ты, сделай милость! Конечно, курю!

Он вытащил из-за пазухи засаленный кисет и, наклони-
в голову, но не останавливаясь, стал набивать табак
в глиняную трубку.

— На-ко, закуривай! — Арестант остановился и, на-
клонясь к зажженной конвоиром спичке, втянул в себя
щеки. Синий дымок поплыл в воздухе.

— Так из каких ты будешь-то? Мещанин, что ли?

— Дворянин, — кратко сказал арестант и сплюнул
в сторону на колосья хлеба, уже подернутые золотым
блеском.

— Э-э! Ловко! Как же это ты без пачпорта гуляешь?

— А так и гуляю.

— Ну-ну! Дела! Не свычна, чай, этакая волчья жизнь
для твоего дворянства? Э-эх ты, горюн!

— Ну ладно, будет болтать-то, — сухо сказал горюн.

Но Ефимушка с возрастающим любопытством и уча-
стием оглядывал беспаспортного человека и, задумчиво
качая головой, продолжал:

— А-ай! Как судьба с человеком-то играет, ежели подумать! Ведь оно, пожалуй, и верно, что ты из дворян, потому осанка у тебя великолепная. Давно ты живешь в таком образе?

Человек с великолепной осанкой сумрачно взглянул на Ефимушку и отмахнулся от него рукой, как от назойливой осы.

— Брось, говорю! Что ты пристал, как баба?

— А ты не сердись! — успокоительно проговорил Ефимушка. — Я по чистому сердцу говорю... сердце у меня доброе очень...

— Ну, и — твое счастье... А вот, что язык у тебя без умолку мелет, — это мое несчастье.

— Ну, ин ладно! Я коли и помолчу... можно и помолчать, ежели человек не хочет слушать твоего разговору. А сердиться ты все-таки без причины... Али моя вина, что тебе на бродяжьем положении пришлось жить?

Арестант остановился и так сжал зубы, что его скулы выдались двумя острыми углами, а седая щетина на них встала ершом. Он смерил Ефимушку с ног до головы загоровшимися злобой, прищуренными глазами.

Но раньше, чем Ефимушка заметил эту мимику, он снова начал мерять землю широкими шагами.

На лицо болтливого сотского лег отпечаток рассеянной задумчивости. Он посматривал вверх, откуда лились трели жаворонков, и подсвистывал им сквозь зубы, помахивая палкой в такт своих шагов.

Подходили к опушке леса. Он стоял неподвижной и темной стеной — ни звука не несло из него навстречу пугникам. Солнце уже садилось, его косые лучи окрасили вершины деревьев в пурпур и золото. От деревьев веяло пахучей сыростью; сумрак и сосредоточенное молчание, наполнявшие лес, рождали жуткое чувство.

Когда лес стоит пред глазами темен и неподвижен, когда весь он погружен в таинственную тишину и каждое дерево точно чутко прислушивается к чему-то, — тогда кажется, что весь лес полон чем-то живым и лишь временно притаившимся. И ждешь, что в следующий момент вдруг выйдет из него нечто громадное и непонятное человеческому уму, выйдет и заговорит могучим голосом о великих тайнах творчества природы...

Подойдя к опушке леса, Ефимушка и его спутник решили отдохнуть и усадились на траву около широкого дубового пня. Арестант медленно стащил с плеч котомку и равнодушно спросил сотского:

— Хлеба хочешь?

— Дашь, так пожую, — ответил Ефимушка, улыбаясь.

Они молча стали жевать хлеб. Ефимушка ел медленно и все вздыхал, поглядывая куда-то в поле, влево от себя, а его спутник, весь углубясь в процесс насыщения, ел скоро и звучно чавкал, измеряя глазами краюху хлеба. Поле темнело, хлеб, потеряв свой золотистый блеск, стали розовато-желтыми; с юго-запада плыли лохматые тучки, от них на поле падали тени и ползли по колосьям к лесу. И от деревьев тоже ложились на землю тени, а от теней веяло на душу грустью.

— Слава тебе, господи! — возгласил Ефимушка, собрав с полы азяма крошки хлеба и слизав их с ладони языком. — Господь напитал — никто не видал, а кто и видел, так не обидел! Друг! Посидим здесь часок? Успеем в холодную-то?

Друг кивнул головой.

— Ну, вот!.. Место больно хорошее, памятное мне место... Вон там, влево, господ Тучковых усадьба была...

— Где? — быстро спросил арестант, оборачиваясь туда, куда Ефимушка махнул рукой...

— А звона — за тем мыском. Тут все вокруг ихнее. Богатейшие господа были, но после воли свихнулись... Я тоже ихний был, — мы все тут бывшие ихние. Большая семья была... Полковник сам-то — Александр Никитыч Тучков. Дети были: четверо сыновей — куда все теперь подевались? словно ветром разнесло людей, как листья по осени. Один только Иван Александрович цел, — вот я тебя к нему и веду, он у нас становым-то... Старый.

Арестант засмеялся. Смеялся он глухо, каким-то особенным внутренним смехом, — грудь и живот у него колыхались, но лицо оставалось неподвижным, только сквозь оскаленные зубы вырывались глухие, точно лающие звуки.

Ефимушка боязливо поежился и, подвинув свою палку поближе к руке, спросил у него:

— Чего это ты? Находит на тебя, что ли?..

— Ничего... это так! — сказал арестант отрывисто, но ласково. — Рассказывай, знай...

— Н-да... Так вот, значит, какие дела, — были это господа Тучковы, и нету их... Которые померли, а которые пропали, так ни слуху, ни духу о них и нету. Особливо один тут был... самый меньшой. Виктором звали... Витей. Товарищи мы с ним были... В ту пору было нам с ним лет по четырнадцати... Экий мальчик был, помяни, господи, добром его душеньку! Ручей чистый! Так вот весь день и стремится, так это и журчит... Где-то он теперь? Жив или уж нет?

— Чем больно хорош был? — тихо спросил Ефимушку его спутник.

— Всем! — воскликнул Ефимушка. — Красотой, разумом, добрым сердцем... Ах ты, странный человек, душа ты моя, спела ягода! Посмотрел бы ты тогда на нас двоих... ай, ай, ай! В какие игры мы играли, какая развеселая жизнь была, — люли малина! Бывало, крикнет: «Ефимка! Идем на охоту!» Ружье у него было, — отец подарил в именины, — и мне, бывало, стащит ружье. И закатимся мы это в леса, да — дня на два, на три! Придем домой — ему проборка, мне порка; глядишь, на другой день снова: «Ефимка, — по грибы!» Птицы мы с ним погубили — тысячи! Грибов этих собирали — пуды! Бабочек, жуков он ловил, бывало, и в коробки их, на булавки насаживал... Занятно! Грамоте меня учил... «Ефимка, говорит, я тебя учить буду». — «Валяйте!» Ну и начал... «Говори, говорит, — а!» Я ору: «а-а!» Смехи! Сначала-то мне в шутку это дело было — на што она, грамота-то, крестьянину?.. Ну, он меня увещевает: «На то, говорит, тебе, дураку, и воля дана, чтобы ты учился... Будешь, говорит, грамоте знать, — узнаешь, как жить надо и где правду искать...» Известно, малое дитя — переимчиво, наслушался, видно, у старших этаких речей, и сам начал то же говорить... Пустое, конечно, все... В сердце она, грамота-то, сердце и насчет правды укажет... Оно — глазастое... Так вот, учит он меня... так присосался к этому делу, —дохнуть мне не дает! Маета!

Я — молить! «Витя, говорю, мне грамота не вмогугу, не могу я ее одолеть...» Так он на меня ка-ак рявкнет! «Папиной нагайкой заporю — учись!» Ах ты, сделай милость! Учусь... Раз сбежал с урока, прямо вскочил да и драла! Так он меня с ружьем искал весь день — застрелить хотел. После говорит мне: «Кабы, говорит, встретил я тебя в тот день — застрелил бы», говорит! Вот какой был резкий! Непреклонный, — настоящий барин... Любил он меня; пламенная душа... Раз мне тятка спину вожжами расписал, а как он, Витя-то, увидел это, пришедши к нам в избу, — батюшки мои, — что вышло! Побледнел весь, затрясся, сжал кулаки и к тятеньке на полати лезет. «Это, говорит, ты как смел?» Тятка говорит — я-де отец! «Ага! Ну хорошо, отец, один я с тобой не слажу, а спина у тебя будет такая же, как у Ефимки». Заплакал после этих слов и убег... И что ж ты скажешь, отче? Исполнил ведь свое слово. Дворню, видно, подговорил, что ли, только однажды тятенька пришел домой, кряхтит; стал было рубашку снимать, ан она присохла к спине-то у него... Рассердился на меня отец в ту пору: «Из-за тебя, говорит, терплю, барский ты прихвостень». И здоровенную задал мне теребачку... Ну, а насчет барского прихвостня это он напрасно, — я таким не был...

— Верно, Ефим, не был! — утвердительно сказал арестант и весь вздрогнул. — Это видно и сейчас, не мог ты быть барским прихвостнем, — как-то торопливо добавил он.

— То-то и оно! — воскликнул Ефимушка. — Просто я любил его, Витю-то... Такой это талантный ребенок был, все его любили — не один я... Бывало, речи он говорит разные... не помню я их, тридцать годов, поди, прошло с той поры... Ах, господи! Где-то он теперь? Чай, коли жив, высокое место занимает или... в самом омуте кипит... Жизнь людская растаковская! Кипит она, кипит, а все ничего путного не сварится... А люди пропадают... жалко людей, до смерти жалко! — Ефимушка, тяжело вздохнув, поник головой на грудь... С минутой длилось молчание.

— А меня тебе жалко? — весело спросил арестант, и все лицо у него было освещено хорошей, доброй улыбкой...

— Да ведь, чудака-человек! — воскликнул Ефимушка, — как же тебя не жалеть? Что ты такое, ежели подумать? Коли ты бродишь, так, видно, нет у тебя ничего своего на земле-то, ни угла, ни щепочки... А может, еще и велик грех ты носишь с собой, — кто тебя знает? Горюн ты — одно слово...

— Так, — сказал арестант.

И они снова замолчали. Солнце уже село, и тени стали гуще. В воздухе пахло влажной землей, цветами и лесной плесенью... Долго сидели молча.

— А как тут ни хорошо — все-таки надо идти... Нам еще верст восемь осталось... Аёда-ка, отче, подымайся!

— Посидим еще немного, — попросил отче.

— Да я ничего, я сам люблю ночью около леса быть... Только когда ж мы придем в волость-то? Заругают меня — поздно-де.

— Ничего, не заругают...

— Разве ты словечко замолвишь, — усмехнулся согский.

— Могу.

— Ой ли?

— А что?

— Шутник ты! Он те, становой-то, задаст перцу!

— Дерется разве?

— Лют! И ловок — ахнет кулаком в ухо, а выходит все равно как бы косою по ногам.

— Ну, мы ему сдачи дадим, — уверенно сказал арестант, дружески потрепав своего конвоира по плечу.

Это было фамильярно и не понравилось Ефимушке. Как-никак, а он все-таки начальство, и этот гусь не должен забывать, что у Ефимушки за пазухой есть медная бляха! Ефимушка встал на ноги, взял в руки свою палку, вывесил бляху на самую середину груди и строго сказал:

— Вставай, идем!

— Не пойду! — сказал арестант.

Ефимушка смутился и, вытаращив глаза, с полминуты молчал, не понимая, — с чего это арестант вдруг стал такой?

— Ну, не валандайся, идем! — мягче сказал он.

— Не пойду! — решительно повторил арестант.

— То есть как не пойдешь? — закричал Ефимушка в изумлении и гнев.

— Так. Хочу здесь ночевать с тобой... Ну-ка, разжигай костер...

— Я те дам ночевать! Я те такой костер на спине у тебя разожгу — любо-дорого! — грозил Ефимушка. Но в глубине души он был изумлен. Говорит человек — не пойду, — а сопротивления никакого не оказывает, в драку не лезет, лежит себе на земле и больше ничего. Как тут быть?

— Не ори, Ефим, — спокойно посоветовал арестант.

Ефимушка снова замолчал и, переминаясь с ноги на ногу над своим арестантом, смотрел на него большими глазами. И тот на него смотрел, смотрел и улыбался. Ефимушка тяжело соображал, — как же теперь нужно поступать?

И с чего этот бродяга, такой угрюмый и злой, вдруг разбаловался? А что, если навалиться на него, скрутить ему руки, дать раза два по шее да и все? И самым строго начальническим тоном, какой только был в его распоряжении, Ефимушка сказал:

— Ну, ты, огарок, вот что, — покочевряжился, и будет! Вставай! А то я тебя свяжу, так тогда пойдешь, небойсь! Понял? Ну? Смотри — бить буду!

— Меня-то? — усмехнулся арестант.

— А ты что думаешь?

— Витю-то Тучкова ты, Ефим, бить будешь?

— Ах ты, — пострелит те горой, — изумленно воскликнул Ефимушка, — да что ты в самом деле? Что ты мне представленья-то представляешь? Накося!

— Ну, будет кричать, Ефимушка, пора тебе узнать меня, — спокойно улыбаясь, сказал арестант и встал на ноги, — здравствуй, что ли!

Ефимушка попятился назад от протянутой к нему руки и во все глаза смотрел в лицо своего арестанта. Потом губы у него затряслись и все лицо сморщилось...

— Виктор Александрович... и впрямь, что ли, вы это? — шопотом спросил он.

— Хочешь — документы покажу? А то, — всего лучше, — старину напомним... Ну-ка — помнишь, как ты в Раменском бору в волчью яму попал? А как я за

гнездом полез на дерево и повис на сучке вниз головой? А как мы у старухи-молочницы Петровны сливки крали? И сказки она нам говорила?

Ефимушка грузно сел на землю и растерянно засмеялся.

— Поверил? — спросил его арестант и тоже сел рядом с ним, заглядывая ему в лицо и положив на плечо его свою руку. Ефимушка молчал. Вокруг них стало совсем темно. В лесу родился смутный шум и шопот. Далеко, где-то в чаще, застонала ночная птица.

— Что же, Ефим, — не рад встрече? Или рад? Эх ты... святая душа! Как был ты ребенком, так и остался... Ефим? Да говори, что ли, чудовище милое!

Ефимушка начал усиленно сморкаться в полу азяма...

— Ну, брат! Ай, ай, ай! — укоризненно закачал головой арестант. — Что это ты? Стыдись! Чай, тебе на шестой десяток годы идут, а ты таким пустяковым делом занимаешься? Брось! — И он, обняв сотского за плечи, легонько потряс его. Сотский засмеялся дрожащим смехом и, наконец, заговорил, не глядя на своего соседа:

— Да разве я что?.. Рад я... Так это вы и есть? Как мне в это поверить? Такое дело! Витя... и в таком образе! В холодную... Пачпорту нет... Хлебом питаетесь... Табаку нет... Господи! Это разве порядок? Ежели бы это я был... а вы бы хоть сотский... и то легче! А теперь что же вышло? Как мне смотреть в глаза вам? Я всегда про вас с радостью помнил... Витя, — думаешь, бывало... Так даже сердце зашекочет. А теперь — на-ко! Господи... ведь это — ежели людям рассказать — не поверят.

Он бормотал, упорно глядя на свои ноги, и все хватался рукой то за грудь, то за горло.

— А ты людям про все это и не говори, не надо. И перестань... Насчет меня не беспокойся... Бумаги у меня есть, я не показал их старосте, чтобы не узнали меня тут... В холодную меня брат Иван не посадит, а, напротив, поможет мне на ноги встать... Останусь я у него, и будем мы с тобой снова на охоту ходить.. Видишь, как хорошо все устроивается?

Витя говорил это ласково, тем тоном, которым взрослые утешают огорченных детей. Навстречу туче из-за леса всходила луна, и края тучи, посребренные ее

лучами, приняли мягкие опаловые оттенки. В хлебах кричали перепела, где-то трещал коростель... Мгла ночи становилась все гуще.

— Это действительно... — тихо начал Ефимушка, — Иван Александрович родному брату порадует, и вы, значит, снова приспособитесь к жизни. Это все так... И на охоту пойдем... Только все не то... Я думал, вы каких делов в жизни наделаете! А оно — вон что...

Витя Тучков засмеялся.

— Я, брат Ефимушка, наделал делов достаточно... Имение, свою часть, прожил, на службе не ужился, был актером, потом сам держал актеров... потом прогорел дотла, всем задолжал, впутался в одну историю... эх! Всего было... И — все прошло!

Арестант махнул рукой и добродушно засмеялся.

— Я, брат Ефимушка, теперь уж не барин... вылез из этого. Теперь мы с тобой так заживем! да ну! очнись!

— Я ведь ничего... — заговорил Ефимушка подавленным голосом, — стыдно мне только. Говорил я вам тут разное такое... несуразные слова и вообще... Мужик, известное дело... Так, говорите, заночуем тут? Я ин костер разложу...

— Ну-ка, действуй!..

Арестант вытянулся на земле кверху грудью, а сотский исчез в опушке леса, откуда тотчас же раздался треск сучьев и шорох. Скоро Ефимушка появился с охапкой хвороста, а через минуту по маленькому холмику из мелких сучьев уже весело ползала змейка огня.

Старые товарищи задумчиво смотрели на нее, сидя друг против друга и поочередно куря трубку.

— Совсем как тогда, — грустно говорил Ефимушка.

— Только времена не те, — сказал Тучков.

— Н-да, жизнь-то стала круче характером... Эвона как вас... обломала...

— Ну, это еще неизвестно — она меня или я ее... — усмехнулся Тучков.

Замолчали...

Сзади их возвышалась темная стена тихо шептавшего о чем-то леса, весело трещал костер, вокруг него бесшумно плясали тени, и над полем лежала непроглядная тьма.

ЧИТАТЕЛЬ

...Была ночь, когда я вышел на улицу из дома, где, в кругу близких мне людей, читал свой напечатанный рассказ. Меня много хвалили за него, и, приятно взволнованный, я медленно шагал по пустынной улице, впервые в моей жизни испытывая так полно наслаждение жить.

Это было в феврале; ночь была ясная, и безоблачное небо, густо затканное звездами, дышало бодрим холодом на землю, покрытую пышным убором только что выпавшего снега. Ветви деревьев, перевешиваясь через заборы, бросали на мою дорогу причудливые узоры теней, ярко и радостно блестели снежинки в голубом, ласковом сиянии луны. Нигде не было видно ни одного живого существа, и скрип снега под моими ногами был единственным звуком, нарушавшим торжественную тишину этой ясной, памятной мне ночи... Я думал:

«Хорошо быть чем-нибудь на земле, среди людей!»

И воображение, не скупясь на яркие краски, рисовало мне мое будущее...

— Да, вы написали славную вещицу!.. Это — так! — задумчиво сказал кто-то за моей спиной.

Я вздрогнул от неожиданности и оглянулся.

Маленький, одетый в темное, человек поравнялся и пошел в ногу со мной, снизу вверх глядя в мое лицо и улыбаясь острой улыбкой. В нем все было остро: взгляд, скулы, подбородок с эспаньолкой; вся его маленькая, сухая фигурка колола глаза своей странной угловатостью.

Он шел легко и как-то беззвучно, точно скользил по снегу. Я не видал его там, где читал, и, понятно, был удивлен его возгласом. Откуда, кто он?

— Вы... тоже слушали? — спросил я.

— Да, имел удовольствие.

Говорил он тенором. Губы у него были тонкие, черные маленькие усы не скрывали их улыбку. Она не исчезала, производя неприятное впечатление, я чувствовал, что за ней скрыта какая-то едкая, нелестная для меня мысль. Но я был слишком хорошо настроен для того, чтоб долго останавливаться в наблюдении за этой чертой моего спутника, и, мелькнув в глазах моих, как тень, она быстро исчезла пред ясностью моего довольства собой. Я шел рядом с ним, ожидая, что он скажет, втайне надеясь, что он увеличит количество приятных минут, пережитых мною в этот вечер. Человек жажен, потому что судьба слишком редко улыбается ему ласково.

— А хорошо чувствовать себя чем-то исключительным? — спросил мой спутник.

Я не услышал в его вопросе ничего особенного и поспешил согласиться с ним.

— Хе, хе, хе! — колко засмеялся он, нервно потирая свои маленькие руки с тонкими, цепкими пальцами.

— А вы веселый человек!.. — сухо сказал я, задетый его смехом.

— Да, я веселый человек, — улыбаясь, подтвердил он и качнул головой. — И еще я очень любопытен... Я всегда хочу знать; все знать — это мое постоянное стремление, оно-то и поддерживает во мне бодрость. Вот и сейчас я хочу знать — что стоит вам ваш успех?

Я посмотрел на него и нехотя ответил ему:

— Около месяца работы... может быть, немного более...

— Ага! — живо подхватил он. — Немножко труда, затем частица житейского опыта, который всегда чего-нибудь стоит... Но это недорого все-таки, когда такой ценной вы приобретаете сознание, что вот в данный момент несколько тысяч людей живут вашей мыслью, читая ваше произведение. И потом приобретаются надежды на то, что, может быть, со временем... хе, хе!.. и когда вы умрете... хе, хе, хе!.. За все это можно больше дать, больше того, сколько дали вы нам, — не правда ли?

Он опять засмеялся своим дробным, колющим смехом, лукаво оглядывая меня острыми, черными глазками. Я тоже посмотрел на него сверху вниз и, обиженный, холодно спросил его:

— Извините... с кем я имею удовольствие беседовать?

— Кто я? Вы не догадываетесь? А я, пока, не скажу вам, кто я. Разве для вас знать имя человека более важно, чем знать то, что он скажет вам?

— Конечно, нет... Но все это — странно! — ответил я.

Он для чего-то тронул меня за рукав пальто и, тихонько посмеиваясь, заговорил:

— Но и пускай будет странно, — почему бы человеку не позволить себе иногда выйти из рамок простого и обыденного?.. И если вы не прочь сделать это — давайте поговорим откровенно? Вообразите, что я — читатель... некий странный читатель, который очень любопытен и желал бы знать, для чего и как делается книга... вами, например? Давайте же поговорим.

— О, пожалуйста! — сказал я. — Мне приятно... такие встречи и разговоры... не каждый день возможны. — Но я уже лгал ему, ибо для меня все это становилось неприятным. Я думал: «Чего он хочет? И с какой стати я позволю себе придавать этой уличной встрече, с незнакомым мне человеком, характер какого-то диспута?»

Однако я все-таки медленно шел рядом с ним, стараясь выразить на лице моем любезное внимание к моему спутнику. Это, я помню, с трудом удавалось мне. Но все-таки у меня пока было еще много бодрого настроения, я не хотел обидеть этого человека отказом говорить с ним и решил следить за собой.

Луна сияла в небе сзади нас, и наши тени лежали у нас под ногами. Слившись в одно темное пятно, они ползли впереди нас по снегу, а я смотрел на них и ощущал в себе зарождение чего-то такого, что, как эти тени, было темно, неуловимо и, как они, тоже впереди меня.

Мой спутник помолчал с минуту времени и потом заговорил уверенным тоном господина своих дум:

— Ничего нет в жизни более важного и любопытного, чем мотивы человеческих действий... Не правда ли?

Я кивнул головой.

— Вы согласны!.. Так давайте поговорим откровенно — не упускайте случая говорить откровенно, пока вы еще молоды!..

«Странный человек!» — подумал я и, заинтересованный его словами, спросил его, усмехаясь:

— Но о чем говорить?

Он, взглянув мне в лицо, с фамильярностью старого знакомого воскликнул:

— Будем говорить о целях литературы!

— Пожалуй... хотя, мне кажется, уже поздно...

— О! для вас еще не поздно!..

Я остановился, удивленный этими словами, — он произнес их с такой серьезной уверенностью, и они звучали — как иносказание. Я остановился, желая что-то спросить у него, но он, взяв меня за руку, тихо и настойчиво повел вперед, говоря мне:

— Не останавливайтесь, ибо со мной вы на хорошем пути... Довольно предисловий! Скажите, — чего хочет литература?.. вы ей служите, вы должны это знать.

Мое изумление росло в ущерб моему самообладанию. Что нужно от меня этому человеку? Кто он?

— Послушайте, — сказал я, — согласитесь, что все происходящее между нами...

— Имеет свое достаточное основание, — верьте мне! Ведь ничто в мире не совершается без достаточного к тому основания... Идемте же скорее, но не вперед, а вглубь...

Бесспорно, этот чужак был интересен, но он сердил меня. Я снова сделал нетерпеливое движение вперед; он следовал за мной и спокойно говорил мне:

— Я понимаю вас: вам трудно в этот момент дать определение цели, которую преследует литература. — Попробую я сделать это...

Он вздохнул и потом с улыбкой посмотрел мне в лицо.

— Вы согласитесь со мной, если я скажу, что цель литературы — помогать человеку понимать себя самого, поднять его веру в себя и развить в нем стремление к истине, бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтоб люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты. Вот моя формула; она, разумеется, неполна,

схематична... дополняйте ее всем, что может одухотворить жизнь, и скажите — вы согласны со мной?

— Да, это так!.. — сказал я. — Приблизительно — это так. Принято думать, что, в общем, задача литературы — облагородить человека...

— Вот какому великому делу вы служите! — внушительно сказал этот человек... и снова он засмеялся своим едким смехом: — Хе, хе, хе!

— Однако к чему вы говорите все это? — спросил я, делая вид, будто его смех не задевает меня.

— А как вы думаете?

— Откровенно говоря... — начал я, придумывая колкость, и замолчал. Что значит говорить откровенно? Этот человек неглуп, он должен знать, как тесны границы человеческой откровенности и как стойко охраняет их самолюбие. Взглянув в лицо моего спутника, я почувствовал себя глубоко уязвленным его улыбкой, — в ней было столько иронии и презрения! Я чувствовал, что начинаю бояться чего-то, боязнь эта понуждает меня уйти от него.

— До свидания! — сухо сказал я, приподнимая шляпу.

— Почему? — тихо воскликнул он.

— Я не люблю шуток, когда в них нет чувства меры.

— И — уходите?.. Дело ваше... но, знаете, если вы теперь уйдете от меня, мы уже никогда не встретимся.

Слово «никогда» он подчеркнул, и оно прозвучало в ушах моих, как удар похоронного колокола. Я ненавижу это слово и боюсь его: оно всегда представляется мне тяжелым и холодным, чем-то вроде молота, предназначенного судьбой для того, чтобы раздроблять надежды людей. Это слово остановило меня.

— Что вам нужно? — с тоской и злобой спросил я.

— Сядем здесь, — снова усмехаясь, произнес он и, крепко взяв меня за руку, потянул ее вниз.

В этот момент мы с ним были в аллее городского сада, среди неподвижных, обледенелых ветвей акации и сирени. Освященные луной, они висели в воздухе над головой моей, и мне казалось, эти покрытые льдом и инеем жесткие ветви проникают мне в грудь, касаются сердца.

Недоумевающий, озадаченный выходкой моего спутника, я смотрел на него и молчал.

«Это больной», — подумал я, желая ободрить себя и объяснить себе его действия. Но он как-то угадал мою мысль.

— Ты думаешь, что я ненормален? Оставь это. Это такая дрянная и вредная мысль! Прикрываясь ею, как часто мы отказываемся от понимания человека только потому, что он оригинальнее нас, и как стойко эта мысль поддерживает и осложняет печальную небрежность наших отношений друг к другу!

— О, да!.. — сказал я, все сильнее ощущая в себе смущение пред этим человеком. — Но, извините, я пойду... Мне пора уже...

— Ступай, — сказал он, пожав плечами. — Иди... но знай, что ты спешишь потерять себя... — Он выпустил мою руку из своей, и я пошел прочь от него.

Он остался в саду на горе, спускавшейся к Волге, на горе, покрытой белой пеленой снега, перерезанной темными лентами тропинок. Пред ним открывался широкий вид на безмолвную, унылую равнину за рекой. Этот человек остался в саду, сел на одну из скамеек и стал смотреть в пустынную даль, а я шел вдоль по аллее и чувствовал, что не уйду от него, но все-таки шел. Шел я и думал: «Следует мне идти тихо или быстро для того, чтоб показать ему, — человеку, что сидел там, сзади меня, — как мало он для меня значит?»

Вот он тихо насвистывает что-то знакомое... Я знаю, что это смешная и грустная песня о слепом, который взял на себя роль вожака слепых. «Зачем он именно ее насвистывает?» — подумал я.

И тут я понял, что с той минуты, как я встретился с этим маленьким человечком, я вступил в темный круг ощущений исключительных и странных. Недавнее, ровное и довольное настроение моего духа облеклось в туман ожидания чего-то важного и тяжелого.

«Как же ты будешь вожаком,
Если с дорогой незнаком?»

— вспоминал я слова песни, которую насвистывал тот человек.

Я обернулся и посмотрел на него. Облокотясь одной рукой о колено и положив голову на ладонь, он

смотрел на меня, свистал, и его черные усы шевелились на лице, освещенном луной. Я решил вернуться назад, движимый каким-то роковым чувством. Быстро подошел я к нему, сел рядом и сказал ему, не волнуясь, но горячо:

— Послушайте, будем говорить просто...

— Это необходимо для людей, — кивнул он головой.

— Вы, я чувствую, обладаете силой какого-то воздействия на меня и, очевидно, имеете что-то сказать мне... да?

— Наконец, ты нашел в себе мужество слушать! — воскликнул он со смехом; но теперь этот смех был мягче и даже что-то близкое к радости послышалось мне в нем.

— Так говорите! — сказал я, — и если можете, говорите без странностей...

— О, хорошо! Но согласись, что ведь странности были необходимы для того, чтоб привлечь ко мне твое внимание? Теперь притупляется внимание к простому и ясному, как чересчур холодному и жесткому, а согреть и смягчить что-нибудь мы не умеем: мы сами холодны и жестки. Мы, кажется, снова хотим грез, красивых вымыслов, мечты и странностей, ибо жизнь, созданная нами, бедна красками, тускла, скучна! Действительность, которую мы когда-то так горячо хотели перестроить, сломала и смяла нас... Что же делать? Попробуем, быть может, вымысел и воображение помогут человеку подняться ненадолго над землей и снова высмотреть на ней свое место, потерянное им. Потерянное, не правда ли? Ведь человек теперь не царь земли, а раб жизни, утратил он гордость своим первородством, преклоняясь пред фактами, не так ли? Из фактов, созданных им, он делает вывод и говорит себе: вот непреложный закон! И, подчиняясь этому закону, он не замечает, что ставит себе преграду на пути к свободному творчеству жизни, в борьбе за свое право ломать для того, чтобы создавать. Да он и не борется больше, а только приспосабливается... Чего ради ему бороться? Где у него те идеалы, ради которых он пошел бы на подвиг? Вот почему живет так бедно и скучно, вот почему обессилел в человеке дух творчества... Некоторые слепо ищут чего-то, что, окрыляя ум, восстановило бы веру людей в самих себя. Часто идут не в ту сторону, где хранится все вечное, объединяющее людей, где живет

бог... Те, которые ошибаются в путях к истине, — погибнут! Пускай, не нужно им мешать, не стоит их жалеть — людей много! Важно стремление, важно желание души найти бога, и, если в жизни будут души, охваченные стремлением к богу, он будет с ними и оживит их, ибо он есть бесконечное стремление к совершенству... Так ли?

— Да, — сказал я, — это так...

— Ты, однако, умеешь соглашаться, — заметил мой собеседник, колко усмехаясь. Потом он помолчал, глядя вдаль. Мне показалось, что он долго молчит, и я нетерпеливо вздохнул. Тогда он, не обращая на меня своего взгляда, блуждавшего вдали, спросил:

— Кто есть твой бог?

До этого вопроса он говорил мягко и ласково, и мне приятно было его слушать: как и все думающие люди, он был немного печален, был близок мне, я понимал его, и мое смущение пред ним гасло. И вот вдруг он ставит роковой вопрос, на который так трудно ответить человеку нашего времени, если этот человек честно относится к себе. Кто есть мой бог? Если б я знал это!

Я был подавлен вопросом, да и кто бы, на моем месте, сохранил присутствие духа? — А он смотрел на меня своими острыми глазами, улыбался и ожидал моего ответа.

— Ты молчишь слишком долго для человека, который мог бы дать ответ. Может быть, ты скажешь мне что-нибудь, если я спрошу тебя вот о чем: ты пишешь, и тысячи людей читают тебя; что же именно ты проповедуешь? И думал ли ты о твоём праве поучать?

Первый раз в жизни я смотрел так внимательно вглубь себя. Пусть не думают, что я возвышаю или унижаю себя для того, чтоб привлечь к себе внимание людей, — у нищих не просят милостыни. Я открыл в себе немало добрых чувств и желаний, немало того, что обыкновенно называют хорошим, но чувства, объединяющего все это, стройной и ясной мысли, охватывающей все явления жизни, я не нашёл в себе. В душе моей много ненависти; она постоянно тлеет там, иногда вспыхивает ярким огнём гнева; но — ещё больше сомнений в душе моей. Порой они так потрясают мой ум, так давят сердце, что долгое время я существую внутренне опустошённый... Ничто не возбуждает меня к жизни, сердце мое холодно, как мертвое, ум спит,

а воображение дают кошмары. И так, слепой, немой и глухой, живу я долгие дни и ночи, ничего не желая, ничего не понимая; мне кажется тогда, что я уже труп и лишь по какому-то странному недоразумению еще не зарыт в землю. Ужас такого существования еще больше усиливается сознанием необходимости жить, ибо в смерти еще менее смысла, еще больше тьмы... Наверное, она отнимает даже и наслаждение ненавидеть...

Что же, в самом деле, я проповедую, я — такой, каков есть? И что я могу сказать людям? То, что уже давно говорили им и всегда говорят, что находит себе слушателей, но не делает людей лучшими? Но имею ли я право проповеди этих идей и понятий, если сам я, воспитанный на них, часто поступаю не так, как они повелевают? Если я иду противу них, значит ли это, что убеждение в их истинности есть искреннее мое убеждение, заложенное в основе моего «я»?.. Что же отвечу я человеку, который сидит рядом со мной? А он уже устал ждать моих ответов и снова заговорил:

— Я бы не поставил тебе этих вопросов, если б не видал, что твое честолюбие еще не успело уничтожить твою честь. Ты имеешь мужество слушать меня... из этого я заключаю, что твоя любовь к себе разумна, ибо для того, чтоб усилить ее, ты не бежишь даже и от мук. За это я облегчу тяжесть твоего положения предо мной и буду говорить с тобой, как с виновным, а не как с преступником.

— ...Когда-то среди нас жили великие мастера слова, тонкие знатоки жизни и человеческой души, люди, одухотворенные неукротимым стремлением к совершенствованию бытия, одухотворенные глубокой верой в человека. Они создавали книги, которых никогда не коснется забвение, ибо в книгах тех запечатлены вечные истины, нетленной красотой веет с их страниц. Образы, начертанные в тех книгах, живы, они одушевлены силой вдохновения. В тех книгах есть и мужество, и гнев пылающий, в них звучит любовь искренняя и свободная, и ни одного лишнего слова нет в них. Оттуда, я знаю, ты черпал пищу душе своей... Но, должно быть, плохо питалась душа твоя, ибо у тебя речь о правде и любви звучит фальшиво и лицемерно, точно ты насилуешь себя, когда говоришь об этом. Ты,

как луна, чужим светом светишь, свет твой печально-тускл, он много плодит теней, но слабо освещает и не греет он никого. Ты нищ для того, чтобы дать людям что-нибудь действительно ценное, а то, что ты даешь, ты даешь не ради высокого наслаждения обогащать жизнь красотой мысли и слова, а гораздо больше для того, чтоб возвести случайный факт твоего существования на степень феномена, необходимого для людей. Ты даешь для того, чтобы больше взять от жизни и людей. Ты нищ для подарков, ты просто ростовщик: даешь крупицу твоего опыта под проценты внимания к тебе. Твое перо слабо ковыряет действительность, тихонько ворошит мелочи жизни, и, описывая будничные чувства будничных людей, ты открываешь их уму, быть может, и много низких истин, но можешь ли ты создать для них хотя бы маленький, возвышающий душу обман?.. Нет! Ты уверен, что это полезно — рыться в мусоре буден и не уметь находить в них ничего, кроме печальных, крошечных истин, устанавливающих только то, что человек зол, глуп, бесчестен, что он вполне и всегда зависит от массы внешних условий, что он бессилен и жалок, один и сам по себе? Знаешь, его, пожалуй, уже успели убедить в этом! Ибо душа его охлаждена и ум — туп... Еще бы! Он смотрит на свое изображение в книгах, а книги, — особенно если они написаны с той ловкостью, которую так часто принимают за талант, — всегда несколько гипнотизируют человека. Он смотрит на себя в твоём изображении и, видя, как он дурен, не видит возможности быть лучше. Разве ты умеешь показать ему эту возможность? Разве ты можешь сделать это, когда ты сам... но я пощажу тебя за то, что, слушая меня, ты, я чувствую, думаешь не над тем, как бы возразить мне и оправдать себя. Так! Ибо учитель, если он честен, всегда должен быть внимательным учеником. Все вы, учителя жизни наших дней, гораздо больше отнимаете у людей, чем даете им, ибо вы всё только о недостатках говорите, только их видите. Но в человеке должны быть и достоинства; ведь у вас они есть? А вы, чем вы отличаетесь от дюжинных, серых людей, которых изображаете так жестоко и придиричиво, считая себя проповедниками, обличителями пороков ради торжества добродетели? Но замечаете ли вы, что добродетели и пороки — вашими

усилиями определить их — только спутаны, как два клубка ниток, черных и белых, которые от близости стали серыми, восприняв друг от друга часть первоначальной окраски? И едва ли бог послал вас на землю... Он выбрал бы более сильных, чем вы. Он зажег бы сердца их огнем страстной любви к жизни, к истине, к людям, и они пылали бы во мраке нашего бытия, как светильники его силы и славы... Вы же чадите, как факелы торжества сатаны, и чад ваш, проникая в умы и души, отравляет их ядом недоверия к себе. Скажи: чему вы учите?

Я чувствовал на щеке своей горячее дыхание этого человека и не смотрел на него, боясь встретиться с его взглядом. Его слова падали в мой мозг, как огненные капли, и от этого мне было больно... Я с ужасом понимал, как трудно отвечать на простые вопросы... И не ответил ему.

— Итак, я, усердный читатель всего, что ты пишешь и что пишут подобные тебе, спрашиваю: чего ради вы пишете? А вы — много пишете... Хотите ли вы пробудить добрые чувства в сердцах людей? Но холодными и бессильными словами вы не сделаете этого, нет! И вы не только не можете дать жизни что-либо новое, вы и старое даете в скомканном, измятом, лишенном образа виде. Читая вас, ничему не поучаешься, ни за что, кроме вас, не стыдишься. Всё будни, будни, будничные люди, будничные мысли, события... Когда же будут говорить о духе смятенном и о необходимости возрождения духа? Где же призыв к творчеству жизни, где уроки мужества, где бодрые слова, окрыляющие душу?

— ...Ты можешь сказать мне: жизнь не дает иных образов, кроме тех, которые воспроизводим мы. Не говори так, ибо для человека, имеющего счастье владеть словом, стыдно и позорно сознаваться в своем бессилии пред жизнью и в том, что не может он встать выше ее. А если ты стоишь на одном уровне с жизнью, если ты не можешь силой воображения твоего создать образы, которых нет в жизни, но которые необходимы для поучения ее, — какая польза в твоей работе, и чем оправдаешь ты звание свое? Загромождая память и внимание людей мусором фотографических снимков с их жизни, бедной событиями, подумай, не вредишь ли ты людям? Ибо — сознайся! — ты

не умеешь изображать так, чтоб твоя картина жизни вызвала в человеке мстительный стыд и жгучее желание создать иные формы бытия... Можешь ли ты ускорить биение пульса жизни, можешь ли ты вдохнуть в нее энергию, как это делали другие?

Мой странный собеседник остановился на минуту, а я молча думал о его словах.

— Я вижу вокруг себя много умных людей, но мало среди них людей благородных, да и те, которые есть, разбиты и больны душой. И почему-то всегда так наблюдаю я: чем лучше человек, чем чище и честнее душа его, тем меньше в нем энергии, тем болезненнее он, и тяжело ему жить. Одиночество и тоска — удел таких людей. Но как ни много в них тоски о лучшем, — у них нет сил для создания его. Не потому ли они так разбиты и жалки, что им не дано, своевременно, помощи ободряющим душу словом?..

— ...И еще, — продолжал мой странный собеседник, — можешь ли ты возбудить в человеке жизнерадостный смех, очищающий душу? Посмотри, ведь люди совершенно разучились хорошо смеяться! Они смеются зло, смеются подло, часто смеются сквозь слезы, но никогда не услышишь среди них радостного, искреннего смеха, того смеха, который должен бы сотрясать груди взрослых, ибо хороший смех оздоравливает душу... Для человека необходимо смеяться, ведь смех — одно из немногих преимуществ его над животными. Можешь ли ты возбудить в людях какой-либо иной смех, кроме смеха порицания, кроме пошлого смеха над тобой, человеком, который лишь потому смешон, что жалок? Пойми, — твое право проповедывать должно иметь достаточное основание в твоей способности возбуждать в людях искренние чувства, которыми, как молотками, одни формы жизни должны быть разбиты и разрушены для того, чтоб создать другие, более свободные, наместо тесных. Гнев, ненависть, мужество, стыд, отвращение и, наконец, злое отчаяние — вот рычаги, которыми можно разрушить все на земле. Ты можешь создать такие рычаги? Ты можешь привести их в движение? Для того, чтобы иметь право говорить к народу, нужно иметь в душе или великую ненависть к его недостаткам, или великую любовь к нему за его страдания; если же нет

в душе твоей этих чувств, будь скромн и много подумай прежде, чем что-либо сказать...

Уже светало, но на душе моей все более сгущалась тьма. А человек, для которого не было тайн в душе моей, все говорил. Иногда во мне вспыхивала мысль:

«Человек ли он?»

Но, поглощенный его словами, я не мог думать над этой загадкой, и вновь в мой мозг, как иглы, вонзались его слова.

— Жизнь все-таки растет и вширь, и вглубь, хотя растет она медленно, ибо у вас нет силы и умения ускорить ее движения. Растет жизнь, и с каждым днем люди учатся спрашивать. Кто будет отвечать им? Должны бы вы, апостолы-самозванцы. Но понимаете ли вы жизнь настолько, чтоб объяснять ее другим? Понимаете ли вы запросы своего времени, предчувствуете ли вы будущее, и что вы можете сказать для возбуждения человека, растленного мерзостью жизни, павшего духом? Он упал духом, его интерес к жизни низок, желание жить с достоинством в нем иссякает, он хочет жить просто, как свинья, и — вы слышите? — уже он нахально смеется, когда проносят слово — идеал: человек становится только грудой костей, покрытых мясом и толстой шкурой, — эту скверную грудку двигает не дух, а похоти. Он требует внимания — скорее! помогайте ему жить, пока он еще человек! Но что вы можете сделать для возбуждения в нем жажды жизни, когда вы только ноете, стонете, охаете или равнодушно рисуете, как он разлагается? Над жизнью носится запах гниения; трусость, холопство пропитывают сердца, лень вяжет умы и руки мягкими путами... Что вы вносите в этот хаос мерзости? Как вы все мелко, как жалки, как вас много! О, если б явился суровый и любящий человек с пламенным сердцем и могучим всеобъемлющим умом! В духоте позорного молчания раздалась бы вещие слова, как удары колокола, и, может быть, дрогнули бы презренные души живых мертвецов...

После этих слов он долго молчал. Я не смотрел на него. Не помню, чего было больше во мне — стыда или ужаса?

— Что ты можешь сказать мне? — раздался безучастный вопрос.

— Ничего! — ответил я.

И опять было молчание.

— А как же ты теперь будешь жить?

— Не знаю!.. — ответил я.

— Что же ты будешь говорить?

Я промолчал.

— Нет мудрости превыше молчания!..

Мучительна была пауза между этими его словами и смехом, который раздался вслед за ними. Он смеялся с наслаждением, как человек, которому давно уже не представлялось случая посмеяться так легко и приятно. У меня сердце кровью плакало от этого проклятого смеха.

— Хе, хе! И это ты — учитель жизни? Ты, которого так легко смутить? Теперь, я думаю, ты понял, кто я? да? Хе, хе, хе... И каждый из вас, юношей, родившихся стариками, так же бы смутился, если бы захотел иметь дело со мною. Лишь тот, кто облек себя в броню лжи, нахальства и бесстыдства, не дрогнет перед судом своей совести. Так вот как ты силен: толчок — и ты падаешь! Скажи мне, ну скажи мне что-нибудь в свое оправдание, опровергни то, что я сказал! Освободи сердце твое от стыда и боли. Будь хоть на минуту сильным, уверенным в себе, и я возьму назад то, что бросил в лицо твое. Я поклонюсь тебе... Покажи мне в душе твоей что-нибудь такое, что помогло бы мне признать в тебе учителя! Мне нужен учитель, потому что я человек; я заплутался во мраке жизни и ищу выхода к свету, к истине, красоте, к новой жизни, — укажи мне пути! Я человек, — ненавижу меня, бей, но извлекай из тины моего равнодушия к жизни! Я хочу быть лучшим, чем есть; — как это сделать? Учи!

Я думал: могу ли я, могу ли удовлетворить тем требованиям, которые человек, по праву своему, предъявляет ко мне? Жизнь гаснет, умы людей все плотнее охватывает тьма сомнений, и нужно найти исход. Где путь? Одно я знаю — не к счастью нужно стремиться, зачем счастье? Не в счастье смысл жизни, и довольством собой не будет удовлетворен человек: он все-таки выше этого. Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель. Это было бы возможно, — но не в старых рамках жизни,

в которых всем так тесно и где нет свободы духу человека...

А он снова смеялся, но уже тихо, смехом человека, сердце которого изъедено думами.

— Как много было людей на земле, но как мало воздвигнуто на ней памятников людям! Почему бы это? Но предадим проклятию прошлое, — слишком много оно возбуждает зависти к себе. Ибо в настоящем вовсе нет таких людей, которые по смерти оставили бы за собой какой-нибудь след на земле. Дремлет человек... И — никто не будит его. Дремлет он и — превращается в животное. Бич ему нужен и огненная ласка любви, вслед за ударом бича. Не бойся сделать ему больно: если ты, любя, бьешь, он поймет твой удар и примет его как заслуженный. Когда же ему будет больно и стыдно за себя, ты пламенно обласкай его — и он возродится... Люди? Это все еще дети, хотя порой они поражают злодейством своих дел и извращенностью мысли. И они всегда нуждаются в любви к ним, в постоянной заботе о свежей и здоровой пище для их душ... А ты умеешь любить людей?

— Любить людей? — переспросил я с сомнением, ибо, право, не знаю, люблю ли я людей. Нужно быть искренним — я не знаю этого. Кто скажет про себя: вот — я люблю людей! Человек, внимательно следящий за собой, долго подумает над этим вопросом, прежде чем решится сказать: люблю. Все знают, как далек от каждого из нас наш ближний.

— Ты молчишь? Все равно — я понимаю тебя и безмолвного... И я ухожу...

— Уже? — тихо спросил я. Потому что, как ни страшен он был для меня, сам я для себя — еще страшнее...

— Да, я ухожу... Не раз еще я приду к тебе. Жди!

И он ушел.

Как ушел? Я не заметил этого. Он быстро и бесшумно ушел, как исчезают тени... Я же еще долго оставался на скамье в саду, не чувствуя холода извне и не замечая, что уже солнце взошло и ярко блестят лучи его на обледенелых ветвях деревьев. Странно было мне видеть ясный день и солнце, сияющее равнодушно, как всегда, и эту старую, измученную землю, одетую покровом снега, ослепительно сверкавшего в лучах солнца...

СТАРЫЙ ГОД

Сказка

В последний день своей жизни Старый Год — пред тем как возвратиться к Вечности — устраивает нечто вроде торжественной встречи своему преемнику: — он собирает пред свое лицо все человеческие Свойства и беседует с ними до двенадцати часов — до рокового момента своей смерти, до момента рождения Нового Года.

Вот и вчера было так же — вечером в гости к Старому Году стали собираться странные и неопределенные существа, — существа, чьи имена и формы известны нам, но чьи сущности и значения для нас мы еще не можем представить себе ясно.

Раньше всех пришло Лицемерие под руку со Смирением, за ним важно выступало Честолюбие, почтительно сопровождаемое Глупостью, а вслед за этой парой медленно шла величественная, но истощенная и, очевидно, больная фигура — это был Ум, и хотя в его глубоких и пронизательных очах много сверкало гордости собой, но еще более было в них тоски о своем бессилии.

За ним шла Любовь — полураздетая и очень грубая женщина, с глазами, в которых было много чувственности и ни искры мысли.

Роскошь, следуя за ней, предупреждающим шопотом говорила:

— О Любовь! Как ты одета! Фи, разве такой костюм соответствует твоей роли в жизни?

— Ба! — откликнулось Суемудрие, — чего вы хотите от Любви, сударыня? Вы всегда были и всё еще остаетесь романтичкой, вот что-с скажу. По мне — чем проще, тем яснее, тем лучше, и я очень доволен, что мне удалось сорвать с Любви покровы фантазии, в которые ее одевали мечтатели. Мы живем на земле, она тверда, и цвет ее грязен, а небеса так высоки, что никогда между ними и землей не будет ничего общего! Не так ли?

А сама Любовь молчала — язык ее давно уже почти нем, нет у нее прежних пылких слов, ее желания грубы, и кровь жидка и холодна.

Явилась также Вера — разбитое и колеблющееся существо. Она кинула взгляд непримиримой ненависти в сторону Ума и незаметно скрылась от его очей в толпе, пришедшей к Старому Году.

Потом за нею мелькнула, как искра, Надежда, мелькнула и скрылась куда-то.

Тогда явилась Мудрость. Она была одета в яркие и легкие ткани, украшенные массой фальшивых камней, и насколько ярок и блестящ был ее костюм, настолько сама она была темна и печальна.

И вот пришло Уныние, и все почтительно поклонились ему, потому что оно в чести у Времени.

Последней же пришла Правда, робкая и забитая, как всегда, больная и печальная, она, тихо и не замеченная никем, прошла в угол и одиноко села там.

Вышел Старый Год, посмотрел на своих гостей и усмехнулся усмешкой Мефисто.

— Здравствуйте и прощайте! — заговорил он. — Прощайте потому, что я умираю, как то предписано Судьбой. Я смертен, и я рад, что смертен, ибо, если б время жизни моей продолжилось хотя на день один, — не вынес бы я тоски бледной жизни моей. Так скучно жить всегда, имея дело только с вами! Искренно жалею вас — вы бессмертны. И за то еще жалею, что в день рождения моего все вы были более сильны, свежи и цельны, чем сегодня, в день смерти моей. Да, я искренно жалею вас — все вы страшно истасканы людьми, обесцвечены ими, измельчены, и все вы так близки друг другу в общем вашем уродстве. И это вы-то — человеческие Свойства? Вы — без сил, без цвета, без огня! Жалею вас и людей.

И Старый Год усмехнулся и потом снова, осмотрев своих гостей, спросил у Веры:

— Вера! Где сила твоя, двигавшая людей на подвиги и одухотворявшая жизнь?

— Это он ограбил меня! — глухо сказала Вера, показывая в сторону Ума.

— Это я ей обязан тем, что до сей поры люди все еще не уверены в моем могуществе. В борьбе с ней я растратил лучшие силы мои! — гневно откликнулся Ум.

— Не ссорьтесь, несчастные! — снова бесстрастно улыбнулся умирающий Старик и, помолчав, сказал еще: — Да, страшно бледны и изжиты все вы. Как, должно быть, тошно быть человеком и иметь с вами дело день за днем в течение многих лет? Кто это там утвердительно качает головой? А, это ты, Правда! Ты все такая ж... не в чести у людей... Ну, что же?.. Прощайте, бывшие спутники мои. Прощайте, мне нечего больше сказать вам... Но... среди вас я не вижу кого-то? Да? Где же Оригинальность?

— Ее давно уж нет на земле, — робко ответила Правда.

— Бедняга земля! — пожалел Старый Год. — Как скучно ей! Жалки и бесцветны люди, если они потеряли оригинальность дум, чувств, поступков.

— Они даже костюма не умеют себе создать такого, который хотя бы несколько скрашивал уродство их форм, лишенных древней красоты, — тихо пожаловалась Правда.

— Что с ними? — задумчиво спросил Старый Год.

— Они потеряли желания и остались жить только с похотями... — объяснила Правда.

— Разве они тоже умирают? — изумился Старый Год.

— Нет, — сказала Правда. — Они еще живут. Но как живут? Большинство по привычке, некоторые из любопытства, а все — не отдавая себе отчета, зачем именно живут.

Старый Год холодно засмеялся.

— Пора! Еще минута, и пробьет мой час — час моего освобождения от жизни. Уходя, я немного скажу... Я существовал и нашел, что это очень грустно. Прощайте же еще раз и последний. Жалею я вас, жалею, что вы бессмертны и что вам недоступен покой. Сын Времени — я бесстрастен, но все же жалею я вас и людей. Первый удар! Два...

Что это?

Ударив дважды — часы остановились бить.

В изумлении все взглянули на них, и странное увидели они.

Некто, с крыльями на голове и на ногах, стоял у часов, прекрасный, как один из богов Эллады, и, придерживая рукой минутную стрелку часов, смотрел в очи Старого Года, угасавшие в предчувствии смерти.

— Я — Меркурий и послан сюда от Вечности, — сказал он. — Она сказала — зачем Новый Год ветхим людям? Скажи им, что Нового Года не будет до рождения новых людей. Останется с ними тот, что уже был, — пусть он переоденется из савана в платье юноши и живет.

— Но это пытка! — сказал Старик.

— Останешься ты! — непреклонно повторил Меркурий. — И доколе люди не обновят дум и чувств своих, ты останешься с ними, Старик! Так сказала Вечность, — живи!

И он исчез — посланник Вечности... И, когда он исчез, часы бросили в тишину изумления десять глухих ударов.

И Старый Год, умиравший с торжеством, остался снова жить с Унынием, скорбно улыбавшимся в его морщинистое лицо.

Тихо и печально расходились гости Старого Года.

И Надежда, уходя, — молчала, а Лицемерие, выражая на лице своем скорбь, заигрывало с Суемудрием, говоря с ним что-то об Уме, что-то о Терпении, и, говоря, все боялось, как бы Уныние не подслушало речей его и не выразило ему порицания за его речи.

И, наконец, все ушли.

Остался только Старый Год, уже переодевшийся в платье Нового, да Правда — всегда и везде последняя!

ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ

Она мечтала, что выйдет на сцену и просто, ясно, без аффектации ремесленников сцены будет говорить публике слова из своей маленькой роли и, слушая ее, эта публика будет думать про себя:

«Как это верно! Вот истинное искусство! Вот как надо изображать жизнь души для того, чтобы все понимали, как живет душа».

Ей, дебютантке, еще девочке, мало знавшей толпу, казалось, что нужно быть только искренней для того, чтобы тронуть душу толпы, — только искренней!

Она думала, что ее роль говорит сама за себя своей простотой и наивностью, что истинно красивое — просто и что нужно быть простой и верной правде, чтобы тронуть сердца зрителей.

И она была уверена, что тронет их; и внутреннее чувство говорило ей, что она идет на большое и важное дело, ибо говорить толпе просто и хорошо о душе и о сердце и о всем, чем живут они, — это крупное и важное, это мучительное и честное дело для того, кто верит в хорошее и доброе.

А она, эта дебютантка, верила, потому что она была молода.

* * *

И вот она вышла на сцену, только занавес отделял ее от публики.

Он взвился, дебютантка встала лицом к лицу с ней, и ее охватил трепет, оковавший холодом все ее тело и язык.

Сотни глаз смотрели на нее, и в зале царил выжидающая тишина, — тишина, точно подстерегавшая что-то; все люди, казалось, поглощены одним желанием — желанием слышать нечто такое, что оживило бы их, — и казалось, что все они, создав эту тишину, впали во власть ее и омертвели в ней.

Не глядя на публику, дебютантка чувствовала сотни глаз, которые точно щупали ее, исследовали, смаковали, — и прикосновение их было холодно и возбуждало страх в сердце.

А когда она взглянула в зал, то увидала, что все смотрят на нее с любопытством, только с холодным, безучастным любопытством людей, жаждущих развлечения, — и больше нет ничего во взгляде толпы; нет той духовной связи, которая должна бы быть между толпой и тем, кто вещает ей правду о жизни сердца.

Это было страшно.

А глаза толпы все продолжали ощупывать ее, дебютантку, не ожидавшую, что взгляд толпы обладает этой силой взгляда гремучей змеи.

Секунды были невероятно длинны, и каждая из них, исчезая, уносила у дебютантки частицу ее уверенности в смысле своего деяния.

Толпа же ждала, холодная, как всегда, жадная, как всегда, поглощающая своих слуг, как Молох, и расплачивающаяся хлопаньем в ладоши за сок нервов и кровь сердца тех людей, которые добровольно обрекли себя на мучение служить ей словом.

Громадное стоглавое животное, она молчала и, скептически осматривая маленькую фигурку дебютантки, этим молчанием как бы говорила:

«А ну-ка, чем ты и как пощекочешь мои утомленные нервы?»

И все гипнотизировала дебютантку своим взглядом гастронома на новый соус.

Пресыщенная и разочарованная в своих исканиях новизны, она смотрела на предложенную ей новинку царственным взглядом какого-то чудовища, могучего, всепожирающего, вечно алчущего и сознающего свою страшную власть над человеком, который в ее глазах ценен

только как щепочка, поддерживающая ослабевающий огонь ее интереса к жизни.

Артист, кто бы он ни был, — раб толпы, если он не гений.

И нет для человека рабства тяжелей и мучительней, чем служение толпе.

Она капля за каплей сосет его соки, холодно наблюдая, как он утрачивает свежесть таланта и силу своего сердца, — она все это поглощает, все поглощает, и — где оно?

Она много пожрала, много пожирает, еще больше пожрет и все живет, как раньше, — черствая, грубая, воспламеняющаяся на момент и тотчас же угасающая, живет холодная, серая и скучная, сильная, но бездушная, громадная, но умственно низкая...

Она жалкая все-таки — жалкая, и вот почему люди приносят себя ей в жертву, пытаясь облагородить ее, но превращаясь в ее игрушку, — в игрушку, которая постольку и интересна, поскольку нова и сложна.

Стесненная, сжатая, раздавленная тяжелым взглядом толпы, дебютантка лишила свою роль жизни, торопливо скомкала ее и бросила в скучающее, безучастное лицо зрительной залы.

* * *

Сидя в своей уборной, она рыдала, вся содрогаясь от боли сердца, чувствуя себя как бы опозоренной, загрязненной сотнями взглядов, только что щупавших ее... как щупальцы спрута.

Она плакала, чувствуя себя оскорбленной и униженной, а зрительный зал был уже пуст, — все ушли, и никто не знал, что, уходя из театра, оставил в маленьком сердце великую боль.

Она долго плакала.

Ах, пред лицо толпы должен выходить только тот, кто уверен в своей силе и в том, что поработит толпу своей силой. А если не так, — толпа изломает и пожрет человека.

ПОЧТАЛЬОН

... Подходя к домику в три окна, красиво спрятавшемуся за палисадником, он замедлил шаги, поправил свою сумку, фуражку на голове, переложил письма из руки в руку, а когда поравнялся с средним окном дома, — предупредительно кашлянул и остановился...

Тотчас же в зелени цветов на окне и между веток сирени в палисаднике показалось лицо молодой женщины, и голосом, полным тревоги и надежды, она спросила:

— Письмо?

— Вам и сегодня нет, — с сожалением сообщил почтальон, вежливо прикладывая руку к козырьку фуражки.

Лицо женщины скрылось; почтальон поднялся на цыпочки, заглянул в окно, вздохнул и пошел дальше, махнув рукой и сурово наморщив брови. Сделав шагов десять, он вдруг плюнул и довольно громко проговорил:

— Ах, брандахлыст чортов! Такую женщину и... — Он сконфузился, не кончив фразу, оглянулся вокруг и, дернув себя за ус, быстро пошел дальше.

Был ясный июньский день; с безоблачного неба на землю лился зной. Улица была пустынна; за заборами садов стояли деревья, и листья их были неподвижны, точно замерли в знойной истоме.

* * *

Часов в девять вечера почтальон снова шагал по этой улице мимо домика в три окна, но уже без сумки, неторопливо, как человек, вышедший на прогулку. На нем был

белый китель, только что выстиранный и выглаженный, о чем свидетельствовали блестящие швы. Молодое усатое лицо смотрело озабоченно, и густые брови над большими серыми глазами — нахмурены. Он уже не кашлянул, когда поравнялся с окнами серенького домика за палисадником, а только взглянул на него и, не изменяя походки, прошел мимо.

С начала весны он носил письма в этот дом часто — почти каждый день; потом они приходили реже, наконец, стали появляться раз в неделю, а вот теперь их нет уже десятый день...

Их всегда ждали с нетерпением и, принимая, — оживлялись, тотчас же разрывали их и читали тут же у окна с веселым, сияющим радостью лицом.

Почтальону все это доставляло большое удовольствие; он подавал письма с улыбкой, ему в ответ тоже дружески улыбались; иногда он, подавая письмо, слышал такой хороший, душевный смех; раза два его даже спросили. Один раз:

— Вы, наверное, очень устаете?

А другой:

— Не правда ли, как жарко сегодня?

Оба раза он с веселым смехом согласился и с тем, что он устает, и с тем, что ему жарко.

А теперь ему больше не улыбаются и если спрашивают, есть ли письмо, так всегда таким сухим и сердитым голосом, точно это он виноват в том, что писем больше нет.

Это ему очень обидно и неприятно, и, когда в конторе он разбирает свою долю почты, ему ужасно хочется встретить письмо с адресом, написанным твердым мужским почерком:

«Город Н. Крайняя улица. Вере Даниловне Сосиной».

Но такого письма все нет.

* * *

Выйдя из улицы в поле, почтальон пошел к роще, рославшейся недалеко от окраины города темнозеленой полосой. Нужно было перейти через овраг, поросший густым кустарником; он спустился в него по крутой тропинке, сорвал по дороге ветку и пошел по дну оврага,

сдвинув шапку на затылок и похлестывая себя прутом по голенищу сапога.

Иногда он на секунду закрывал глаза, и тогда перед ним вставало овальное бледное лицо женщины с тонкими бровями, все в пепельных кудрях, падавших и на лоб и на розовые щеки. Голубые, светлые и веселые глаза улыбались так ласково и хорошо, — точно гладили по сердцу. Он вздыхал и тоже улыбался, покачивая головой от удовольствия вспоминать лицо этой женщины.

Вдруг он услышал недалеко от себя в кустах что-то, похожее на вздох. Он остановился и, изобразив на лице внимание, вслушался. Звук раздался снова.

Слева от него, сквозь зелень, он увидел кусок розовой материи, и что-то толкнуло его туда — ближе...

— Вера Даниловна! Встаньте, сделайте божескую милость! — говорил он взволнованным шопотом, стоя над женщиной, бившейся в рыданиях на земле. — Ну разве это возможно — посудите сами! Позвольте вас поднять?

Она все рыдала, не отвечая ему. Он стал нелепо размахивать руками, не зная, что делать...

— Ах, господи! Ну какое здесь место для вас? Пойдемте, Вера Даниловна! А? Да... разве можно так убивать себя? Земля сырая к тому же... можете насморк схватить...

— Уйдите прочь! — кинула она ему между рыданиями.

— Разве я теперь могу уйти! — с изумлением пожал он плечами и опустился перед ней на землю. — «Уйдите!» Как это можно? А вы тут... Я каждый день... все насчет вас думаю, как и что... Такая вы, можно сказать... красавица и добрая... Я-с все ночи... то есть, так сказать, — вами живу... Пойдемте отсюда Христа ради!

— Оставьте меня...

— Вера Даниловна! Да... невозможно это! Я всей душой, а вы одна здесь останетесь и в таком плачевном положении. Да... чорт с ним, с анафемой! Стоит убиваться о всяком шарлатане! Будь ему неладно... Мало нашего брата — вам? Такая-то красавица! Да любого... только пальчиком поманите... А ему, этому вашему писателю... Позвольте узнать, кто таков? Я ему все ребра искрошу... всю морду... в кровь-с!

— Дурак! — вдруг, вскочив на ноги, крикнула она ему. Глаза, опухшие от слез, гневно сверкали, и бледные губы тряслись. — Нахал!

Он так и остался на коленях, на земле, с открытым ртом и вытаращенными глазами.

Мимо него мелькнуло розовое платье и скрылось, сопровождаемое тихим шелестом кустов. Темнело. В овраг сползали и ложились на зелень кустарника ночные тени; сильно пахло сыростью, и где-то щебетала птичка. А на небе, бархатно-мягком и ясносинем, вспыхивали звезды.

— Господи! — прошептал почтальон, садясь на землю и обнимая колена руками.

Потом он печально покачал головой и снова вполголоса произнес:

— Ах, господи!

И после этого долго сидел без движения.

Было уже совсем темно, когда он поднялся с земли и оглянулся вокруг. В овраге все было мертвенно-тихо.

— Ну и ловко она меня обтяпала! — сказал почтальон и стал подниматься в гору, уходя из оврага.

* * *

На рассвете он шел по одной из городских улиц, пьяный, сильно шатаясь, и громко бормотал:

— Да, так вы этак со мной? Ага, понял! Покорно благодарю! Я, значит, к вам с разверзнутым сердцем, а вы сейчас р-рыло в сторону и неприлично лаетесь? Очень хор-рошо! А поз-вольте узнать, за какую провинность? а? Нет, — подождите-с? Почему-с? Я — что? Вы рыдаете — разве я бесчувственный скот? Я с разверзнутой душой иду и говорю... Пошлите его к чорту, если он вас не мог понимать... т-такую м-милую женщину... значит, он — мерзавец! Прохвост! В харю дам ему — имею пр-раво.

— Не ори ты, ваше благородие, а то в часть, — сказал ночной сторож, являясь у самого носа почтальона.

— Это что? Тоже человек? Прекрасно... прощай; ты, наверное, тоже скотина; ухожу... я не буду больше обращаться внимания... на скотов... Я сам скот, но я с чувством. Понял? Я чего хотел, скажи?

— Выпить ты хотел, ну, и выпил, а теперь иди домой, — благодушно посоветовал сторож.

— И пойду, непременно... Но жалеть я тебя не стану — дудки! Издыхай ты, — плюну и пройду мимо. Не хочу больше... да... Потому я тебя могу жалеть, но ты меня за это можешь оскорбить. Ах ты, м-морда! Не хочу тебя жалеть, — ты свинья!

Раздался трескучий, оглушающий свисток, и в ответ ему недалеко прозвучал другой.

— Вот мы те сейчас утихомирим, — сказал сторож, взяв почтальона за локти и припирая его к забору.

А тот, вырываясь из рук сторожа, плачущим голосом говорил:

— За что? За что? а?

ЧАСЫ ОТДЫХА УЧИТЕЛЯ КОРЖИКА

Очерк

Когда старые стенные часы в комнате учителя Антона Петровича Коржика с хрипом и шипением пробьют десять вечера, он медленно встает из-за своего стола, потягивается и с улыбкой удовольствия и презрения, окинув взглядом груды ученических тетрадок, исправленных им, берет в руку лампу и идет с ней в угол комнаты.

Там он ставит лампу на другой стол, открывает замаскированный обоями маленький шкаф в стене, достает из него четвертную бутылку водки, тарелку с ломтиками черного хлеба, все это тоже ставит на стол и, тщательно затворив дверцы шкафа, садится в большое кресло, против стола, боком к окну, в которое, сквозь голубоватые узоры мороза, смотрит в комнату лунная зимняя ночь.

На столе, кроме водки, закуски и лампы, стоят три рамки: одна из черного плюша, и в ней портрет пожилой дородной женщины с широким лицом и раздвоенным подбородком — доброе и мягкое лицо матери; из другой, бронзовой рамки смотрит на учителя улыбающееся лицо девушки, в короне темных волнистых волос, с миндалевидными глазами и пухлой задорно приподнятой верхней губкой; в третьей рамке — гравюра, изображающая человека в тоге римлянина; у него круглая, гладко остриженная голова, острое лицо и маленькие глазки, глубоко ушедшие в орбиты. Хотя это лицо и выбрито, как лицо

актера, но оно слишком глубокомысленно для человека этой профессии...

Учитель Коржик сидит несколько секунд неподвижно и смотрит на эти портреты неопределенным, но сосредоточенным взглядом человека, которому трудно уловить свою мысль.

Потом он наливает рюмку водки, медленным жестом подносит ее ко рту, выпивает и на секунду зашуривает глаза, откидывая голову на спинку кресла и как бы смакуя ощущение жгучей влаги, стекающей по пищеводу...

Вслед за этой рюмкой он наливает другую, а за ней третью и уже после этой берет с тарелки маленький кусочек хлеба и медленно жует его, прищуривая глаза и все рассматривая портреты на столе.

И лицо его, незадолго перед тем сухое и угрюмое, лицо сорокалетнего чиновника-холостяка, желтое, в усах и маленькой эспаньолке, с тонкими плотно сжатыми губами, концы которых характерно опущены книзу, — его лицо вспыхивает красными пятнами, глаза, обыкновенно нелюдимо сощуренные и тусклые, расширяются и приобретают тот внутренний блеск, который так облагораживает физиономию, придавая им выражение жизни и мысли...

— Начинаю, мама... — вполголоса, почти шопотом говорит учитель, облокачиваясь одной рукой на стол, а другой наливая еще рюмку.

И при этом он улыбается улыбкой, несколько виноватой и очень печальной, улыбкой фаталиста, видящего роковые последствия своего деяния, но не считающего возможным не совершать его...

До четвертой рюмки порядок отдыха учителя Коржика установился раз навсегда, — он всегда таков, до последнего жеста таков; но с этого момента учитель варьирует свое время всеми доступными ему способами...

Иногда он обращается с речью к Аннею Сенеке, — ибо римлянин с маленькими глазами это он, знаменитый стоик, — и вполголоса начинает хвалебную речь философу, придерживаясь стиля «писем к Люцилию»:

— Ты хорошо сказал, Сенека, что «всякий путь имеет свой конец», и еще больше мудрости в твоих словах — «как басня, так и жизнь ценятся не за длину, но за содер-

жание». Ты умел учить терпению, и ты был мудр и прозорлив, но все-таки ты в твоё время не мог бы представить себе, что через восемнадцать веков после смерти твоей люди дойдут до искусства жить без какого-либо содержания и будут более равнодушны к жизни, чем ты хотел этого, поучая терпеть. Потому что, хотя ты и говорил Люцилию: «ошибаются, о Люцилий, те, которые думают, будто судьба посылает нам благо и зло», — но ты в то же время утверждал, что «душа наша сильнее судьбы». Ныне же люди равнодушны ко благу и злу и силы в душе своей не имеют, подчиняясь первым ударам судьбы и покоряясь ей в рабство без борьбы, без стыда за себя... Таков, о Сенека, я, и таковых много...

Среди речи учитель делает паузы, наливает водку и пьёт, с каждой рюмкой все более краснея.

Жесты его становятся порывистее, но они ещё тверды: он аккуратно до краёв наливает рюмки, и рука его не дрожит, когда он подносит их ко рту. Иногда, выпив рюмку, он шопотом, в котором уже слышится пьяная хрипота, говорит:

— Пью, мама...

И, виновою улыбаясь, кивает головой портрету родной женщины.

Потом он смотрит в окно...

Окно выходит в сад, и он видит там неподвижные, темные стволы лип и кленов, ветви вишен и сирени, опущенные инеем, голубовато-серебристый снег; все это неподвижно, и все это молчит...

Когда же за окном воет выюга, стволы деревьев и ветви кустарников то и дело скрываются за тучами снега, мягко ударяющего в стекла окна; скроются и появятся снова, появятся только на мгновение и снова исчезнут в мутных облаках снега. Кажется, что они не стоят, а мечутся по саду в ужасе. И выюга так грустно поет... А иногда она поет зло и смеется, обрывая свою песню.

Учитель смотрит на все это, потом отворачивается от окна, выпьет рюмку и снова смотрит. И снова пьёт.

В лунные тихие ночи он любит сидеть без огня. Когда он погасит лампу, — на момент вся комната точно вздрогнет и сразу наполнится тьмой... Но уже в следующий момент в окно льется волна лунного сияния, она падает

на стол, через него на пол и дальше, на широкий диван... На полосе этого света чуть намечены узорные тени от веток кленов — там, в саду, под окном.

Учитель смотрит на них долго и пристально, как бы желая догадаться, зачем они тут, эти вечные тени, и что они говорят своими узорами. А когда в саду деревья колебает ветер, тени в комнате — на столе, на полу, на диване — движутся...

Антон Петрович вздыхает и крепко трет лоб.

— Извини, мама... Еще выпью.

И выпивает еще... Часы уже давно пробили одиннадцать, и вот снова хрипят, задыхаются и отсчитывают двенадцать медленных и громких ударов, после чего где-то внутри их долго еще звучит пружина унылым эхом истекших суток...

— «Жизнь идет неустанной стопой, предавая забвению бывшее, разрушая и снова творя...» — декламирует учитель в такт ударам часов... и протягивает руку к бутылке.

Но уже рука его неверна, и он не сразу наливает рюмку. Стекло задевает за одну из рамок, и грустный звук раздается в комнате...

— Извините, Женя... Это я, кажется, вас задел? — еще внятно шепчет учитель, склоняясь к столу, и, облокотившись на него, улыбается портрету девушки, улыбается улыбкой доброй и как бы просящей прощения. — Какая вы славная девушка... И как щадит вас время... оставляя вас жить в моей памяти так долго. Уже двенадцать лет... Я все прекрасно помню... Вы мне понравились сразу, и сразу же вы увидели это. Вам было приятно мое поклонение... Я понимаю. Да... Вы — умница, держали меня на большом расстоянии от себя и... Я выпью, мама... Прости...

— ...И вы уехали, исчезли, пропали... Я не успел вам в эти два месяца ничего сказать... Но я много думал о вас... Вы исчезли... да... осталась ваша карточка и я... Это хорошо... Было бы хуже, наверное, если б вы стали моей женой... К жене не сохраняют того уважения, которое имеют к возлюбленной... Вот вас нет... где вы?.. А я живу и помню вас такой, какой встретил. Вы, наверное, позабыли обо мне и...

— ...Я еще выпью... мама! Твой сын спивается... Ничего... Он это понимает... он еще не совсем... Ты не беспокойся, мама, он не уронит себя ниже, чем уж есть... Достаточно!..

— ...Быть может, вы, Женя, даже вовсе и не тот человек, каким я вас знаю... Наверное, так... Вы, конечно, и злы, и неряшливы, и злоязычны, и пошлы, и мелки... как все женщины... Но я не успел увидеть в вас ничего этого... и до сей поры... двенадцать лет... считаю вас совершенством среди женщин... Уважаю вас и берегу воспоминание о вас в себе... храню его как единственную порядочную вещь, данную мне когда-то жизнью... Я не жаден... И не хочу ничего... Впрочем — выпью.

— ...Страшно пью, мама, это так... Я знаю — мерзко пью, по-свински напиваюсь, потом сплю, потом просыпаюсь... потом...

Тут Антон Петрович откидывается на спинку кресла и хмурит лоб, делая страшные глаза.

— Большая подлость. Я иду учить «малых сих»... Малые сии — большущие болваны, феноменально тупоголовые... И зачем их учат так рано? Они решительно не в состоянии понимать, что учиться необходимо... для того, чтобы быть чем-нибудь... и что знать полезно... а познавать — наслаждение... как говорил Сенека... Чорт с ними, — я их ненавижу... Они, наверное, как и я, вот... то есть большинство их... это несомненно!.. У них к этому все задатки... В сущности, они заслуживают сожаления... да! Они не только не знают... не хотят знагь жизни через других... свой опыт! Он стоит дорого и... чем они будут платить за него, бедняги?.. Мне их жалко, этих мальчишек...

— ...Но... я уже достаточно пьян. Мама, я знаю, что это очень мерзко... но ведь мне сорок шесть лет, и нет никого на свете, кто бы нуждался во мне! А, мама? Ни души! Я не нужен никому! Никому! И мне, пожалуй, уже никого не надо. Потому что я... гм? Что я? Женя? Я?.. Пьяница... но еще что?.. Еще... Я скоро кончу мой путь... Достаточно?.. Что такое?

Учитель оглядывается вокруг себя, — ему кажется, что кто-то перебил его пьяное бормотанье тяжелым вздохом... В комнате полутьма и тишина. Вздвигая,

маятник часов отсчитывает секунды. Одинокiй человек уже сильно пьян.

Он крепко трет лоб одной рукой, а другой, упираясь в ручку кресла, пробует подняться и не может.

— Напился, мама... как скот!

И он печально опускает голову на грудь...

— Ты говорил, Сенека, — пусть даже жизнь великое и несомненное благо... н-но я не куплю его... за сознание собственной гнусной слабости... Ты не купил... ты благородно умер. А я покупаю... и зачем мне н-нужна жизнь? Зачем? Мне и сотням тысяч подобных?.. Ты сказал: «Жизнь плохо сторожит нас...» Да, но мы довольно... ловко избегаем смерти... Кто это говорит?

И он снова оглядывается вокруг расширенными и налитыми кровью глазами. Никого нет.

— Н-да... Никто не говорит... а между тем я слышал голос... Я знаю, что это... Я понимаю... хотя я и пьян... Зачем я пью... зачем? Мама, зачем?.. Ведь так я погибаю, мам...

Пьяное бормотанье обрывается плачущей нотой, чем-то вроде визга. И учитель, наклонив голову на грудь и упираясь руками о ручки кресла, тихо плачет сам о себе, ибо чувствует страшную жалость к себе, постепенно погибающему человеку, и жалость эта тем более горька и тяжела, что во всем мире есть только один человек, которому действительно и искренно жалко его. И как он ни пьян, как ни больно ему, все-таки в нем живо некоторое чувство, и оно сквозь слезы заставляет его говорить такие речи:

— Разве это я сам? Разве я погиб бы... если бы... кто-нибудь... хоть однажды... Только ты, мама... умела, бывало... обласкать твоего сына... только ты, дорогая моя... Голубушка!

И при воспоминании о матери слезы еще сильнее льются из его пьяных воспаленных глаз.

А в комнате темно и тихо, потому что луна уже высоко и лучи ее больше не смотрят в окно.

Глаза учителя устремлены на стол; на бутылке с водой виднеется тусклое пятно, точно чей-то большой глаз с бельмом...

— Спать...

Он пробует подняться на ноги, долго возится и не может встать.

— Вот как напился! — громко говорит он, и голова его понуро опускается на грудь...

— Каждый человек есть вселенная... под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история... Парадокс работы романтика Гейне... Почему все знаменитые евреи — идеалисты и романтики?.. Да... что такое?..

— ...Могила... и в ней я... всемирная история... Это смешно... Я пьяница... а вселенная — чорт знает, что такое... но я в ней один..

Лицо у него то и дело перекашивается от тех усилий, с которыми он говорит, борясь с рыданиями, подступающими к горлу. И его щеки мокры от слез... Концы усов опущены книзу, галстук съехал на сторону, и расстегнувшаяся рубашка обнажает неровно дышащую грудь...

Бывают моменты, когда в комнате слышны только бизги и удары маятника да хриплое дыхание пьяного.

Но они кратки, потому что учитель все хочет сказать что-то и все бормочет свои бессвязные речи.

Он просит прощения у мамы и жалуется ей на жизнь и оправдывает пред нею себя...

Потом обращается к Жене с почтительной речью не без нотки горького скептицизма и говорит со стойком Сенекой тоном уважения о понимании жизни...

И вдруг начинает хохотать диким и пьяным смехом. Он никого не разбудит своими речами: к нему уже привыкла его квартирная хозяйка, а кроме нее, никто не может услышать его.

И часто, не имея сил добраться до своей постели, он так и засыпает в кресле вплоть до утра...

КОЛОКОЛ

Набросок

Церковь Трех святителей стояла на горе, а по склону горы раскинулся маленький уездный городок; он сползал к ее подошве, омываемой речкой, и с церковной колокольни был виден весь до последней лачужки.

Маленький, утопавший в зелени город, при взгляде на него сверху, производил странное впечатление: казалось, что некогда он стоял на вершине горы и чьей-то силой был сброшен вниз с нее.

Смятенная толпа однообразных домиков ринулась под гору и остановилась в хаотическом беспорядке, удержанная и разъединенная деревьями и кустами, покрывавшими гору веселой, живой массой.

И вот на пышном яркозеленом фоне тут и там сквозят темные пятна крыш и стен. В центре их стройно вздымается кверху колокольня другой городской церкви; металлический крест ее, отражая лучи солнца, сияет над плененным городом, как маяк, указывающий его жителям пункт, к которому они должны стремиться.

Эта колокольня и еще пожарная каланча — две высшие точки в море зелени, а над ними высоко на горе, в густой чаще лип, стоит Трехсвятская церковь — белая, яркая, с золотыми главами. Она построена уже давно каким-то богачом-помещиком, выбравшим местом для нее старый ларк на краю горы. С трех сторон ее окружают

могучие старые липы, осеняя своими пахучими ветвями ее стены; с четвертой, к городу, липы срублены. Церковная паперть гостеприимно смотрит на город, и кажется, что лес расступился пред ней для того, чтобы не препятствовать людям издали видеть тяжелую дверь в дом божий.

Лет пять тому назад ее ремонтировал заново первый городской богач — купец Антип Никитич Прахов. Он расширил ее, вызолотил иконостасы и главы, возвысил колокольную и пожертвовал колокол — очень большой, в шестьсот с лишком пудов. Такого колокола еще не было в городе.

Когда его поднимали на колокольную, это стоило больших хлопот жертвователю и немалого труда горожанам — колокол шел очень тяжело — «нехотя», как говорили в городе.

Народ выбивался из сил, поднимая его, он то задевал за карнизы здания, то веревки путались и рвались. В толпе людей, уставших трудиться в жаркий летний день, то и дело слышались возгласы:

— Еще бы он легко пошел! Надо помнить, кем и на какие деньги он слит...

И, говоря так, горожане искоса поглядывали на суетившегося среди них Прахова. А он, возбужденный и энергичный, властно и ласково покрикивал на них:

— Ну-ну, ребяташки, дружно-о! Дружнее бери, православные! Для господ бога трудитесь.

Охая и ухая, с напряженными, потными лицами, горожане тянули веревки и вполголоса говорили друг другу:

— Для бога, как же! Рассказывай! Знаешь ты, живо-дер, бога. Для похвальбы, скажи...

— Бери-и! — возбужденно кричал Прахов, сам хватаясь за веревку.

Это был человек лет пятидесяти, высокий, плотный, с черными волосами, уже густо посребренными сединой, с большими умными глазами, смотревшими на все из-под густых бровей сухо и иронически недоверчиво. Его крупный, горбатый нос придавал широкому лицу в густой черной бороде выражение хищности и силы; высокий морщинистый лоб, властный громкий голос, уверенные жесты — все это сразу же заставляло чувствовать в Прахове

натуру, непреклонно гордую, цельную и незнакомую с мучительными колебаниями духа, с угрызениями совести.

Его, как человека очень богатого и черствого, никто не любил в городе, но он был силен своим богатством и характером, и все боялись его, что еще более усиливало нелюбовь к нему.

И хотя, поднимая колокол, о Прахове говорили много нелестного, но громко раздавались только такие речи:

— Дай, господи, здоровья Антипу Никитичу, — радует он у нас о храме божием!

Но Прахов был слишком умен для того, чтобы верить в искренность таких речей; он оставался равнодушен к похвалам и не сердился на порицание. Только когда колокол был уже поднят и укреплен, Прахов услышал нечто, сильно встревожившее его тогда.

Кто-то из горожан, присевших отдохнуть на церковной паперти, не замечая, что Антип Никитич стоит неподалеку, задумчиво и как-то особенно серьезно сказал:

— А должен бы этот самый колокол треснуть...

Прахов нахмурил брови, потом усмехнулся себе в бороду и молча ушел домой.

В день успения пресвятой богородицы колокол ударил первый раз к ранней обедне. Антип Никитич, замирая от тревожного желания услышать его звук, сам трепетными руками раскачал язык, и, когда густой, певучий удар, сотрясая воздух, поплыл над городом за реку, в луга, — у Прахова замерло сердце и подогнулись колени от гордости и восторга. Могучий, удовлетворенный, он стоял на колокольне, широко расставив ноги, и, раскачивая язык по локоть засученными мускулистыми руками, бил тяжелым железом звонкую медь, — бил, пьянея от удовольствия, яростно ударяя языком, весь в поту, дрожащий, сверкая глазами.

И могучие звуки благовеста плыли в свежем воздухе летнего утра, плыли, далеко разнося свой призыв.

А когда благовест был кончен, Прахов сел на перила в прорезе колокольни и, чувствуя, что внутри его все еще звучат плавные медные удары, стал, тяжело дыша, смотреть вниз на город, только что обрызнутый первыми лучами солнца.

Он видел, как по улицам шли люди и смотрели вверх на гору и на колокольню, где сидел он. Их голосов ему, конечно, не было слышно, но иногда они указывали вверх руками, и ему было приятно видеть это.

А еще приятнее для него было то, что все эти люди, там, внизу, были такие маленькие, жалкенькие, подленькие. Он довольно улыбался, сознавая, что каждому из них было бы так же, как и ему, приятно звонить в свой колокол, находясь высоко над землей, в свежем утреннем воздухе — выше всех. Только он один во всем городе имеет право на это наслаждение. Теперь весь город будет говорить о колоколе и о Прахове.

Вспомнят, конечно, все грехи купца.

Пускай! У него есть свой колокол, который гудит громче всех людских речей, — гудит, призывая людей к службе божией в храм его... А их речи — что ему их речи?

«Не судите, да не судимы будете». «Кто из вас безгрешен — пусть первый возьмет камень...» Они все там, внизу, считают себя безгрешными, все швыряют в него грязью разных сплетен... Что толкает их на это, как не зависть к его достатку, к его умению с пользой трудиться?

И с той поры, как он поднял колокол, он стал еще более горд, жесток и насмешливо недоверчив в отношениях к людям.

«Погодите! — думал он про себя, сухо улыбаясь. — Вот скоро выборы, посмотрим, кто будет городским головой!»

Он знал, что выберут его. Иначе невозможно, потому что большая часть людей, имеющих влияние в городе, стоит на его стороне. Тот ему должен, этот от него кормится, третий желает заручиться его дружбой, — все они уступят ему первое место в городе, потому что для них выгоднее уступить, чем самим занять это место. Найдутся упрямые люди, которые положат ему в урну и черных, но их мало.

Он будет головой, будет. Весь город попадет ему в руки, и захочет Антип Никитич Прахов, — будет жать из города все его соки досуха; он будет делать это умненько, и никто не помешает ему. А может быть, он захочет быть добрым и славным человеком, — тогда он все свое состояние вложит в дело благоустройства города.

Настроит богаделен, еще церковь выстроит, замостит и выровняет улицы. Всё в его воле, потому что он богат. Деньги — это сила, сильнее которой только один господь бог на небе. Но бог милостив к нему; жизнь его вся сплошной труд и вся полна удач.

Часто Антип Никитич задумывался, вспоминая, сколько людей на его глазах плакало, жаловалось и ругало его. Многие, по его милости, испытали и испытывают нужду и горе, разоряясь под давлением его капитала. И, когда он вспоминал это, — сердце ему неприятно щипало какое-то едкое чувство. Но вскоре он бодро встряхивал своей большой головой и вполголоса говорил:

— Бог того хочет, видно. Али я виноват в том, что удачливый родился? Живешь на земле, так не моргай. Я тут ни при чем. Бог того хочет...

И он снова принимался за свои операции, все расширяя их круг. Он скупал, перекупал, продавал; его руки, как сеть железная, покрыли весь уезд. Он знал его, как свой карман.

Так вот он и жил, все шире развертывая свои желания, все более желая сосредоточить в своих руках силы — денег.

...Пять лет все двенадцатые праздники и все воскресные обеды Антип Никитич сам звонил в свой колокол и наслаждался его звуками.

Наступала пасха. В этом году она была поздняя: уже все деревья распустились, а липы, окружавшие нагорную церковь, готовы были зацвести и струили тонкий аромат. Земля дышала сочной влагой, и город весь утопал в молодой, светлой зелени. Речка еще не вошла в берега, но уже в лугах образовались зеленые острова. На страстной Антип Никитич говел. Строго относясь к этому обряду, причастившись святых тайн, он только выпил чаю с просфорой и — как всегда это делал — решил до утра не есть ничего. Весь день он провозился дома, готовясь встретить праздник, как подобает христианину и видному лицу в городе. К вечеру лег отдохнуть, приказав жене разбудить его в десять часов, чтобы отправиться в церковь и хорошенько посмотреть, все ли там в порядке. Прахов любил блеснуть перед прихожанами красотой и богатством своей церкви: он с утра велел убрать ее с внутренней

и наружной стороны зелсню, накупил массу разноцветных шкаликов и фонарей и подрядил плотников сделать побольше «фигур» — звезд, крестов, сияний...

В одиннадцатом часу он был уже в церкви и, обойдя ее кругом, нашел, что все сделано прекрасно. Это настроило его на благодушный, общительный лад.

— Все в порядке, Лука? — спросил он у церковного прислужника, угрюмого старика-солдата, возившегося около паникадила, стоя на высокой лестнице.

Лука, редко говоривший что-либо утвердительно и обыкновенно долго думавший, прежде чем сказать свое слово, посмотрел с лестницы вниз, держа в руках зажатую восковую свечу, и хмуро ответил:

— Кажись, все бы.

— А ты воском-то на меня не капай!

— Али я капаю?.. — равнодушно молвил Лука.

— А для чего же я говорил бы? Видишь — на рукав попало...

— Ишь ты... Только мне отсюда не видеть.

— Слезь да погляди... — улыбнулся Антип Никитич, считавший Луку человеком придурковатым.

— А... пожалуй, слезу.

— Ну-ну, чучело! Делай дело-то. Доделывай, — проворчал Прахов, отходя от лестницы.

В церкви было сумрачно и жутко. Кое-где горели лампы; от их дрожащих огоньков по стенам, по полу и образам бегали тени. Пахло свежей зеленью, ладаном и горелым льном светилен.

Выпуклости иконостаса блестели в сумраке, как чьи-то большие тусклые глаза, и темные лики икон в металле риз смотрели сумрачно и важно. Каждый шаг будил гулкое эхо, и все в храме было таинственно, казалось сосредоточенным на одной думе, охватывавшей собою каждую деталь. И чуткая тишина точно ждала чего-то. Пророк Исаия смотрел с левого клироса огненными глазами; лицо его было строго вдохновенно, и что-то карающее скрывалось в глубоких морщинах его выпуклого лба. А на правом клиросе Иеремия сидел на камне, изможденный, задумчивый и скорбный; он смотрел на церковного старосту печальными глазами, наклонившись вперед, и точно хотел сказать что-то трогательное и простое.

Прахов вздохнул и перекрестился. Потом он вспомнил, как ездил заказывать иконы и как торговался с мастером за пророков на боковые двери в алтарь. Мастер все просил триста. И Антипу Никитичу еле-еле удалось выторговать на пророках сорок рублей. Евангелисты поменьше и гораздо худшей работы и то стоили почти четыреста рублей.

Полумрак и мертвенная тишь храма тяготили Антипа Никитича; он посмотрел на часы: было двадцать минут двенадцатого. Но ему хотелось уйти на воздух.

— Лука! Коли кто спросит меня, скажи, что он, мол, на колокольню полез! — кинул он старику и пошел из церкви.

— Я скажу, — внятно прозвучал вслед ему ровный голос Луки и расплылся по церкви в гулкий, продолжительный звук, от которого Прахову стало жутко...

— Экий несуразный этот солдат. Сменить его надо... — недовольно сказал он, поднимаясь на колокольню.

...Ночь была темна и торжественно тиха.

Луна зашла, и в темном мягком небе задумчиво сияли лучи звезд. Вдали над лучами медленно, чуть заметно поднималась вверх, гася звезды на пути своем, пышная, черная туча, и край ее точно дымился густым опаловым дымом. Ветви деревьев над городом тоже казались темным облаком; кое-где в нем сквозили полосы огней, вырывавшиеся из окон домов. По белому фону стен церкви там, в городе, двигались какие-то черные пятна.

«Это мальчишки готовят иллюминацию...» — подумал Антип Никитич и, вынув часы, наклонился к фонарю, стоявшему на балюстраде в прорезе колокольни. Было уже без десяти минут двенадцать.

Это обеспокоило Прахова, и он, тревожно нахмутив брови, бросил взгляд на городскую церковь. Ему было бы обидно, если б там ударили к заутрене прежде его: он уже пять раз кряду первый возвещал сбор к пасхальной заутрене могучим ударом в свой колокол. Он сбросил с себя поддевку и, засучивая рукава рубахи, гулко крикнул вниз:

— Ребятишки! Зажигай иллюминацию!

Потом он, поплевав на руки, встал под колокол, и одной рукой потихоньку раскачивая язык, другой взял

часы и стал наблюдать за движением минутной стрелки, искоса поглядывая на городскую колокольню, по стенам которой уже вспыхивали фонарики, образуя из себя огненные изображения звезд и крестов. К нему вбежали трое мальчишек с зажженными фонарями и тоже начали, оживленно перетапываясь, зажигать стаканчики на деревянных крестах, вставленных в окна колокольни.

Было без трех минут двенадцать. Антип Никитич решил ударить, быстро сунул часы в карман жилета, перекрестился и толкнул язык вправо, поймал его обеими руками и с замиранием сердца толкнул сильнее, еще сильнее...

...Густой, торжественный медный звук поплыл с колокольни на город, и, оглушенный, опьяненный его силой, Прахов, улыбаясь и зажмурив от удовольствия глаза, раскрыл рот и стоял, глубоко дыша, точно желая вместе с воздухом еще впитать в себя гул меди, содрогавшейся над его головой от нанесенного им удара. И там, внизу, ударили в колокол.

— Эхма! — с сожалением вздохнул Антип Никитич, слушая, как печально и слабо вибрирует звук трехсотпудового городского колокола. И он ударил еще раз, ударил и снова ждал ответа.

Два колокола точно разговаривали между собой монотонными, но полными разной силы и значения гулками голосами.

Колокол Прахова звучал густо и важно; каждый удар его с силой сотрясал воздух, и звон властно тек вниз широко, могучей волной. В ответ ему раздавался более тонкий и более вибрирующий звук, он плыл в воздухе не так долго, как первый... и что-то стонущее, подавленное было в нем.

Антип Никитич, улыбаясь, пьяный от сотрясавшего его нервы гула меди, все с большей силой бросал язык о края колокола, все чаще и чаще ударял его. Он желал бы совершенно заглушить колокол городской церкви, хотя и теперь удары снизу долетали до его ушей слабыми, как воздух. Прахову стало жарко. Широко расставив ноги и утвердив на них свой сильный корпус, еще не потерявший гибкость молодости, он во всю силу свою бросал железо в медь и вместе со звуком ее вполголоса восклицал:

— Э-эх!

В глазах у него все качалось, и огни на колокольне внизу прыгали вместе с ней то вправо, то влево. Ему казалось, что пол под ним тоже ходит из стороны в сторону и сама колокольня, вместе с языком колокола, раскачивается в воздухе.

Звон гудел торжественно и важно; все сотрясало, и Антип Никитич чувствовал себя блаженно летающим в воздухе...

Но вот еще удар, — и колокол его как-то странно брякнул. Прахов приписал это слабости удара и со всей своей силой бросил язык в стенку колокола. Тогда родился странный, болезненный, дребезжащий звук. Он был так краток, жалок, раздался и умер, сразу же и погас, но уже не тек ровной волной, туда, вниз, где попрежнему зывал и рыдал к небу маленький, бедно вибрирующий колокол.

На Антипа Никитича откуда-то пахнуло холодом, и он замер, выпустив из рук язык. Ему не верилось... Медь над его головой как-то странно хрипела... Он протянул к ней руки и тихо стал водить пальцем по ней. Она была теплая, но он уже чувствовал, как она охлаждается под его рукой. Колокол внизу звучал как бы громче с каждой минутой.

Прахов вздрогнул с ног до головы. Он нашел. Теперь у него не было сомнения — колокол треснул: тонкая щель разорвала его край, и Антип Никитич, крепко сжав его обеими руками, прислонился к нему лбом и замер...

У него болела поясница, в голове шумно гудело эхо звона, и колени его дрожали. Он смотрел на город... В нем бродили какие-то странные, маленькие огоньки; они появлялись отовсюду и всё плыли во тьме по одному направлению — в гору. Это горожане шли к заутрене с фонарями в руках.

Все они, наверное, уже знают, что колокол треснул.

— Наказал ты меня, господи! Жестоко наказал... Сломил гордыню мою, — покорно и тихо сказал Прахов, робкими глазами глядя в темное небо, где туча уже погасила все звезды.

Завтра весь город будет говорить о колоколе, и никто не пожалеет Антипа Никитича Прахова, никто не знает,

как больно и невыносимо ему стоять тут на колокольне и чувствовать себя сверженным на землю, разбитым. Он вспомнил слова, которые услышал пять лет тому назад на паперти, когда колокол был еще только поднят:

— А должен бы этот самый колокол треснуть...

...Долго терпел господь жертву человека, но стала она противна ему, и он отринул ее от себя.

Огни, мелькая во тьме, все выше вползали в гору. Слышны были звуки людского говора; они рождались и исчезали так быстро, как тени в солнечный, но ветреный день.

— Господи! — молился Антип Никитич, все ощупывая дрожащими от волнения руками трещину колокола. — Господи! Жестоко возмездие твое! Зачем ты сегодня, в самый радостный день из всех дней твоих, наказал меня? Или уж я так грешен, как никто на земле? Все будут ликовать воскресению твоему, — меня же ты предал поруганию и смеху. Враги мои насмеются надо мной... ехидно насмеются. Все будут с восходом солнца радостны и веселы, я же, по милости твоей, — убит буду. Царю небесный, утешителю души!.. Остави мне долги мои!.. Разве я грешнее других?.. Вон Елизаров у брата своего родного жену отбил... с дочерью его даже... с племянницей родной... да разве мало грешников на земле? Неужели же только я один достоин быть наказанным в светлый день воскресения твоего?! О господи... разве я по своей воле? Жизнь такая... не я сотворил ее, господи, — все мы грешны пред тобою... Прости меня: сердцем каюсь тебе. Как иначе жить мне, коли есть многие, живущие хуже меня, и не наказываешь ты их?

Он стоял, прижавшись к металлу колокола, и бормотал вполголоса иссохшим от волнения языком свои молитвы и жалобы, подавленный вихрем мыслей, воспоминаний, вспыхивавших и угасавших в нем наподобие искр. Он чувствовал себя несправедливо обиженным, не по вине наказанным. В нем билось какое-то сильное слово к богу, но он никак не мог сказать его. Предутренняя свежесть охватила его разгоряченное тело; он вздрогнул и надел поддевку, отойдя от колокола... Когда он уходил, то погладил его рукой, как бы жалея гулкую медь. Он сел на верхнюю ступеньку лестницы и, спустив ноги вниз,

задумался, глядя вдаль и чувствуя внутри себя щемящий сердце тоскливый холод.

...Снизу кто-то шел... Вот на повороте лестницы показалась лысая голова Луки. Он чуть не наткнулся на Прахова, остановился, почесал поясницу и равнодушно заговорил:

— А я было... к обедне ударить иду... Как колокол-то? Лопнул, говорят?

— В полиелей ударь... — кратко бросил ему Антип Никитич.

— Это можно.. Лопнул, видно, и в самом деле... Оказия-то! Под светло христово воскресенье и — вдруг... Грехи, видно, наши... Не стерпела медь-то...

По мере того как он спускался все ниже по скрипучим ступеням лестницы, спокойный голос его становился все слабее и наконец замер. Прахов, когда Лука уходил, смотрел сверху вниз на его лысину и думал, — жалеет его Лука или нет? И, так как лысина блестела металлически холодно, — Прахов заключил, что Луке все равно и что он ничуть не жалеет его.

— Господи помилуй! — вздохнул он.

В голове его неумолкаемо звучало эхо колокольного звона, и каждый удар имел странное свойство будить прошлое.

Возникали в памяти картины и события, давно уже забытые им. И едкое чувство тоски жгло его сердце, все усиливаясь и возрастая. Вспоминая прошлую жизнь, он видел в ней много такого, чего бы он мог и не делать и что не отягощало бы теперь его душу. Много было в его жизни излишней жестокости к людям и жадности к деньгам...

...А уже день наступал.

Там, на горизонте, откуда выплыла в небо туча, светилась бледнорозовая полоска света, и тусклые пятна воды на лугах стали светлее, точно пыль лежала на них и теперь поднялась.

Туча в небе над колокольной разорвалась на пышные темные куски, и они медленно расползались в пространстве, открывая голубые пятна неба со звездами, уже терявшими свой блеск в предчувствии рассвета...

— Христос воскрес! — чуть донесся до колокольной возглас священника.

Антип Никитич дрогнул и встал на ноги... Там, внизу, раздался странный гул, похожий на внезапный порыв ветра, налетевший на лес.

Прахов знал, что это прихожане отвечают священнику:
— Воистину воскресе!

Потом в воздухе полились звонкие голоса певчих, и среди них гудел бас, как проволока телеграфа во время зимней вьюги. Все это долетало до слуха Антипа Никитича слабо и не трогало его сердца... Он стоял без шапки, держась за перила лестницы, и, глядя вдаль, думал:

«Господь простит меня... люди не забудут! Не с богом я живу, а на земле с людьми... И вот они завтра скажут про меня друг другу: «И медь, скажут, не вынесла грехов Прахова...» Какие они мне судьи? А будут судить... Я же буду слушать их, и будет это мне... господи, боже мой! Неужто ж я и есть самый тяжкий грешник в городе и, кроме меня, некого было тебе наказать в день воскресения твоего?»

Ему представилось, как завтра все горожане с сияющими лицами будут целоваться друг с другом, говоря:

— Христос воскресе!

И отвечая:

— Воистину!

И к нему придут и тоже будут целовать его, и наверное все они, целуя, подумают о нем:

«Что, брат? Пришиб тебя господь-то? В самую светлую заутреню угодил тебя... А ты-то возносился! Ну, вот и свержен ныне — радуйся!»

А иные, быть может, лицемерно пожалеют его... И все поцелуи будут Иудиными...

«Говорил я этому, анафеме, там на заводе — толще лей! «Звон, говорит, не тот будет — нельзя!» Ну, вот, завтра и будет звон!» — с тоской подумал Прахов, потирая себе грудь...

— О господи, господи! — вздохнул он и закрыл глаза. Он, в сущности, не упал духом, но ему было тошно и больно от волнения самолюбия его, пораженного этим случаем с колоколом. И он хотел бы, чтоб день не наступал.

Но уже брызнули лучи солнца и, как огненный весер, распростерлись в синеве небес. Пятна яркой зелени и воды в лугах отразили в себе солнце, на зелень точно

пыль золотая упала, и вода заиграла радугой. Огненный край солнца поднимался из-за тучки, и вся она, пышная, как дым, была расцвечена в пурпур и золото. Необъятное пространство заливала река в половодье, и теперь далеко, вплоть до горизонта, по лугам были разбросаны серебряные пятна, точно зеркала разнообразных форм были разбросаны по зелени лугов и отражали в себе голубое небо.

В городской церкви звонили «во все». Лука тоже ударил «во все». Город точно трепетал, весь облитый ярким светом; зелень, окружавшая его, тихо колебалась под дуновением утреннего ветра; казалось, город колеблется, хочет поплыть туда, в широкое, просторное заречье, сплошь залитое солнцем и испещренное пятнами изумрудной зелени и перламутровой воды.

...Народ выходил из церкви, раздавался смутный говор, и в нем то и дело вспыхивали отдельные восклицания: — Христос воскрес!

Стиснув зубы, Антип Никитич смотрел вниз с колокольни. Из церкви лилась волна людей и, разбегаясь на отдельные струйки, уходила под гору. Звонкие голоса ребятишек звучали так же весело, как и колокола в умелых руках Луки. Полнелей гудел...

Прахов с тоской прислушался к веселому шуму, присмотрелся к яркому свету и тихо пошел вниз по лестнице, чувствуя страстное желание встретить человека, такого же обиженного, как он сам, или самому обидеть кого ни то... Больно обидеть, так, чтоб тот человек тоже не чувствовал праздника.

Лицо Антипа Никитича было сурово, брови нахмурены, губы сжаты, и нос опустился на усы. Он шагал через две ступеньки сразу и так смотрел своими хищными глазами из-под крутых бровей, — точно на бой выходил.

— Христос воскрес! — все звучнее несло навстречу ему...

— Господи! Жестоко! — вздохнув, сказал Прахов, на секунду остановился и тряхнул головой...

А потом так же, как и раньше, твердо и уверенно, с боевым видом, пошел далее.

СВАДЬБА

Очерк

...Поиграв во все известные им игры, они наконец решили обвенчаться. Эта идея пришла в голову Пете. Он разрушил четырехэтажную башню, возведенную сестренкой из игральных карт, и, оставив девочку несколько раздраженной его поступком, со скучным видом отошел к окну, влез на стул и, прислонясь лбом к стеклу, стал молча смотреть на улицу.

Шел дождь, небо было хмуро, и был слышен скучный, однотонный звук хлюпающей воды.

По лужам, среди улицы, ехала телега, на ней сидел мужик, закрывшись рогожей, и стук колес по камням мостовой казался Пете мокрым. А окна противоположного дома смотрели так, как будто дом был старый и слепой. Соня, сидя на полу, медленно собирала карты и, надув губки, посматривала в спину брата глазами, в которых ясно светилось желание побраниться с ним.

— Знаешь что? — обратился он к ней, не слезая со стула. — Давай венчаться!..

— Я с тобой играть больше не хочу... — решительно ответила Соня.

Тогда Петя прыгнул со стула, подошел к ней и, сунув одну руку в карман панталон, другую положил ей на голову, а потом начал увещевать ее тоном человека, со-знающего свое превосходство, тогда как она с руками,

полными карт, мотала из стороны в сторону головкой, желая сбросить с нее руку брата.

— Какие вы глупые, все девочки... Ну разве можно сердиться за карточный домик? Он все равно упал бы... А вот лучше давай венчаться...

— Не буду, не хочу...

— Сонечка! Ну, пожалуйста, давай... Это очень хорошо. Мы наденем на головы абажуры с ламп... потом я надену красную шаль... потому поп — это буду тоже я. Поп и жених — оба я. А ты невеста, ты возьмешь белый абажур из гостиной и вязаную скатерть с круглого стола из маминой комнаты... Мы составим стулья и будем ходить вокруг них и петь... Хорошо? А потом будем устраивать себе квартиру, и все у нас будет, как у горничной Аннушки... Помнишь, — когда она венчалась, тоже шел дождик, и папы с мамой не было, а у тетки Мани болела голова... А няня прищемила Верному хвост дверью, и он бегал по двору и визжал... няня ругалась!

Это воспоминание вызвало улыбку на личико Сони и смягчило ее.

— Невеста должна быть в кисее... а где кисея? — солидно заявила она, взглядывая на брата.

Он задумался, осматриваясь кругом.

— Если бы можно было снять с окна занавеску? Не достанешь...

— Порвешь — и будут ругать нас.

— Да... — согласился Петя и сел на ковер рядом с сестрой.

Они помолчали. Было скучно... Снизу, из кухни, глухо доносилась какая-то возня, иногда крики...

— Это Аннушка ругается с Фаддеем... — сообщила Соня.

— Они всегда ругаются и дерутся... Папа говорит, что нужно одного из них прогнать.

— А когда Фаддей был просто кучером, а не венчался с Аннушкой, он не бил ее, — задумчиво сказала Соня.

— Тогда нельзя было, она могла пожаловаться, — резонно объяснил брат.

— Кому?

— Папе...

— А теперь?

— А теперь уж все равно... Они обвенчались.

— Разве когда обвенчаются, то можно драться?

Петя помолчал.

— Фаддей говорит — можно... Он очень сильный. Он боролся с соседним дворником и повалил его...

— Аннушка тоже сильная...

— Но женщины не могут драться с мужьями...

— А почему?

— Грех! — сказал Петя, подумав.

Соня встала с пола и, пожившись, заявила, что ей холодно.

— Это оттого, что скучно, — объяснил Петя. — Если бы мы играли, а не сидели бы, как деревянные, нам было бы и весело и тепло. Давай играть?!

— Венчаться? — спросила Соня из глубокого кресла, куда она забралась с ножками и откуда выглядывал ее белый лобик в светлых кудряшках...

— Да! Ну, пожалуйста! Это ничего, что нет кисен, мы будем бедная свадьба. Мы возьмем в руки по большому карандашу у папы со стола, и они будут как свечи... Карандаши очень похожи на свечи, черненькое в них как светильня, а дерево как воск...

— Нужно, чтоб у меня был шлейф, — договаривалась Соня.

— Но ведь мы — бедная свадьба; зачем же шлейф?

Петя начинал раздражаться настойчивостью сестры. Эти девочки всегда капризничают.

— А где у нас будет квартира?

— За трельяжем, мы его немного отодвинем и заставимся ширмами... Потом устроим постель из пуфов, снимем у мамы полочки со стола — и это будет у нас комод. А вместо стульев — подушки с дивана...

— А потом?

— Что? — нахмуря брови, спросил Петя...

— А что же мы будем делать потом?

Петя несколько смутился. Сестренка смотрела на него пылливо, видимо, игра начала интересовать и ее... Ее глазки сверкали огоньком оживления...

— Потом — это уже после... Там увидим... Будем жить... принимать гостей, можно притащить Жужу и

кошку, и они будут гости... Будем ездить в театр — в мамину комнату... И вообще будем жить, как женатые; я буду с книгой уходить на службу, как папа, а ты будешь готовить обед и все убирать, как...

— Мама ничего не делает... — внесла Соня поправку в порядок семейного дня...

— Я хотел сказать — как Аннушка... Потом я буду дуться, как папа, а ты уйдешь в комнату и будто бы запришься... А я буду кричать на тебя, помнишь, как папа в воскресенье? Он даже кулаком стучал по столу и плевался, — оживленно рассказывал Петя...

— И ногой опрокинул стул... Я очень испугалась тогда, — задумчиво добавила Соня.

— Помнишь, как мама крикнула на него? Я смотрел в щелочку из детской и видел, — глаза у нее были большие, большие, а губы черные и дрожали. И вся она качалась...

— Страшно! — сказала, ежась в кресле, Соня.

— Это ничего... Мы, если хочешь, не будем делать этого... Мы будем просто жить. Потом, ведь ссориться только тогда нехорошо, когда ссоришься, а после ничего! Ведь папа и мама всегда после ссор добрее... Когда они помиряются, у них можно просить всего, чего хочется.

— Да... — согласилась Соня.

— Значит, будем играть?

— Давай! — и Соня соскочила с кресла.

Через несколько минут комната представляла из себя картину разрушения и хаоса. Мебель была сдвинута почти вся в один угол; и только посреди пола стоял стул, накрытый скатертью. К спинке его была прислонена раскрытая тетрадь нот.

— Это книга, которую читает поп, когда венчаются, — объяснил Петя сестре.

А она одевалась к венцу. Вытащив из буфета большую скатерть, она запутывала в нее свою фигурку и улыбалась, видя, что у нее будет прекрасный шлейф. На голове ее уже болтался большой зеленый китайский абажур; край его то и дело опускался ей на нос, и она взмахивала головой, чтобы сдвинуть этот убор на затылок. На ее личике, в светлых кудрях, легли тени, и оно сделалось таким серьезным.

Петя устранивал себе ризу из бархатной скатерти, которую стащил со стола в гостиной. И на его голове позвякивал абажур, голубой, стеклянный. Пете было очень неловко в нем.

— Я буду архиерей, а не простой поп. Хорошо?

— Все равно, — согласилась Соня, прикалывая себе булавкой к плечу цветы, оторванные от абажура.

— Ну, скоро ты готова? Я уже совсем... Вот еще нужно бы перчатки и галстук... Женихи это надевают... помнишь, ехали мимо двое.

— Это они ехали не венчаться... а просто на извозчике.

— А впереди их ехала же невеста!

— Это не их, а того, который сидел с ней рядом, в круглой шляпе...

— Ну... это ничего. Я без перчаток... Потому что ведь я же еще и архиерей.

— Что же теперь? — спросила Соня.

— Готова? Давай руку...

Он взял ее за руку и повел вокруг стола, надув щеки и сделав важное лицо...

— Го-споди помилуй! Господи... — пел он, закатывая глаза и раскачивая левой рукой так, как будто бы кадил. Соня шла за ним, потупив в землю глазки, жеманно склонив головку к его плечу и поддерживая свободной рукой шлейф.

— Спаси, господи, рабу твою Софью! — пел Петя и споткнулся о шлейф невесты. — Ну вот, напутала ты тут себе... Я так упаду... Подбери еще немножко...

— А у нас нет колец... — вдруг остановилась Соня... — Потому что нужны кольца.

Петя вопросительно посмотрел на нее, поправляя на голове абажур...

— Да, — кивнула она ему головкой, — нужны!

— Ну, ничего... Уж мы кончили... обвенчались. Теперь идем домой.

Они пошли в угол комнаты, изображавший собою их дом. Пришли туда и сели на двух пуфах рядом друг с другом и держась за руки.

— Давай же разговаривать, — предложил Петя...

— А о чем? — спросила сестра.

— О чем-нибудь... Нельзя же, обвенчавшись, сидеть и молчать.

— Мне не хочется говорить... — задумчиво сказала Соня.

— Ну, уж вот ты и капризничаешь... Совсем нельзя играть с тобой...

Соня осторожно высвободила свою руку из руки брата и стала откалывать булавки своего венчального наряда.

Петя, завернутый в складки пестрой скатерти, с абажуром на голове, с скучным лицом смотрел на нее, хмуря брови.

— Ты раздеваешься?

— Да... А что же уж? — спросила Соня.

— Я не хочу, чтоб ты раздевалась...

— Какой! — сделала гримаску Соня.

— Я могу не хотеть этого! Потому что теперь я твой муж, как папа мамин. Я...

— Я не играю ведь!

— А я не хочу, чтоб ты не играла... Ты моя жена и должна меня слушаться... Не раздевайся...

— Не кричи... Дурак!

— Ты не смеешь ругаться, — дура! — злобно вскричал Петя.

Но она вскочила на ноги, сбросила с плеч скатерть и абажур с головы и, топнув ножкой, раздражительно, обиженно, побелевшими и трясущимися губками бросала ему:

— Я скажу маме... Ты ругаешься... Дурак, чудака, дурак, болван.

— Ах ты... таракашка! — вскрикнул Петя и толкнул новобрачную в грудь.

Она не выносила, когда ее называли таракашкой. От толчка она покачнулась, опустилась на пуф и так неловко, что свалилась с него на пол к ножкам трельяжа... Ее розовая от гнева мордочка смотрела на Петю из-за большого листа филодендрона, а Петя, топая ногами по полу, склонился над ним и озлобленно кричал:

— Таракашка, таракашка! Скверная букашка!

Она, не вставая с пола, повернулась на бок, закрыла лицо ручками и горько заплакала.

— Плачь, плачь! Мне тебя не жалко... А мама воротится, она еще задаст тебе. Потому что я скажу, что это

ты развозила все по комнате... Да, скажу, и тебя поставят в угол, и оставят без пирожного, и не возьмут в цирк.

Бедной девочке показалось, что для первого дня брака всего этого чрезмерно много. Она взвизгнула и застучала ножками по полу.

— Уйди, Петька!

Он отошел к окну, довольный своей местью. Там, сняв с головы абажур и скатерть с плеч, он снова стал смотреть на улицу.

Дождь все еще шел. И было скучно...

За стеклом хлюпала вода, а в комнате дрожали рыдания сестры. Пете стало горько...

— Ну, не плачь... — не оборачиваясь, сказал он.

Она заплакала сильнее.

— Я тебе подарю пять сводных картинок, — хочешь? — спросил Петя, помолчав.

Она завизжала.

— Ну, Соня! — подошел он к ней... — Не плачь!

— Буду...

— Ну пожалуйста! — Он сел на пол рядом с ней и положил ей на плечо руку. Она сбросила ее, открыв на минутку свое красное от слез лицо.

— Сонечка! Ну, хочешь еще — буду читать тебе вечером сегодня?.. И выпачкаю няню чернилами?

И то и другое ей всегда очень нравилось; особенно хорошо было, когда Петя под предлогом, что няня запачкала чем-то себе лицо, прикасался пальцем, заранее выпачканным чернилами, к ее щеке или к кончику носа и на физиономии няни оставалось маленькое черное пятнышко. Представив себе это, Соня стала утихать.

— Погоди! — вдруг весь вспыхнул Петя. — Соня! Какая ты глупая! Разве я серьезно толкнул тебя? И ругал — разве серьезно?

Она открыла лицо и села рядом с ним, глядя на него недоверчиво, но заинтригованная его горячим тоном.

— Ведь мы играли, да?

— Да...

— Как? В мужа и жену, да?

— Ну?

— Так чего же ты плачешь?.. Дурочка!

Он расхохотался.

— А что? что же? — улыбаясь, спросила Соня.

— Какая ты глупая, какая ты глупая! — забил в ладоши Петя...

— Это ты не в самом деле ругался? — спросила Соня, уже сконфуженно улыбаясь.

— А ты думала — в самом деле? Взаправду? Ах ты — чучелка!

— Петя... ты...

— Да ведь уж это такая игра, что нужно ссориться! Всегда ведь ссорятся муж и жена, — ну, и игра в это если, то тоже нужно ссориться. Ах, как я тебя обманул! Ты подумай — ведь это же уж всегда...

— Какая я... — сказала Соня и вдруг, неудержимо засмеявшись, обняла брата и ткнулась ему головой в колени. У нее плечики даже вздрагивали от смеха. И Петя хохотал, приговаривая:

— Таракашка моя, баракашка ты моя!

Но Соня уже не обижалась на него за это.

И, сидя на полу, среди сгруженной мебели, они хохотали искренно и долго над этой смешной игрой в мужа и жену...

ГРИВЕННИК

Эпизод из жизни одного романтика

...Мне хочется рассказать самый грустный случай из моей жизни, рассказать о первой насмешке судьбы надо мной, о том, что впервые познакомило меня с тоской и заставило сердце мое в страхе задрожать от жестокой иронии случая, — иронии, которую так часто и так безжалостно действительность бросает в лицо мечтателей.

Это было весной; только что распустились деревья. Они стояли в пышном уборе зелени, еще бледной и девственной, и густой запах ее был так сладок, точно с неба он струился вместе с песнями невидимых глазу жаворонков.

Все вокруг меня было свежо и ново — даже земля, на которой я лежал у опушки леса, казалась обновленной и как бы обещавшей людям много чего-то такого, что еще неведомо им.

Был полдень.

Партия рабочих, производившая технические изыскания для железнодорожной ветки, расположилась среди поля на отдых, а я, в то время двадцатилетний «практикант», студент-технолог, отошел от рабочих в сторону сажен на двести, лег у опушки леса и, облокотившись на старый пенек, смотрел в небо.

Ощущение новизны и свежести, веявшей от всего, что окружало меня, и та весенняя нега и мечтательность, с которыми знаком каждый, кто любит одиночество и природе, — все это погрузило меня в состояние полудремоты, в призрачное нечто, сплетенное из многих полудум, полу-

ощущений, сладко усыпляющих чувство бытия и в то же время как бы расширяющих границы сознания.

Иногда ветер тихо колыхал лес, и мягкий шум его ветвей еще более убаюкивал меня, уплывая в бесконечность небес, заглушая живые трели жаворонков и исчезая в голубой пустыне, ласкавшей мои глаза нежным тоном своей окраски.

Мне было хорошо, и, как всегда бывает в такие моменты, я не сознавал времени. Бог знает, сколько минут или часов прошло в грезах до той поры, пока мой слух не уловил звуков песни, доносившейся из леса. Вместе со всем остальным, что звучало вокруг, я вдыхал в себя и эту песню, не разбирая ее слов, и мне было лень открыть глаза, чтобы посмотреть, кто это поет.

Но я сознавал, что это поет женщина, — поет и все приближается ко мне. Сочный, сильный контральто лился широкой, вибрирующей струей, и тихий шелест листвы как бы служил фоном ей.

«Должно быть, красавица...» — подумал я, открывая глаза.

Я не ошибся. Она как раз в этот момент вышла из леса и, вздрогнув, остановилась на опушке его. Одной рукой она схватилась за ветвь дерева, другую быстрым движением прижала к груди...

Высокая и стройная, в белой пуховой пелерине на плечах, в тяжелом сиреневом платье, плотно охватывавшем ее бюст и пышными складками падавшем от бедер к ногам, — она стояла неподвижно, устремив на меня большие темные глаза, и между ее тонких бровей легла резкая складка.

Она испугалась меня, испуг сверкал в ее глазах, и щеки ее сначала вспыхнули розовым огнем...

С пылающим лицом, готовая защищаться, царственно хороша была она! Боязнь не всю гордость убила в ней, и немножко презрения все-таки сверкало в ее взгляде на меня.

А я, очарованный ее красотой, неподвижно и не сводя глаз с ее лица, смотрел на нее и, не будь ее волосы черными, быть может, принял бы ее за фею...

Секунду, не более, наверное, она оставалась неподвижной против меня, но я много пережил в эту секунду.

То хорошее, что падает в жизни на нашу долю, всегда измеряется секундами.

Великое наслаждение смотреть на красивую женщину глазами, не затемненными туманом низменных желаний.

Я именно так смотрел на эту женщину, и я не мог смотреть иначе, ибо не был уверен, действительно ли это женщина — существо из костей, крови и нервов, или же это воплощение неуловимых грез моих — всего, что я ощущал до момента ее появления предо мной?

Но вот она улыбнулась чуть-чуть, только углами губ, и пошла, и, когда она проходила мимо меня, край ее платья едва не коснулся моей головы и легкое веяние опохнуло мне лицо.

Я был невыразимо счастлив, что мог смотреть на нее: поистине, она была дивно хороша! И особенно врезался в память мою ее лоб, — высокий мраморный лоб, с тонкими выгнутыми бровями и резкой, гордой, царственно гордой складкой между ними. Это придавало ей вид богини, оскорбленной тем, что смертный осмелился не упасть ниц пред ее красотой.

Она уходила медленно, плавно и бесшумно; мне казалось, что стебли травы не сгибаются под ее ногами, и мне становилось грустно по мере того, как она уходила. Вот она уходит, и я не вижу уже больше ее дивного, гордо-прекрасного лица!

С каждым шагом ее грусть моя все увеличивалась и сердце билось все сильнее, точно стремясь вослед ей... Я уже готов был крикнуть что-нибудь, чтобы она обернулась и — хоть раз еще, один только раз еще — взглянула на меня.

И вдруг она действительно оглянулась. Тогда, повинувшись какому-то внутреннему толчку, весь вспыхнув от счастья, я поднялся с земли и протянул к ней одну руку...

Она, улыбаясь ласково и ясно, пошла ко мне. С чувством благоговейного трепета я ждал ее, и в глазах моих все темнело и странно вращалось. Восторг, неведомый мне до той поры, охватил меня, я дрожал; быть может, я даже плакал от счастья...

Вот она подошла ко мне, я ощутил тонкий запах

духов, что-то холодное капнуло мне в руку... я судорожно сжал ее.

И я долго потом смотрел вслед красавице, — долго, пока она не скрылась вдали за придорожными кустами. Мне было до боли сладко сморгнуть вслед ей, и я чувствовал, что она не ушла от меня — воспоминание о ней, прекрасной, великодушной, чуткой и гордой, как о символе всего лучшего в жизни, осталось в моем сердце навсегда вместе с отпечатком ее дивного лица...

Но вот я разжал руку, чувствуя, что в ней осталось что-то...

Лучше бы ослепнуть мне пред этим!

В моей руке был гривенник, маленький серебряный гривенник, но он был так страшно тяжел! Невыразимо тяжел!

Лучше бы она ударила меня, эта красавица!

Зачем, зачем она была так добра?

Я чувствовал, что душа моя неизлечимо ранена...

Я понял: моя грязная блуза и весь костюм рабочего заставили ее принять меня за бродягу; мой жест она истолковала как прошение милостыни...

Зачем она была так сострадательна?

...Мне не раз в течение жизни приходилось вспоминать об этом пошлом, маленьком, мещански скромном и блестящем гривеннике.

Я имел храбрость искать в любви высоких и чистых духовных наслаждений, ждал от нее возрождения духа, новой жизни, и, когда та, которой я отдал душу, раскрыла предо мной себя, — я с болью вспомнил о гривеннике, легонькой, пошло блестящей монетке.

Я многого искал и много раз ждал... Но находил мало и всегда вспоминал об этом пошлом гривеннике.

И вот теперь, когда жизнь моя иссякла, стала пуста и скучна, — ибо нет больше у меня желаний, нет уже их! — и вот теперь, оглядываясь в прошлое, туда, где некогда ярко загоралась заря бытия моего, в даль, где остались надежды и желания, я спрашиваю себя:

— Не была ли эта женщина Судьбой: не была ли она Жизнью, которая всегда, когда приближается к нам, обещает так много, но, охватив нас, как нищим, бросает крохи и гроши и, исчезая, — оставляет нас такими же нищими и убогими, каковы мы и в первый день рождения?

ТРОНУЛО

С натуры

Наступает ночь.

Уже вода реки впереди и сзади парохода потемнела и кажется густой, как масло, потемнела и яркая зелень кустарника, пышным ковром покрывшая крутые скаты горного берега, поднимается ветер, сырой и холодный, небо сплошь покрыто тучами, неподвижно застывшими над широкой рекой, луговой берег далеко вглубь залит спокойной, блестящей пеленой воды, кое-где ее прорвали большие темные пятна островов, образовавшихся от убыли, — но разлив еще широк, и всюду на горизонте холодно блестят полосы воды, невозмутимо спокойной и ясно отражающей тяжелые, лохматые облака.

А вокруг парохода, в фарватере, ветер поднял на реке шумную жизнь, маленькие волны идут друг на друга и плещут о борта парохода, разбивающего их в брызги и пену тяжелыми плицами колес; от кормы к берегам двумя пышными грядами разбегается вспененная вода, и тяжелые вздохи машины, вместе с неумолчной, навешающей скуку музыкой волн, наполняют сырой и гулкий воздух весенней ночи глухим шумом, таким же однообразным и мутным, как и это облачное небо над взволнованной ветром и судном многоводной мощной рекой.

Иногда на горном берегу вдруг появится огонек рыбацкого костра, от него ложится на воду алая кружевная

лента отражения, — ложится и весело играет на гребнях волн, потом вдруг пропадает, скрываясь за камнями в углублении берега, за группой деревьев.

И опять слева от парохода молчаливо двигается темная стена горного берега, а справа развертываются луга, уходя к горизонту, где темно и мрачно и откуда на небо, точно рожденные землей, медленно вползают облака, тяжелые и темные, странных очертаний, грозящие дождем и молниями и громом.

Ночь все приближается, и глухой шум на реке становится более гулким.

Горы вторят ему слабым эхом...

По террасе парохода, мимо окон общей мужской второго класса, то и дело заглядывая в них, медленно прохаживается старик, низенького роста, с седой клочковатой бородкой, с ястребиным носом и с маленькими, жесткими глазками, ушедшими глубоко в орбиты.

По его сухим, морщинистым щекам пробегает судорога каждый раз, когда он кидает острый взгляд в окно рубки, он крикает и еще глубже старается засунуть закинутые за спину руки в рукава теплого пальто, надетого на нем. На ногах у него валяные сапоги, от этого его шагов почти не слышно, и это еще более усиливает хищность его фигуры. Кажется, что он подстерегает кого-то и сильно борется с нетерпением, охватившим его. Он весь как-то пожимается, — но не так, как жмутся от холода, а так, как это делают в волнении. На голове у него теплый картуз, съехавший на затылок, и старик то и дело встряхивает головой, как бы желая поправить его.

Из каюты доносятся громкие голоса и хохот, звучат стаканы, и из окон ее на террасу парохода и на воду реки падают полосы света.

Старик бесшумно шагает по ним и все кидает острые взгляды в окна каюты.

В ней за столом сидит большая компания мужчин, — председательствует, что-то оживленно рассказывая и минутно заливаясь смехом, полный и румяный господин в дворянской фуражке. Он, подложив под себя ногу, сидит

на стуле и держит в одной руке стакан вина, другой бойко жестикулирует. Рядом с ним, с живым любопытством глядя ему в лицо, поместился высокий молодой человек, худой, с узкими насмешливо прищуренными глазами и с тонкими бескровными губами.

Еще несколько фигур в разных позах свободно расположились за столом. Им весело. Взрывы хохота то и дело доносятся до ушей старика...

— Тыфу, псы! — энергично и злобно плюнул он, когда публика в рубке расхохоталась особенно сильно.

С носа парохода на террасе появилась и пошла навстречу старику высокая фигура человека в долгополом меховом сюртуке.

Широкоплечий, солидный, с широким, чисто русским лицом в темнорусой окладистой бороде — этот человек поравнялся со стариком, добродушно улыбался ему и густым басом спросил:

— Что, Иван Петрович, операцию новую задумывашь?

— Куда же! Со старым дай бог до смерти управиться.

— Чего ж ты не в рубке, а топчешься тут, на ветру?

— Выжили...

— Кто?

— Вон эти! — И старик зло кивнул головой на окно рубки... Его знакомый с добродушно презрительной улыбкой посмотрел в окно, помолчал и, хлопнув старика по плечу, успокоительно заговорил:

— Ничего, Петрович, пушай их бесятся... А ты знай сам себя и больше никаких... Давай-ко, сядем вот... Здесь не больно ветрено...

Они сели и молча стали смотреть на берег.

Плыли мимо какой-то деревеньки, выстроившейся по гребню горы... Жалкие огоньки мигали в окнах изб, ветлы печально качали вершинами над их кровлями, лаяли собаки, и слышалась, то появляясь, то исчезая, песня; странно ныряли ее тягучие звуки в шуме парохода и реки. И по горе, кое-где, торчали избенки, в зарослях тоже сверкали огни, и из-за кустов возвышались трубы...

— Марьевка, надо быть... — кивнул головой на берег высокий и звучно зевнул.

Старик ничего не ответил ему и поежился.

Длинной, черной точкой на воде мелькнула лодка — как большая рыба — и пропала из глаз, нырнув в тень берега. Песня на горе звучала все громче — пели в два голоса, и можно было безошибочно сказать, что пели в одной из изб, освещенной ярче, чем другие, — свет был во всех трех окнах ее и четырехугольным пятном смотрел на реку из отворенной двери.

— Кабак... — сказал знакомый старика, на этот раз указывая пальцем на гору.

Но старик и тут не ответил ему.

Тогда его спутник повернул голову и, наклонясь, взглянул ему в лицо... Старик вздохнул и отвернулся.

— А здорово же они, видно, тебя доняли!.. — полувопросительно заметил высокий.

Старик дрогнул и, как-то подпрыгнув на лавке, вдруг быстро сухим, трескучим шопотом заговорил:

— Понимашь, — этот, оленийский-то барин, какую штуку загнул? Язва, пес. От Казани он все утрафлял, как бы это меня кольнуть... То так, то этак подцепляется... Я молчу. Пес с тобой, анафемой, думаю себе — валяй! Как ты меня ни трогай — не тронешь! Потому хоть ты и барин — да в кармане-то у тебя грош, а я, хоша и вторая гильдия, но могу тебя со всей твоей требухой купить. Молчу. А он все измывается. Видно, не забыл еще, как я его сестру обставил... Из помещиц-то в город в емназию смотрительшей попала...

— Как же он тебя тронул? — любопытствовал себе-седник старика.

— А вот... Спросил я себе прибор и хочу, это, чай пить. Вынул из мешочка чай, сахар, сухарик был у меня сдобный, — в Саратове купил, — апельсина кусочек. Вот, это, я налил чаю на блюдце, помакиваю сухарик и грызу себе тихо, смирно. Только он шаст в каюту, садится супротив меня и со смешком этак смотрит. Ангорном этот, длинный, с ним едет. Пассажиры привыкли уж, видят — будет

потеха, поднимают башки, смотрят. Пассажиры всё прощелыга народ, студентишки и разные этакие баре, из голодающих... Которые с куска на кусок живут... У всех, это, на брюхе-то шелк, а в брюхе-то шелк... Ну, пью я... Пью и думаю: «Поехал во втором классе — зачем поехал? Какая мне может в нем быть компания! Ни одного православного — все шантрапа народ...»

— Ну, ну, — поторопил старика его слушатель.

Старик сделал паузу, вздохнул, плюнул, аккуратно растер ногой плевков, почесал спину о спинку дивана, еще раз вздохнул и начал, уже спокойный и ровный:

— Ну, вот он, оленинский-то барин, подперся, это, локтями на стол, оглядел публику и начинат: «Смотрите, говорит, господа, на его степенство Ивана Петровича Зверева и учитесь грошу цену знать. Вот, говорит, вам русский человек во всей его красоте, и такой, говорит, человек, который, значит, на смену нам, дворянам, пришел. Владеет, говорит, он сотнями тысяч денег, пароходы у него и баржи, мельницы и земли... дерет, говорит, он с живого человека шкуру... и все такое... и до сей, говорит, он поры, честные господа, порядочно жрать не выучился. Извольте, говорит, посмотреть, как он на свои сотни тысяч питается. По питанию его — голубь он, воробушек, малая птица, а аппетит у него — все ж таки волчий... Как, говорит, это понимать? На что, говорит, он живых людей до нищенской суммы объедает, ежели он сам так мало и так скверно ест?»

Голос старика все понижался и опустился до шопота.

— Потом ко мне он... «Иван Петров! Пожалей, говорит, себя и Россию, закажи себе котлету за два двугривенных... А то ты, говорит, с голоду подохнешь, так-то питаешься! А ведь тебе нужно беречь себя, потому ты, говорит, купец — первейшее по нынешним временам лицо в жизни... Поучись же ты, как порядочному человеку есть надо!» И пошел, и пошел. Хохот! Ржут все — как лошади. Меня аж лихоманка бьет... Покрыл я, это, стакан на блюдечко и говорю: «Проесть деньги, барин, не трудно, мол, а ты вот накопи их, попробуй...» А он мне: «А для чего их копить?» — «Именье, мол, может оправдать, а то банк-то скушает его у тебя...» Воззрился, это, он на меня за такие мои слова зверем, а я картуз надел да и был таков... Вот

и теперь все грохочут — рассказывает он им про меня. Как да что... Охальник...

Старик сделал паузу и нервно погладил свои бока руками.

— Да, — сказал, улыбаясь, его собеседник, — насчет еды они точно — что мастера... Умеют это...

— Нет, погоди! — воскликнул старик, — а рази мы им в этом уступаем? Да ежели я захочу...

— У нас пища тяжелая, — перебил его собеседник.

— Тяжелая? Кто мне может помешать на мой капитал есть, ежели я захочу ее, легкую пищу? Вот пойду в буфет и скажу — давай мне всего на четвертной билет! Весь стол уставляю пищей... и не есть я ее буду, а влезу на стол и буду по ней ногами ходить! Все испорчу — посуду, салфетки, и за все чистыми деньгами заплачу! Как он, острожник, может говорить, что я, православный человек, не умею есть? Врет! Я, при моем капитале, все умею! Я всего могу. Я шестьдесят три года хребет гну, работаю, благодарение богу, — сыт тем, что ем, и он не может меня за это попрекать. Есть я, вишь ты, не умею! Эх ты...

— А ты не так сделал — надо было ему по-другому нос-то утереть, — посоветовал старику его слушатель. — Надо было сейчас заказать самое дорогое...

— Поди! — махнул рукой тот. — Тоже сказал! На смех ему, что ли, я дался?

Он замолчал, вздыхая и возмущенно теребя свою бороду. Вдали, по реке, вдруг вспыхнул нестройный ряд огней.

— Пристань...

— Нет, я думаю теперь — чего они кичатся, чего форсят? Исхиз ведь народ, а все нос держит к небу. Житья им нет, — прямо петля — дело, — а они хоть бы что! Смеются... Везде, где ни послушай, — швах барские дела, — а баре все живут с веселым духом. Какая тому причина?

— Не думают про завтрашний день...

— Разве что...

— А то как? Мы за рублем-то целый день гоняемся, гоняемся — глотку перехватывает с устатку, все жилы в работе...

— А они — не так... Они, это верно, они — птицами живут.

Собеседники замолчали...

Огни впереди разгорались все ярче, и во тьме были видны постройки, баржи у берега, лодки...

— Иван Петрович! А не поужинать ли нам?

Старик, смотревший по направлению к пристани, живо обернулся и сухо спросил собеседника:

— То есть как это?

Тот засмеялся.

— Не бойся, не по-ихнему... Мы по-свойски, по-русски. Уху спросим, телятины, а то поросенка холодного... а? Еще чего-нибудь...

— Давай... Только не тово... не этово... не тут, — он кивнул головой на рубку, — мы давай в третий класс сойдем...

— Ну, ин так. А тронул он тебя, Оленин-то?

— Еще бы! Есть, говорит, не умеешь... а? Есть! Да понимает ли он, что я даже его самого могу съесть за эти самые насмешки? Мне Варзкин кумом приходится, а у него есть закладная на оленинскую рощу да на весь куртумский участок. Вот я скажу Варзкину — прижми! давни! Оленинского барина! До слезы его дави... Он сичас рраз?! Что ты тогда есть будешь, барин? Совсем тебе нечего будет есть, хоша ты на это дело мастер...

— Плюнь на него... Не сердись... Наше будет наше, а ихо будет ихо... — добродушно усмехаясь, сказал собеседник старика.

— И ихо будет наше... — твердо и сурово сказал старик...

Они встали и пошли. Старик шел своей крадущейся, хищной, бесшумной походкой, его собеседник стучал по террасе кожаными калошами, скрипел, харкал, сморкался и вообще создавал вокруг себя какой-то разнообразно нелепый шум...

Пароход пошел тише... На берегу, на темном фоне зелени ветел, обрисовалась белая церковь. Ее колокольня возвышалась высоко в облачное небо, и с нее слетали печальные звуки ударов в сторожевой колокол. Где-то играли на гармонике... Борт парохода ударился о пристань, раздался жалобный скрип дерева. Под колесами глухо бурлила вода.

ТОСКА

I

...Помолившись богу, Тихон Павлович медленно разделся и, почесывая спину, подошел к кровати, наглухо закрытой пестрым ситцевым пологом.

— Господи, благослови! — прошептал он, затем широко зевнул, перекрестив рот, отдернул полог и стал смотреть на мощную, покрытую мягкими складками простыни, фигуру жены.

Сосредоточенно и подробно рассмотрев эту неподвижную, задавленную сном кучу жирного тела, Тихон Павлович сурово нахмурил брови и вполголоса сказал:

— Машина!..

Потом отвернулся к столу, погасил лампу и снова заворчал:

— Сказал ведь я тебе, чорту: идем спать на сенницу; нет, не пошла! Колода дубовая! Ну-ка, подвинься малость!

И, ткнув жену кулаком в бок, он улегся с ней рядом, не покрываясь простыней, а затем еще раз крепко толкнул жену локтем. Она замычала, завозилась, повернулась к нему спиной и снова захрапела. Тихон Павлович огорченно вздохнул и уставился глазами сквозь щели полога в потолок, где дрожали тени, рожденные луной и неугасимой лампадой, горевшей в углу перед образом Спаса нерукотворенного. В раскрытое окно лился из сада, вместе

с тихим и теплым ночным ветром, шелест листьев, запах земли и сырой кожи, сегодня утром содранной с Гнедка и распяленной на стене амбара. Доносился мягкий звук падения капель воды с мельничного колеса; в роще, за плотиной, гукала выпь; мрачный, стонущий звук плавал в воздухе; когда он пропадал — листва деревьев шумела сильнее, точно испуганная им, и откуда-то доносилась звонкая песнь комара.

Последив за теньями, что дрожали на потолке, Тихон Павлович перевел глаза в передний угол комнаты. Там, колеблемый ветром, тихо мигал огонек лампадки; от этого лицо Спасителя то прояснялось, то темнело, и оно показало Тихону Павловичу думающим большую, тяжелую думу. Он вздохнул и истово перекрестился.

Где-то прокричал петух.

— Неужели двенадцать уж? — спросил сам себя Тихон Павлович. Прокричал другой петух, третий... Еще и еще. Наконец где-то за стеной во всю мочь гаркнул Рыжий, из птичника ему ответил Черный, и весь птичник всполошился, громко возвещая полночь.

— О, черти, — сердито завозился Тихон Павлович, — заснуть не могу... чтоб вам треснуть!

Когда он обругался, ему стало как-то легче: проклятая, непонятная грусть, одолевшая его с последней поездки в город, меньше давила его, когда он сердился, — а когда он сердился сильно, так и совсем пропадала... Но за эти дни дома все шло так ровно, гладко, что и поругаться-то хорошенько, чтоб полностью отвести душу, было нельзя — не с кем и не за что, — все подтянулись, заметив, что «сам» сильно не в духе. Тихон Павлович видел, что домашние боятся его и ждут грозы, и — чего раньше с ним никогда не было — чувствовал себя виноватым пред всеми. Ему было стыдно за то, что все такие хмурые и бегают от него, и еще больше овладевало им тяжелое, непонятное чувство, привезенное из города.

Даже Кузьма Косяк, новый засыпка, орловец, зубоскал и задира, молодой парень, могучий, с веселыми и синими глазами и ровным рядом мелких белых зубов, всегда оскаленных задорной улыбкой, — даже этот Кузьма, с которым всегда было за что всласть поругаться, стал почтителен и услужлив; песен, на которые был

большой мастер, больше не пел, меткими прибаутками во все стороны не сыпал, и Тихон Павлович, замечая за ним все это, недовольно думал про себя: «Хорош, видно, я, чорт, стал!» И, думая так, все более подчинялся чему-то, неотвязно сосавшему его сердце.

Тихон Павлович любил чувствовать себя довольным собой и своей жизнью, и когда чувствовал так, то намеренно и искусственно усиливал свое настроение постоянным напоминанием себе о своей зажиточности, об уважении к нему соседей и обо всем другом, что возвышало его в своих глазах. Домашние знали за ним эту слабость, которая могла и не быть честолюбием, а только желанием сытого и здорового существа как можно полней усладить себя ощущением своей сытости и здоровья. Это настроение, порождая у Тихона Павловича добродушную точку зрения на вещи, хотя не позволяло ему упускать своего, но создало среди знакомых репутацию сердечного человека. И вот вдруг стойкое, жизнерадостное чувство куда-то провалилось, улетело, погасло, а на место его явилось нечто новое, тяжелое и темное.

— Фу ты, господи! — прошептал Тихон Павлович, лежа рядом с женой и прислушиваясь к мягким вздохам ночи за окном. От согретой пуховой перины ему стало жарко; он беспокойно повозился, предал супругу анафеме, спустил ноги на пол и сел на кровать, отирая потное лицо.

В Болотном, селе верстах в пяти от мельницы, раздались звуки сторожевого колокола. Унылые медные звуки, слетая с колокольни, тихо плавали в воздухе и бесследно таяли. В саду хрустнула ветка, а в роще снова загудела выпь, точно смеясь мрачным смехом.

Тихон Павлович встал, подошел к окну и сел в глубокое кожаное кресло, недавно купленное им за два рубля у разорившейся соседки, старушки-помещицы. Когда холодная кожа прикоснулась к его телу, он вздрогнул и оглянулся.

Было жутко. Сквозь цветы на подоконнике и ветви клена перед окном проникли в комнату лучи луны и нарисовали на полу теневой, дрожащий узор. Одно из пятен, в центре узора, очень походило на голову хозяйки кресла. Как и тогда, при торге, эта голова, в темном, мохнатом

чепце, укоризненно качается, и старческие губы шамкают ему, мельнику:

— Побойся бога, батюшка! Кресло покойник Федор Петрович перед самой смертью купил, восемнадцать рублей дал. А давно ли он умер-то? Совсем новая вещь, а ты полтора рубля даешь!..

И покойник Федор Петрович тут же, на полу: вот его большая, кудластая голова с густыми хохлацкими усами.

— Господи, помилуй! — вздохнул Тихон Павлович. Потом он встал с кресла, составил цветы с подоконника на пол, а сам уселся на их место.

За окном было тихо, грустно. Деревья сада стояли неподвижно, слитые ночью в сплошную, темную стену, за нею чудилось что-то страшное. А с колеса мельницы звонко и монотонно капала вода, точно отсчитывая время. Под самым окном сонно покачивались длинные стебли мальвы. Тихон Павлович перекрестился и закрыл глаза. Тогда в его воображении стала медленно формироваться городская история, выбившая его из колеи.

По пыльной, залитой знойными лучами солнца улице тихо движется похоронная процессия. Ризы священника и дьякона слепят глаза своим блеском; в руках дьякона позвякивает кадило, маленькие клубы голубого дыма тают в воздухе.

— Свя-я... — тоненьким тенором выводит маленький, седенький священник.

— ...тый! — громовым басом гудит высокий дьякон в густой шапке черных волос.

— Бо-о-же, — сливаются оба голоса вместе и уносятся в безоблачную высь к ослепительно сверкающему солнцу, где так пустынно и спокойно.

— Бессме-е-ртный! — ревет дьякон, покрывая своим могучим голосом все звуки улицы, — дребезг пролетов, шум шагов по мостовой и сдержанный говор большой толпы, провожающей покойника, — ревет и, широко раскрывая глаза, поворачивает свое бородатое лицо к публике, точно хочет сказать ей:

«Эх-ва! Как я здорово вывел ноту-то?!»

В гробу лежит господин в сюртуке, с худым и острым лицом. На этом лице застыла важная, спокойная мина. Гроб несут неровно, и голова покойника сосредоточенно

покачивается с боку на бок. Тихон Павлович взглянул на лицо усопшего, вздохнул, перекрестился и, увлекаемый толпой, пошел за гробом, посматривая на дьякона, заинтересовавшего его массивностью голоса и фигуры. Дьякон шел и пел, а если не пел, то разговаривал с кем-нибудь из шедших рядом с ним. Очевидно, человек в гробу не возбуждал у дьякона печальных дум о том, что и дьякон подлежит этой натуральной повинности, что придет время, и его вот так же понесут по улице для того, чтобы зарыть в землю; а он, лежа в гробу, будет вот так же потряхивать головой и не возьмет уж в то время ни одной, даже самой легкой ноты.

Тихону Павловичу стало неприятно смотреть на веселого дьякона; он остановился и, пропустив мимо себя много публики, спросил у какого-то гимназиста:

— Кого это хоронят, милой?

Тот взмахнул на него глазами и ничего не сказал в ответ. Это обидело Тихона Павловича...

— Такой молоденький мальчишка, а не имеет никакого внимания к старшим! Драть бы вас! Ты что думаешь, я не узнаю, что мне надо? Фря какая!

Он пошел дальше и снова очутился около гроба. Гроб несли четверо, причем шли очень быстро и не в ногу. У одного из несших все сваливалось с носа пенсне, и он, вскидывая его снова на переносицу, непременно взмахивал при этом густой гривой рыжих волос.

«А покойник-то, видно, легонький, — подумал Тихон Павлович, — чиновник, надо думать, — они больше поджарые. .»

Шли так быстро, точно человек, лежавший в гробу, еще при жизни успел всем страшно надоесть и все старались как можно скорее отделаться от него. Тихон Павлович заметил это.

«Эк их гонят! Куда торопятся? Тоже люди божии! Чай, поди-ка, как жив был человек, так и то и се, а умер — вали скорее в яму: нам некогда!»

Мельнику стало грустно: будет время, и его вот так потащат. Может быть, скоро уж — ему сорок семь лет.

«А это что такое?» — спросил сам себя Тихон Павлович, увидев на крышке гроба венки, ленты с надписями золотыми буквами и цветы. «Н-да... Значит, персона все-

таки важная. А вот провожатые — оборвыш-народ». — Кого это хоронят? — спросил он поравнявшегося с ним благообразного господина в очках и с курчавой бородой.

— Писателя... — тихо ответил тот и, окинув фигуру Тихона Павловича взглядом, вразумительно добавил: — Сочинителя...

— Понимаем, — быстро откликнулся Тихон Павлович. — «Ниву» выписываем, доченька читала насчет их. Из важных будут покойные-то?

— Н-нет... Не из важных... — улыбнулся его собеседник.

— Так... Ничего... Все-таки заслуженный миру человек. Ина слава солнцу, ина слава луне... звезда бо от звезды разнствует во славе... Однако — венки...

У Тихона Павловича неизвестно почему щемило сердце, скверно так щемило — то будто ущипнет его, то как-то сдавит.

А голосистый дьякон все пел:

— Свя-тый бессмертный!..

И дребезжащий тенор священника, чуть пробиваясь сквозь гущу дьяконова баса, робко и тихо просил:

— По-омилуй на-ас...

Глухо топала ногами толпа провожатых, поднимая с дороги пыль; покойник все качал головой, и надо всем этим бесстрастно сияло знойное, июльское небо.

Тихона Павловича охватило какое-то угнетение — не хстелось ни думать, ни разговаривать. Охваченный общим смутным настроением толпы, шел, чувствуя надоедливое нытье где-то глубоко в груди и не находя ни сил, ни желанья отделаться от него.

Пришли на кладбище, остановились у ямы и поставили гроб на бугор вынутой из ямы земли. Сделали это как-то неловко, неумело. Покойник подвалился к боку гроба, потом снова принял прежнюю позу; казалось, он посмотрел вокруг и остался доволен тем, что его перестали трясти и скоро перестанут жарить на солнце. Дьякон все усердствовал, сотрясая воздух; священник не отставал от него; кто-то из толпы подпевал глухим голосом. Звуки носились по кладбищу и, путаясь между крестами да чахлыми деревьями, давили Тихона Павловича.

И вот оно — самое главное.

Благообразный господин, у которого Тихон Павлович спрашивал о покойнике, подошел к краю могилы и, проведя рукой по волосам, сказал:

— Господа!..

Он так это сказал, что мельник даже вздрогнул и устался на него. Глаза у господина странно сверкали. Он то опускал их в гроб, то оглядывал публику, и пауза между его восклицанием и началом речи была так длинна, что все, кто был на кладбище, успели притихнуть и замереть в ожидании. И вот раздался мягкий, грудной, такой вдумчивый и печальный голос. Говоривший плавно помахивал рукой в такт своим словам; его глаза горели под очками, и хотя Тихон Павлович плохо понимая то, что говорил этот господин, однако он узнал из его речи, что покойник был беден, хотя двадцать лет он неустанно трудился на пользу людей, что у него не было семьи, что при жизни никто им не интересовался и никто его не ценил и что он умер в больнице, одинокий, каким был всю свою жизнь. Тихону Павловичу стало жаль покойника, ноющая боль в груди усилилась. Он пристально уставился на него, измерил глазами его худое, изможденное лицо, маленькую, тонкую и прямую фигурку и вдруг нашел, что этот покойник похож на гвоздь. Он улыбнулся своей мысли. И в то же время благообразный господин, повысив голос, произнес:

— Удары судьбы один за другим падали на его голову, и вот они, наконец, забили этого человека, посвятившего всего себя неблагодарной, черной подготовительной работе по устройству на земле хорошей жизни для людей! Для всех людей, без разбора...

Как раз в это время глаза оратора остановились на лице Тихона Павловича и, поймав его улыбку, сурово сверкнули. Мельник смутился и попятился назад, чувствуя себя виноватым и пред покойником, и пред тем человеком, который рассказывал о нем.

Солнце пекло беспощадно, синее небо смотрело спокойно на ниву мертвых, на толпу вокруг свежей могилы, а голос оратора все звучал, печальный и душевный.

Тихон Павлович вертел головой, разглядывал сумрачные лица слушателей и чувствовал, что не его одного, — всех охватывает тоска.

— Засыпали мы наши души хламом повседневных забот и привыкли жить без души, до того привыкли, что и не замечаем, какие все мы стали деревянные, бесчувственные, мертвые. И люди такие, как он, непонятны нам... — слушал Тихон Павлович.

«Верно! — сказал он тогда про себя. — Это так... Разве я не забыл про свою душу?! Господи!»

Он вздохнул и открыл глаза. Струя теплого воздуха влилась в окно из сада и обдала замечтавшегося человека запахом росистой травы, цветов и затхлой воды из пруда. Тени на полу дрожали сильнее, точно пробуя подняться и улететь. Мельник встал с подоконника, снова придвинул кресло к окну и подошел к кровати. Размечтавшись по перине, жена сопела и всхрапывала, широко раскинув пухлые руки. Эти руки и обнаженная грудь показались Тихону Павловичу чем-то неуместным в эту ночь и как бы задиравшим его. Сердито набросив на тело жены простыню, он взял подушку и, снова подойдя к окну, сел в кресло, положил подушку на подоконник, облокотился на нее и стал думать.

Ему вдруг вспомнилась стая белых голубей, плававшая высоко в небе над кладбищем в памятный день похорон. Он, закрыв глаза, представил себе эти белые точки в голубом небе... и молча упрекнул себя:

«Что, брат, видно, приспичило? Вот и живи теперь... Майся!»

Внеобходимые, беспокойные, тормозящие правильное течение жизни думы шевелились в непривычной к ним голове мельника, одна за другой являлись, исчезали и снова являлись, но уже более тяжелые. Так в ясный летний день по небу пробежит легкий обрывок облака и скроется, растаяв в лучах солнца... но вот еще один... еще... еще... и хмурая грозовая туча, насупясь и глухо ворча, медленно ползет над землей. У мельника от его дум явилась какая-то особая, незнакомая ему раньше, способность все подмечать и запоминать и ко всему прилагать вопрос: «А зачем это нужно?»

«Угнетаем мы душу!» — вспомнил мельник восклицание оратора и поежился.

«Верно — не живет душа-то. Дела всё — главная причина; о душе-то подумать некогда. А она вдруг и тово...

и восстала, значит. Пустой час улучила да и воспряла... Вот те и дела! И к чему очень уж много делов затевать, коли все равно умрешь? Для чего готовим себя, ежели гольем жизнь-то взять? Для смерти... С чем пойдем пред лицо господа? Вот душа-то и напоминает: встрепыхнись, дескать, человек, потому что час твой тебе неведом... Господи, помилуй!»

Тихон Павлович вздрогнул, перекрестился и посмотрел в угол на лик Спасителя. Тени от лампы всё дрожали на нем, он был строг и, казалось, все думал свою большую думу. У мельника в груди стало холодно. А вдруг он сейчас вот... или нет, завтра... Вдруг он завтра умрет! Это бывает с человеком — сразу, без всякой болезни упал да и умер...

— Анна! — громко зовет Тихон Павлович. — Анна, проснись ты хоть на минутку, ради бога. Человек мучается, а она спит!

Но жена не слышит, подавленная сном. Не дождавшись ее ответа, Тихон Павлович встал, оделся и, сопровождаемый ее храпом, вышел из комнаты на крыльцо, постоял на нем с минуту и отправился в сад. Уже светало. Восток бледнел, алая полоса зари лежала на краю сизой тучи, неподвижно застывшей на горизонте. Клены и липы тихонько качали вершинами; роса падала невидимыми глазом каплями; где-то далеко трещал коростель, а за прудом в роще грустно посвистывал скворец. Свежо... И скворцу, должно быть, холодно...

«А и голова у этого барина! Большие у него думы... Вот бы с ним по душе поговорить. Он бы мне и объяснил, как и что... А разве я сам что могу? Совсем и не к тому у меня голова приспособлена».

Мельник печально поник неприспособленной к большим думам головой и все-таки продолжал думать:

«Съездить разве мне к учителю в Ямки? Он тоже тово... гвоздь! Поп Алексей говорит, что это он меня пропечатал в газете. Ишь, желторылый аспид!»

Тихон Павлович вспомнил, как ему было стыдно, когда дочь прочитала в газете о его удалой операции с кирюшинскими мужиками, и как она, закрыв лицо газетой, тихонько спросила:

— Папаша, разве это так было?

Он разозлился тогда.

— Разве грабитель отец-то твой? «Так было!» Дура, чему учишься в гимназии-то?

А было-то именно так, как написал учитель. Но — не сознаться же в этом перед дочерью! Чего она понимает? Теперь он квит с кирюшинскими: когда у него плотину чуть не смыло и они ее крепили — половину своего воротили назад: по три целковых за день на рыло содрали с него. Война! Сплошал — и кончено, — крышка тебе. Да... Учитель-то при этом присутствовал.

«Что, говорит, купец, и вас прижали? — И смеется. Лицо у него сухое, желтое, строгое. — Плохи же вы все-таки, купец... Жадны, а плоховаты».

Мельник сердится и чувствует — правда! И жаден — правда, и плох — тоже правда.

«Скоро ли, о господи, рассветет?» — с тоской подумал он. Скоро уж: алая полоса на краю тучи стала и ярче и шире.

Вот где-то разговаривают люди. Мельник подошел к плетню и лег на скамью возле него, чувствуя, что ему неможется от бессонницы. А голоса людей всё приближались...

— Не проси, Мотря, не теряй попусту слов — не останусь!

Тихон Павлович вздрогнул и привстал на скамье, опершись на локоть. Говорили близко, за плетнем, в кустах бузины. Это Кузьма Косяк, засыпка, с кем-то.

— Не проси, говорю! Не в моей это силе, чтобы здесь остаться; уйду я за Кубань.

— А я-то как же, Кузя? Ты подумай, как я без тебя-то буду? Ведь люблю я тебя, соколика, лю-люблю, вольный ты мой! — отвечало Кузьке низкое женское контральто.

— Э, Мотря! Многие меня уж любили, со всеми я распрощался, и ничего себе — повыходили замуж да позакисли в работе! Встретишь иной раз, посмотришь — своим глазам веры нет. Да разве это они — те самые, которых я целовал да миловал? Ну-ну! Одна другой ведьмистей. Нет уж, Мотря, не мне на роду писано жениться, да, дурашка, не мне. Волю мою ни на какую жену, ни на какие хаты не сменяю. Родился я, слышь, под забором и помру под ним. Судьба такая. По седые волосы

вдоль да поперек шляться буду... А на одном месте скучно мне...

— А меня-то? Кузя, меня-то? Я-то куда денусь без тебя? Подумай-ка! Али ты меня не любишь уж? Али ты меня не жалеешь?

— Тебя-то, тебя-то... А тебя я здесь оставляю... за вдового Чекмарева замуж выйдешь... Дети у него есть... да ничего, сам он мужик хороший.

— Не лю-юбишь ты меня!.. — тихонько сказала женщина.

— Видно, вот люблю, коли разговариваю. Не любил бы, так не возился бы. С девками потому и время теряют, что любят их, а ежели их не любить — куда они тогда? И жалко мне тебя... да ведь как кого ни жалко, а себя всегда жалчей. Было бы, поди-ка, гораздо хуже, если мы с тобой, поругавшись, расстались. Верно ведь? А теперь вот по душам — любовно, ласково все выходит. Я, значит, в свою пойду сторону, ты — в свою, кому куда судьба. Эхма, чего тут толковать! Целуй, что ли, еще разок, горленка!

Звуки поцелуев коснулись слуха Тихона Павловича и растаяли в шелесте листвы. Скворец распелся громче и веселей, петухи за мельницей встречали рассвет.

— Ох, милый ты мой, Кузя... хороший ты мой! Возьми ты меня, горюшу! — снова громко зашептала девушка.

— Вот те и на! Она опять за свое... Я ее целую, милую, как путную, а она мне камнем на шею виснет. Ну девка! И всегда вот эта канитель с вами.

— Да, — али я не человек?..

— Ну, человек. А я? Я, значит, не человек? Скажет тоже... Сошлись мы с тобой полюбу... ну, и пришло время разойтись. Тоже надо полюбу. Тебе жить надо, и мне тоже; путать друг друга нам не след... А ты нюнишь! Дурашка! А ты вспомни: сладко целоваться со мной? Ну? Эх, ты... оладья...

Снова зазвучали поцелуи, прерываемые страстным, задыхающимся шопотом и глубокими стонущими вздохами.

Вдруг вершины деревьев, и все кругом, и само небо точно дрогнуло и улыбнулось свежей, румяной улыбкой — это первый солнечный луч глянул на землю. И, как бы

приветствуя его, раздался ласковый шум пробуждения сонного сада, дунул ветерок, свежий, бодрящий, полный разнообразных запахов.

Звучные теноровые речи Кузьки Косяка, тоскливо-страстное контральто девушки как бы смягчили ноющую боль в груди Тихона Павловича.

«Ах чорт! — мысленно восклицал он по адресу засыпки. — Ах ты, ухобака!»

И, чувствуя зависть к этому вольному человеку, к его уверенности в своей правоте, он встал, вздохнул и хотел пойти домой.

— Пора, Мотря! Пора мне на работу! Смотри, приди ужю!

— Не пришла бы, да не в мочь мне не придти-то, сокол мой! — как-то простонала девушка.

— Э, не горюй! Время придет — слезы утрет. А до той поры мы еще повидаемся не раз. Так ли? Прощай!

За спиной Тихона Павловича затрещал плетень.

Как по степи ветер
Носится, играет...

— Эт!.. Добрый день, хозяин!

Тихон Павлович снял с головы картуз и смущенно посмотрел на работника.

— Здорово!

Из-под расстегнутой красной рубахи видна была широкая, смуглая грудь работника, дышавшая глубоко и ровно, рыжие усы насмешливо пошевеливались, белые частые зубы сверкали из-под усов, синие большие глаза хитро прищурились, и весь Кузьма показался своему хозяину таким гордым и важным, что мельнику захотелось поскорее уйти от него, чтоб засыпка не заметил своего превосходства над хозяином.

— Все гуляешь?

— Пока охота да время — чего не гулять? Иное время придет — работать буду! Чью нынче засыплю? Домолоть попову рожь али что? Да насчет круподерной машины надо бы похлопотать!

— Да, это нужно... Вот я тово... — проговорил Тихон Павлович и вдруг как-то помимо воли dokonчил: — А я,

брат, лежал тут на скамейке да и слышал, как ты... с девкой-то обходился... Ловко ты с ними умеешь...

— Дело знакомое! — сказал Кузьма.

— Много, чай, ты их, девок-то, перепортил?

— А не считал... Какая порча? Чай, я не увечу их...

— Оно так, а все-таки... Например, неужто тебе, Кузьма, не жалко девку-то?..

— Жалко... всегда бывает жалко...

— А ежели, к примеру, ребенок? Бывало ведь, а?

— Чай, бывало, — кто их знает...

Кузьме, очевидно, начинал надоедать допрос. Он переступал с ноги на ногу и, досадливо сжав губы, крикнул.

А Тихону Павловичу понравилось то, что работник смущается его допросом, и он, уже строго нахмурив брови, продолжал:

— А грех — как? Ведь грех!

— Чего грех?

— А так-то действовать..

— Да ведь ребята-то одним, поди-ка, порядком родятся, что от мужа он, что от прохожего, — сказал Кузьма и скептически сплюнул в сторону.

— Это ты совсем напрасно. От мужа — он в законе, а ежели от тебя — куда его? Она, девка-то, возьмет да — от сраму — в пруд дитя-то и сунет. А на тебе — грех! — донимал мельник работника, чувствуя при этом какое-то удовольствие.

— Да ведь, хозяин, коли покрепче подумать, — серьезно и сухо заговорил Кузьма, — так выходит, что, как ни живи, все грешно! И так грешно, и вот этак грешно, — пояснил Кузьма, махнув рукой вправо и влево. — Сказал — грешно, промолчал — грешно, сделал — грешно, и не сделал — грешно. Разве тут разберешь? В монастырь, что ли, идти? Неохота.

Помолчали. От свежести утра Кузьма вздрогнул.

— Веселая у тебя жизнь, брат, легкая, — вздохнул Тихон Павлович.

— Не жалуюсь, — сказал Кузьма, передергивая плечами.

— Жизнь приятная... да!.. Ну, что же? Иди, засыпай!

— Попову?

— Сыпь попову. Как ты это просто рассуждаешь... право! Все грешно... Н-да... Легкий ты, Кузьма... как пузырь.

Кузьма внимательно посмотрел на хозяина.

— Ей-богу. Вон Митька у меня пускает: надует его на соломинку, а он весь — радугой играет и летит, полетит — и лопнет.

Кузьма усмехнулся.

— Ишь приравняли к чему!

— Верно ведь. А уйдешь ты от меня?

— Уйду.

— Да, — куда тебе? Жил бы, жалованья-то прибавлю.

— Нет, не надо. Тошно здесь, все равно уйду.

— Жалко мне тебя отпускать-то: работник ты хороший, — задумчиво сказал Тихон Павлович.

— Нет, я уж уйду. И мне тоже вас будет жалко — привык. А уйду, потому тянет! Самому против себя не надо спорить. Коли кто против себя заспорит, пиши — пропал человек.

— Вот это верно, Кузьма. Ах, верно! — Тихон Павлович даже вспыхнул весь и потряс головой, крепко зажмурив глаза. — Вот я тоже... спорю...

— Тихон Павлы-ич! Иди чай пить, — вскричала откуда-то жена.

— Иду! Иди и ты, Кузьма, начинай с богом.

Кузьма искося взглянул в лицо хозяина и пошел, по-свистывая.

В просторной, чистой комнате у окна стоял стол с шумевшим на нем самоваром, ковригой белого хлеба и кринкой молока. За столом сидела жена — здоровая, свежая, румяная, благодушная, и всюду в комнате было много ласкового и нежаркого утреннего солнца.

Тихон Павлович медленно, покусывая бороду, подошел к столу, держа руки назади и хмуро поглядывая в спину жены.

— С добрым утром, Павлыч! — сказала она, оборачивая к нему голову и приветливо улыбаясь. — Что это ты опять сегодня ночью-то не спал? Ты бы полечился чем. А то думно уж мне стало...

— То-то ты с дум-то и гудела всю ночь, как фабричная труба, — усмехнулся мельник.

— Уж ты скажешь... Слава господу, хоть улыбнулся, а то уж ты последние-то дни и не смеешься, совсем пропал смех-то у тебя... Сердитый все.

— Пропадет, небось, от такой жизни, — вполголоса сказал Тихон Павлович.

— Али что неладно в делах-то? — тревожно спросила жена.

— Не о хлебе едином, сказано в писании... Ну вот и оправдалось. Схватило за сердце и сосет... и будет сосать, пока простора не дашь душе... Завалили мы душу-то всяким хламом, она и стонет без воздуха-то.

— В церковь надо пожертвовать — вот и пройдет все, — посоветовала жена.

Мельник молчал, думая про батюшку Алексея. Очень жадный поп; много раз он подставлял ногу мельнику в его операциях с окрестными крестьянами...

— А то еще сироту взять. .

— Вот это пожалуй. У Дябилкиных, к примеру.

— Налить еще чаю-то? Ты чего накрыл стакан?

— Не хочу.

Тихон Павлович смотрел в лицо жены, и она казалась ему такой жирной, приторной, глупой. Чего она все улыбается?

— А доктора все же бы надо позвать. Позвать?

— Поди ты и с доктором вместе, — зло сказал мельник и, выйдя в другую комнату, наткнулся на сына, спавшего на полу. Тихон Павлович остановился над ним и стал пристально смотреть на черную курчавую голову, утонувшую в складках подушки и сбитой в кучу простыни. На смуглых щеках и на лбу ребенка выступили мелкие капельки пота.

«Ишь ты... развалился, — подумал Тихон Павлович. — Спишь... А какая тебе в жизни дорога лежит?...»

— Тихон Павлы-ич! Вас Кузьма кличет!

Это кричит с круподерки косоротая Марфутка. Мельник у нее в прошлом году ненароком всю семью разорил и теперь вспомнил это. Фома, Марфуткин отец, уходя на заработки куда-то, говорил ему, стоя у крыльца:

— Нельзя, значит, отсрочку-то? Та-ак... Ну, ин ладно. Прощай, значит, Павлыч! Бог тебе судья. Полагать надо, отзовутся тебе наши сиротские слезы, взвоешь, значит, и ты, друг милый! Прощай!

И долго Фома стоял перед крыльцом, почесывая то бок, то спину, и, с напряженным лицом повторяя одно и то же слово по пяти раз, тянул за душу Тихона Павловича.

— Не полагается отсрочки? Та-ак...

Наконец мельник его прогнал...

«Да, разные дела бывают, — думал он теперь. — Иное, действительно, не по закону. А не сделать его нельзя. Урон репутации будет».

Но его не успокоило это рассуждение. Думы, скопясь, давили грудь все тяжелее.

— Поеду в Ямки, — вдруг решил он. — Марфа, скажи Егору — пусть лошадь заложит.

У дверей в круподерку стоял Кузьма, весь седой от пыли, и, посвистывая, смотрел в небо, где в лучах солнца таяла маленькая пыльная тучка. В круподерке что-то бухало и скрипело; из-за нее с мельницы летели серебряные всплески воды и густой шорох. Весь воздух был наполнен тяжелыми, охающими звуками и застлан тонкой дымкой пыли.

— Тихон Павлыч, ремень-то, того гляди, перетрется, — сказал Кузьма, сплевывая в сторону.

— Возьми там у жены новый... Идут дела? — спросил Тихон Павлович у работника и тотчас же заметил за собой, что никогда он раньше не говорил с работником так ласково, как сегодня.

— Вертятся, — ответил Кузьма, исподлобья наблюдая за хозяином.

— Ну, и хорошо... А ты — пузырь, значит?

— Ну, пузырь, коли хотите, — согласился Кузьма и повел плечами.

— Легкая у тебя жизнь!..

— А на что она, тяжелая-то?

— Верно! — Мельник вздохнул. — А ежели... умирать придется... Тогда как?

— Придется — ляжем и умрем, — все более подозрительно оглядывая хозяина, ответил Кузьма.

— Та-ак. А другие-прочие люди?

— А что другие? И они умрут, придет и их время...

— Да-а! — вздохнул Тихон Павлович. — Это так — все умрут... Грустно это для человека...

Кузьма пошевелил усами, запустил одну руку в свои рыжие волосы, другую сунул в карман шаровар и, переступив с ноги на ногу, вдруг широко улыбнулся.

— Вы бы, хозяин, поехали до города да и кутнули там во-всю; вот оно вам и помогло бы!

Кузьма дотронулся рукою до плеча хозяина и захохотал. Его движение и смех поразили мельника. Он как бы потерял сознание своей личности и глупо улыбался работнику, в то же время чувствуя себя до боли обиженным им.

— Ах ты, Кузьма... Как ты это? В Ямки я поеду, это точно... к учителю...

— Валяйте-ка! Там Дуняша Дикова таким вас разговором угостит, что все мысли повыскочат, как блохи, — напутствовал Кузьма хозяина.

Минут через пять сытый гнедко Лукич солидной, развалистой рысцой бежал по извилистой мягкой дороге, с обеих сторон глухо заросшей кустами орешника и калины. Гибкие ветки задевали Тихона Павловича за голову, заглядывали ему в лицо, и, когда лист попадал в губы, мельник поворачивал головой, отплевывался и все думал о своей пошатнувшейся жизни.

«Плохо все, плохо, — думалось ему. — Тоже... жизни! Живешь себе, как все, и ничего бы... А вдруг нашла вот на тебя такая раздумчивая полоса, и все перевернулось вверх тормашками».

В странном, прыгающем беспорядке осаждали думы голову мельника, и все они непривычны, чужды ему. Жалко прежних спокойных дней, когда все было так ясно и хорошо.

Бывало, после вечернего чая, сидя на крыльце, он ставлял Митьку читать страшные рассказы из «Вокруг света». Около него все семейство — жена, дочь, — а кругом так тихо, родственно. Душа спокойна, думать не о чем. Иногда попадаете интересная картинка: изображены на ней деревья с такими громадными узорчатыми листьями; река течет; ширь, даль, простор, не наши русские — пустынные и скучные, — а такие заманчивые. Се-

мейство рассуждает: «Вот бы где мельницу-то поставить!» Поговорив об этом, снова все утонут в чем-то таком теплом и мягком, как пуховик, и уже говорить не хочется больше. Так бы все и сидел молча, не двигаясь.

Показались Ямки. Рассыпанные по пригорку овины, клетушки и избенки, казалось, были кем-то сразу брошены на землю, да так и прихилились испуганно и убито, не смея выстроиться в одну ровную линию. Грязносерые, ничтожные, они казались еще жалче и бедней под покровом бесстрастного глубокого неба, раскинувшегося над ними задумчиво и важно.

«Ишь ты, тоже человеческое жилье! — думал Тихон Павлович, подъезжая к ним. — В каждой такой хорошине человеческая душа живет. К учителю еду... Для разговору... Чудно... Будет он меня попрекать, скажет: «Ох, ты, человек, подумай о душе-то!» А я ему: «Вали, не стесняйся!.. Каюсь — грешен... В газеты ты написал правильно, — объегорил я их. Хоть и они меня объегорили, но они меня — один раз, а я их — три! Хочешь писать — пиши! Валяй! Но прежде объясни, почему раньше ничего у меня, никакой дурости не было, а ныне вот я замотался? Предел это человеку или его собственное неразумие? Положено судьбой, или сам он выдумал?..»

Лукич фыркал от пыли, поматывал головой и, солидно вскидывая ноги, подвозил своего грешного хозяина к Ямкам.

Вот и школа, похожая больше на беяну, опрокинутую вверх дном, чем на храм науки. У одного из трех окон сидит учитель, строгая ножом какую-то палочку, и равнодушно смотрит на подъехавшего мельника.

— Доброго здравия, Александр Иванович! В гости к тебе прискакал; примешь, что ли?

— Милости прошу, — сказал учитель и ушел от окна.

Сухой тон учителя и его серьезное, худое, жесткое лицо смутили Тихона Павловича, и его сердце неприятно сжалось.

Он долго копался около тележки, завязывая вожжи за облучок, прежде чем войти в школу, а проходя мимо одного окна, увидел, что учитель ставит на полку какую-то толстую книжицу и улыбается, — едко так улыбается.

— Еще раз здравствуй! — с принужденной развязностью сказал мельник, протягивая руку учителю. — Ф-фу, как жарко!

Учитель молча сунул ему холодные, костлявые пальцы и, кивнув головой на лавку, кратко бросил:

— Садитесь...

— Сяду, — согласился мельник и сел на скамью у окна, где прежде сидел учитель, который теперь, заложив руки за спину и покашливая, расхаживал по комнате.

Молчание. Тихон Павлович сидел, потирал левой рукой колено, а пальцами правой расчесывал бороду, внимательно глядя в стену.

Учитель подошел к полке и стал рассматривать книги на ней, точно желая убедиться, — те ли это книги, которые стояли тут до приезда гостя? Обоим им было неловко, и оба они это чувствовали, отчего молчание становилось все тяжелее...

— Дело какое имеете до меня? — спросил учитель, подходя от полки к гостю и в упор глядя на него. Лоб у него сморщился, брови хмуро съежились. Ему хотелось кашлять, но он почему-то удерживался от этого, плотно сжав губы. На лице у него явились бурые пятна, худая, ввалившаяся грудь вздымалась высоко и нервно.

— Хм-мм... — промычал мельник, отводя глаза в сторону от учителя, и подумал про себя: «Ледащий какой... Недолго ты, брат, наскрипишь...» — Как бы тебе, Александр Иванович, сказать?

И, говоря, мельник думает: «Тоже — гвоздь... Вроде того... покойника... Над этим слов говорить некому будет... Так в одиночку и исхизнет. Закопают его мужички в землю — и вся недолга. Хоть и он тоже пишет... однако у него кишка слаба, видно. Пишет, — а в деревне живет... Как бы мне начать разговор?»

— Может, чай станете пить? — спросил учитель и, наконец, страшно закашлялся, схватившись за грудь руками. Лицо у него стало серое, весь он изгибался, и в груди что-то свистело, бухало, скрипело, точно там были спрятаны старые стенные часы и теперь они собирались бить.

— Можно и чаю попить, — решил Тихон Павлович. — А здорово ты кашляешь! Кажись, с чего бы это? Время летнее — тепло... а?

— Так уж... — говорит учитель, опускаясь на стул. Мельник почувствовал, что на него повеяло холодной скукой от этих простых и ничего не говорящих слов.

— Ивановна! Поставьте самовар, — крикнул учитель в окно. — Ну-с, так вот... Вы, значит, хотите говорить со мной...

— Это самое... — согласился мельник, кивая головой.

— Хорошо... Я догадываюсь, о чем именно...

— Ой ли? — воскликнул Тихон Павлович и недоверчиво улыбнулся.

— Конечно, о том, что я написал про вас в газете, — сдвигая брови, говорит учитель, озабоченно отдувает щеки и еще суровее хмурит лоб.

— Так я и думал, что это ты писал! Непременно, мол, это он! Потому только двое могут это — ты да поп Алексей. Он тоже сердит на меня...

— Как это — тоже? Разве я на вас сердит? — удивился учитель.

— А то как же!

— Да за что?

— А кто тебя знает! Написал — да и все; а я понимаю, как хочу...

— Позвольте! Я писал не по личной неприязни к вам, а из чувства справедливости, — вздрагивая, проговорил учитель и, подняв тон, добавил, вспыхнув: — Вы не имеете никакого права говорить, что я написал потому, что был сердит...

— Толкуй! — скептически махнул рукой мельник. — А зачем же ты писал?

— Затем, что вы поступили с кирюшинскими крестьянами нечестно!

— О! вот как ахнул! Нечестно! А они, когда у меня плотину прорвало, честно делали? Небойсь, ты про них не написал вот?!

— Но, позвольте! — все более разгорался учитель.

Лицо у него покрылось красными пятнами, он стал заикаться, очевидно, желая сказать много и не находя

нужных слов. У него странно вздрагивали уши, сверкали глаза. И мельник, глядя на него, тоже закипал.

— Чего — позвольте! Про меня написал — и про них пиши. Коли я с ними поступил не по совести, так ты знаешь, что и они со мною поступили этак же; на твоих глазах было. Однако вот ты молчишь! А говоришь — из справедливости! Эх ты...

— Ну-с, дальше что же? — спросил учитель и, вдруг как-то весь изогнувшись, кашляя и торопясь, быстро глотая слова, зачастил:

— Вы не понимаете... я не мог... я... Вы подозреваете меня чорт знает в чем! Какая у меня может быть к вам вражда? То есть — нет... она есть! Она всегда будет! — вдруг высоко выкрикнул он.

— Ну вот! Ага! А говоришь: по справедливости! Как же по справедливости, коли по злобе? Эх ты! И жить-то тебе недолго осталось, а ты людей мутишь! Меня дочь как этой твоей писулей смазала! Родная дочь — пойми!

— Позвольте! — уже кричал учитель. — Какое мне дело до вашей дочери? Я не говорю, что к вам лично чувствую вражду, а говорю — к группе, классу.

— Ты мне мудреных слов не говори, не надо! Я и так тебя понимаю хорошо.

— Нет, я... Вы оскорбляете меня вашими подозрениями! Вы можете опровергнуть меня фактами, доказать, что я неверно понял событие, что я неправ... но говорить...

— Я все с тобой могу говорить, — стукнув себя в грудь ладонью и вставая со стула, с сознанием собственного достоинства заявил мельник: — Я — лицо в округе... Меня на сто верст кругом знают и уважают, а тебе вся цена восемнадцать рублей в месяц.

— Я не хочу... — Учитель топнул ногой и, весь дрожа, задохнулся от волнения и приступа кашля. И, пока он кашлял, со стоном корчась от боли и недостатка воздуха в пораженных легких, Гихон Павлович, стоя перед ним в позе победителя, громко и отчетливо, с красным возбужденным лицом и сознанием своей правоты, отчеканивал ему:

— Эх ты, справедливый человек! Обличаешь другого, а сам себя тоже вот обличил! Какая тебе цена после

этого? Я было к тебе, как к умному, с разговором приехал... поговорить по душе... А ты что? Понял ты меня? Написал! Ну что ж? И написал! А кто читал? Один поп читал... Я все такой же, как был, так и остался... Я к тебе приехал с душой, а не с враждой, а ты гнешь себе свое да кричишь на меня. Можешь ты на меня кричать? Восемнадцать рублей в месяц получает, живет без всякого закона, один, как перст, а туда же — справедливость! Э-эх! Прощай, брат! Не обижаюсь я на тебя за твою дерзость, а жаль мне тебя... жаль... Прощай! Плохая твоя жизнь, и мы все умрем... не надо этого забывать... да!

Тихону Павловичу под конец его речи сделалось чуть не до слез грустно. Учитель, охваченный припадком кашля, сидел на стуле согнувшись и, низко наклонив вперед голову, весь дрожал. Одной рукой он держался за бок, а другой судорожно махал в воздухе, должно быть, желая остановить расхажившегося купца.

Мельнику было жалко смотреть на него, и в то же время ему хотелось сказать что-то такое чувствительное, что зашемило бы сердце учителя тем же чувством, которым полно его, мельниково, сердце. Но чувствительных слов не было, хотя голос дрожал и переливался нотами низкими и как бы плачущими. Мельник сознавал, что все, что произошло между ним и учителем, очень обидно для обоих, и ему захотелось прекратить скорее эту тяжелую сцену.

— Прощай! Не поминай лихом... предстанешь пред господом... — И, махнув рукой, он глубоко напялил на голову картуз и поспешно вышел вон.

— Нет, позвольте... — раздалось вслед ему хриплое, возбужденное восклицание учителя.

— Ладно! — буркнул себе под нос мельник, отвязывая вожжи.

— Воротитесь... Мы должны... — появился учитель у окна. Он высунулся до половины на улицу, держась одной рукой за косяк, а другой сильно жестикулируя.

— Никто ничего не должен... Все мы — люди... — бормотал Тихон Павлович, занося ногу на подножку тележки.

— Воротитесь! — крикнул учитель.

Он очень странно крикнул. Тихон Павлович обернулся и посмотрел на него. Лицо у него было страшное,

глаза мутные, лоб в поту, и горло спазматически сжималось.

Мельника кольнуло что-то.

— Э... другоряд приеду! Все равно!

Он больно хлестнул вожжами Лукича, сразу подхватившего тележку в бойкую рысь. Учитель что-то кричал вдогонку.

— Катай! — крикнул Тихон Павлович еще раз, ударив лошадь, и даже скрипнул зубами, желая заглушить горькое чувство, наполнявшее его.

Выехав за деревню, он несколько остыл. Лукич быстро семенил ногами по извилистой дороге среди золотой пустыни вызревшего хлеба. Впереди дороги, на горизонте, собиралась туча: темносизые, лохматые облака сползались в тяжелую, почти черную массу, и она двигалась навстречу мельнику, бросая от себя на землю густую тень. И на душу ему ложились тени. Он дернул вожжами и, не думая, своротил влево, на более широкую и убитую колею. Туча осталась теперь справа, а впереди, в желтом море хлеба, был виден маленький темный островок леса и кое-где среди холмистой пустыни, ярко залитой солнцем, бросались в глаза широкие черные ленты вспаханной земли, одинокие в богатой ниве. С них на душу мельника веяло чем-то родственным ей. Лукич бежал, и навстречу ему, зеленея, приближался островок леса, все рельефнее выступая на яркожелтом фоне нивы и мутноглубом небе.

«А ведь это я на станцию еду! — подумал мельник, когда из-за холма показалась линия телеграфных столбов. — Не поехать ли мне в город? Лошадь со станции домой отошлю с кем-нибудь... Н-да. К учителю съездил, поговорил. Учитель! А ты учить-то — учи, да и сам тоже получивайся, понимай вокруг-то себя, как и что. Какой бы это леший загнал меня к тебе, кабы душа к тому не понудила? И должен ты, учитель, всегда на такой точке стоять, чтобы человеку до тебя взобраться можно было. А то — эка вот! — вперся со строгостью-то своей выше печной трубы, да и пошел оттуда пророчить... Добродетели стопудовые!»

Чем дольше он думал, тем яснее становилось, что учитель виноват пред ним, и мельнику было приятно сознавать это...

«Эх, люди! Не можете вы обращать внимания на другого, коли он вам не нужен и вы его не боитесь. А еще учителя! Видно, соблюдение-то своей строгости дороже вам чужой души...»

Лукич бодро подбегал к станции, а навстречу ему, свистя и разметывая в воздухе толстый жгут белого пара, приближался поезд, наполняя воздух тяжелым грохотом.

И грохоту поезда отвечали раскаты грома из тучи, охватившей мраком уже почти две трети неба. Через несколько минут Тихон Павлович сидел в вагоне и мчался степью, следя глазами за мелькавшими мимо окон полосами хлеба и вспаханной земли.

Черное небо то и дело рвали огненные стрелы молнии, и гром гудел над быстро летевшим поездом. Шум колес на стыках рельс и лязг сцеплений пропадали в реве грома, а неуловимо быстрые молнии, мелькая мимо окон, слепили глаза.

«Зачем мне в город?» — тоскливо спрашивал себя мельник.

Его встряхивало, покачивало; блеск молнии заставлял его то и дело щурить глаза, грохот грома — вздрагивать и креститься. И наконец он задремал.

II

«Куда же бы мне пойти? К кому?» — спросил себя Тихон Павлович, отойдя от вокзала квартала два, и почувствовал, что никого из знакомых ему не хочется видеть да и вообще ничего не хочется.

Всю дорогу он спал; приехав в город, пошел в гостиницу, ел там селянку, пил чай и смотрел в окно, как шел дождь.

Дождь шел крупный, долго шел — часа три, эти часы мельник провел в думах, навевших на него какое-то оцепенение. Потом он решил уехать обратно домой, но, когда пришел на вокзал, оказалось, что поезд уже отправился. Он сел на платформе вокзала, глядя, как маневрировали поезда, суетились разные чумазые люди — смазчики, составители, сцепщики, кондуктора товарных поездов. Поезда приходили и уходили, и Тихону Павловичу вся эта

суматоха станционной жизни казалась какой-то неосновательной, непродуманной. Зачем нужно так суетиться и хлопотать, так много отвозить и привозить, коли все люди умрут? Нужно бы больше заботиться о покое... И мельнику страшно захотелось покоя, глубокого, сонного, без дум и без забот. Это желание потянуло его куда-то. Тогда он пошел в город и шел теперь холодный и безучастный ко всему.

На улице — тихо и темно. По небу быстро летели обрывки туч, по мостовой и стенам домов ползли густые тени. Воздух был влажен, душен, пахло свежим листом, прелой землей и тяжелым запахом города. Пролетая над садами, ветер шелестел листвою деревьев — тихий и мягкий шопот носился в воздухе. Улица была узка, пустынна и подавлена этой задумчивой тишиной, а глухой грохот пролетки, раздававшийся вдали, звучал оскорбительно-нахально. Мельник шел, заложив руки за спину, и нес с собой свои бесформенные полудумы, полуощущения, одевавшие сердце его в холод и туман.

Вдруг откуда-то вырвалась толпа странных, точно сцепившихся между собой звуков духовой музыки и понеслась над городом в бешено громком вальсе. Одна нота была такая тяжелая, обрывистая — уф, уф! Она совсем не вязалась с остальными и, тяжело вздыхая, лезла выше всех остальных... Казалось, что-то большое и тяжелое грузными прыжками пробует вырваться на волю и не может.

«Зайти, что ли?» — спросил себя мельник, остановившись у отворенных ворот с двумя ярко горевшими фонарями. Прямо из ворот куда-то вдаль тянулась аллея акаций. И, еще не решив, следует [ли] ему идти в сад, Тихон Павлович уже шел по ней, глядя на фонари, развешенные вдоль аллеи на проволоке и бросающие на бурую дорожку разноцветные пятна. Аллея круто повернула направо, и Тихон Павлович увидел эстраду, на ней играл военный оркестр, перед эстрадой — лавочки, на них какие-то темные фигуры. Ему не захотелось идти туда, — он сел на одну из скамей, стоявших по бокам аллеи.

Шумели деревья, и над ними по небу, все более очищая его, мчались клочки туч. Какая-то женщина прошла мимо Тихона Павловича... Он равнодушно посмотрел ей

в спину, она воротилась и снова прошла мимо. Тогда он про себя обругал ее... Вдруг она направилась к нему, села с ним рядом и заглянула ему в лицо. Перед ним мелькнули темные, пытливые глаза, большие красные губы и прямой, красивый нос. Он степенно и брезгливо отодвинулся, и ему стало еще скучнее.

— Скучно, купец? — спросила его соседка.

— Да-а... — протянул он, но сейчас же спохватился и хмуро сказал ей: — Проваливай... нечего даром-то лясы точить... Не таковский...

Она засмеялась глубоким, грудным смехом.

— Сердитый... Не бойся, не трону... Мне самой скучно, вот я и спросила...

Он помолчал, ожидая, что она встанет и уйдет. Но она не уходила, а, позевывая, продолжала сидеть рядом с ним. Он искоса посмотрел на нее — она очень молода и красива. Музыка перестала играть и снова начала, на этот раз что-то менее шумное.

— Что же ты торчишь тут, если тебе скучно? — вдруг спросил Тихон Павлович свою соседку.

— А ты? — не глядя на него, кротко бросила она.

— Я приезжий... куда я пойду?..

— В номер, где остановился, иди, а то в трактир.

— Ишь ты! — сказал Тихон Павлович и, помолчав, прибавил: — Чай, там тоже скучно одному-то...

— Компанию найди...

— На улице, что ли, мне ее подбирать?

— В трактире всегда компания есть.

— Это, положим, так... — вздохнул мельник и подумал: «А что, в самом деле — не пойти ли мне в трактир? И эту взять с собой... Может, что и выйдет?» — Ты пойдешь со мной в трактир-то? — спросил он.

Она ответила не сразу, как-то замялась.

— Пожалуй... Человек только тут один будет искать меня.

— Ну, какой там человек?

— Нет, верно... Мастеровой один...

— На что он тебе? Плюнь, пойдем...

Ему положительно стала улыбаться мысль о хорошей пирушке.

— Да, я иду... Он, чай, навстречу, попадет...

— Больно нужно! — сказал мельник, поднимаясь со скамьи. — Айда!

Она встала и пошла, высокая, стройная, в белом платочке на голове, рядом с ним, кряжистым человеком, в поддевке до пят.

— Нет, кабы встретить его, хорошо бы было, — говорила она и зачем-то пояснила: — Это безрукий...

— Это как?

— Оторвало ему руки-то на машине.

— Так на что тебе его? — несколько удивился Тихон Павлович.

— А он поет больно хорошо.

— Ну?

— Мы с ним сегодня хотели на реку пойти в рощу...

— Так... — усмехнулся мельник. — Ну, так что же теперь?

— А ничего, — кратко сказала она.

Они вышли из сада, и мельник, спросив, куда надо идти, крикнул извозчика. Подпрыгивая по неровной мостовой, пролетка с дребезгом покатила между двумя рядами домов. Было еще не поздно. Из окон на улицу лился свет ламп и звуки голосов. Проезжая мимо одного маленького белого дома за палисадником, Тихон Павлович услышал раскаты басистого смеха, которому вторил смех женщины, звонкий и душевный.

«Живут люди... не дурят, не мудрствуют», — подумал он с огорчением, и ему стало обидно за себя.

— Так говоришь — без рук? — помолчав, спросил он женщину.

Она плотно прижалась к нему, держась одной рукой за крыло пролетки, а другой за его колено.

— Миша-то? Да... — сказала она.

— Так. Он кто же тебе будет? Милый друг, что ли?

— Н-ну! Тоже... Он уже старый, больной. Он давнишний наш знакомый — маленькую меня, бывало, на руках таскал.

— Ишь ты что! А отец-то у тебя кто?

— Маляр был.

— Умер?

— В холеру помер... Скоро и приедем.

— Так... А ты до этого чем занималась? — любопытствовал мельник, чувствуя, что когда он говорит, так ему легче.

— Швейка, — ответила она.

Через несколько минут они сидели в углу большого трактирного зала. Трактир был грязный, тесный, пахучий. Посреди зала за одним из столов шумела компания пьяных; у одного из окон, заставленных горшками герани и фуксий, пили чай два подозрительные человека; один — лысый, с ястребиным носом, поминутно кашлял; другой — черный, с солдатскими усами, меланхолично свистел сквозь зубы, глядя в свой стакан. В углу, у изразцовой печки, сидел седенький старичок с благочестивым, истомленным лицом и сладко прищуренными глазками. Еще несколько человек очень странно разбросаны по большой закоптелой комнате, и никто не обращал внимания друг на друга.

Мельник со своей подругой уселись в темном углу, у двери в маленькую комнатку, им хорошо был виден весь трактир, освещенный пятью стенными лампами. Их стол стоял у открытого окна; с улицы на них веял теплый ветер, густой от смешанных запахов.

— Тебя как звать-то, красавица?

— Анной.

— Ну-ка, Аннушка, выпьем для знакомства.

Он налил из поставленной перед ним бутылки две рюмки водки; чокнулись и выпили. Аннушка сняла с головы платок и стала красивее: волосы у нее были волнистые, каштановые, глаза — продолговатые, карие. Она то прищуривала их, то открывала, перебирая пальцами полной и белой руки сборки ситцевой кофточке на груди.

— А плясать ты умеешь? — спросил Тихон Павлович, рассмотрев ее и найдя, что она должна быть особенно хороша в пляске, когда идет этак боком и поводит плечом, подманивая к себе глазами...

— Пляшу... — ответила она, снова наливая рюмки.

— И выпиваешь-таки, видно? — усмехнулся мельник.

— А как же? Такая жизнь... Нам не пить нельзя... — спокойно заявила она.

— Разве уж больно тяжело? — допрашивал мельник, не скрывая недоверия к ней и насмешливо улыбаясь.

Она ответила не сразу: сначала оправила волосы на голове, отломил кусочек черного хлеба, понюхала его с видом записной пьяницы, потом положила в рот и, медленно пережевывая, заговорила:

— Чай, если и вас заставить целоваться со всякой бабой, какая того от вас захочет, так и вам, даром что вы мужчина, противно это станет. А наша сестра должна... А ведь среди вас хороших-то больно мало, больше всё... такие, что, того и гляди, стошнит. Опять же и грех... Мы не бесчувственные какие — бога помним... совестно. Иногда — особенно с похмелья — так жутко станет, что вот взяла бы да и сунула голову в петлю... Ну, сейчас возьмешь полбутылки, да и оглушишь себя натошак-то... И втянешься... Без водки на такое дело нельзя выходить — затоскуешься...

Еще с начала ее речи Тихон Павлович почувствовал, что ее глаза как-то щиплют его за сердце, остановившись на его лице и как бы стараясь запомнить его. Когда она сказала «такие», сделав паузу перед этим словом, — он почувствовал, что в этой паузе много обидного для него. А потом она заговорила о боге. Он пригласил ее с собой совсем не для этого. И в душе его вспыхнуло раздражение против нее. Он строго и веско заговорил:

— Кому что назначено, тот и должен нести свою тяжесть... н-да. А вот я приехал с тобой сюда для веселья, а не для постных разговоров. Разговор такой — совсем ни при чем в нашем деле. Желая я разгуляться и чтобы с треском... понятно? Сто целковых брошу, но чтобы был отдых душе. Чтобы вихрь был! Можешь ты мне в этом деле способствовать? Действуй — десятку дам! Но чтобы — вот как было!

Он повел рукой по шее и мотнул головой, защурив глаза.

Она поняла его и тоже сразу вспыхнула. До этой поры он ей казался мямлей, бородачом-семьянином, который и согрешить желает только до известного предела; но теперь ей стало ясно, что он может развернуться широко. И, блеснув глазами, она встала со стула, накидывая на голову платок и говоря:

— Так бы вы сразу и сказали, а то чешете язык, и невозможно понять — зачем? Посидите, я в минуту воро-

чусь. Сейчас будет гармонист, песни будем петь, спляшем... А вы, пока я хожу, переберитесь-ка вот сюда... — она указала рукой на соседнюю комнату, — да закажите чаю, водки еще и закуски... Нуте-ка, я тяпну еще одну!

Она «тяпнула» рюмку водки, улыбнулась и исчезла.

А он подозвал полового, заказал ему все, что было нужно, и перешел в соседнюю комнату. В ней было три окна, все на улицу; в одном простенке висела картинка, изображавшая охоту на медведя, в другом — голую женщину. Тихон Павлович посмотрел на них и сел за круглый столик, стоявший перед широким кожаным диваном, над которым опять-таки висела картина, изображавшая не то дуга, не то море в тихую погоду. В соседней комнате гудела публика, все прибывавшая, звенели стаканы, хлопали пробки.

«Попробую встряхнуться... — думал Тихон Павлович, наливая себе водки. — Авось, после оживу. Будет, поваландался с собой. Кабы можно было мне понимать, как и что — дело другое. Но понимать я не могу. Томит меня, а что томит? — неизвестно. Ну, положим, умер человек — что же такое? Дело ясное — жил, — оттого и умер. И я умру... Душу забывать не надо — это точно. Но чего она хочет? Кабы я мог это понимать! — Ему вспомнился Кузька. — Он вот дает простор себе. Живет... и никаким думам не подвержен. А ведь у него тоже душа, ежели правильно рассудить. И у учителя душа. Однако все люди — разные. Вот и эта бабенка — тоже: жить — говорит — совестно. А почему совестно, ежели судьба? Без божьей воли и волос с головы не падет...»

Он тяжело вздохнул, выпил и, откинувшись на спинку дивана, прислушался к себе.

Почему-то ему представилась большая труба военной музыки в саду.

— Уф, уф, — рычала она, выбиваясь из толпы других нот. Потом он ясно вспомнил дребезг пролетки, что так грубо нарушал грустную тишину вечера.

«Разве можно самого себя понимать, коли человек, можно сказать, как мельница: целый день разные разности перетирает своим умом?» — с обидой на кого-то подумал Тихон Павлович.

Ему казалось, что он как бы раздвоился: одна его половинка незаметно для другой старается куда-то столкнуть ее. Он осторожно обходил сам себя, как обходил он разных мужичков, вступавших с ним в сделки.

«Разве я спорю? — доказывал он себе, хмурия лоб. — Грешен и закоснел — понимаю... Но как мне распротаться-то? Придет пост — буду говеть, а до той поры — уж как ни то — надо сносить».

И все-таки, в конце концов, он ясно чувствовал, что одному ему не годится оставаться здесь долго, что его опять понемногу охватывает и засасывает тоска.

«И чего эта чортова кукла провалилась?» — с негодованием подумал он, и в ту же минуту отворилась дверь.

Перед ним стоял высокий человек в красной рубашке, пустые рукава которой свободно болтались по бокам, ниспадая с плеч. Клинообразная русая борода удлиняла бледное, испитое лицо с лихорадочно блестящими серыми глазами; длинная шея с изогнутым и вытянувшимся вперед кадыком придавала этой странной фигуре что-то журавлиное. На ногах у него были валенки и плюсовые шаровары, вытертые на коленях. Ему было, наверное, лет под пятьдесят, но глаза молодили его. Он смерил Тихона Павловича взглядом.

— Значит, вы и есть купец?..

— Я...

— Налейте мне рюмочку.

— Изволь.

— И поднесите.

— Могу.

Мельник налил водки, поднес ее к губам безрукого, и тот сразу, потянув в себя воздух, с каким-то особенным свистом выхлебнул ее содержимое все до капли.

— Закуски надо?

— Не употребляю после первой рюмки.

— Налить еще?

— Покорно благодарю...

Он говорил высоким металлическим голосом, после двух рюмок глаза его заблестели еще ярче, а на щеках вспыхнули два красные пятна. Тихон Павлович дал ему кусок хлеба с какой-то рыбой, тот взял его губами, сел на диван и, наклонив голову над столом, положил закуску

на край стола и ел. Кусая, он далеко вытягивал нижнюю губу и удерживал ею пищу от падения на пол. Тихон Павлович смотрел на него, и ему было жалко этого изуродованного человека.

— Как это руки-то?.. — спросил он с соболезнающей нотой в тоне вопроса.

— Очень просто: попал в пьяном виде в приводный ремень — раз, два! — три месяца в больнице, и — пошел в нищие! — быстро рассказывал калека.

— Больно-то, чай, как было! — воскликнул Тихон Павлович, чмокая губами.

— Это прошло. А что прошло, того и нет. Скверно вот то, что есть, а то бы все наплевать.

— То есть как? — не понял Тихон Павлович.

— Очень просто: жить без рук невозможно. Даже милостыни принять нечем — вот какая подлость! Ртом ловить — зубы вышибут.

— Это верно, — засмеялся Тихон Павлович.

В калеке было что-то бойкое, бодрящее, и его глаза сверкали так умно. Тихон Павлович подумал, что, должно быть, он хороший, веселый парень, даром что без рук.

— Аннушка — скоро? — спросил мельник.

Безрукий быстро вскинул голову и остро посмотрел в лицо Тихона Павловича. Тому показалось, что это какой-то особенный, неприязненный взгляд, и он скосил глаза в сторону, немного смущенный.

— Вы где ее подцепили? — спросил безрукий.

— В саду...

— А!..

— А что?

— Так...

— Красивая девица, — сказал Тихон Павлович, чувствуя, что неприязнь к нему все возрастает у его собеседника.

— Тоже калека... — кратко бросил тот.

— То есть как?

— Души нет. У меня машиной руки вырвало, а у нее душу — жизнью. Жизнь у бедных людей проклятая — калечит без всякого резона. Жестокая жизнь.

Помолчали. Безрукий ерзал по дивану, точно разжигаемый каким-то нетерпением, а Тихон Павлович,

исподлобья поглядывая на него, чувствовал себя неловко, злился и чего-то боялся.

— Еще рюмочку?

— Давайте... Но больше не надо, а то не буду петь.

— В певчих были?

— Я? Всем был — часовых дел мастером был, певчим был, смазчиком на железной дороге был, роговыми изделиями торговал, приказчиком по лесной части... Давно живу!

— Н-да... Вон как... — сказал Тихон Павлович, поражаемый бойкостью собеседника. Снова помолчали.

— А долго не идет Аннушка-то...

— Анюта? — как-то весь перекосясь безрукий. — Придет! — И он сухо засмеялся. — Непременно придет... Вы ей десять целковых хотели дать? Придет — еще бы! За десять-то целковых, когда она за рр... эх! — Он, извиваясь своим длинным телом, закашлялся. — Я эту Анюту с шести лет знаю. Н-да... Я ее на руках носил, пряники ей покупал, а теперь сам вот живу под ее охраной... Я ей, бывало, пряники, а она мне теперь хлеб и водку... Времена переменчивы. А люди — скоты. Впрочем, все держится в своих законах, и человек на земле не более, как ничтожная гнида. Все в порядке, ныть и плакать не стоит — ни к чему не поведет. Живи и ожидай, когда тебя изломает, а если изломало — жди смерти! Только и есть на земле всех умных слов. Поняли? И Анюта, и я, и вы — все мы в молодости нашей потеряли все, а нашли до сей поры шиш с маслом! И больше никаких. Всякие разговоры — пустяки и чепуха. Я прежде был другого взгляда на жизнь и очень беспокоился за себя и за других — как, мол, и что, и какой смысл, и в чем суть, и зачем, и почему... Нынче — наплевать! Проходит жизнь известным порядком, ну, и проходи, — так, значит, надо, и я тут ни при чем. Законы-с; против них невозможно идти... И незачем, потому что даже и тот, кто все знает, ничего не знает. Уж поверьте мне в этом случае — с умнейшими людьми вел по этим делам беседы — со студентами и со многими священнослужителями церкви. Х-хе!

Он горел и кипятился, этот безрукий калека, кидая одну за другой свои отрывистые и туманные фразы Тихону Павловичу. Тон его речи был странен: в нем звучала

и горькая обида, и безнадежность, насмешка, и страх перед законами и силами — словами, которые он произносил с каким-то особенным подчеркиванием и понижением голоса.

Тихон Павлович мало понял из его речи, но она сообщила ему какую-то нервную робость, он чувствовал, что калека что-то объясняет ему. И, когда безрукий сделал паузу, задыхаясь от всего сказанного, он робко и задумчиво спросил его:

— Значит, человеку некуда податься?

— Ни на вершок! — сверкнув глазами, сказал безрукий и, подвинувшись всем корпусом в сторону Тихона Павловича, добавил голосом сдавленным и строгим: — Законы! Тайные причины и силы — понимаете? — Поднял кверху брови и многозначительно качнул головой. — Никому ничего не известно... Тьма! — Он съежился, вобрав в себя голову, и мельнику представилось, что если б его собеседник имел руки, то он, наверное, погрозил бы ему пальцем.

— Н-да-а! — протянул мельник, задумчиво теребя бороду и наморщивая лоб. — Ну, а как же душа?

— Душа?.. Младенцев, малых ребят в кабаках и других таких местах видали? Вот — душа на земле! Испытание ей дано...

— Значит, как же теперь, ежели совесть?..

— Вот — идут... — кивнул головой безрукий.

В дверях стояла Аннушка, раскрасневшаяся и тяжело дышавшая; из-за ее плеча высовывалась усатая физиономия в фуражке, ухарски сдвинутой на ухо, и с насмешливо прищуренными глазами.

— Михаил Антоныч! Костя пришел...

— Костя? — восторженно воскликнул безрукий. — Дельно! Это восторг один! Костя, иди сюда!.. Вот, купец, человек, так сказать, талант! Вот — душа!

Из-под локтя Аннушки вынырнул худой и желтый юноша, сутулый, с ввалившейся грудью, с тонкими губами; они были у него полуоткрыты, и из-за них видно было два ряда зубов, черных, поврежденных винным камнем.

В комнате сразу стало шумно — пришедшие внесли с собою целую волну разнообразных звуков. Усатый

человек с насмешливыми глазами оказался гармонистом; он сейчас же сел в угол дивана и поставил себе на колени большую гармонику с бесчисленным количеством клапанов и взял какой-то чрезвычайно высокий и бойкий аккорд, после чего победоносно взглянул на Тихона Павловича и налил себе рюмку водки.

Кроме Аннушки, пришла еще девица — Таня, как называл ее молодой человек в пиджаке, не то ремесленник-«чистяк», не то мелкий приказчик. Они уселись к окну, а Аннушка, гармонист, Тихон Павлович, безрукий и Костя составили группу у стола. Там, в большой комнате, народу набралось много, гудел могучий, пьяный шум.

Безрукий и Костя говорили что-то между собой вполголоса; лицо Кости освещалось глубоко ввалившимися голубыми глазами, под ними были большие темные пятна. Он был в поддевке, в красной рубахе и сапогах с набором. Аннушка что-то шептала гармонисту, лукаво улыбаясь, а тот слушал ее и равнодушно поглядывал на мельника.

Все чувствовали себя несколько стесненными, особенно Тихон Павлович, потерявшийся при виде стольких незнакомых лиц. От выпитой водки и разговора с безруким голова у него наполнилась туманом.

Мельник крикнул, желая обратить на себя внимание, и его поняли. Все как-то засуетились, сразу сдвинулись плотнее к столу; Аннушка вскочила с дивана и села рядом с мельником на стул; пара от окна тоже подошла к столу.

— Для начала выпьем, господа компания! — возгласил Тихон Павлович, и ему очень понравилось то, что он сказал эти слова так степенно, солидно, веско.

Выпили. Безрукому подал Костя, сидевший рядом с ним.

— Вы, значит, — обратился Тихон Павлович к безрукому, — как человек этакий... — Он замялся, взглянув на плечи этого человека. — Вы и командуйте всем. Чтобы было весело, чтобы ходуном ходило все... Выпьем еще по одной для развязки!

— Можно, — согласился безрукий. По мере того как он пил, у него все более расширялись глаза и в кадыке начинало что-то клокотать. — Выпьем и споем хором! Идет? Хорошо будет! Ты, Костя, подвывай-подголашивай,

Аннушка заведет, а вы, Марк Иванович, подтяните на гармонике.

Все заговорили сразу. Юноша в пиджаке находил, что хора не выйдет — мало голосов; гармонист согласился с ним и, очевидно, желая показаться сведущим, употреблял разные специальные термины.

— Никак не выйдет, потому все мажорные голоса, и будет один крик. Триё — вот это будет враз, — втроем, значит, нужно петь.

Аннушка, выпившая и возбужденная, ластилась кошкой к мельнику. Он старался сохранить солидность, но уже масляно улыбался и ущипнул ее за бок. Она тихонько взвизгнула и ударила его по руке. Они увлеклись понемногу, а вокруг них все горячее разгорался спор о том, что и как петь.

— Марк Иванович, это не так! — с тоской в голосе восклицал безрукий.

— Нет, так! — глухим басом рубил гармонист.

Костя не принимал участия в споре: отвалившись спиной в угол дивана, он выпятил грудь, полужакрыл глаза и вдруг почему-то побледнел.

— Костюшка, запевай! — крикнула Таня высоким контральто и облокотилась на стол, подперев щеку рукой. Ее кавалер начал что-то шептать ей на ухо, скашивая глаза в сторону мельника, обнявшего свою соседку за талию и подносившего к ее рту рюмку рябиновой. Она жеманилась, отворачивая голову в сторону. Таня посмотрела на нее ленивым взором тусклых синих глаз и снова приняла прежнюю позу, кинув гармонисту:

— Будет вам!

А безрукий, наклонившись к нему корпусом и брызгая слюной, громким звенящим голосом кричал:

— И опять не так! Нужно начинать с грусти, чтобы привести душу в порядок, заставить ее прислушаться.

— То есть это как же? — скептически возражал гармонист, хмурия брови и поводя усами.

— А так — она чувствительна к грусти... Понимаете? Вот вы ей сейчас и закиньте удочку — «Лучинушкой», к примеру, или «Заходило солнце красное» — она и остановится, замрет. А тут вы ее хватите сразу «Чоботами» али «Во лүзях», да с дробью, с пламенем,

е плясом — чтобы жгло! Ожгете ее, она и встрепенется! Тогда и пошло все в действие. Тут уж начнется прямо бешенство — чего-то хочется и ничего не надо! Тоска и радость — так все и заиграет радугой!..

Безрукий задыхался от возбуждения и странно раскачивал корпусом, точно собираясь нырнуть на пол под ноги гармониста. Шум в трактире становился все более хаотичным, оглушающим, пьяным.

И вдруг в него впилась высокая теноровая нота, болезненно вибрирующая, протяжная, унылая:

«Эх, да в непогоду-у...»

— Ш-ш-ш! — змеей зашипел безрукий, вскинув кверху голову и обводя публику широко раскрытыми глазами с выражением в них и просьбы, и какой-то боязни, и удовольствия. Публика сразу притихла, уставилась на Костю, сидевшего на диване с бледным лицом и судорожно открытыми губами, из которых, взвываясь все выше, лились красивые, печальные звуки...

— Таня, подхвати, голубушка! — шептал молящим шопотом безрукий.

«Ветер воет, завывает...»

— сразу перешел Костя на речитатив.

Таня равнодушно, с видом человека, говорящего: «Могу — мне все равно!», посмотрела на Костю и, крепче приложив руку к щеке, подхватила прежде, чем Костя кончил свой речитатив.

«А мою голо-овушку...»

— «Злая грусть терзает!..» — продолжал Костя, неподвижный и весь углубившийся в себя. Маленький он был, сухой, желтый. Голос Кости, высокий, металлический тенор, дрожал, рыдая, и замирал в тоске, но прежде чем он прерывался, раздавалось густое контральто Тани. Оно задумчиво и печально плыло из ее горла, ровное, безнадежно спокойное; это делало слова песни еще более грустными. В дверях комнаты стояла толпа людей с красными, возбужденными и потными физиономиями; за ней, где-то там, в комнате, попрежнему звучали стаканы и гудели

пьяные голоса, но они всё ослабевали, а толпа у дверей протискивалась дальше в комнату.

«Эх, да и пойду я в степи...»

— грустно рассказывал Костя с красными пятнами на своем лице.

«В степи-и...»

— подхватила Таня, и голос ее звучал только как равнодушное эхо чужой скорби.

«Поищу там доли...»

Голоса слились и дружной, теплой струей ровно потекли по комнате, пропитанной запахом водки, табаку и пота, вдруг задрожали, забились, зарыдали, точно им стало тесно и тошно тут. Потом голос Кости оборвался и умолк, а Таня продолжала:

«Матушка-пустыня-а...»

— «Матушка-пустыня!» — снова вступил Костя то-скливым криком, —

«Приюти сиротку-у...»

— «Приюти сиротку», — вступил третий, новый голос. Он слился с голосом Кости и, звуча в унисон ему, гибкий, тоже дрожащий, являясь как бы эхом, тенью основного звука, заплакал и застонал, выпевая только одни гласные. Это пел безрукий, закрыв глаза и выгнув свой кадык. Контральто Тани звучало — низкое, ровное, густое, и оно стало чем-то вроде широкой полосы бархата, извивавшейся в пространстве, а на нем, на этом бархате, в фантастических узорах дрожали золотые и серебряные нити голосов безрукого и Кости.

Публика была подавлена этим рассказом сироты о поисках своей доли. Тихон Павлович давно уже неподвижно сидел на стуле, низко свесив на грудь голову и жадно вслушиваясь в звуки песни. Они снова будили в нем его тоску, но теперь к ней примешивалось ощущение едко-сладкое, приятно коловшее сердце. Он чувствовал себя так, как будто его обливало что-то теплое и густое, как парное молоко, обливало и, проникая внутрь его

существа, наполняло собой все жилы, очищало кровь, тревожило его тоску и, развивая ее и увеличивая, все более смягчало. В душе мельника выросла странная сладкая боль, точно льдина тоски, давившая его сердце, таяла, распадалась на куски, и они кололи его там, внутри.

Аннушка положила на плечо соседа свою голову и замерла в этой позе, потупив глаза в землю. Гармонист задумчиво покручивал ус, а человек в пиджаке отошел к окну и стал там, прислонясь к стене и смешно вытянув голову по направлению к певцам, точно он ртом ловил звуки песни. Толпа в дверях шуршала платьем и глухо ворчала, слившись в одно большое животное.

Трое певцов пели, сами себя очаровав песней, и она звучала, то мрачная и страстная, как молитва кающегося грешника, то печальная и кроткая, как плач больного ребенка, то полная отчаянной и безнадежной тоски, как всякая хорошая русская песня.

«Э я сижу-у-мо-оря-а...»

— рыдал Костя, у которого от напряжения выступил пот на лбу и катился по щекам, как слезы.

«Эо-а, э-оо-э-о-а!»

— вторил ему безрукий одними гласными. Он плотно зажмурил глаза, и ноздри его нервно дрожали, дрожали и губы и подбородок.

«Доли себе жду-у!»

— голосом, полным безнадежности, и покачивая головой, пела Таня и улыбалась такой тоскливой, острой улыбкой.

«Душу мою...»

— звенел и плакал тенор Кости.

«Слезы-и-и...

Слезы жгучи моют!...»

— дрожал голос безрукого.

Звуки всё плакали, плыли; казалось, что вот-вот они оборвутся и умрут, но они снова возрождались, оживляя умирающую ноту, снова поднимали ее куда-то высоко; там она билась и плакала, падала вниз; фальцет безру-

кого оттенял ее агонию, а Таня все пела, и Костя опять рыдал, то обгоняя ее слова, то повторяя их, и, должно быть, не было конца у этой плачущей и молящей песни — рассказа о поисках доли человеком.

— Братцы! — глухо крикнул Тихон Павлович, вскакивая со стула. — Больше не могу! Христа ради, больше не могу!

Лицо у него было красно и все в слезах, борода, смоченная ими, скомкалась, и в глазах, широко открытых, испуганных, полных болезненного напряжения, сверкало что-то дикое и восторженное, жалкое и горячее. Вставая, он оттолкнул Аннушку; она чуть не упала, оправилась и, точно проснувшись, смотрела на безрукого глазами тусклыми и тупыми — тяжелым взглядом уставшего животного.

— Душу мою пронзили! Будет — тоска моя! Тронули вы меня за сердце... то есть, часу у меня такого не было в жизни!

Таня тупо смотрела на него, и из ее губ все лились ровные, сочные ноты, теплые, но без огня.

— Братцы! Как угли горят во мне теперь — вот какая тоска! Что теперь я сделаю? На нож пойду! — глухо гудел мельник, страшно тараща глаза и растирая грудь обеими руками. — Кутим! С треском! Эх ты, жизнь!

Безрукий и Таня оборвали песню. Таня сейчас же налила себе полстакана водки и выплеснула ее себе в рот с такой быстротой, точно и у нее там угли горели и она хотела скорее потушить их. Взволнованный и уставший безрукий молча отдувался. Он как-то сразу осунулся, у него ввалились щеки, и глаза смотрели тупо, тускло и бессмысленно.

— Налей-ка мне рябиновой, Марк Иванович!

— Славно пели, — тихо сказал гармонист, поднося к его рту стакан.

Толпа очнулась, и поднялся хаотический шум и говор. Послышались одобрительные восклицания, ласковые ругательства.

«Доля, моя доля, где ж ты...»

— вдруг снова зарыдал тенор Кости.

Он все время пел с закрытыми глазами и, охваченный своей песней, должно быть, не слышал ничего, сделал

паузу и вот — снова запел. Раздался хохот. Хохотали те, что стояли у двери, и с ними хохотала Таня. Показалось смешным это увлечение Кости, и смех разбудил его. Широко открыв глаза, горящий и нервный, он посмотрел на смеющиеся физиономии, съежился, побледнел и как-то сразу погас, превратился в того худого, желтого паренька, каким он вошел сюда.

— Лапушка, пей! — угощал Тихон Павлович Аннушку. — Пей, гуляй! Кучу! Сокрушил бы я себя самого...

Гармонист взял в руки гармонику, подумал, подняв голову вверх, и заиграл что-то бойкое.

— Вот как тронули душу купца! — толкал его безрукий под столом ногой. Гармонист молча кивал головой. Около стола Тихона Павловича появились какие-то нахальные фигуры и пили его водку. Он пил со всеми и быстро пьянел. И Аннушка пьянела.

— Плясать хочу, Марк, играй камаринского! — кричала она, поводя плечами. Безрукий, нахмурившись, смотрел на нее с дивана и кусал себе губы.

— Ну, Михаил Антоныч, не сердись! Все равно ведь! — улыбнулась она ему, заметив его мину. — Один раз жить на свете...

— Баба, хоть четыре жизни живи, все скотиной будет! — зло кинул он ей.

— Друг! не ругайся! Она — милая девица, я ее люблю! — бушевал мельник. — Тронули вы мне душу и очистили ее. Чувствую я теперь себя — ах как! В огонь бы полез...

— Человек никуда не должен лезть... Ты вот налей-ка мне!

— Не лезть никуда? Это — верно! Руку! Да, руки у тебя нет... Ну, поцелуемся. — Он обнял безрукого и стал целовать его. Костя наливал себе водки и пил ее рюмкой за рюмкой, видя, что никто за ним не следит.

— Играй русскую! Хочу плясать! — все еще стояла на своем Аннушка. Гармонист грянул какой-то удивительный аккорд и заиграл «По улице мостовой».

Уперев руки в боки и поводя плечами, Аннушка, соблазнительно красивая и горящая от возбуждения, павой проплыла мимо разгоряченного вином мельника и вызывающе подмигнула ему глазом.

— Эх ты! Пошел и я! — ухарски крикнул он и, громко топая ногами, пустился вслед за ней.

Безрукий смотрел на него, страшно оскалив зубы и вращая белками.

Снова собралась толпа и грохотала, глядя на пляшущих.

— Загулял Тихон! — угрожающе выкрикнул мельник. — Возобновился человек! Э-эхма!

Ночью, на пятый день после описанного, Тихон Павлович возвращался со станции домой, на хутор.

С больной головой, разбитый и мрачный, он трясся в телеге и чувствовал в груди мерзкий, горький осадок после четырехдневного кутежа. Представляя себе, как жена встретит его и запоеет: «Что, батюшка, снова сорвался с цепи-то?» и начнет говорить о летах, седой бороде, детях, стыде, о своей несчастной жизни, — Тихон Павлович сжимался и озлобленно плевал на дорогу, глухо бормоча:

— Н-ну и жизнь!..

— Что вы-с? — спрашивал его возница, словоохотливый «Пантелей со станции», именовавшийся так в отличие от другого Пантелея — «пришлого».

— Ничего, ничего! Вези, знай! — сердито ворчал Тихон Павлович.

— Ага! Это бывает: думает, думает человек и заговорит сам с собой вслух. Бывает это от многих дум, ежели... — не унимался возница.

— Помалкивай себе! — обрывал его Тихон Павлович.

— Что ж! Можно и помолчать... — соглашался Пантелей и через несколько времени вновь заговаривал.

Хмурая ночь окутала всю степь тяжелым мраком, и в небе неподвижно стояли еще серые облака. В одном месте их было белесоватое, странное пятно — это луна хотела пробиться сквозь тучи и не могла. Приехали к плошине.

— Стой! — сказал Тихон Павлович, вышел из телеги и посмотрел кругом. Шагах в сорока от него темной, угловатой кучей рисовался во мраке ночи хутор; справа, рядом с ним — запруда. Темная вода в ней была неподвижна

и страшила этой неподвижностью. Все кругом было так тихо и жутко. Густо одетые тенью ивы на плотине стояли прямо, строго и сурово. Где-то падали капли... Вдруг на запруду налетел ветер из рощи; вода испуганно всколыхнулась, и раздался тихий, жалобный плеск... И деревья, стряхивая сон, тоже зашумели.

Тихон Павлович посмотрел, как вода, тронутая ветром, снова засыпала, успокаиваясь постепенно, но еще пока покрытая мелкой рябью и точно дрожавшая, посмотрел, глубоко вздохнул и пошел к хутору, глухо бормоча:

— Жизнь... Колебание одно только... рябь.

Но его не успокаивало это, и, чувствуя себя виноватым пред всеми и пред самим собой, он остановился, взял в руки бороду, дернул себя за нее, качнул головой и громко произнес:

— Старый ты чорт, Тишка!..

— Что-с? — откликнулся из мрака «Пантелей со станции».

— Ничего, пшёл ты...

Где-то петухи пропели.

АРТИСТ

С натуры

Толпа рабочих-крючников расположилась у железнодорожной насыпи, в ожидании, когда им подадут вагоны для разгрузки, и, лениво перебрасываясь односложными замечаниями, скучала. Лица утомлены, в поту и грязи, позы вялые, разговор не клеится, большинство полудремет, забросив руки за голову... Издали, с выставки и из гостиниц, до них доносятся бойкие звуки бравурной музыки, глухой шум голосов, шипение струй фонтана, с другой стороны от них с грохотом и пронзительным свистом несутся взад и вперед паровозы.

— Скучища... — замечает колосс с рыжей бородой, в студенческой фуражке...

— А ты вон слушай — музыка, — позевывая, советует ему рябой, коренастый товарищ.

— Веселятся люди... которые имеют время на этот предмет, — сентенциозно говорит пожилой мужичок с лысиной и лицом суздальского типа...

Пауза. Солнце то спрячется в облако, то снова выглядывает, и рабочих то и дело одевает тень. Гул музыки несется все задорней, и грохот паровозов точно гаснет в нем...

— Ишь как заяривают, — с улыбкой зависти говорит молодой круглолицый парень...

— Поди-ка туда да и спляши им под музыку-то. Авось тебе дадут...

— В шею... — доканчивает бородач речь лысого.

Некоторые из толпы хохочут.

— Это самое их веселье не нашего характеру... не понимаемое, значит, нам, — кивая головой на выставку, говорит рябой и коренастый рабочий. — Нам бы вот ежели Мирон кузницу представил, это бы очень нашему брату приятно, — доканчивает он.

— Могу! В рот те кол с сучками! — раздается из толпы, и этот веселый возглас сразу навевает на нее оживление... Все сдвигаются около кривого, вихрастого мужичонки с морщинистым лицом и с редкой, кустиком, растительностью на шее, подбородке и щеках...

— Ну-ка, Мироша, разыграй! — поощряют его, улыбаясь и немножко заискивая пред ним. Он уселся на корточки в центре толпы, с любопытством окружившей его сплошным кольцом, взял в руку горсть песку, поднес кулак ко рту и визгливо крикнул:

— Кую! Бум!

Из его горсти вылетела струйка песку.

— Лум! Пш-ши! Бум! Трр...

Он дул в свой кулак углом рта, из кулака вылетал в виде искр песок, другой рукой он колотил себя по выпяченному животу. Раздавались гулкие удары, лицо его вздрагивало, глаз сверкал, ноги отбивали по земле частую дробь. Он весь содрогался и подергивался, точно в пляске святого Витта, и то басом кричал: «Бум! Ох!», то шипел, кривя лицо.

А из кулака во все стороны летели струйки песку, и живот звучал, как барабан. Издали неслась мечтательная мелодия вальса. Легкие, ласкающие душу звуки плыли в воздухе и таяли. Мирон делал такой удивительно разнообразный шум — он шипел, высвистывал, гулко ударял себя в грудь и живот — целая какофония самых странных звуков... Шипело железо, погружаемое в воду, искры трещали, падали глухие удары молота... курился дымок... Пот выступил на лбу артиста...

— Бум! Кую! Ш-ш-ш!.. Всё!

— Вагоны подали!

Смеясь, толпа рабочих, оживленная, с пробужденной энергией, пошла выгружать товары. Мирон торжествовал, сверкая своим глазом...

Издали все плыли тихие звуки мелодии вальса.

ВОР

С натуры

Мальчонка, лет семи, давно уже вертелся у лотка торговца разной мелочью — гребенками, щеточками, мылом, портмоне. Торговец был занят продажей кошелька каким-то двум парням, с озабоченными лицами рассматривавшим вещь. Они, недоверчиво слушая убедительные речи торговца, поочередно то ковыряли пальцами замок кошелька, то, подняв его к носу, рассматривали на свет, потом клали его на лоток и твердо говорили:

— Сорок копеек!

Они как-то копировали друг друга — один до подробностей повторял движения другого и все его ужимки. Торговец с негодованием говорил им:

— Сорок? Э-эх вы! Да он мне самому стоит шесть гривен! Ну погоди, — удерживал он их, — пятьдесят пять — желаете?

— Сорок копеек! — монотонно повторяли покупатели. И снова начинался торг.

Но как ни занят был торговец — высокий рыжий человек, с плутоватыми глазами и с цепкими пальцами в густой шерсти на суставах, — он одним глазом упорно следил за всеми движениями мальчика. Около лотка, следя за торгом, стояло, кроме парней, еще человека три, и мальчик, вертясь меж ними, тоже следил за продавцом. Он был босой, в грязной и рваной рубашке, без

пояса, в штанах, которые когда-то были плисовыми, а теперь казались сшитыми из мешка, на его рябом, загорелом и чумазом лице сверкали исподлобья серые, бойкие глазенки, и блеск их был жаден...

— Ну, ин сорок пять! — решительно махнув рукой, сказал один из покупателей.

— Сорок пять! — как эхо повторил его товарищ, и оба они с ожиданием в глазах уставились на продавца. Тот криво усмехнулся и жалобно заговорил:

— Ребята, али мне в убыток торговать? Чай, я тоже ем, пью, жену, детей имею, — должен я копейку нажать, али нет?

— Как хошь! — сказали покупатели и двинулись прочь от лотка. За ними пошли и зрители. Воспользовавшись этим движением, мальчишка согнулся, нырнул между двумя парнями, моментально вытянул вперед руку, схватил с лотка кусок мыла и... опрокинулся назад, на землю.

— Ага, сынок! — торжествуя сказал торговец, держа его за ногу и таща по земле к себе. Он схватил его снизу из-под лотка, и теперь мальчишка, извиваясь, как уж, упирался в мостовую руками и, болтая свободной ногой, с испуганным красным лицом ехал на животе под лоток. Вот рыжий мужик поймал и другую его ногу, дернув мальчишку к себе, — причем тот ударился подбородком о камень мостовой — и, наконец, мальчик очутился лицом к лицу с ним. Стоя между его колен, крепко сжатый ими и цепкими пальцами рыжего мужика, лежавшими у него на плечах, мальчик сосал разбитую губу и, сплевывая в сторону кровь и слюну, покорно ждал, опустив руки по длине туловища и положив их ладони на колено торговца.

Тот, с удовольствием в больших темных глазах, с оскаленными улыбкой зубами, сверкавшими из густой рыжей бороды, осматривал мальчишку и молчал, очевидно, придумывая наказание для вора.

У вора же неровно вздымалась маленькая грудь и вздрагивали плечи... А на рябом лице его были отражены испуг, и тоска, и ожидание...

— Н-ну... — начал торговец, хмуря брови и стискивая зубы, — и что же я теперь с добой сделаю, а?

Мальчик повел плечом.

— В острог мне тебя запрятать или рвачку дать? Выбери... что тебе по вкусу...

— Прости, дяденька, — тоскливо сказал вор.

— Про-ости-ить? Скажи на милость! Ишь ты! Как же так, сынок, я тебя могу простить? Ты, вор, украл у меня товару. Значит, следовало тебя упечь в тюрьму. А ежели я тебя, одного вора, прощу, другой — другого простит, — кто тогда в тюрьме сидеть будет, скажи, а?

— Дяденька, я больше не бу-уду... — со слезами на глазах и с дрожжащими губами вполголоса, убедительно вытянул мальчишка.

— Это мне нипочем! Нет, ты скажи — кто будет в остроге темном сидеть, ежели воров прощать?

Мальчик беззвучно заплакал, и слезы, стекая по его щекам, оставляли на них полосы...

— Говори, чертеныш, — кто? — зло сверкнув глазами, крикнул торговец и дернул вора за ухо...

— Ра-а...збойн...ики... — сдерживая рыдания, тихо сказал мальчик.

Это, должно быть, понравилось торговцу — он засмеялся довольно и громко.

— Ах, жулик! Ловко отрезал! Разбойники... шустрый ты мальчонка — быть тебе арестантом. Ну, говори, ты зачем мыло стянул?..

— Дяденька! Вот те Христос — не буду я больше! Никогда уж не буду! — звонко крикнул мальчик.

— Шш! Не орать! Может, я тебя еще и прощу, а будешь ты орать, придет свистун с селедкой — тогда, брат, шабаш твое дело. Возьмет он тебя и засадит в острог, в яму пхнет, а там крысы, лягушки, змей, и каждый день тебя будут из ямы вынимать и — пороть!

Плечи мальчика судорожно задрожали, а в широко раскрытых глазах отразился ужас. Вор рванулся из колен торговца, но тот крепко тиснул его плечи своими цепкими пальцами и дал ему щелчок в лоб.

— Вот, на-ко отведай! Ишь ты, бежать захотел... Ну, говори — куда тебе мыло?

— Про-одал бы... — покорно ответил мальчик.

— Так... Продал бы... Ну, а деньги куда бы ты девал?

— Купил бы... фунт весового... хлеба...
— Н-ну?
— Баварского... квасу... полбутылки..
— Ишь ты! — усмехнулся торговец. — А еще?
— Больше ничего нельзя уж... — вздохнул мальчик. —
Только восемь копеек дают за мыло.

— Ага! так ты не в первый раз его воруеть? Н-да!
Как же мне тебя простить, ежели ты такой злодей?

Вор поник головой и замолчал.

— А разве хлеба дома у тебя нет?..

Вор вздохнул и покачал головой, размазав рукой слезы по лицу.

— Разве отец-мать хлебом тебя не кормят?

— Нету отца...

— А где он?

— Не знаю...

— А мать?

— Пьет она все...

— Та-ак! — протянул торговец. Ему уже становилось скучно возиться с этим вором. Он даже зевнул.

— Дяденька! Пусти меня... — тихо сказал мальчик и, вертя головой, поцеловал сначала одну, потом другую шершавую руку рыжего торговца. Тому понравились эти поцелуи. Он улыбнулся себе в бороду. Он бы и еще помучил мальчонку ради своего развлечения, но это было уже скучно. К тому же издали на лоток с его товаром поглядывали две бабы с маленькой девочкой. Торговец вздохнул.

— Пожалуй, иди...

Вор рванулся, и лицо его вспыхнуло радостью...

— Ку-уда! Нет, погоди, наперед я тебе надеру уши...

И методически, равномерными движениями руки, рыжий человек стал болтать головой мальчика из стороны в сторону. Надрыв одно ухо, он принялся за другое. На лице его не отражалось ни удовольствия от этой операции, ничего, — оно было равнодушно, и только потом он дал мальчишке шлепка по затылку и сказал ему:

— Ну, иди! Да помни меня.

Тот, с красным лицом, держась руками за горевшие уши, отошел на несколько шагов в сторону и вдруг повернулся назад... Торговец удивился.

— Али мало? — спросил он, поднимая брови.

— Дяденька... — тихо заговорил мальчик, умоляюще глядя в его красное лицо. — Дай мне копейку!

— Подь сюда... — сказал торговец, хмуря брови. — Никита Егорыч! — крикнул он кому-то через улицу, держа мальчика за плечо. Тот посмотрел по направлению голоса и вздрогнул. Через улицу переходил суровый полицейский, придерживая рукой шашку...

Мальчик вскинул глаза на лицо торговца. Оно было тоже сурово. Тогда он заплакал, сжавшись и вздрагивая. Голова у него как-то уходила в плечи.

— Кум! Будь другом, отправь ты мне его в часть! — тыкая пальцем в голову вора, сказал торговец.

— Что слямзил? — просто спросил полицейский, взяв вора за руку.

— Мыла кусок... Травленный мальчишка.

— Знакомы мы, — кивнул головой полицейский. — Пойдем, Мишка, или как, бишь, тебя там?

— Митька, — покорно сказал вор.

— Митька... Айда!.. Тут мы с тобой пеше дойдем — близко.

Они пошли. Не поспевая за полицейским, мальчик подпрыгивал по камням. А торговец, глядя им вслед, зевал и крестил себе рот.

ТРУБОЧИСТ

Звали его Федька; это был парень лет восемнадцати, светлорусый, с голубыми, ясными глазами, с круглым лицом, шесть дней в неделю вымазанным сажей, хорошо оттенявшей два ряда частых, белых зубов, всегда открытых веселой и доброй улыбкой толстых губ. Проводя большую часть своего рабочего дня на крышах, Федька, несмотря на трехлетнюю жизнь в городе, еще не успел вполне утратить деревенской наивности; шум и бойкая жизнь города не заглушили в нем застенчивости дикаря, и среди печников, своих товарищей, уже просвещенных городом, он пользовался репутацией дурака и «облома».

Почти всегда над ним смеялись — он давал к этому слишком много поводов: не пил водки, не ходил в веселые дома, не играл в орлянку и аккуратно каждый месяц посылал отцу в деревню свой заработок, стараясь тратить только те деньги, которые изредка перепадали ему «на чай» за то, что он вымажет глиной чело печи, выправит «под» или вставит вывалившийся из трубы кирпич.

Над ним смеялись, он в ответ конфузливо улыбался или тоже вместе с товарищами весело хохотал над собой. Это их уже прямо-таки злило, и тогда их шутки над ним принимали все более обидный характер, а его это отталкивало от них и, мешая ему войти в колею их жизни, оставляло Федьку простым и славным парнем среди артели разгульных и циничных печников. Он всегда уходил от артели с бóльшим удовольствием, чем возвра-

щался к ней, и ему очень нравилось лазить по высоким крышам городских зданий, откуда пред ним развertyвалась красивая картина города, утопающего в зелени садов, омываемого широкой рекой, за которой могуче развернулись и убежали вдаль, к небу, яркозеленые луга с темными островами деревень на них, с черными полосами леса, с серебряными пятнами воды, оставшейся от разлива.

Широкий горизонт всегда ласкает глаз и душу и как бы расширяет ее восприимчивость. Иногда Федька, усевшись на трубу и покуривая самодельную папиросу, долго просиживал в молчаливом созерцании жизни внизу, у его ног, и ему казалось очень забавным то, что чем выше он поднимался над землей, тем более суетливыми, маленькими и какими-то несчастными становились все эти люди, бегавшие взад и вперед по улицам города, тем шире и дальше развertyвались луга за рекой, чище и глубже было небо над ним. С высоты вся жизнь кажется не такой, какова она на самом деле... И только небо всегда одинаково недосыгаемо для человека. Развивало ли созерцание ум Федьки, и какие мысли рождались в его голове, когда он смотрел вниз и вдаль со своих обсерваторий, — кто знает? — но несомненно, что на чувства его эти наблюдения действовали, развивая у трубочиста мечтательность...

И, быть может, благодаря именно взаимодействию всего этого, однажды с Федькой случилось вот что.

Он работал в одном из самых скученных кварталов города, на крыше высокого трехэтажного дома; опуская в трубу веревку с гирей и тряпками, он напевал вполголоса песню и поглядывал по сторонам. Откуда-то снизу к нему тоже неслась песня — такая хорошая, веселая, ясная, точно этот день, весь из солнца и чистой синевы небес. Федьке захотелось узнать, кто это и где поет; он, гремя железом, спустился с конька крыши и заглянул во двор.

Песня была ближе к нему — она неслась из окна чердака противоположного дома. На окне стояли два горшка цветов, и сквозь их листву Федька увидел русую голову девушки, склоненную над работой, длинную косу, перекинутую через плечо и свесившуюся на колена, белые

маленькие руки, круглое плечо, обрисованное тонкой белой материей кофточки, ухо с кудрявой прядью волос над ним, бровь, темную и густую, маленький, задорно вздернутый нос и угол румяных губ. Видна была еще стена комнаты, оклеенная голубыми обоями, кровать с белыми подушками и в ногах кровати — вешалка с одеждой. Девушка усердно, не поднимая головы, шила и пела, а Федька уселся на краю крыши и, обняв колена руками, с улыбкой смотрел на нее.

А ее головка, точно в рамке, рисовалась в окне и цветах... Солнце не заглядывало еще к ней в комнату, и она сидела в тени, такая белая, красивая. Трубочист, наверное, долго бы сидел так, разглядывая ее, но вдруг она подняла голову и взглянула в окно. Черная рожа с оскаленными белыми зубами смотрела с крыши прямо на нее. Она отшатнулась. Сконфуженный Федька встал на четвереньки и снова, гремя железом, полез на конек, к трубам.

И вот с этого момента в его памяти запечатлелась эта русая головка девушки в окне и цветах. В ближайшую субботу он чисто вымылся в бане, а в воскресенье, надев на себя свой праздничный костюм, отправился к этому дому с чердаком и почти целый день дежурил около него. Он не имел никакой определенной цели, но ему было бы очень приятно увидеть ее, эту девушку.

Но он не видел ее... И ушел к себе на квартиру с чувством какой-то странной скуки, неведомой ему до той поры. Он знал, что долго не увидит ее — до следующей чистки труб в том доме. В нем трубы чистились два раза в месяц, и Федька едва дождался следующей чистки, и то ускорив ее на день.

Он снова долго просидел на крыше, с мечтательной улыбкой уставив к ней в окно свое черное лицо. Он смотрел на нее и ничего не думал, но ему было хорошо. В этот раз она не пела, а шила молча и, очевидно, торопясь. Федька следил, как быстро сверкает иголка в ее руках, слушал треск разрываемой руками девушки материи и все улыбался. Ему казалось, что никто не умеет шить так ловко, как эта девушка.

Но вот он нечаянно задел ногой за жолоб крыши — звук железа заставил девушку вздрогнуть и взглянуть в окно. Федька смутился и притворно начал рыться в жо-

лобе, как бы что-то делая, а когда он искоса взглянул в окно — девушка уже снова шила, не обращая на него внимания. Ему захотелось снова привлечь к себе это внимание; он был бы очень доволен, если б ему удалось рассмотреть, какие у нее глаза. И вот, чтобы заставить ее еще раз взглянуть на него, он изо всей силы стал громы-хоть ногами по железу крыши, сделав себе озабоченное лицо, — хотя это и было излишним, ибо густой слой сажки на щеках и на лбу скрыл бы даже и выражение ужаса.

Его прием оказался недействительным: больше она не взглянула на него.

Неохотно, опечаленный, полный какого-то смутного и грустного чувства, слез Федька с крыши. Потом он еще видел ее раза два, — все там же, с крыши; но на улице — как усердно он ни дежурил по праздникам перед домом, где она жила, — он ни разу не встретил ее. А ее головка все ярче и рельефнее вырезывалась в его памяти; он почти всегда имел ее перед своими глазами; следовало только закрыть их — она тотчас являлась, как живая. И, представляя ее себе, Федька довольно улыбался, как бы сам перед собой хвастался силой своего воображения, — а среди его товарищей его улыбки еще более укрепляли за ним репутацию какого-то блаженного.

Однажды, счастливый предвкушением видеть ее, он быстро, как кошка, взобрался по лестнице на крышу, торопливо съехал на другую ее сторону, радостно взглянул в окно... Медленно отклонился назад, уперся ногами в жолоб и замер, глупо и смешно раскрыв рот.

Был вечер уже. Красноватые и косые лучи солнца падали через окно в комнату, прямо на белую постель у стены и на обнаженную грудь девушки, сидевшей на ней. И постель, и белое тело казались посыпанными розовато-золотистой пылью, на листьях цветов в окне тоже трепетало солнце летнего вечера. Рядом с девушкой сидел мужчина с черными большими усами, он обнимал ее одной рукой за шею, а другой отклоняя ее голову назад, подолгу целовал ее прямо в губы, и при этом один его ус ложился к ней на плечо; она же сжалась вся в маленький комочек и, прильнув плечом к его груди, глядя руками то его щеки, то голову и шею, улыбалась ему, и губы ее — когда Федьке было видно их — все двигались.

Не вычистив трубы, Федька слез с крыши и пошел на квартиру. Пришел, разделся, вымылся и лег спать. Но не мог уснуть.

Ему все чудилось это давешнее. С удивительной ясностью возникала в его голове эта картина счастья, и наконец ему стало тошно и душно в сарае, где он спал. Он вышел к воротам дома, на улицу, и всю ночь, до рассвета, просидел, прижавшись к стене, неподвижный, прислушиваясь к тому, что делалось внутри его, и ничего не понимая. Так чувствовал он себя года два тому назад, когда кто-то украл у него семь рублей с полтиной, — первый его заработок, который он хотел послать отцу, в деревню. Но тогда все-таки было будто бы легче. Прошел день, и другой, но память Федьки не хотела освободиться от этого впечатления. Ни работа, ни утомление, ни обидные шутки товарищей, говоривших ему, что он с каждым днем становится все более бестолковым, — ничто не стирали из его памяти той красивой сцены.

Пришло воскресенье. После обеда Федька, по обыкновению, отправился с артелью пить чай в трактир и вдруг, ко всеобщему изумлению, спросил себе бутылку пива. Это вызвало смех и ряд глумлений над дурковатым парнем, с бледным лицом и большими, печальными, широко раскрытыми глазами, смотревшими как-то неопределенно, точно за всем, на чем они останавливались, им рисовалось что-то другое. Он выпил один стакан, другой, потом ему поднесли водки — любопытно было посмотреть, каков этот дурень пьяный? Но он оказался совсем неинтересным — напился и вдруг заплакал. Молча, ни слова не говоря никому, он сидел за столом, поставив на него локти, и его слезы, падая со сморщенного лица на залитый пивом, чаем и водкой поднос, — смешались со всем этим. Некому было пожалеть этих слез, достойных лучшей участи, но кто-то, после долгих измывательств над этим парнем, отвел его на квартиру и там уложил спать.

С этого дня Федька все чаще и чаще прибегал к единственному источнику забвения для простой, темной души, — к жидкому, бесцветному огню, быстро и верно выжигающему из человеческого сердца все человеческое. В глазах товарищей это возвышало его — он становился

угрюм и драчлив в пьяном виде, они даже несколько побаивались его и уже не смеялись над ним так, как прежде. Это всегда так бывает — чем ниже и хуже человек, — тем он нам понятнее и ближе; дурные люди всегда пользуются у нас большим вниманием, чем хорошие, ибо для каждого из нас сравнение с дурным человеком выгоднее, чем с хорошим.

Прошло много времени для Федьки, три раза уже он был на той крыше и все три раза устоял от искушения взглянуть в окно к этой девушке. А хотелось...

В четвертый — не устоял. Это было в начале сентября... Дыхание осени позолотило зелень деревьев, и по небу все чаще бродили обрывки туч, а воздух стал прозрачней и даль горизонта — глубже.

В день, когда случилось это с Федькой, шел мелкий, спорый дождь, и всюду — на земле и небе — было скучно, серо и сыро. Однообразно окрашенные, тяжелые тучи закрывали все небо своим хмурым пологом, и из них сыпался бесконечный, точно сквозь сито просеянный, уныло шумевший дождь. Железо крыши было мокро и скользко. Федька, стоя у трубы, весь мокрый, чувствовал, что воздух какой-то прелый и тяжелый, что у него, Федьки, с похмелья болит голова и что, сойдя с крыши, нужно будет еще раз зайти в кабак и еще раз выпить.

И вдруг его ноги как-то сами собой поехали вниз по крыше, туда, к окну... За ним с грохотом катилась гиря. Федька доехал до края крыши, уперся в жолоб ногами, как это он делал, бывало, раньше, заглянул в окно...

Его сердце радостно забилося, и он чуть не захохотал от удовольствия. Она была там, эта русая девушка, и он, ее черноусый, был с ней, но она прижалась боязливо к стене, а он, выпятив грудь колесом, стоял перед ней и, поднеся к ее лицу большой кулак, грозил ей. Она спрятала руки за спину и была вся такая расстроенная.

— Не дашь? — густо, вполголоса крикнул ей человек с усами и подвинулся на шаг ближе к девушке, как бы намереваясь втиснуть ее в стену своей выпяченной грудью.

Она, молча вынув одну руку из-за спины, протянула ее к нему, а другую подняла над своей головой.

— То-то! — сказал он ей. — Испугалась, бестия. А теперь — прощай! Опять придешь, поклоняешься мне; тогда, может быть, я приду... Ну — целуй!

Она, обняв его за шею, поцеловала в губы. Тогда он ушел, ни слова больше не сказав ей, а она бросилась грудью на стол перед окном и крикнула сдавленно и глухо:

— Господи!

Федька видел, как ее толстая коса метнулась в воздухе, как она хлопнула себя ладонями по щекам, как потом задрожали ее плечи. Он слышал воюющие звуки ее рыданий. Сначала ему понравилось видеть ее так. Сладкое, новое для него чувство защемило ему сердце, и он хотел что-нибудь гаркнуть ей с крыши, но когда она заплакала — ему стало до боли жалко ее. Ведь он по себе знал, что чувствуют люди перед тем, как у них потекут из глаз слезы. Горячее желание сказать ей что-нибудь ласковое охватило его.

— Барышня! — прошептал он, наклоняясь с крыши.

Она, конечно, не могла слышать его шопота.

— Барышня! — громче, и больше наклоняясь, крикнул он.

Она не шевелилась, а плечи ее все дрожали, и она схватилась руками за голову.

— Гляньте-ка сюда, барышня... — тревожно крикнул Федька.

Тут она вздрогнула и подняла голову, но он был несколько выше ее, а ее глаза были затуманены слезами — она не видала его, свесившегося с крыши к ее окну.

Он же все ближе к ней старался вытянуть свое лицо — в этот день не особенно черное — шел дождь, и Федька после каждой работы умывался из водосточных труб.

Она снова бросила свою бедную голову на руки, и снова раздались воюющие звуки...

— Э-э! — крикнул Федька, — и что...

Теперь она увидела его — большим, черным комом он пролетел в воздухе мимо ее окна и на секунду скрыл собой свет...

Потом снизу до нее долетел глухой, тяжелый звук. Она бросилась вон из комнаты вниз и скоро стояла

на дворе, глядя изумленными и заплаканными глазами на Федьку. Он лежал на спине, глаза его были открыты, одна рука на груди, другая отброшена в сторону.

Около него уже стоял дворник и задумчиво чесал поясницу, какая-то кухарка с воплем мчалась по двору, всюду на дворе раскрывались окна.

— Сверзился... — сказал дворник, вздыхая.

— Я видела, как он летел мимо моего окна... Какой молодой... глаза-то какие... большие, добрые... — вздрагивая всем телом, говорила девушка.

Но Федька не мог уже слышать ее слов — он умер от того, что разбил себе грудь и переломил позвоночник...

Он лежал неподвижный, в грязи, и печальное небо осени кропило его своими холодными слезами...

ОТКРЫТИЕ

Этюд

I

...Папироса погасла.

Михаил Иванович положил ее в пепельницу и стал сосредоточенно мять пальцами бумагу мундштука. Он делал это с таким усердием, как будто бы, уничтожая окурок, мог вместе с ним уничтожить неотвязное ощущение беспокойства, смутное предчувствие чего-то неприятного, тяжелого, готового вторгнуться в его жизнь, которая, он полагал, уже установилась навсегда.

Покончив с окурком, он отряхнул пальцы, поднес их к глазам, нашел, что они выпачканы, и, вынув из кармана платок, тщательно стал вытирать их, откинувшись в глубь кресла и высоко подняв свои красивые черные брови. По мере того, как стиралась сажа с пальцев, с выразительного, тонкого и самоуверенного лица Михаила Ивановича исчезала неопределенная задумчивость, уступая место выражению решительности.

«Надо объясниться... Это глупо — сидеть здесь и воображать бог знает что... Просто у нее нервы», — подумал он, чистя ногти маленьким ножичком.

Смеркалось, и в кабинете — большом, высоком, тесно заставленном мебелью, — стало как будто еще теснее. Какая-то мгла наполняла его, точно тут было сильно

накурено, и дым — опаловый, чуть видный глазу, висел в воздухе недвижной легкой пеленой. Окна были закрыты спущенными драпир, кое-где, сквозь материю, блестели маленькие кусочки темневшего неба, и с улицы доносился гулкий шум чьих-то шагов по панели. Больше не было слышно никаких звуков, и это раздражало Михаила Ивановича, — ему хотелось бы воспринять какое-нибудь впечатление, чтобы оживить им свою мысль, остановившуюся на этом.. вчерашнем, отвлечься от него как-нибудь.

«Всего лучше идти и спросить.. Прямо спросить — что такое?.. Гм? Неужели мы вступаем в пояс семейных сцен, идя по тропинке брачной жизни? Пойду к ней... Кстати, здесь темно и душно...»

Он встал с кресла, пошел к двери и остановился, вдруг ощутив в себе желание снова, еще раз и точно, со всеми деталями, вызвать в памяти эту вчерашнюю сцену, нарушившую его внутреннее равновесие.

Вчера он с женой был в гостях у журналиста Худатова, и там, как всегда бывает в этом доме, — поднимали и решали разные вопросы. Общий тон разговоров был либеральный, а Михаил Иванович, человек иного настроения, терпеть не может либерализма Худатова и его компании. Он думает, что это либерализм профессионалистов, либерализм по привычке и по обязанности, — нечто старое, узкое и поросшее плесенью традиции, сквозь которую в него не проникает дух новых веяний, быть может, и нежизненных, но все-таки требующих, чтобы с ними считались.

Его раздражают и вызывают в нем чувство иронии эти давно знакомые речи, эти ссылки на авторитеты, довольно-таки поношенные, и на книги, порядочно уже устаревшие. И вот он, со свойственным ему скептицизмом, сказал пару слов о печальной способности русской мысли застываться на некоторых излюбленных ею пунктах, об ее склонности к сектантской нетерпимости и обо всем другом, что, на его взгляд, сильно вредит ее росту и лишает ее мощи и оригинальности. Ему возразили на это тем, что довольно ехидно попросили его точнее изъяснить свою мысль. Это его задело. Он никогда не прочь развить свое положение, если это нужно и если его слова будут приняты с достаточной дозой внимания к ним, но он хотел бы знать, при чем тут этот тон, за которым он уже

чувствует ярое стремление во что бы то ни стало вступить с ним в ожесточенную полемику?

Он, конечно, отдает должное такому стремлению; ему приятно видеть, что журналисты готовы и в гостинной защищать свои тезисы с той же горячностью, с какой они делают это на столбцах своих газет, — но он находит, что по отношению к нему это совершенно излишне, — ведь он солидарен с их общими принципами.

В ответ на его слова Худатов, — маленький нервный человек, в очках и с клинообразной бородкой, — как-то странно пожевал своими тонкими и сухими губами и холодно, тоном человека, сознающего себя более сильным умственно, чем его противник, сказал:

— Отложим в сторону ваш вопрос, как побочный и, смею думать, основанный на ложном впечатлении, — суть дела не в нем. Вы говорили о новых веяниях, якобы не проникающих в сферу работы русской интеллигентной мысли, подозреваемой вами в косности и в узости. Было бы желательно знать, какие именно новые веяния вы имеете в виду — декадентство?

И он так посмотрел через свои очки в лицо Михаила Ивановича, точно говорил своими серыми, острыми глазами:

«Знаю я тебя, брат! И новое твое знаю. Много вас таких нынче, и что желаете вы провести в жизнь под флагом новых веяний, — тоже знаю».

Михаил Иванович почувствовал себя злым после этого взгляда; ему захотелось наговорить этой компании целую кучу раздражительных вещей, назвать им книги, которые они еще не нюхали, идеи, с которыми не успели познакомиться, явления, которые они упорно игнорируют, оставляя их вне сферы своих спекуляций в области мысли. Все это, по его мнению, существовало, якобы было ново, не исследовано, и он был готов развернуть пред ними картину их недосмотров и пропусков... Но именно в этот момент его глаза встретились с глазами его жены.

Она смотрела на него с таким обидным для него сожалением, таким новым, чужим ему взглядом, с такой странной миной на лице, — что он изумился, смутился, готовая речь как-то рассеялась в нем, мысли перепутались, и он едва не спросил ее вслух:

«Что с тобой?»

Но во-время сдержался и тотчас же внутренне вознегодовал на нее за этот взгляд и на себя за это смущение. Поправившись, он развернул фронт своих мыслей и дал неприятелю маленькое сражение, но, споря, чувствовал, что он не в ударе, и, следя глазами за женой, все встречался с этим ее взглядом. Она первый раз за все полтора года смотрит на него так. Что она думает? Она своими глазами положительно мешала ему говорить, и он говорил, плохо следя за собой, впадал в противоречия, волновался, позволял себе софизмы, парадоксы, резкости.

А когда он с ней вышел на улицу и они медленно пошли домой по пустынным панелям, на которых лежали тени от стен домов и от деревьев, перевешивавших свои ветки через забор, — у них, несмотря на его усилия, не клеился разговор. Жена была задумчива, отвечала односложно, но уже не смотрела на него больше «новыми глазами», как он с усмешкой, внутренне определил ее странный взгляд. Определил и — испугался чего-то. А вдруг в самом деле — это новые глаза.

— Аня, что с тобой? — тревожно спросил он.

— Что? — вздрогнула жена.

— Ты так... скучна сегодня... так задумчива... Что это? Ты нездорова?

— О, нет! Это... так! — неопределенно сказала она и меланхолично улыбнулась ему... Эта улыбка успокоила его, он даже отпустил несколько едких шуток по адресу Худатова и его единомышленников, назвав их старове-рами нетова согласия, потому что у них нет умения схватывать новое в жизни и, в сущности, нет интереса к какой-либо иной жизни, кроме своей, журнальной. Но у них зато есть умение симулировать чувства, быть, например, горячими, когда это требуется трактуемым ими вопросом, хотя искренней горячности, горячности сердца в них уже нет, — профессия, ремесло погасили ее.

— Оставь их... — тихо сказала ему жена.

— С удовольствием, — весело крикнул он.

И, придя домой, они мирно разошлись по своим комнатам, она, как всегда, поцеловала его, и в этом поцелуе он, право, не заметил ничего особенного.

Но сегодня весь день она вела себя так странно... Какая-то задумчивая, холодная, невнимательная к нему, сосредоточенная на какой-то большой внутренней работе, — сколько раз она задевала его этим чуждым ей видом, этими ответами невпопад и после долгой паузы...

— Ты что — плохо спала ночь? — спросил он у нее за обедом.

— Да! — сказала она и даже кивнула головой в подтверждение своего ответа.

— Вот видишь, — я говорил тебе вчера, что ты нездорова...

— Ну, пустяки... — махнула она рукой, и этим жестом она, казалось, просила его не мешать ей думать свои думы. Тогда он ушел в кабинет и вот сидел в нем почти четыре часа, курия и думая — что с ней?

Теперь, восстановив в памяти весь вчерашний день, он почувствовал, что его охватило беспокойство еще более острое.

«Неужели, чорт возьми, их выдохшиеся речи о меньшем брате и добродетели — действуют на нее? Вот был бы сюрприз!»

Михаил Иванович криво и бледно усмехнулся и взъерошил себе волосы нервным движением руки.

Он всегда отрицал пользу разговоров о народе страны, в которой нет людей, — нет «ядра», истинно «культурной группы», тесно сплоченной на почве общего принципа, обладающей солидными знаниями, имеющей в жизни определенный вес и место, одушевленной сознанием своей силы, пониманием своей задачи и ясным представлением о пути, вернейшем к ее разрешению. А эти «тропари и кондаки, распеваемые по адресу народа либералами по профессии» и по неумению или, вернее, по неимению сил быть чем-либо иным, более определенным и ярким, эти бедные люди, для которых их «застарелый» либерализм, наверное, так же неудобен и тяжел, как хронический ревматизм, — все это казалось ему ненужным, не имеющим цены, даже смешным немного...

«Неужели? — думал он, потирая себе лоб. — Ну! Не может быть! Она умнее, выше всего этого... Она — натура тонкая, изящная, с сильным наклоном к эстетике,

чуткая ко всему красивому. А они — даже говорить мало-мальски сносно и то не умеют. Она не поддается этому «гражданскому» тону...»

Он иронически подчеркнул «гражданский тон» и направился к двери.

«Вот я тепло и славно поговорю с ней, и все это пройдет у нее», — уверенно подумал он, взявшись за ручку двери, и зачем-то окинул взглядом кабинет.

А в нем было уже совсем темно. Ветер колыхал драпри у окон, и они чуть слышно шелестели, как бы шепча о чем-то. Луна всходила, и уже один ее луч лег на стол и блестел на металле рамки с портретом жены Михаила Ивановича. Темно и скучно, жутко было в этой большой комнате. Михаил Иванович вздохнул, толкнул дверь и ощутил, как у него дрогнуло сердце, когда петли двери тихонько и так жалобно взвизгнули.

II

Жена, улыбаясь неопределенной улыбкой, встретила его на пороге комнаты. Он быстро окинул ее взглядом с головы до ног. Она была сегодня очень интересна с своим овальным, мечтательным лицом, крупные черты которого так хорошо оттенялись рамкой вьющихся, темных волос. Глаза ее — большие, серые, миндалевидные глаза — были немножко прищурены от улыбки сочных, крупных губ. И пеньюар, пышный, белый, так красиво лежал на ее стройной, высокой фигуре, с округленными плечами и полной, роскошно развитой грудью.

— О, какая ты сегодня... важная! — с удовольствием сказал Михаил Иванович, обнимая ее за талию и чувствуя себя очень влюбленным в эту красивую женщину. Она просто, грациозным движением освободилась от его руки, положила ему свою левую на плечо и, закинув правой шлейф пеньюара, сказала:

— А я шла к тебе. Мне сделалось скучно...

— Представь! И мне то же самое сделалось! — весело воскликнул Михаил Иванович, идя рядом с ней к софе, стоявшей у раскрытого окна, выходявшего в сад.

— Мне захотелось поболтать с мужем, — все улыбалась она.

— Вот — говорят, что единение душ невозможно! Я шел к жене именно за тем же. Впрочем, нет, — я собирался говорить серьезно.

— Ты, кажется, был ведь против серьезных разговоров с женщиной? — спросила она, уютно устраиваясь на софе. Он заметил в ее тоне новую нотку и подумал, что, пожалуй, серьезный разговор нужен и будет, — хотя он уже решил было не начинать его, видя ее такой славной.

— Это не касается жены.

— А! Я забыла, что жена уже не считается мужчиной за женщину, — небрежно бросила она, и опять в ее словах звучало нечто новое.

В нем снова проснулась неопределенная боязнь чего-то неотвратимого, — и, осложненная любопытством, она заставила его поторопиться разрешить свои сомнения. Он сел в ноги у ней, на низенький пуф, и, взяв ее руку, голосом, в котором было много задушевности, немало любви и немножко боязни, — начал:

— Слушай, Аня, — я хочу спросить тебя... почему ты вчера, у Худатовых, во время спора так странно смотрела на меня? а? Ты можешь это сказать мне?

Если бы в комнате был огонь, муж увидел бы, что его жена и теперь так же странно смотрит на него, как она смотрела вчера. Но огня не было, в окна светила из сада луна, и ее молочно-голубое сияние фосфорическими бликами лежало на всем — на белых чехлах мебели, на паркете пола, на пеньюаре женщины, лежавшей на софе, — и кружева пеньюара от света луны стали как бы пышнее, облекая стройное тело, как пеной.

— Знаешь — не будем говорить об этом, — попросила она его, сдвигая брови.

— Не говорить? Смотри — удобно ли это? Так понемногу, ощущение за ощущением, мысль за мыслью, в тебе может сложиться нечто такое, что лишит меня возможности понимать тебя, что может вырасти между нами в гору, которая, в конце концов, помешает нам видеть друг друга, разъединит нас. Ведь вот именно потому-то люди и становятся чуждыми друг другу, что забывают или стесняются выговаривать вслух свои мысли, не формулируют

во-время своих впечатлений и позволяют себе замалчивать то, что нужно бы сказать. Я не настаиваю на моем желании, Аня, но скажу прямо: я хотел бы, очень бы хотел, чтоб ты ответила мне.

В саду тихо, чуть слышно, так нежно шумели листья деревьев, и оттуда пахло цветами, землей и травой. Какая-то скромная птичка задумчиво щебетала и посвистывала в глубине темных деревьев, с вершинами в свете луны.

Женщина молчала, сосредоточенно сдвинув брови. Михаил Иванович поцеловал ей руку и стал гладить ее ладонь, с ожиданием глядя ей в лицо.

— Как ты сегодня хорошо говоришь... и нежен... — медленно, лениво выговаривая слова, точно в полусне, протянула она.

— Так ты не станешь отвечать? — кротко спросил он, уже глядя ее рукой свои усы.

— Пожалуй, скажу... Но так хорошо сегодня, что, право, не хочется ни о чем говорить.

— Прекрасно — не говори! Поцелуй меня, и этого мне достаточно...

«На сегодня», — закончил он про себя, потому что она все более казалась ему новой и непонятной.

— Нет, — вдруг повернулась она на софе, с тем капризным и властным лицом, которое так часто бывает у женщин, сознающих себя сильными, и с той резкой переменой настроения, которым обладают в совершенстве только женщины и которое, иногда, заставляет думать, что их душа обладает способностью в одну секунду переживать года.

— Нет, я буду говорить, хотя и чувствую, что испорчу настроение и себе и тебе... Хочешь?

Она села теперь и склонилась к нему, упираясь руками в его плечи, а он смотрел на нее снизу вверх и чувствовал неодолимое желание обнять ее. Он и сказал ей это.

— После будем целоваться, подожди. В самом деле, — я буду говорить. Слушай и, пожалуйста, я очень прошу тебя, не мешай мне, не перебивай меня, не спрашивай о том, чего не поймешь. Но ты все поймешь: это ясно, очень ясно. Я ведь уже давно думаю об этом.

Слушай — я сделала открытие... нет! я сделала несколько открытий — в себе самой, в тебе, в людях, в жизни...

В ней вдруг точно закипело что-то. Ее лицо вспыхнуло, глаза сузились, на лбу появились морщины, ноздри стали вздрагивать, — это все не шло к ней, ее лицо было более красиво, когда оно было покойно...

— Открытия, да, — торопливо говорила она, сняв с его плеч руки и теперь теребя своими красивыми пальцами кружева. — Начну с тебя — я посмотрела на тебя достаточно. Я хотела узнать — сильный ты? Оказалось — ты скептик, а скептик не может быть сильным. Умный ты? Не умнее других. А вчера был... очень не умнее. Не обижайся — это правда. Быть может, ты добрый? Ты сам знаешь — нет! Ко мне ты добр, ты еще любишь меня.

— А ты?! — воскликнул он.

— А я просила не перебивать меня. Что есть в тебе своего, оригинального, такого, чего нет в других людях? Я заметила только одно — это твоя манера надевать перчатки. Больше ничего пока не заметила. Людей ты не любишь, они тебя — еще больше. Говорят, что ты карьерист... это, положим, не важно для меня. Самолюбив ты... это не порок, если человек умеет быть самолюбивым, не теряя своего достоинства, ты — не всегда умеешь, ты вчера... Но это после. Вообще ты довольно-таки неинтересен, если говорить беспристрастно. Любишь ты меня... это чье достоинство — твое или мое? Ну... и что же? Я чувствую уже, что скоро я захочу чего-то такого, чего ты мне не дашь. Я буду искренна, я именно для того и говорю все эти неприятные вещи, что хочу быть искренней. Меня утомляет эта жизнь, — она, видишь ли, пуста очень, несмотря на то, что вся заполнена. Пить чай, гулять и завтракать, читать, обедать и гулять, пить чай, играть, идти в гости, принимать гостей, идти в театр... это довольно-таки скучно! Я как-то раз, недавно, на-днях, вспомнила, что ведь не может быть, чтобы я родилась и воспитывалась для всей этой... скуки. Заняться мне филантропией? Ты знаешь, я всегда была против комедии и фарсов, мой жанр — драма...

— Да, — усмехаясь и кусая усы, сказал Михаил Иванович. — Ты хочешь драмы... Ты уже, кажется, начинаешь ее...

— Вот видишь?! — Она погрозила ему пальчиком с тем комически важным выражением на лице, которое гораздо более шло бы ребенку, чем ей.

— Бывали уже моменты, когда, сидя за обедом, я чувствовала желание вылить тебе на голову суп, стащить на пол скатерть и вообще сделать что-нибудь грубое и экстравагантное. Потому что скучно, пойми ты это. Этот вчерашний вечер! Эти их мысли, их речи, которые даже я, не слушая их, слышала уже более пятидесяти раз, твой спор с ними — зачем все это? Какой во всем этом смысл? Какое значение, результат, пользу, красоту имеют эти либеральные собрания, на которых говорят так много и всегда так мало скажут? Наконец, ты! Фи! Ты умнее, свежее их, разнообразнее; но каждый раз, когда ты ввязываешься в их споры, они бьют тебя, несмотря на острогу твоего ума, более чуткого, чем их умы. В круге их идей — ты чужой, их настроения — тебе непонятны, а они-то все очень хорошо понимают тебя, и еще знаешь что? У них есть почва, да, есть, что хочешь говори, все-таки есть. Даже я, которой все равно — существуют они или нет, — даже я чувствую в них много скрытой силы, силы сдавленной, но цельной и здоровой. Тебе бы не надо состязаться с ними в эристике; ты ведь это делаешь ради ощущений, только ради того, чтоб бороться, и в надежде победить. Я думаю, что это ты напрасно, ты, — как и все люди твоего настроения, — неспособны к победе. Ты видишь, я так думаю кое-что и понимаю кое-как жизнь... Но и у меня, как у тебя, нет направления... Хотя, знаешь ли, я никогда не стану такой жалкой, как ты вчера был и часто бываешь. Сколько ты потерял в моих глазах во время споров с ними, и как я, порой, бывала зла на тебя, когда они побивали тебя! Ну, скажи, зачем ты это делаешь, зачем, когда это понижает твою ценность?

— Слушай, Аня, оставь это... это не понято тобой... — тихо сказал Михаил Иванович, чувствуя, что у него внутри творится что-то странное: то горит, то холодеет. Он не сводил своих широко раскрытых глаз с ее оживленного лица, теперь своеобразно красивого... Таким он еще не видал его.

— Не понято? О! Но что же? У меня нет жизни, живой, интересной жизни, жизни, которая охватывала бы

меня всю сразу и причиняла мне много боли, радости, приносила бы мне все такое острое, новое... Вот как надо жить — ведь да? Ты сам говорил не раз, что достоинство жизни в разнообразии ее впечатлений и, чтобы жизнь была интересной, нужно обогащать ее впечатлениями. А где я их возьму? Я уже чувствую потребность в новизне и, мало этого... я понимаю, что эта потребность может сделать меня несчастной и, наверное, сделает и тебя таким. Смотри — мы прожили с тобой полтора года, как вполне порядочные буржуа, детей у нас нет, ты меня любишь... мне скучно! Мы обеспечены. Это тоже скучно, мой друг. И вот я смотрю в будущее — там тоже скучно. Ты так легко исчерпаем. Ты ничего ведь не дашь мне нового, разве вот теперь станешь бояться и ненавидеть меня за то, что я была с тобой искренней...

— Это — все твои открытия? — тихо спросил Михаил Иванович. Он давно уже слушал ее, опустив голову и не глядя ей в лицо. В саду всё шелестели листья, шепча о чем-то грустном, и луна, выплывая все выше в небеса, скрадывала своим сияньем блеск звезд. А птичка уже молчала.

— Это — все мои открытия. Я резюмирую их. Скучно жить даже и тогда, когда любишь. Непременно нужно еще что-то. Что? Если бы я знала, я так бы и сказала тебе — нам нужно вот что! Я не знаю, ничего не знаю, — я только чувствую, что все — и твоя любовь — мне не дорого. Я сочла нужным сказать тебе все это, потому что ведь это предисловие к семейной драме, не так ли?

Она смотрела на него сверху вниз, и в глазах ее светились и смех, и любопытство, дьявольски острое любопытство, холодное, беспощадное. Он все еще не поднимал головы.

— Я не понимаю тебя... Это... творится что-то странное. Я слишком уважаю тебя, чтобы тебе не верить, и боюсь поверить, что ты говоришь именно о том, что чувствуешь. Это твое желание сорвать со стола скатерть и вылить на меня суп... я думал над ним... мне кажется, оно всего ближе к истине твоего настроения. Но почему? почему, Аня?

Он схватил ее за руки и сжал их крепко и больно. Она даже побледнела от такого пожатия.

— Пусти!

Он не пускал. Она точно маленьких змей набросала ему в сердце своим языком, и они шевелились там, внутри его, и наполняли его горьким ядом. Ему хотелось закричать на нее, затопать ногами, ударить ее по лицу, унижить, заставить ее почувствовать самое себя жалкой, нуждающейся в сострадании... Она бы пришла к нему тогда... а он ее выгнал вон и так отомстил бы ей за эти минуты. Но он только думал о таких чувствах, он только воображал их — в нем их не было. Он просто чувствовал себя как бы измолотым каким-то тяжелым жерновом. В голове его ясно было одно — жизнь изломалась!

И, глядя на ту, которая так спокойно и так просто изломала ее, эту жизнь, он изумлялся силе женщины. Да, так вот как это опасно — любить! Он все еще жал ее руки, бессмысленно уставившись в ее лицо широко открытыми глазами, а она вырывала их из его пальцев и билась, и уже шептала:

— Пусти!

Наконец он выпустил их, поняв, чего она хочет. Он снова сел на пуф, она же встала с софы и гневно сказала ему:

— Грубо! Это непорядочно! Грубо — слышишь?

Он смотрел на нее: она стояла среди комнаты, в пене кружев, облитых луной, с суровым лицом, сверкая глазами, и потирала онемевшие от боли руки.

— Извини! Я не хотел... — тихо сказал он. — Мне ведь тоже больно...

— Бедный... я тоже не хотела бы этого. Но вот что — ты не думай много — я еще не все сказала. Я только дала тебе понять, что у меня появилось новое настроение и что оно вот какое: я думаю, что это я хочу новой, иной жизни, жизни с каким-нибудь смыслом... Тебе надо остаться одному и подумать. Я ухожу...

Все это так звучало в его ушах, будто доносилось откуда-то издали. Потом щелкнул замок двери — гулко так щелкнул. Он обернулся — ее уже не было. Ему хотелось бы плакать, но мужчинам это всегда удается с трудом. Ему не удалось. А вокруг было так странно тихо и пусто, только шопот деревьев из сада все лился в окно такой ласковой, задушевной волной.

Михаил Иванович, чувствуя, что голова у него страшно тяжела, положил ее на софу и долго сидел так, неуклюжим комком, сжимая руками виски и все стараясь отдать себе отчет в происшедшем. И уже когда рассветало, он медленно поднялся, наклонился к окну и, вдохнув в себя много свежего воздуха, вполголоса, очень тихо, почти шопотом, с глубокой болью в глазах спросил: — Что же теперь будет?

III

«Что же теперь будет?»

Этот вопрос неумолкаемо звучал в голове и в сердце Михаила Ивановича всю ночь, после его разговора с женой, весь следующий день, и вот снова наступил вечер, а впереди его снова была бессонная ночь, полная предположений о том, что может быть между ним и женой, скоро ли это будет и как, в какой форме произойдет оно.

«Собственно говоря — что случилось? — лежа на диване, думал Михаил Иванович, глядя сквозь цветы на окне в синий кусок неба, на котором уже зажигались звезды. — Женщина заявила мне, что у нее родилось настроение, чего-то требующее от жизни нового, настроенное, отодвигающее меня, первую величину ее жизни, куда-то вдаль от ее чувств и ее внимания ко мне, куда-то вглубь... Заявила об этом... предисловии к измене долгу жены... и спокойно, с чистой совестью уехала на дачу на целый день, оставив меня с самим собой... и с этим проклятым предчувствием близкого разрыва с ней... моей женой, которую я... люблю теперь больше и глубже, чем любил три-четыре дня тому назад. С какой это стати, теперь, именно теперь, когда она вдруг, без всякой вины моей, незаслуженно, несправедливо нанесла мне этот удар, дала мне столько тоски и боли, — она стала дороже... ближе мне, необходимее?»

Ему казалось, что в каждый данный момент она может войти в комнату, свежая и красивая, с запахом соснового леса, привезенным ею с дачи, войдет, сядет к нему на диван и скажет:

— Продолжим наш вчерашний разговор...

И в результате этого разговора — его жизнь окажется изломанной, его жена — чужой ему, он сам превратится в соломенного вдовца — смешное и постыдное амплуа для человека с положением в обществе! Оно довольно снисходительно относится к мужьям, бросившим жен, но всегда так обидно подсмеивается или глупо жалеет мужей, брошенных женами. Как ему, Михаилу Ивановичу, жить, когда случится это? Уехать придется отсюда... А она что будет делать? Она так красива... Явятся поклонники, ухаживатели, и... один из них займет его место...

Михаил Иванович почувствовал, как волна холодного бешенства охватила его, и он задрожал от гнева, предчувствуя то оскорбление, которое ждет его впереди, полный зверской ревности и ненависти к своему будущему сопернику.

«Я... убью ее!» — стиснув зубы, подумал он, садясь на диван и хватая себя за голову руками. Где-то близко, должно быть, у соседей, играли на скрипке с аккомпанементом рояля. Тоскливые рыдания терции носились в тишине вечера, о чем-то прося, на что-то жалуясь, и струны рояля вторили им глухими звуками, задумчивыми и полными чего-то тяжелого, неотвратимого.

«О, как это глупо! — с тоской подумал Михаил Иванович. — Как это лживо, как опасна и ядовита эта красивая музыка, трогающая душу, смягчающая сердце... Он водит смычком по струнам, она бьет пальцами по клавишам, звуки гасят их умы... и вот они тоже... как я когда-то, полюбят, будут говорить друг с другом о новом счастье, о новой жизни... о всех этих сентиментальных чувствах... И женятся потом. И потом она подстережет его, когда он будет безоружен, когда он поверит в нее, в ее любовь, в возможность дружбы и новой жизни и во все это... и вдруг — удар! Я чувствую, что хочу не тебя, нет, а чего-то другого! Дай мне иную жизнь! Как это благородно — сказать прямо в глаза человеку, через полтора года после первого поцелуя, что любви нет уже и что нужно что-то другое! Иную жизнь! Новую жизнь? Быть может, вы, сударыня, хотите просто-напросто новых губ, которые целовали бы вас, новых объятий, да? Вы, может быть, нового мужа хотите, а думаете, что вам нужно новой жизни?... О, вы!»

Он скрипел зубами и повторял про себя все злые афоризмы, сказанные о женщинах людьми, почему-либо потерпевшими у них фиаско и поэтому ставшими в отношениях к женщинам скептиками и пессимистами, циниками и зоилами. Будь его жена в этот момент тут, с ним, он наговорил бы ей грубостей, — быть может, прибил бы ее. В нем кипело страстное негодование против этой женщины, с которой он связал свою жизнь, против всех женщин, таких загадочно странных в своих чувствах, в своей логике, всегда неуловимо капризных в своих настроениях, повинующихся чему-то неопределенному, какому-то романтизму, вечно жаждущему новизны впечатлений, никогда почти не примиряющемуся с действительностью надолго...

«В каждой из них скрыт яд, разлагающий семью, каждая из них носит в себе зародыш несчастья, и блаженный Августин, сказавший о женщине, что она «горше зла, и душа ее пустыня, как Фиваида, и открыта всем ветрам» — прав! Именно — пустынная душа!»

А скрипка все пела, и так много было чарующей ласки в ее мечтательной мелодии, что казалось — за окном именно потому и тихо так все, что все — и сад, и небо, и улица — слушают эту ласковую музыку, обещающую так много чего-то хорошего, светлого, одухотворяющего. Михаил Иванович снова лег на диван, закинул руки за голову и без дум несколько минут слушал скрипку. Под окном стояли деревья, не шелестя листвою, на окне — цветы, и сквозь них просвечивало далекое, спокойное небо с огоньками звезд на нем, разгорающихся все ярче...

«Никогда не надо показывать женщине, как много любишь ее... — снова думал Михаил Иванович, и сердце у него было полно щемящего чувства. Одиночество смотрело на него темными глазами изо всех углов комнаты, и, когда он заглядывал вперед, — там рисовались ему такие гадкие, шумные, злые сцены со слезами, с истерикой, с взаимной ненавистью друг к другу. — Из-за чего все это? Только из-за того, что у человека явилось какое-то неопределенное настроение, смутное желание чего-то... И эта туманная эмоция разрушает установившуюся жизнь, коверкает ее, заставляет думать о будущем тяжелые и черные думы. Чего же нужно этой женщине?»

Он чувствовал, как в нем постепенно и все настойчивее возникает ненависть к жене, ему хотелось бы унижить, оскорбить ее и наслаждаться слезами ее боли. Где-то вдали глухо задрезжали колеса пролетки по камням мостовой.

«Она? — приподнялся Михаил Иванович на диване и вытянул голову по направлению к окну. — Едут... Все ближе... Это она... Не надо показывать ей, как мне больно. Я и вчера не должен был бы... она!»

Пролетка остановилась у дома, и слышно было, как дышала лошадь, щелкнул замок кошелька, как дернули за ручку двери и нетерпеливо топали ногой по каменным плитам крыльца.

«С кем она была там?» — возник вопрос в голове Михаила Ивановича, и, прислонясь к спинке дивана, он приложил руку к сердцу и раскрыл рот так, как будто задыхался.

Сейчас она должна придти сюда. С каким лицом войдет она, что скажет? Болезненно острое любопытство кололо сердце Михаила Ивановича, и чувство ненависти уступало место ощущению боязни, страха пред этой женщиной, зачем-то так усложнившей его жизнь, приятную и спокойную до этого разговора... Идет!

— Ты здесь, Миша? — раздался ее спокойный голос с порога кабинета.

Он помедлил ответить ей и, рассматривая ее стройную фигуру в пышном, светлом платье, стоявшую в дверях, старался догадаться, чего ему от нее ждать. Она увидела его и с ноткой неудовольствия заметила, идя к нему:

— Что ж ты молчишь?

— Так... замечтался... — тихонько ответил он.

У нее выражение лица, движения, тон, — все было так властно, в ней чувствовалось много сознания силы, и когда она, шелестя платьем, села на диван рядом с ним, Михаил Иванович вздрогнул и отодвинулся от нее, чувствуя, что эта боязнь женщины, ранее незнакомая ему, теперь все более охватывает его...

— Что ты делал сегодня днем? — спросила она, заметив его движения и пытливо глядя ему в лицо. — И почему ты не велишь зажечь огонь? Здесь так мрачно...

— Не надо огня, — мягко попросил он ее и, стараясь не выдавать своего волнения, ровным тоном сказал, что он ничего не делал, а так вот, лежал все и думал. Он несколько нездоров, должно быть, чувствует какую-то апатию ко всему, в голове как-то тяжело и туманно...

— А я, — как бы извиняясь пред ним, начала она, — очень весело провела время.

— Кто... там был?

— Много... Приехал к Марье Ивановне из Томска какой-то кузен — суровый горный инженер, громадный, лохматый, великолепный экземпляр сибиряка. Говорил низким басом что-то о переселенцах и с высоким пафосом о задачах интеллигентного общества в деле помощи переселенцам. Это, конечно, было скучно, но сам он... интересен.

«Вот!» — с холодом в сердце подумал Михаил Иванович, и мучительное чувство ревности, охватившее его, разлилось в горьком, сдавленном, злом смехе. Он закинул голову и смеялся, зашурив глаза и нервно хрустя пальцами. Она же, удивленная этим смехом, отодвинулась от него, привстала и, пытливо глядя ему в лицо, тихо спросила:

— Что это? Что с тобой?!

— Ничего... Ха-ха-ха! Продолжай не обращать на меня внимания.

— Нет, Мишель, что с тобой? — В голосе ее звучала тревога...

Он замолчал и, полный нестерпимой боли, закрыл лицо руками. Она ждала ответа, все ближе склоняясь к нему. Она слышала, как он дышал, и видела, что что-то истерическое было во всей его фигуре. А ее близость усиливала его боль. И в муках своих, не глядя на нее, он чувствовал ее красоту, чувствовал, что его любовь к ней все растет, обращается в страсть, что теперь, когда он теряет ее, — она неизмеримо дорога ему, страшно нужна для его жизни... И он теряет, теряет ее. Картины первых дней их совместной жизни вспыхивали в его памяти; он вспоминал слова и фразы, полные страсти, которыми они щедро обменивались друг с другом тогда...

— Миша! Ты должен сказать мне, что с тобой! — уже строго сказала она ему.

— Не лги! — зло крикнул он, вскакивая с дивана. — Как будто ты не знаешь! О, ты! — Ему хотелось найти такое слово, которое уничтожило бы, раздавило ее, и он с глазами, налитыми кровью, сжал кулаки, бешеный, готовый ударить ее, склонился к ее лицу и задышавшись спросил:

— За что? Чем... скажи, чем я вызвал все это? Разве я...

— Успокойся... — сказала она властно, как человек, сознающий свою силу. Спокойствие ее лица и тона как-то оттолкнуло его от нее, он отошел в глубь кабинета, бросился там в кресло и утонул во тьме. Она удобно уселась на диване, оправила платье, сняла с рук браслеты и, загадочно улыбаясь, играя ими, посмотрела в его сторону.

В комнате стало тихо, — только звук золотых цепочек чуть слышно дрожал в тьме. За окном тоже было тихо и жутко. С неба, сквозь цветы, смотрела в кабинет яркая звезда.

— Ты торопишься... — раздался ее голос, ровный и убедительный. — Ты слишком быстро пошел навстречу событиям, которые могут и не иметь места в нашей жизни. Нельзя, мой друг, с намека создавать драму, из слов делать факты, — это наше, женское дело, как говорят мужчины, а не дело мужчин. Мне очень грустно видеть тебя так мало мужчиной, так мало способным отстаивать свое я... С чего ты так... взвинтил себя на драматический лад? Право, Миша, у тебя нет оснований для этого... Что сделала я такого, что могло бы дать тебе право показывать мне такие страшные гримасы? Подумай...

Он молчал.

— Странные вы стали, — задумчиво продолжала она, — вы чересчур... нищи духом; боитесь драм и сами создаете их этой боязнью. Мы сильнее вас... как ты думаешь?

— Скажи мне, — раздалось из тьмы глухо и как-то бесцветно, — чего ты хочешь? Что такое это «новое», которое там зародилось у тебя? Что это? И откуда эта «скука»? Ну, скажи мне кратко, определенно, — чего мне ждать от твоего открытия?

Она опять загадочно улыбнулась.... Браслеты всё звенели в ее руках... Они долго молчали — он там, в углу комнаты, скрытый тьмой, она — на диване, в грациозной позе, вся утопая в складках платья...

Вдруг решительным и сильным движением она встала с дивана и пошла к нему. Вслед ей мягко звякнули браслеты, брошенные на сиденье дивана. Когда она подошла к нему, туда в угол, контуры ее фигуры как-то сгладились тьмой, и она стала белым, туманным пятном.

— Тебе очень больно? — раздался ее ласковый, матерински нежный шопот.

В ответ раздалось что-то вроде стона.

— Бедненький мальчик! А ты очень любишь меня?

— Уйди! Это жестоко и... и низко, да! Мучишь меня ты... Уйди! — Он кричал...

— Миша, успокойся! — тоном сильного сказала она. Послышалась какая-то возня, точно они боролись там во тьме. Потом раздался звук поцелуя...

— Успокойся... послушай, что я скажу тебе...

— Еще! — с горечью воскликнул он.

— Но это тебя излечит, поверь мне!..

— Все равно! Говори, говори что-нибудь! Скажи, что это будет не скоро еще... что у тебя еще нет... тебе еще нечем заместить меня... что пока я...

Она, должно быть, зажала ему рот рукой — его речь так странно оборвалась. Снова наступила тишина, изредка прерываемая шорохом ее белого платья...

— Вот послушай... и подумай, каким путем додумалась я до того, что скажу тебе, и мог ли быть легок этот путь. Я опять буду говорить об открытии, сделанном мною, — но не бойся! Я прошлый раз ничего не открыла тебе... я не о нем говорила, видишь ли... или, вернее, — я не говорила о нем, а применила его к жизни, желая видеть, насколько оно... как это сказать? Нет, это совсем не надо говорить. Видишь ли что... ты спрашиваешь, зачем я сказала тебе это? да?

— Говори... — прошептал он.

— Ну, представь себе, что я сделала это не потому, что хотела быть искренней с тобой, а потому, что хотела узнать, как сильно ты меня любишь. Предположи, что у меня нет никакого нового настроения и никаких

запросов в жизни, — ничего, кроме любви и интереса к тебе.

Раздался глубокий вздох...

— Ты слишком привык ко мне, слишком мало уделял мне внимания в последнее время, я уже стала обычной вещью твоего жизненного обихода и — от этого мне стало скучно. Вы, мужья, изучив манеру ваших жен мешать ложечкой в чашке чая, думаете, что уже совершенно постигли, поняли, уразумели и исчерпали все существо подруг вашей жизни, что уже, если все жесты и вкусы их вам известны, — вы знаете и все то, что творится в глубине души женщины. Мы, однако, живые существа, воспринимаем впечатления и, как все люди, с каждым днем становимся сложнее... Вы забываете об этом... И ты забыл, что я живая. Ты последнее время уже довольно часто бывал не только непростительно невнимателен ко мне, а и прямо-таки чужд мне. Ты начинал прятаться от меня в самого себя, решив, очевидно, что со мной можно только целоваться и что говорить уже, пожалуй, не стоит. Я показалась тебе близко и хорошо знакомой, исчерпанной... пустой для тебя...

— Неправда! — горячо крикнул он.

— Быть может. Но мне показалось, что это так. Иногда я думала, что напрасно мы, женщины, позволяем себе сразу открываться пред вами. Нужно всегда стараться поддерживать интерес к себе, нужно оставаться всегда загадкой для мужа и поражать его неожиданностями и именно в то время, когда он теряет интерес к жене. Видишь, как я открываю пред тобой мои карты? Я не должна бы делать этого, знаю, но... мне так жалко тебя.

— Жалко! — с горечью воскликнул он.

— Не бойся — в любви женщины всегда есть много жалости... особенно в настоящее время, когда вас не полюбишь, не пожалев сначала... Уж очень вы все бесцветны... почти настолько же, насколько корректны... внешне, конечно. Ну, так я продолжаю. Я сказала сама себе — нужно подогреть его — твой интерес ко мне... И именно в этом было мое открытие... понимаешь, в этом, а новое настроение я выдумала. Ведь ничем не разожжешь вас так, как ревностью, как боязнью потерять жену. И вот

я вселила в тебя эту боязнь, чтоб посмотреть, каков-то ты будешь? Ты, оказывается, даже пересаливаешь... я увидела это, и — вот видишь, мой дрянной мальчишка, мне стало жаль тебя, и я открыла тебе мои карты... Все открыла, совершенно искренно... Ты извинишь мне этот маленький опыт, да? Конечно, ведь ты же любишь меня! Один неприятный день, и я спокойна, я знаю, что ты любишь меня, что я еще дорога тебе, что мы можем славно жить с тобой... Но — знай! чуть только ты начнешь очень привыкать ко мне, — я снова устрою тебе один такой день... Понял ты меня, да?

— Понял... — глухо сказал он.

— Ну, и нужно забыть это все... Забыть и не неглижировать своей женой, которая любит...

— Подожди! — остановил он ее. — Скажи мне — когда ты лгала: вчера или сегодня, сейчас?

Она засмеялась ясным, торжествующим смехом и смеялась долго...

— Бедный! Как я напугала его, — воскликнула она сквозь смех.

— Скажи! — просил он ее со страстью в тоне.

— Боишься, да? — весело воскликнула она. — Милый, как давно я не видала тебя таким!

Она целовала его...

Луна взошла, и пятна света лежали на полу, столе и на диване...

.....

А когда всходило солнце и первый луч его, пройдя сквозь цветы на окне, упал на пол, — Михаил Иванович встал с кресла, подошел к окну и опустил гардину, боясь, что солнце разбудит его жену, спокойно спавшую на диване. От окна он, осторожно шагая, направился к ней. Она улыбалась во сне такой загадочно красивой улыбкой и была крайне интересна, вся в белых складках платья — точно в пене.

Он пристально, хмуро и пытливо посмотрел на нее, вздохнул и снова сел в кресло, упорно думая:

«Когда она лгала — вчера или сегодня?»

ОТОМСТИЛ...

Набросок

Свободной походкой завсегдатай в зал шикарной ярмарочной гостиницы вошел молодой человек, одетый во все черное, высокий, сутуловатый, с серыми, холодными, насмешливо прищуренными глазами и с высоким, изрезанным морщинами лбом. Он прошел к столику, у двери на балкон, сел и, плотно сжав сухие и тонкие губы, окинул зал острым и все охватившим взглядом.

Было шумно и тесно. Всюду за столами сидела подвыпившая, крикливая публика: пестро одетые мужчины, с возбужденными, красными лицами и порывистыми, но уже неверными движениями; женщины, в экстравагантных костюмах, чрезмерно напудренные, громко смеявшиеся, сверкая вызывающими взглядами. С открытой сцены лилась задорно-томная музыка, то исчезая в шуме голосов и звоне стаканов, то поглощая собой все звуки и носясь по зале вихрем страстных, разжигающих воображение нот. Пахло вином, пряностями, духами, и от этого смешанного аромата, музыки и пьяного смеха у нового гостя кружилась голова. Он спросил себе кофе и коньяку и, медленно мешая ложечкой в дымящемся стакане, исподлобья следил за молодой, эффектно одетой брюнеткой, то и дело с демонстративно развязным видом проходившей взад и вперед мимо его столика, ища возможности поймать его взгляд своими жгучими и темными глазами южанки.

Видя ее неуспех, чувствуя, что ее злит его невнимание, он чуть-чуть улыбался, покручивал свой ус и с рассеянным видом поглядывал вокруг себя, как бы не замечая этой женщины... И со стороны очень трудно было определить, кто из них двух зверь и кто охотник.

Скрипки звали и плакали, флейта меланхолично выпевала задумчивые рулады, кларнеты, сдерживая звук, пели под сурдинку что-то нежное, и глухо рокотал контрабас.

— Не угостите ли вы меня стаканом чая? — вдруг, опускаясь на стул против сутулого господина, сказала дама. Прищурив глаза, он посмотрел на нее и, пожевав губами, ничего не ответил ей.

— Вы думаете? Разве вам так трудно ответить на мой вопрос? — вызывающе и ласково, смело и просительно сказала она, откинувшись на спинку стула и исследуя его лицо своими томно прищуренными, много обещавшими глазами...

— Спросите... — холодно ответил он. Его возмутила ее навязчивость, он с удовольствием ответил бы ей грубостью, но вокруг их тесно сидели люди, и было бы неловко обратить на себя их внимание. Она спросила у лакея чаю и заговорила с ним бойко, перескакивая с одного предмета на другой. У нее хороший грудной голос, и, слушая его, он узнал, что сегодня ей скучно, что она вообще чувствует себя утомленной этой шумной жизнью, с которой она знакомится впервые, что бывают обстоятельства, заставляющие женщину броситься в первое попавшееся место, взяться за первое предложенное дело, и что именно в силу таких обстоятельств она попала в хористки на ярмарку из своей родной Полтавы...

Он слушал ее и думал про себя:

«Как все они однообразны! Вечно одни и те же истории падения, вечно один и тот же тон подчинения жизни, — рабский тон, — и всегда стремление выдать себя за порядочную женщину, за жертву обстоятельств... В то же время эти шикарно одетые торговки гораздо более низки и развратны, чем их грошовые подружки из Канавина и с Самоката, они служат даже и не разврату, а просто мошенничают на почве разврата, они гораздо чаще играют роль продажных и наедаются на счет

мужчины, чем действительно продаются. Такие холодные, такие лгуны...»

Он презрительно усмехался, слушая ее... А она все говорила:

— Почему у вас такой скучный и утомленный вид? А? Вы чем занимаетесь?.. Это не секрет? Знаете что — я могу заказать себе антрекот? Да? Благодарю вас! — Она подвинула свой стул ближе к нему. — Мне кажется, что я где-то видела вас?..

— Быть может...

— Право! У вас такое оригинальное лицо... что нагερное я не ошибаюсь...

Он рассматривал ее с любопытством и презрением, скользя глазами по ее стройной и эффектной фигуре, а в ее глазах все чаще вспыхивал вызывающий, задорный огонек, и запах ее тела щекотал его ноздри.

— Не пойти ли нам на балкон? — предложила она. — Здесь так шумно... Туда нам принесут бутылку вина, и мы за ней побеседуем... быть может, там вы станете разговорчивее. Я так рада говорить с вами... здесь редкость порядочный человек...

«Но, голубушка, порядочный человек не скормит тебе более десяти рублей... хотя бы ты была еще милее...» — поднимаясь со стула, подумал он и сухо улыбнулся.

На балконе, действительно, было лучше, — свежее, не так шумно. Сквозь парусину, которой он был обит, просвечивало голубоватое сияние электрических фонарей, и откуда-то с улицы доносились вздохи музыки...

— Сколько музыки здесь! — вздохнула она. — Вы любите музыку?..

— Хорошую — да...

— Разве эта плоха? Вот сейчас на сцене играли Штрауса... я очень люблю его... У него всегда такой нервный звук, так много любви, и страсти, и неги... Хочется любить и быть любимой, слушая его... — задумчиво говорила она.

«Ишь старается! — думал порядочный человек. — Как ее, наверное, злит моя холодная ми́на и моя неразговорчивость... Ничего! Я с удовольствием посмотрю, что будет дальше. Во всяком случае, тебе не дешево достанется сегодняшний твой ужин.. паразитка!»

— Чокнемтесь! — предложила она, когда принесли вино. Чокнулись и выпили. На самом деле ее злила его неприступность. Она истощила все свои темы и уже не говорила теперь так бойко, как начала. «Чего нужно этому человеку? Чем его можно расшевелить? Господи! какая дрянь эти мужчины! Являются они известно ведь зачем, и еще требуют, чтобы у них возбудили желание наслаждения, вызвали его...» На минутку она задумалась.

«Выдохлась!» — подумал он, усмехаясь и холодно глядя на ее склоненную над столом голову и на обнаженную до плеча красивую белую руку, пальцами которой она тихонько барабанила по донышку бокала.

— Вы видели синемаграф?

— Нет еще... — ответил он, дав себе слово как можно меньше поддерживать разговор. «Посмотрим, как это подействует на тебя, моя радость!»

— О! Посмотрите! Это преинтересно! — оживилась она. — Как это дивно... особенно мне нравится одна картинка. Молодые супруги... муж и жена... такие, знаете, здоровые, красивые, завтракают и кормят бебе... миленького такого! Он ест и строит рожи... ах, как это мило! Вы непременно обратите внимание на эту картину... она такая многозначительная... и, знаете, здесь эта картина как-то особенно хороша... то есть не хороша, а сильна.

Она запуталась и искала выражения, нетерпеливо стуча пальцами по столу. Он заметил, что ее глаза стали как-то глубже, яснее... Это возбудило его любопытство.

— Почему вам нравится именно эта картина? — спросил он.

— Семейная жизнь? — воскликнула она искренним звуком. — Боже мой, ведь я же женщина!

В этом «я женщина» — прозвучало что-то близкое к укору. Порядочный человек подумал, уловив эти две нотки:

«Ба! у тебя, кажется, есть слабое место! Если ты только не притворяешься. Попробую...»

— Извините! — вслух сказал он простым и дружеским тоном. — Я действительно нелеп с моим вопросом. Я как бы позабыл о том, что женщина — хотя и не всегда мать, но всегда хочет быть матерью...

— Честное слово — это так! — вспыхнула она и даже ударила по столу кулаком.

Тогда он тихо и задушевным тоном начал говорить, как бы про себя, о прелестях, о поэзии, о значении семейной жизни и с неопределенной улыбкой все следил за выражением ее лица, мельком, исподлобья бросая на него быстрые взгляды своих серых глаз. Оно менялось, становилось проще, и вызывающее выражение глаз погасло в чем-то туманном; облокотясь одной рукой на стол, она неопределенно смотрела пред собой, слушая его ласковый и задумчивый голос, умело рисовавший картину за картиной...

Там, в зале, гремел оркестр музыки, и шумно билась бешеная, кипучая, разнузданная жизнь, — здесь, на балконе, из-под груды наносного хлама в душе женщины возникали «погибшие мечты» о другой, простой, тихой, серенько счастливой жизни.

Женщина вдруг плотно сжала губы и, как бы встрепенувшись от дремоты, решительно сказала:

— Однако — достаточно об этом! Тема довольно скучная! Выпейте еще вина!

Он мельком взглянул на нее, сделал паузу и снова, задумчиво, продолжал:

— А когда маленькое, теплое, трепещущее от смеха тельце прижимается любовно к груди матери и ясные глазенки смотрят в ее глаза...

Он точно сказку рассказывал...

Ее рука, протянувшаяся к бутылке, упала на стол, и она, с бледным лицом, с потухшими глазами, тихо сказала:

— Э! Будет вам!..

— ...Сколько счастья в этот момент ощущает мать, сколько сладкого трепета сердца и могучей любви кипит в ней...

Она покорилась. Откинувшись на стул, бледная, с выражением глубокой тоски в темных глазах, она так смотрела ими, точно эти красивые, яркие картины счастья были видимы им, точно они были тут где-то, близко. А он все говорил и хорошо говорил, образно, ярко, задушевно...

Всегда приятно несколько поглумиться над человеком, — это всякий знает. А «порядочный человек» слишком хорошо, по его мнению, знал «этих», для того чтобы

верить одной из них, — той, которая сидела против него и, с увлажненными глазами, слушала речи о тихом счастье, скромной жизни, о теплом огне семейного очага и о всем другом, о чем он мог сказать ей, но в чем сам он едва ли мог видеть счастье. И, говоря ей все это, он одновременно думал, глядя на ее облагороженное грустью лицо:

«Вижу — тыходишь в роль кающейся, но этим меня не проведешь, и больше десяти рублей я на тебя не истрачу... нет! Но если б за пятнадцать я мог задеть твоё больное место, заставить тебя несколько опомниться, быть может, я истратил бы пятнадцать».

Ему казалось, что он вправе отомстить ей за ту бесцеремонность, с которой она напросилась на его угощение, и за профессию, которой она служит, наказать ее, заставив пережить скверный, тяжелый час, час искреннего покаяния, час горьких воспоминаний о прошлом. Наконец, она просто злила его тем, что не могла возбудить в нем желания обладать ей, и, несмотря на это, — все-таки пила и ела за его счет.

— В семье, в уютно обставленной, теплой комнатке... так хорошо сидеть вечером бок о бок с любимым мужем... читать, разговаривать, чувствовать на себе его ласковый взгляд и знать, что он ждет поцелуя и примет его с наслаждением.

Она вздохнула и как-то странно качнула головой... Он заметил, что из ее левого глаза на скатерть стола упала слеза. Острое чувство удовлетворения охватило его. Он сузил свои глаза, скрывая усмешку в них и еще понизив тон, уже задумчивым шопотом будил в ней то, о чем она давно уже забыла.

«Едва ли ты когда-нибудь ужинала с такой приправой, голубушка!..» — воскликнул он мысленно.

Ему положительно было приятно мучить эту женщину; было время, его тоже мучили и они, не таким мучением, но мучением ожидания, неизвестности — более острым, чем это. Он видел, что она искренна, и не сомневался в этом; теперь ему хотелось, чтобы в этой пьесе ее финал был так же пошл и груб, как увертюра.

А она, эта женщина, смотрела на него широко открытыми, влажными глазами, облокотясь на стол, и пальцы

ее рук были крепко стиснуты. Жалкое что-то отражалось на ее бледном, осунувшемся лице...

И вот он вдруг встал, оборвал свою речь на полуслове, холодно и сухо усмехнулся ей в лицо, бросил на стол десять рублей и сказал:

— Прощайте, мне пора! Вы уплатите, тут хватит. — И быстро пошел к выходу, не дав ей опомниться.

Она вздрогнула и бросилась за ним, сильным движением всего тела, но снова опустилась на свой стул, раскрыв рот, будто она задыхалась, и схватившись рукой за левый бок...

Фамильярно улыбаясь, к ней подошел лакей.

— Получить?

— Принеси мне... — шопотом начала она, но у нее порвался голос, и она, растерянно улыбнувшись, странно покачала головой из стороны в сторону.

— Чего? — спросил лакей.

— Водки! — шепнула она. — Водки!..

А когда он пошел, истерически крикнула вслед ему:

— Больше... больш-шой стакан!

ДИПЛОМАТИЯ

Картинка с натуры

Сапожник Федька Скроботов был в унынии. Квартирный хозяин поставил ему вчера строгий ультиматум — или давай деньги, или уезжай с квартиры. Жена и мать Федьки по сему поводу с утра неистово пилили его, попрекая пьянством, ленью и всеми другими пороками, коренившимися в Федьке, по их словам, со дня его рождения. Наконец, они, дружно предав его анафеме, замолкли, мать ушла куда-то, жена села к окну и стала шить, а Федька ковырял шилом старый башмак и, чувствуя, что ему хочется есть, — никак не мог решиться попросить у жены обедать. А в желудке давно уже сосало, и голодная слюна наполняла рот. Наконец, он решился...

— Ка-акие я малосольные огурцы видел в лавке!

Гробовое молчание со стороны супруги.

— А что, у нас нет огурцов? — дипломатично продолжал Федька.

— Ты покупал? — сухо, не поднимая головы от работы, спросила жена.

«Нет, он не покупал. Хотел купить, но не успел, ибо проиграл деньги в три листика. Однако в следующий раз он обязательно купит огурцов и даже сразу тысячу...»

Он подумал это про себя, а жене доложил:

— Не успел я намерен... Нужно было дратвы, вару...

— Молчи уже, варвар... — укоризненно бросила ему супруга.

Федька засмеялся, изобразив на лице нечто вроде удовольствия.

— Какие эти самые женщины умные... когда они разозлятся. Даже удивительно! Ей миролюбиво скажешь — вар! А она тебе сейчас на это слово запалит — варвар! Каждое твое слово помножит и к щеке твоей приложит!

Обыкновенно от балагурства Федьки его супруга «поджимала животик», но в данном случае она только плотно сжала губы и, помолчав, тоном сухим и колким спросила:

— Как будешь с хозяином-то?

Федька вздрогнул и поежился, но решил не терять присутствия духа, надеясь храбростью ускорить обед. Он многозначительно поднял вверх палец и таинственно заговорил:

— Не извольте тужить — мы сумеем прожить! Мы, хорошие слуги, проживем и без потуги... пусть только на нас не рычат, яко звери, наши любимые супруги!

Победа! Жена улыбнулась!

— Сколько это у тебя их, супруг-то?

— Одна! Да и та, должно быть, больна, я выпью немножко вина, а она делается пьяна и колотит меня колодками по башке... чего делать не должна!

Федька пересолил. Супруга снова нахмурилась и кратко заявила:

— Убить даже тебя, болтуна, и то мало!

Обед опять отодвинулся далеко куда-то. Федька угнетенно вздохнул.

— Насчет хозяина ты не беспокойся! Я его сегодня вечером укрошу... как только в голове нужных слов найду...

— Что у тебя слова-то ползают в голове? — оппонировала супруга.

Опять неудача!

— Видишь ты, ему я, этому самому хозяину, уже такую подпущу дипломатию, что он, не токма, что денег с меня просить — благодарить меня будет, да! — вдохновенно начал врать Федька. — А пока что, собрала бы ты по...поесть чего-нибудь!

— Иди за щепками, надо щип разогреть... — сверху ожидания сказала жена.

Федька живо вскочил и бросился в сарай за щепками.

Задняя стена сарая выходила частью в сад домохозяйина, а частью на соседний двор, и на нем, как раз у стены, слышался говор. Любопытный Федька прильнул к щели, желая знать, кто и о чем говорит. Говорили, стоя у забора, трое мальчиков; один из них был сын учителя, жившего рядом, двое других — его товарищи. Федька знал их всех. Они смотрели в сад домохозяйина Федьки на яблоки, еще незрелые, но уже крупные, зарумянившиеся, отягощавшие ветки и дразнившие вкус...

— Полеземте, — предлагал сын учителя товарищам, кивая головой на яблоки.

Те подозрительно огляделись вокруг, не решаясь.

У Федьки блеснула в голове идея.

— Мальчики! — вполголоса позвал он.

Мальчики шарахнулись было в сторону, но сын учителя остановил их.

— Это — сапожник, — успокоительно сказал он.

— Это, действительно, — я! Я знаю лаз, — ах, как удобно! Айдайте вместе? И напорем мы этих самых яблоков — пуды! Идет?

Мальчики оживленно заговорили друг с другом, быстро составив что-то вроде военного совета. Нервный сын учителя горячо убеждал товарищей в безопасности набега, а Федька слушал и трепетал от ожидания. Решили, наконец.

— Вот и превосходно! Я сейчас же там буду!

Действительно, через минуту он сидел за сараем верхом на заборе и, глядя, как по саду, крадучись, в тени веток, двигались фигуры мальчиков, руководил их действиями, громким шопотом командуя:

— Левее берите... к малиту! Он теперь вкусный, малит-то!

Потом он прыгнул в сад, видя, что мальчики подобрались к «малиту», подошел к ним и, спросив: «идет работа?» — взял учителя сына за плечи. Тот обернулся и вопросительно посмотрел на него. Федька сделал строгое лицо.

— Теперича, господа, у нас пойдет серьезный разговор. Вы двое бегите, а вы, Николай Николаевич, пожалуйста со мной.

Товарищи Николая Николаевича, бледного от охватившего его испуга, поняли, в чем дело, и моментально скрылись. А их товарищ попытался вырваться из рук сапожника, но понял, что это ему не удастся, и глухо прошептал:

— Отпусти, Федор, я тебе завтра двадцать копеек дам!

— Я еще не обедал, а вы меня уже завтраком кормите! Не-ет, это удочка плохая! А за воровство положено наказание — тюрьма. Пожалуйста — иди!

Федька говорил громко и был строг, как Катон. Он вел своего пленника по дорожке сада и чувствовал, как дрожит его плечо, как холодеет рука. Лицо пленника было бледно, губы беззвучно шептали что-то, он инстинктивно упирался ногами в землю, Федька подталкивал его вперед и чувствовал, что ему жалко мальчика. Ему хотелось отпустить его, но — дипломатия! Федька очень много надежд возлагал на свой план для того, чтобы не попытаться довести его до конца.

— Извольте идти! — уговаривал он пленника очень любезно и доброжелательно. — Ничего не поделаешь... отпустить я вас не могу, а должен представить домохозяину... вот он! Здравсте, Платон Михайлыч! В то время, как вы ругаете меня разными тяжелыми словами и гоните вон с квартиры, — я-с оберегаю ваше имущество и добро! Извольте видеть? Поймал вора-с! С поличным в руках имею честь передать его вам! Получите!

Домохозяин, сырой и толстый человек, страдавший одышкой, взял пленника за подбородок, поднял кверху его голову и грозно захрипел:

— А!.. Давно уж я... добирался...

— Вы добирались, а я подобрался — хап! И готово! Я тоже давно слежу за ними... мне ваше, Платон Михайлыч, добро дорого! Я, бывало, ночи не сплю — все слежу. Сад моего хозяина тр-рогать не смей! Я — вот он! И я уж услежу...

— Я больше не буду... отпустите меня! — молил пленник со слезами на глазах.

— Нет... я тебя к отцу, и пусть он тебя выпорет... ага?! — хрипел Платон Михайлович, страшно вращая глазами.

— Я готов изувечить человека ради вашего спокойя! И вот — извольте видеть — поймал! — убедительно говорил Федька, вертясь ужом вокруг массивной фигуры своего хозяина.

— Спасибо! Ты и вперед... смотри!

— Всегда согласен! — с готовностью воскликнул дипломат.

— Хотя ты тоже... ворище!

Федька выразительно пожал плечами и сказал:

— Ах, зачем опять такие тяжелые слова!..

Их пленник горько плакал, ожидая решения своей участи. Он уже не просил отпустить его и не пытался осветить предательскую роль Федьки в этом деле.

— Я, кажется, вот показываю вам себя при всем солнышке! Зачем бы это мне гоняться за грабителями вашего сада? Иной бы на моем месте, после вашего вчерашнего разговора, еще сам же подучил — идите, ребята, охлаждайте сад!

Тут Федька кинул косой взгляд в сторону своего пленника и, убедившись, что тот совершенно не в состоянии понимать что-либо, свободно вздохнул.

Было жарко и душно. С жирного лица Платона Михайловича обильно тек пот, и ему надоело все это. Он даже зевнул от истомы. Федька дипломатично замолчал, ожидая дальнейшего.

— Вот что, — сказал ему домохозяин, свирепо отдуваясь, — отведи ты этого... воришку к отцу... знаешь?

— Знаю! — кивнул головой Федька.

— И расскажи там все...

— Понял! Это я — в момент! Извольте путешествовать за мной, молодой злодей!

Когда Федька вышел со своим спутником за ворота, он дернул молодого злодея за рукав, подмигнул ему и расхохотался.

— Идите вы, Коля, теперь, куда вам хочется! Настроились? Ничего не поделаешь... дипломатия, вот в чем гвоздь. Ну, идите!

Коля не верил своему предателю. Он посмотрел на него заплаканными глазами и снова понурил голову.

— Иди-и-те, говорю! — убедительно протянул Федька и даже толкнул его в плечо.

Тогда, медленными шагами, мальчик, оглядываясь на сапожника, пошел по панели. Федька, улыбаясь, смотрел ему вслед. Вдруг мальчик быстро наклонился, выпрямился, взмахнул рукой, и мимо головы Федьки со свистом пролетел камень. Федька дрогнул и сделал движение вперед, но мальчик был уже далеко.

— Злой... Обиделся... — вслух сказал Федька и пошел на свой двор.

— Ну, что? — спросил его домохозяин.

— Отвел, и все как следует. Сейчас его ухватили за вихры и повели пороть! — убежденно врал Федька.

— Так и надо, — сказал домохозяин.

— А то как же? Непременно пороть! А кстати, Платон Михайлович, как вы решили с чемоданчиком-то?

— Дорого просишь...

— Нет! Но ежели желаете — полтора рубля, и зачесь это за квартиру. А остальные два с полтиной, будьте столь великодушны, подождите... Приставлю я вскорости одному приказчику головки, и получите все до копеечки! Желаете?

— Ну... — буркнул домохозяин, — чорт с тобой!

— Стеснения мне и угрозы выгоном вон из квартиры не будет? Превеликолепно! Ведь я, ежели говорить по совету, какой квартирант вам? Редкость! Тих и... оберегаю ваше добро, не смыкая глаз, могу сказать! Ей-богу! Хоть бы вот теперь — сколько я время потерял, ловя воров в саду и прочее такое?!

— Ну... отстань уж! За это спасибо... а все-таки деньги за квартиру надо платить в срок...

— Да господи! Ежели бы я...

Но домовладелец, грузно покачиваясь, уже шел в сад... Федька, улыбаясь вслед ему, подмигивал жене, смотревшей на него из окошка и тоже улыбавшейся...

Через полчаса Федька сидел за столом и, жадно глотая вчерашние щи, оживленно и пылко говорил:

— Ум, почтенная наша мамаша и дорогая супруга, ум-с, — вот что есть главное в жизни! Дипломатию надо

уметь делать с людьми. Человек на тебя с оглоблей лезет, а ты его норови дипломатией опутать... Ведь вот сегодня утром какая была моя жизнь? Хозяин меня съесть готов, супруга меня кусает, маменька жует... оставалось мне повеситься или сбежать! Полчаса действия моего ума, и все стали очень даже ласковы! Каково-с?

— А ты ешь, ешь, — поощряла его мать.

— Я могу и есть и говорить... И даже мне это выгоднее! Я говорю, вы меня слушаете... и не видите, что я давно уже с говядиной черпаю, а вы все еще пустые щи буздыряете!

И все трое за столом разразились веселым хохотом.

СОН

...Пароход шел вниз по течению. Перед ним стояла гора, а над ней собрались густые тучи. Тени ночи ложились на воду, она была спокойна и казалась впереди парохода широкой полосой темного бархата, а сзади его, разрезанная железным килем и разбитая плицами колес, — волновалась, была покрыта пеной, и над ней плавал такой звук, точно она роптала на это железное чудовище, нарушившее ее покой.

Глухие, ритмически правильные удары плиц и этот ропот недовольной реки порой позволяли уловить еще один звук — он доносился откуда-то издали и был слаб и печален. Должно быть, это волны бились о берега. Небо было покрыто обрывками облаков, и глаз не мог уловить, куда они плыли, — пароход шел быстро. Между облаками на синих пятнах неба поблескивали звезды — казалось, они только что проснулись. Впереди парохода было очень темно, и река как бы упиралась в гору и уходила под нее. Кое-где по берегам мигали огоньки, иногда доносился лай собак; печальный звук деревенского колокола вздыхал протяжно и уныло.

Угрюмо работала машина парохода, и корпус его вздрагивал в напряженном стремлении вперед. На воде, взволнованной и вспененной, отражались огни. Светлыми пятнами, лишенными форм, они скользили по пене волн, и, если долго смотреть на них утомленному глазу, они рисовались в форме стаи полурыв-полуптиц, молчаливых

и любопытных, — пливших около борта парохода и готовых взлететь на него. Что-то мечтательное, смягчавшее ум и душу, смутное и ласковое, несла с собой приближавшаяся ночь. Все, чего она касалась своими темными крыльями, становилось мягче; звуки, долетавшие с берегов, были так меланхоличны, а звезды блестели все светлей...

В шумном стремлении огромного здания из дерева и железа — в стремлении, таком обычном для глаза и ума днем, — было что-то фантастическое этой ночью. Впереди так темно, небо так печально, шум парохода мрачно глух, и голоса его пассажиров разнообразны. И все это слито в одну гармонию, сильную и полную странных намеков на что-то. Там, далеко во тьме, чуть виден огонек, и кажется, что это к нему именно стремится по реке судно, полное людей. А он что-то обещает...

Сидя на галерее парохода, я смотрел на него, охваченный мечтательным настроением, и, отдаваясь разным фантазиям, возникавшим в мозгу, полной грудью вдыхал влажный и теплый воздух ночи. В такие моменты всегда хочешь счастья и ждешь его с чувством тихой грусти о нем и со странным упорством, совершенно забывая, что оно не только никогда не идет навстречу, но еще требует усиленных и долгих и большей частью бесполезных поисков его. Едва ли кому известное, но всеми желаемое, оно неумовимо, как мечта.

...Я долго сидел, охваченный этим настроением, как вдруг она снова явилась на галерее.

Она — это девушка, которую я заметил еще на берегу и несколько раз в течение дня встречал на пароходе. Не скажу, чтоб она была очень красива, — нет. Высокая, тонкая, гибкая, она ходила мимо меня беззвучно, как тень, лицо ее было овально, строго, бледно, глаза, темные и большие, были задумчивы, и вот в них именно, в их рассеянном, неопределенном взгляде было что-то, что возбуждало во мне желание выдвинуться пред этой девушкой, обратить на себя ее внимание и остановить на себе ее взгляд. Почему-то думалось, что, если этот взгляд остановится — ласковый, внимательный и нежный — на моем лице, — в этом и будет мое счастье. Оно сразу, вместе с ее взглядом, проникнет в мое сердце, ожи-

вит, освежит его, зажжет многими желаниями, возбудит мой дух, изощрит ум. Даже и тогда, когда поиски счастья трагичны, — человек несколько смешон, гоняясь за ним, я же просто мечтал. Я насвистывал нежные мелодии и принимал красивые позы, но она не обращала на меня внимания. Мне было обидно это, как и всякому мужчине было бы обидно. Но затронутое самолюбие не подавляло собой моих фантазий, и мысленно я уже очень близко подошел к этой девушке. Я говорил с ней об одиночестве, и она, еще не глядя на меня, уже слушала мои речи. Вокруг нас была элегия, и я старался гармонировать с ней. Я говорил о том, как это бывает мучительно, когда человек удаляется от жизни вследствие недоверия к ней, непонимания ее или вследствие того, что он оскорблен ею. Она, равнодушная к его думам и чувствам, кипит вокруг него, а он, не умея слиться с ней, сидит в своей маленькой комнатке, и из всех углов этой комнаты на него смотрят темные глаза одиночества. Гибнут мысли, потому что их некому высказать, вянут чувства, ибо их не с кем разделить, и человек умирает ранее, чем его коснется смерть...

Один ласковый взгляд, слово, сказанное сердцем, быть может, со многим помирили бы его.

Рука товарища-женщины указала бы ему место в жизни, ободренный, облагороженный дружбой, согретый любовью, он мог бы жить и делать жизнь, а не медленно умирать и только думать о ней.

Потом я говорил этой девушке о ней самой. Что в том, что я ее вижу впервые? Она мне кажется именно той, которая могла бы помочь мне жить. Я с первого взгляда почувствовал, что именно она может сделать это. Я уже люблю ее, да, люблю! Разве на это много нужно времени? Хорошо любят именно сразу. Пусть она позволит мне быть ее рабом, если думает, что я не стою ее любви и дружбы. В ней так много скрытой внутренней силы — это видно по ее темным глазам. Пусть же она, богатая, будет и щедрой, пусть она поделится со мной тем, чего у нее много, а у меня — нет...

Я погибну, я чувствую, что именно она, только она могла бы оживить меня, и я погибну, если она не поможет мне.

— Послушайте... — начала она, не поднимая головы и не глядя на меня, — послушайте, ведь согласитесь, что все, что вы говорите, по меньшей мере странно...

Какой у нее был мягкий, глубокий, за сердце хватающий голос! Я с наслаждением дождался, когда его последний звук погас, и мне стало жалко его и себя. Я все горячее продолжал убеждать ее. Я говорил ей, что она одним пожатием руки и взглядом может пробудить во мне силу и сделать способным на подвиги.

Да, я и теперь уже способен на них — ее близость оживила меня. Разве это не доказательство моей любви? Пусть она испытает меня! Я готов на все ради того, чтобы заслужить ее ласковый взгляд. Чего она хотела бы?

— Я верю вам... — тихо шепнула она.

Я громко крикнул от восторга и бросился к ее ногам.

И в тот же момент, как бы в виде стоустого эха моего восклицания, по всему пароходу пронесся крик ужаса и смятения:

— Горим!

— Пожар!

Тысячи змей шипели в воздухе, гулко грохало какое-то железо, ревел свисток парохода, рыдали женщины, кричали мужские испуганные и грубые голоса, слышались всплески воды, точно в нее падали тяжелые камни. На темном небе пылало зарево, и сзади парохода было неестественно светло для этой ночи без луны, — там, на корме, где громко топали ноги по палубе, что-то шуршало, как будто тяжелый кусок материи волочили по дереву. Детский звонкий голос пронзительно кричал:

— Мама-а! — и тонул в этом адском шуме.

Гремели цепи. И всё шипели змеи — это огонь сладострастно пожирал судно. Я оцепенел. Мимо меня неслись и куда-то прыгали во мрак люди. Их волосы развевались по ветру, рты были открыты, они хрипели, кричали, и страшно сверкали в дрожащей тьме белки их широко раскрытых глаз.

Клубы дыма то и дело опахивали меня, становилось жарко и тесно на носу парохода, где я стоял, прижавшись к стене кают.

Человек в белой куртке и в колпаке повара, размахивая перед собой тяжелой кастрюлей, добежал до перил

галереи, вскочил на них и, бросив вперед себя кастрюлю, прыгнул в реку вслед за ней. Полураздетая женщина хотела сделать то же, взглянула через перила в темную воду и с криком отчаяния, закрыв лицо руками, опрокинулась назад. Кто-то вскочил ей на грудь, чья-то нога наступила на ее белую руку и скрыла ее под собой.

А пароход все мчался вперед, и все яростнее шипел и трещал огонь на его корме. Река сзади его стала багровой, пена ее волн казалась кровью, и черные точки плавали в ней, неистово взывая о помощи. Снопы искр летали в воздухе и падали на эти фигуры.

Высокая женщина, с распущенными по плечам черными волосами, взмахнула над своей головой чем-то маленьким, белым и плачущим, и это, мелькнув в воздухе, исчезло с пронзительным криком за бортом. Человек в соломенной шляпе, которая тлелась на его голове, испуская от себя струйки дыма, сел у моих ног и стал раздеваться. Кто-то большой, хрипло кричащий, наскочил на него и с проклятием покрыл его своим телом, кто-то еще вспрыгнул на них, на перила и исчез...

— Руби топором! — грозно ревели внизу...

Слышались удары, вода все всплескивала, и огонь шипел, монотонно, однообразно, не торопясь, уверенный, что все, что хочет он пожрать, — он пожрет.

Происходило что-то неуловимое глазом, но грандиозно трагическое. Люди являлись, исчезали, сбивали друг друга с ног, дрались, вырывая один у другого из рук какие-то доски, стулья, тащили тяжелую скамью и бросали ее за борт, откуда раздавался дикий крик о помощи, которой все просили и никто не давал.

Толстая, полуобнаженная старуха в белых лохмотьях, развевавшихся по ветру, медленно шла ко мне, держась рукой за стену, и заунывно пела. Подбородок ее трясся, открывая беззубую нижнюю десну, и в глазах не было ничего, кроме ужаса. Кто-то ударил ее сзади, и она упала и тотчас же на нее упали другие, образовалась куча барахтавшихся людей. Они выли, как звери, били друг друга, на них падали еще и еще люди. Вот эта гора живого мяса подкатилась к перилам галереи... Треск — и все упали вниз, воя и рыча.

Становилось нестерпимо жарко, вода шипела, соприкасаясь с огнем, в воздухе летали горящие головни, и их отражения в воде мелькали, как золотые рыбы.

— Господи, спаси! — отчаянно воззвал кто-то.

Два мальчика, взяв друг друга за руки, мелькнули мимо меня, как птицы. Люди всё метались, полные животного ужаса, действуя без признака ума, толкая друг друга, ударяя, ругая, бросаясь с воплем в воду. Где-то лопались стекла с надрывающим душу тоскливо-громким звуком. Пароход все летел вперед, и казалось, что теперь он идет еще быстрее, подгоняемый огнем на его корме.

Огонь опрокидывался назад и развеивался в воздухе, как громадное знамя цвета крови, и вода под ним была тоже пурпурная.

— Руби! Спускай! — ревели вниз.

И вдруг предо мной впереди встало что-то высокое, черное, страшное, уходившее вершиной в небо. Оно быстро приближалось ко мне, и я понял, что буду раздавлен, когда оно столкнется с пароходом. Но я не мог сделать ни одного движения, хотя мне было жарко и уже над головой моей где-то шипел и свистал огонь. У моих ног возилась и стонала раздавленная, сумасшедшая старуха. Все ближе, ближе надвигалось то, что было впереди... это горный берег реки, почти отвесный...

Удар, и страшный треск и толчок. Я был сорван с места и, пролетев, как камень, сквозь пелену пламени, упал в воду...

Во мне как бы разорвалось что-то с глухим шумом... Вода свистела мимо моих ушей, выбрасывая меня на свою поверхность.

Я вижу пароход, весь объятый пламенем, вонзившийся в берег, исковерканный... Час тому назад он был бел и красив, как лебеди! Вокруг меня борются с водой, поглощающей их, люди. Но они уже не кричат. Они тяжело дышат, хрипят странно, ухают и исчезают в воде. Иные держатся за какие-то доски, скамьи...

О, если бы и мне доску! Я жадно смотрю вокруг, и мне так трудно удержаться на воде под градом огненных искр, осыпающих меня. И вдруг она сама толкнула меня в грудь. С радостным рычанием, счастливый и жадный, я крепко обнял руками кусок дерева и прижал его к себе

со страстью, с негой, так, как бы это была моя возлюбленная. Я смеялся даже... Но доска стала погружаться в воду.

— Мы утонем оба... — вдруг услышал я дрожащий, тихий голос.

Кто это говорит? Кто это? На другом конце доски, в расстоянии не более четырех аршин от своего лица, я увидел лицо... ее лицо! Лицо той девушки, которая была со мной там, на пароходе, которой я говорил о любви... Ей, этой девушке, я обещал совершить подвиги... Неужели она сейчас будет требовать от меня их? О!

Я опустил глаза, чувствуя, что она пристально смотрит в мое лицо... Доска все погружалась в воду.

— Возьмите себе другую... — услышал я.

Но когда я посмотрел вокруг, то не увидел ничего, за что можно бы было ухватиться.

— Мы не удержимся вместе... — говорила девушка.

Разве я не понимал этого?

— Кто-нибудь должен рискнуть собой...

Да, один из нас должен выпустить доску из рук, это так. Но ведь права всех людей на жизнь одинаковы...

Я захлебывался уже. Мне очень хотелось с силой дернуть доску к себе. Тогда она выпустила бы ее из рук. Но, может быть, где-нибудь близко плавает другая доска?

Вокруг нас была гладкая поверхность воды, и кое-где на ней порой виднелись какие-то черные пузыри. Это были головы утонувших. Я тоже утопаю...

Пароход горел так, как бы это цвел колеблемый ветром громадный куст красных и желтых цветов.

Вода шумела у меня в ушах, и голова моя кружилась. Я медленно погружался в воду...

— Ну, так тогда я... — едва коснулся моего слуха тихий шопот.

И вслед за тем я почувствовал... что доска поднимается кверху... Пора было! Пора, ибо еще момент, и я вырвал бы ее из рук этой девушки. Вырвал бы...

Ее голова еще раз мелькнула на поверхности воды. Потом показалась рука.

Потом все исчезло. Остался я и много спокойной, темной, тяжелой воды вокруг меня. Она тянула меня книзу, коварно лаская мне плечи и щеки.

Но я уже не боялся ее — доска могла свободно удерживать меня. Я спокойно плавал с ней, ожидая помощи. Она должна была скоро прийти — ведь видят же с берега этот догорающий пароход, слышат, как шипит вода вокруг него и как свистят языки пламени. Вода все толкала меня книзу. Она тихонько так упиралась в мое левое плечо и сотрясала его...

— Вы уроните за борт шляпу... проснитесь!

Я вздрогнул... вскочил... И изумился — утопленница, мягко улыбаясь, стояла на галерее сгоревшего парохода и смотрела мне в лицо мягким, ласковым взглядом темных глаз...

— Вы уронили бы вашу шляпу в воду, — повторила она.

— Сударыня, простите... — умоляюще начал я, — то есть благодарю вас, сударыня!

— Не за что... — ласково сказала она и, кивнув мне головой, бесшумно ушла...

Я с волнением посмотрел ей вслед. Как я был рад, что не утопил ее!

Светало. На небе загорался румянец утра, а река блестяла, как сталь, вся такая холодная и важная. Зеленый горный берег был так приветно ласков, вдали туман носился...

На небе гасли звезды. В душе горела радость.

Так я не утопил эту девушку?!

ЗА БОРТОМ

Элегия

«Даже и мертвый на кладбище
покоится среди подобных ему — подумайте, как мучительно живому быть
одиноким!»

Луиза Аккерман

Тоскливый дождь осени, не умолкая, стучит в стекла окон, и сквозь них ничего не видно, кроме тьмы, неподвижной и густой. Как будто жалуюсь на что-то, звучит вода, сбегая с крыши, и этот унылый звук, вместе с тихим шумом дождя, — это все, что напоминает о существовании движения и жизни за окном, во тьме, скрывшей собою и небо и землю.

В кабинете, уютно убранном и освещенном рабочей лампой с зеленым абажуром, за столом, в глубоком кресле, лицом к окну, сидит человек, высокий и полуседой, и, не отрывая глаз от тьмы за стеклами, упорно смотрит в нее большими серыми глазами из-под нахмуренных бровей. Его изрытое морщинами, сухое, длинное и серое лицо — неподвижно, губы плотно сжаты, и он так держится пальцами за ручки кресла, точно ожидает, что какая-то сила оторвет его от кресла и бросит в эту тьму, навевающую на душу холод и тоску. В окно дует, пламя лампы колеблется, и по стенам кабинета бесшумно ползают странные тени — целый мир бесформенных, полупрозрачных, дрожащих пятен. Они так дрожат, точно им хочется вырваться из комнаты туда, за окно, и они не могут этого сделать и страдают от бессилия...

И человек, сидящий у стола, порою вопросительно смотрит на них, как бы ища в их движении ответа на думы, поглотившие его. Из всех углов его комнаты на него смотрят темные глаза одиночества, и все предметы вокруг, погруженные в полумрак, изменили свои контуры и утратили свой обычный вид. Человек хотел бы пойти куда-нибудь, где более светло и где есть жизнь; но он — человек тяжелого и необщительного характера, он никогда не прочь слушать, что говорят другие, но сам не находит нужным много говорить, ибо он знает, что слово — слишком бедно не только для того, чтоб точно передать все оттенки мысли, но и для того, чтобы хоть схематично оформить эту мысль, не оставляя за нею в душе ничего недосказанного, никакой тени и осадка. Да и совестно как-то говорить о том, что сказано не раз уже и много раз сказано гораздо лучше, чем можно сказать.

Среди людей, в гостиных, он — точно *memento mori* *, его не любят за его постоянно сосредоточенный вид и те холодные улыбки, которыми он отделяется от попыток завязать с ним разговор. Он знает, что он только с трудом терпим и что без него его знакомые чувствуют себя свободнее. Он знает, что его считают человеком, слишком много думающим о себе, что на его скептицизм смотрят как на стремление быть оригинальным, что его подозревают в болезненном пренебрежении ко всем и ко всему, в мании величия.

Его не оскорбляет все это, и он далек от желания разубеждать людей в их ошибочном взгляде на него. Он уверен, что все, что люди думают и делают, — вполне достойно их, что человека медленно изменяет только время и что никакие доводы рассудка не в состоянии заставить его изменить даже те привычки, которые заведомо вредны ему. Несомненно, что каждый человек заслуживает все то, чем он живет, — но есть люди, которые любят быть более несчастными, чем определено для них судьбой, — он принадлежит к этой категории людей и никого не винит в том, что он остался за бортом жизни.

Что бы человек ни делал, — в конце концов он почувствует в себе роковую пустоту и горько пожалеет о той

* Здесь в значении: напоминание о смерти. *Ред.*

энергии, которую он растратил за свою жизнь; а тот, кто, углубясь в самого себя, лелеет в себе свое страдание, до конца жизни будет чувствовать себя полным мысли и героем. Иметь в себе что-либо прочное — вот гарантия от нищеты духа, и нет ничего прочнее страдания.

Но все-таки он пошел бы к людям, все-таки пошел бы, хотя они и не понимают его и хотя он понимает их. Обычно они собираются в группы для того, чтоб лгать друг пред другом, для того, чтобы говорить о вещах, которые стоят далеко от будничной жизни, но могут позволить каждому блеснуть своими знаниями и умом, некоторое время покичиться пред самим собою и друг пред другом. Это так же обычно для всех компаний, как и неискренно.

Эти словесные турниры, формированный тон суждений, искусственная горячность, — все это только праздничные наряды. Ими люди запасаются в юности и живут с ними часто всю жизнь, не обновляя их, отчего большинство человеческих взглядов так потрепано и ветхо, так пошло и изношено... Как и вообще все другие костюмы людей — их убеждения и взгляды должны быть насколько возможно чаще проветриваемы и очищаемы от плесени времени щеткой скептицизма. Это гарантирует их свежесть на долгое время, и об этом следует заботиться каждому, кто хочет, чтоб его убеждения не превратились в предрассудки. Не нужно забывать, что каждый предрассудок — обломок старой истины, но следует помнить, что чем свободней ум, тем богаче человек.

Люди забывают это и судят друг о друге и о всех явлениях жизни по шаблону, приобретенному ими давно и не расширенному сообразно с потребностями времени. Жизнь идет, она всегда движется, — и так легко разучиться понимать ее, измеряя ее старой меркой. Люди плохо понимают это, и вот почему они не понимают друг друга, все так чужды друг другу, черствы и так мало обращают друг на друга внимания...

...Но все-таки хорошо уметь жить с ними, уметь быть довольным ими, их речью, их вкусами, их действиями... Почему это так приятно, и почему этого порой так страстно хочется?

Любимые темы их разговоров — политика, литература, искусство, — и когда они говорят об этом, их еще можно

слушать. Но когда темой разговора является человек — как больно становится за людей! Сколько желчи, иронии, злобы, непонимания, сколько равнодушия, и как мало желания понять, как мало тепла в суждениях о человеке...

А между тем «истинный шекинах — есть человек». Да, именно он святая святых, он целый мир, — мир сложный, интересный, глубокий... Выучатся ли когда-либо люди, если уж не понимать, то хоть молча уважать друг друга? Поймут ли они когда-нибудь, что кроме человека — в мире нет ничего интересного и что только человек — мера вещей и творец жизни?

Было время — он делал попытки сблизиться с людьми, войти в круг их интересов и жить, как все. Но это требовало уступок, а на них он не был способен. Приходилось интересоваться тем, что не интересовало его, слишком часто нужно было кривить душой для того, чтобы быть как все. Те люди, которые присвоили себе эпитеты людей порядочных и интеллигентных, слишком увлечены всем тем, что может поддержать и упрочить за ними право на эти эпитеты, и, вечно поглощенные стремлением казаться не тем, что они есть, равнодушны и холодны друг к другу. Жизнь каждого — тайна для каждого другого, — тайна, которую одни боятся открыть, другие не хотят отгадать, — и люди живут, соединенные друг с другом только словами, каждый носит в себе целый мир чувств и дум, болеет ими, живет, живет и умирает, не высказавшись. Никто не замечает печальной странности нашей жизни, никто не видит того, что сам он — неразгаданная загадка — всю жизнь вращается среди таких же загадок и что знакомство человека с человеком только пустое слово, — слово без содержания. Никто никого не знает и не хочет знать. Есть несколько слов, которыми люди определяют друг друга, но, когда говорят: «это человек умный», такое определение не охватывает человека, ибо оттенки ума слишком разнообразны, как и характер его деятельности. Когда же ум человека слишком изощрен, или дальнозорок, или впечатлителен, тогда говорят: «это человек больной», что так же справедливо, как было бы справедливо сказать о Наполеоне, что он только солдат. Живость ума принимается за легкомыслие, и все, что оригинально, носит название ненормального. В общем жизнь

представляет собой картину безумной суеты очень несчастных, очень нищих духом существ, говорящих на разных языках и, не понимая друг друга, торопливо осуждающих и определяющих друг друга. Все слишком заняты собой, и каждый стремится показать, что его интересует еще что-то. Показать это нужно для того, чтоб обратить на себя внимание, вызвать по отношению к себе у других больше хороших чувств. И ложь жизни, привычная всем, как воздух, все увеличивается и разъединяет людей.

Но порой бывают моменты, когда среди людей — так хорошо и жизнь полна чарующей прелести, когда душа полна трепетом ожидания чего-то нового, в дали будущего ярко горят огни надежд на что-то благородное, великое и в душе человека играет ясная радуга страстных дум и чувств. Эти моменты редки... Но они есть. Они есть, и, хотя бы они были только «нас возвышающий обман», — ими можно жить... Но теперь поздно уже возвращаться в жизнь тому, кто сам себя выбросил за ее борт, поздно и не с чем. Туда нужно всегда приносить с собой что-нибудь, а он что принесет? Свои полуседые волосы, и темные думы, и недоверие к людям? С этим плохо примут.

Остается сидеть здесь одиноко и слушать скорбный шум осеннего дождя, и ждать того дня, когда вместе с солнцем и воздухом, которые принесут для тысяч людей жизнь и счастье, возможное на земле, к нему явится смерть. Она придет и одним дыханием сотрет из книги жизни одну из ее страниц — человека. Эта страница вся сплошь исписана событиями и думами, на ней много можно бы прочитать интересного... Но она исчезнет не прочитанной никем, исчезнет, не оставив за собой в жизни никакой тени, никакого воспоминания...

«Зачем же нужно было мне родиться, жить, так много думать, так много знать и внутренне гордиться собой за то, что я, стоя в стороне от жизни, видел ее глубже других, изучил подробнее и... теперь хотел бы погрузиться в нее, насытиться ее шумом, вдыхать ее в себя всеми порами, быть таким же тупым, узким и пошлым, как большинство людей, жить с ними их чувствами, говорить их словами, делать все, что они делают, и, как они, незаметно для себя приближаться к смерти, встретиться с ней и — угаснуть? Зачем, кому нужно было все это? И вообще —

кому нужна жизнь каждого человека? Цветы, расцветая и увядая, радуют глаз человека — можно думать, что это их назначение. Но человек живет, обогащается опытом, с каждым днем становится все полнее и внутренне богаче — в чем же его назначение? Для кого он живет и вечно созидает и уходит в землю с земли, оставляя все свои труды в наследие оставшимся, которые тоже исчезнут в час, назначенный для них? Зачем вообще нужно жить?»

Тоскливый дождь осени, не умолкая, стучит в стекла окон, и сквозь них ничего не видно, кроме тьмы, неподвижной и густой. Человек упорно смотрит во тьму своими серыми глазами, и морщины на лице его вырезаются все глубже. И тени на стенах комнаты все колеблются безмолвно и таинственно, точно живые иероглифы, рассказывающие смутную историю одинокой и отверженной, гордой и слабой человеческой души.

Человек цепко держится своими сухими пальцами за ручку кресел и сидит, как изваяние, подавленный своей тоской, лицом к лицу с безмолвной тьмой осенней ночи. Сидит и чувствует, что он только человек и что тайны бытия необъемлемы умом его и недоступны его пониманию. Ему жаль жизни, которая идет в стороне от него и с которой теперь у него нет сил слиться. И все думы, отягощавшие собою его мозг, сливаются, в конце концов, в один простой и ясный, оскорбительно простой и обидно ясный вопрос:

«Зачем я счел себя умнее, порядочнее, сильнее духом всех остальных людей и не умел установить с ними прочной связи, не умел жить среди них?»

...Дождь стучит в окна, — и тьма смотрит в них.

«И вот я прожил мою жизнь только для того, чтоб убедиться в моей ошибке, и, думая три десятка лет, додумался только до иронии вопроса — зачем я счел себя лучше других?»

Дождь и тьма...

«Да, жизнь умеет наказать того, кто не хочет слушать ей...»

По стенам комнаты безмолвно движутся полупрозрачные тени. Всюду одиночество. И вода, стекающая с крыш, звучит, как реквием...

ИДИЛЛИЯ

В маленькой комнатке с низким, закопченным потолком слабо мерцает лампада пред божницей в углу. Ее дрожащий свет родил на стенах неустанно трепещущие, пугливые тени, и они, ползая вверх и вниз, то покрывают собой, то открывают яркие, дешевые картинки, изображающие «Страшный суд», «Путь праведника и грешника» и другие ужасы в этом роде, иллюстрирующие достоинства добродетели и недостатки порока.

Кроме мерцания лампады, в комнату входит еще длинная полоса света откуда-то извне, сквозь стекло четырехугольного отверстия в низкой, обитой клеенкой двери. Эта полоса ложится светлой тропой на пол, покрытый холщевым половиком, и уходит под стол. Пахнет деревянным маслом и еще чем-то, таким же тяжелым. Вся комната тесно заставлена. По одной ее стене стоит широкая двуспальная кровать, за спинкой кровати — громадный, покрытый ковром, сундук, потом божница. У другой стены помещается неуклюжий, старинный комод, рядом с ним опять большой сундук, за ним — стол, а между столом и дверью на стене висит гора одежды. Впереди, у широкого окна, стоит еще стол, два стула по бокам его, один посредине, на столе лампа, две рамки с портретами и толстая книга в коже.

В окно смотрит темносинее небо летней ночи, молчаливое и меланхоличное, с золотыми крапинками беспокойно дрожащих звезд. Порой стекла окна дребезжат от шума проехавшей по улице пролетки. Полумрак в комнате

увеличивает размеры загромождающих ее предметов, и от безмолвной игры теней все свободное пространство среди комнаты кажется населенным призраками. Яркие пятна картин на стенах смотрят, как чьи-то четырехугольные, большие и уродливые глаза. И все в этом тесном чулане пропитано безмолвием и тяжелым, мертвым запахом.

Светлый четырехугольник в двери иногда застигает собой какое-то темное тело... Тогда полоса света на полу вздрагивает и на секунду исчезает, потом снова является, как широкий меч, вонзаясь в сумрак и пугая своим появлением населяющие его тени. Но безмолвие не оживляется этим движением света; только из-за двери доносятся в пустоту комнаты щелканье косточек счет, характерный звон денег и удары чем-то тяжелым по доске.

...Дверь открывается, и в комнату входит маленький, сухой старик, с острой, седой бородкой, в тяжелых очках на красном, хрящеватом носу, в белом, длинном переднике и с лампой в руке. За ним стоит, держась за скобку двери, старушка, сгорбленная временем, с головой, наклоненной к земле. Они оба окидывают быстрым взглядом внутренность каморки; старик ставит лампу на стол, крестится и сиповато говорит:

— День прошел и — слава богу!

— Слава те, господи! — вторит ему старуха. — Чайку попьешь?

— Уж известно!

И старушка возвращается назад в помещение, заваленное мешками муки, ящиками, банками. Это — маленькая бакалейная лавочка на захолустной улице города. В ней продают коленкор и деготь, иголки и сено, угли, хлеб, нитки, табак, кислую капусту — все, что ежедневно нужно людям, считающим деньги копейками.

Пока старушка возится в лавке, старик проходит вперед к столу и ставит лампу, тихо напевая себе под нос какой-то тропарь. Комната сразу принимает жилой вид, и теперь можно ясно разобрать неопишуемые муки грешников на картине «Страшного суда».

— «И-им же тя хва-а-лим...» Мать! Захвати-ка-сь счета оттуда...

— Знаю, чай... — ворчливо отвечает старушка, гремя чайной посудой.

— То-то... «Им же тя ве-елича-аем...»

Заложив руки за спину, он останавливается перед «Страшным судом» и перестает петь, в тысяча первый раз рассматривая, как корчатся грешники, палимые огнем адовым, похожим на снопы красной соломы. Каждый грешник поджаривается в отдельном помещении и представляет вместе с огнем, объявшим до половины его скрюченное муками тело, нечто очень похожее на половинку елочной хлопушки, из которой высунулся сюрприз.

— «О-от юности моя мнози борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спасе мой...» — баском и речитативом произносит старик и, отходя от картины, глубоко вздыхает.

— Отец, неси-ко самовар-от! — командует мать из лавочки.

— Готов уж? Ай да ты у меня! — говорит отец, идя в лавку, а навстречу ему несется ворчливое, но польщенное:

— Ну уж!

Это у них происходит каждый день после того, как они закроют свою лавочку и на свободе захотят попить чайку. Почти всегда, кончая торговлю, он начинает петь тропари, ирмосы и кондаки, она ставит самовар; потом они садятся пить чай и за чаем считают дневную выручку и свои барыши.

Вот они за столом. Самовар шипит и курлыкает; «мать» сняла платок с головы, поправила шелковую «головку» на своих седых волосах и наливает «отцу» чай в фаянсовый бокал с отбитой ручкой, который служит уже не один десяток лет. Перед ней — синяя, с черной трещиной, большая чашка, блюдечко с медом, крендели... Перед ним — счеты и длинная узенькая книга, испещренная крупными иероглифами, выведенными карандашом... Он вонзает свои маленькие, быстрые глазки с красными веками в книгу и кладет сухой, крючковатый и коричневый палец на грязные косточки счет.

— Ну-кося, господи благослови!

И старуха крестится, благоговейно взглядывая на божницу. Потом она переводит глаза на палец мужа, то и дело передвигающий косточки, и следит за ним, смачно прихлебывая с блюдечка чай. Минут пять вся комната

полна шелканьем косточек, шопотом старика, читающего цифры, и бульканьем чая в горле старухи. Ее сморщенное, как смятая перчатка, лицо — полно внимания, большие черные, тусклые глаза не отрываются от счет.

У него на лице — напряжение математика, решающего сложную задачу.

— Мыло... полфунта шесть копеек, махорка четыре копейки... гривенник... н-да... А всего итого отпущено сегодня в долг на два шесть гривен! Вот как!

— Мишка-сапожник отдал восемнадцать копеек? — осведомляется старуха.

— Сапожник? Просил приписать к старому долгу. Это дело пропащее... и зачем ты ему отпустила?

— Да я, говорит, в субботу отдам все...

— Как он может отдать? Жена у него больная, сам он без работы, а Манька знать их не хочет... гуляет себе и больше никаких.

— Да ведь у тебя расписка на него есть?

— Расписка есть... Возня. К мировому надо, а он, мировой-то, по гривеннику с листа прощения возьмет... да разная другая канитель... Глядишь — вместо пяти-то сорока и получишь четыре целковых, а это не резон...

— У них благословенная икона есть в серебряной ризе... она рублей в восемь ценой... — напомнила старуха.

— Это я знаю... Прохвост — заложит, пожалуй...

— Пускай заложит — ведь не кому другому, а все нам же...

— Нам-то, нам... да ведь под нее надо дать хоть целковый, а с долгом-то это уж будет шесть сорок...

— И то мы в барыше...

— Мы всегда будем в барыше, потому мы с тобой люди прозорливые... А только и то надо помнить — какой барыш...

— Ну, уж не все помногу...

— И это верно... Да-кось мне медку-то!

Минуты две продолжается молчание, прерываемое только звучным схлебыванием чая с блюдечек. Старики сосредоточенно дуют на дымящийся чай и посматривают в открытое окно на ночное, торжественно важное небо и на яркие звезды его...

— А опять вызвездило, — говорит старик, выпив свой стакан, — завтра ведрено будет.

— Теперь такие дни должны быть сплошь до нового месяца... Месяц будет обмываться — опять дожди пойдут, — поясняет старуха.

— А как ты думаешь про Загарину-барыню?..

— А думаю так, что надо будет исполнительный-то лист пустить в действие. Описать у нее все хурды-мурды, да и вчистую ее...

— В богадельню-то ее не приняли...

— Н-ну?! Значит, надо поторопиться нам, а то она все продавать учнет. Чем ей, кроме, жить?

— На паперть — одна дорога... Она медни к ней татары приходили... Я смотрела — продаст чего или нет? Не продала...

— Видишь? Завтра я ее подожду. А может, она и продала что мелкое?

— Кажись бы, нет... — с сомнением сказала старуха.

— Погибла дворянка... — помолчав, решил старик.

— Да уж... Все они теперь так хизнут...

— Ну, туда и дорога. В свое время пожилы, попиروвали... теперь давай дорогу другим.

Старик многозначительно улынулся, взглянув в лицо своей жены, и оба они перевели глаза на портреты, стоявшие за самоваром. На одном из них был снят рослый гимназист с угловатым, резким лицом, на другом — полная девочка с длинной косой, переброшенной через круглое плечо на грудь, и высоким лбом с упрямой складкой над переносьем.

— Вот они... новые-то жители земли... — кивнул головой старик, и его сухое, острое лицо оживилось доброй и мягкой улыбкой... Старушка тихонько хихикнула, тоже вся преображенная. Но это скоро прошло у них, ибо еще не вполне наступил час нежных чувств.

— Лександру-то надо будет послать рублей... с четвертную, — начал задумчиво и хмуро старик. — Хоша он за урок и получает, однако в таком кругу ему нужно следить за собой. Брюки, там, новые, и все такое. Товарищи... Тоже молодость...

— Испорть его, смотри! — предупредила старуха.

— Сашутку-то? . Его тысячами не испортишь, — он свою дорогу твердо знает. Вот я с Загариной да с Унженцова взыщу и пошлю ему.

— Чай, и Соне пора высылать...

— И Соне пошлю... Не бойсь, не забуду...

— И как она, я все думаю, живет там, среди чужих-то? То-то, чай, дико бедненькой девоньке... — пригрюнилась старуха.

— Ничего... живет! Пишет — хорошо. Столичные — народ вежливый, смирный, — не наш брат... Вон третьеводни Сачков какой скандал поднял... Орет: «Донесу!» Говорит: «Заклады тайно принимаешь!.. Поддай, говорит, мои вещи». А проценты седьмой месяц, мошенник, не платит. Теперь под заклад-то ему я дал тридцать, считай — по полтора рубля в месяц — уж и стало тридцать девять... Этого не понимает, кривая рожа... «Донесу!» А доноси! Найди у нас что-нибудь, ищи, вот те все сундуки!

Старик взволновался: у него покраснел и задрожал нос и очки запрыгали. Он даже закашлялся от негодования.

— А господь с ними со всеми, — миролюбиво сказала старуха и добавила: — Что они нам могут сделать? Покричат — да к нам же в нужде своей придут. А что не любят нас в околотке — пускай! Нас есть кому любить... — Она кивнула головой на портреты и снова мягко улыбнулась.

— Это так, — соглашался старик, успокаиваясь. — Это верно... Но все-таки, ежели я захочу притко действовать, — пол-улицы как после пожара очутится. По миру пойдет!.. Потому — документы! — И он, внушительно стукнув сухими пальцами по столу, строго посмотрел на жену.

— А господь с ними, пускай их живут, — неизменно твердила старуха. — Чего ты серчаешь, коли тебе твоя сила известна?

— Обидно, мать, понимаешь? Одни мы, что ли, на земле — грешники? А выходит — как бы одни... Все на нас зубы точат, все злорадствуют.

— А нам больно наплевать, — философски возразила старуха. — Али господь-батюшка не видит, для чего мы

с тобой живем? Он все видит! Его святой суд будет, — ну, и ответим мы пред ним. . А люди нам не помеха...

— Это верно... — спокойно сказал старик. — Напилась ты? Ну, так собирай да ложись, а я псалтирь почитаю часок...

— Ну-ну, я сейчас... Почитай-кось, и утихомиришься словом-то божьим. А сердчать, я тебе всегда говорю, не надо. Не для себя ведь мы, — для родных, кровных детей. Вырастим их, выучим, — они вину нашу пред господом людям заслужат. Будут образованные, царевы и богovy верные люди. Ну, ради них мы и согрешим, так, чай, не во грех будет зачтено. Ведь и птичка божия, птенчиков своих выкармливая, жучков да божьих коровок клюет, — так-тося...

— Это истинно... Будет Соня докторшей, а Санька учителем.

— А он ведь адвокатом хотел? — быстро сказала старуха, перестав мыть чашки.

— Расхотел. Чай, я читал тебе письмо-то? Перехожу, говорит, на филагогический... в учителя, значит, — пояснил старик и, задумчиво глядя на портрет, добавил: — Да-а-леко он пойдет! Твердая у него голова.

— Дай-ко ты, господи! — молитвенно сказала старуха.

— И Соня тоже... Еознаградил нас господь бог за наши труды... да! Удались нам детки! — воскликнул старик.

— А ты еще скулишь — люди, люди! А что нам люди? Зачем нам люди?

— И верно! Ах, мать, и как это верно ты сказала!

Он даже глаза зажмурил от удовольствия и с улыбкой покачал головой, а его старуха, опершись руками о стол, улыбалась двум портретам глубоко нежной улыбкой матери.

— Ну, готова я, садись, читай. А я богу молиться стану, — сказала она, оторвавшись от стола.

— Налюбовалась... — счастливо засмеялся старик.

...Через несколько минут в маленькой, тесно заставленной комнате сделалось тихо. Небо все смотрело в ее широкое окно, и звезды блестели на нем. На улице было безмолвно и темно.

Стоя на коленях перед божницей, закинув голову назад, так что затылок почти ложился на горб, старуха с влажными глазами, как бы задыхаясь, прерывисто шептала слова своих молитв:

— Помоги ей, господи, сохрани ее, милостивый!

А старик монотонно, растягивая слова и произнося их в нос, вполголоса читал:

— «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста...»

КАК МЕНЯ ОТБРИЛИ...

*Quasi una fantasia**

...Когда у меня бывают лишние деньги — я иду бриться.

Читатель будет в близком соседстве с истиной, если он предположит, что я не особенно часто бреюсь, но он ошибется, если подумает, что я рассказываю об этой интимности из желания познакомить его с моими привычками, прежде чем это сделают репортеры. Нет, я далек от мысли, что интерес читателя к моей скромной фигуре возбуждает в нем желание знать обо мне столько же, сколько он знает о генералах от литературы. Избави меня боже от такой мысли, а моего читателя, — предполагая, что он у меня есть, — от такого нескромного желания! Я знаю себе цену и знаю, что я еще весь впереди и что это положение будет продолжаться до дня моей смерти, после которой я уже буду весь позади, ибо со смертью моей я намерен не печатать ничего более ни в газетах, ни в журналах и совершенно отказаться от участия в каких-либо делах земли. Объяснившись с читателем и предоставляя ему право желать скорейшего переселения моего в складочное место умных, добрых, злых, глупых, честных, подлых, жалких и всех прочих людей, которых, кстати, всегда принято называть нашими предками, я возвращаюсь к началу.

* Нечто вроде фантазии. *Ред.*

Итак, когда я имею к тому возможность, то, побуждаемый приличиями, я отправляюсь бриться, и всегда к одному и тому же парикмахеру. Я познакомился с ним еще в ту пору, когда у меня начала расти борода, — в данное время нас с ним связывает тесная дружба, — вот как прочны мои привязанности, или вот как хороши бритвы моего парикмахера!

Это человек уже пожилой, он говорит с употреблением «слово-ер-с» и очень любит литературу, певчих птиц и умные разговоры. Более всего ему нравится говорить о литературе; с большой охотой он рассуждает о влиянии духов в делах любви, о напевах чижей, о политике, внешней, конечно. Он также с удовольствием говорит о всем, что может характеризовать мужика как существо глупое, но хитрое, жадное и невежественное и т. д. Всегда, когда он бреет, он говорит, а человек, подвергаясь его операциям, слушает его и невольно забывает о том, что у него могут быть сбриты вместе с бородой уши, нос или губы, чего хотя еще и не случалось, но что вполне возможно ввиду увлечения парикмахера литературой, чижами, политикой и всем прочим.

Как я уже сказал — мы с ним друзья, это вполне естественно: он зарабатывает свой хлеб бритвой, я пером, оба орудия остры, вот вам и почва для произрастания взаимных симпатий. В большинстве случаев они имеют гораздо менее оснований для своего бытия, что, впрочем, не удивительно, ибо само бытие — явление очень неясно обоснованное, если только оно обосновано...

Однако — к делу. Последний раз, когда я брился, мы с парикмахером преинтересно поговорили, а так как в жизни вообще не особенно много интересного, то я считаю себя нравственно обязанным рассказать вам это.

Как всегда, и последний раз, войдя к нему, я спросил его с улыбкой:

— Бреете?

— Пишете? — ответил он мне улыбкой же.

Мы издавна приветствуем друг друга в такой форме и не считаем ее хуже всех других...

Через минуту он меня намыливал, а в следующую минуту у меня в голове родилась одна мысль, очень, — как я сознал это после, — нетактичная.

— А что, вы меня.. читаете?

— Пробовал-с...

— И?

— Не читаю-с!

Так как вы читатель, я полагаю — только читатель, то вы не поймете моих ощущений после такого краткого ответа. Но скажу, что мне хотелось возразить на него так:

«Сейчас же сотрите с меня ваше дурацкое вонючее мыло, я иду бриться к другому парикмахеру!»

Но я сдержался. И даже пошел дальше — я спросил ласково и мягко:

— А почему же?

Он взял меня пальцами за нос, поворотил его на юго-запад и прехладнокровно ответил:

— Да неинтересно-с!

Представьте себе, что некто в глаза вам сказал, будто ваши дети — все ужасные уроды, но что все мальчики из них, как две капли воды, похожи на вас, а все девочки — на вашу жену. Представьте еще, что он же назвал вашу тещу женщиной божественной, заслуживающей всяческого почтения и уважения, и рекомендовал вам, когда вы решите показывать себя с семейством в ярмарочных балаганах как «игру природы», — сдать антрепризу именно ей, вашей теще, этой достойной женщине. Если вам удастся представить себе это, — вы, наверное, почувствуете нечто очень близкое тому, что чувствовал я в момент, когда мой нос смотрел на юго-запад.

Но, отличаясь, как и все мои предки, страшной силой воли, я поборол себя. Ведь рано или поздно, но попадешь же в ад, и потому следует огноситься стойчески к мучениям на земле.

— Вы говорите — неинтересно? Это очень интересно... Я хотел сказать — очень печально и поучительно для меня...

— Как вам угодно-с! — довольно равнодушно сказал он и поворотил мой нос на юго-восток.

— Будьте любезны, мой старый друг, объясните мне, почему именно неинтересно?.. — набив себе на сердце стальные обручи терпения, попросил я этого... критика, извините за выражение!

— С нашим удовольствием-с, — любезно согласился он, заставив мой нос подняться в небеса, что ничуть не соответствовало моему настроению.

— Прежде всего-с, вы пишете из жизни, а не из головы...

— А по вашему мнению только те пишут интересно, чьи головы торчат за пределами жизни?..

Я иронизировал, — это нужно мне простить, потому что всякий другой на моем месте превратил бы уже парикмахерскую в груду развалин, откусил бы голову парикмахеру, перерезал бы все его семейство и съел сырыми всех его певчих птиц. Я ничего этого не сделал.

— Нет-с, это зачем же!.. — И этот изверг засмеялся. — Я хочу сказать, что вы пишете о том, что уже есть, и ничего не выдумываете сами. Хорошие писатели, изволите видеть, обыкновенно выдумывают. А вы все пишете насчет лиц простого звания и правду-с. Как они живут, говорят, и какие чувства имеют, и какие терпят от обстоятельств жизни и по собственной своей глупости несчастья и горе. И все это-с известно мне и даже более известно, чем вы можете изобразить вашим пером. Взял я раз ваше сочинение в газете, прочитал оное и вижу — совершенно верно, но очень скучно и нисколько не интересно. Ну, думаю, ничего! Человек еще молодой, исправится и поймет, как нужно писать. Беру ваше писание второй раз. То же самое... Поразительно верно и весьма тошнотворно... Никакого вознесения чувств опосля чтения не возбуждается и никакого подъема духа нет-с! Следует простить молодому человеку, думаю себе. Еще раз прочитал, еще и еще... все то же самое... Все жизнь, жизнь и никакой фантазии. Ну, и порешил я не читать вас... потому вижу, что манера ваша мне никакого удовольствия не может доставить. Так с той поры и не читаю-с!

Я все это выслушал, и парикмахер не только остался жив, но даже не был изувечен мной. Столь удивительным самообладанием я обязан знакомству с философией Эпиктета и Зенона, которую уверенно рекомендую как братьям-писателям, так и всем другим несчастным людям. С силой такой уверенности я мог бы еще рекомендовать только один «далматский порошок» — это единственная вещь

на земле, которая так же необходима человеку, как необходим ему стоицизм.

— Вы, быть может, указали бы мне ваших любимых писателей? — попросил я парикмахера.

— С удовольствием! — согласился он, опуская к земле мой нос. — Господин Густав Эмар, Понсон де Террайль, Пьер Законнэ, Монтепен... весьма интересные писатели!.. Из русских — господин Гмырев, Салиас, Пазухин, Кондратьев, Вавилов, Хрущев-Сокольников, Рудниковский и многие прочие, которые придерживаются примера иностранцев... Прекрасные писатели!

Мне стало так жалко себя, как будто я вторично родился на свет божий.

— Послушайте, — взмолился я, — но чем же, наконец, я хуже их, всех этих...

— Несравненное расстояние! — ужаснулся этот Томас Торквемада, безжалостный инквизитор, чудовище без сердца и без чувств. — Вы только сообразите: вы описываете жизнь, и никакого вам нет дела до ее смысла-с! Добродетель у вас никаким вниманием с вашей стороны не пользуется, и никаких любителей добродетели, героев вы не описываете. Люди у вас, как все люди, самые простые — какой в них интерес? Такие люди по улицам каждый день сотнями ходят, — и я их очень хорошо вижу, брею некоторых и всех знаю-с! Зачем же-с мне читать их описания? Довольно хорошо известен мне порядок их жизни, и очень они скучно живут. Ну... вот-с вы и сообразите: беру я книгу писателя, который с фантазией пишет и из собственной своей головы, а не из жизни. Беру, читаю и вижу — ничего подобного описанному в оной книге я не видал-с за прохождение мною моего пути на земле. Путь мой скучный есть — встаю и начинаю птиц кормить. Покормлю, вычищу им клетки и начинаю брить. Брею, брею и до того дохожу, что ропщу даже: «Господи! И зачем у людей на головах волосы растут? Неужели же нельзя без этого? Ведь все равно — стригутся они и бреются. Господи! Все люди рождаются лысыми — почто же у них волосы растут, коли большая часть людей все равно в конце жизни лысеет!» Видите-с, в какие мысли я иногда погружаюсь. И ежели бы не было на свете интересных книг, — ей-богу, я бы стал философом! Но, слава созда-

телю, — этого не случится со мной, на свете есть чего почитать. Так вот-с, извольте видеть, очень мне скучно жить. И жизнь людей я знаю — им тоже скучно. Тесно-с, тяжело... Все — вроде как бы в трясине, друг друга давят, друг через друга лезут, неизвестно куда, и все это без всяких чувств и без ума. Смотришь, смотришь... и осточертеет тебе эта канитель тягучая. Куда деваться? «В земле — черви, в воде — черти, в лесу — сучки, в суде — крючки, — куда идти?» Извольте знать эту поговорку? Очень верная и весьма ясно рисует безвыходность жизни. Ведь живешь сначала-то в надежде, что с тобой произойдет некоторое событие, после которого ты уже будешь не тем, что ты есть. И вдруг — нет ничего! Ах, как это огорчительно!.. Потрудитесь надуть вашу левую щеку!

Я попросил его сказать мне, которая щека у меня левая, ибо я до того был подавлен его речью, что совершенно потерял чувство бытия и даже не мог ясно представить, — сижу ли я вверх головой, по унаследованной мною от родителей привычке, или же я сижу еще как-нибудь иначе? Он определил место нахождения моей левой щеки и продолжал:

— Ну-с, так вот-с! Живя такой жизнью, без всякого, так сказать, глянца, без прикрас и без какого-либо приятства, и какой мне интерес читать ваши изображения жизни, которая довольно хорошо надоела мне? И вот-с, в свободное от бритья и стрижки время, беру я в руки любимую книгу, открываю и погружаюсь в нее... И вижу-с в ней совсем не то, что существует на самом деле. Первое дело, люди — весьма ясные господа. Этот подлец, а этот дурак, этот благороден, а эта ангел с небес. Потом — чувства-с! Погашенные вулканы и мрачные омуты! Жестокая борьба-с, свирепство поступков, одушевление, сотрясение всяких порядков жизни, бури и грозы, смерти, грабежи, ужасные деяния, быстрое вращение людей во всем этом и — трах! Добродетель превознесена, а порок попран и свергнут во прах! Слез полштофа прольешь над такой умирительной книгой-с! Волнений испытаеть сладких целый пуд-с! Разрыв сердца даже возможен — вот до чего трогательны иные фантазии господ писателей. И вот-с, вы видите, как действуют они, — учитесь! Учитесь,

сжали вам бедного человека жалко! Я знаю-с, что в жизни таких злодейств и одоления порока не бывает-с, да ведь в ней еще хуже возможно! Без счастливого конца... А тут я вижу счастливый конец и могу мечтать о возможности благородных чувств и бесстрашно геройских людей на нашей тесной и грязной улице. Отдыхаю душой-с, мечтая, очищаю с сердца пыль жизни. Все лицо прикажете одеколоном смочить?

Я готов был просить его смочить мне не только лицо, но и сердце, ибо оно высохло у меня от его речей. Но я только молча кивнул ему головой.

— Да-с! А вы — разве вы можете оторвать человека от жизни и вознести его к мечтам? Нет-с, вы не тем порохом заряжены. Вам еще мно-ого нужно учиться писать, для того чтоб приносить собой людям удовольствие и отраду духа-с. Вы ползаете, извините за выражение, по жизни, а те парят над ней. Им и слава. А вы... должны учиться. Пудры прикажете?..

Я приказал еще пудры, хотя он достаточно уже пудрил меня, и я был очень бел...

— Жизнь, изволите видеть, есть труд-с, а описания ее должны уже быть удовольствием, невозможно же-с весь обед готовить из одного картофеля, коли человеку хочется и у него есть возможность бламанже кушать... я-с про фантазию говорю... Так вот-с, я вас и выбрил! Пожалуйста!

Да-с, так вот как он меня отбрил! Я все-таки без его помощи встал со стула.

— Вы на меня не обиделись за правду? — полюбопытствовал он.

«Ах ты, анафема! Я не обиделся? Будь ты проклят!»

Вы думаете, я это вслух сказал? Напрасно. Я человек все-таки культурный и скрывать мои истинные чувства умею немного хуже вас. Я сказал ему:

— О, что вы! Напротив... я очень доволен вашей почтенной беседой!

— До свидания! — сказал этот правнук Иуды Искариота, этот жернов, эта мельница... измолвшая меня в пыль, чтоб ему провалиться в тартар!

— От души желаю вам всего хорошего и благодарю за искренность... — крепко пожал я ему руку.

— Ежели вы будете из головы валять, так и из вас выйдет очень интересный писатель! — напутствовал он меня.

— Я попробую... — обещал я.

— Главное дело-с — вы не стесняйтесь! Валяйте во-всю, и чем меньше на жизнь похоже, тем оно лучше... приятнее для сердца... Фантазии больше, а она производит в человеке вознесение чувства к небесам и этакое сладостное трепетание сердца-с... Отрывайте человека от жизни, — видите: он заглохался ей!

Наконец он оставил меня в покое, и я ушел...

Но я пришел домой уже не тем, чем вышел из дома. Мне кажется, что мне обрили сердце. Я страдаю бессонницей и ревматизмом. У меня разыгрывается тик и, кажется, скоро начнется чахотка. В карманах она уже свирепствует, во всех. Я чувствую, что после этой беседы дни мои сочтены...

... А что, как этот парикмахер был единственным человеком, который меня читал?

Господи! И зачем на свете существуют читатели, когда с меня довольно одних издателей?

КРАСОТА

...Однажды мой приятель, сорокалетний хохол, всю жизнь игравший роль героя разных драматических коллизий, человек психически изломанный, всегда и ко всему относившийся ■ горьким скептицизмом, обремененный семейством в пять душ, с нервнобольной женой во главе, и работавший в управлении железной дороги чуть не двадцать часов в сутки за шестьдесят рублей в месяц, — однажды этот человек, которому, как видите, нелегко жилось, вошел ко мне с такой улыбкой, какой раньше я никогда не видел на его смуглом, выразительном лице.

Всегда нервозный, всегда готовый оскорбительно остеречь над жизнью и людьми, поэт безнадежности и суровый гонитель всяких грез и мечтаний, которые он называл «телячьими сантиментами», он улыбался так мирно и радостно, так задумчиво и счастливо, что я предположил — наверное случился какой-нибудь переворот в жизни моего приятеля, — переворот, который облегчит его всячески стесненную и трудную жизнь.

— Что случилось? — спросил я, сильно заинтересованный.

Он скользнул глазами по моему лицу, молча крепко тиснул мне руку, подойдя к дивану, лег на него, закинув руки за голову, и глубоко вздохнул. Все это было по меньшей мере странно и совершенно не походило на моего товарища. Он не был взволнован, скорее, он находился в том состоянии, которое зовут созерцанием и в котором так много чего-то очень близкого к полной утрате чувства

бытия. Он лежал и, полузакрыв свои черные глаза, — обыкновенно холодные и недоверчиво прищуренные, а теперь мягкие и добрые, — как бы вспоминал что-то.

Мое любопытство все более раздражалось его поведением.

— Ты откуда?

— Гулял... — однозвучно ответил он.

— С кем?

— Один...

— В горах?

— По городу...

Это решительно ничего не объясняло мне.

— Почему это ты такой... елейный?

Он строго и серьезно взглянул на меня, должно быть, задетый моим насмешливым тоном, — взглянул и, отвернувшись к стене, просительно сказал:

— Оставь меня...

Я видел уже, что ничего не добьюсь от него теперь, и не расспрашивал его более. Пролежав полчаса, он встал, все такой же радостно тихий и задумчивый, и, подойдя ко мне, спросил:

— Ты завтра вечером — дома?

— Да.

— Пойдешь со мной гулять?..

Я кивнул головой в знак согласия, ожидая, что вот сейчас он расскажет мне причины его необычайного настроения. Но он взял свою шляпу, небрежно кинул ее на голову, в шапке черных волос, уже сильно оттенявших серебро седины, и ушел таким же загадочным, каким и явился, оставив меня в недоумении и несколько раздраженным странностью его поведения. Оставшись один, я долго старался догадаться, получил ли мой приятель повышение по службе или наследство? Или же, наконец, он нашел человека, согласившегося издать его книгу «О степени влияния среды и условий на интеллект человека» — труд пяти лет, злой крик человека, который, чувствуя себя разбитым жизнью, проповедовал безусловное подчинение ее суровым законам?

Я остановился на последнем и успокоился на этой догадке. И когда, на другой день, мой хохол пришел ко мне, я уверенно спросил его:

— Ну что, издаешь, наконец, свою книгу?

— Книгу? А я решил уже сжечь ее для пользы человечества. Что ты это вспомнил о ней?

— Ищу ключа к твоему настроению...

— Ага! Чорт играет на струне твоего любопытства. Натянул я ее крепко, э? Ну-ну, пойдем гулять...

Мы вышли с ним на улицу полуазиатского города, в котором происходило все это, и тихо пошли по панели, направляясь к Авлабару, одному из предместий. Было душно, раскаленные за день солнцем камни мостовой и стены зданий дышали зноем, все запахи, присущие большим скопищам людей, неподвижно стояли в воздухе, и его не освежали ни вода, бежавшая по канаве рядом с панелью, ни тени от пирамидальных тополей, росших по обе стороны улицы. Они вздымали свои острые вершины выше крыш зданий и, позлащенные заходящим солнцем, стояли, точно два ряда громадных факелов. По улице шли толпы людей, направляясь в городской сад на берег Куры, единственное место города, где было прохладно и где едкая известковая пыль не слепила глаз и не набивалась в легкие. Отовсюду неся гортанный говор; скрипя дверями, армяне запирали свои лавки, вдали гремела военная музыка, грохотали арбы и телеги, проезжая по избитой мостовой; откуда-то с горы лилась непрерывным, трепещущим ручьем раздражающая нервы, заунывно дикая мелодия зурны.

Город стоял в узкой долине между двух высоких гор; долину разрезала бешено мчавшаяся к морю Кура, и здания, толпясь между рекой и горами, казалось, лезли друг на друга, стремясь вырваться из этой ямы, полной зноя и пыли. Звуки, носившиеся над сдавленным городом, сливались все в один тяжелый вздох, точно кто-то большой, притиснутый к земле, делал усилия подняться с нее и не мог. Мы молча шли, вдыхая пыль и лавируя в толпе, лившейся черным потоком по узкой панели навстречу нам. Темнело. Улица становилась уже, и в ней было душнее. Почти каждый дом был опоясан деревянной террасой, иногда двумя; издали они казались лепным узором на стенах, и теперь на них выходили из домов суетливые и шумные люди, вынося столы и свечи...

А высоко над всем этим расстилалась темносиняя полоса неба, и уже звезды загорались на ней, как бы перемигиваясь с огнями города.

Мы вошли в лабиринт узких и грязных переулков. Высокие, серые, каменные стены с редкими окнами, маленькими и защищенными решетками из железа, сурово смотрели на нас, и пространства между этими стенами были точно каналы для стока по ним пахучей грязи и испорченного сырого и теплого воздуха. Иногда мы проходили мимо тяжелых, наглухо запертых ворот, и наши шаги вызывали лай и ворчание собак, скрытых за ними. Муэдзин где-то близко призывал к молитве, и над нашими головами плавал рыдающий тенор, задумчиво выпевавший молитву.

Мой товарищ ускорил шаги и возбужденно схватил меня за руку. Чувствуя близость источника его нового настроения, я, ни о чем не расспрашивая, шагал по грязи вслед за ним, весь охваченный тоскливым чувством, навеянным на меня этими высокими стенами зданий, построенных на улице тылом, с окнами, выходившими на дворы, пустынностью переулков, грустной молитвой муэдзина и фатализмом Востока, которым, как казалось мне, даже камни дышали.

— Стой! — вполголоса сказал мой товарищ.

Мы остановились пред маленькой нишей в стене. Очевидно, здесь была когда-то дверь во двор и ее до половины заложили кирпичом. Против нас тоже возвышалась стена с балконом на высоте аршин восьми от земли. На балкон, маленький и не задрапированный с боков, а только покрытый сверху куском полосатой материи, вела стеклянная дверь. Против нее, в углу балкона, стоял мягкий стул с высокой спинкой, на перилах был небрежно брошен ковер.

Я посмотрел на все это и вопросительно взглянул на товарища.

— Погоди, — сказал он, толкая меня в нишу.

Мы тесно друг к другу поместились в ней, и я стал ждать, не желая думать о том, чего именно я могу дожидаться, стоя в этом каменном ящике. Вокруг было безмолвно, небо над нами простиралось в виде синей дороги куда-то вдаль.

В щель двери на балкон прорвалась полоска света, скользнула по стене над нами и исчезла. Хохол толкнул меня локтем в бок:

— Смотри!

Обе половинки двери распахнулись, и в них появилась высокая и стройная фигура женщины. Она, закинув голову вверх, несколько секунд посмотрела в небо и что-то сказала по направлению к комнате. Свет освещая ее сзади, и на сером фоне стены, в этом свете, вся в белом, широкими складками падавшем с ее плеч до ног, она была фантастична. Овальное лицо ее было видно нам только как белое пятно, и глаза на нем выделялись, как две большие темные точки. Это делало [ее] еще менее реальной, еще более придавало ей сходства с видением, с тенью. Вот она подняла над головой руки, точно собираясь лететь... На ее левое плечо упала густая прядь волос... Свет сзади ее дрогнул и исчез; тогда мне показалось, что эта женщина, или тень женщины, стала меньше, как бы растаяла во тьме. Фон стены сгладил мягкие контуры ее фигуры, и она стала только намеком на образ, который я созерцал минуту тому назад на том месте, где он стоял. Потом опять явился свет, и опять она ожила. Складки платья заколыхались на ней, она двинулась к перилам балкона, и они сопровождали ее, как облако. В этот момент она напоминала мне чью-то картину — луна, в образе женщины, задумчиво и ласково улыбаясь, является из пышной стаи облаков на небе. Вот рядом с нею явилась еще какая-то фигура в темном и стала гладить ее волосы рукой, а они все больше рассыпались по плечам этой женщины. Она посмотрела с балкона вниз и снова что-то вполголоса сказала, протягивая руку назад. Раздался ясный звон металлической струны, я вздрогнул, и, кажется, все вокруг меня тоже вздрогнуло.

Женщина села на стул, свет падал на нее сбоку, и я видел ее профиль, изящно очерченный, но как бы воздушный в этой странной обстановке. Темная фигура опустилась вниз, и ковер, лежавший на перилах, скрыл ее. В четырехугольнике освещенной двери и на темной спинке стула голова женщины, несколько закинутая назад, выделялась ясно, и профиль лица как бы был окружен сиянием, исходившим от него. И ее лицо казалось мне чудесно

красивым, лицом феи, героини волшебной сказки, а вся она — воплощением грезы, дивной грезы восторженного и влюбленного поэта, явившейся в эти суровые и неуклюжие глыбы камня, на эту грязную землю, чтобы оживить и облагородить все вокруг себя.

Я не чувствовал более ни удушливого запаха прелой грязи и не видел серых каменных стен, подавлявших воображение своей тяжестью и одетых теплой, пахучей тьмой знойной ночи. Я позабыл о том, что в темном, каменном ящике мне было тесно и душно и что из стены, к которой я прислонился, мне в плечо впивался острый камень. Я все смотрел на эту дивную женщину и больше ничего не хотел. Иногда она наклонялась вниз, и я боялся, что она уже не выпрямится и я не увижу ее больше. Но она снова откидывалась на спинку стула, и я снова спокойно и без желаний смотрел на ее чудный профиль. Тот, кто сидел на балконе у ее ног, целовал ее — я слышал эти жадные звуки, но не чувствовал в себе ни тени желания быть на его месте, понимая, что он едва ли видит ее такой, какой вижу я.

И вот вдруг в воздух — и к нам вниз и вверх к небу — брызнули звуки струн, — я видел — это она играла на чем-то. Играя, она говорила, обращаясь вниз к своим ногам, говорила речитативом, и хотя звуки струн заглушали тембр ее голоса, но он был так же чудесно красив, как и вся она. Струны дрожали то тихо и нежно, то вдруг их звуки становились громкими и смелыми. Казалось, что они сделали воздух чище и свежее и усилили еще более во всем вокруг меня отпечаток благородной красоты, явившейся вместе с появлением этой женщины, красивой, как мечта. Все стало как сон, — сон, освежающий душу... И от лица женщины, не иссякая, исходило сияние. В мечтательных звуках струн, тихо рокотавших задумчивую мелодию, высоко надо мной, на фоне неяркого, но красивого розоватого света, под синим небом над ее головою, эта дивная женщина с каждым моментом становилась все более прекрасной и фантастичной, все далее увлекавшей меня от земли и ее чувствований. Я стоял, боясь пошевелиться, храня мое очарование и наслаждаясь им, и мне казалось, что в меня вошло что-то новое, — новое понимание жизни и самого себя; что из всех чаш, которые я

уже испил, — та, которую я пью теперь, только одна не содержит в себе ни капли земной грязи, только одна действительно чиста...

И вдруг — все это исчезло. Исчез огонь — и профиль женщины потерял ясные очертания. Она встала и, вся белая, прозрачная, тающая от движений, исчезла в темном четырехугольнике, откуда прежде исходил розоватый свет. Потом послышался резкий звук визга железных петель двери, дребезг стекол, грубый звук запираемого замка.

— Все, — сказал хохол, взяв меня под руку и выводя из ниши.

Не сказав ни слова друг другу, мы пошли с ним домой, и, только расставаясь со мной, он сказал:

— Завтра опять...

Но это было бесполезно говорить мне.

На другой день мы снова пошли, когда настало время, и снова провели часы, как во сне, и опять пошли, и так ходили почти в течение месяца, в продолжение которого смотрели на эту красавицу семнадцать раз.

Мы жили все эти дни как-то странно. Не говоря никому о нашем счастье, дни мы жили, как все, — с виду как все, — так же работали и о том же говорили. Но ни на один момент мы не забывали, что, когда наступит ночь, мы будем жить созерцанием дивной красоты, доступной только нашим глазам. Мы мало говорили о ней — зачем говорить о том, что недоступно определению словом, что постигается не умом, а чувством и, охваченное им, облагораживает его, как огонь, очищая кусок темной руды, вытапливает из него девственно чистое серебро... Хорошо нам жилось в эти дни, и высоко поднятыми над землей чувствовали мы себя. Но однажды, когда мы были в нише и ждали, с балкона кто-то бросил в нас тяжелый камень. Он ударился в стену над нашими головами и запорошил нам глаза кремнистой пылью. На другой день — мы нашли нишу заваленной разным хламом, и темная фигура, стоя на балконе в угрожающей позе, ожидала нас, размахивая рукой. Мы воротились назад, и опять вслед нам был брошен камень, обрызгавший нас грязью.

Долго мы жили воспоминаниями о ней, этой женщине, и всегда вспоминали с такой тихой, ласкающей душу грустью.

ПОЭТ
Набросок

Когда Шура, придя из гимназии, разделась и прошла в столовую, она заметила, что мама, уже сидевшая за накрытым столом, улыбнулась ей как-то особенно. Это обстоятельство тотчас же задело любопытство Шуры, но она была уже большая и сочла ниже своего достоинства выдавать себя вопросами. Она молча поцеловала маму в лоб и, мельком взглянув на себя в зеркало, села на свое место. Тут ей опять бросилось в глаза нечто особенное — стол был сервирован «по-парадному» и на пять персон. Значит, кто-то приглашен обедать, только и всего. Шура разочарованно вздохнула. Она хорошо знала всех знакомых папы с мамой и тети Зины — среди них положительно нет ни одного интересного человека. Господи! Какие все они скучные, и как вообще скучно на свете...

— Это кто? — кивнув головой на прибор, равнодушно спросила Шура.

Прежде, чем ответить ей, мама посмотрела на свои часы, потом на стенные, потом, наклонив голову в сторону окна, к чему-то прислушалась и, наконец, улыбнувшись, сказала:

— Угадай...

— Неинтересно... — сказала Шура, чувствуя, что любопытство вновь вспыхивает в ней. Она вспомнила, что горничная Люба, отворяя ей дверь, тоже как-то особенно сказала:

— Пож-жалуйте!

Люба вообще очень редко говорила «пожалуйте» и никогда еще не говорила именно так, с жужжанием. Шура очень хорошо помнит это, ибо малейшая новая черточка в скучной, установившейся в тесные рамки домашней жизни семьи производит очень заметную рябь на ее спокойной поверхности и хорошо запоминается жаждущей впечатлений головкой Шуры.

— А может быть, и интересно... попробуй, угадай, — снова предложила мама.

Вспомнив интонацию Любы, Шура уже была уверена, что интересно, очень интересно, но спросить прямо ей было почему-то неловко.

— Кто-нибудь приехал... — якобы равнодушно сказала она.

— Несомненно, — кивнула головой мама... — Но кто?

— Дядя Женья, — предположила Шура, чувствуя, что у нее на щеках выступала краска.

— Нет, это не родня... Это однако кто-то, кого ты — любишь...

Шура сделала круглые глаза... но потом вдруг сорвалась с места и бросилась на шею мамы:

— Мамочка! Неужели?

— Постой, постой, — смеясь, мама отталкивала ее от себя, — не нужно быть сумасшедшей! Ну... вот я ему все это скажу!

— Мамочка! Крымский? а? Приехал? Папа его встречает? Да? И тетя Зина? Ведь они сейчас, сейчас будут... Мамочка, я надену серое платье! Ах, едут! Приехали!

Вся красная и взволнованная — она прыгала около стула матери, потом бросилась к зеркалу, побежала было к себе переодеваться, но, услышав, как внизу щелкнул замок двери, снова воротилась к зеркалу, поправила прическу и степенно, подавляя свое волнение, села на свое место и закрыла глаза. Когда она откроет их, в этой комнате, так близко, всего только через один стул от нее, будет сидеть Крымский... Тот поэт, стихами которого она зачитывалась и который в гимназии считался самым лучшим поэтом из всех современных. У него такие нежные, ласкающие стихи, такие звучные... грустные... Господи! И вот он, живой, будет так близко к ней, будет говорить,

читать свои новые произведения, которых в гимназии ее подруги еще не могут знать! «Ах, какую вещь написал Крымский!» — скажет она им завтра, они спросят ее — какую; она прочитает им; тогда они спросят, где это напечатано, и она скромно, — непременно скромно! — скажет: «Ах, это еще не напечатано. Это он вчера читал мне у нас за обедом!..»

Какое изумление, какая зависть! Эта злючка Кикина — что с ней будет? Узнает она, что лучше: иметь сестру певицу или знакомого поэта? А все остальные!.. Будут просить: «Шура, покажи нам его!..» А... а вдруг он влюбится в нее? О! Это возможно... потому что он поэт... Поэты всегда влюбляются сразу... Господи! Какие у него усы? Глаза... большие и грустные, с темными кругами под ними... Нос орлиный... а усы черные. «Шура! — скажет он, ломая руки и падая пред ней на колени, — Шура! Я увидел вас, «и заря новой жизни предо мной запылала, и проник в мое сердце трепет чудных надежд... Это вы! Я клянусь — вас душа моя знала...» Ах, он написал уже эти стихи! Значит...»

— Духота, пыль, какие-то изумительно едкие запахи... Всю ночь я не могу уснуть...

Голос, вернувший Шуру в мир действительный из мира поэзии и грез, был очень мягок и симпатичен, хотя в нем и звучали хриплые, брюзгливые нотки избалованного человека. Шура открыла глаза и поднялась со стула навстречу подходившему к ней высокому худому человеку, в черной бархатной тужурке и широких серых брюках.

— Здравствуйте, барышня... Вы забыли меня, да? Ну, конечно...

— Я... — смутилась Шура, — я всегда читаю ваши стихи... но я была маленькая, когда вы были у нас...

— Но... теперь вы большая, — окидывая ее взглядом, улыбнулся поэт, хотел еще что-то сказать, но только пожевал губами, как это делают старики, и опустил на стул, говоря папе Шуры:

— А славно, уютно у тебя, Михаил...

Шура, опустив головку, смотрела в свою тарелку и на ее гладкой поверхности восстанавливала образ поэта. Ей не нравились его серые брюки, стриженная голова и жидкие рыжие усы — о, все это было крайне прозаично.

Потом эта манера жевать губами, синеватые бритые щеки, и подбородок... глаза очень светлые, пожалуй, бесцветные, мешки под ними, широкий лоб в морщинах... Он совсем как один чиновник на почте, и с внешней стороны в нем ничего, ничего нет поэтического... А какие у него руки? Шура искоса посмотрела на них... Они были пухлые, с короткими толстыми пальцами. На одном пальце перстень с агатом. Шура вздохнула, чувствуя, что ей грустно.

— Так вы читаете мои стихи?

Это он ей говорит... Она кивнула головой, покраснев.

— Ну, и что же... могу спросить — нравятся они вам?

— О, да они тут с ума сходят от ваших стихов, — сказала мама.

— А! Это мне лестно...

— Вовсе нет, это неправда, — быстро возразила Шура на слова мамы, но ее возражение раздалось уже после слов поэта...

Девочка смутилась — это вышло глупо... А папа, мама, тетя и он — смеются... Он даже брови поднял зачем-то, и лицо у него стало клоунское... Зачем он поднял брови? И зачем смеется вместе со всеми? Он — поэт и должен быть чуток, деликатен... Разве ему может казаться смешным румянец ее смущения, как это кажется другим, разве он такой же, как все? Он, наверное, притворяется, чтоб не показаться папе и маме нелюбезным... Потом он будет самим собой...

— А вы, Шура, в каком классе?

— В шестом...

Зачем ему знать это? И почему он называет ее Шурой?

— А кого из учителей вы обожаете? Учителя рисования, конечно?

— Слов...

— Ах да, учителя словесности... — Раздался оглушительный хохот...

Шуре казалось, что ее рвут на части, щиплют, вонзают ей в тело тысячи булавок. Она хотела выскочить из-за стола и убежать куда-нибудь. Ей стало холодно, и она боялась, что не сдержит слез... Как это она проговорила?.. Дрожь от охватившего ее негодования, она взглянула в лицо поэта глазами, в которых вспыхнул злой и

нервный огонек, и скороговоркой, боясь, что у нее не хватит сил сказать все, что она хочет, начала, ломая под столом пальцы:

— Это смешно вам? Но это не может быть смешно — он лучший из всех учителей, и мы его все очень любим... Он интересно говорит... и читает нам... разные книги... указывает, что есть нового в литературе, и вообще... он очень хороший человек... Спросите, кого хотите, и в нашем классе и в седьмом. Зачем же смеяться? Конечно, я...

— Шурка! Что это ты? — воскликнул папа.

— Мы обидели барышню, — ласково сказал Крымский. — Я извиняюсь...

Шуре было неприятно слушать его извинения, — ей казалось, что они неискренны и что ему совсем неинтересно знать, как она отнесется к его словам... И вообще она почувствовала себя чужой и ненужной всем им... Ей стало жалко себя, и до конца обеда она просидела точно в тумане, прислушиваясь, как нарастает грусть в ее сердце, тихая, щемящая грусть.

«Так вот он какой, поэт! Такой же, как все», — думала она после обеда, сидя у окна в своей комнате и пристально, как что-то новое, рассматривая свои любимые кусты сирени в саду под ее окном.

«Как все... Но... почему же тогда папа не пишет стихов? Разве он хуже этого?» — И она вспоминала ласкающие сердце, задумчивые строфы поэта, рифмованные фразы, в которых так много грустной нежности. Он ни словом не упомянул о них за обедом. Должно быть, он привык писать их, как Соня Сазикова привыкла делать свои чудные цветы из папиросной бумаги. Все ей завидуют, а она смеется и изумляется — ведь это же так просто!..

В саду раздались голоса: это папа с Крымским. Если они сядут на скамью за сиренью, она услышит весь их разговор до слова. И, вытянув шею, Шура с горячим любопытством посмотрела — куда они идут.

— Ну, а как покупают твой последний сборник? — спрашивал папа.

— Ничего, идет. Думаю о втором издании. Но покупают больше из любопытства, а не из действительной потребности в поэзии. Эта... наша убогая критика, при вы-

ходе сборника, прокричала — декадентство! Публике интересно знать, что такое, наконец, это декадентство, о котором так много говорят и никто ничего ясного не может сказать. Ну, и я выигрываю... покупают, желая полюбопытствовать о декадентстве...

Голос Крымского был грустно-насмешлив, в его речи звучала обида, и эта нотка нашла родственный отзвук в маленьком сердечке девочки, подслушивающей у окна.

— Да-а, — сказал папа, — критика сурово относится к вашему брату.

— Все требуют гражданских звуков мести и скорби... Сидя в своих старых гнездах, они полагают, что на месть и скорбь в жизни есть спрос... Совсем напрасно... никаких граждан в жизни нет, есть в ней люди глупые и самодовольные и люди измученные и не довольные ничем... А больше ничего нет... Господам критикам это печальное обстоятельство неизвестно... Они имеют дело с книгами, а не с жизнью, со старыми традициями, а не с новыми веяниями... Молодежь? «Молодежь, друг мой, ныне родится стариками», — неопровержимо сказал кто-то... Ей очень мало дела до поэзии и до всего того, что могло бы очистить душу. А впрочем, бросим эту скучную тему... Какая хорошенькая дочь у тебя...

— А, поэт! ты уже заметил?

— Милый! — сконфуженная и вся красная от радостного волнения прошептала Шура. Из его слов она заключила, что он не понял и жалуется на это. Он снова стал поэтом в ее глазах. А потом эта неожиданная похвала ей...

— Кстати, извини за нескромный вопрос...

— О жене? Ну, брат, я не знаю, где она... Года два тому назад слышал, что она где-то на Кавказе учительницей... Уф! не могу без ужаса вспомнить о ней... Есть женщины, способные чистотой своей добродетели и наивностью своего мозга внушать только ужас, искренний ужас мне, праху от праха. Моя супруга принадлежит именно к этому сорту женщин... Мне никогда не было жалко себя так сильно, как в то время, когда я раскусил ее сердце... сердце христианки, которая хочет во что бы то ни стало страдать, — скучный персонаж... А что, нам скоро дадут чаю?

— Скоро... но ты не на тему говорил — я хотел спросить тебя, как ты теперь живешь... семейно или же в одиночестве...

— С мая в одиночестве. Зимой жил с одним ангелом... Курьезная история, дружище! Поклонница моего таланта, девочка с огоньком и не без образования, что, впрочем, не мешало ей быть классической дурихой... Сошлись мы с ней совершенно случайно... по крайней мере, с моей стороны не было ничего преднамеренного. Выпил я малость: дело было на загородном пикнике... Чорт знает, как она очутилась у меня на квартире... только утром я просыпаюсь, смотрю: женат! Поздравил себя, оделся и жду, что будет дальше...

Папа громко хохотал, и девочке казалось, что звуки его смеха раскалывают внутри ее что-то. Это было очень больно ей.

— Ах, дьявольщина... н-ну?

— Ну, проснулась. Последовали слезы... миллион поцелуев и столько же клятв. С неделю мы отчаянно бесились, и я порядочно измучился с ней...

— А родители?

— Скрыто. Потом жизнь понемногу начала вступать в свои права, и началось... чорт знает что! Прежде всего она начала доказывать мне, что мои нежные, чудные, чарующие душу стихи совершенно не гармонируют с моим халатом, — вещь, за которую я заплатил шестьдесят пять рублей... Я протестую, она плачет. Скандал! В конце концов оказывается, по ее представлению, поэт — существо до такой степени неземное, что в квартире его даже не должно существовать то помещение, в которое, по силе физиологических законов, необходимо иногда ходить и поэту. О, чорт возьми это идиотское воспитание, которое так квасит мозги женщин! Начались споры, слезы, истерики, ссылки на материнство... требование уступок на всех пунктах. Я сбежал и написал ей прозой, что поэту прежде всего необходима свобода.

— Ну и что же? — медленно спросил папа.

— Плачу ей по двадцать пять рублей в месяц...

Шуре было холодно, и она вся дрожала мелкой нервной дрожью, продолжая смотреть в сад широко открытыми глазами...

— То-то последнее время твой пессимизм зазвучал так громко...

— Ты читал «Воспоминаний пестрая толпа во тьме ночной передо мною вьется»?

— Ну?

— Вот там изложено все впечатление... весь осадок этой глупой истории.

— Хорошо изложено... — вздохнул папа. — Вообще, брат, ты великий мастер ясно изображать «волнения сердца смутные узоры».

— Ба, а ты, однако, и в самом деле меня почитываешь?

— И даже очень. Без лести говоря, у тебя прелестный стих...

— Спасибо! Это не часто приходится слышать, хотя я — буду откровенен — знаю, что заслужил такой отзыв...

— Бесспорно, брат! Идем чай пить...

— Ты посмотри, кто нынче пишет и как пишет? Живодеры, а не поэты, насилуют язык, истязуют его... Я ценю это сокровище, стараюсь...

Шура видела, как они шли по саду рядом и папа обнимал поэта за талию... Вот их голоса стали неясны, пропали.

Шура выпрямилась на стуле медленно, так, как бы на ней лежало что-то тяжелое и ей ужасно трудно было шевелиться...

— Шура, иди чай пить! — донесся до нее голос мамы.

Она встала, пошла и, проходя мимо зеркала, видела, что лицо у нее бледное, осунувшееся, точно испуганное. И в глазах ее было так туманно, что, когда она вышла в столовую, знакомые лица являлись пред ней какими-то бесформенными белыми пятнами.

— Надеюсь, что барышня уже перестала сердиться на меня? — донесся до нее голос поэта.

Она молчала, глядя на его гладко стриженую голову и стараясь вспомнить, каким он, этот человек, казался ей, когда она читала его стихи и не знала его?

— Шурка, что же ты молчишь? Как вежливо! — воскликнул папа.

— Ах! — вскричала она, вскакивая со стула, — что вам надо? Отстаньте от меня... Обманщики...

И, с рыданием бросившись вон из столовой, она еще раз истерически крикнула:

— Обманщики!..

...Несколько секунд четверо людей за столом сидели молча, изумленно поглядывая друг на друга. Потом мама и тетя ушли.

— Уж... не слышала ли она наш разговор? — спросил папа поэта.

— Чорт возьми! — смущенно воскликнул тот, заерзав на стуле.

Вошла мама и на обращенные к ней вопросительные взгляды ответила, недоумевая, пожав плечами:

— Плачет...

«ВОДА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»

У всех людей есть пятна на совести, — у меня тоже есть одно.

Но большинство людей относится к этим украшениям на лице своей души крайне просто; они носят их так же легко, как крахмаленные рубашки, а я не ношу таких рубашек и, должно быть, поэтому — чувствую себя крайне неудобно с моим пятном. Одним словом — я хочу покаяться.

Я не потому каюсь, что уже не нахожу в жизни иных приятных развлечений или не чувствую себя способным чем-либо другим привлечь к себе внимание людей; я также и не потому пускаюсь в откровенность, что имею намерение рассказать что-либо о моих достоинствах, — о, нет! Ни одна из тех причин, которые обыкновенно побуждают людей к публичному покаянию, не руководит мной в данном случае. Я каюсь потому, что чувствую — пора! И вот я взял в руки перо и, как щеткой, откровенностью хочу счистить с души моей то темное пятно, которое давно уже давит мне сердце.

Началось все это на улице в веселый день мая, когда я гулял и встретил одну знакомую гимназистку. Ее звали Лизочка; у нее были прелестные карие глазки, — но теперь они были печальны; розовое, изящное и живое личико — в момент встречи было бледно и безжизненно;

у нее была легкая, как полет птички, походка, а теперь — она едва передвигала ноги.

— Лизочка, здравствуйте! Как здоровье ваших кукол?

Я забыл сказать, в котором классе она училась. В четвертом. Я очень любил играть с ней в куклы, — это прекрасно освежает после общения с людьми.

— Здравствуйте, — сказала мне Лизочка, и в голосе ее я услышал слезы.

— Что с вами, девочка? — спросил я, встревоженный. Сознаюсь — я любил ее, и она отвечала мне взаимностью, со всей силой и страстью своих двенадцати лет. Мне в ту пору было еще только пятьдесят три года.

— Н-нам опять задали... сочинение... — сквозь слезы сказала она.

— Сочинение? Ба! Да разве тема такая печальная, что вы, еще не разработав ее, уже плачете?

Она улыбнулась.

— Да, вам хорошо, — вас не заставляют писать сочинения!

— Увы, Лизочка, — тоже заставляют. Только вас заставляют учителя, а меня — обстоятельства. Не будем говорить, кто из них хуже. Но вы не печальтесь: я напишу за вас сочинение. Какая тема?

— «Вода и ее значение в природе и в жизни человека!» Напишите? Милый! На пять?

— Постараюсь — с плюсом!

— А потом придете играть в куклы?

— После сочинения? Обязательно.

— До свидания! Какой вы ми-илый!

И она ушла...

Я потому так быстро предложил ей написать сочинение, что это дело было уже мне знакомо. Однажды учитель словесности поставил мне двойку за сочинение, написанное для одной гимназистки пятого класса на тему: «Положительные черты в характерах Скалозуба и Молчалина». Другой раз я получил единицу с минусом за сочинение для гимназиста шестого класса на тему: «Польза и вред почитания родителей» или что-то в этом роде.

Таким образом, я был знаком с тем, что должен был делать. Но все-таки я задумался. Мне очень хотелось, чтобы моя милая девочка получила полный балл. Как бы

это написать так, чтоб получить именно пятерку, а не меньше? А?

Подумав, я решил: прежде, чем писать, мне нужно вообразить, что я не длинный малый, двух аршин десяти вершков ростом, а малюсенькая розовощекая гимназисточка двенадцати лет от роду. Несомненно, что, когда учитель дает тему, он принимает в расчет знания ребенка на тему, его психологию, его стиль и, наконец, его идейный, так сказать, взгляд на предмет сочинения, его отношение к нему. Несомненно, что это так. И значит, что я должен, по мере возможности, подражать ребенку. Прекрасно!

Придя домой, я лег на диван, закурил папиросу и заснул, чего совсем не хотел делать. Разбудил меня приятель, который пришел ко мне в гости, чего он тоже не хотел делать, как оказалось. Он вышел из дома, не имея ни малейшего желания идти ко мне, и вдруг — пришел! И мы заговорили с ним о том, как эластичны узы дружбы: идешь направо от дома приятеля и вдруг — приходишь все-таки к нему и мешаешь ему спать. Потом мы говорили о вине и о людях, которые пьют вино. Мы открыли такую вещь: люди, у которых есть деньги в кармане или кредит в виноторговле, могут купить вино, а люди, которые не имеют ни того, ни другого, — не могут. Когда приятель ушел, писать о воде было уже поздно...

Сочинение было заказано к субботе, — у меня еще было два дня. Но на следующий день воде помешал уже не приятель, а вино, которое, по отношению ко мне, действительно оказалось неприятелем. И вот наступил последний день, и я засел писать о воде и ее значении в природе и жизни человека. У меня очень болела голова, но все-таки я написал. Потом — прочитал, ничего не понял и, решив, что я, должно быть, очень удачно подражал ребенку и вполне удовлетворю моим сочинением учителя, — понес его моей гимназистке.

Она встретила меня радостно.

— Готово! Ах, как хорошо! На пять, да? Ну, конечно, — ведь вы сочинитель... Идемте играть в куклы!

Мы пошли и играли, а потом я пошел домой и спокойно спал ночь...

В воскресенье я пошел к ней. Пришел. Маменька ее вышла навстречу мне, и была она величественна, как хорошая колокольня, а глаза ее смотрели на меня, как два револьверные дула.

— Ах, это вы, милостивый государь? Вы?

— Я почти уверен, сударыня, что это именно я.

— Без шуток-с!

— ?!?

— Писатель вы! Соч-чинитель! Слышите ли?

— Я думаю, что слышу... Но не уверен, что я понимаю...

— Что вы сделали с моей дочерью?..

— Позвольте мне это вспомнить...

— Взгляните на нее!..

Я пошел и взглянул. Она лежала на постельке и, как только умела, как могла, — плакала, бедненькая.

— Лизочка... — сказал я.

— Ах!.. Мама, мама, велите дворнику Матвею зарезать его ножом... топором... убейте его! — закричала Лизочка.

Это было удивительно!

— Объясните мне...

— Возьмите ваше гнусное сочинение, которое сделало мою дочь посмешищем всей гимназии и которому она обязана тем, что ей... поставили нуль!.. Возьмите и...

Я ушел. Бережно взяв сочинение, я спрятал его в карман и ушел. Мне казалось, что я несу в кармане целый Атлантический океан со всеми его тайнами. Придя домой, я прочитал сочинение... Читайте сами...

*«ВОДА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРИРОДЕ
И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»*

Вода есть мокрая жидкость, появление которой на земле относится к доисторическим временам. Сначала воды на земле было не очень много, но после того, как по повелению господы был устроен всемирный потоп, ее стало на земле более самой земли, и с той поры она, никуда не стекая, так и остается в болотах, озерах и морях. Скопляется вода только в низких местах, а на высоких удержаться не может, потому что она жидкая. Если

ее налить на вершину горы, то она скоро вся стечет вниз, поэтому подножия гор всегда бывают окружены морями, озерами и болотами. Если налить ее на апельсин, то она тоже не удержится на нем, а вот на земле она держится, хотя земля круглая, как апельсин... Все реки также текут сверху вниз, потому что они начинаются на высоких местах и вследствие жидкости воды. Если ее даже просто пролить на пол, то и тогда она потечет туда, где ниже, а не наоборот. Ее очень просто отличить от масла, потому что она летом не застывает, а масло застывает и летом, если его поставить в погреб. Постное масло больше похоже на воду. В болотах вода грязная, в морях соленая, и потому ее не пьют, пьют только воду из рек, но и то только там, где нет водопроводной воды. Пить воду вредно, потому что можно простудиться, — более полезно пить чай, кофе и квас... Вода также служит для путей сообщения, и те государства, у которых много воды, отличаются высокоразвитой торговлей, — таковы из древних Финикия и Греция, а из современных — Англия. В воде любят жить рыбы. По воде очень удобно возить товары на особых кораблях, которые называются флот, но пешком ходить по ней нельзя, потому что она жидкая и расступается от ног, и человек тонет. В природе вода является — летом в виде дождя, отчего на земле бывает грязно. Когда идет дождик, он прежде падает на крыши домов, а оттуда стекает ручьями на землю. Во время дождя взрослые выходят на улицу в калошах и под зонтиками, а дети сидят дома, и им бывает очень скучно. Зимой дождь замерзает и падает на землю в виде снега, отчего бывает холодно. В жизни человека вода нужна для разных надобностей: в ней заваривают чай, из нее варят суп, ею умываются, и когда умываются с мылом, то она, попадая в глаза, больно щиплет их. Из мыла с водой хорошо выходят пузыри. Для того, чтобы сделать пузырь, разводят в воде немножко мыла, берут соломинку и, окуная ее в эту жидкость, дуют в нее осторожно. На конце соломинки выдувается большой, красивый, разноцветный пузырь и, отрываясь от соломинки, летит в воздухе, пока не лопнет. В воде также стирают белье, водой моют полы в комнатах, и от воды простужаются, если пьют ее вспотевши. Еще

в воде купаются, и некоторые тонут. Таким образом, мы ясно видим, что значение воды в природе и в жизни человека очень важно.

Елизавета Пионова».

Вот оно, мое сочинение. Признаюсь, что, прочитав его, я остался доволен собой, ибо нашел, что оно написано совершенно в стиле четвертого класса гимназии и не без знания детской психологии. Я знаю, что мыльные пузыри более близки интересам двенадцатилетней девочки, чем торговля финикийцев, и остановился на мыльных пузырях более подробно, чем на воде как на факторе культуры. Я не доказывал преимущества вина пред водой, хотя и мог бы блестяще доказать это. Я не доказывал в моем сочинении необходимости обложения воды акцизом в видах увеличения доходов государства, — хотя почему бы не доказывать этого? То ли еще доказывают люди с высокоразвитым чувством патриотизма! Я ни слова не сказал о всем том, чего не могла знать гимназистка четвертого класса, и, мне кажется, я сказал все, что она знала о воде. Какого же чорта нужно было этому достопочтенному учителю?

Пусть он сам попробует написать такое же сочинение для двенадцатилетней ученицы; посмотрел бы я, как он это сделает!..

За что он поставил нуль моей протее? Я был возмущен и оскорблен.

Всякий на моем месте чувствовал бы то же самое, я полагаю. Я решил отправиться к этому господину.

Я пришел к нему и увидел пред собой длинную и тощую фигуру, весьма напоминающую собой ижицу, перевернутую вверх тормашками.

— Милостивый государь, — сказал я ему, — это я — автор сочинения «Вода и ее значение в природе и в жизни человека», поданного вам гимназисткой четвертого класса Елизаветой Пионовой.

— Разве вам не стыдно сознаться в этом? — с ужасом спросил он меня.

— Я не о себе пришел говорить с вами... Я хотел бы только знать, за что вы поставили Пионовой нуль?

— За сочинение, — уверенно ответил он мне.

— Чем же, собственно, вам не нравится это сочинение?

— Ер-рунда!

Тут я горько пожалел, что не захватил с собой пушки. С таким бы удовольствием я влепил в учителя хорошенький заряд из артиллерийского орудия!

— Государь мой! — смиренно заговорил я. — Вы, кажется, полагаете, что на земле возможно существование леса раньше, чем вырастут деревья. Вы требуете от ученицы ясного представления о значении воды в природе, но известно ли вам, о государь мой, что ваша ученица ни в каких близких сношениях с природой не находится и едва ли может о ней иметь представление. Она живет в детской, во втором этаже большого каменного дома, и от ее квартиры до природы огромное расстояние, ибо, как это вам должно быть известно, в благоустроенных городах природа находится за городом. Пока еще ее домашние не озаботились ознакомить ее с природой, и, уверяю вас, она, Пионова, не в состоянии сказать вам, где находится природа и какая она из себя...

— Гм?! Да? Это очень... странно! Но чего же вы желаете?

— Дайте Пионовой другую тему! Клянусь вам, я больше не буду писать для нее...

— Другую тему? Ну что ж? Это можно... Извольте...

Он взял с своего стола маленькую книжицу, на обложке которой я мельком прочитал «Паульсон», и стал ее перелистывать...

— Ну-с вот: пусть она напишет «Море и пустыня». Я кротко и умоляюще посмотрел на него.

— «Море и пустыня»... — повторил он, — славенькая темочка!

— Но, государь мой! Она никогда не видела моря и не была в пустыне... — с отчаянием воскликнул я.

— Однако это довольно неразвитая девочка! Ну, тогда вот: «Влияние природы»...

— Опять природа!

— Да, да! Тогда — «Балтийское море и его торговое, экономическое, культурное и политическое значение»...

— Не торгует она, политикой, по молодости лет, не занимается...

— Ужасно неразвитая девочка! Что бы ей такое дать?.. Та-та-та! Ну-те-ка, вот: «Что есть общего в характерах Чацкого и Хлестакова?»»

... Как все люди, я тоже кроток и человеколюбив... до известного предела. Впрочем, я ведь не оправдываюсь, а только каюсь...

У него в комнате была печка, а на печке — отдушник. Ну, так вот на этом отдушнике, захлестнув учителю за шею его же собственный галстук, — я его и повесил.

Повешенный, он только потерял свое сходство с ижидцей, а кроме этого, мне кажется, никто ничего не потерял.

Вот и все, что я хотел сказать.

РОМАН

I

Герою этого романа, Яшке, было одиннадцать лет, когда он впервые почувствовал в своем маленьком сердце сладкое томление любви. Он был «мальчиком из типографии», очень чумазым мальчиком, от которого всегда густо пахло типографской краской, скипидаром и другими профессиональными ароматами. Такой же замазанный, потрепанный, как и все другие типографские мальчики, с таким же, как у них, лицом в маске черной жирной грязи, — Яшка отличался от них большими, всегда широко раскрытыми светлыми глазами, сравнительной скромностью поведения и стремлением к чистоте. В обед он всегда умывался, то есть размазывал по лицу неровно осевшую на него свинцовую пыль и грязь машин — ровным пластом, и от этой его заботливости о своей внешности казалось, что он не выпачкан, а таким уж черным произведен на свет. Ровный колорит грязи на его лице дал ему среди сверстников право на прозвание — Чистяк.

Курносый, с толстыми губами, с большими глазами и шарообразной, гладко остриженной головой, по бокам которой торчали большие, оттопыренные уши, — среди наборщиков он был более популярен под кличкой Рукомойник. Положение его в типографии было ничуть не хуже положения других сверстников: он никак не мог пожаловаться на то, что его обделяют работой или затрещинами,

и в общем он ходом своей жизни был доволен. После побоев он обыкновенно плакал и жестоко ругал того, кто его бил, но ругал втихомолку, так, чтоб, кроме него самого, никто не слышал этих ругательств. В аналогичных случаях сверстники его вели себя точно так же, и вообще Яшка Чистяк, или Рукомойник, почти ничем от них не отличался. Жалованья он получал два рубля в месяц и все целиком отдавал своей тетке, весьма толстой и всегда полупьяной старухе, торговавшей на толчке старьем. По отсутствию отца и матери, Яшка жил у нее в темной четырехугольной дыре с одним окном, смотревшим куда-то в яму. Дыра эта была частью подвала большого трехэтажного дома и являлась прекрасной квартирой, — зимой в ней было жарко до духоты, вследствие почти полного отсутствия воздуха, а летом прохладно, как в погребке, в силу сырости, наполнявшей дыру. Яшкина тетка относилась к нему не особенно любезно и частенько жаловалась богу на тех людей, которые умирают, оставляя после себя потомство на попечение их родственников, совершенно неповинных в том, что люди имеют дурную привычку родить детей и не умеют их ставить на ноги без помощи посторонних лиц, ничем не заинтересованных в этом деле. Нередко случалось, что Яшкина тетка основательно доказывала правду своего мнения путем подзатыльников и тычков, в изобилии осыпая ими племянника. Чаще всего она делала это в нетрезвом виде. Впрочем, нужно сказать, что в трезвом виде она была только тогда, когда просыпалась после выпивки, причем это время у нее целиком поглощалось желанием опохмелиться, — желанием, которое она скоро и приводила в исполнение.

Ввиду вышеизложенного Яшка чувствовал себя на улице гораздо лучше, чем дома, и в одиннадцать лет был уже очень тонким знатоком города и городской жизни. На улице жизнь была и краше, чем дома, и содержала в себе более равенства; обида, нанесенная Яшке на улице, немедленно же возмещалась им путем ловко брошенного камня, ругательства или даже потасовки, — в том случае, когда обидчик был равносителен с Яшкой. Дома возмездие было невозможно — Яшка не мог бы сладить с теткой и так был уверен в этом, что даже

ни разу не пытался вступать с нею в открытый бой. Иногда только он в виде маленькой мести позволял себе кое-что: так, например, когда пьяная тетка засыпала, он подливал под нее холодную воду, подсыпал ей в табакерку перца, а в башмаки сухой горчицы. Последнее средство было самым оригинальным, и Яшка на самом себе испытал, как именно оно действует. Ему товарищи подсыпали горчицы в сапоги, и, когда она растворилась от пота, — оба сапога представили собой великолепные горчичники. Яшка долго танцевал после того, как догадался снять сапоги, и в конце концов — даже упал, вздернул ноги кверху и, болтая ими в воздухе, стал отчаянно реветь. Подошвы так жгло, точно их поджаривали на плите, между пальцами вздулись пузыри, которые потом лопнули и образовали ранки, долго заставлявшие Яшку ходить босиком и ступать только на пятки. Тетка разика два испытала прелесть этой милой шутки, очень распространенной среди других развлечений в Яшкиной типографии. Но один раз горчица оказалась не особенно крепкой и не причинила тетке ничего особенного, кроме легкого беспокойства. Зато другим разом Яшка остался доволен — тетка ныла и стонала, хуже, чем сам он после побоев. Она все-таки не догадалась, в чем дело, и Яшка не раз еще надеялся в будущем полечить ее горчиchnikами. Мне неизвестно, оправдались ли его надежды.

II

Однажды Яшка чистил печатный станок, а для развлечения ругался с своим товарищем по работе, и все шло благополучно, как вдруг колеса станка почему-то пришли в движение...

— Тпр-ру, дьяволова мельница, — презрительно воскликнул Яшка, но в это время что-то дернуло его за ногу, потащило куда-то вбок и вниз и мягко, но сильно шлепнуло о пол спиной. Яшка дважды открыл и закрыл свои большие глаза, в которых было много боли и изумления, и впал в беспамятство.

Очнулся он в четырехугольной комнате с желтыми стенами. Был вечер, горели лампы, а окна были завешены

темной материей. Ламп было три, и, кроме них, было еще шесть кроватей, они стояли по три друг против друга и тоже были покрыты желтым. На всех трех кроватях, стоявших против той, на которой лежал сам Яшка, спали люди; на одной, рядом с ним, лежал длинный человек с черными усами и большими глазами смотрел прямо в лицо Яшки...

По другую сторону от него кровать была пустая, и Яшка, чувствуя, что он боится черноусого соседа, стал смотреть на нее, соображая, куда он попал? Желтый цвет напомнил ему об остроге, который снаружи был весь выпачкан желтой краской, и еще о гимназии. Яшка прислушался — не звякают ли где кандалы? Но было тихо, и только далеко где-то стонали... и ужасно скверно пахло... Значит, это больница, а не острог и не гимназия... Яшке стало жутко и очень захотелось заплакать, но он сдержался, сообразив, что его длинный сосед может ему задать за слезы выволочку. И, закрыв глаза, Яшка стал чутко прислушиваться... Прежде всего он услышал бурчание в собственном своем животе и почувствовал, что хочет есть... В то же время он как-то сразу вспомнил то, что с ним случилось до той поры, как он очутился здесь, и вместе с тем он испугался, ощутив, что у него болит голова, спина и одной ноги как будто нет совсем... Но это оказалось фальшивой тревогой: нога была с ним — когда он попробовал пошевелить ею, она дала о себе знать жестокой болью.

Яшка крепко закрыл глаза и во всю мочь закричал... а потом, не открывая глаз, стал слушать... Где-то раздались мягкие и спешные звуки шагов, и над Яшкой прозвучал женский голос... не так, чтобы очень ласковый:

— Ну, чего ты кричишь?.. а? Мальчик! Али ты в обмороке?

Очевидно, в этой больнице люди, впадавшие в обморок, не теряли дара слова и сиделка привыкла с ними разговаривать и в то время, когда они находились без сознания. Как бы поощряя эту ее привычку, Яшка подумал — что бы ей сказать, и, открыв глаза, заявил, хотя и слабым голосом, но с полной уверенностью:

— Я есть хочу!

— Так чего же ты кричишь во все горло? Ишь какой постреленок!..

И она ушла, шлепая туфлями по полу. Потом она снова явилась, и Яшка нашел уместным спросить ее:

— Ведь это, тетенька, больница?

На что она поучительно отвечала ему:

— А то постоялый двор?

Потом Яшка поел и уснул. Проснувшись среди ночи, он открыл глаза и осмотрелся. Все было пропитано тишиной и запахами лекарств. И кто-то тихо-тихо стонал. Звук был такой странный и так плавно носился по желтой комнате, что казался единственным живым среди этой пахучей тишины и непривычной Яшке приторной чистоты. Точно это желтые стены дышали... Сосед Яшки по койке лежал вытянувшись, сложив руки на груди, на лицо его падал свет, губы были полуоткрыты и обнажали белые холодные зубы. Это было страшно. У Яшки екнуло сердце, и он, натянув себе на голову одеяло, заплакал потихоньку, чувствуя себя одиноким, забытым и погибающим.

Так и потянулись дни за днями. Яшка плохо выздоравливал и сильно худел. Худоба лица сделала Яшкины глаза еще больше, и в них замерло тоскливо-выжидательное выражение. Лицо ему отмыли, и теперь было видно, что оно белое, миленькое личико уже много думающего ребенка. Скучно ему было в больнице, тошно, одиноко.

Однажды, проснувшись среди дня, Яшка открыл глаза и вздрогнул. Кто-то смотрел на него и улыбался ему, так улыбался, что Яшка почувствовал себя совершенно здоровым и сделал движение, желая сесть на койке. Но боль в ноге заставила его сморщиться, охнуть и снова закрыть глаза.

— Что у тебя болит, мальчик? — спросили его. Никто никогда и ни о чем не спрашивал его так ласково.

Яшка взглянул — над ним наклонилось чье-то белое, нежное, почти прозрачное лицо, и прямо в глаза ему смотрели темные, ласково прищуренные глаза, смотрели и улыбались и как бы гладили Яшку чем-то мягким и теплым по всему его маленькому телу. Яшке показалось, что всего этого он давно уже ждал и что когда-то кто-то так же вот смотрел на него... но это было неизвестно когда. Яшка улыбнулся...

— Что ты молчишь?

Яшка снова улыбнулся и хитро кивнул головой, прищурив глаза.

— Милый какой!

Яшке плакать захотелось. Охватить бы эту чисто вымытую, тонкую шею и плакать долго и много.

— Ну, ответь! Давно ты здесь? Что у тебя болит? Чей ты?

У мальчика щекотало в горле, и прерывающимся голосом он спросил:

— А ты не уйдешь... вы не уйдете, если я говорить с вами буду?

— Голубчик! Почему ты думаешь так?

— А я буду говорить... вам не про что будет спрашивать, и тогда вы уйдете... Опять тогда я останусь один. — Тут Яшка заплакал слезами обиды и радости.

— Бедненький... Я не скоро уйду... вон он спит еще...

— Кто? — быстро сквозь слезы спросил Яшка.

— Брат. — И она кивнула головой на его соседа по койке...

— Так вы это не ко мне пришли? — разочарованно спросил Яшка.

— Ведь я же не знала тебя... Теперь буду уж и к тебе приходить...

— А этот, длинный-то, и есть брат? Он чего тут лежит? Тоже машина его испортила? — недоверчиво и любопытно спросил Яшка.

— Он... болен, очень болен... Его не машина, а... так он... нездоров...

— А вы кто такая? Часто вы будете ходить? Каждый день? А вы где работаете? Вы, может, корректорша, или швейка, или просто барыня? Глаза вот у вас больно чудные... большущие!.. Пока брат хворает здесь, вы все и будете ходить сюда? Ишь... ну кабы он подольше похворал!

— Мальчик мой бедный, голубчик!

Он опять заплакал, этот Яшка Чистяк. Уж очень она хорошо говорит свои слова! Он плакал и сморкался в свои пальцы, а она утирала ему нос платком, от которого пахло цветами и весной. И Яшка чувствовал, что вместе со слезами из него выходит его боль, а вдыхая запах платка, он вдыхает вместе с ним бодрость и силу...

Потом она целовала его в глаза, и в губы, и в щеки, и в лоб. И все это было не изведено Яшкой, все открывало перед ним целый мир новых чувств.

Она ушла, — он остался как во сне и как во сне жил девять дней. Девять раз приходила она, и все это время Яшка переживал бесконечно много неизведанных, сладко волновавших его душу ощущений. Она обыкновенно приходила и, подходя к его койке, поцелуем здоровалась с ним, а потом шла к брату и садилась в ногах его койки, так, чтобы видеть и Яшку. Яшка, хмурия брови, следил за ней, слушал ее разговор с братом, а когда она взглядывала на него, Яшка манил ее глазами к себе. Чувство жгучей ревности к этому длинному и мрачному человеку испытывал Яшка всякий раз, как только вспоминал о его существовании. Яшка хотел бы, чтоб он умер уж, что ли, скорее, этот длинный брат, тогда бы она ходила к одному ему, к Яшке. И всякий раз, как брат со стоном хватался за грудь, Яшка вздрагивал — умирает, что ли? Но тот все не умирал, и Яшке горько было это. Первый раз ему выпало на долю такое хорошее, и вот нужно делить это пополам с какой-то «гнилой жердью», как мысленно прозвал Яшка своего соседа. Она все время почти сидела у него на койке и лишь изредка, ненадолго подходила к Яшке. Он хватал ее за руку и, глядя на нее жадными и умоляющими глазами, тянул ее к себе, молча, крепко... Она потихоньку освобождала из его пальцев свою руку и снова шла туда, к брату, который никогда не говорил ни слова Яшке, да и с ней говорил мало. И всякий раз, когда она уходила, Яшке хотелось ругнуть ее брата, в сердце у него что-то кололо, и на глаза навертывались злые слезы. Много мук и много счастья пережил он в эти девять дней своей жизни.

И вот однажды утром, проснувшись, Яшка увидал, что «гнилую жердь» перекаладывают с койки на носилки...

— Куда его тащат? — быстро спросил Яшка у сиделки.

— А тебе что? Ты еще туда не попадешь... чай, вот скоро тебя домой потурят... Набаловался здесь.

— Умер, что ли? — с трогательной просьбой в глазах еще спросил Яшка.

— Ну, известно... Не живого, чай, понесут.

«Умер!» Яшка испугался несколько, видя это вялое, белое мясо, лишенное движения, какое-то изломавшееся. Еще ночью этой Яшка слышал его стоны, кашель и движения... Но скоро испуг сменила тихая радость — «она» будет ходить только к нему одному, к Яшке. И, закрыв глаза, он начал ждать ее. Он мог уже вставать с койки и ходить при помощи костыля, но лежал... Она придет и, как всегда, поцелует его, но уже не сядет туда, к брату. Нет уж его, брата-то! Жгучая радость охватывала Яшку при этой мысли, и потом она сменялась в его душе тихим и сладким покоем. Всегда теперь она будет сидеть с ним, Яшкой, и никого у нее здесь нет, кроме него... Но она не пришла...

— Хоронит... — объяснил себе Яшка этот грустный факт. — Похоронит и придет... Апельсинов, чай, принесет и книжку... И будет говорить... до-олго!

Она не пришла и на другой день, и на третий, и ни разу больше не видал уж ее Яшка в течение тех двух недель, которые прожил в больнице со времени смерти ее брата...

III

Он долго, усердно искал «ее» по городу после того, как вышел из больницы. Он вынес оттуда нелюдимость, молчаливую сосредоточенность и сознание необходимости найти «ее». По воскресеньям и в нерабочие дни он шлялся по городу всюду, где бывает чистая публика, и искал, и не мог найти. Похожих было много, и все они кололи ему сердце острым воспоминанием о «ней», мимолетной грезе его печальной жизни, все они еще прочнее запечатлевали в его маленьком сердце ее славный, добрый образ, ее ласковые темные глаза, ее горячие мягкие губы, тонкую фигурку ее в черном пышном платье и маленькую головку в черной шляпе с белым пером. Нигде не было «ее», кроме его сердца. Сосредоточенный и хмурый, с большими печальными глазами, опять чумазый и снова пропахший типографской краской, он был несколько странен для типографского мальчика. В нем не было бойкости детства, беззаботности и веселого сердца ранней весны его жизни — все детское в нем пожрала и сожгла эта девятидневная греза.

Но судьбе, всегда такой остроумной в своих жестоких шутках над людьми, судьбе его угодно было, чтоб он еще раз увидел ее. Однажды, возвращаясь с товарищами с прогулки по лесу и идя почтовым трактом, он увидел ее. Прошло два года, но она была такая же, как и тогда, в больнице, сидела в почтовом возке, и тройка коней несла ее в клубах пыли. Рядом с ней был еще кто-то... военный, потому что в глазах Яшки сверкнули металлические пуговицы. Это она была, она, он не ошибался. Он как бы прирос к земле на мгновение и вдруг с радостным криком бросился вслед за тройкой.

Он бежал, прижав локти к бокам и кричал, и в рот ему набивалась пыль, гремели колеса тарантаса на выбоинах, и в голове Яшки шумело, сердце его билось, он кричал, кричал... Тарантас, заглушая его голос, исчезал в пыли... Деревья стремительно неслись куда-то мимо Яшки Чистяка...

И когда, обессиленный погоней, он упал в пыль дороги лицом, — то зарыдал, заплакал слезами горькой обиды, злыми слезами разочарования.

Потом он попытался найти ее. Дня через три он отправился вдаль, по почтовому тракту и шел, спрашивая на каждой станции:

— Куда ехали третьеводни барыня с офицером?

Над ним хохотали. В уездном городе, до которого он дошел, наконец, его арестовали за бесписьменность и по этапу отправили в губернию. Тогда он снова поступил в типографию и, всегда хмурый, точно что-то потерявший, молчаливый и злой, скоро во внешнем образе жизни потерял всякое различие с товарищами. Пил водку, как они, посещал с ними веселые дома, играл в орлянку и карты и работал, работал, работал ради всего этого...

Теперь Яшка Чистяк — тридцатилетний угрюмый пьяница, проводящий свою жизнь гораздо более у кабацкой стойки, чем у кассы со шрифтом. Он пользуется среди хозяев и рабочих дурной славой пьяницы, вора и полусумасшедшего... С виду ему можно дать лет пятьдесят, весь он рваный и грязный, всегда битый и полупьяный... Глаза у него большие, бесцветные, опухшие...

Но когда, однажды, в кабаке он рассказывал мне эту историю, — я видел, как они блестели таким ясным,

славным огнем. А кончив свой рассказ, он помолчал и добавил:

— Только всего и было в моей жизни хорошего... Мало, брат, да... Спился вот. А про нее вспоминать... приятно. Люблю я это. Хотя оно, может быть, ежели бы не она... ничего бы, жил я... А и то сказать — наплевать! Ну-е к чорту... Как ни живи — умрешь. Значит — все равно. А как она была — есть про что вспомнить...

НЕМОЙ

Башкирская легенда

...Лицо моего знакомого башкира Габуна было совершенно бесстрастно, — коричневое, скуластое, с маленькими неподвижными глазками и все в тонких морщинах, оно всегда казалось созерцавшим какое-то воспоминание, давно уже пережитое. Мы молча сидели с ним у потухшего костра, глядя, как порой по гряде пепла перед нами пробегали золотые змейки огня. Нас обнимала степь тесным и темным кольцом, над нею неподвижно стояли облака, похожие на застывшие морские валы, и вокруг нас царило суровое и важное молчание. Во тьме бесшумно плавали силуэты коней Габуна, иногда откуда-то на нас веял душный и теплый воздух, и тогда тихо шуршал песок, вздымаемый им. Но эти бледные и слабые звуки не нарушали сна степи и не тревожили тьмы в ней. От молчания и тьмы вокруг нас мне было жутко — казалось, весь мир умер и от всех людей остались только я и Габун. Он лежал против меня и смотрел через меня своими косыми и узкими глазами вдаль, в бездну тьмы и сурового молчания. Мы долго лежали так, не двигаясь и не разговаривая, и, когда, наконец, я не мог уже выносить этого одиночества вдвоем, я сказал башкиру:

— Расскажи что-нибудь, Габун!..

— А ты слушай, как молчит степь... — посоветовал он мне. Но я упрямился, и нараспев, диким, воющим

голосом, некрасивым и мрачным, но как нельзя более гармонизировавшим с пустыней, тьмой и моим настроением, он рассказал мне легенду о немом кочевнике Юзгляре.

«От Моздока по дороге к морю, но вдали от нее и глубоко в степи, есть курган, и лежат под ним кости Юзгляра, который при жизни был нем, потому что юношей он упал с коня и откусил себе язык.

«Он был нем, но у него были огненные глаза, и девушки наши заглядывались на них, но был он высокий, худой, и, часто улыбаясь, показывал он острые, волчьи, белые зубы, и это так страшно, что никто не любил и все боялись его.

«Он летом пас гурты овец, а зимой, хотя бы был сильный мороз и вьюга, летая по степи, выла свои хищные песни, — зимой никто не видал его у бедных наших юрт. Где он бывал? Говорили — в русских городах.

«Аа, ай! Как часто били его за то, что он был зол и, приходя в кочевки, смеялся над батырями, которые были сильнее его! Он не говорил ничего, ни звука не знал и все только смеялся своими глазами, в которых было много огня.

«Он посмотрит, бывало, на человека, как на труп барана, гниющий в степи, и со злом оскалит свои зубы и качает головой, а потом взглянет в небо и видит там что-то, от чего на глазах его явятся слезы.

«И бьет он себя в грудь рукой, и смеется, бывало, так, что тому, кто слышал его, становилось стыдно, и зло закипало в нем, он грозил немому кулаком, и если тот не унимался, то оба они бросались друг на друга, как волки, и дрались.

«И всегда Юзгляр бывал избит, а избив, оставляли его валяться где-нибудь около юрт, и лежал он, весь распухший от ударов, и никто не хотел принести ему воды и помочь встать с земли; он лежал и все смотрел в небо, где так хорошо в ясные дни.

«А когда кто-нибудь приходил посмотреть, не умер ли он, он указывал подошедшему рукою в это небо, где днем летают степные орлы, а ночью пасутся стада звезд, указывал туда и печально вздыхал.

«А когда мы, в праздник, собираясь в юртах и попивая кумыс, пели, бывало, старые песни о житье-бытье киргиз,

хорошего степного народа, он опять приходил и смеялся над нами, отказываясь от ковши с веселым питьем.

«Мы выгоняли его тогда, и опять он скалил зубы и скрипел ими, точно хотел сказать что-то, и бил себя в грудь, и плакал, — но даже женщины не жалели его, потому что он мешал веселиться.

«Иногда мы смотрели в небо, куда указывал он, — что ж там? Мы видели все, что было видно, — как синяя кошма оно, и стада звезд пасутся по ней, а днем там выются молодцы-орлы, — вот и все!

«Никто не мог понять, что видел там злой немой, и был он нам ненужен, только жить мешал, и мы гнали его от нас, гнали, как могли, и вот как-то раз он пропал...

«Мы весной нашли его, когда стаял снег, которого в ту зиму было много, мы нашли его там, где он и теперь лежит, глаза его выклевали орлы и вороны, и щеки и губы оклевали ему, и он лежал один в степи — худой и страшный — и улыбался своей бешеной улыбкой.

«Было пусто вокруг него, только степь и небо, а в небе — птицы, спугнутые нами с его тела. Жалко стало нам его тогда, и, поговорив о том, зачем он был такой и что хотел сказать нам, мы решили зарыть его там, где нашли, зарыть и насыпать над ним высокий курган из песка.

«И зарыли, и насыпали, а ветер еще выше намет этот курган, и лежит теперь под ним немой башкир, и песок насыпался ему в исклеванные очи...

«Но зимой встает он из-под песка, и, одеваясь в белый халат из снега, стоит он на вершине кургана и машет длинными руками, зовя к себе, и всё сверкают его белые зубы, улыбаются.

«Многие видели его там и в страхе бежали прочь, а выюга летала вокруг него и пела ему свои волчьи, страшные песни, а он плакал, слушая ее, плакал горько, то как ребенок, то как умирающий, хрипел и стонал он и все звал к себе, в свою могилу проезжавших мимо нее башкир, хороших степных людей...

«И когда выюга переставала выть — уходил немой в свою песчаную юрту и ложился там на спину, как мы положили его, ложился и смотрел исклеванными глазами в небо».

ВСТРЕЧА

Набросок

— Сколько же отсюда верст до этой... как ее?

— До Березянки-то? Верстов тридцать, поди... а то и с излишком.

Спрашивал высокий человек в бобровой шапке и длинной верблюжьей шубе, отвечал краснорожий, лысый мужик, низко подпоясанный по замазанному полушубку красным кушаком. Оба они стояли на крыльце постоянного двора, мужик, сняв шапку, вертел ее в руках и, переступая с ноги на ногу, колыхал своим большим животом, ожидая, о чем еще спросит его проезжий. А проезжий, медленно очищая от сосулек концы своих пышно убранных инеем усов, смотрел на снег, ослепительно блестящий на солнце, и задумчиво шурил большие, усталые глаза.

— Верст сорок, значит? — спросил он.

— А може, и сорок... В горницу пожалуете, али по деревне сделаете прогулочку?

Деревня состояла из двух десятков бугров снега, на ярком фоне его кое-где торчали закопченные трубы печей, выглядывали темные углы крыш и стен, тускло смотрели стекла кривых окон, а в одном окне разбитое стекло, заткнутое красной тряпицей, было похоже на громадный вытекший глаз. Бугры снега неподвижными белыми волнами лежали и на улице, лучи холодного солнца усеяли их миллионами остро сверкавших искр.

Пронесился ветер и вдруг гасил их сияние, вздымая белые дымки, — но, потухшие на земле, они вспыхивали в воздухе и с шорохом исчезали куда-то. Было очень холодно, и изо рта проезжего дыхание вырывалось клубом белого пара прямо на лысину говорившего с ним мужика.

— Пойдем в горницу... А долго ждать?

— Самую малость... в полчаса время мы вас снарядим.

Радостно взвизгнул дверной блок, и красное лицо мужика озарилось счастливой улыбкой, когда он, распахнув дверь в сени, с тревогой и надеждой спросил:

— Самоварчик прикажете? Яички, молочко... колобашка пшенисная?

— Тащи, но, пожалуйста, брат, недолго возись...

— Живым манером... — И он скрылся с быстротой, совершенно непостижимой при его животе.

Проезжий сбросил с себя шубу, потом снял меховое пальто и остался в толстом сером костюме и в высоких, по колено, теплых сапогах.

Лицо у него было полное, сытое, разрумяненное морозом, прядь длинных волос упала на высокий лоб в тонких морщинах, глаза, большие и умные, смотрели задумчиво... Он, зевая, сел за стол и осмотрелся. Маленькая, оклеенная газетной бумагой и листами какого-то журнала с картинками, комната представляла собой правильный четырехугольный ящик. Давно немытый потолок был черен от копоти, а стены комнаты желты от бумаги, выцветшей и засиженной мухами. У стены стоял большой стол, выдвигавшийся до половины комнаты, по бокам его — лавки... Два окна освещали все это. Пахло чем-то сложным и тяжелым. Было тихо и убийственно скучно.

Проезжий закурил папиросу, встал со скамьи и начал ходить по комнате. Одно из темных пятен на стене привлекло его внимание своей странностью, — оно изображало девушку с букетом цветов в руках, поместившуюся на вершине дерева, одной с ней величины. Он подошел поближе и увидел, что это склеены две разорванные картинки, — у девушки не было половины туловища, и дерево было подклеено как бы в виде продолжения девицы. Проезжий улыбнулся и стал рассматривать другие картинки. Одна изображала снимок с группы «Чичерровакио

с сыном, расстреливаемый австрийцами», рядом с ней помещалось «Стадо бизонов в пампасах». Рядом с бизонами — портрет Тьера, но у Тьера было оторвано левое плечо, и вместо него к Тьеру подклеили «Берег реки Миссисипи». Было и еще много подобных картинок, перемешанных с газетными листами, и один из них крупным заголовком гласил: «Х-ая Газета» № 221-й 1867 года, августа 29-го дня...

Проезжий улыбнулся так, как улыбаются при встрече хорошего старого знакомого, — с любопытством, с радостью и со смущением, вызываемым смутным чувством какой-то неловкости.

Он смотрел, улыбаясь, на заголовок желтого листа, будившего в нем воспоминания о прошлом, о дне, в который он впервые пришел в редакцию этой газеты с первой своей рукописью, и о другом дне, когда эта рукопись под заголовком «За правду» явилась в фельетоне газеты. Почти тридцать лет прошло с той поры... Давно уже не существует эта газета, и очень недолго она существовала. Около нее группировались всё такие горячие головы и честные сердца, ее редакция всегда представляла собой что-то вроде химической реторты, в которой из разнообразных явлений жизни вываривались статьи, полные убедительных выводов, в то время убеждавших. Все, что творилось там, творилось горячо; сколько искренности, сколько молодой энергии кипело в этих людях...

Проезжий отошел от стены и снова сел за стол, мягко улыбаясь своим воспоминаниям. Они будили в нем то же очищающее душу чувство, какое будят воспоминания детства. Он думал о том, что все это было, да, и все это было хорошо и честно, но он не забывал и того, что все это теперь частью позабыто, частью осмеяно и что сам он далек от настроения и идей того времени, когда он начинал жить. Он ныне — писатель для салонной публики, поставщик изящных новелл, жрец искусства, а не поборник направления.

Краснорожий мужик внес большой ярко вычищенный самовар. Самовар был чем-то разгневан — он шипел, бурлил, со свистом выпускал из отверстия крышки струю пара и, казалось, готов был соскочить со стола и куда-то бежать. Вся комната наполнилась звуками протестующего

шопота, и стекла в окнах сразу запотели. Мужик вышел, потом внес дорожный поставец проезжего, тарелку, на которой лежало с десяток яиц, горшок молока, хлеб. Потом он стал у двери и, поправляя кушак, вопросительно уставился на барина, а тот, задумавшись, не видал его. Мужик тяжело вздохнул и спросил:

— Идтить мне?

— Иди, — тихо сказал проезжий, не глядя на него.

«Почему это в молодости жизнь всегда кажется такой простой и ясной?» — думал проезжий, поглядывая на стену. Самовар, как бы недовольный тем, что на него не обращают внимания, все сильнее кипел и точно захлебывался от негодования. Но человек, сидевший против него, все более погружался в задумчивость. Вспоминалось много, и все это так славно трогало душу, овеивая ее мягким дыханием ласки, явившейся из забытой дали. Тогда он жил в такой же вот грязненькой и маленькой клетушке, как эта, а рядом с ним жил один товарищ, человек стойкий до фанатизма и впоследствии дорого заплативший за эту стойкость. В том же доме жила и «она»... Теперь она его супруга, и скоро истечет двадцать пять лет со времени свадьбы. Тогда она служила цензором его совести, источником его вдохновений, теперь... она его супруга, соединенная с ним холодной привычкой друг к другу, образовавшейся за эти четверть века. Четверть века!..

Самовар положительно выходил из себя.

Теперь и тогда — какие эпохи! Одна — вся в ярких огнях, полная энергии, самозабвения, донкихотства, эпоха великих реформ, великих надежд, великих ошибок: трагическое и смешное, бодрое и мечтательное — все перепутывалось в ней и все было — крупно, по меньшей мере. Теперь — туманно и серо, храмы пусты, боги забыты, души — нищи, иногда вспыхивает кое-где свет, но это блуждающий огонь, и вся жизнь, по меньшей мере, — мелочна и бедна.

Проезжий встал и, заложив руки за спину, опять подошел к стене. Как попал сюда, в глушь, этот старый газетный лист? И проезжий стал читать его, улыбаясь ему. Самовар несколько успокоился и начал скептически пошвыстывать, где-то мычал теленок и лаяла собака. Снег хрустел под окном.

Маленькие буквы, порыжевшие, замазанные грязью, засиженные мухами, с большим трудом составлялись в слова и фразы, но эти слова, эти фразы были хорошо знакомы проезжему, и в ответ на них в его душе звучало что-то, давно-давно не ощущавшееся ею. Эта искренность и этот огонь, смелый огонь убеждения, которые вошли в плоть и кровь автора, — где это они теперь? Только у стариков, бойцов за свободу.

Отведя глаза в сторону, проезжий встретился с осколком зеркала, прикрепленным гвоздиками к стене, и зеркало показало ему, что усы у него — седые и волосы на голове тоже сильно посребрены временем.

Ему стало неловко пред самим собой, и он, потеряв лоб, вздохнул. Да, он изменил, он холоден и бесстрастен к тем идеям, которые тогда были так близки ему и которым теперь нет места в жизни... Его ли это вина? Жизнь всегда сильнее человека. Сомнение вечно враждует с верой.

— Лошади-те готовы... коли что! — раздался голос мужика, заглянувшего в дверь.

— Хорошо... я сейчас, — отозвался проезжий. — Я выпью стакан и поеду...

— Да мне — как вам желательно, — возгласил мужик и скрылся.

В глаза проезжего бросился угол газетного листа. Он отклеился, свернулся в трубочку и как бы приглашал развернуть его. Проезжий так и сделал. Потом он согнулся и быстро выпрямился с красным от волнения лицом. На обороте страницы газеты был напечатан его фельетон, его подпись стояла на уголке. Ему сделалось и жалко себя и как-то радостно. Разве для того, волнуясь и горя, писал он, чтобы его трудом оклеивали стены постоялых дворов? Плоды первых, самых свежих соков его мозга, плоды волнений лучших дней его юности... И в то же время он чувствовал что-то радостное, острое от этой встречи с самим собой, с тем человеком, которого он давно уже прожил, от которого в нем, теперешнем, не осталось почти ничего.

«Хотя бы в форме фельетона, написанного более четверти столетия тому назад и оставшегося на грязном листе бумаги, заменяющей обои на постоялом дворе, —

все-таки приятно уцелеть, остаться в жизни», — говорило ему тщеславие профессионалиста. Но человек в нем был оскорблен. Он наморщил лоб, грустно усмехнулся и, подойдя к столу, стал заваривать чай.

Самовар меланхолично и тоскливо напевал о чем-то. Под окнами фыркали лошади. Маленькая фигурка, с ног до головы окутанная в рваные овчины и тряпье, тяжело ввалилась в дверь и пискливо произнесла:

— Скоро поедете, ай мету?

— Сейчас... а что?

— Ничего мо... домой бы я сходил переобуться, ежели не скоро...

— Сходи... поскорее только, паренек... — добродушно попросил проезжий.

— Ин схожу... А я не паренек... мне, чай, уж под шесть десятков годов есть... А то еще и больше... — объяснила фигура и вышла, прежде чем проезжий успел что-нибудь сказать ей.

«Что, если этот лист отклеить и взять с собой?» — подумал проезжий, прихлебывая чай. Но это показалось ему смешным и сентиментальным... Зачем?.. А сколько хорошего связано с этим фельетоном, сколько мечтаний о борьбе и славе. Борьба была, и ею завоевана известность, материальное благосостояние, солидное положение в обществе — положение «нашего талантливового беллетриста». Не много... и не мало. Меньше того, о чем мечталось, больше того, чего достигли другие. Но достигнуто ли равновесие души, сознание честно выполненных задач жизни, гордость собой?

Самовар то вздыхал, то посвистывал и повизгивал, — очевидно, переживал что-то вроде агонии.

— Фекла?! Где ты, чорт, — раздался в сенях грозный окрик. — Иди-ка погляди, что теленок-то наиграл!

И вслед за этим криком тишина вокруг проезжего стала как-то скучнее и тяжелей. Ему все думалось; медленно и неотвязно кружились в его голове эти печальные думы. Давно не испытывал он ничего подобного, да и испытывал ли когда-либо с тех дней? Содержание их все незаметно, капля по капле, просочилось куда-то вон из души. Жилось покойно, и довольство жизнью было. Он едет к старому другу, такому же успокоившемуся

человеку, едет к нему отдохнуть от работы, поболтать о столичной жизни. У него было хорошее настроение до этого постоянного двора, где, по велению судьбы, он встретился с самим собой, с собой, в виде юноши-мечтателя... Что, собственно, написано, что сказано им в этом фельетоне?

Бросив пить чай, он отправился к стене и осторожно, с озабоченным лицом стал отдира́ть от стены угол газеты. Бумага отстала немного и начала рваться. Проезжий остановился, склонился к желтому клочку... прочел его. Там было строк сорок крайнего газетного столбца да второго с краю строк пятнадцать.

Речь шла о каком-то Петре, который сказал «ей»: «Прощай, наши дороги разны! Ты жертва твоей среды и воспитания, тебе нет иной дороги в жизни, кроме паркета!.. А я...» — и, гордо махнув рукой вдаль, он, этот Петр, исчез.

Проезжий задумался, потирая лоб. Кто этот Петр, и кто она? Как они встретились? Весь фельетон тут, в одном номере, или нет? Наивный, детски прямой рассказ, написанный во время веры в возможность на земле всего хорошего. Но... он позабыл его содержание. Позабыл!

Проезжий конфузливо улыбнулся, подошел к столу, одним глотком выпил чай и пошел к двери. Но она сама отворилась навстречу ему, и пискливый голос произнес, исходя из кучи овчин:

— Переобулся... буде что, можно ехать... Лошадки-те смерзли...

— Сейчас оденусь... пошли хозяина.

— А я тут...

Краснорожий мужик весело улыбнулся, за ним стояла баба в сбитом набок платке и одним глазом смотрела из-за его плеча на проезжего.

— Сколько тебе? — спросил проезжий, надевая пальто.

— А сколько пожалеете... вы не наш брат, мужик, и не обидите. Я по совести с господ...

— Рубль будет?

— И рубль будет... — со вздохом сказал мужик. — К нам господа совсем даже не часто ездют... От трахту мы очень в стороне. Господа для нас — праздник...

Он говорил печально и с явным желанием прибавки.

Но проезжий, влезая в подаваемую им шубу, не слушал его ноющей речи и все поглядывал на стену, где от движения воздуха колебался клоч отодранной им газеты.

Он точно манил к себе.

Вышли в сени. Мужик и баба сопровождали проезжего.

— Погодите... я ворочусь на минутку, — сказал он им и снова вошел в комнату, прошел к стене и, оторвав клоч газеты, смял его в руке.

— Ишь ты, какой запасливый, — шепнул краснорожий бабе, улыбаясь во весь рог. Проезжий подметил эту улыбку и нахмурился.

... Через полчаса он был среди широкой снежной пустыни, розоватой в лучах заходившего солнца. Заложенные гуськом лошади бойко бежали по извилистой мягкой дороге, маленькие санки подергивало, и ямщик качался с бока на бок, говоря скрипучим своим голосом:

— Пареньком-то я был лет тридцать время тому. Н-но-но! Прыткие... А теперича я гробовой житель... н-да. Кабы был хлебушко... лежал бы я на пече... а вот еду... беднота потому... У ты, убогая скотина!

Проезжий, стучаясь спиной о задок саней, старательно расправил клоч газетной бумаги и еще раз прочитал его. Поднимался ветер, и с сугробов срывались кисейные ткани снега, летая в воздухе. Бумага шелестела в руках проезжего, смотревшего на нее с печальной улыбкой. Тихо-тихо поскрипывал снег под полозьями саней и шуршал о рогожный верх повозки.

Проезжий медленно оторвал от клочка газеты маленький кусочек и пустил его по ветру. Тот забился в воздухе, как желтый мотылек, и исчез. За ним полетел другой, третий... и последний.

ЧАСЫ

I

Тик-так, тик-так!

Ночью в тишине и в одиночестве жутко слушать бесстрастное красноречие маятника часов: звуки монотонные и математически правильные, однообразно отмечающие всегда одно и то же — неустанное движение жизни. Тьма и сон объемлют землю, все молчит, — лишь часы холодно и громко отмечают исчезновение секунд... Маятник стучит, и с каждым звуком жизнь сокращается на секунду, на крошечную частичку времени, данного каждому из нас, на секунду, которая уже не вернется к нам. Откуда являются секунды, и куда они исчезают? Никто не ответит на это... И есть еще много вопросов, на которые не отвечено, есть другие, более важные вопросы, и от разрешения их зависит наше счастье. Как жить, чтобы сознать себя нужным для жизни, как жить, не теряя веры и желания, как жить, чтоб ни одна секунда не исчезала, не волнуя души и ума? Ответят ли когда-нибудь на все это часы, движению которых нет конца, — что скажут на это часы?

II

Тик-так, тик-так!

Нет ничего на свете бесстрастнее часов: они одинаково правильно стучат и в момент вашего рождения, и

в то время, когда вы жадно срываете цветы грез юности. Со дня своего рождения каждый день человек становится ближе к смерти. И когда вы будете хрипеть в агонии — часы будут сухо и спокойно считать ее секунды. В их холодном счете — прислушайтесь — звучит нечто все знающее и уставшее от этого знания. Ничто, никогда не волнуется их и не дорого им. Они равнодушны, и нам, если мы хотим жить, — нужно создавать себе иные часы, полные ощущений и мысли, полные действий, чтоб заменить эти скучные, однообразные, убивающие душу тоской, укоризненно и холодно звучащие часы.

III

Тик-так, тик-так!

В неустанном движении часов нет неподвижной точки, — что же мы называем настоящим? За одной родившейся секундой рождается вторая и сталкивает первую в бездну неизвестного...

Тик-так! И вы счастливы. Тик-так! И вот вам в сердце вливается жгучий яд горя, и оно может остаться на всю жизнь с вами, на все часы данной вам жизни, если вы не постараетесь наполнить каждую секунду вашей жизни чем-либо новым и живым. Страдание соблазнительно; это опасная привилегия; обладая ей, мы обыкновенно не ищем другого, более высокого права на звание человека. А его так много, этого страдания, что оно стало дешево и почти уже не пользуется вниманием людей. Поэтому едва ли стоит дорожить страданием, — следует наполнять себя чем-либо более оригинальным, более ценным, — не так ли? Страдание — обесцененный фонд. И не следует жаловаться на жизнь кому бы то ни было: слова утешения редко содержат в себе то, чего ищет в них человек. Всего же полнее и интереснее жизнь тогда, когда человек борется с тем, что ему мешает жить. В борьбе незаметно промчатся тоскливые и скучные часы.

IV

Тик-так, тик-так!

Жизнь человека до смешного кратка. Как жить? Одни упорно уклоняются от жизни, другие всецело посвящают

себя ей. Первые на склоне дней будут нищи духом и воспоминаниями, вторые — богаты и тем и другим. И те и другие умрут, и от всех не останется ничего, если никто не будет бескорыстно отдавать жизни свой ум и сердце... И когда вы будете умирать, часы бесстрастно будут считать секунды вашей агонии — тик-так! И в эти секунды родятся новые люди, по несколько в каждую, а вас уже — нет! и ничего не останется в жизни от вас, кроме вашего тела, которое будет дурно пахнуть. Неужели же ваша гордость не возмущается этим автоматическим творчеством, которое бросило вас в жизнь, потом вырвало из нее и — только? Укрепите же в жизни память о себе, если вы горды и оскорблены вашей подчиненностью тайным задачам времени. Подумайте о вашей роли в жизни: был сделан кирпич, потом он лежал неподвижно в одном здании, потом рассыпался и исчез... И скучно и пошло быть кирпичом — не правда ли? Не походите же на кирпич, если у вас есть ум и душа и если вы хотите испытать в жизни хорошие, полные чувствований и дум, бурные часы.

V

Тик-так, тик-так!

Если вы задумаетесь о том, что теперь значите вы в беспредельном движении часов, — вы будете подавлены сознанием вашего ничтожества. Да оскорбит вас это сознание! Да возбудит оно в вас гордость, и пусть вы почувствуете вражду к жизни, унижающей вас, и да объявите вы ей борьбу. Во имя чего? Когда природа лишила человека его способности ходить на четвереньках, она дала ему, в виде посоха, — идеал! И с той поры он бессознательно, инстинктивно стремится к лучшему — все выше! Сделайте это стремление сознательным, учите людей понимать, что только в сознательном стремлении к лучшему — истинное счастье. Не жалуйтесь на бессилие, и ни на что не жалуйтесь. Единственное, что может принести вам ваша жалоба, — это сожаление, милостыня нищих духом. Все люди одинаково несчастны, но более всех несчастен тот, кто украшает себя своим несчастьем. Эти же люди более всех других жаждут внимания к себе

и менее всех достойны его. Стремление вперед — вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.

VI

Тик-так, тик-так!

«На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого ты окружил мраком?» Это старый Иов спрашивал у бога. Нынче уже нет таких смелых людей, которые, помня, что они дети бога и созданы им по образу и подобию его, говорили бы к нему, как Иов, и вообще дешево ценят ныне люди себя. И мало любят жизнь, и даже себя любят неумело. И в то же время боятся смерти, хотя никто не избежит ее, как это известно. Неизбежное — законно. Ведь человек с той поры, как явился на земле, — все умирает, и к этому надо привыкнуть, пора. Сознание выполненной задачи может уничтожить страх смерти, и честно пройденный путь жизни даст покойный конец. Тик-так... И от человека остаются только одни дела его. И прекращаются для него часы вместе с его желаниями, и наступят иные часы — часы оценки его жизни, суровые часы.

VII

Тик-так, тик-так!

В сущности, все довольно просто в этом запутавшемся в противоречиях, во лжи и злобе живущем мире. И было бы еще проще, если бы люди всматривались друг в друга и каждый имел за собой друга.

Один, если он и велик, все-таки мал. Необходимо понимать друг друга: ведь все мы говорим темнее и хуже, чем думаем. Человеку не хватает много слов, чтоб открыть свое сердце пред другим, и поэтому много крупных и важных для жизни дум пропадает бесследно, оттого что для них своевременно не нашлось нужных форм. Рождается мысль, есть искреннее желание воплотить ее в слова, в твердые и ясные слова... а слов — нет.

Больше внимания к мысли! Помогайте рождаться ей, она всегда окупит ваш труд. Везде и во всем есть

мысль, — даже в трещинах камня вы прочтете ее, если захотите этого. Если люди захотят, они всего достигнут; если они захотят, они будут владыками жизни, а не рабами ее, как теперь. Только бы явилось желание жить, гордое сознание силы своей, и вся жизнь представит собой прекрасные часы, полные явлений силы духа, поражающие благородством подвигов, — великие часы.

VIII

Тик-так, тик-так!

Да здравствуют сильные духом, мужественные люди, — люди, которые служат истине, справедливости, красоте! Мы их не знаем, потому что они горды и не требуют наград; мы не видим, как радостно сжигают они свои сердца. Освещая жизнь ярким светом, они заставляют прозревать даже слепых. Нужно, чтобы прозрели слепые, которых так много, нужно, чтоб все люди с ужасом и отвращением увидели, как груба, несправедлива и безобразна их жизнь. Да здравствует человек, владыка своих желаний! Весь мир — в его сердце; вся боль мира, все страдание людей — в его душе. Зло и грязь жизни, ложь и жестокость ее — его враги; все часы свои он щедро тратит на борьбу, и жизнь его полна буйных радостей, красивого гнева, гордого упрямства... Не жалей себя — это самая гордая, самая красивая мудрость на земле. Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя! Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую; каждому, кто любит красоту, ясно, где величественное.

Часы нашей жизни — пустые, скучные часы; наполним же их красивыми подвигами, не жалея себя, и тогда мы переживем красивые, полные радостного трепета, полные жгучей гордости часы! Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя!

ШАБРЫ

Рассказ

...Тяжело дыша и фыркая, усталая лошаденка Комова вывезла телегу на вершину холма и, понутив голову, стала, широко раздувая бока.

— Ах ты, привередница, — добродушно проворчал хозяин и спрыгнул на землю, желая поправить сбрую.

Он был настроен великолепно. Поездка в город удалась ему как нельзя более хорошо, он выгодно продал пару боровов и телят, условился с одним купцом насчет одной работы на зиму и даже задаток получил с него, купил своему парнишке Федьке сапоги, девчонкам — по платку, жене — покрышку на шубу, потом разных городских гостинцев. И не раз он уже мечтал дорогой, как это он приедет домой, ребятишки обступят его и будут ныть:

— Тя-атенька, покажи, чай, чего привез?!

Жена тоже будет довольна. Потом сядут пить чай. Придет кто-нибудь из знакомых и станет спрашивать насчет города, как там цена на хлеб стоит, много ли его, и нет ли какого разговору насчет земли.

— Стой, дуреха! — прикрикнул Комов на лошадь. У нее была стерта хомутом кожа на плече, и она шарахнулась в сторону, когда Комов стал поправлять хомут. С холма пред Комовым развertyвалась широкая картина, выписанная тусклыми, как бы выцветшими красками

осени. Прозрачный воздух открывал далекие горизонты, во все стороны тянулись пустынные, щетинистые поля. Кое-где на них возвышались копны хлеба, зеленые полосы озимей резко бросались в глаза, маленькие рощи были расцвечены в краски, яркорыжеватые одинокие деревья и кусты стояли среди полей, почти уже оголенные ветром осени. Дороги темными лентами вились по полям. И на всем лежал этот странный, как бы пропитанный туманом колорит старых, выцветших от солнца картин.

Солнце лило с безоблачного неба на эту холмистую равнину холодный свет, и меланхолия увядания не оживлялась этими неласковыми лучами. Точно в солнце угасли страсти, и оно светит земле по обязанности. И в резких порывах ветра чулось холодное веяние зимы.

Комов посмотрел на все это и вздохнул. Просто так вздохнул — без грусти и без удовольствия. Более сорока раз встречал он в своей жизни осень, самое сытное время для мужика. Он впрыгнул на телегу, ударил лошаденку вожжами и крикнул ей:

— Н-но, шагай, милая!

До деревни осталось верст с двадцать, а солнце уже было низко.

— А не подвезешь ты меня малость, добрый человек? — раздался спокойный, немного хриплый голос сзади Комова.

Он даже вздрогнул. За задок телеги держался рукой высокий человек в толстом рваном пальто, подпоясанном красным кушаком. На голове у него была плотно надета меховая шапка с наушниками, в руке он держал здоровую палку из березы с обделанным на конце корнем, величиной с мужицкий кулак. Лицо его было как будто знакомо Комову. Когда Комов обернулся и взглянул на него, тот поклонился ему, а Комов ответил на поклон нерешительно и с некоторой тревогой сказал:

— Пристала лошаденка-то у меня...

— Да ведь дорога-то под гору...

— Оно так... Садись ин, для бога... Садись вот, рядом-то.

Тот положил вдоль телеги свою палку, сел на нее и, сунув руку за пазуху, улыбаясь, сказал:

— Ну, вот и спасибо... Верст пяток с костей долой.

Потом вынул кисет и, наклонясь над ним, стал набивать трубку. Тревога Комова несколько уменьшилась, когда попутчик положил свою палку, и он стал соображать, где это он видел такого человека? Думая об этом, он думал также и о том, что местом они едут глухим и что, хоть и слышно, как молотят в Осинках, но, ежели кричать придется, — едва ли кто услышит. Осторожно запустив левую руку в карман штанов, он набрал в руку штуки четыре крупных медных денег и крепко сжал их в пальцах. В случае чего — все-таки тяжелее ударишь. Пожалуй, этот парень помоложе лет на десять, да и посильнее его — вон шея-то какая!

А парень курил трубку, спокойно смотрел вокруг и молчал, болтая ногами в новых лаптях и онучах.

— Далече тебе? — спросил Комов, искоса следивший за ним.

— До Сояновки...

— Н-ну? А я ведь сам сояновский, — с удовольствием вскричал Комов. Коли этот человек едет в одну деревню с ним, — значит, никакого греха не может быть... — Ишь ведь... К кому же ты... по каким делам, собственно? То-то я тебя как бы видал где, лицо у тебя будто знакомо мне... Ты в батраках у Сизова купца не живал ли?

— В батраках я не живал, — вполголоса ответил попутчик и, спрятав трубку в карман, поднял несколько шапку со лба.

— Та-ак, — сказал Комов, — значит, по своим делам? Чьих же ты будешь?

Тогда попутчик тихонько засмеялся и негромко сказал:

— Эко память у тебя какая стала, Игнат Иванович! Больше тридцати годов мы с тобой бок о бок жили и землю тоже рядышком всегда ковыряли... А пяти годов не прошло — и забыл ты шабра...

— Тпру-у! Стой! — вдруг зашептал лошади Комов, дергая ее вожжами, хотя она уже встала. У него сразу вспотел лоб и шапка съехала на затылок. И ему казалось, что доносившийся издали шум молотьбы раздается теперь в его груди и голове.

— Николай! — схватив шабра за плечо, зашептал он с ужасом на лице, оглядываясь вокруг, прислушиваясь и

вздрагивая. — Как же ты? Ведь на двенадцать лет тебя?.. Сбег, значит? Ах ты... как же это? а? Я-то... посуди сам...

— Ты не бойся, — спокойно сказал Николай, ударяя своего шабра по колену и посмеиваясь. — Ничего не будет... ни тебе... ни кому... Я сбежать-то сбежал, но хватиться меня не могут там... Так устроено. Ведь розыска обо мне не было?

— Не было, брат, не было, но что-что... А все-таки — разве можно этак, без опаски? Вот мне, например, объявился...

— Так, чай, ты какой мне друг... старинный... — ласково улыбаясь, сказал Николай.

— Да ведь другие узнают! — вскричал тревожно Комов.

Лошадь шла шагом, а седоки, не обращая более внимания на нее, смотрели друг на друга с самыми разнообразными чувствами. Комову было страшно. Вот он везет к себе в деревню человека, осужденного за убийство конокрада на двенадцать лет каторги. Положим, не один он виноват в этом деле, но он осужден и бежал с каторги. Что он за человек теперь? Раньше, до того дела, Николай Брагин хороший мужик был, и с Комовым они жили душа в душу. Комов вспомнил, как он был дружкой у Николая, а потом Николай пировал на его свадьбе, и как они, бывало, одолжались друг у друга разной разностью. Вообще примерно, хорошо жили. Но теперь, после каторги, что за человек стал Николай?

А Николай смотрел на шабра с неопределенной улыбкой, и лицо его то и дело изменялось. Он тоже вспоминал прошлое, думал о жене, о ребятишках и спрашивал о них Комова.

— Жена — живет... Ничего, она баба в работе упорная. Митюшка малый бойкий такой, а Марья-то в школу ходит... Она слаба. Сирота из Песчанки, подросток, живет с ними. Тихий такой, работающий. Он вроде батрака... Жена у тебя, Николай, держится...

И, говоря это, Комов все думал — а что, как Николай-то греха какого натворит в деревне? И потом обнаружится, что это он вот, Комов, привез его... Не объявить ли старосте про все это? Так и так, мол, беглый

каторжный человек приехал со мной, но я в этом не виноват. Али я мог его не подвезти? Я бы ему отказал, а он меня дубиной своей хватил бы по голове и все равно пришел бы в деревню.

— Да ты чего так сомутился, Игнат Иванович? — задумчиво и с легонькой усмешкой сказал Николай и с горечью прибавил: — Али боишься меня, что я каторжник? Так я, брат, на каторге-то и не был...

— Это как то есть? — недоверчиво спросил Комов.

— А так... не дошел до нее...

— С дороги бежал?

— Вроде этого... Видишь ты, обменялся я именем своим с одним человеком... А он был больной совсем... Ну, он умер, на одном этапе... а вышло, что умер-то я, а он бежал. Понял? — И Николай добродушно захохотал.

— Да... вон оно что, — задумчиво протянул Комов. — Ну, и что же теперь будет?

— Это со мной-то? — спросил Николай.

— Ну да... Как же ты теперь полагаешь жить? Ведь в Сояновке невозможно... Все узнают. Земский у нас... охо-хо-о!

— В Сояновке! Тоже сказал! Я, брат, Игнат Иванович, не в Сояновку... а за Дунай иду. К румынам. Там, говорили мне знающие люди, живут русские казаки... Так вот я к ним и доберусь. А в Сояновку... надо, чай, на жену с детишками хоть глазом взглянуть... ты как насчет этого?

— Это конечно. Это дело доброе... Как же? Н-да... а все-таки опасно... вдруг признает кто? Ведь что тогда будет?

— Тогда-то? Нехорошо будет. Опять в Сибирь пойду. А ты вот что: я доеду до роши да в ней и слезу, лягу там и дождусь ночи — так? А ты, как приедешь домой, Палагее-то моей и пошепчи: муж-то, мол, твой, Палага, тут, поблизости... жди сегодня ночью. Сделаешь?

— Известно, сделаю... — сказал решительно Комов и глубоко задумался.

Брагин снова вытащил из-за пазухи трубку и закурил. Ехали по ложине, промытой дождями. С одной стороны ее опускался крутой глинистый обрыв, другая, пологая, была покрыта желтой травой, вялой, уже хваченной

утренниками, и вся лощина представляла собой узкую и длинную тропу, опускавшуюся вниз, как бы в землю. Впереди виднелись полуголые вершины деревьев, и бедная, редкая листва их была раскрашена в яркие краски осени.

— Вот что я скажу, Николай, — глухо заговорил Комов, не глядя на шабра. — Человек ты был хороший... это так, что уж говорить. Но... сердись ты на меня не сердись, а надо говорить правду. Дело у нас такое... вострое, что, если не говорить нам про него по правде, — большой грех может выйти. Н-да...

— Да ты, Игнат, чего все только размахиваешься? Бей сразу! — усмехнулся Брагин и враждебно посмотрел в лицо Комова.

— Ну, это ты напрасно... «Бей!» Чего мне тебя бить? Али ты думаешь, мне не жаль тебя? — Комов тяжело вздохнул и смущенно продолжал: — Знаю я, какой ты был человек, и знаю, что не один ты в этом деле виновен. Но кто ты таков теперь? Вот оно в чем дело-то. Что ты за человек стал после всего этого? От мира деревенского ты отрезан напрочь...

— Ну? — тихо сказал Брагин.

— Ну... вот я хочу тебе сказать, Николай, такую штуку... Я человек мирской... мне мир — стена каменная... и у меня в миру место свое есть. А я могу из-за тебя его потерять.

— Да не бойсь ты! — тихо и просительно сказал Брагин. — Не бойсь за себя-то... не сделаю я для тебя худа.

— Нет, я — за мир боюсь. Вдруг ты чего-нибудь настроишь... склока поднимется, и все такое... Вдруг ты жену свою... сделаешь ей чего худое... или красного пеху недругу своему Кирилке-кабатчику подпустишь... ваш брат на это мастер. А кто будет виноват? Я — потому я тебя прикрыл.

— Игнат, побойсь бога! Али я не человек уж стал? — строго и громко воскликнул Брагин, и его лицо — худое и желтое — сердито нахмурилось.

Лошадь Комова, испуганная его возгласом, дернула, шабры покачнулись на телеге, Комов быстро оттолкнулся от Брагина и подозрительно посмотрел на него и придержал лошадь, потрусившую было рысцей.

— Я тебе и говорю, что не знаю я, кто ты теперь для мира, — вполголоса и угрюмо заговорил Комов. — Я вот сижу и думаю, что... надо мне с тебя клятбу взять для моего покоя и для вообще крестьянства...

Брагин молчал, покачивая головой.

— Так вот, Николай, дай ты мне клятбу, что в деревне ты только ночь пробудешь и зла никому не сделаешь... — твердо выговорил Комов.

— А то? — засмеялся Брагин сухо и зло.

— Ну... понимай сам, — тихо сказал Комов.

— Объявишь?

— Говорю... понимай сам...

Наступило молчание. Из лошины выехали к опушке рощи, и под колесами зашуршали груды сухих листьев. Их всюду было много, желтых и жалких, то и дело они срывались с деревьев и тихо, как бы недоумевая, кружились в воздухе, падали на землю, некоторые падали в телегу. Брагин поймал один из них на лету, посмотрел на него, взял в рот и стал жевать. Комов угрюмо молчал. Солнце было скрыто за рошей, на поля ложились тени, и веяло холодом. И все вокруг смотрело так же холодно, неприветливо, и белые стволы берез казались уже покрытыми тонкой корой снега. Брагин тяжело вздохнул.

— Я побожусь, Игнат... это я могу...

— Вот и хорошо... успокоишь меня... — несколько сконфуженно сказал Комов.

— Н-да-а... Встречал я таких людей, которые о крестьянах, бывало, как о зверье бессердечно говорят. Не понимал я их... — бормотал Николай.

— Мир, брат... В мире жить — миру и служить, — наставительно сказал Комов. — А пора тебе, Николай, слезать. Тут версты три места до деревни-то...

Комов соскочил с телеги, снял шапку и, наклонив перед шаблом голову, замялся. Тот тоже сошел с телеги и тоже обнажил голову. Лошадь одним глазом смотрела, как они стояли друг перед другом. Полуголые ветви деревьев шуршали, листья падали с них, тени сгущались в глубине рощи.

— Вот те Христос и святые угодники порукой, — вполголоса заговорил Брагин, — что я к утру уйду и никакого худа никому не сделаю — разрази меня господи!

— Вот, Николай, вот! Смотри же, божился! Ну, прощай! Не увидимся, чай, уж! — И, проговорив все это торопливо и с удовольствием, Комов широко размахнул руками и склонил голову набок. Брагин ступил шаг к нему, они обнялись, трижды поцеловались из щеки в щеку, и, не глядя на шабра, Комов прыгнул в телегу и ударил вожжей лошадь.

— Тпру-у!.. Николай! — все еще не глядя на Брагина, спросил он. — Еда у тебя есть? А то вот — баранки...

— Дай... — сказал Брагин. Он стоял все еще без шапки и опустив голову на грудь.

Комов торопливо порывлся в мешке и подал шабру целые пригоршни наломанных баранок. Тот медленно выбрал их из рук Комова, спрятал себе за пазуху, и лицо его искривилось.

— Спасибо... Совсем, как нищему ты...

— Эх, Николай, — тяжело вздохнул Комов. — Отвык ты от мира... Не понимаешь мирского... Прощай!

— Прости, для бога, коли я что...

И, прыгая по избитой колее, по корням деревьев, лежащим на ней, как мертвые змеи, телега Комова покати-лась. Брагин надел шапку, долго смотрел вслед ей, потом вынул из-за пазухи кусок кренделя, сунул его за щеку и пошел в чашу рощи, полную тьмы и шороха.

...Ночь была темная и ветреная. Густая и холодная тьма нависла над Сояновкой, небо и земля были одинаково черны, и только звуки давали знать о том, что где-то близко в этой тьме живут люди, скрытые ею. Как бы жалуюсь друг другу на тьму и холод, тоскливо были две собаки, то перебивая друг друга, то вместе выводя тоскливые и жалобные ноты. Порою ветер выл вместе с ними и что-то громко хлопало, порой шелестела солома на крышах и что-то скрипело — должно быть, плетень, колеблемый ветром. Сквозь сон мычали коровы, перхали овцы — порывы ветра разбрасывали эти звуки по воздуху, пропитанному тьмой, мешая их и создавая из них симфонию, щемящую сердце...

И вдруг раздавались звонкие удары металла о металл, заглушая собою все. Один за одним, с правильными интервалами, они падали в воздух как бы из высоты, оде-

той тьмой, и ветер долго носил их над деревней. Это ночной сторож бил в чугунную доску, повешенную против избы старосты.

Далеко от этой избы, почти на другом конце деревни, на колодезном срубе сидела неуклюжая, закутанная в тулуп фигура. Приподняв воротник тулупа, сложив руки на животе и наклонясь вперед, фигура медленно покачивалась, как бы разрешая тяжелую думу.

Это был Игнат Комов. Когда дома у него легли спать, лег и он, но никак не мог заснуть. Ему казалось, что он привез в деревню беду, а не своего шабра, когда-то хорошего человека, Николая Брагина. Что теперь этому Николаю деревня и ее жители? Оторванный он от нее человек. И, наверное, зол он на нее за это. Не один ведь он убивал тогда конокрада, а наказание за это на одного его пало. Как не сердиться? И как не пожелать худа тем, что вышли сухи из воды...

И Комову казалось, что Николай непременно подожжет деревню. А то может жену изувечить, потому что у нее за это время ребенок был. Она, конечно, баба молодая... а все-таки — как стерпеть такую обиду? Муж на каторгу ушел, а она — на-ко! — гуляет... Положим, он, Николай-то, может, и не увидит ребенка, Комов посоветовал Пелагее спрятать его куда-нибудь... Но все-таки было бы, пожалуй, правильнее объявить старосте и связать Николая... Связать, да и все. Покойно бы это... Жалко парня, вот какое дело. Может, он и впрямь в казаки проберется и заживет там снова человеком. Наголодался, чай, он, бедняга, наголодался... А вдруг он возьмет да чью-нибудь клеть и взломает, чтобы на дорогу себе достать чего-нибудь? Как тогда быть? Тогда уж придется Игнату Комову помалкивать про то, что он сам вора в деревню привез... А то ведь и к нему, старому приятелю, Николай-то может забраться.

И Комов несколько раз решительно вставал с лавки с целью пойти к старосте и рассказать ему про все. Но каждый раз воспоминания о старой дружбе и о покорном, грустном поведении Брагина в то время, как они ехали в деревню, — все это удерживало Игната, и он опять опускался на лавку.

Думы и боязнь осаждали его и мешали ему спать; то и дело ему казалось, что Николай ломится к нему в клеть... вот окно поскрипывает, половица дрожит... А вот шорох горящей соломы... запах дыма...

Наконец, Игнат решительно поднялся и сел на лавке. Его осенила одна мысль — он оденется и пойдет сторожить на улицу. Сторож не увидит — от него можно спрятаться, когда он будет близко. Игнат бесшумно оделся, накинул тулуп и вышел из избы на улицу. И вот уже часов пять сидит он на ветру, то приляжет на завалинке Николаевой избы, то перейдет на колодезный сруб.

Скоро будет светать, а в избе Брагина темно и тихо, и это беспокоит Игната. Пора бы шабру уходить. Комову хочется постучать в окно — может, он уснул там? Но что-то удерживает его, и, с тревогой поглядывая в небо, с любопытством в окна шабровой избы, Комов все ждет.

Но — как будто вспыхнула спичка в избе? На стеклах что-то блеснуло. Комов насторожился. Вот скрипнула дверь, и раздались шаги во дворе.

— Господи Иисусе! — перекрестился Комов. Уйти ему или проводить Николая за деревню? Лучше уж проводить и поговорить с ним по душам...

На дворе раздались безудержные всхлипывания, тяжелые вздохи, и дрожащий от рыданий голос Пелагеи говорил:

— Прощай, болезно-ой! Николи-и-то я тебя не увижу-у! На кого ты покинул деток-то? Дьяволы они лютые... десятеро виноваты, а один ты за них лишился жизни...

— Не плачь, — глухо шептал Николай. — Я те верю, устроюсь там, пришлю письмо, продавай все и поезжай... слышь? Не обманешь?

— Нико-олушка! Сейчас бы я с тобой пошла, не то што... Да разве мне легко от живого-то мужа вдовой жить? Загубленный ты мой, безвинный, горюн-то ты мой, побродяжка! Муженек ты мой разлюбезный, ты прости-прощай...

— Не реви, Палагея... услышат... вконец сгибну... Ну... прощай... ребят береги пуще глазу... жди письмо... и сразу живо собирайся... Пачпорт возьми... я, мол, в го-

род на житье... деньги вышлю... как ехать, напишу... Прощай! — И стало тихо...

У Комова сердце жгло, когда он слушал все это. Ах ты, господи, какая человеческая жизнь тяжелая! Слез-то сколько льют люди денно и ночью! Пресвятая богородица, защити и помилуй!

— Про-о-ща-ай! — застонала Пелагея и взвизгнула. Потом застучал запор у калитки и темная фигура Брагина с палкой в руке выглянула на улицу...

— Уходи... Христа ради, уйди... — сдавленным голосом сказал он и вышел на улицу.

— Это я, Николай Степаныч... не бойся... — сказал Комов, становясь рядом с ним. — Айда-ко, я тебя деревней-то провожу.

Тот пошмыгал на него и молча пошел. Он тяжело дышал, шмыгал носом и то и дело проводил по лицу рукой. Шел он быстро, и, несмотря на гул ветра, слышно было, как ноги его гулко били о мерзлую землю, точно он сердился на нее и старался топтать ее как можно тяжелее.

— Потихе, Николай Степаныч... неровен час — услышит кто, — сказал Комов.

Шли против ветра, тулуп Комова все распахивался и путался у него в ногах.

— Ты... следил, Игнат? — спросил Брагин, не глядя на спутника.

Тот закашлялся почему-то.

— То есть я дожидал тебя... чтобы проводить.

— Проводить! Больно уж ты торопишься проводить-то меня.

Комов дрогнул — в словах Николая звучала и злоба и вражда. Небо серело там, далеко впереди их, а над ними было еще все черно. Из тьмы выступали тяжелые избы и снова исчезали в ней, — точно они медленно плыли мимо шабров, молча шагавших среди дороги.

— Эх! — воскликнул Брагин. — Из-за вас, псов, жизнь мою я изломал... Вы меня, камни вы бессловесные, раздавили.

Комов глубоко вздохнул.

— За мир ты, Никола... это хорошо, ежели человек за мир пропадает... Отпущение грехов.

— За мир! — зло передразнил Брагин, взмахнув палкой. — А что мне он — мир? Застоял он меня перед судом? По правде я наказание несу? Мир... сожрал он меня, мир-то твой.

Комов молчал. Верно ведь... Правды нет в этом деле.

— Выжечь бы вас всех тут... запалить с ветра, с крайней избы... вот бы вы и согрели... души-то ваши...

«Да воскреснет бог и расточатся врази его!» — мысленно молился Игнат, ускоряя шаги. Скорее бы пройти крайнюю избу. А там поле... Али крикнуть... Нет, покуда кто прибежит — на смерть уложит Николай палкой-то.

— Коли мир, и человек тебе нужен — дорожи им... Грязь им не замашивай... А вы... все блудили, а один в ответе. За что я терплю? а?

— Николай Степаныч... Не шуми... Господня воля... терпеть тебе, а не другому.

— Молчи... езуит ты... Иуды вы все... Отзовутся вам... мои слезы... — Брагин отчаянно и громко ругался, цинично ругался, злобно, безбоязненно.

Комов дрожал. Что будет, коли услышат люди? С чего это, спросят, ты-то, Игнат, с каторжным разгуливал по деревне? И Комов клял себя беспощадно за то, что не объявил старосте...

Но вот вышли за околицу. Брагин шагал все так же стремительно, и Комов, весь трепетавший, точно в лихорадке, еле поспевал за ним. Изредка Брагин, скрипя зубами, ругался; но, наконец, замолчал, остановился и повернулся к деревне. Комов очутился сзади его, и соблазнительная, острая и горячая мысль пронизала его сердце... Тихонько нагнуться, поднять камень и оглушить Николая... Потом связать его и бежать в деревню... бить сполох...

Но Брагин обернулся... Игнат быстро взглянул ему в лицо и увидел — плачет Брагин. Стоит, смотрит на него и плачет. Комову стало стыдно чего-то...

— Никола... — дрогнувшим голосом сказал он и больше не нашел в себе никаких слов.

— Ведь двое детей... — прошептал Брагин. — Жена... хозяйство... сколько трудов положено... поту-силы пролито... за што меня погубили вы? У-уйди, Игнат, уйди

от греха! Убить я могу тебя, хотя ты и ни при чем... Я знаю... Ну — весь мир убил бы я... понимаешь? Дети ведь! Какие еще они? Кто их на ноги поднимет... Уйди, Игнат... Звери вы... все вы людоеды...

— Николай... я вот что скажу... — дрожащим голосом начал Комов, вплоть, грудь к груди, подойдя к шабру. — Ты иди... Иди и... ничего не бойся! Прости меня, Николай... Погоди... не толкай... Сядем... я тебе все расскажу...

— Отстань ты... — с тоской сказал Брагин, опять отталкивая шабра...

Но тот не отставал. Его вдруг охватило такое хорошее, горячее и легкое какое-то чувство — он сразу утратил и страх пред Николаем, и все свои думы против него. У него и в голове и в груди все вдруг стало ясно и понятно ему, — это новое чувство как бы очистило его.

— Николай, я не отстану! — он даже обе руки положил на плечи Брагина, отчего тот отшатнулся. — Бей меня — не уйду! Я тебя давеча божиться заставлял, а теперь сам тебе побожусь.

— Чего? Что мне твоя божба... — махнул рукой Николай.

— А вот что — ежели ты про детей... Николай Чудотворец порукой тебе — я за них постою! Господа-вседержителя прошу покарать меня, окаянного, коли я им не заступлю тебя! Веришь? И на сходе скажу: «Братцы-миряне! Братка-то помните? За кого он терпит! То-то! Так возместите жене... да...» Крест святой целую — сделаю это! Всегда твоему дому помогать буду и других к тому принужу... Прости меня, Николай Степаныч... я с самой встречи все думал — выдать тебя али нет? И вот... прояснило меня... Чувствую — виноват я... Прости... а?

— Ты это... как? — спросил Брагин странным голосом, наклонясь к лицу шабра. С минуту они смотрели друг на друга молча, и лица у них обоих были мокрые... А потом, как бы повинувшись внутреннему толчку, оба сразу взмахнули руками и обнялись крепким дружеским объятием. Так они стояли долго, оба всхлипывая и бормоча что-то...

— Ну, иди... свет уж, — сказал Игнат, разжимая руки, и, подняв полу тулупа, вытер им лицо...

— Так ты... верить тебе, Игнат?.. Поможешь? — взволнованно спросил Брагин.

— Пока жив я — не беспокойся... Как сказал — так и будет! — твердо выговорил Игнат...

— Ну, спаси тебя Христос! Иду я... Прощай!

Они еще раз обнялись...

И вот высокая фигура Брагина, в черном пальто и с палкой в руке, быстро зашагала по дороге, а коренастый Игнат, в тулупе, стоял и смотрел ему вслед с ясной улыбкой на широком лице и со слезинкой, запутавшейся в бороде... Ветер слабел, и тьма стала реже, видно было небо, покрытое облаками, серое и холодное на востоке...

Силуэт Брагина постепенно сливался с таявшим мраком ночи, и вот — исчез. Тогда Комов вздохнул и тихо пошел в деревню. Но вскоре он остановился и, посмотрев вслед шабру, с сожалением чмокнул языком и пробормотал:

— Денег бы ему надо дать, хоть с рубль... Ах ты, дуй те горой, а? Ведь у него, чай, совсем нет денег... И как я не сообразил?

Укоризненно качнув головой, Игнат снова двинулся в путь.

Быстро разгорался рассвет.

СВОБОДНЫЕ ДНИ

Этюд

Петр Иванович проснулся, вздохнул и тревожно протянул руку к часам, висевшим на стене, в головах у него. Но в следующий момент рука его лениво упала на постель и на лице явилась довольная улыбка, довольная и даже несколько саркастическая. Потом он сладко зевнул и потянулся под одеялом, думая о том, как девять лет бесперывной канцелярской работы крепко укоренили в нем привычку просыпаться по утрам с тревожной мыслью, что он проспал, опоздал на службу.

Вот и сегодня, несмотря на то, что он получил отпуск и может спать сколько хочет, он проснулся с этой обычной дрожью испуга, разрешавшегося обыкновенно торопливостью, раздражением на всех и вся и поспешным бегством в правление, куда он приходил всегда во-время и где пользовался репутацией аккуратнейшего человека.

Петр Иванович повернулся на бок и посмотрел на окна, залитые ярким солнцем весны. На окнах стояли горшки с цветами, а среди них помещались разные предметы, роль которых заключалась совсем не в том, чтоб служить украшением подоконников. Зачем тут бутылка с бензином и грязный медный подсвечник? А также эти коробки, остов ягрусечной лошади, китовый ус, очевидно, выданный женой из лифа и приставленный к стеклу?.. Нехорошо. Люди идут по улице и видят — экий

удивительный порядок в квартире у Сазоновых... Да, надо будет сделать жене замечание по этому поводу... В делкатной форме, конечно. Нужно, чтоб в доме было чисто и уютно, ибо дом есть место отдыха для труженика-мужа, утомляемого ежедневной работой на семью и... и т. д. Дойдя в своих мыслях до этой фразы, которую ему стало лень окончить, Петр Иванович начал потихоньку свистать сквозь зубы и думать о том, как распределит и чем займет он свой первый свободный день.

В комнатах было тихо, а со двора доносился высокий голос кухарки Дарьи, которая убедительно говорила кому-то:

— Мордовская твоя образаина, сколько разов я тебя честью, по-христиански, просила — вози раньше! Понимаешь — детей по утрам мы купам.

Петр Иванович понял, что мордовская образаина — водовоз, а Дарья ругает его за то, что он поздно привозит воду. Дарья любит порядок и довольно сносно готовит, хотя она груба, как ломовой извозчик. Это надо принять к сведению. И вообще надо заняться домом. В сущности, он совсем не знает, как идут тут дела и какой царит порядок. Ему некогда заниматься этим — с девяти часов до трех он в правлении, в четыре часа обед, после обеда часика два отдыха, в пять чай, от шести до девяти вечерние занятия, в девять к кому-нибудь на винт — так прожито целые девять лет. Были, конечно, экстравагантные события, нарушавшие эту установившуюся жизнь — роды, крестины, — это пять раз повторялось, — смерть тещи, болезнь жены, холера, смерть двоих детей, пожар у соседей, кража из чулана припасов, заготовленных к рождеству, поездка в Москву для получения наследства в количестве 729 рублей, доставшихся на долю жены после смерти ее отца. Довольно много событий для такого времени, как девять лет. Все они вводили за собой в жизнь известные волнения, утомляли, потом переживались и забывались.

И снова жизнь текла тихо и мирно. Все шло, как следует в порядочной семье, — жена любила его, Петра Ивановича, так же, как и накануне свадьбы. Разумеется, бывали ссоры, но несерьезные. Дети были здоровы и послушны, служба не обременяла и не обманывала его

скромных надежд, вознаграждение он получал вполне достаточное для содержания такой семьи, было и нечто отложенное на черный день. И постоянно занятому своей работой и своим винтом Петру Ивановичу казалось, что он стоит на крепкой почве и жизнь его идет в надлежащем порядке, как и следует идти жизни каждого приличного человека.

Сделав этот маленький смотр своей жизни, Петр Иванович стал одеваться, снова думая о том, чем бы ознаменовать первый день отпуска. Во-первых, нужно устроить обед получше, во-вторых... вечером составить у себя винтик с выпивкой. А между утром и обедом следует сводить ребятишек на прогулку. Вот это будет хорошо! Забрать их и отправиться в поле за город.

Удовлетворенный, Петр Иванович умылся и вышел в столовую, набросив на плечи серый халат, сделавший его, Петра Ивановича Сазонова, похожим на пациента городской больницы.

В столовой кипел самовар, было много солнца и какого-то вкусного запаха.

— Дарья! — позвал Петр Иванович, но никто не отозвался ему. Возвысив голос, он крикнул еще раз, — тогда послышался где-то топот детских ножек, и тонкий голос Коли, среднего сынишки, закричал:

— Дарья, иди, тебя папа зовет!

— Коля! — крикнул Петр Иванович. Коля явился; это был худенький человечек, лет шести от роду. Плечи у него были острые, грудь узенькая, лицо бледное и серые глазенки — нервные. Он остановился у стола против папы, окинул его быстрым, любопытным взглядом, потом взял молочник со стола, сунул в него нос и разочарованно вздохнул.

— Ну, что ж ты не поздравляешь меня с добрым утром? — спросил его отец.

— Сегодня не праздник, — ответил Коля, отрицательно мотнув головой. Петр Иванович понял, что хотел сказать мальчик, — дети видели его по утрам только в праздники, и вот поэтому Коля не считал себя обязанным поздравлять отца с добрым утром и в будни. Петр Иванович объяснил ему, что он неправ. Тогда Коля выдвинул еще аргумент.

— Я наказан, — сказал он, хмуря бровки.

— За что? — осведомился Петр Иванович.

— За то, что Володька отколотил меня, — сообщил Коля.

— Этого не может быть, это ты говоришь неправду...

— Нет, правду, — возразил Коля на уверенный тон отца и, схватившись ручонками за край стола, поехал под стол, скользя ногами по полу. За ним поехала со стола скатерть, прихваченная его пальцами, загремела посуда. Петр Иванович вскочил и, удерживая скатерть, громко крикнул:

— Ах ты... оставь!

Но Коля уже треснулся затылком о пол, вскочил на ноги и, обеими руками потирая голову, смотрел под стол, очевидно, соображая, как все это случилось с ним. Петр Иванович читал ему нотацию, размахивая рукой над его головой, а в дверях стояла Дарья и сочувственно кивала головой.

— Такие они озорные... — начала она, улучив момент, когда Петр Иванович сделал паузу.

— Оставь! Где барыня?

— У нижних стояльцев... Володя с Колей подрались с ихним-то мальцом, ну, барыня и пошли...

— Уходи... мне ничего не надо... — сухо прервал барин ее доклад. Дарья обиделась, повернулась, заворчала и пошла, громко шлепая по полу какой-то допотопной обувью. Петр Иванович обернулся к сыну. Тот исследовал пальцем внутренность молочника и испуганно бросил его на стол, когда отец громко крикнул:

— Колька! Кто тебе позволил?

В то же время Петр Иванович думал про себя, что жена довольно-таки плохо воспитывает детей и что нужно будет поговорить с ней по этому поводу. А Коля, растерянный и испуганный, засунул палец в рот и стал пробираться к двери.

— погоди! Иди сюда... расскажи мне, зачем ты и Володя побили Алешу? Ну? Как это вышло?

Тон отца был суров, и Коля решил, что для него гораздо лучше будет, если он разревется. Он так и сделал, опрометью бросившись вон из столовой, но наткнулся в дверях на мать, уцепился за ее платье и, кутая им свою голову, кричал благим матом.

— Ведь я уже наказала его... — недовольно сообщила мужу Варвара Васильевна, стоя в двери и глядя сына по голове.

— Позволь... — начал было Петр Иванович.

— И тебе не нужно было вмешиваться. Ведь ты не знаешь, кто прав...

— Ты неправ... я, во-первых, никого не наказывал...

— Но почему же ребенок бежит от тебя сломя голову?..

— Это уже дело твоего воспитания...

— Ах, боже мой! Какой педагог!

Она повернулась в дверях и вышла. Петр Иванович изумленно посмотрел ей вслед. Вот совершенно неожиданный диалог! Петр Иванович думал встретиться с женой честь честью, сообщить ей о планах дня и вообще, так сказать, насладиться у семейного очага. А тут вдруг такая сцена... Очевидно, жену раздражило объяснение с Зимиными по поводу этой драки. Нужно примириться. В результате этих маленьких перипетий чай Петра Ивановича остыл, а сам Петр Иванович проникся смутным чувством недовольства, и у него исчезло желание совершить прогулку с детьми.

Нужно было занять это время чем-нибудь другим. Привычка к работе сказывалась в чиновнике. Итак — чем же наполнить время до обеда? И Петр Иванович задумчиво потер лоб.

В дверь заглянула мордочка его второго сына Володи. Это был восьмилетний бутуз с толстыми щеками, всегда возбуждавший у своего отца мысль о том, почему он, первенец, такой здоровый, толстый, спокойный, а Коля — хилый, нервный. А Лиза, — так та, кажется, родилась специально для того, чтоб хворать...

— Ну, иди сюда, Волька... — ласково позвал Петр Иванович своего любимца. Тот пошел, медленно шагая и оглядывая отца несколько подозрительно... — Здравствуй... драчун. Ты зачем подрался с Алешей?

Володя ткнулся головой в грудь папы и солидно заявил:

— Он первый начал... Он толкнул Колю, а я заступился...

— Ишь ты, рыцарь какой... — одобрительно произнес Петр Иванович, но тотчас же сообразил, что говорить

так с мальчиком нельзя — это звучит как поощрение к дальнейшим дракам.

— Все-таки ты не должен был драться...

— А он бы побил Колю... и меня...

— А ты бы пошел к его маме и сказал ей, что он дерется, то есть ты должен был пойти к своей маме...

Петр Иванович несколько смешался, к которой из двух мам всего удобнее пойти в этаким случае?

— А! Вы, кажется, преподаете ребенку уроки ябеды? — раздался голос одной мамы из соседней комнаты.

Петр Иванович вздрогнул и несколько взволновался...

— Выдь, Володя...

И когда сын, любопытно оглядываясь, вышел и спрятался за дверью столовой, чтобы послушать, о чем будут говорить папа с мамой, — папа начал речь по направлению к невидимой маме:

— Матушка! Да ты сегодня совершенно невозможна.. Если ты вообще нервная женщина — так зачем же злоупотреблять-то этим свойством?

— Пожалуйста, без остроумия... Это вы изволили встать сегодня левой ногой с постели... запугали ребенка до истерики, другого учите бог знает чему и даже кухарку...

— Даже и кухарку оскорбил! Однако я порядочный изверг... если все это не игра твоего воображения...

Он старался быть сдержанным и спокойным, а это сердило жену. Она, с распущенными волосами и в белой кофте, расстегнутой на груди, явилась на пороге столовой и, презрительно посмотрев на него, заявила:

— Вы захлебываетесь злостью... Вы воображаете себя в своей канцелярии, да?

— Ва-аря! — ужаснулся Петр Иванович. Он терпеть не мог, когда его правление называли канцелярией. Его не столько сердила, сколько изумляла жена, он никогда не видал ее такой злой и нелепой. И, глядя ей в лицо, он искал успокаивающих слов, думая в то же время — что с ней? Раньше вся его домашняя жизнь шла «на скорую руку», и даже ссоры носили характер торопливости и недосуга... Но не может же быть, чтобы она дожидалась свободного времени с целью излить на него все накопленное ею недовольство и раздражение?

А она стояла в дверях и, взвинчивая сама себя, оскорбляемая его покорностью и недоумением, отраженным на его лице, — изливалась. Она несла положительно какую-то чепуху, но крайне злую чепуху. Он пытался остановить ее, успокоительно произнося:

— Варя! Послушай! Варюша... Варвара...

Но это не действовало на нее. Тогда вдруг он вскипел, вспыхнул и, вскочив со стула, ударил по столу кулаком и крикнул:

— Прошу зам...молчать!

Она вздрогнула, и лицо ее стало синим. Широко открыв глаза, она медленно произнесла:

— Да-а? Вот как? — и, многозначительно кивнув головой, исчезла.

Петр Иванович снова сел за стол. Дышалось ему тяжело, в висках стучало, и на языке вертелись грубые, оскорбительные слова. Он чувствовал, что все происшедшее в это утро в высшей степени нелепо, и в то же время понимал, что за этой нелепостью есть какая-то законность существования. Это еще более злило его.

Пришла горничная убирать посуду, и Петр Иванович отправился в сад, не желая видеть ни детей, ни жену и полный ощущения какой-то тяжелой тревоги. Там, пройдя в беседку, он сел на скамью, пытаясь восстановить пред собой лицо жены, каким оно было когда-то. Но ему не удавалось это — жена являлась пред ним такой, какова она была теперь. И — странное дело! — он не видел в ней ничего красивого, ничего интересного. Худое, нервное лицо, с большим ртом, лоб узенький, рот большой, зубы черные.

И вдруг его поразила странная мысль. Ведь он совершенно не знает ее, матери его детей! О чем она думает, чего хочет, каковы ее взгляды на детей и на все? Ему положительно не приходило в голову узнать от нее все это. Некогда все как-то было говорить об этом с ней. Вкусы ее ему известны — он знает, что она любит крепкий чай, мучное, молочное и сладкое, а мясо ест очень неохотно. Любит крепкие духи, яркие цвета... А верует она в бога? Ходит в церковь иногда, не часто, но как верует? А сам он...

И, перейдя к самому себе, Петр Иванович нашел себя, к своему крайнему изумлению, каким-то новым. Это

смutilo его. И он долго искал в себе то, что когда-то, в дни юности и университетской жизни, было в нем... Но что это было? Где это чувство? От него остались какие-то уродливые обрывки, и по ним ничего нельзя было восстановить. Он сидел, широко открыв глаза, и, думая о всем этом, в то же время чувствовал, что его как бы тянет куда-то вниз — точно он скользит, подталкиваемый тяжестью, опустившеюся ему на плечи.

Не раз мимо него пробегали дети, но, видя, что он так неподвижен, не смели зайти в беседку. Потом его звали к обеду. Он отказался. Когда горничная спросила:

— Прикажете мне накормить детей?

— А барыня?

— Оне ушли с утра еще...

— Ну хорошо...

Он чувствовал, что надо бы сдержаться и не подавать прислуге вида, что ему так не по себе, — но не мог сдерживаться. А в голове все рождались новые, странные мысли. Это было какое-то нападение на него, нападение врасплох.

— Это от непривычки к безделью, — решил он. — Надо чем-нибудь заняться.

Но ничем не занялся, а так и сидел до вечера, уныло понурив голову, осаждаемый этими новыми мыслями, точно заблокированный ими.

— Что случилось, собственно говоря? — ставил он себе вопрос и, пожимая плечами, решал его: — Ничего ровно не случилось! Поссорился с женой — экая важность!

Но этот ответ был только формальностью и ничего не исчерпывал собой. Очевидно, что что-то случилось... или должно было случиться? Поеживаясь от ощущения внутреннего холода, Петр Иванович встал, несколько раз прошелся по саду и хотел войти в дом. Но остановился у садовой калитки и не пошел, не желая видеть жены. Он решил, что ему ее надо обдумать, так сказать. В течение этих девяти лет он, в сущности, и не думал над ней.

Потом его позвали к вечернему чаю. Узнав, что барыня еще не пришла, он пошел и напился чаю с булками, а потом отправился в свою комнату, лег там на диван и стал смотреть в небо через открытое окно. В небе все было тихо и спокойно, и Петр Иванович несколько успокоился.

«Пройдет!» — подумал он сквозь дрему, охватывавшую его понемногу своими мягкими объятиями. Потом он заснул. Так дурно он провел свой первый свободный день.

На другой день Петр Иванович встал с чувством легкого недомогания, с тяжелой головой и с тоскливым ощущением в груди. В детской плакала Лиза болезненным, надрывавшим душу плачем хилого ребенка. Жена порой резко вскрикивала — очевидно, все еще не в духе и ругается с няней.

«Зачем родятся и живут больные дети?» — морща лицо, подумал Петр Иванович, и тотчас же ему стало стыдно этой мысли. Уж, конечно, не дети виноваты в том, что они маложизненны...

Идти в столовую Петру Ивановичу не хотелось. Там встретишься с женой, и она вновь, наверное, устроит сцену в возмездие за его вчерашний крик. Положительно, она вчера проявила что-то особенное, чего раньше он не замечал в ней. Нужно будет серьезно поговорить с ней. В сущности, в доме очень мало порядка — хоть бы эта бутылка с бензином в спальней на окне... Дети воспитаны плохо, — особенно Колька... Пожалуй, он, Петр Иванович, был груб вчера, но ведь это она же сама виновата. И, ободривши себя такими мыслями, Петр Иванович стал умываться. Но в умывальнике, как на грех, нехватило воды, и с лицом в мыле он начал звать горничную.

— Паша!.. Паша!..

Мыло щипало ему глаза. Снова послышался болезненный плач Лизы и раздраженный голос жены.

— Палагея, чорт возьми!

Она явилась, наконец, и, взглянув на нее одним глазом, он увидал, что лицо у нее обиженное и злое.

— Воды... вы не знаете вашего дела?

— Да разорваться мне, что ли? Там Лизонька...

— Воды, я вам сказал!

Она ушла и долго не приносила воды, а он стоял пред умывальником, строя злые гримасы, с лицом в мыле, — и, чувствуя, что он смешон, еще более злился. И когда, умытый и причесанный, он вышел в столовую, — в нем бродило глухое раздражение против всех. Оно еще более усилилось, когда он увидал, что самовар уже потух, а на столе налито.

— Палагея! — зычно крикнул он.

Но пришла жена. Лицо ее и вся фигура выражали угнетение и привычку к страданиям, не заслуженным ею. Это окончательно взорвало Петра Ивановича.

— Послушай, — скорбным и умоляющим тоном заговорила она, — укроти ты себя, ради бога!.. Лиза только что заснула, она больна, вдруг ты кричишь, как в лесу... Ведь так ты сделаешь детей уродами.

— Они уже со дня рождения уроды, потому что родились в мать... — отрезал Петр Иванович.

Варвара Васильевна зло и сухо блеснула глазами.

— Вы можете оскорблять меня, но я прошу — пощадите детей.

— Дальше-с... Продолжайте вашу комедию...

— Ты... злой дурак!..

...Минут пять Петр Иванович просидел как бы в оцепенении. «Что это творится?» — стучало у него в голове. Сквозь все зло и тоску ему все-таки было ясно, что все происходящее — совершенно бессмысленно, и он чувствовал, что ему стыдно самого себя. И в то же время ему казалось, что все это законно, что, собственно, так и следует, и его пугала эта мысль. Это, пожалуй, даже и не мысль была, а предчувствие, ощущение. Торопливо выпив свой чай, он со скукой оглянулся вокруг и решил, что лучше ему опять уйти в беседку, как это сделал он вчера. К своему неудовольствию, даже к испугу, в беседке он встретил жену. Она сидела, облокотясь о стол, плакала и вытирала лицо платком. Глаза у нее были красные, опухли, и вся она была какая-то растрепанная и жалкая. Когда он вошел в беседку, она быстро встала ему навстречу и окинула его презрительным взглядом. Он хотел посторониться и пропустить ее, но вдруг, повинувшись внезапно вспыхнувшему в нем чувству, схватил ее за руку, и глухо сказал:

— Подожди, Варвара...

Она рванулась от него, молчаливая и злая.

— Подожди же! Нам нужно поговорить серьезно... — Тон его слов был так внушительен, что она остановилась и с любопытством, плохо прикрытым деланным бесстрастием, спросила его:

— Что вы хотите?

— Сядем... — сказал он.

Она поколебалась и села за стол, он сел против нее и молчал, волнуясь и не зная, с чего начать ему разговор...

Она исподлобья следила за ним, делая вид, что не обращает на него внимания. Наконец ему показалось, что он нашел нужные слова, и вот он начал говорить:

— Так жить нельзя...

Но когда он произнес это, — он вспомнил, что уже не раз говорил ей так. И он с беспокойством взглянул на нее, думая, что она, наверное, считает его глупым за эти повторения. Но она, утвердительно кивнув головой, обиженно бросила ему:

— Конечно, нельзя...

Он легко вздохнул.

— Если и ты видишь это, — тем лучше, скорее мы пойдем друг друга. Мы люди не первой молодости... да. Нам нужно договориться... Что такое происходит у нас? Я положительно поражен... Что у тебя за настроение? откуда оно? что ты имеешь против меня? Наконец...

— Хорошо! — воскликнула она. — Хорошо! — Обратив к нему лицо с оскаленными зубами, она измеряла его фигуру враждебным взглядом. — Рассуди сам... Как я живу? Ты думал об этом? да? Нет, конечно. О женах не думают... Они возятся всю свою жизнь с няньками, с кухарками, с больными детьми, всю жизнь! Их компания — их прислуга. Я вот и живу так. Я девять лет молчала... все смотрела, что же будет дальше? Я убила здоровье. Истрепала нервы... Скажи мне, это ради чего же все? Ради того, чтоб был во-время готов тебе обед... чтоб тебе жилось спокойно... все для тебя... все ради тебя... а я? а я? Я последний год много думала... зачем же я жила и какое же удовольствие от такой жизни? Я изжилась... стала больна... стара и некрасива — ради чего? Детей? А что я... что я могу сделать для них? Они меня не слушают, тебя никогда нет дома, а когда ты дома, ты спишь или составляешь винт... Ты совсем как чужой всем... ты хозяин... а я твоя служанка, да? Ну, так я не хочу этого!

Он был оглушен потоком ее слов, отрывистых и истеричных. Она говорила, точно рыдала. Когда-то давно он

слышал все это, не от нее и в более строгом изложении. Но — откуда это у нее? Быть может, она читала книги за последнее время? Она никогда не любила читать, но со скуки, быть может, читает теперь?

Он не замечал у нее книг. А не Зими́на ли втолковала ей такие выцветшие идеи? Она, эта Зими́на, — книжница и фарисейка и в большой дружбе с женой, кажется...

— Послушай, Варя, — что ты говоришь? Точно ты девочка из этих... либеральных... Ведь и я же работаю, ведь и моя сила уходит и... вообще я не понимаю тебя! Откуда ты взяла все это? Кто тебе внушил, что я деспот и проглотил твою жизнь... ведь это же смешно! Это недостойно порядочной женщины, так рассуждать. Остается ждать, что ты предложишь развод. Какая нелепица!

— Мне это жизнь внушила, жизнь изо дня в день! — крикливо говорила Варвара Васильевна.

— Позволь! ты потише... не кричи на всю улицу. Ну, ты подумай...

— Я думала уже — благодарю.

— Да чего ж ты хочешь, наконец? — с раздражением вскричал он.

— Чего? чего? — зачастила она и вдруг умолкла. Чего она, в самом деле, хочет? Ей дурно живется, это знает каждый фибр ее существа, она утомлена возней с детьми и хозяйством, и ей очень хотелось бы пожить как-нибудь иначе, отдохнуть, отдышаться от этих затхлых буден, от однообразных и скучных дней ее существования. Но, мечтая об этом, она никогда не рисовала себе иного положения реально и практически. Как, собственно говоря, можно бы жить иначе? Ближе к мужу и дальше от развращающих душу дрызг? Какие еще формы может принять жизнь женщины? Она не знала этого. К тем богачкам, что разъезжают по улицам в колясках, бросив детей на руки бонн, — она относилась презрительно, считая их ветреницами и ставя себя выше их. А какая еще есть жизнь у женщины? Этого она не могла представить себе и не представляла ни раньше, ни теперь.

— Чего я хочу? — со слезами и злобой в голосе спрашивала она. И ей было крайне стыдно не уметь сказать мужу, чего она хочет.

— Эх, ма-атушка-а! — иронически вытянул он. — Ду-

ришь ты, вот что я тебе скажу, да! И не идет это к тебе — подумай-ка, ведь тебе тридцать пятый!

— Нет, я знаю! Знаю!

— Ну-с? Чего же?

— Свободы! Отдыха! — истерически крикнула она.

— Свобо-оды? Это какой же? Чтобы по-французски...

— Пошляк... вы пошляк!

Она исчезла. И опять Петр Иванович долго сидел, ошеломленный ее криком. Да что же это, наконец, что? Происходит какое-то крупное недоразумение, смешное, водеvilное, и в то же время тяжелое, отвратительное. Дул ветер, и деревья сада мятежно шумели, как бы в унисон настроению человека, вдруг выбитого из колеи. Петр Иванович старался разобраться в хаосе своего настроения.

«В сущности, она безусловно во всем виновата, — думал он, ища себе оплота. — Это действует бальзаковский возраст... несомненно. Она просто бесится. А я — козел отпущения, это уж постоянная роль мужей... да. Она своротила с истинного пути всякой порядочной женщины в область каких-то диких фантазий и все отбросила... дети не воспитаны, прислуга груба, в доме хаос... Например, — эта бутылка с бензином в спальней на окне! Чистое безобразие!.. Нужно думать, что все это влияние Зиминой... А вот взять да и сослать Зиминых с квартиры?»

Но он вспомнил, что с Зимиными заключен контракт и что они вообще хорошие постояльцы. Несколько минут спустя он думал уже о том, что соль события лежит где-то глубже влияния Зиминой. Потом ему стало обидно. Чего она орет о свободе и отдыхе? Разве он не нуждается в этом? Разве он до тридцати трех лет не бился, как рыба об лед, для того, чтобы устроиться, разве после женитьбы, в течение этих девяти лет, он не работал, как вол, стараясь свить прочное семейное гнездо? И свил и... что же? Остается спокойно жить и пользоваться жизнью, и воспитывать детей. А тут эти бутылки на окнах... общий беспорядок жизни, дикие фантазии, смешные жалобы, сцены, беспричинная злоба. И все это сразу, вдруг. Точно кто-то давно уже подстерегал Петра Ивановича Сазонова и вдруг выпустил на него целый вихрь разнообразных пошлостей, как бы мстя ему за что-то. «Отдыха!» Он сам давно хочет этого отдыха — ему уже сорок два года, пора!

Он достаточно работал, создал благосостояние, пожертвовал ради этой работы всей своей молодостью, затратил на нее все свои силы.

Внезапно Петра Ивановича поразила одна странная мысль. Он все устраивался, устраивал жизнь, а.. жил ли он? То есть можно ли и следует ли ему признать эти вечные заботы и труды для создания себе прочного положения и приличного состояния, — следует ли это признать за жизнь? Разве она такая, и именно в этом весь ее смысл и все удовольствия, все ее значение и цель? Неужели он только для того родился и жил, чтобы только готовиться к жизни? А ведь он, в сущности, не жил, а только все устраивался, нацеливался и работал, ужасно много работал...

Петр Иванович смущенно улыбался, глядя в сад из беседки и хрустя пальцами. Не может этого быть! Все же так живут, и нет ведь никакой иной жизни, более широкой и полной? Он не ошибся и жил как следует, как все... Но только... все работа и все стремление накопить на черный день, и теперь вот близка старость. Вся жизнь прошла в работе... это верно. Но ведь в этом и цель жизни человека? И средства и цель — конечно!

А однако это странно устроено... Жить — для чего? Чтобы работать... Работать для чего? Чтобы жить... Получается нечто совершенно правильное.

Но это нечто хотя и было совершенно правильно, однако Петр Иванович почувствовал, что от этой правильности веет холодом и тоской, тяжелой, гнетущей душу тоской. И, потом, был как будто бы какой-то просмотр с его стороны, он чувствовал, что что-то из его души он не пустил в дело, чем-то не воспользовался, заморил в себе или незаметно для себя понемножку и без толку растратил, растерял некоторое ценное, живое и светлое чувство. Смутно вспоминая свое прошлое, дни своей юности, он восстанавливал какое-то особое трепетное биение своего сердца, биение, приносившее с собой особенные мысли, чувства и слова.

Но это было так давно — с той поры прошло почти уж четверть века, и ясно Петр Иванович не мог себе представить, в чем было дело. Помнил он, что это что-то некогда было для него правдой, потом он признал, что

это детские мечты, и изгнал их из своего обихода. А потом забыл про них в работе.

И теперь он чувствовал себя не в состоянии восстановить их. А в них, очевидно, было что-то сильное и вообще хорошее, ибо хотя он и не помнил их, но ему было жалко их, и чувство грусти охватило его. Неужели в них именно был настоящий смысл жизни?

«Однако... однако! — вытирая пот со лба, думал он, возвращаясь к действительности, — это просто наводнение какое-то! точно полоса какая-то, совершенно новая полоса жизни... Что это за отрывок прошлым? Зачем?»

Сквозь ветви деревьев сада была видна стена дома, балкон, окна. Вон жена стоит у одного окна и, кажется, поливает цветы. И-да... цветы, растения, и за ними есть уход со стороны людей, и живут они просто, без ошибок, без дум, сомнений и всякой меланхолии. А человек с душой и с разумом... Но Петр Иванович не кончил параллели, чувствуя, что она не удалась ему.

А все-таки хорошо быть растением и стоять в комнате на окне. Покойно, поливают водой, следят за ростом, берегут... дают в меру света и влаги... В меру света! А что человеку — в меру его сил и его способностей дано света или не в меру?

«Господи помилуй! Ведь я же в философию ударился!» — мысленно воскликнул Петр Иванович. Он всегда терпеть не мог философии и философов, и ему было очень стыдно, когда он самого себя уличил в этом бессмысленном занятии. Он решил взять себя в руки и твердо поставить на почву действительности.

Что ему нужно сделать, и как поступить с женой? Пойти к ней и, приласкав ее, помириться с ней? Гм?.. Нет! Она зазнается очень. Не разговаривать с ней, пока она сама не заговорит? Господи! Какая это будет тоска! Нет, надо дорожить отпуском, не следует портить его, их не часто дают, отпуска-то... Как бы это устроиться?

Ба! Уехать к сестре в деревню! Конечно! Самое лучшее! А как это оглушительно подействует на жену. И еще следует сказать ей что-нибудь на прощанье, — например так:

«Вот, сударыня, я уезжаю от вас к сестре отдыхать... Да-с, отдыхать еду. Ибо в семье, которую я созда-

вал в поте лица, в продолжение десяти лет, — мне нет возможности отдохнуть! Благодарю вас — это именно вам я обязан таким милым положением!»

Решив так, он торопливо встал и спешно пошел в дом. Он спешил потому, что, несмотря на твердо принятое им решение, он боялся не выполнить его. У него в груди копошилось что-то грустное и острое, и какая-то неоформленная, тяжелая мысль вертелась в голове.

— Палагея! Принесите мой чемодан и уложите в него все что следует... Я уезжаю... — строго скомандовал он. Мимо него во всю прыть промчался Коля. В детской кашляла Лиза... Жена, должно быть, была там...

Петр Иванович постоял в коридоре, восстанавливая в уме свою речь, приготовленную для жены, и потом пошел к себе в кабинет... Там уже горничная возилась с чемоданом... Петр Иванович сказал ей, что нужно положить, и вышел в столовую. А против него в дверях гостиной стояла Варвара Васильевна с деревянным лицом.

Петр Иванович выпятил вперед грудь и сделал строгое и оскорбленное лицо.

— Вот, сударыня, — заговорил он искусственно глухим и дрожащим голосом, — я уезжаю от вас отдыхать к сестре... Ибо в семье, которую я десять лет создавал в поте лица, — мне нет возможности отдохнуть...

Жена, широко раскрыв глаза, смотрела на него, и на ее губах играла презрительная усмешка.

— Благодарю вас, ибо это именно вы гоните меня вон... — закончил Петр Иванович уже совершенно искренно.

— Вы... вам действительно нужно проветриться. Вы выживаете из ума... С богом!.. Помучайте кого-нибудь другого, кроме меня... — спокойно ответила жена и ушла...

Петр Иванович хотел что-то еще сказать ей, но махнул безнадежно рукой и вновь ушел к себе... Там, при виде Паши, таскавшей в чемодан вещи, его охватило зло и ему страшно захотелось крикнуть ей:

«Пошла вон, дура!»

Но он сдержался и стал готовиться к отъезду, полный злобы и тоски.

НАВОЖДЕНИЕ

Святочный рассказ

Фома Миронович лежал у себя в кабинете на диване и, расчесывая пальцами сивую бороду, думал, хмуро сдвинув свои густые брови. Он только что пообедал, елось ему не в охоту, за столом он сидел темнее ночи и кричал на дочерей, довел их до слез, а когда за них мать вступилась, он зверем и на нее рявкнул. А потом молча бросил ложку, грохнул стулом, ушел к себе, походил тяжелыми шагами по комнате и вот лег на диван с камнем на сердце. Лег и задумался...

«Куда жизнь идет? Чтой-то за новые порядки? Что за люди стали? Пред чем страх у них есть?»

И Фома Миронович представлял себе былое в образах и картинах, пережитых им самим. Бывало, в рождество придет семья из церкви от обедни, разденется и в полном сборе идет в горницу к отцу. Все степенные, благочестиво вззирающие на корень семьи, придут и важно так встанут у порога, с почтением и страхом пред отцом. А тысячник Мирон Васильев Мосолов, как патриарх древний, весь строгий и седой, сидит за столом в праздничном кафтане, оглядит семью суровыми очами и бровью поведет — подходи, значит, с поздравлением. И подходят по старшинству. Бывало, он, Фома, старшой в семье, всегда подходит первый — поклонится в пояс, до земли рукой достанет и скажет:

— С праздником Христовым поздравляю, тятенька!

— Спасибо! — гудит суровый бас отца. — И тебя также... Вот те шапка бобровая, — носи да береги, смотри, денег стоит. А это вот полуимпериа́л на гулянье... Да гляди у меня, Фомка! Гулять — гуляй, а ума-разума не забывай... Понял?

— Не малое дите, тятенька, понимаю...

— То-то! Ну, поздравляй мать, да садись за стол, разговляйся.

И мать — важная, степенная, вся в шелках да в штофе, — тоже дает полуимпериа́л и тоже напутствует.

Усядется за стол вся семья — сестры, братья двоюродные, что воспитывались у отца, разные близкие люди к семье, старые слуги, — отцовы тогда приказчики и челядь всякая приходят. И опять идут по старшинству на поклон к отцу, и все отходят с подарками, а которые садятся тут же за стол — этим почетом отец особые заслуги награждал...

Стол ломился от разных яств — встарину и говядина-то простая вкуснее была. Часа три сидят за столом, разговляются — браги, и меды, и разные вина дорогие пьют...

Любил покойник-батюшка попить и поесть! Разговор идет чинный, — всяк говорил, что хотел, все знали, что Мирон Васильев молчаливых людей не любит, — говори, что хошь, только не завирайся да другого не перебивай, дождись, когда человек свое слово до конца скажет, и тогда говори. И сам он никогда никого не перебивал, а дослушает до конца и — коли разумно говорил человек — похвалит.

— Не без ума сказано, да не до конца досказано... Кабы ты к твоей речи вот что еще прибавил... так совсем бы впору было!.. Поторопился ты, брат, со словами-то. Вот то-то и оно, — осторожно надо говорить слова, чтобы всю думу-то в них вложить...

А коли кто заврется — так со скамьи и срежет его отец, бывало:

— Э-эх, челове́че! Язык-то у тебя бойконько болтается, да, видно, с головой-то не знается!..

Встанут из-за стола — отец распоряжение даст:

— Ну, девки, получите от матери гостинцы и ступайте на горы. Катайтесь, играйте, а свое время знайте.

И ты, Фомка, пошел гуляй... Да чтобы у всенощной всем во-время быть! Слышали?

Распорядится и пойдет отдыхать — в ту пору визитов-то этих, дурацких, не было. А молодежь разодеется, расфуфырится, и на улицу — обновками хвастаться. А то тройку в пошевни заложат — да по городу-то ветром и полетят. А то игры разные затеют...

Просто все было — и одежда, и пища, и речи, и сами люди простые и понятные были. Был, конечно, и грех, и непослушание было, но был страх, великий был страх пред родителем в семье! Чтили родителя, воздавали ему честь, бога знали, душу люди имели и шли сквозь жизнь простыми путями, а не мудрствуя лукаво, как сказано в писании.

А теперича какая жизнь? Э-эхма!

Многообразна она стала и не дай бог как! Понимать ее старого закала человеку — сил нет.

Что творится? Неведомо! Пестрота и путаница, страху нет в людях, живут все по уму, а не по сердцу — и всяк норовит какую-то неведомую козулку согнуть из себя. Хилость одна. И в руках хилость, и в душе. А где почитание родителей, где страх пред корнем семей, где почет отцу-матери?

Сегодня, к примеру, — великий день рождества Иисуса Христа. Марья с Софьей — обедню проспали, мать во-время не разбудила. Они, говорит, слабые у нас. У заутрени-то настоялись, ну и... Слабые? Почему? Веры в бога нет. Небойсь, из фортопьяна начнут музыку выколачивать, так куда слабость девается — весь дом даже ходуном ходит. Или плясать на вечерах хватает силы, часа по четыре выплясывают... В гимназии учились, а чему выучились? Не надо бы их туда и отдавать... Однако нельзя, мода теперь такая, замуж ведь надо выходить им, так, дескать, зазорно, ежели без гимназии-то. Мало того, что Фома Мосолов по миллиону приданого может за дочерью дать. Нужно еще и гимназию. Вон они — за обедом на отца надулись, а часу времени не прошло — уж играют музыку. Вишь, как отцов-то гнев сильно действует! А мать так уж совсем в руки забрали, вроде как и не мать она им. «Ты, мамаша, не понимаешь!», «Это, теперь, папаша, не принято». Папаша,

мамаша... И слова-то какие-то уродские, не русские. Встарину не слыхано было этаких...

Ну, дочери — птицы летные, явятся женихи, дал им, по сколько просят, и — кончено! И нет дочерей, вышли из-под власти отца-матери. А вот сын Яшка, всем миллионом наследник. Когда только он стал таким? В молодости — в страхе держан был. А теперь ему за тридцать... н-да. Сюртуки носит куцые, галстуки пестрые, башмаки вместо сапог... это все ничего! Пускай, теперь уж над такими никто не смеется. Коляску на резиновых шинах завел — и это ничего... А вот что речи у него этакие... свободные, это как? Это откуда взялось?

«Нам, папаша, при нашем агромадном состоянии, необходимо-с величать нашу жизнь в курсе современности. А то оскрамиться можем-с».

«Вам, папаша, при таких больших миллионах никак невозможно оставаться в первобытности чувств. Теперь повсюду происходит развитие цивилизации-с, и потому человек, вам подобный, должен направлять себя к общей точке жизни-с, а древние привычки отрясти с себя, вроде как бы прах с ног...»

Что это за речи? Да ведь ежели бы этак-то сказать Миرونу Мосолову — кости все Яшкины в дресву истолок бы дедушка МIRON! А Яшка отцу своему все это говорит и жив остается. Слушает его отец и — молчит. Молчит, потому что Яшка парень деловой и капитал отцов приумножает ревностно. Хотя, ежели еще ему, Яшке, вожжи опустить посвободнее, — хвост он задерет и пойдет качать через оглоблю. Завертится, запьет, загуляет, пойдут шики да форсы, пойдет бахвалиться капиталом, и все, что дед да отец хребтами своими собрали, Яшка пригоршнями по ветру пустит.

И теперь у него есть к этому аппетит. В Москву ездил, купил мебели на полторы тысячи рублей...

А дед-то на скамье дубовой сидел... Картину купил, — три тысячи заплатил. Да, много дурит парень, много. На чьи деньги? За женой-то только всего сто тысяч взял... Н-да... значит, не безгрешно отцовым-то делом управляет. Ушел он... Но никакой прочной закваски нет в парне, больно уж он предан этой современности проклятой... Отца боится, но не уважает. Раньше-то не боя-

лись, раньше страх был пред родителем, но в страхе этом уважение было, почет родительскому сану...

И ждет, чай, Яшка отцовской смерти, чтоб на свободе его мощной тряхнуть... Скоро дождется, поди-ка, — шестьдесят третий год отцу. Ссунет отца в могилу и учнет пускать городу пыль в глаза... Золотую пыль. Многих ослепит он ею и дорого заплатит за дешевый почет. Почет у него и теперь уже есть — пожертвовал, с отцова благословенья, пять тысяч на какое-то училище и получил за это от города благодарность... Публично, в думе. Это хорошо... Но и то не совсем — приехал из думы и колет глаза отцу: «Вот, папаша, каков должен быть современный образ действий. Извольте видеть — пять тысяч я фукнул и получил за сие публичное одобрение. Но это еще одни пустые звуки-с, а вот что я получу еще поставку муки в интендантство, — так уж это теперь моя полная уверенность. Получу-с и вышеозначенные пять тысячей в удесятеренном размере возвращу обратно. Чувствуете? Это и есть цивилизация-с! А в ваше время-с этаких ходов в играх не было!» Врешь! Были. Встарину без мудреных слов деньгу ковали, и старая денга — чище нынешней. Проще добывалась, без бесовских ухищрений... А нынче все делается с бесом, потому простой русской голове и непонятно. Мудрят все... А чего мудрят? Не все ли равно, не того ли же ищут, что и прежде искали? Все за деньгой охотятся, только лжи больше в теперешнем деле. Ладно, мудрите! Фома Миронов Мосолов, как жил, так и помрет.

— Ну зачем же? Можно и исправить жизнь... Не поздно еще...

Фома Миронов вздрогнул и открыл глаза. На стуле перед ним сидел какой-то маленький, худой и бледный человек, с большими ласковыми глазами. Он был не молод и не стар. Безобидный такой, хилый, он очень подкупал своими глазами, — смотрели они у него так прямо, просто, сразу было видно, что это — душа-человек. Только очень уж он какой-то раздавленный был, словно он тягести больше всю жизнь носил на плечах своих.

— Вы кто такой будете? — спросил Фома Миронович, поднимая голову и доверчиво улыбаясь человеку.

— А так я... блуждающее существо.. Вы, Фома Миронович, не беспокойтесь обо мне, вы собой-то займи-

тись, — ласково говорил человек тихим и добрым голосом. — Впрочем, ежели вам очень уж интересно знать про меня, так я вам скажу вот что: видите ли, у каждого человека в жизни этакий роковой час бывает, — час, в который колебание испытывает душа человеческая... Мысли сердца есть у человека, этакие особенные мысли, самые настоящие, человеческие... Так они, обыкновенно, подавлены бывают до времени, и вдруг все вместе соберутся да и отряхнут грязь-то жизни с души. Душа тут и восколебается. Вроде как бы назад она начинает оглядываться на пройденный путь жизни.

— Верно! Это, брат, бывает! — воскликнул Фома Миронович и сел на диван.

— Так вот, в такой час оглядки назад я и являюсь к человеку для того, чтобы помочь ему в мыслях-то разобратся, — тихо объяснял человек.

— Это ты, брат, хорошо! Занятие у тебя — божеское! Ну, и дорого ты берешь за это? Али кто что даст?

Человек тихо засмеялся.

— Не приемлю я, Фома, мзды за помощь мою!

— Обет, видно?

— И не обет, Фома... Бросим это, не тут узел дела...

— Мне, видишь ты, больно любопытно, почему ты узнал, что я в тебе нуждаюсь?

А человек опять засмеялся.

— А так уж... Чутье у меня есть этакое, чуть только душу человека мгла дум, несвычных ей, обымет — сейчас я и иду к нему на помощь.

— Та-ак! Ну, и что же ты мне скажешь? — осведомился Фома Миронов.

— А это ты, Фома, послушай серьезно... Про сына Якова думал ты тут... Ждет, дескать, сын смерти моей и хочет огромные капиталы мои в руки себе забрать. Не ошибся ты, думает это Яков...

— Думает, зверь? — крикнул гневно купец Мосолов.

— Думает, — печально качнул головой старик. — Плохой он человек у тебя. На готовый он хлеб родился, и сам по себе не большой делец. Работает он, пока ты жив, помрешь — другие будут за него работать, наемники, а он, Яков, только жить будет. Жить и ту деньги, которую ты всю жизнь денно и ночью ковал без усталости,

сорить будет по земле, без толку, без пользы. Деньга должна быть со смыслом посеяна, тогда она может не только богатый — святой урожай дать.

— Ой ли? Святой — говоришь? Это, значит, ежели ее на церкви отдать? — спросил Фома Миронович.

— Погоди, не перебивай речи. Сообрази ты теперь, как ты, Фома, жизнь прожил? Почету у тебя в городе нет, а ежели иные и кланяются тебе издали, это от страха пред тобой, потому ты за неуважение разорить человека можешь. Никто тебя, Фома, не любит...

— Я, брат, все это знаю. Я сам никого не люблю... — угрюмо сказал Фома Миронов, — что мне люди? Бог мой судья, а не они... Они сами все подсудимые... да и судить им меня недоступно...

— А судят ведь, Фома, — печально качнул головой человек.

— Ну и пусть их... Они судят, а господь бог рас-судит...

— Судят, говорю. Строго. Фома Мосолов, говорят, не-праведным путем миллионы нажил. Через слезы, говорят, человеческий и трудовой пот деньги в его сундуки текли. Пахнут-де они грехом...

— Ишь ты, мудрые какие! — засмеялся Фома Миронов с горечью... — Пахнут! Откуда они знают, чем мои деньги пахнут? Я никому их не давал нюхать... Грехом, слышь, пахнут. А чьи пахнут иначе-то?

— Накопил, говорят, Фома, неправедных-то денег да и не знает, по темноте ума своего, что с ними делать. Дрожит, дескать, над ними денно и ночью и даже сосчитать их не может, и на это ума у него нет. Совсем, дескать, Фома-то Мосолов, при всех его миллионах, жалости достойный человек, жизнь у него от большого богатства беспокойная, тесная жизнь, прожил он ее в темноте, ничего не зная, ничего не видя, людям он не помогал много, люди его не любят. И говорят еще, что Фома-де Мосолов скоро помрет, а сын-то деньги по ветру раз-вееет, и пропадут ни за грош все труды Фомы и отца его, великие труды пропадут безо всякой пользы, никакого, дескать, памятника в жизни по Фоме не останется. И жалеют они тебя презрительно — экий он, дескать, несчастный и жалкий человек!

— Вр-решь! Вр-рут! — гаркнул Фома Мосолов во всю грудь и вскочил с дивана, весь дрожащий и бледный от гнева. Вскочил, наклонился над печальным человеком и грозно, как зверь разъяренный, зарычал ему: — Иди, скажи им — врут! Я не несчастный, не жалкий... Я их... купить всех могу!..

— А еще-то что, Фома? — перебил его спокойно печальный человек.

— А еще?.. А еще?.. Отомщу!

— А как же ты, Фома, отомстишь?..

— Как? Сумею!.. Возьму да и сожгу публично все свои деньги — пусть завидуют!

— Тогда скажут про тебя — с ума-де сошел миллионщик Мосолов. И опять презрительно пожалеют.

Фома Миронович грузно сел на диван и в упор уставился на своего собеседника. А тот тоже не сводил с него своих грустных и ласковых глаз. Долго они молчали, сидя так, и чувствовал Фома Мосолов, что оставляет его гордость его и что в самом деле, пожалуй, он, миллионщик, несчастный и жалкий человек.

— Слушай-ка ты... кто ты там? Чорт ты не чорт, а и не ангел, — глухо заговорил Мосолов. — Знаешь ты, что ли, чего надо делать-то мне перед смертью? Знаешь, так говори...

— Как не знать! Для совета я и пришел к тебе, — ласково улыбнулся печальный человечек.

— Ну и советуй... Ну сразу, не мучь, не тяни души...

— Отомстить надо, Фома, это ты верно...

— Да как?!

— А просто. Сначала прошлому своему отомсти, бесполезной твоей трудовой жизни оправдание дай. Не оправдана ведь жизнь-то у тебя. Жил ты, а для чего? Смыслу-то и нету в жизни. Трудился много — а зачем? Али ради денег? Да их куда? В могилу их с покойниками не кладут.

— Не тяни, Христа ради! — глухо попросил Фома Миронов.

— Так вот, возьми ты твои миллионы и строй на них училища, гимназии, богадельни, для думы выстрой дом, еще чего-нибудь сотвори из того, что городу нужно...

— Ишь ты как! А не жирно это будет? — криво усмехнулся Фома Миронов.

— ...И останутся все эти дома на века, и будут они тебе, Фома, неразрушимыми памятниками. И всяк уж человек будет знать, Фома, для чего ты жил и деньги копил. Стоит каменный домик — кто строил? Покойник Фома Миронов Мосолов, царствие ему небесное! Все, что есть в городе хорошего, — его памятники. Великодушный это был человек — целую жизнь трудился, а под конец ее, по Христову завету, все свое достояние людям отдал...

— Н-да... это, пожалуй, оправдает... — задумчиво сказал Фома Миронов.

— Это перед господом оправдает тебя, не токмо пред людьми. А людям ты тоже отомсти...

— Пес с ними! — махнул рукой Мосолов и брезгливо поджал губы.

— Нет, ты потешь себя, а их поучи, — серьезно сказал печальный человек.

— А как еще это?

— А вот как: как одаришь ты их, явятся они тебя за твои дела благодарить, тогда ты им и скажи: «Что надо вам от меня? Ничего вы от меня не ждали, и я от вас ничего не жду — идите прочь!..»

— Вот — так ты! — изумленно воскликнул Фома Миронов, — как ты подвел мину-то! То-онко! Да они что тогда? В кольца от злобы совьются! Это я, брат ты мой, устрою! Это вот миллионов стоит! Это...

— И еще скажи им так: «Судили вы меня, поносили, — а сами вы суда и поношения не достойны, что ли? Кто вы? Люди. А я кто? Человек. Как же вы, прежде конца моей жизни, решились чинить суд надо мной? А вот я пред смертью махнул рукой и оправдал всю жизнь мою. И каждый из вас может сделать это. Поспешили вы с судом, а не надо бы, не надо бы, господа люди, спешить вам судить друг друга. Все ведь вы грешны, не забывайте. И вот пришли вы благодарить осужденного... Но идите вон — не хочу я слышать от вас даже и слов благодарности!»

— Слушай, ты! Кто ты... эх! Я сделаю это! Я дворцы построю... до гроша истрачусь, по милостыню пойду! Слушай — мы оба с тобой...

Печальный человечек печально смеялся, слушая возбужденные крики Фомы Мироновича.

— Человек... как тебя звать? Я говорю — все миллионы мои посею... вавилонскую башню сгрохаю! И скажу им твои слова... Скажу! А-ах, как я им это скажу!

А человек вдруг стал умиляться, таять, исчезать... вот только одни печальные глаза его остались... вот они вспыхнули последний раз ласковой улыбкой и погасли...

— Стой! Куда ты? Кто ты? — крикнул Фома Миронович...

...И проснулся весь в поту. Стул стоял пред диваном, Фома Миронович дрожащей рукой пощупал его зачем-то. Потом снова вытянулся на диване и задумался, хмуря брови... А через долгое время он сказал вполголоса:

— А что, если... ахнуть этак-то? а? Тьфу, навождение! И снова глубоко задумался...

БАЛЛАДА
О ГРАФИНЕ ЭЛЛЕН ДЕ КУРСИ,
*украшенная различными сентенциями, среди
которых есть весьма забавные*

Известно ли Вам, о мой друг, что в Бретани
Нет лучше — хоть камни спроси! —
Нет лучше средь божьих созданий
Графини Эллен де Курси?

Все, что творится в мире,
Мы видеть и слышать должны,
Для этого нам добрым богом
Глаза и уши даны.

Из замка она выплывает, как лебедь,
К подъемному мосту идет.
Солнце смеется в небе.
Нищий стоит у ворот.

Но если случится — излишне
Остер и зорек глаз,
Тогда это значит — всевышний
Хочет помучить нас.

Влюбленные очи поднять не дерзая,
За ней юный паж по следам,
А также собака борзая,
Любимица доброй madame.

Мы знаем — не редко собака
Любимого друга честней,
И приятно любить собаку —
Никто не ревнует к ней!

Скажу Вам, что нищий был молод и строен
И — был он слеп, как поэт.
Но — разве слепой не достоин
Внимания дамы, — нет?

Слепой завидует зрячим.
О, если б он знал, сколько мы
В душе нашей тайно прячем
Тяжелой и страшной тьмы!

Вздригнуло сердце графини, в котором
Любовь обитала всегда.
Бретонка окинула нищего взором:
«Достоин внимания, да!»

У всех есть мысли сердца,
У льва, у тебя, у змеи.
Но — кто эти мысли знает?
И — знаешь ли ты свои?

И вот говорит она нищему: — «Слушай!
«С тобою — графиня Эллен.
«Мне жаль твою темную душу.
«Чем я облегчу ее плен?»

Когда ты почувствуешь в сердце
Избыток меда или яда,
Отдай его ближним скорее —
Зачем тебе лишнее надо?

— «Madame!» — отвечает ей нищий покорно, —
«Моя дорогая madame!
«Все дни моей жизни черной
«За Ваш поцелуй я отдам!»

О правде красивой тоскуя,
Так жадно душой ее ждешь,

Что любишь безумно, как правду,
Тобой же рожденную ложь.

— «Мой маленький, ты отвернись немного!» —
Сказала графиня пажу. —
«Для славы доброго бога
«Я скромность мою не щажу!»

Как всё — и женщина тоже
Игрушка в божьих руках!
Подумаем лучше о детях,
О ласточках, о мотыльках.

Слепой обнимает стан гордой графини,
Устами прижался к устам,
Туманится взор ее синий,
Сгибается тонкий стан.

Друзья! Да здравствует счастье!
Что ж, — пусть его жизнь — только миг!
Но мудрости в счастье больше,
Чем в сотне толстых книг.

Тут гордость графини вдруг страсть одолела.
Румяней вечерней зари,
Бретонка пажу повелела:
— «Этьен, о, дитя, не смотри!»

Враги наши — чорт и случай —
Всегда побеждают нас,
И как ты себя ни мучай —
Греха неизбежен час!

Потом, поднимаясь с земли утомленно,
— «Убей!» — приказала пажу.
И радостно мальчик влюбленный
Дал волю руке и ножу.

Кто пьет из единой чаши
Любовь и ревность вместе, —
Тот неизбежно выпьет
Красный напиток мести.

Вот, влажные губы платком отирая,
Графиня сказала Христу:
— «Тебе, повелитель рая,
«Дала я мою чистоту!»

О том, куда ветер дует,
Нам честно былинка скажет;
Но то, что женщина хочет, —
Сам бог не знает даже!

А мальчика нежно и кротко спросила:
— «Не правда ли, как я добра?
«О чем же ты плачешь, милый?
«Идем, нам домой пора!»

Любовь возникает, как пламя,
И мы, сгорая в нем,
Чудесно становимся сами
Прекрасным и ярким огнем.

Он ей не ответил, он только беретом
Смахнул капли слез со щек,
Но тяжкого вздоха при этом
Этьен удержать не мог.

Мы щедро жизнь одаряем!
Ведь каждый в нее принес
Немножко веселого смеха
И полное сердце слез.

Нахмурила черные брови бретонка
И, злые сдержав слова,
Сбросила с моста ребенка
В зеленую воду рва.

Если мы строго осудим
Всех, кто достоин кары, —
Мы счастливей не будем,
Но — опустеет мир старый!

И вновь свои гордые, синие очи
Эллен в небеса подняла.

— «Будь мне судьбою, отче,
«Будь добр, как я была!»

Мы знаем: грехи красоток —
Не больше, как милые шутки.
А бог — так добр и кроток,
А он такой мягкий и чуткий!

Ночью графиня, позвав аббата,
Рассказала грехи свои,
И были с души ее сняты
Грехи за пятнадцать луи.

Все, что творится в мире,
Мы видеть и слышать должны,
Для этого нам добрым богом
Глаза и уши даны.

Все это для мира осталось бы тайной,
Не знал бы об этом свет,
Но — в лепту попало случайно
Девять фальшивых монет.

Но если бывает — излишне
Остер и зорек глаз,
Тогда это значит — всевышний
Хочет помучить нас.

И вот, раздавая их бедным вилланам,
Монах позлословить рад —
Нескромность его и дала нам
Одну из прекрасных баллад.

Мучительны сердца скорби,
И часто помочь ему нечем, —
Тогда мы забавной шуткой
Боль сердца успешно лечим!

ВАРЕНЬКА ОЛЕСОВА

I

...Через несколько дней после назначения приват-доцентом в один из провинциальных университетов Ипполит Сергеевич Полканов получил телеграмму от сестры из ее имения в далеком лесном уезде, на Волге.

Телеграмма кратко сообщала:

«Муж умер, ради бога немедленно приезжай помочь мне. Елизавета».

Этот тревожный призыв неприятно взволновал Ипполита Сергеевича, нарушая его намерения и настроение. Он уже решил уехать на лето в деревню к одному из товарищей и работать там, чтобы с честью подготовиться к лекциям, а теперь нужно ехать за тысячу с лишком верст от Петербурга и от места назначения, чтоб утешать женщину, потерявшую мужа, с которым, судя по ее же письмам, ей жилось не сладко.

Последний раз он видел сестру года четыре тому назад, переписывался с нею редко, между ними давно уже установились те чисто формальные отношения, которые так обычны между двумя родственниками, разведенными расстоянием и несходством жизненных интересов. Телеграмма вызвала у него воспоминание о муже сестры. Это был добродушный человек, любивший выпить и покушать. Лицо у него круглое, покрытое сетью красных жилок, глазки веселые, маленькие; он плутовато прищуривал левый и, сладко улыбаясь, пел на сквернейшем французском языке:

Ипполиту Сергеевичу было как-то неловко верить, что этот веселый малый умер, потому что люди пошлые обыкновенно долго живут.

Сестра относилась к слабостям этого человека с полупрезрительным снисхождением; как женщина неглупая, она понимала, что «в камень стрелять — только стрелы терять». Едва ли ее сильно огорчила смерть мужа.

Но отказать ей в просьбе было бы неудобно. Работать можно и у нее не хуже, чем где-нибудь...

Ипполит Сергеевич решил ехать, и недели через две, теплым июньским вечером, утомленный сорокаверстным путешествием на лошадях от пристани до деревни, он сидел за столом против сестры на террасе, выходявшей в парк, и пил вкусный чай.

У перил террасы пышно разрослись кусты сирени, акаций; косые лучи солнца, пробиваясь сквозь их листву, дрожали в воздухе тонкими золотыми лентами. Узорчатые тени лежали на столе, тесно уставленном деревенскими яствами; воздух был полон запахом липы, сирени и влажной, согретой солнцем земли. В парке шумно щебетали птицы, иногда на террасу влетала пчела или оса и озабоченно жужжала, кружась над столом. Елизавета Сергеевна брала в руки салфетку и, досадливо размахивая ею в воздухе, изгоняла пчел и ос.

Полканов уже успел заметить, что сестра — как он и думал — не особенно огорчена смертью мужа, что она смотрит на него, брата, испытующе и, говоря с ним, что-то скрывает от него. Он ожидал увидеть ее нервной, бледной, утомленной. Но теперь, глядя на ее овальное лицо, покрытое здоровым загаром, спокойное, уверенное и оживленное умным блеском светлых глаз, он чувствовал, что приятно ошибся, и, следя за ее речами, старался подслушать и понять в них то, о чем она молчала.

— Я была подготовлена к этому, — говорила она спокойным контральто, и ее голос красиво вибрировал на верхних нотах. — После второго удара он почти каждый день жаловался на колотья в сердце, перебои,

¹ Смотрите здесь, смотрите там... *Ред.*

бессонницу... Говорят, он там очень волновался, кричал... накануне он ездил в гости к Олесову — тут есть один помещик, полковник в отставке, пьяница и циник, разбитый подагрой. Кстати, у него есть дочь, — вот сокровище, я тебе скажу!.. Ты познакомишься с ней...

— Если нельзя избежать этого, — вставил Ипполит Сергеевич, с улыбкой взглянув на сестру.

— Нельзя! Она часто бывает здесь, а теперь, конечно, будет еще чаще, — ответила она ему улыбкой же.

— Ищет жениха? Я не гожусь для этой роли.

Сестра пристально посмотрела в его лицо, овальное, худое, с острой черной бородкой и высоким белым лбом.

— Почему же не годишься? Я, конечно, говорю вообще, без мысли об этой Олесовой — ты поймешь почему, когда увидишь ее — но ведь ты думаешь же о женитьбе?..

— Пока еще нет, — кратко ответил он, подняв от стакана свои глаза, светлосерые с сухим блеском.

— Да, — задумчиво сказала Елизавета Сергеевна, — в тридцать лет делать этот шаг для мужчины и поздно и рано...

Ему нравилось, что она перестала говорить о смерти мужа, но — зачем же, однако, она так пугливо позвала его к себе?

— Нужно жениться в двадцать лет или в сорок, — задумчиво говорила она, — так меньше риска обмануться самому и обмануть другого человека... а если и обманешь, то в первом случае платишь ему за это свежестью своего чувства, во втором же... хотя бы внешним положением, которое почти всегда солидно у мужчины в сорок лет.

Ему казалось, что она говорит это больше для себя, чем для него, он молчал, откинувшись в кресло, глубоко вдыхая ароматный воздух.

— Так я говорила — накануне он был у Олесова и, конечно, пил там. Ну и вот... — Елизавета Сергеевна печально тряхнула головой. — Теперь я... осталась одна... хотя я уже с третьего года жизни с ним почувствовала себя внутренне одинокой. Но теперь такое странное положение! Мне двадцать восемь лет, я не жила, а состояла при муже и детях... дети умерли. Что я теперь? Что мне делать и как жить? Я продала бы это имение и посхала за границу, но его брат претендует на наследство,

возможен процесс. Я не хочу уступать своего без законных к тому оснований и не вижу их в претензии его брата. Как ты об этом думаешь?

— Ты знаешь, я не юрист, — усмехнулся Ипполит Сергеевич. — Но ты расскажи мне все это... посмотрим. Этот брат — он писал тебе?

— Да... и довольно грубо. Он — жуир, разоренный, сильно опустившийся... муж не любил его, хотя в них много общего.

— Посмотрим! — сказал Ипполит Сергеевич и довольно потер руки. Ему было приятно узнать, зачем он нужен сестре, — он не любил ничего неясного и неопределенного. Он заботился прежде всего о сохранении внутреннего равновесия, и, если нечто неясное нарушало это равновесие, — в душе его поднималось смутное беспокойство и раздражение, тревожно побуждавшее его поскорее объяснить это непонятное, уложить его в рамки своего миропонимания.

— Говоря откровенно, — тихо и не глядя на брата объяснила Елизавета Сергеевна, — меня испугала эта нелепая претензия. Я так утомлена, Ипполит, так хочу отдохнуть, а тут опять что-то начинается.

Она тяжело вздохнула и, взяв его стакан, продолжала унылым голосом, неприятно щекотавшим нервы ее брата:

— Восемь лет жизни с таким человеком, как покойный муж, мне кажется, дают право на отдых. Другая на моем месте — женщина с менее развитым чувством долга и порядочности — давно бы порвала эту тяжелую цепь, а я несла ее, хотя изнемогала под ее тяжестью. А смерть детей... ах, Ипполит, если бы ты знал, что я переживала, теряя их!

Он смотрел в лицо ей с выражением сочувствия, но ее жалобы не трогали его души. Ему не нравился ее язык, какой-то книжный, несвойственный человеку, глубоко чувствующему, а светлые глаза ее странно бежали из стороны в сторону, редко останавливаясь на чем-либо. Жесты у нее были мягкие, осторожные, и от всей ее стройной фигуры веяло внутренним холодом.

На перила террасы села какая-то веселая птичка, прыгала по ним и упорхнула. Брат и сестра, проводив ее глазами, несколько секунд молчали.

— Бывает у тебя кто-нибудь? Читаешь ты? — спросил брат, закуривая папиросу и думая о том, как хорошо было бы в этот славный тихий вечер молчать, сидя в покойном кресле тут на террасе, слушая тихий шелест листвы и ожидая ночь, которая придет, погасит звуки и зажжет звезды.

— Бывает Варенька, потом изредка заезжает Банарцева... помнишь ее? Людмила Васильевна... она тоже плохо живет со своим супругом... но она умеет не обижать себя. У мужа много бывало мужчин, но интересных — ни одного! Положительно, не с кем словом перекинуться..., хозяйство, охота, земские дразги, сплетни — вот и все, о чем они говорят... Впрочем, один есть..., кандидат на судебные должности Бенковский..., молодой и очень образованный. Ты помнишь Бенковских? Подожди! Кажется, едет.

— Кто едет, этот Бенковский? — спросил Ипполит Сергеевич.

Его вопрос почему-то рассмешил сестру; смеясь, она встала со стула и сказала каким-то новым голосом:

— Варенька!

— А!

— Посмотрим, что ты о ней скажешь... Здесь она всех победила. Но какой же это урод с духовной стороны! А впрочем — вот сам увидишь!

— Не хотел бы, — равнодушно заявил он, потягиваясь в своем кресле.

— Я сейчас вернусь, — сказала Елизавета Сергеевна, уходя из комнаты.

— А она без тебя явится, — обеспокоился он. — Не уходи, пожалуйста, лучше я уйду!

— Да я сейчас же! — крикнула ему сестра из комнат.

Он поморщился и остался в своем кресле, глядя в парк. Откуда-то доносился быстрый топот лошади и шорох колес о землю.

Перед глазами Полканова стояли ряды старых корявых лип, окутанные сумраком вечера. Их ветви переплелись друг с другом, образовали сверху густой навес пахучей зелени, и все они, дряхлые от времени, с потрескавшейся корой, с обломанными сучьями, казались живой и дружной семьей существ, тесно сплоченных стремлением вверх к свету. Но кора их стволов была сплошь покрыта желтым

налетом плесени, у корней густо разросся молодятник, и от этого на старых мощных деревьях было много засохших ветвей, висевших в воздухе безжизненными скелетами.

Ипполит Сергеевич смотрел на них и чувствовал желание уснуть тут в кресле, под дыханием старого парка.

Между стволов и ветвей просвечивали багровые пятна горизонта, и на его ярком фоне деревья казались еще более мрачными, истощенными. По аллее, уходившей от террасы в сумрачную даль, медленно двигались густые тени, и с каждой минутой росла тишина, навевая какие-то смутные фантазии. Воображение, поддаваясь чарам вечера, рисовало из теней силуэт одной знакомой женщины и его самого рядом с ней. Они молча шли вдоль по аллее туда, вдаль, она прижималась к нему, и он чувствовал теплоту ее тела.

— Здравствуйте! — раздался густой грудной голос.

Он вскочил на ноги и оглянулся, немного смущенный.

Пред ним стояла девушка среднего роста в сером платье, на голове у нее было накинуто что-то белое и воздушное, как фата невесты, — это все, что он заметил в первое мгновение.

Она протягивала ему руку, спрашивая:

— Ипполит Сергеевич, да? Олесова... Я уже знала, что вы приедете сегодня, и явилась посмотреть, какой вы. Никогда не видала ученых и... не знала, что они могут быть такие.

Его руку крепко пожимала сильная и горячая маленькая ручка, а он, немного растерявшись под этим натиском, молча кланялся ей, сердился на себя за свое смущение и думал, что, когда он взглянет ей в лицо, то на нем увидит откровенное и грубое кокетство. Но, взглянув, он увидел большие, темные глаза, они простодушно и ласково улыбались, освещая красивое лицо. Ипполит Сергеевич вспомнил, что такое же лицо, гордое здоровой красотой, он видел на одной старой итальянской картине. Такой же маленький рот с пышными губками, такой же лоб, выпуклый и высокий, и огромные глаза под ним.

— Позвольте... я скажу, чтоб дали огня... пожалуйста, садитесь, — попросил он ее.

— Да вы не беспокойтесь, я ведь здесь как дома, — сказала она, садясь в его кресло.

Он стоял у стола и молча смотрел на нее, зная, что это неловко и что ему нужно говорить. Но она, не смущаясь под его пристальным взглядом, сама спрашивала его, как он доехал, нравится ли ему деревня, долго ли он тут проживет; он односложно отвечал ей, точно оглушенный ударом; ум его, всегда ясный, теперь смутился перед силой внезапно и хаотически взволнованных чувств. Восхищение пред ней боролось с раздражением на себя и любопытство — с чем-то близким к боязни. Цветущая здоровьем девушка сидела против него, откинувшись на спинку кресла, плотно обтянутая материей костюма, позволявшего видеть пышные формы ее плеч и груди, и звучным голосом, полным властных нот, говорила ему пустяки, обычные при первой встрече незнакомых людей. Ее темно-каштановые волосы красиво вились, брови были темнее волос. На смуглой шее около розового, прозрачного уха трепетала кожа, обнаруживая быстрое движение крови в ее жилах, на подбородке являлась ямка всякий раз, когда улыбка открывала ее белые мелкие зубы, и от каждой складки ее платья веяло раздражающим соблазном. Было нечто хищное в мелких зубах, блестящих из-за сочных губ, а ее поза, полная непринужденной прелести, напоминала о грации избалованных кошек.

Полканову казалось, что он раздвоился: одна половина его существа поглощена этой чувственной красотой и рабски созерцает ее, другая механически отмечает состояние первой. Он отвечал на вопросы девушки и сам о чем-то спрашивал ее, будучи не в состоянии оторвать глаз от ее соблазнительной фигуры. Он уже назвал ее про себя «роскошной самкой» и внутренне усмехнулся над собой, но это не уничтожило его раздвоения.

На террасе появилась его сестра, говоря:

— Скажите, какая ловкая! Я ее ищу там, а она уже...

— Я обошла парком.

— Познакомились?

— О, да! Я думала, что Ипполит Сергеевич по крайней мере лысый!

— Налить тебе чаю?

— Пожалуй, налей.

Ипполит Сергеевич отошел в сторону от них и стал у лестницы, спускавшейся в парк. Он провел рукой по

лицу и потом пальцами по глазам, точно стирал пыль с лица и глаз. Ему стало стыдно перед собой за то, что он поддался взрыву чувства, стыд уступил место раздражению против девушки. Он назвал про себя сцену с ней казачьей атакой на жениха, и ему захотелось заявить ей о себе как о человеке, равнодушном к ее вызывающей красоте.

— Я ночью у тебя и завтра пробуду весь день... — говорила она его сестре.

— А как же Василий Степанович? — удивленно спросила сестра.

— У нас гостит тетя Лучицкая... Ты знаешь, папа очень любит ее...

— Извините меня, — сказал Полканов, — я очень утомлен и пойду отдохну...

Он поклонился и пошел, а вслед ему раздалось одобрителное восклицание Вареньки:

— Вам давно следовало это сделать!

В тоне ее восклицания он услышал только добродушие, но определил его как заискивающее, фальшивое.

Для него была приготовлена комната, служившая кабинетом мужу сестры. Среди нее стоял тяжелый и неуклюжий письменный стол, перед ним дубовое кресло, у одной из стен, почти во всю длину ее, развалился широкий турецкий диван, у другой — фисгармония и два шкапа с книгами. Несколько мягких стульев, курительный столик у дивана и шахматный у окна дополняли меблировку комнаты. Потолок был низок и закопчен, со стен смотрели темные пятна каких-то картин и гравюр в грубых золоченых рамках — все было тяжело, старо и издавало неприятный запах.

На столе стояла большая лампа под голубым колпаком, и свет от нее падал на пол.

Ипполит Сергеевич остановился на границе этого светлого круга, испытывая неприятное чувство смутной тревоги, глядя на окна комнаты. Их было два; за ними в сумраке вечера рисовались темные силуэты деревьев. Он подошел и растворил окна. Тогда комната наполнилась запахом цветущей липы и вместе с ним влетел веселый взрыв здорового грудного смеха.

На диване ему приготовлена была постель, она занимала немного больше половины дивана. Он посмотрел

на нее и стал развязывать галстук, но потом резким движением толкнул кресло к окну и сел, нахмурившись.

Ощущение непонятной тревоги смущало и раздражало его. Чувство недовольства собой редко являлось в нем, но и являясь, никогда не охватывало его сильно и надолго — он умел быстро справляться с ним. Он был уверен, что человек должен понимать свои эмоции и развивать или уничтожать их, и, когда при нем говорили о таинственной сложности психической жизни человека, он, иронически усмехаясь, называл такие суждения «метафизикой».

Он спрашивал себя: неужели встреча с этой здоровой и красивой девушкой — должно быть, очень чувственной и глупой, — неужели эта встреча могла так странно повлиять на него? И, тщательно просмотрев порядок впечатлений этого дня, он должен был ответить утвердительно. Да, это так, потому что она застала врасплох его ум, потому что он сильно утомлен путешествием и находился в непривычном ему настроении мечтательности в момент ее появления пред ним.

Его несколько успокоило это размышление, и тотчас же она явилась пред его глазами в своей пышной красоте. Он созерцал ее, закрыв глаза и нервно вдыхая дым своей папиросы, но, созерцая, критиковал.

«В сущности она, — думал он, — вульгарна: слишком много крови и мускулов, мало нервов. Ее наивное лицо неинтеллигентно, а гордость, сверкающая в открытом взгляде ее глубоких темных глаз, — это гордость женщины, убежденной в своей красоте и избалованной поклонением мужчин. Сестра говорила, что эта Варенька всех побеждает. Конечно, она попытается победить и его. Но он приехал сюда работать, а не шалить, и она скоро поймет это».

«А не много ли я думаю о ней для первой встречи?» — мелькнуло у него в голове.

Диск луны, огромный, кроваво-красный, поднимался за деревьями парка; он смотрел, как глаз чудовища. Неясные звуки носились в воздухе, долетая со стороны деревни. Под окном в траве порой раздавался шорох: должно быть, крот или еж шли на охоту. Где-то пел соловей. И луна так медленно поднималась на небо, точно роковая необходимость ее движения была понятна ей и утомляла ее.

Выбросив за окно угасшую папиросу, Полканов встал, разделся и погасил лампу. Тогда в комнату из сада хлынула тьма, деревья подвинулись к окнам, точно желая заглянуть в них, на пол легли две полосы лунного света, слабого и мутного.

Пружины дивана пискливо скрипнули, и, охваченный приятной свежестью полотняного белья, Полканов вытянулся и замер, лежа на спине. Скоро он уже дремал и слышал под окном у себя чьи-то осторожные шаги и густой шопот:

— Ма-арья... Ты тут?

Улыбаясь, он заснул.

Утром, проснувшись в ярком сиянии солнца, наполнявшем комнату, он тоже улыбался, вспоминая о девушке. К чаю он явился тщательно одетый, сухой и серьезный, как и подобало ученому; но когда он увидел, что за столом сидит одна сестра, у него невольно вырвалось:

— А где же...

Лукавая улыбка сестры остановила его раньше, чем он окончил свой вопрос, и он, замолчав, сел к столу. Елизавета Сергеевна подробно осмотрела его костюм, не переставая улыбаться. Его злила эта улыбка.

— Она давно уже встала, мы с ней ходили купаться, а теперь она, наверное, в парке и должна скоро явиться, — объясняла Елизавета Сергеевна.

— Как ты подробно, — усмехнулся он. — Пожалуй-ста, — вели сейчас же после чая распаковать мои вещи.

— И вынуть их?

— Нет, нет, этого не надо. Я сам, а то всё перепутают... Там есть для тебя конфеты и книги.

— Спасибо! Это мило... А вот и Варенька!

Она явилась в дверях в легком белом платье, пышными складками падавшем с ее плеч к ногам. Костюм ее был похож на детскую блузу, и сама она в нем смотрела ребенком. Остановившись на секунду в дверях, она спросила:

— Разве вы ждали меня? — и бесшумно, как облако, подошла к столу.

Ипполит Сергеевич молча поклонился ей и, пожимая ее руку, обнаженную до локтя, ощутил нежный аромат фиалок, исходивший от нее.

— Вот надушилась! — воскликнула Елизавета Сергеевна.

— Разве больше, чем всегда? Вы любите духи, Ипполит Сергеевич? Я — ужасно! Когда есть фиалки, я каждое утро рву их и растираю в руках, это я научилась еще в прогимназии... Вам нравятся фиалки?

Он пил чай и не смотрел на нее, но чувствовал ее глаза на своем лице.

— Я никогда не думал над тем, нравятся они мне или нет, — пожал плечами, сухо сказал он, но, взглянув на нее, невольно улыбнулся.

Оттененное снежно-белой материей ее платья, лицо у нее горело пыльным румянцем, и глубокие глаза сверкали ясной радостью. Здоровьем, свежестью, бессознательным счастьем веяло от нее. Она была хороша, как ясный майский день на севере.

— Не думали? — воскликнула она. — Но как же, — ведь вы ботаник.

— А не цветовод, — кратко пояснил он и, недовольно подумав, что, пожалуй, это грубо, отвел глаза свои в сторону от ее лица.

— А ботаника и цветоводство не одно и то же? — спросила она, помолчав.

Его сестра, не стесняясь, засмеялась. А он почувствовал, что этот смех почему-то коробит его, и с сожалением воскликнул про себя:

«Да она глупа!»

Но потом, поясняя ей разницу между ботаникой и цветоводством, он смягчил свой приговор — она только невежда. Слушая его толковую и серьезную речь, девушка смотрела на него глазами внимательной ученицы, и это нравилось ему.

— Да-а, — протянула Варенька, — вот как это! А что, ботаника интересная наука?

— Гм! Видите ли, на науки нужно смотреть с точки зрения той пользы, которую они приносят людям, — объяснил он со вздохом. Ее неразвитость усиливала в нем симпатию к ней. А она, задумчиво постукивая ложкой по краю своей чашки, спрашивала его:

— Какая же может быть польза от того, что вы узнаете, как растет репей?

— Та же, которую мы извлекаем, изучая явления жизни в каком-нибудь одном человеке.

— Человек и репей, — улыбнулась она. — Разве один человек живет, как все?

Ему было странно, что этот неинтересный разговор не утомляет его.

— Разве я ем и пью так же, как мужики? — серьезно, сдвигая брови, продолжала она. — И разве многие живут так, как я?

— А как вы живете? — спросил он, предчувствуя, что этот вопрос изменит тему разговора.

— Как я живу? — вскричала девушка. — Хорошо! — И она даже закрыла глаза от удовольствия. — Знаете, я просыпаюсь утром, и, если день ясный, мне становится сразу ужасно весело! Точно мне подарили что-то дорогое и красивое, такое, что я давно хотела иметь... Бегу купаться — у нас река на ключах — вода холодная, так и щиплет тело! Есть очень глубокие места, и я туда прямо с берега вниз головой — бух! Так всю и обожжет... лежишь в воду, как в пропасть, и в голове шумит... Вынырнешь, вырвешься из воды, — солнце смотрит на тебя и смеется. Потом иду лесом домой, наберу цветов, надышусь лесным воздухом допьяна; приду — чай готов! Пью чай, а предо мной стоят цветы... и солнце на меня смотрит... Ах, если бы вы знали, как я люблю солнце! Потом наступает день и начинаются хлопоты по хозяйству... все меня любят, сразу понимают, слушаются, — и все кружится колесом вплоть до вечера... потом солнце заходит, луна, звезды являются... до чего это все хорошо и как ново всегда! Вы понимаете? Я не умею понятно сказать... почему так хорошо жить... Но, может быть, вы чувствуете это и сами, да? Ведь вам понятно, почему жизнь такая хорошая, интересная?

— Да, конечно! — подтвердил он, готовый рукой стереть с лица сестры тонкую, насмешливую улыбку.

Он смотрел на Вареньку, не мешая себе любоваться ею, трепетавшей от желания передать ему силу наполняющего ее существо ликования.

— А зима? Любите вы зиму? Она вся белая, здоровая, задорная, вызывающая бороться с ней...

Резкий звонок перебил ее речь. Звонила Елизавета Сергеевна, и, когда в комнату влетела высокая девушка с круглым добрым лицом и плутоватыми глазами, она сказала ей утомленным голосом:

— Убирайте посуду, Маша.

Потом озабоченно начала ходить по комнате, громко шаркая ногами.

Все это несколько отрезвило увлеченную девушку; она повела плечами, как бы стряхивая с них что-то, и, немножко смущенная, спросила Полканова:

— Я надоела вам своими рассказнями?

— Ну, что это вы! — протестовал он.

— Нет, серьезно, — я показалась вам глупой? — доби-
валась она.

— Но — почему же?! — воскликнул Ипполит Сергеевич и удивился, что это у него вышло так горячо и искренно.

— Я дикая... необразованная... Но я очень рада говорить с вами... потому что вы ученый и такой... не такой, каким я вас себе представляла.

— А вы как представляли себе меня? — осведомился он, улыбаясь.

— Я думала, вы все будете говорить разные мудрости... это не так, а вот этак, и все глупы, а я — умница... У папы гостил товарищ, тоже полковник, как и папа, и тоже ученый, как вы. Но он военный ученый... как это?.. генерального штаба... он был ужасно надутый... по-моему, он даже ничего и не знал, а просто хвастался...

— Вы и меня таким же представляли? — спросил Ипполит Сергеевич.

Она сконфузилась, покраснела и, вскочив со стула, смешно забегала по комнате, растерянно говоря:

— Ах, как вы... ну, разве я могла...

— Ну, вот что, милые мои дети, — глядя на них прищуренными глазами, заявила Елизавета Сергеевна, — я пойду кое-чем заняться по хозяйству, а вас оставлю на волю божию!

Смеясь, она исчезла. Ипполит Сергеевич укоризненно посмотрел ей вслед и подумал, что нужно будет поговорить с ней о ее манере держаться по отношению к этой, в сущности, очень милой, только неразвитой девушке.

— Знаете что — хотите кататься в лодке? Доедем до леса, там пойдем гулять и к обеду вернемся. Идет? Я ужасно рада, что сегодня такой ясный день и я не дома... А то у папы опять разыгралась подагра, и мне пришлось бы возиться с ним. А папа капризный, когда болен...

Он, удивленный ее эгоизмом, не сразу ответил согласием, а когда ответил, то вспомнил намерение, которое возникло у него вчера, с которым он вышел сегодня утром из своей комнаты. Но пока ведь она не дает оснований для того, чтобы заподозрить ее в желании победить его сердце? В ее речах можно видеть все, кроме кокетства. И, наконец, почему же не провести один день с такой несомненно оригинальной девушкой?

— А вы умеете грести? Плохо? Это ничего, я буду сама, я сильная.

Они вышли на террасу, спустились в парк. Рядом с его длинной и худой фигурой она казалась ниже ростом и полнее. Он предложил было ей руку, но она отказалась.

— Зачем? Это хорошо, когда устанешь, а так только мешает идти...

Он улыбался, глядя на нее через свои очки, и шел, соразмеряя свои шаги с ее шагами, что ему очень нравилось. Походка у нее была легкая и красивая, — ее белое платье плыло вокруг ее стана, не колыхаясь ни одной складкой. В одной руке она держала зонт, другой свободно и красиво жестикулировала, рассказывая ему о красоте окрестностей деревни. Эта рука, по локоть обнаженная, сильная и смуглая, покрытая золотистым пухом, двигаясь в воздухе, заставляла глаза Ипполита Сергеевича внимательно следить за ней. И опять у него в темной глубине души трепетала непонятная, смутная тревога. Он старался уничтожить ее, спрашивая себя: что побуждает его идти за этой девушкой? и отвечал себе: — любопытство; спокойное и чистое желание созерцать ее красоту.

— Вот и река! Идите и садитесь в лодку, а я сейчас достану весла...

И она исчезла среди деревьев, прежде чем он успел попросить ее указать ему, где можно найти весла.

В неподвижной, холодной воде реки отражались деревья вниз вершинами; он сел в лодку и смотрел на них. Эти призраки были пышнее и красивее живых деревьев,

стоявших на берегу, осеняя воду своими изогнутыми и корявыми ветвями. Отражение облагораживало их, ступая уродливое и создавая в воде яркую и гармоничную фантазию на мотивах убогой, изуродованной временем действительности.

Любуясь призрачной картиной, окруженной тишиной и блеском еще не жаркого солнца, вдыхая вместе с воздухом песни жаворонка, полные счастья жить, Ипполит Сергеевич ощущал в себе возникновение нового для него, приятного чувства покоя, ласкавшего ум, усыпляя его постоянное стремление понимать и объяснять. Тихий мир царил вокруг, и в этом мире неустанно совершалось безмолвное творчество природы, беззвучно создавалась жизнь, всегда поражаемая смертью, но непобедимая, тихо работала смерть, все поражая, но не одерживая победы. А голубое небо сияло торжественной красотой.

На фоне картины в воде реки явилась белая красавица с ласковой улыбкой на лице. Она стояла там с веслами в руках, точно приглашая идти к ней, молчаливая, прекрасная, и казалась отраженной с неба.

Ипполит Сергеевич знал, что это вышла из парка Варенька и что она смотрит на него, но ему не хотелось разрушать очарование ни звуком, ни движением.

— Скажите, какой вы мечтатель! — раздалось удивленное восклицание.

Тогда он, с сожалением отвернувшись от воды, взглянул на девушку.

И сожаление исчезло, ибо эта девушка и в действительности была чарующе хороша.

— Вот уж нельзя подумать, что вы любите мечтать! У вас лицо такое строгое. Вы будете править, хорошо? Мы поедем вверх по течению... там красивее... И вообще против течения интереснее ехать, потому что гребешь, двигаешься, чувствуешь себя...

Оттолкнутая от берега лодка лениво закачалась на сонной воде, но сильный удар весел сразу поставил ее вдоль берега, и, перевалившись с борта на борт под вторым ударом, она легко скользнула вперед.

— Мы поедем под горным берегом, потому что тут тень, — говорила девушка, разбивая воду ловкими ударами. — Только здесь слабое течение... а вот на Днепре — у

тети Лучицкой там имение — там, я вам скажу, ужас! Так и рвет весла из рук... Вы не видали порогов на Днепре? .

— Только пороги дверей, — попытался сострить Ипполит Сергеевич.

— Я ездила через них, — смеясь, говорила она. — Хорошо! Однажды чуть не разбила лодку, непременно утонула бы тогда...

— Ну, это уж было бы нехорошо, — серьезно сказал Ипполит Сергеевич.

— А что же? Я несколько не боюсь смерти, хотя и люблю жить. Может быть, и там тоже интересно, как на земле...

— А может быть, там ничего нет, — с любопытством взглянув на нее, сказал он.

— Ну, как же нет! — убежденно воскликнула она. — Конечно, есть!

Она сидела против него, упираясь маленькими ножками в перекладину, прибитую ко дну лодки, и с каждым ударом весел отклоняла свой корпус назад. Тогда под легкой материей платья рельефно обрисовывалась девичья грудь, высокая, упругая, вздрагивавшая от движений.

«Она не носит корсета», — подумал Ипполит Сергеевич, опуская глаза вниз. Но там они остановились на ее ножках. Упираясь в дно лодки, они напрягались, и тогда были видны их контуры до колен.

«Что она — нарочно, что ли, надела это дурацкое платье?» — с раздражением подумал он и отвернулся, рассматривая высокий берег.

Плыли под крутым обрывом; с него свешивались кудрявые стебли гороха, плети тыкв с бархатными листьями, большие желтые круги подсолнухов, стоя на краю обрыва, смотрели в воду. Другой берег, низкий и ровный, тянулся куда-то вдаль, к зеленым стенам леса, и был густо покрыт травой, сочной и яркой; из нее ласково смотрели на лодку милые, как детские глазки, голубые и синие цветы. Впереди тоже стоял темнозеленый лес — и река вонзалась в него, как кусок холодной стали.

— Вам не жарко? — спросила Варенька.

Он взглянул на нее и почувствовал себя сконфуженным: на лбу у нее под короной выющихся волос блестели капельки пота, а грудь поднималась часто и высоко.

— Простите, пожалуйста! — с раскаянием воскликнул он. — Я засмотрелся... вы утомились... дайте мне весла!

— Вот уж не дам! Вы думаете, я устала? Это даже обидно мне! Мы и двух верст не проехали... Нет, уж вы сидите... Сейчас пристанем и пойдем гулять.

По лицу ее было видно, что с ней бесполезно спорить; он, досадливо пожав плечами, замолчал, с неудовольствием думая про себя:

«Очевидно, она считает меня слабым».

— Видите — вот это к нам дорога, — указала она ему на берег кивком головы. — Здесь брод через реку, до нас отсюда четырнадцать верст. У нас красивее, чем в вашей Полкановке.

— Вы и зиму живете в деревне? — спросил он.

— А как же? Ведь я веду все хозяйство, папа не встает с кресла... Его возят по комнатам.

— Но, должно быть, скучно вам жить так?

— Почему же? У меня ужасно много дела... а помощник один — Никон, денщик папы. Он уже старик и тоже пьет, но страшный силач и знает свое дело. Мужики его боятся. Он — бьет их, и они тоже раз как-то сильно побили его... очень сильно! Он замечательно честен и предан нам с папой... любит нас, как собака! Я тоже его люблю. Вы, может быть, читали один роман, где есть герой, офицер, граф Луи Граммон, и у него тоже денщик Сади-Коко?

— Не читал, — скромно сознался молодой ученый.

— Прочитайте непременно — это хороший роман, — уверенно посоветовала она ему. — Я Никона, когда он угодит мне, называю Сади-Коко. Сначала он сердился на меня за это, но я однажды прочитала ему этот роман, и теперь он знает, что для него лестно быть похожим на Сади-Коко.

Ипполит Сергеевич смотрел на нее так, как европеец смотрит на тонко выполненную статуэтку китайца. А она с жаром рассказывала ему о подвигах Сади-Коко, полных беззаветной преданности к графу Луи Граммон.

— Простите, Варвара Васильевна, — перебил он ее речь, — а романы русских авторов вы читали?

— О да! Но я не люблю их — скучные! И пишут все такое, что я сама знаю не хуже их. Они не умеют выдумывать ничего интересного, и у них почти все правда.

— А разве вы не любите правды? — ласково спросил Ипполит Сергеевич.

— Ах, да нет же! Я всем говорю правду в глаза и...

Она замолчала, подумала и спросила:

— А что же тут любить? Это моя привычка.

Он ничего не успел сказать ей на это, потому что она быстро и громко командовала ему:

— Правьте налево... скорее! Вон к этому дубу... Ай, какой вы неловкий!

Лодка не слушалась его руки и шла к берегу бортом, хотя он с напряжением ворочал воду своим веслом.

— Ничего, ничего, — говорила она и, вдруг поднявшись на ноги, прыгнула через борт.

Ипполит Сергеевич глухо вскрикнул, бросив весло и простирая за ней руки, но она невредима стояла на берегу, держа цепь лодки в руках и виновато спрашивая его:

— Я испугала вас?

— Я думал, что вы упадете в воду, — тихо сказал он.

— Да разве можно тут упасть? И к тому же тут неглубоко, — оправдывалась она, подводя лодку к берегу. А он, сидя на жорме, думал, что это нужно бы сделать ему.

— Видите, какой лес? — говорила она, когда он вышел на берег и стал рядом с ней. — Хорошо ведь? Там, около Петербурга, нет таких красивых лесов?

Перед ними лежала узкая дорога, огражденная с обеих сторон стволлами деревьев. Под ногами простирались узловатые корни, избитые колесами телег, а над ними — густой шатер из ветвей и где-то высоко — голубые клочья неба. Лучи солнца, тонкие, как струны, трепетали в воздухе, пересекая наискось узкий, зеленый коридор. Запах перегнивших листьев окружал их. Мелькали птицы, нарушая важную тишину леса хлопотливым щебетаньем. Где-то стучал дятел, жужжала пчела и, как будто указывая им дорогу, в воздухе, впереди их, порхали два мотылька, преследуя один другого.

Шли медленно. Полканов молчал, не мешая Вареньке искать слова для выражения ее мыслей, а она горячо говорила ему:

— Я не люблю читать о мужиках; что интересного в их жизни? Я знаю их, живу с ними и вижу, что о них

пишут неверно, неправду. Они такими жалкими описываются, а они просто подлые, их совсем не за что жалеть. Они только одного и хотят — надуть вас, украсть у вас что-нибудь. Клячат всегда, ноют, гадкие, грязные... А они ведь умные, о! они даже очень хитрые; как они мучат меня иногда, если б вы знали!

На лице ее выразилось озлобление и скука. Ипполит Сергеевич был изумлен силой ее волнения, но, не желая слушать эти барские выходки, перебил девушку:

— Вы говорили о французских писателях...

— Ах, да! То есть о русских, — поправила она его, успокаиваясь. — Вы спрашиваете — почему русские пишут хуже, — это ясно! потому что они не выдумывают ничего интересного. У французов герои настоящие, они и говорят не так, как все люди, и поступают иначе. Они всегда храбрые, влюбленные, веселые, а у нас герои — простые человечки, без смелости, без пылких чувств, какие-то некрасивые, жалкенькие — самые настоящие люди и больше ничего! Почему они герои? Никогда в русской книжке не поймешь этого. Русский герой какой-то глупый и мешковатый, всегда ему тошно, всегда он думает о чем-то непонятном и всех жалеет, а сам-то жалкий-прежалкий! Подумает, поговорит, пойдет объясняться в любви, потом опять думает, пока не женится, а женится — наговорит жене кислых глупостей и бросит ее.. Что в этом интересного? Меня злит это, потому что похоже на обман — вместо героя какое-то чучело торчит в романе! И никогда, читая русскую книжку, не забудешь о настоящей жизни, — разве это хорошо? А читаешь сочинение француза — дрожишь за героев, жалеешь их, ненавидишь, хочешь драться, когда они дерутся, плачешь, когда погибают... Страстно ждешь, когда кончится роман, а прочтешь его — чуть не плачешь с досады, что уже все кончено. Зачем писать книжки, если не можешь сказать ничего необыкновенного? Странно, право!

— На это многое можно возразить вам, Варвара Васильевна, — остановил он поток ее речей.

— Что же, возражайте! — разрешила она с улыбкой. — Вы, конечно, разнесете меня.

— Постараюсь. Прежде всего, каких вы русских авторов читали?

— Разных... впрочем, все они одинаковые. Вот, например, Сальяс... он подражает французам, но плохо. Впрочем, у него русские герои, а разве о них можно писать интересно? Еще многих читала — Тургенева, Маркевича, Пазухина, — даже по одной фамилии уже видно, что он не может хорошо писать! Вы его не читали? А читали ли вы Фортюнэ де Буагобэя? Понсон де Терайля? Арсена Гуссэ? Пьера Законнэ? Дюма, Габорио, Борна? Как хорошо, боже мой! Знаете что? Мне в романах больше всего нравятся злодеи, те, которые так ловко плетут разные ехидные сети, убивают, отравляют... умные они, сильные... и когда, наконец, их ловят — меня зло берет, даже до слез дохожу. Все ненавидят злодея, все идут против него — он один против всех! Вот — герой! А те, другие, добродетельные, становятся гадки, когда они побеждают... И вообще, знаете, мне люди до той поры нравятся, пока они хотят чего-нибудь, куда-нибудь идут, ищут чего-то, мучатся... но, если они дошли до цели своей и остановились, тут они уже неинтересны...

Возбужденная, она медленно шла рядом с ним, красиво подняв голову и сверкая глазами.

Он смотрел ей в лицо и, нервно покручивая бородку, искал таких возражений, которые сразу сорвали бы с ее ума эту грубую пелену пыли. Но, чувствуя себя обязанным возразить ей, он хотел еще слушать ее наивную болтовню, еще видеть ее увлеченной своими суждениями и искренно раскрывающей пред ним свою душу. Он никогда не слышал таких речей; они были уродливы, но в то же время все, что говорила она, как нельзя более гармонировало с ее немного хищной красотой. Пред ним был ум неотшлифованный, оскорблявший его грубостью, и — женщина, соблазнительно прекрасная, раздражавшая его чувственность. Эти две силы давили на него всей энергией своей непосредственности, и нужно было что-нибудь противопоставить им. У него была ясная логика, он хорошо спорил с людьми своего круга. Но как говорить с ней, чтоб вызвать ум ее на правильный путь и облагородить душу, изуродованную глупыми романами и обществом мужиков, солдата, пьяницы-отца?

— Ух, как я заговорила! — воскликнула она, вздыхая. — Надоело вам, да?

— Нет, но...

— Я, видите ли, рада очень вам. Мне до вас не с кем было поговорить. Ваша сестра, я знаю, не любит меня и все сердится на меня... должно быть, за то, что я даю водки отцу, и за то, что побила Никона...

— Вы? Побили! Э... как это вы? — изумился Полканов.

— Очень просто, отхлестала его папашинной нагайкой, вот и все! Понимаете, молотья, страшная горячка, а он, скот, пьян! Я рассердилась! Разве он смеет напиваться, когда кипит работа и везде нужен его глаз? Эти мужики, они...

— Но, послушайте же, Варвара Васильевна, — убедительно и как только мог мягче заговорил он, — разве это хорошо бить слугу? Благородно ли это? подумайте! Разве те герои, пред которыми вы преклоняетесь, бьют своих преданных Сади-Коко?

— О, еще как! Граф Луи однажды такую пощечину влепил Коко, что мне даже жалко стало бедного солдата. И что же я могу делать с ними, как не бить? Хорошо еще, что могу... я ведь сильная! Пощупайте, какие у меня мускулы!

Согнув свою руку в локте, она гордо протянула ее к нему. Он положил ладонь на ее тело выше локтя и крепко сжал пальцы, но тотчас же опомнился и, смущенный, с краской на лице, оглянулся вокруг. Всюду безмолвно стояли деревья и только...

Он вообще не был скромен с женщинами, но эта своей простотой и доверчивостью делала его таким, хотя и разжигала в нем чувственность.

— У вас завидное здоровье, — сказал он, пристально и задумчиво рассматривая маленькую загорелую кисть ее руки. — И я думаю, что у вас очень хорошее сердце, — неожиданно для себя вырвалось у него.

— Не знаю! — отозвалась она, качнув головой. — Едва ли, — у меня нет характера: иногда я жалею людей, даже тех, которых не люблю.

— Иногда только? — усмехнулся он. — Но ведь люди всегда достойны сожаления и сострадания.

— За что? — спросила она.

— Разве вы не видите, как они несчастны? Хотя бы эти, ваши мужики. Как тяжело им живется и сколько несправедливости, горя, мучений в их жизни!

Это вырвалось у него горячо, и она внимательно взглянула в лицо ему, говоря:

— Вы, должно быть, очень добрый, если так говорите. Но ведь вы не знаете мужиков, не жили в деревне. Они несчастны — это верно, но кто же в этом виноват? Они ведь хитрые, и никто им не мешает сделаться счастливыми.

— Ведь у них даже хлеба нет настолько, чтоб быть сытыми!

— Еще бы! Их вон как много...

— Да, их много! Но и земли много... ибо есть люди, которые имеют десятки тысяч десятин. У вас, например, сколько?

— Пятьсот семьдесят три... Ну, так что же? Неужели, — ну, слушайте! Неужели им отдать?

Она смотрела на него взглядом взрослого на ребенка и тихо смеялась. Его смущал и злил этот смех. В нем разгоралось желание убедить ее в заблуждениях ее ума.

И раздельно, даже резко произнося слова, он начал говорить ей о несправедливом распределении богатств, о бесправии большинства людей, о роковой борьбе за место в жизни и за кусок хлеба, о силе богатых и бессилиии бедных и об уме, подавленном вековой неправдой и тьмой предрассудков, выгодных сильному меньшинству людей.

Идя рядом с ним, она молча, с любопытством и удивлением смотрела на него.

Вокруг них царил сумрачная тишина леса, та тишина, по которой звуки как бы скользят, не нарушая ее меланхолической гармонии.

Полканов замолчал и, вытирая пот со лба, утомленный своей лекцией, ждал, что она скажет.

Она смотрела вдаль пред собой, сузив свои глаза, и на лице ее дрожали какие-то тени. Минута молчания разрешилась ее тихим возгласом:

— Как вы хорошо говорите!.. Неужели в университете все могут так говорить?

Молодой ученый безнадежно вздохнул, ожидание ее ответа сменилось у него глухим раздражением против нее

и жалостью к самому себе. Почему она не воспринимает того, что так логически ясно для всякого хоть немного мыслящего существа? Чего именно не хватает в его речах, почему ее чувство не задевают они?

— Очень хорошо говорите вы! — вздохнула она, не дожидаясь его ответа, и в глазах ее он читал истинное удовольствие.

— Но — верно ли я говорю? — спросил он.

— Нет! — не задумываясь, ответила девушка. — Вы хотя и ученый, но я с вами поспорю. Ведь и я тоже что-нибудь понимаю!.. Вы говорите так, что выходит, как будто люди строят дом и все они в этой работе равны. И даже не они, а все — и кирпичи, и плотники, и деревья, и хозяин дома — все это у вас равно одно другому. Но разве это можно? Мужик — он должен работать, вы должны учить, а губернатор смотреть — все ли делают то, что нужно. И потом вы сказали, что жизнь борьба, — ну, где же это? Напротив, люди очень мирно живут. А если уж борьба, значит — нужны побежденные. А общая польза — это я совсем не понимаю. Вы говорите, что общая польза в равенстве всех людей. Но это же неверно! Мой папа полковник — как же он равен Никону или мужику? И вы — вы ученый, но разве вы равня нашему учителю русского языка, который пил водку... рыжий, глупый, и сморкался громко, как медная труба?

Считая свои доводы неотразимыми, она ликовала, а он любовался ее радостным волнением и был доволен собой за то, что дал ей эту радость.

Но ум его старался разрешить — почему не тронутая анализом, цельная мысль, разбуженная им, работала в направлении, прямо противоположном тому, на которое он ее толкал?

— Вы нравитесь мне, а другой не нравится... где же равенство?

— Я вам нравлюсь? — как-то вдруг спросил Ипполит Сергеевич.

— Да, очень! — утвердительно кивнула она головой и тотчас же спросила: — А что?

Он испугался за себя пред бездной наивности, смотревшей на него ясным взглядом.

«Неужели это ее манера кокетничать?» — подумал он.

— Почему вы спрашиваете об этом? — допытывалась она, глядя в его лицо любопытными глазами.

Его смущал ее взгляд.

— Почему? — пожал он плечами. — Это, я думаю, естественно. Вы женщина... я мужчина... — как мог, спокойно объяснил он.

— Ну, так что же? Все-таки незачем вам знать. Ведь вы не собираетесь жениться на мне!

Она так просто сказала это, что он даже и не смутился. Ему только показалось, что некая сила, с которой бесполезно бороться ввиду ее слепой стихийности, перемещает работу его мозга с одного направления на другое. И он с оттенком игривости сказал ей:

— Кто знает?.. И потом — желание нравиться и желание жениться или выйти замуж — не одно и то же... как вы, наверное, знаете.

Она вдруг громко расхохоталась, а он сразу охладел под ее смехом и безмолвно проклял и себя и ее. Ее грудь трепетала от сочного искреннего смеха, весело сотрясавшего воздух, а он молчал, виновато ожидая отповеди за свою игривость.

— Ох! ну какая... какая же я... была бы жена вам! Вот смешно... как страус и пчела!

И он тоже засмеялся, — не над ее курьезным сравнением, а над своим непониманием тех пружин, которые управляли движением ее души.

— Милая вы девушка! — искренно вырвалось у него.

— Дайте-ка мне руку... вы очень медленно идете, я потащу вас! Нам пора назад... очень пора! Елизавета Сергеевна будет недовольна, потому что к обеду мы опоздали...

Они пошли назад. Полканов признавал себя обязанным возвратиться к выяснению ее заблуждений, не позволявших ему чувствовать себя рядом с ней так свободно, как хотелось бы. Но прежде этого нужно было подавить в себе неясное беспокойство, которое глухо бродило в нем, стесняя его намерение спокойно слушать и решительно опровергать ее доводы. Ему было бы так легко срезать уродливый нарост с ее мозга логикой своего ума, если бы не мешало это странное, обессиливающее ощущение, не имеющее имени. Что это? Оно похоже на нежелание

вводить в душевный мир этой девушки понятия, чуждые ей... Но такое уклонение от своей обязанности было бы постыдно для человека, стойкого в своих принципах. А он считал себя таким и был глубоко уверен в силе ума, в главенстве его над чувством.

— Сегодня вторник? — говорила она. — Ну, конечно. Значит, через три дня придет черненький господинчик...

— Кто и куда придет, сказали вы?

— Черненький господинчик, Бенковский, придет к вам в субботу.

— Зачем же?

Она рассмеялась, пыливо глядя на него.

— Разве вы не знаете? Он — чиновник...

— А! Да, сестра говорила мне...

— Говорила? — оживилась Варенька. — Ну и что же... скажите, скоро они обвенчаются?

— Почему же они должны обвенчаться? — растерянно спросил Ипполит Сергеевич.

— Почему? — изумилась Варенька, сильно краснея. — Да я не знаю. Так принято! Но, господи! Разве же вы этого не знали?

— Ничего я не знаю! — решительно произнес Ипполит Сергеевич.

— А я вам сказала! — с отчаянием воскликнула она. — Как это хорошо! Пожалуйста, миленький Ипполит Сергеевич, пусть вы и теперь не знаете этого... будто бы я не говорила ничего!

— Очень хорошо! Но, позвольте, ведь я и в самом деле ничего не знаю. Я понял одно — сестра выходит за господина Бенковского... да?

— Ну да! Если она сама вам этого не говорила, то, может быть, этого и не будет. Вы не скажете ей про это?

— Не скажу, конечно! — пообещал он. — Я ехал сюда на похороны, а попал, кажется, на свадьбу? Это приятно!

— Пожалуйста, ни слова о свадьбе! — умоляла она его. — Вы ничего не знаете.

— Совершенно верно! Но что такое господин Бенковский? Можно спросить?

— О нем можно! Он — черненький, сладенький и тихонький. У него есть глазки, усики, губки, ручки и скрин-

почка. Он любит нежные песенки и вареньице. Мне всегда хочется потрепать его по мордочке.

— Однако вы его не любите! — воскликнул Ипполит Сергеевич, ощущая жалость к господину Бенковскому при такой характеристике его наружности.

— И он меня не любит! Я терпеть не могу мужчин маленьких, сладких, скромных. Мужчина должен быть высок, силен; он говорит громко, глаза у него большие, огненные, а чувства — не знающие никаких препятствий. Пожелал и сделал — вот мужчина!

— Кажется, таких больше нет, — сухо усмехаясь, сказал Ипполит Сергеевич, чувствуя, что ее идеал мужчины раздражает его.

— Должны быть! — уверенно воскликнула она.

— Да ведь вы же, Варвара Васильевна, какого-то зверя изобразили! Что привлекательного в таком чудилище?

— И совсем не зверя, а сильного мужчину! Сила — вот и привлекательное. Теперешние мужчины рождаются с ревматизмом, с кашлем, с разными болезнями — это хорошо? Интересно мне, например, иметь мужем какого-нибудь сударя с прыщами на лице, как земский начальник Кокович? Или красивенького господинчика, как Бенковский? Или сутулую и худую дылду, как судебный пристав Мухин? Или Гришу Чернебова, купеческого сына, большого, жирного, с одышкой, лысиной и красным носом? Какие дети могут быть от таких дрянных мужей? Ведь об этом надо думать... как же? Ведь дети — это... очень важно! А они — не думают... Они ничего не любят. Никуда они не годятся, и я... я била бы мужа, если бы вышла замуж за которого-нибудь из этих!

Ипполит Сергеевич остановил ее, доказывая, что ее суждение о мужчине вообще неправильно, потому что она слишком мало видела людей. И названные ею люди не должны быть рассматриваемы только с внешней стороны — это несправедливо. У человека может быть скверный нос, но хорошая душа, прыщи на лице, но светлый ум. Ему скучно и трудно было говорить эти истины; до встречи с ней он так редко вспоминал о их существовании, что теперь все они и самому ему казались затхлыми и изношенными. Он чувствовал, что все это не идет к ней и не будет воспринято ею...

— Вот и река! — воскликнула она с радостью, перебивая его речь.

А Ипполит Сергеевич подумал:

«Она радуется тому, что я замолчал».

Снова они поплыли по реке, сидя друг против друга. Варенька завладела веслами и гребла торопливо, сильно; вода под лодкой недовольно журчала, маленькие волны бежали к берегам. Ипполит Сергеевич смотрел, как навстречу лодке двигаются берега, и чувствовал себя утомленным всем, что он говорил и слышал за время этой прогулки.

— Смотрите, как быстро идет лодка! — сказала ему Варенька.

— Да, — кратко ответил он, не обращая на нее глаз. Все равно — и не видя ее, он представлял себе, как соблазнительно изгибается ее корпус и колышется грудь.

Показался парк... Скоро они шли по его аллее, а навстречу им, улыбаясь, двигалась стройная фигура Елизаветы Сергеевны. Она держала в руках какие-то бумаги и говорила:

— Однако вы загулялись!

— Долго? Зато у меня такой аппетит, что я — у! съем вас!

И Варенька, обняв талию Елизаветы Сергеевны, легко завертела ее вокруг себя, смеясь над ее криками.

Обед был невкусный и скучный, потому что Варенька была увлечена процессом насыщения и молчала, а Елизавета Сергеевна сердила брата, то и дело ловившего на своем лице ее пытливые взгляды. Вскоре после обеда Варенька уехала домой, а Полканов ушел в свою комнату, лег там на диван и задумался, подводя итог впечатлениям дня. Он вспоминал мельчайшие подробности прогулки и чувствовал, как из них образуется мутный осадок, разъедавший привычное ему устойчивое равновесие чувства и ума. Он даже и физически ощущал новизну своего настроения в форме странной тяжести, сжимавшей ему сердце, — точно кровь его сгустилась за это время и обращалась медленнее, чем всегда.

Бесспорно, эта девушка ошеломляюще красива, но увидеть ее и сразу же войти в темный круг каких-то смутных ощущений — это уже слишком много для нее и постыдно для него, это распущенность, недостаток

выдержки. Она сильно волнует чувственность, — да, но с этим нужно бороться.

«Нужно ли?» — вдруг вспыхнул в его голове краткий, уколотивший его вопрос.

Он поморщился, относясь к этому вопросу так, как будто он был грубо поставлен кем-то извне его.

Во всяком случае, то, что творится в нем, не есть начало увлечения женщиной, это протест ума, оскорбленного столкновением, из которого он не вышел победителем, хотя его противник детски слаб. Нужно говорить с этой девушкой образами. Его обязанность — уничтожить ее дикие понятия, разрушить все эти грубые и глупые фантазии, впитанные ее мозгом. Нужно обнажить ее ум от заблуждений, очистить, опустошить ее душу, тогда она будет способна и вместить в себя истину.

«Могу ли я сделать это?» — снова вспыхнул в нем посторонний вопрос. И снова он обошел его... Какова она будет, когда воспримет в себя нечто противоположное тому, что в ней есть? И ему казалось, что, когда ее душа, освобожденная им из плена заблуждения, проникнется стройным учением, чуждым всего неясного и омрачающего, — девушка будет вдвойне прекрасна.

Когда его позвали пить чай, он уже твердо решил перестроить ее мир, вменяя это решение в прямую обязанность себе. Теперь он встретит ее холодно и спокойно и придаст своему отношению к ней характер строгой критики всего, что она скажет, всего, что сделает.

— Ну что, как тебе нравится Варенька? — спросила сестра, когда он вышел на террасу.

— Очень милая девушка, — сказал он, подняв брови.

— Да? Вот как... Я думала, что тебя поразит ее неразвитость.

— Пожалуй, я немного удивлен этой стороной в ней, — согласился он. — Но, откровенно говоря, она во многом лучше девушек развитых и рисующихся этим.

— Да, она красива... И выгодная невеста... пятьсот десятин прекрасной земли, около сотни — строевой лес. Да еще наследует после тетки солидное имение. И оба не заложены...

Он видел, что сестра намеренно не поняла его.

— С этой стороны я не смотрю на нее, — сказал он.

— Так посмотри... я серьезно советую.

— Благодарю.

— Ты немного не в духе, кажется.

— Напротив. А что?

— Так. Хочу знать это, как заботливая сестра.

Она мило и немножко заискивающе улыбнулась. Эта улыбка напомнила ему о господине Бенковском, и он тоже улыбнулся ей.

— Ты что смеешься? — спросила она.

— А ты?

— Мне весело.

— Мне тоже весело, хотя я и не схоронил жены две недели тому назад, — сказал он, смеясь.

А она сделала серьезное лицо и, вздохнув, заговорила:

— Может быть, ты в душе осуждаешь меня за недостаток чувства к покойному, думаешь, что я эгоистична? Но, Ипполит, ты знаешь, что такое мой муж, я писала тебе, как мне жилось. И я часто думала: «Боже мой! неужели я создана затем только, чтоб услаждать грубые вожделения Николая Степановича Варыпаева, когда он напивается пьян настолько, что уже не может различить жены от простой деревенской бабы или уличной женщины».

— Но неужели?.. — с недоверием воскликнул Ипполит Сергеевич, вспоминая ее письма, в которых она много говорила о бесхарактерности мужа, о его страсти к вину, лени, о всех пороках, кроме разврата.

— Ты сомневаешься? — с укором спросила она и вздохнула. — А между тем это факт; он часто бывал в таком состоянии... я не утверждаю, что он изменял мне, но допускаю это. Разве он мог сознавать — я пред ним или другая, если он окна принимал за двери?

Она долго и скучно говорила ему о своей печальной жизни, а он слушал и ждал, когда она скажет ему то, что хочет сказать. И невольно ему думалось, что Варенька едва ли когда-нибудь будет жаловаться на свою жизнь, как бы она ни сложилась у нее.

— Мне кажется, что судьба должна вознаградить меня за долгие годы горя... Может быть, оно близко — это вознаграждение.

Елизавета Сергеевна замолчала и, вопросительно взглянув на брата, немного покраснела.

— Что ты хочешь сказать? — спросил он ласково, наклонясь к ней.

— Видишь ли... я, быть может, снова выйду замуж!

— И прекрасно сделаешь! Поздравляю... Но почему ты так смущаешься?

— Право, не знаю!

— Кто же он?

— Я, кажется, говорила тебе о нем... Бенковский... будущий прокурор... а пока поэт и мечтатель... Может быть, ты встречал его стихи? Он печатается...

— Стихов не читаю. Хороший человек? Впрочем, конечно, хороший.

— Я, кажется, могу сказать, что он способен вознаградить меня за прошлое... Он любит меня... У меня сложилась маленькая философия... может быть, она покажется тебе несколько жесткой.

— Философствуй безбоязненно, это теперь в моде...

— Мужчины и женщины — два племени, вечно враждующие.. — мягко говорила женщина. — Доверие, дружба и прочие чувства этого порядка едва ли возможны между мной и мужчиной. Но возможна любовь... а любовь — это победа того, кто любит меньше, над тем, кто любит больше... Я была однажды побеждена и поплатилась за это.. теперь я победила и воспользуюсь плодами победы..

— А, это довольно свирепая философия... — прервал ее брат, с удовольствием чувствуя, что Варенька не может так философствовать.

— Ее жизнь подсказала мне... Видишь ли, он на четыре года моложе меня... только что кончил университет. Я знаю, что это опасно для меня... и, как это сказать?... Я хотела бы устроить дело с ним так, чтоб мои имущественные права не подвергались никакому риску.

— Да, — и что же? — спросил Ипполит Сергеевич, становясь внимательным.

— Так вот ты мне посоветуй, как все это устроить. Я не хочу давать ему никаких юридических прав на мое имущество и не дала бы права на личность, если бы это было можно.

— Это, мне кажется, достижимо в гражданском браке. Впрочем...

— Нет, гражданский брак я отрицаю.

Он смотрел на нее и думал:

«Однако она умная! Если бог и создал людей, то жизнь так легко пересоздает их, что они, наверное, давно стали ему противны».

А сестра убедительно выяснила свою точку зрения на брак.

— Брак должен быть разумной сделкой, исключаящей всякий риск. Именно так и думаю я поставить с Бенковским. Но, прежде чем сделать этот шаг, я хотела бы выяснить законность претензии этого досадного брата. Пожалуйста, пересмотри все бумаги.

— Ты позволишь мне заняться этим делом завтра? — спросил он.

— Конечно, когда хочешь.

Она еще долго развивала пред ним свои идеи, потом много рассказывала ему о Бенковском. О нем она говорила снисходительно, с улыбкой, блуждавшей на ее губах и зачем-то прищуривая глаза. Ипполит слушал ее и сам удивлялся отсутствию в нем всякого участия к ее судьбе.

Уже солнце село, когда они разошлись: он — усталый от нее, в свою комнату; она — оживленная беседой, с увлеченным блеском в глазах, — хлопотать по хозяйству.

Придя к себе, Ипполит Сергеевич зажег лампу, достал книгу и хотел читать; но с первой же страницы он понял, что ему будет не менее приятно, если он закроет книгу. Сладко потянувшись, он закрыл ее, повозился в кресле, ища удобной позы, но кресло было жесткое; тогда он перебрался на диван. Сначала ему ни о чем не думалось, потом он с досадой вспомнил, что скоро придется познакомиться с Бенковским, и сейчас же улыбнулся, припоминая характеристику, данную Варенькой этому господину.

И скоро одна она занимала его мысль и воображение. Между прочим, он подумал:

«А что, если бы жениться на таком милом чудовище? Пожалуй, это была бы очень интересная жена... хотя бы уже по одному тому, что из ее уст не услышишь копеечной мудрости популярных книжек...»

Но, рассмотрев всесторонне свое положение в роли мужа Вареньки, он засмеялся и категорически ответил себе:

«Никогда!»

И вслед за тем ему стало грустно.

II

Утро субботы началось для Ипполита Сергеевича маленькой неприятностью: одеваясь, он свалил со столика на пол лампу, она разлетелась вдребезги, и несколько капель керосина из разбитого резервуара попало ему в одну из ботинок, еще не надетых им на ноги. Ботинки, конечно, вычистили, но Ипполиту Сергеевичу стало казаться, что от чая, хлеба, масла и даже от красиво причесанных волос сестры струится в воздухе противный маслянистый запах.

Это портило ему настроение.

— Сними ботинку и поставь ее на солнце, тогда керосин испарится, — советовала ему сестра. — А пока надень туфли мужа, есть одни совершенно новенькие.

— Пожалуйста, не беспокойся. Это скоро исчезнет.

— Очень нужно ждать, когда исчезнет. В самом деле, я скажу, чтоб дали туфли?

— Нет, не надо. Брось их.

— Зачем? Туфли хорошие, бархатные... Годаются.

Ему хотелось спорить, керосин раздражал его.

— Куда они могут годиться? Не будешь же ты носить.

— Я, конечно, нет, но Александр будет.

— Это кто?

— А Бенковский.

— Ага! — он сухо усмехнулся. — Это очень трогательная верность туфлям умершего мужа. И практично.

— Ты сегодня зол?

Она смотрела на него немножко обиженно, но пылливо, и он, поймав в ее глазах это выражение, неприятно подумал:

«Наверно, она воображает, что я раздражен отсутствием Вареньки».

— К обеду Бенковский придет, вероятно, — сообщила она, помолчав.

— Очень рад, — откликнулся он, соображая про себя: «Желаю, чтоб я был любезен с будущим зятем».

И его раздражение усилилось чувством томительной скуки. А Елизавета Сергеевна говорила, тщательно намазывая тонкий слой масла на хлеб:

— Практичность, по-моему, очень похвальное свойство. Особенно в настоящее время, когда бремя оскудения так давит нашу братию, живущую от плодов земли. Почему бы Бенковскому не носить туфель покойного мужа?..

«И саван покойника, если ты и саван с него сняла и хранишь», — язвительно подумал Ипполит Сергеевич, сосредоточенно занимаясь переселением пенек из сливочника в свой стакан.

— После мужа остался очень обширный и приличный гардероб. А Бенковский не избалован. Большая семья — трое юношей, помимо Александра, да девиц пять. Имение заложено. Знаешь, я очень выгодно купила у них библиотеку, — есть весьма ценные вещи. Ты посмотри, может быть, найдешь что-либо нужное тебе... Александр существует на жалованье.

— Ты давно его знаешь? — спросил он ее; нужно было говорить о Бенковском, хотя говорить не хотелось ни о чем.

— В общем, года четыре, а так... близко — месяцев семь-восемь. Ты — увидишь, он очень милый. Нежный такой, легко возбуждающийся, идеалист и немножко, кажется, декадент. Впрочем, теперь молодежь вся склонна к декадентству... Одни падают в сторону идеализма, другие к материализму... и те и другие не кажутся мне умными.

— Есть еще люди, исповедующие «скептицизм во сто лошадиных сил», как определяет это настроение один мой товарищ, — заявил Ипполит Сергеевич, наклоня лицо над столом.

Она засмеялась, говоря:

— Это остроумно, хотя и грубовато. Я, пожалуй, тоже близка к скептицизму, знаешь, здравому скептицизму, который связывает крылья всевозможных увлечений...

Он поторопился выпить свой чай и ушел, заявив, что ему нужно разобрать привезенные книги. Но в комнате

у него, несмотря на открытые двери, стоял запах керосина. Он поморщился и, взяв книгу, ушел в парк. Там, в тесно сплоченной семье старых деревьев, утомленных бурями и грозами, царила меланхолическая тишина, обессиливающая ум, и он шел, не открывая книги, вдоль по главной аллее, ни о чем не думая, ничего не желая.

Вот река и лодка. Здесь он видел Вареньку отраженной в воде и ангельски прекрасной в этом ограждении.

«Я точно гимназист!» — воскликнул он про себя, ощущая, что воспоминание о ней приятно ему.

Постояв с минуту у реки, он вошел в лодку, сел на корму и стал смотреть на картину в воде. Она и сегодня была так же хороша, но на ее прозрачном фоне не являлась белая фигура девушки. Полканов закурил папиросу и тотчас же бросил ее в воду, думая, что, пожалуй, он глупо сделал, приехав сюда. В сущности, зачем он тут нужен? Кажется, только затем, чтоб охранять доброе имя сестры, — проще говоря, чтоб дать сестре возможность, не смущаясь приличиями, принимать у себя господина Бенковского. Роль неважная. А этот Бенковский, должно быть, не очень умен, если действительно любит сестру, слишком умную.

Просидев часа три в состоянии полусозерцания, в каком-то расслаблении мысли, скользившей по предметам, не обсуждая их, он встал и медленно пошел в дом, негодуя на себя за бесполезно потраченное время и твердо решив скорее приняться за работу. Подходя к террасе, он увидал стройного юношу в белой блузе, подпоясанной ремнем. Юноша стоял спиной к аллее и рассматривал что-то, наклонясь над столом. Ипполит Сергеевич замедлил шаги, соображая — неужели это и есть Бенковский? Вот юноша выпрямился, красивым жестом откинул со лба назад длинные пряди выющихся черных волос и обернулся лицом к аллее.

«Да это — паж средневековый!»

Лицо Бенковского, овальное, матово-бледное, казалось измученным от напряженного блеска больших, миндалевидных и черных глаз, глубоко ввалившихся в орбиты. Красиво очерченный рот оттенялся маленькими черными усами, а выпуклый лоб — прядями небрежно спутанных, выющихся волос. Он был маленький, ниже среднего

роста, но его гибкая фигура, сложенная изящно, скрадывала этот недостаток. Он смотрел на Полканова так, как смотрят близорукие, в бледном лице его было что-то очень симпатичное, но болезненное. В берете, в костюме из бархата он действительно был бы пажом, убежавшим с картины, изображающей средневековый двор.

— Бенковский! — глухо сказал он, протягивая Ипполиту Сергеевичу, взошедшему на ступеньки террасы, белую руку с тонкими и длинными пальцами музыканта.

Молодой ученый крепко пожал руку.

С минуту оба неловко молчали, потом Полканов заговорил о красоте парка. Юноша отвечал ему кратко, заботясь, очевидно, только о соблюдении вежливости и не проявляя никакого интереса к собеседнику.

Скоро явилась Елизавета Сергеевна в свободном белом платье, с черными кружевами на воротнике, подпоясанная длинным черным шнуром с кистями на концах. Этот костюм хорошо гармонировал с ее спокойным лицом, придавая величавое выражение его мелким, но правильным чертам. На щеках ее играл румянец удовольствия, и холодные глаза смотрели оживленно.

— Сейчас будем обедать, — объявила она. — Я вас угощу мороженым. А вы, Александр Петрович, почему такой скучный? Вы не забыли Шуберта?

— Привез и Шуберта и книги, — ответил он, откровенно и мечтательно любуясь ею.

Ипполит Сергеевич видел выражение его лица и чувствовал себя неловко, понимая, что этот милый юноша, должно быть, дал себе обет не признавать его существования.

— Прекрасно! — воскликнула Елизавета Сергеевна, улыбаясь Бенковскому. — После обеда мы с вами играем?

— Если вам будет угодно! — Он склонил пред ней голову.

Это вышло у него грациозно, но все-таки заставило внутренне усмехнуться Ипполита Сергеевича.

— Мне очень угодно, — кокетливо объявила его сестра.

— А вы любите Шуберта? — спросил Ипполит Сергеевич.

— Прежде всего Бетховен — Шекспир музыки, — ответил Бенковский, повернув к нему свое лицо в профиль.

Ипполит Сергеевич слышал и раньше, что Бетховена называют Шекспиром музыки, но разница между Шубертом и им составляла для него одну из тех тайн, которые его совершенно не интересовали. Его интересовал этот мальчик, и он серьезно спросил:

— Почему же вы ставите именно Бетховена прежде всего?

— Потому что он идеалист более, чем все творцы музыки, взятые вместе.

— Да? Вы тоже принимаете за истинное это мировоззрение?

— Несомненно. И знаю, что вы крайний материалист. Читал ваши статьи, — объяснился Бенковский, и глаза его странно сверкнули.

«Он хочет спорить! — подумал Полканов. — А он хороший малый, прямой и, должно быть, свято честный».

Его симпатия к идеалисту, осужденному носить туфли покойника, увеличилась.

— Значит, мы с вами враги? — улыбаясь, спросил он.

— Как мы можем быть друзьями? — горячо воскликнул Бенковский.

— Господа! — крикнула им Елизавета Сергеевна из комнаты. — Не забывайте, что вы только что познакомились...

Горничная Маша, гремя посудой, накрывала на стол и исподлобья посматривала на Бенковского глазами, в которых сверкало простодушное восхищение. Ипполит Сергеевич тоже смотрел на него, думая, что к этому юноше следует относиться со всей возможной деликатностью и что было бы хорошо избежать «идейных» разговоров с ним, потому что он, наверное, в спорах волнуется до бешенства. Но Бенковский смотрел на него с горячим блеском в глазах и нервной дрожью на лице. Очевидно, ему страстно хотелось говорить и он с трудом сдерживал это желание. Полканов решил замкнуться в рамки официальной вежливости.

Его сестра, сидя за столом, красиво бросала то тому, то другому незначительные фразы в шутилом тоне, мужчины кратко отвечали на них — один с фамильярной небрежностью родственника, другой с уважением влюблен-

ного. И все трое были охвачены чувством неловкости, заставлявшим их следить друг за другом и каждого за собой.

Маша внесла на террасу первое блюдо.

— Пожалуйте, господа! — пригласила Елизавета Сергеевна, вооружаясь разливательной ложкой. — Вы выпьете водки?

— Я — да! — сказал Ипполит Сергеевич.

— Я не буду, если позволите, — заявил Бенковский.

— Позволяю, и охотно. Но ведь вы пьете?

— Не хочу...

«Чокнуться с материалистом», — подумал Ипполит Сергеевич.

Вкусный суп с пирожками или корректное поведение Полканова как будто несколько охладили и смягчили суровый блеск черных глаз юноши, и, когда подали второе, он заговорил:

— Может быть, вам показалось вызывающим мое восклицание в ответ на ваш вопрос — враги ли мы? Может быть, это невежливо, но я полагаю, что отношения людей друг к другу должны быть свободны от официальной лжи, всеми принятой за правило.

— Вполне согласен с вами, — улыбнулся ему Ипполит Сергеевич. — Чем проще, тем лучше. И ваше прямое заявление только понравилось мне, если позволите сказать прямо.

Бенковский грустно усмехнулся, говоря:

— Мы действительно неприятели в сфере идей, и это определяется сразу, само собой. Вот вы говорите: проще — лучше, я тоже так думаю, но я влагаю в эти слова одно содержание, вы — другое...

— Разве? — спросил Ипполит Сергеевич.

— Несомненно, если вы пойдете прямым путем логики от взглядов, изложенных в вашей статье.

— Я, конечно, сделаю это...

— Вот видите... И с моей точки зрения ваше понятие о простоте будет грубо. Но оставим это... Скажите — представляя себе жизнь только механизмом, вырабатывающим все — и в том числе идеи, — неужели вы не ощущаете внутреннего холода и нет в душе у вас ни капли сожаления о всем таинственном и чарующе красивом, что низводится вами до простого химизма, до перемещения частиц материи?

— Гм... этого холода я не ощущаю, ибо мне ясно мое место в великом механизме жизни, более поэтическом, чем все фантазии... Что же касается до метафизических брожений чувства и ума, то ведь это, знаете, дело вкуса. Пока еще никто не знает, что такое красота? Во всяком случае, следует полагать, что это ощущение физиологическое.

Один говорил глухим голосом, полным задушевности и скорбных нот сожаления к заблуждающемуся противнику; другой — спокойно, с сознанием своего умственного превосходства, с желанием не употреблять тех слов, колющих самолюбие противника, которых всегда так много в споре двух людей о том, чья истина ближе к истине. Елизавета Сергеевна, тонко улыбаясь, следила за игрой их физиономий и спокойно кушала, тщательно обгладывая косточки дичи. Из-за дверей выглядывала Маша и, очевидно, хотела понять то, что говорят господа, потому что лицо у нее было напряжено и глаза стали круглыми, утратив свойственное им выражение хитрости и ласки.

— Вы говорите — действительность, но что она, когда всё вокруг нас и мы сами только химизм и механизм, неустанно работающий? Всюду движение и все движение, нет ни одной сотой секунды покоя, — как же я уловлю действительность, как познаю ее, если сам я в каждый данный момент не то, чем был, и не то, чем буду в следующий? Вы, я — мы только материя? Но однажды мы будем лежать под образами, наполняя воздух скверным запахом гниения... От нас останутся на земле, быть может, только выцветшие фотографии, и они никогда никому ничего не скажут о радостях и муках нашего бытия, поглощенных неизвестностью. Неужели не страшно верить в то, что все мы, думающие и страдающие, живем лишь для того, чтобы сгнить?

Ипполит Сергеевич внимательно слушал его речь и думал про себя:

«Если бы ты был убежден в истине твоей веры, — ты был бы спокоен. А ты вот кричишь. И не потому ты, брат, кричишь, что ты идеалист, а потому, что у тебя скверные нервы».

А Бенковский, глядя в лицо ему пылающими глазами, все говорил:

— Вы говорите — наука, — прекрасно! — преклоняюсь пред ней, как пред могучим усилием ума разрешить узы оковывающей меня тайны... Но я вижу себя при свете ее там же, где стоял мой далекий предок, непоколебимо веривший в то, что гром гремит по милости пророка Илии. Я не верю в Илию, я знаю — это действие электричества, но чем оно яснее Илии? Тем, что сложнее? Оно так же необъяснимо, как и движение и все другие силы, которыми безуспешно пытаются заменить одну. И порой мне кажется, что дело науки целиком сводится к усложнению понятий — только! Я думаю, что хорошо верить; надо мной смеются, мне говорят: нужно не верить, а знать. Я хочу знать, что такое материя, и мне отвечают буквально так: «материя — это содержимое того места пространства, в котором мы объективируем причину воспринятого нами ощущения». Зачем так говорить? Разве можно выдавать это за ответ на вопрос? Это насмешка над тем, кто страстно и искренно ищет ответов на тревожные запросы своего духа... Я хочу знать цель бытия — это стремление моего духа тоже осмеивается. А ведь я живу, это не легко и дает мне право категорически требовать от монополистов мудрости ответа — зачем я живу?

Полканов исподлобья смотрел в пылающее волнением лицо Бенковского и сознавал, что этому юноше нужно возражать словами, равными его словам по силе вложенного в них буйного чувства. Но, сознавая это, он не чувствовал желания возражать. А огромные глаза юноши стали еще больше, — в них горела страстная тоска. Он задыхался, белая, изящная кисть его правой руки быстро мелькала в воздухе, то судорожно сжатая в кулак и угрожающая, то как бы ловя что-то в пространстве и бессильная поймать.

— Ничего не давая, как много взяли вы у жизни! На это вы возражаете презрением... А в нем звучит — что? Ваше неумение жалеть людей. Ведь у вас хлеба духовного просят, а вы камень отрицания предлагаете! Ограбили вы душу жизни, и, если нет в ней великих подвигов любви и страдания — в этом вы виноваты, ибо, рабы разума, вы отдали душу во власть его, и вот охладела она и умирает, больная и нищая! А жизнь

все так же мрачна, и ее муки, ее горе требуют героев... Где они?

«Да он припадочный какой-то!» — восклицал про себя Ипполит Сергеевич, с неприятным содроганием глядя на этот клубок нервов, дрожащий пред ним в тоскливом возбуждении. Он пытался остановить бурное красноречие своего будущего зятя, но это было безуспешно, ибо, охваченный вдохновением своего протеста, юноша ничего не слышал и, кажется, не видел. Он, должно быть, долго носил в себе все эти жалобы, лившиеся из его души, и был рад, что может высказаться пред одним из тех людей, которые, по его мнению, испортили жизнь.

Елизавета Сергеевна любовалась им, прищулив светлые глаза, и в них сверкала искорка вождения.

— Во всем, что вы так сильно и красиво сказали, — размеренно и ласково заговорил Ипполит Сергеевич, воспользовавшись невольной паузой утомленного оратора и желая успокоить его, — во всем этом звучит бесспорно много искреннего чувства, пытливого ума...

«Что бы ему сказать этакое охлаждающее и примиряющее?» — усиленно думал он, сплетая сеть комплиментов.

Но его выручила из затруднительного положения сестра. Она уже насытилась и сидела, откинувшись на спинку кресла. Темные волосы ее были причесаны старомодно, но эта прическа в форме короны очень шла властному выражению ее лица. Ее губы, вздрогнувшие от улыбки, открыли белую и тонкую, как лезвие ножа, полоску зубов, и, красивым жестом остановив брата, она сказала:

— Позвольте и мне слово! Я знаю одно изречение какого-то мудреца, и оно гласит: «Неправы те, которые говорят — вот истина, но неправы и те, которые возражают им — это ложь, а прав только Саваоф и только Сатана, в существование которых я не верю, но которые где-нибудь должны быть, ибо это они устроили жизнь такой двойственной и это она создала их. Вы не понимаете? А ведь я говорю тем же человеческим языком, что и вы. Но всю мудрость веков я сжимаю в несколько слов, для того чтобы вы видели ничтожество вашей мудрости».

Кончив свою речь, она с очаровательно ясной улыбкой спросила у мужчин:

— Как вы это находите?

Ипполит Сергеевич молча пожал плечами, — его возмущали слова сестры, но он был доволен тем, что она укротила Бенковского.

А с Бенковским произошло что-то странное. Когда Елизавета Сергеевна заговорила, — его лицо вспыхнуло восторгом и, бледнея с каждым ее словом, выражало уже нечто близкое к ужасу в тот момент, когда она поставила свой вопрос. Он хотел что-то ответить ей, его губы нервно вздрагивали, но слова не сходили с них. Она же, великодушная в своем спокойствии, следила за игрой его лица, и, должно быть, ей нравилось видеть действие своих слов на нем, в глазах ее сверкало удовольствие.

— Мне, по крайней мере, кажется, что в этих словах действительно весь итог огромных фолиантов философии, — сказала она, помолчав.

— Ты права до известной степени, — криво усмехнулся Ипполит Сергеевич, — но все же...

— Так неужели человеку нужно гасить последние искры Прометеева огня, еще горящие в душе его, облагораживая ее стремления? — с тоской глядя на нее, воскликнул Бенковский.

— Зачем же, если они дают нечто положительное... приятное вам! — улыбаясь, сказала она.

— Ты берешь очень опасный критерий для определения положительного, — сухо заметил ей брат.

— Елизавета Сергеевна! Вы — женщина, скажите: великое идейное движение женщин какие отзвуки будит в вашей душе? — спрашивал вновь разгоравшийся Бенковский.

— Оно интересно.

— Только?

— Но я думаю, что это... как вам сказать?.. это стремление лишних женщин. Они остались за бортом жизни, потому что некрасивы или потому, что не сознают силы своей красоты, не знают вкуса власти над мужчиной... Они — лишние. Но — нужно есть мороженое.

Он молча взял зеленую вазочку из ее рук и, поставив ее перед собой, стал упорно смотреть на холодную, белую массу, нервно потирая свой лоб рукой, дрожащей от сдерживаемого волнения.

— Вот видите, философия портит не только вкус к жизни, но и аппетит, — шутила Елизавета Сергеевна.

А брат смотрел на нее и думал, что она играет в скверную игру с этим мальчиком. В нем весь этот разговор вызвал ощущение скуки, и, хотя ему жалко было Бенковского, эта жалость не вмещала в себе сердечной теплоты.

«Sic visum Veneri!» * — решил он, вставая из-за стола и закуривая папиросу.

— Будем играть? — спросила Елизавета Сергеевна Бенковского.

И, когда он, в ответ на ее слова, покорно склонил голову, они ушли с террасы в комнаты, откуда вскоре раздались аккорды рояля и звуки настраиваемой скрипки. Ипполит Сергеевич сидел в удобном кресле у перил террасы, скрытой от солнца кружевной завесой дикого винограда, всполавшего с земли до крыши по натянутым бечевкам, и слышал все, что говорят сестра и Бенковский. Окна гостиной, закрытые только зеленью цветов, выходили в парк.

— Вы написали что-нибудь за это время? — спрашивала Елизавета Сергеевна, давая тон скрипке.

— Да, маленькую пьеску.

— Прочитайте!

— Право, не хочется.

— Хотите, чтоб я просила вас?

— Хочу ли? Нет... Но хотел бы прочитать те стихи, которые теперь слагаются у меня...

— Пожалуйста!

— Да, я прочту... Но они только что явились... и вы их вызвали к жизни...

— Как мне приятно слышать это!

— Не знаю... Может быть, вы говорите искренно... не знаю...

«Пожалуй, мне нужно уйти?» — подумал Ипполит Сергеевич. Но ему лень было двигаться, и он остался, успокоив себя тем, что им должно быть известно его присутствие на террасе.

* «Так угодно Венере». *Ред.*

Твоей спокойной красоты
Холодный блеск меня тревожит...

— раздался глухой голос Бенковского.

Ты осмеешь мои мечты?
Ты не поймешь меня, быть может?

— тоскливо спрашивал юноша.

«Боюсь я, что уж поздно тебе спрашивать об этом», — скептически улыбаясь, подумал Полканов.

В твоих очах — участия нет,
В словах — холодный смех мне слышен...
И чужд тебе безумный бред
Моей души...

Бенковский замолчал от волнения или недостатка рифмы.

А он так пышен!
В нем песен вихрь, в нем жизнь моя!
Он весь проникнут буйной страстью
Решить загадку бытия,
Найти для всех дорогу к счастью...

«Надо уйти!» — решил Полканов, невольно поднятый на ноги истерическими стонами юноши, в которых звучало одновременно и трогательное — прости! — миру его души, и отчаянное — помилуй! — обращенное к женщине.

Твой раб, — воздвиг тебе я трон
В безумствах сердца моего...
И жду...

«Своей гибели, ибо — так хочет Венера!» — закончил стихи ученый, идя по аллее парка.

Он удивлялся сестре: она не казалась настолько красивой, чтоб возбудить такую любовь в юноше. Наверное, она достигла этого тактикой сопротивления. Быть может, ему, как брату и порядочному человеку, следует поговорить с ней об истинном характере ее отношений к этому раскаленному страстью мальчику? А к чему может повести такой разговор теперь? И не настолько он компетентен в делах Амура и Венеры, чтоб вмешиваться в эту историю...

«А что было бы, если б этот факел страсти пылал пред сердцем Вареньки?»

Полканов не стал решать этот вопрос, а задумался о том, чем занята в данный момент девушка? Бьет по ще-

кам своего Никона? Он почувствовал обиду за нее. Как жалко, что она живет далеко и нельзя видеть ее чаще, чтобы день за днем расшатывать все то, что искажает ее душу!

Из дома неслись певучие звуки скрипки, нервные ноты рояля. Одна за другой в парке рождались фразы сладостных молений, нежного призыва.

С неба тоже лилась музыка — там пели жаворонки. Взъерошенный, черный, как кусок угля, на сучке липы сидел скворец и, пощипывая себе перья на грудке, многозначительно посвистывал, косясь на задумчивого человека, который медленно шагал по аллее, заложив руки назад и глядя куда-то далеко улыбающимися глазами.

Вечером за чаем Бенковский был более сдержан и не так похож на безумного; Елизавета Сергеевна казалась тоже согретой чем-то.

— Ты ничего не рассказываешь о Петербурге, Ипполит, — сказала Елизавета Сергеевна.

— Что о нем сказать? Очень большой и живой город.. Погода в нем сырая, а...

— А люди сухие, — перебил Бенковский.

— Далеко не все. Есть много совершенно размякших, покрытых плесенью очень древних настроений; везде люди довольно разнообразны!

— Слава богу, что это так! — воскликнул Бенковский.

— Да, жизнь была бы невыносимо скучна, если бы этого не было! — подтвердила Елизавета Сергеевна. — А что, в каком фаворе у молодежи деревня? Продолжают играть на понижение?

— Да, понемножку разочаровываются.

— Это явление очень характерно для интеллигенции наших дней, — усмехаясь, заявил Бенковский. — Когда она была, в большинстве, дворянской, оно не имело места. А теперь, когда сын кулака, купца или чиновника, прочитавший две-три популярные книжки, уже интеллигент, — деревня не может возбуждать интереса у такой интеллигенции. Разве она ее знает? Разве она для них может быть чем-то иным, кроме места, где хорошо пожить летом? Для них деревня — это дача, — да и вообще они дачники по существу их душ. Они явились, поживут и исчезнут, оставив за собой в жизни разные бумажки, обломки,

обрывки — обычные следы своего пребывания. Придут за ними другие и уничтожат этот сор, а с ним и память об интеллигенции позорных, бездушных и бессильных девяностых годов.

— Эти другие — реставрированные дворяне? — щуря глаза, спросил Полканов.

— Вы меня, кажется, поняли... очень нелестно для вас, извините! — вспыхнул Бенковский.

— Я спросил только, кто эти будущие?

— Они — молодая деревня! Пореформенное поколение ее, люди уж и теперь с развитым чувством человеческого достоинства, жаждущие знаний, пытливые и сильные, готовые заявить о себе.

— Приветствую их заранее, — равнодушно сказал Полканов.

— Да, нужно сознаться, что деревня начинает производить на свет нечто новое, — примиряюще заговорила Елизавета Сергеевна. — У меня тут есть очень интересные ребята — Иван и Григорий Шаховы, прочитавшие почти половину моей библиотеки, и Аким Мозырев, человек «все понимающий», как он заявляет. Действительно, блестящие способности! Я проверяла его — дала ему физику — прочитай и объясни закон рычага и равновесия, так он через неделю с таким эффектом сдал мне экзамен, просто я была поражена! Да еще говорит, отвечая на мои похвалы: «Что ж? Вы это понимаете, — значит, и мне никем не заказано — книжки сочиняются для всех!» Каков? А вот... их понимание своего достоинства пока еще развилось только до дерзостей и грубостей. Эти новорожденные свойства они применяют даже ко мне, но я терплю и не жалуюсь земскому начальнику, понимая, что на этой почве могут расцвести такие огненные цветы... пожалуй, в одно прекрасное утро проснешься только на пепле своей усадьбы.

Полканов улыбнулся. Бенковский взглянул на женщину с грустью.

Поверхностно задевая темы и не особенно сильно самолюбие друг друга, они побеседовали часов до десяти, и тогда Елизавета Сергеевна с Бенковским снова пошли играть, а Полканов простился с ними и ушел к себе, заметив, что его будущий зять не сделал даже и маленького

усилия скрыть то удовольствие, которое он чувствовал, провожая брата своей возлюбленной.

«...Узнаешь то, что хочешь узнать, и, как бы в виде вознаграждения за пытливость, является скука». Именно это обессиливающее ощущение почувствовал Полканов, когда сел за стол в своей комнате с намерением написать несколько писем знакомым. Он понимал мотивы своеобразных отношений сестры к Бенковскому, понимал и свою роль в ее игре. Все это было нехорошо, но в то же время все это было как-то чуждо ему, и душа его не возмущалась разыгравшейся пред ним пародией на историю Пигмалиона и Галатеи, хотя умом он осуждал сестру. Меланхолически постучав ручкой пера по столу, он уменьшил огонь лампы и, когда комната погрузилась в сумрак, стал смотреть в окна.

Тишина царил в парке, сквозь стекла окон луна казалась зеленоватой.

Под окнами мелькнула какая-то тень и исчезла, оставив за собой тихий шорох ветвей. Полканов, подойдя к окну, открыл его, — за деревьями мелькнуло белое платье горничной Маши.

«Что же? — подумал он, улыбаясь, — пусть хоть горничная любит, если барыня только играет в любовь».

Медленно исчезали дни — утомительно однообразные. Впечатлений почти не было, а работалось с трудом, ибо знойный блеск солнца, наркотические ароматы парка и задумчивые лунные ночи — все это возбуждало мечтательную лень.

Полканов наслаждался растительной жизнью, со дня на день откладывая решение приняться за работу. Иногда ему становилось скучно, он укорял себя в бездеятельности, недостатке воли, но все это не возбуждало у него желания работать, и он объяснял себе свою лень стремлением организма к накоплению энергии. По утрам, просыпаясь после здорового, крепкого сна, он, с наслаждением потягиваясь, отмечал, как упруги его мускулы, эластична кожа, как свободно и глубоко дышат легкие.

Прискорбная привычка философствовать, слишком часто проявлявшаяся у его сестры, первое время раздражала

его, но постепенно он помирился с этим недостатком Елизаветы Сергеевны и умел так ловко и безобидно доказать ей бесполезность философии, что она стала сдержаннее. Ее стремление обо всем рассуждать вызывало у него неприятное впечатление: он видел, что сестра рассуждает не из естественной склонности уяснить себе свое отношение к жизни, а лишь из предусмотрительного желания разрушать и опрокидывать все то, что так или иначе могло бы смутить холодный покой ее души. Она выработала себе схему практики, а теории лишь постольку интересовали ее, поскольку могли сгладить пред братом ее сухое, скептическое отношение к жизни и людям. Понимая это, он не чувствовал, однако, в себе желания упрекнуть и пристыдить сестру; он осуждал ее в уме, но в нем не было чего-то, что позволило бы высказать вслух свое осуждение.

Почти каждый раз после визита Бенковского он давал себе слово поговорить с сестрой об ее отношениях к юноше, и не находил удобного момента для этой беседы.

«Неизвестно, кто будет страдающей стороной, когда здравый смысл проснется в этом воспаленном господине, — оправдывал он себя. — Сестра твердо помнит, что он моложе ее, о ней нечего заботиться. А если она будет наказана, — что же? Так и следует, если жизнь справедлива...»

Варенька бывала часто. Они катались по реке вдвоем или втроем с сестрой, но никогда с Бенковским; гуляли по лесу, однажды ездили в монастырь верст за двадцать. Девушка продолжала нравиться ему и возмущать его своими дикими речами, но с нею всегда было приятно. Ее наивность смешила его и сдерживала в нем мужчину; цельность ее натуры вызывала в нем удивление.

Все чаще он спрашивал себя:

«Разве у меня нет столько энергии, сколько нужно для того, чтоб выбить из ее головы все эти глупости?»

Не видя ее, он чувствовал необходимость освободить ее мысль из уродливых пут, но Варенька являлась — и он забывал о своем решении. Иногда он замечал за собой, что слушает ее так, точно желает чему-то научиться у нее, и сознавал, что в ней было нечто, стесняющее свободу его ума. Случалось, что он, имея уже готовым возражение,

которое, ошеломив ее своею силой, убедило бы в очевидности ее заблуждений, — прятал это возражение в себе, как бы боясь сказать его. Поймав себя на этом, он думал:

«Неужели это у меня от недостатка уверенности в своей правде?»

И убеждал себя в противном. Ему трудно было говорить с ней еще и потому, что она почти не знала даже азбуки общепринятых взглядов. Нужно было начинать с основ, и ее настойчивые вопросы: почему? зачем? — постоянно заводили его в дебри отвлеченностей, где она уже совершенно не понимала ничего. Однажды, утомленная его противоречиями, она изложила ему свою философию в таких словах:

— Бог меня создал, как всех, по образу и подобию своему — значит, все, что я делаю, я делаю по его воле и живу — как нужно ему... Ведь он знает, как я живу? Ну, вот и все, и вы напрасно ко мне придираетесь!

Все чаще она раздражала в нем жгучее чувство самца, но он следил за собой и быстро гасил в себе чувственные вспышки, даже старался скрывать их от себя, когда же не мог скрыть, то говорил сам себе, виновато усмехаясь:

«Что же? — это естественно при ее красоте... А я мужчина, мой организм с каждым днем становится все крепче под влиянием солнца и воздуха... Это естественно, но ее странности вполне гарантируют от увлечения ею...»

У него не было сил любить слепо — он это знал, но в глубине его ума все чаще вспыхивала надежда обладать девушкой, и втайне от себя он ожидал, что она увлечется им. Рассуждая с самим собой о всем, что не унижало его в своих глазах, он удачно скрывал в себе все, что могло бы вызвать у него сомнение в своей порядочности...

Однажды за вечерним чаем сестра объявила ему:

— Знаешь, завтра день рождения Вареньки Олесовой. Нужно ехать. Мне хочется прокатиться... Да и лошадям это будет полезно.

— Поезжай... и поздравь ее от моего имени, — сказал он, чувствуя, что и ему тоже хочется ехать туда.

— А ты не хочешь поехать? — с любопытством глядя на него, спросила она.

— Я? Не знаю. Кажется, не хочу. Но могу и поехать.

— Это не обязательно! — заявила Елизавета Сергеевна и опустила веки, скрывая улыбку, сверкнувшую в ее глазах.

— Я знаю, — с неудовольствием сказал он.

Наступила длинная пауза, в течение которой Полканов сделал себе строгое замечание за то, что он так ведет себя по отношению к этой девушке, точно боится, что не устоит против ее чар.

— Она мне говорила, эта Варенька, что у них там прекрасная местность, — сказал он и покраснел, зная, что сестра поняла его. Но она ничем не выдала этого, напротив — стала его уговаривать.

— Да поедем, пожалуйста! Посмотришь, у них действительно славно. И мне будет более ловко с тобой... Мы ненадолго, хорошо?

Он согласился, но настроение у него было испорчено.

«Зачем это мне было нужно лгать? Что постыдного или противоестественного в том, что я хочу еще раз видеть красивую девушку?» — зло спрашивал он себя.

На следующее утро он проснулся рано, и первые звуки дня, пойманные его слухом, был громкий смех — так смеяться могла только Варенька. Полканов, приподнявшись на постели, сбросил с себя простыню и слушал, улыбаясь. То, что сразу вторглось в него и наполнило его душу, едва ли можно было бы назвать радостью, скорее это было ласково щекотавшее нервы предчувствие близкой радости. И, вскочив с постели, он начал одеваться с быстротой, которая смущала и смешила его. Неужели она, в день своего рождения, приехала звать к себе его и сестру? Вот милая девушка!

Когда он вошел в столовую, Варенька комически виновато опустила перед ним глаза и, не принимая его протянутой к ней руки, заговорила робким голосом:

— Я боюсь, что вы..

— Представь себе! — воскликнула Елизавета Сергеевна, — она сбежала из дома!

— Это как? — спросил Полканов.

— Потихоньку, — объяснила Варенька. — От женихов... Представьте, какие у них будут рожицы! Тетя Лучицкая — ей ужасно хочется вытурить меня замуж! — разослала им торжественные приглашения и наварила и

напекла для них столько, точно их — полк! Я помогала ей... а сегодня проснулась и верхом — марш сюда! Им оставила записку, что я поехала к Щербаковым.. понимаете? совсем в другую сторону!

Он смотрел на нее и смеялся, в груди у него рождалась ласкающая теплота. Она снова была в белом широком платье, складки его нежными струями падали с плеч до ног, окутывая ее тело легким облаком. Смех сиял в глазах ее, лицо горело румянцем.

— Вам не нравится, что я так сделала? Ведь это невежливо, я понимаю! — серьезно сказала она и тотчас же снова расхохоталась. — Воображаю я их! Разодетые, надушенные... напьются они с горя — боже мой, как!

— Много их? — спросил Ипполит Сергеевич, улыбаясь.

— Четверо...

— Чай налит! — объявила Елизавета Сергеевна. — Тебе придется поплатиться за эту выходку, Варя... Ты думаешь об этом?

— Нет, и — не хочу! — решительно ответила девушка, усаживаясь за стол. — Это будет — когда я ворочусь к ним, — значит, вечером, — потому что я пробуду у вас весь день. Зачем же с утра думать о том, что будет еще только вечером? Папа рассердится, но от него можно уйти и не слушать... Тетя? — она без памяти любит меня! Они? Я могу заставить их ходить вокруг меня на четвереньках... Вот бы смешно!.. Чернонебов не может, потому что у него живот!

— Варя! Ты с ума сходишь! — пыталась унять ее Елизавета Сергеевна.

— Не буду, — обещала девушка сквозь смех, но унялась не скоро, комически рисуя женихов и увлекая искренностью своего оживления брата и сестру.

Все время, пока пили чай, неустанно звучал смех. Елизавета Сергеевна смеялась с оттенком снисхождения к Варе, Ипполит пытался сдерживать себя и не мог. После чая стали обсуждать, чем бы наполнить этот весело начатый день? Варенька предложила поездку на лодке в лес и чаепитие там, и Ипполит Сергеевич немедленно согласился с ней. Но его сестра сделала озабоченное лицо и заявила:

— Я не могу — у меня сегодня неотложная поездка в Санино. Я думала ехать к тебе, Варя, и по дороге вернуть туда... но теперь уже необходимо отправиться нарочно...

Полканов искоса посмотрел на нее — ему казалось, что это она сейчас выдумала для того, чтоб оставить Варю наедине с ним. Но ее лицо выражало только неудовольствие и озабоченность.

Варенька была опечалена ее словами, но скоро снова оживилась:

— Ну, что ж? Тебе хуже, — а мы все-таки поедем! Ведь да?... Только вот что — можно с нами ехать Григорию и Маше?

— Григорию, конечно! Но — Маша, — кто же подаст обед?

— А кто же будет обедать? Ты поедешь к Бенковским, мы не вернемся до вечера.

— Хорошо, бери Машу...

Варенька умчалась куда-то. Полканов, закулив папироску, вышел на террасу и стал ходить по ней взад и вперед. Ему улыбалась эта прогулка, но Григорий и Маша казались излишними. Они будут стеснять его — это несомненно.

Через полчаса Ипполит и Варя стояли у лодки, около нее возился Григорий — рыжий, голубоглазый парень, с веснушками на лице и орлиным носом. Маша, укладывая в лодке самовар и разные узелки, говорила ему:

— А ты, рыжий, скорей возись; видишь — господа дожидаются.

— Сейчас будет готово, — тенором отвечал парень, укрепляя уключины.

Ипполит догадался, кто по ночам шмыгает мимо его окон.

— Вы знаете, — говорила Варя, сидя в лодке и кивком головы указывая на Григория, — он у нас тут тоже за ученого слывет... Законник.

— Уж вы скажете, Варвара Васильевна, — усмехнулся Григорий, показывая крепкие зубы. — Законник!

— Серьезно, Ипполит Сергеевич, — он знает все русские законы...

— В самом деле, Григорий? — поинтересовался Ипполит Сергеевич.

— Это они шутят, — где же! Все-то их, Варвара Васильевна, никто не знает.

— А тот, кто писал?

— Господин Сперанский? Они давным-давно померли...

— Что же вы читаете? — спросил Полканов, присматриваясь к смущенному лицу парня.

— А вот законы, как они говорят, — указал Григорий на Варю бойкими глазами. — Попал мне, случаем, десятый том, — я посмотрел, вижу — интересно. Стал читать... А теперь имею том первый... Первая статья в нем прямо говорит: «Никто не может отговариваться незнанием законов». Ну, я так думаю, что никто их не знает. Вот еще скоро учитель мне положение о крестьянах достанет; очень интересно почитать — что такое?

— Видите какой? — спрашивала Варенька.

— А много вы читаете? — допытывался Ипполит, вспоминая о Петрушке Гоголя.

— Читаю, когда время есть. Здесь книжек много... у одной Елизаветы Сергеевны — до тысячи. Только у нее всё романы да повести разные...

Лодка ровно шла против течения, тихо двигались берега, вокруг было упительное хорошо: светло, тихо, душисто. Полканов смотрел в лицо Вареньки, обращенное к широкогрудому гребцу, а он, мерно разбивая веслами гладь реки, говорил о своих литературных вкусах, довольный тем, что его охотно слушает ученый барин. В глазах Маши, следивших за ним из-под опущенных ресниц, светились любовь и гордость.

— Не люблю читать про то, как солнце садилось или восходило, и вообще про природу. Восходы эти я, может, не одну тысячу раз видел... Леса и реки тоже мне известны; зачем мне читать про них? А это в каждой книжке и, по-моему, совсем лишнее... Всяк по-своему заход солнца понимает... У всякого свои глаза есть. А вот про людей — интересно. Читаешь, так думаешь: «А как бы ты сам сделал, коли бы тебя на эту линию поставить?» Хоть и знаешь, что все это неправда.

— Что неправда? — спросил Ипполит Сергеевич.

— А книжки. Выдуманно. Про крестьян, например... Разве они такие, как в книжках? Про них все с жалостью пишут, дурачками их делают... нехорошо! Люди читают, думают — и в самом деле так, и не могут по-настоящему понять крестьянина... потому что в книжке-то он больно уж... глуп да плох...

Вареньке, должно быть, стали скучны эти речи, и она запела вполголоса, рассматривая берег потускневшими глазами.

— Вот что, — давайте мы с вами, Ипполит Сергеевич, встанем и пойдем пешком по лесу. А то сидим мы и печемся на солнце, — разве так гуляют? А Григорий с Машей поедут до Савеловой балки, там пристанут, приготовят нам чай и встретят нас... Григорий, приставай к берегу. Ужасно я люблю пить и есть в лесу, на воздухе, на солнце... Чувствуешь себя бродягой свободной...

— Вот видите, — оживленно говорила она, выпрыгнув из лодки на песок берега, — коснешься земли, сразу же и есть что-то... бунтующее душу. Вот я насыпала себе песку полные ботинки... а одну ногу обмочила в воде... Это неприятно и приятно, значит — хорошо, потому что заставляет чувствовать себя... Смотрите, как быстро пошла лодка!

Река лежала у ног их и, взволнованная лодкой, тихо плескалась о берег. Лодка стрелой летела к лесу, оставляя за собой длинный след, блестящий на солнце, как серебро. Видно было, что Григорий смеялся, глядя на Машу, а она грозила ему кулаком.

— Это влюбленные, — сообщила Варенька, улыбаясь. — Маша уже просила у Елизаветы Сергеевны позволения выйти замуж за Григория. Но Елизавета Сергеевна пока не разрешила ей этого; она не любит замужней и женатой прислуги. А вот у Григория осенью кончится срок службы, и тогда он стащит Машу у вас... Они славные оба. Григорий просит меня продать ему земли в рассрочку... десять десятин хочет. Но я не могу, пока папа жив, и это жалко... Я знаю, что он выплатил бы мне все и очень аккуратно... он ведь на все руки... и слесарь, и кузнец, и вот кучером служит у вас... Кокович — земский начальник и мой жених — говорит мне про него так: «Эт-тё, знатё, опасно бестие — не поважает начальствё!»

— Кто он, этот Кокович? Поляк? — спросил Ипполит, любуясь ее гримасами.

— Мордвин, чуваш — я не знаю! У него ужасно длинный и толстый язык, он не помещается во рту и мешает ему говорить... Ух! Какая грязь!

Им преграждала дорогу лужа воды, покрытая зеленой плесенью, окруженная черным бордюром жирной грязи. Полканов посмотрел на свои ноги, говоря:

— Нужно обойти стороной.

— Вы разве не перепрыгнете? Я думала, что она высохла уже!.. — с негодованием, топая ножкой, воскликнула Варенька. — Стороной идти далеко... и потом оборвусь я там... Попробуйте перепрыгнуть! Это легко, смотрите — р-раз!

Она подпрыгнула и бросилась вперед: ему показалось, что это платье сорвалось с плеч ее и полетело по воздуху. Но она стояла на той стороне лужи и с сожалением восклицала:

— Ай, как я испачкалась! Нет, вы идите стороной... фи, какая гадость!

Он смотрел на нее и бледно улыбался, ловя в себе какую-то дразнившую его темную мысль и чувствуя, что его ноги погружаются глубоко в грязь. По ту сторону лужи Варенька встряхивала платье, оно издавало мягкий шум, Ипполит при его колебаниях видел тонкие чулки на стройных ножках. На миг ему показалось, что грязь, разделявшая их друг от друга, имеет смысл предостережения ему или ей. Он торопливо пошел в сторону в кусты, где все-таки ему пришлось шагать по воде, скрытой травой. С мокрыми ногами и каким-то неясным ему решением он вышел к ней, — она, с гримасой указывая ему на свое платье, сказала:

— Смотрите — хорошо? Бя!

Он смотрел, — черные пятна грязи резали глаза, торжествующе красуясь на белой материи.

— Я люблю и привык видеть тебя такой свято чистой, что даже пятно грязи на твоём платье бросает черную тень на мою душу, — медленно выговорил Ипполит, с улыбкой глядя в лицо Вареньки.

Ее глаза вопросительно стояли на лице его, а он чувствовал, что его грудь как бы наполняется жгучей пеной, и вот она сейчас превратится в чудесные слова, которыми

он еще никогда, ни с кем не говорил, ибо не знал их до сей поры.

— Что такое вы сказали? — настойчиво спрашивала Варенька.

Он вздрогнул, вопрос ее звучал строго. Стараясь говорить спокойно, он объяснил ей:

— Это — стихи, — по-русски они выходят прозой... но вы слышите ведь, что это стихи? Это, кажется, итальянские стихи, — не помню, право... А впрочем, это, может быть, и проза из какого-нибудь романа...

— Как это, нуте-ка, скажите еще? — попросила она его, вдруг задумавшись над чем-то.

— Я люблю... — он остановился, потирая себе лоб рукой. — Поверите ли? Ведь я забыл, как сказал. Честное слово — забыл!

— Ну, — пойдете! — И она решительно двинулась вперед.

Ипполит старался объяснить себе свою странную выходку и не мог. Было неловко пред Варенькой. Она шла рядом с ним, молча, наклонив голову, не смотрела на него, и ему казалось, что она думает о нем нехорошо. Напряженно-весело он заметил:

— Знали бы ваши женихи, как вы проводите время.

Девушка посмотрела на него так, точно он призвал ее откуда-то издалека, но тотчас ее лицо стало простым, детски милым.

— Да! Но они узнают, о! узнают! И... может быть, такое подумают обо мне...

— Вы боитесь этого?

— Я? — равнодушно спросила она.

— Простите меня за вопрос.

— Вы ведь не знаете меня... не знаете, как они противны мне! Иногда мне хочется свалить их себе под ноги и ходить по их лицам... наступая им на губы, чтобы они не могли ничего говорить. У! они подлые!

Злоба и бессердечие сверкали в ее глазах так ярко, что ему стало неприятно смотреть на нее, и он отвернулся, говоря ей:

— Как грустно, что вам приходится жить среди ненавистных вам людей... Неужели между ними нет ни одного, который... казался бы вам порядочным...

— Нет! Знаете, — ужасно мало на свете интересных людей... Все такие пришибленные, неодушевленные, противные...

Он улыбнулся над ее жалобой и сказал с оттенком иронии, самому ему непонятной:

— Так говорить вам рано еще. А вот подождите немножко — и встретите человека, который удовлетворит вас... Он будет всячески интересен для вас...

— Это кто? — быстро спросила она и даже остановилась.

— Ваш будущий муж.

— Но — кто он?

— Как же я могу это знать! — пожал плечами Полков, недовольно отметив живость ее вопросов.

— А — говорите! — вздохнула девушка

Они шли кустарником; дорога лежала среди него, как потерянная лента, вся в капризных изгибах. Теперь перед ними встал густой лес.

— Вам хочется выйти замуж? — спросил Ипполит Сергеевич.

— Да... не знаю! Не думается об этом, — просто ответила она. Взгляд ее красивых глаз, устремленный вдаль, был сосредоточен, точно она вспомнила что-то далекое и дорогое ей.

— Вам нужно пожить зиму в городе — там ваша красота обратит на вас всеобщее внимание, и вы скоро найдете то, что хотите... Потому что многие и сильно пожелают назвать вас своей женой, — задумчиво, негромко и медленно говорил он.

— Нужно, чтоб я позволила это!

— Как вы можете запретить желать?

— Ах, да! Конечно... пусть желают!

Они прошли несколько шагов в молчании.

Она, задумчиво рассматривая даль, все вспоминала что-то, он же зачем-то считал пятна грязи на ее платье. Их было семь: три большие, похожие на звезды, два — как запятые, и одно — точно мазок кистью. Своим черным цветом и формой расположения на материи они что-то значили для него.

— Вы влюблялись? — раздался ее голос, серьезный и пытливый.

— Я? — вздрогнул Ипполит. — Да... давно уже, когда был юношей...

— Я тоже давно... — сообщила она.

— А... кто он? — спросил Полканов, не чувствуя неловкости вопроса, и, сорвав попавшуюся под руку ветку, далеко отбросил ее от себя.

— Он-то? Он — конокрад... Три года прошло с той поры, как я видела его. Семнадцать лет тогда было мне... Его однажды поймали, избили и привезли к нам на двор. Он лежал в телеге, скрученный веревками, и молчал, глядя на меня... я стояла на крыльце. Помню, утро было такое ясное — это было рано утром, и все у нас еще спали...

Она замолчала, вспоминая.

— Под телегой была лужа крови — жирная такая лужа — и в нее падали тяжелые капельки из него... Его звали — Сашка Ремезов. Мужики пришли на двор и, глядя на него, ворчали, как собаки. У всех глаза были злые, а он смотрел на них спокойно... Я чувствовала, что он — избитый и связанный — считает себя лучше всех. Он так уж смотрел... глаза у него были большие, карие. Мне было жалко его и страшно. Я пошла в дом, налила ему стакан водки... вышла и подаю ему. А у него руки связаны, и он не может выпить... он сказал мне, подняв немного свою голову, всю в крови: «Дайте, барышня, ко рту». Я поднесла ему, — он выпил так медленно, медленно и сказал: «Спасибо вам, барышня! Дай боже вам счастья!» Тогда я вдруг как-то шепнула ему: «Убегите!» А он громко ответил: «Если жив буду — непременно убегу! Уж поверьте!» — и мне ужасно понравилось, что он сказал это так громко, что все слышали на дворе. Потом он говорит: «Барышня! Велите вымыть мне лицо!» Я сказала Дуне, и она обмыла... лицо осталось синее, опухшее от побоев... да! Скоро его увезли, и, когда телега съезжала со двора, я смотрела на него, а он мне кланялся и улыбался глазами... хотя он очень сильно был избит... Сколько я плакала о нем! Как я молилась богу за то, чтоб он убежал...

— Вы что же... — иронически перебил ее Ипполит, — может быть, ждете, что он убежит и явится к вам и... тогда выйдете за него замуж?

Она не услышала или не поняла иронии, ибо просто ответила:

— Ну, зачем он сюда явится?

— А если бы явился — вы вышли бы?

— За мужика?.. Нет, я думаю!

Полканов рассердился.

— Испортили вы себе голову вашими романами, вот что я вам скажу, Варвара Васильевна, — строго заговорил он.

При звуке его сухого голоса она, с удивлением, взглянула в лицо ему и стала молча, внимательно слушать его суровые, почти карающие слова. Он доказывал ей, как развращает ум эта, излюбленная ею, литература, искажающая действительность, чуждая облагораживающих идей, равнодушная к печальной правде жизни, к желаниям и мукам людей. Голос его резко звучал в тишине леса, и часто в придорожных ветвях раздавался тревожный шорох — кто-то прятался там. Из листьев на дорогу смотрел пахучий сумрак, порой по лесу проносился протяжный звук, похожий на подавленный вздох, и листва трепетала слабо, как во сне.

— Нужно читать только те книги, которые учат понимать смысл жизни, желания людей и мотивы их поступков. Нужно знать, как плохо живут люди и как хорошо они могли бы жить, если бы были более умны и более уважали права друг друга. А те книги, которые вы читаете, лгут, и лгут грубо. Вот они внушили вам дикое представление о героизме... И что же? Теперь вы будете искать в жизни таких людей, каковы они в этих книжках...

— Нет, конечно, не буду! — серьезно сказала девушка. — Я знаю — таких нет. Но тем-то книжки и хороши, что они изображают то, чего нет. Обыкновенное — везде, вся жизнь обыкновенная. Уж очень много говорят о страданиях... Это, наверное, неправда, а если это неправда — нехорошо говорить много о том, чего на самом деле меньше! Вот вы говорите, что в книгах нужно искать... примерных чувств и мыслей... и что все люди заблуждаются и не понимают себя... Так ведь книги пишут люди же! И почему я знаю, во что нужно верить и которое лучше? А в тех книжках, на которые вы нападаете, очень много благородного...

— Вы не поняли меня, — с раздражением воскликнул он.

— Да? Вы на меня сердитесь за это? — виноватым голосом спросила она.

— Нет! Конечно, я не сержусь...

— Вы сердитесь, я знаю, знаю! Я ведь и сама сержусь всегда, когда не соглашаюсь со мной! Но зачем вам нужно, чтоб я согласилась с вами? И мне тоже... Зачем вообще все люди всегда спорят и хотят, чтоб с ними согласились? Ведь тогда и говорить нельзя будет ни о чем.

Она засмеялась и сквозь смех закончила:

— Точно все хотят, чтобы от всех слов осталось только одно — да! Ужасно весело!

— Вы спрашиваете, зачем мне нужно...

— Нет, я понимаю; вы привыкли учить, и для вас уж необходимо, чтоб вам не мешали возражениями.

— Вовсе не так! — с огорчением воскликнул Полканов. — Я хочу вызвать у вас критику всего, что творится вокруг вас и в вашей душе.

— Зачем? — спросила она, наивно взглянув в его глаза.

— Боже мой! Как это — зачем? Чтобы вы умели проверять свои чувства, думы, поступки... чтобы разумно относились к жизни, к себе самой.

— Ну, это... должно быть, трудно! Проверять себя, критиковать себя... как это? Я ведь — одна... И что же... как же? надвое расколоться мне, что ли? Вот не понимаю! У вас выходит так, что правда только вам известна... Положим, это и у меня... и у всех... Но, значит, все и ошибаются! Потому что ведь вы говорите — правда одна для всех, да?.. А смотрите — какая красивая поляна!

Он смотрел, не возражая ей. В нем бушевало чувство недовольства собой. Он привык считать глупыми людей, не соглашавшихся с ним; в лучшем случае он признавал их лишенными способности развиваться дальше той точки, на которой застыл их ум, — к таким людям он относился с презрением и жалостью. Но эта девушка не казалась ему глупой, не возбуждала его обычных чувств к оппонентам. Почему же это? Он отвечал себе:

«Несомненно только потому, что она подавляюще красива... Ее дикие речи можно, пожалуй, не ставить

в вину ей... они оригинальны, а оригинальность вообще встречается крайне редко, тем более в женщине».

Человек высокой культуры, он внешне относился к женщине, как к существу умственно равному, но в глубине души, как все мужчины, думал о женщине скептически и с иронией.

Они медленно шли по широкой, почти правильно круглой поляне. Дорога двумя черными линиями колеи резала ее поперек и снова скрывалась в лесу. Среди поляны стояла маленькая толпа стройных молодых березок, бросающая кружевные тени на стебли скошенной травы. Недалеко от них склонился к земле полуразрушенный шалаш из ветвей; внутри его виднелось сено, а на нем сидели две галки. Ипполиту они казались совершенно ненужными и нелепыми среди этой маленькой и красивой пустыни, окруженной со всех сторон темными стенами таинственного молчавшего леса. Галки боком смотрели на людей, шедших по дороге, и в их позах было что-то безбоязненное, уверенное, — точно они, сидя на шалаше, охраняли вход в него, сознавая это как свою обязанность.

— Вы не устали? — спросил Полканов, с чувством, близким к гневу, рассматривая галок.

— Я? Гуляя — устать? Это даже обидно слушать! К тому ж, до места, где нас ждут, осталось не более версты... Вот, сейчас войдем в лес, и дорога пойдет под гору. Лес там сосновый, он стоит на высоком пригорке и называется Савелова Грива. Сосны — громадные, и стволы у них без ветвей, только вверх каждой темнозеленый зонтик. Тихо, жутко, вся земля усыпана хвоей, лес кажется подметенным. Когда я гуляю в нем, мне почему-то всегда думается о боге... вокруг его престола, должно быть, так же жутко... ангелы не славословят его — это неправда! Зачем ему слава? Разве он сам не знает, как он велик?

В уме Ипполита Сергеевича сверкнула яркая мысль: «Что, если я воспользуюсь авторитетом догмата, чтобы поднять целину ее души?»

Но он тотчас же гордо отверг это невольное признание в своей слабости пред нею. Было бы нечестно действовать силой, в существование которой не веришь.

— Вы не верите в бога? — как бы ловя его мысль, спросила она.

— Почему вы так думаете?

— Все ученые не верят...

— Уж и все! — усмехнулся он, не желая говорить с ней на эту тему. Но она не отступала от него.

— Разве не все? Пожалуйста, расскажите о тех, которые совсем не верят!.. Я не понимаю, как это можно? Откуда же все явилось?

Он помолчал, будя свой ум, сладко дремавший под звуки ее речей. Потом заговорил о происхождении мира так, как он понимал его:

— Могучие неведомые силы вечно движутся, сталкиваются, и великое движение их рождает видимый нами мир, в котором жизнь мысли и былинки подчинены одним и тем же законам. Это движение не имело начала и не будет иметь конца..

Девушка внимательно слушала его и часто просила объяснить ей то или другое. Он объяснял с удовольствием, видя напряжение мысли на ее лице. Но, когда он кончил, она, помолчав с минуту, простодушно спросила его:

— Но ведь тут начато не с начала! А в начале был бог. Как же это? Тут о нем просто не говорится, разве это и значит не верить в него?

Он хотел возразить ей, но по выражению ее лица понял, что это бесполезно. Она верила — об этом свидетельствовали ее глаза. Тихо, с боязнью, она говорила ему что-то странное.

— Когда видишь людей и как все это гадко у них и потом вспомнишь о боге, о страшном суде — даже сердце сожмется! Потому что ведь он может всегда — сегодня, завтра, через час — потребовать ответов... И знаете, иногда мне кажется — это будет скоро! Днем это будет... сначала погаснет солнце... а потом вспыхнет новое пламя, и в нем явится он.

Ипполит Сергеевич слушал ее бред и думал:

«В ней есть все, кроме того, чему необходимо следовало бы быть...»

Ее речи вызвали бледность на ее лице, испуг был в глазах у нее.

Но ее бред исчез вдруг, когда до них донесся громкий смех, звучавший где-то близко.

— Слышите? Это Маша, — вот мы и пришли!

И, ускорив шаги, крикнула:

— Маша, ау!

Вышли на берег реки; он полого спускался к воде, по откосу его были капризно разбросаны веселые группы берез и осин. На противоположном берегу стояли у самой воды высокие, молчаливые сосны, наполняя воздух густым, смолистым запахом. Там все было хмуро, неподвижно и пропитано суровой важностью, а здесь — грациозные березы качали гибкими ветвями, нервно дрожала серебристая листва осины, калинник и орешник стоял пышными купами, отражаясь в воде; там желтел песок, усеянный рыжеватой хвоей; здесь под ногами зеленела отава, чуть пробивавшаяся среди срезанных стеблей; от разбросанных, между деревьев, копен пахло свежим сеном. Река, спокойная и холодная, отражала, как зеркало, два берега, не похожие друг на друга.

В тени группы берез был разостлан яркий ковер, на нем стоял самовар, испуская струйки пара и голубой дым, а около него, присев на корточки, возилась Маша с чайником в руке. Лицо у нее было красное, счастливое, волосы на голове мокрые.

— Ты купалась? — спрашивала у нее Варенька. — А где Григорий?

— Тоже купаться поехал. Скоро уж вернется.

— Да мне его не нужно. Я хочу есть, пить и... есть и пить! Вот как! А вы, Ипполит Сергеевич?

— Не откажусь!

— Маша, живо!

— Что сначала прикажете? Цыплят, паштет...

— Все сразу давай и можешь исчезнуть! Может быть, тебя ждет кто-нибудь?

— Ровно бы некому, — тихонько засмеялась Маша, благодарными глазами взглядывая на нее...

— Ну, ладно, притворяйся!

«Как это у нее просто все выходит», — думал Ипполит Сергеевич, принимаясь за цыплят.

А Варенька со смехом вышучивала смущение Маши, стоявшей перед нею потупив глаза и с улыбкой счастья на лице.

— погоди, он тебя заберет в руки! — грозила она.

— Ка-ак же! Так я ему и дамся!.. Я, знаете, я его... — и она, закрыв лицо передником, закачалась на ногах в приступе неудержимого смеха. — Дорогой в воду ссунула!

— Ну? Молодец! А как же он?

— Плыл за лодкой... и... и все упрасивал, чтоб я его пустила... а я ему... веревку бросила с кормы!

Заразительный смех двух женщин принудил и Полканова расхохотаться. Он смеялся не потому, что представлял себе Григория плывущим за лодкой, а потому, что хорошо ему было. Чувство свободы от самого себя наполняло его, и порой он точно откуда-то издали удивлялся себе, замечая, что никогда раньше он не был так просто весел, как в этот момент. Потом Маша исчезла, и они снова остались вдвоем.

Варенька полулежала на ковре и пила чай, а Ипполит Сергеевич смотрел на нее как бы сквозь дымку дремы. Вокруг них было тихо, лишь самовар пел задумчивую мелодию, да порой что-то шуршало в траве.

— Вы что молчаливый такой? — спросила Варенька, заботливо глядя на него. — Вам, может быть, скучно?

— Нет, мне хорошо, — медленно сказал он, — а говорить не хочется.

— Вот и я тоже так, — оживилась девушка, — когда тихо, я ужасно не люблю говорить. Ведь словами немного скажешь, потому что бывают чувства, для которых нет слов. И когда говорят — тишина, то это напрасно — о тишине нельзя говорить, не уничтожая ее... да?

Она помолчала, посмотрела на сосновый лес и, указав на него рукой, спросила, тихо улыбаясь:

— Посмотрите, сосны точно прислушиваются к чему-то. Там среди них тихо-тихо. Мне иногда кажется, что лучше всего жить вот так — в тишине. Но хорошо и в грозу... ах, как хорошо! Небо черное, молнии злые, ветер воеет... в это время выйти в поле, стоять там и петь — громко петь, или бежать под дождем, против ветра. И зимой. Вы знаете, однажды во выюгу я заблудилась и чуть не замерзла.

— Расскажите, — как это? — попросил он. Ему было приятно слышать ее, — казалось, что она говорит на языке новом для него, хотя и понятном.

— Я ехала из города, поздно ночью, — придвигаясь к нему и остановив улыбающиеся глаза на его лице, начала она. — Кучером был Яков, старый такой, строгий мужик. И вот началась выюга, страшной силы выюга и прямо в лицо нам. Рванет ветер и бросит в нас целую тучу снега так, что лошади попятятся назад. Вокруг все кипит, точно в котле, а мы в холодной пене. Ехали, ехали, потом Яков, вижу я, снял шапку с головы и крестится. «Что ты?» — «Молитесь, барышня, господу и Варваре великомученице, она помогает от нечаянной смерти». Он говорил просто и без страха, так что я не испугалась; спрашиваю: «Заплутались?» — «Да», говорит. «Но, может быть, выедем?» — «Где уж, говорит, выехать в такую выюгу! Вот я отпущу вожжи, авось кони сами пойдут, а вы все-таки про бога-то вспомните!» Он очень набожный, этот Яков. Кони стали и стоят, и нас заносит. Холодно! Лицо режет снегом. Яков сел с козел ко мне, чтобы нам обоим теплее было, и мы с головой закрылись ковром. На ковер наносило снег, он становился тяжелым. Я сидела и думала: «Вот и пропала я! И не съем конфет, что везла из города...» Но страшно мне не было, потому что Яков разговаривал все время. Помню, он говорил: «Жалко мне вас, барышня! Зачем вы-то погибнете?» — «Да ведь и ты тоже замерзнешь?» — «Я-то ничего, я уж пожил, а вот вам...» — и все обо мне. Он меня очень любит, даже ругает иногда, знаете, ворчит на меня, сердито так: «Ах, ты, безбожница, сорви-голова, бесстыжая вертушка!..»

Она сделала суровую мину и говорила густым басом, растягивая слова. Воспоминание о Якове отвлекло ее от своего рассказа, и Полканов должен был спросить ее: — Как же вы нашли путь?

— А кони озябли и пошли сами, шли-шли и дошли до деревни, на тринадцать верст в сторону от нашей. Вы знаете, наша деревня здесь близко, версты четыре, пожалуй. Вот если идти так вдоль берега и потом по тропе, в лесу направо, там будет ложбина и уже видно усадьбу. А дорогой отсюда верст десять.

Смелые синицы порхали вокруг них и, садясь на ветки кустов, бойко щебетали, точно делаясь друг с другом впечатлениями от этих двух людей, одиноких среди леса.

Издали доносился смех, говор и плеск весел, — Григорий и Маша катались на реке.

— Позовем их и переедем на ту сторону в сосны? — предложила Варенька.

Он согласился, и, приставив руку ко рту рупором, она стала кричать:

— Плывите сюда-а!

От крика ее грудь напряглась, а Ипполит молча любовался ею. Ему о чем-то нужно было подумать — о чем-то очень серьезном, чувствовал он, — но думать не хотелось, и этот слабый позыв ума не мешал ему спокойно и свободно отдаваться более сильному велению чувства.

Явилась лодка. У Григория лицо было лукавое и немного виноватое, у Маши — притворно сердитое; но Варенька, садясь в лодку, посмотрела на них и засмеялась, тогда и они оба засмеялись, сконфуженные и счастливые.

«Венера и рабы, обласканные ею», — подумал Полканов.

В сосновом лесу было торжественно, как в храме; могучие, стройные стволы стояли, точно колонны, поддерживая тяжелый свод темной зелени. Теплый, густой запах смолы наполнял воздух, под ногами тихо хрустела хвоя. Впереди, позади, с боков — всюду стояли красноватые сосны, и лишь кое-где у корней их сквозь пласт хвои пробивалась какая-то бледная зелень. В тишине и молчании двое людей медленно бродили среди этой безмолвной жизни, свертывая то вправо, то влево пред деревьями, заграждавшими путь.

— Мы не заплутаемся? — спросил Ипполит.

— Я заплутаюсь? — удивилась Варенька. — Я везде найду нужное направление — стоит только посмотреть на солнце.

Ему не хотелось говорить, хотя иногда он чувствовал, что много мог бы сказать ей. Варенька шла рядом с ним, и он видел на лице ее отражение тихого восторга.

— Хорошо? — изредка спрашивала она его, и ласковая улыбка заставляла вздрагивать ее губы.

— Да, очень, — кратко отвечал он, и снова они молчали, идя по лесу. Ему казалось, что он — юноша, благоговейно влюблен, чужд грешных помыслов и внутренней борьбы с самим собой. Но каждый раз, когда глаза лови-

ли пятно грязи на ее платье, на душу ему падала тревожная тень. Он не понимал, как это случилось, что вдруг, в момент, когда такая тень окутала его сознание, он, глубоко вздохнув, точно сбрасывая с себя тяжесть, сказал:

— Какая вы красавица!

Она удивленно взглянула на него,

— Что это вы? Молчали, молчали — и вдруг!

Ипполит тихо засмеялся.

— Так, знаете... хорошо здесь! Лес хорош... а вы в нем как фея... или — вы богиня, и лес — ваш храм.

— Нет, — улыбаясь, возразила она, — это не мой лес, это казенный, наш лес в ту сторону, вниз по реке.

И она указала рукой куда-то вбок.

«Шутит она или не понимает?» — подумал Ипполит, и в нем стало разгораться настойчивое желание говорить о ее красоте. Но она была задумчива, спокойна, это сдерживало его.

Гуляли долго, но говорили мало, мягкие и мирные впечатления дня овеяли их души сладким утомлением, в нем уснули все желания, кроме желания молча думать о чем-то не выразимом словами.

Воротясь домой, они узнали, что Елизаветы Сергеевны еще нет, и стали пить чай, быстро приготовленный Машей. Сейчас же после чая Варенька уехала домой, взяв с него слово приехать к ним в усадьбу вместе с Елизаветой Сергеевной. Он проводил ее и, когда пришел на террасу, то поймал себя на тоскливом ощущении утраты чего-то необходимого ему. Сидя за столом, пред остывшим стаканом чая, он попробовал уничтожить всю эту игру раздраженных за день чувств, но в нем явилась жалость к самому себе, и он отказался от хирургических операций над собой.

«Зачем? — думал он, — разве все это серьезно? Это не вредит ей, не может повредить, если б я и хотел. Это несколько мешает мне жить... но тут столько юного и красивого...»

Потом, снисходительно улыбаясь самому себе, он вспомнил свое решение разбудить ее ум и свои неудачные попытки сделать это.

«Нет, с ней нужно говорить иными словами. Эти целостные натуры скорее склонны поступиться своей

непосредственностью пред метафизикой... защищаясь против логики броней слепого, примитивного чувства... Странная девушка!»

В думах о ней его застала сестра. Она явилась шумной и оживленной, — такой он еще не видал ее. Приказав Маше подогреть самовар, она уселась против брата и начала ему рассказывать о Бенковских.

— Изю всех щелей их старого дома смотрят жесткие глаза нищеты, торжествуя победу над этим семейством. В доме, кажется, нет ни копейки денег и никаких запасов; к обеду посылали в деревню за яйцами. Обед без мяса, и поэтому старик Бенковский говорит о вегетарианстве и о возможности морального перерождения людей на этой почве. У них пахнет разложением, и все они злые — от голода, должно быть. Я ездила к ним с предложением продать мне клочок земли, врезающийся в мои владения.

— Зачем это? — полюбопытствовал Ипполит.

— Представь, что ради моих будущих детей, — смеясь сказала она. — Ну, а ты как провел время?

— Приятно.

Она помолчала, исподлобья посмотрев на него.

— Извини за вопрос, — ты не боишься немножко увлечься Варенькой?

— Чего же тут бояться?

— Возможности увлечься сильно?

— Ну, это едва ли я сумею... — скептически ответил он и верил, что говорит правду.

— А если так, то прекрасно. Немножко — это хорошо, а то — ты несколько сух... слишком серьезен для твоих лет. И я, право, буду рада, если она расшевелит тебя... Быть может, ты хотел бы видеть ее чаще?..

— Она взяла с меня слово приехать к ним и просила тебя об этом, — сообщил Ипполит.

— Когда ты хочешь поехать?

— Все равно... Как ты найдешь удобным. Ты сегодня хорошо настроена.

— Это очень заметно? — засмеялась она. — Что же? Я провела хорошо день. Вообще... боюсь, это покажется тебе цинизмом... но, право, со дня похорон мужа я чувствую, что возрождаюсь... Я эгоистична — конечно! Но это

радостный эгоизм человека, выпущенного из тюрьмы на свободу. Суди, но будь справедлив!

— Сколько оговорок для такой маленькой речи! Рада и — радуйся, — ласково засмеялся Ипполит.

— И ты сегодня добр и мил, — сказала она. — Видишь, — немножко счастья — и человек сразу же становится лучше, добрее. А некоторые, слишком мудрые, люди находят, что нас очищают страдания... Желала бы я, чтоб жизнь, применяя к ним эту теорию, очистила их умы от заблуждения...

«А если Вареньку заставить страдать, что было бы из нее?» — спросил себя Полканов.

Скоро они разошлись. Она стала играть, а он, уйдя в свою комнату, лег там и задумался: какое представление о нем сложилось у этой девушки? Что может нравиться ей в нем? Что-то привлекает ее к нему — это очевидно. Но едва ли он имеет в ее глазах цену как умный, ученый человек; она так легко отбрасывает от себя все его теории, взгляды, поучения. Вероятнее, что он нравится ей просто как мужчина.

И, дойдя до этого заключения, Ипполит Сергеевич вспыхнул от радости. Закрыв глаза, он с улыбкой удовольствия представлял себе эту девушку покорной ему, побежденной им, готовой на все для него, робко умоляющей его взять ее и научить думать, жить, любить.

III

Когда кабриолет Елизаветы Сергеевны остановился у крыльца дома полковника Олесова, на крыльце явилась длинная и худая фигура женщины в серой блузе и раздался басовый голос, резко выделявший звук «р».

— А-а! Какой приятный сюрприз!

Ипполит Сергеевич даже вздрогнул от этого приветствия, похожего на рычание.

— Мой брат Ипполит, — представила Елизавета Сергеевна, поцеловавшись с женщиной.

— Маргарита Лучицкая.

Пять холодных и цепких костей сжали пальцы Ипполита Сергеевича; сверкающие серые глаза остановились

на его лице, и тетя Лучицкая пробасила, внятно отчеканивая каждый слог, точно она считала их, боясь сказать лишний:

— Очень рада быть знакомой с вами.

Затем она отодвинулась в сторону и ткнула рукой на дверь.

— Прошу!

Ипполит шагнул через порог, а навстречу ему откуда-то донесся хриплый кашель и раздраженный возглас:

— Чорт возьми твою глупость! Ступай посмотри и скажи, кто приехал...

— Иди, иди, — поощрила Елизавета Сергеевна брата, когда он нерешительно остановился. — Это полковник кричит... Мы приехали, полковник!

Среди большой, с низким потолком, комнаты стояло массивное кресло, а в него было втиснуто большое рыхлое тело с красным дряблым лицом, поросшим седым мхом. Верхняя часть этой массы тяжело ворочалась, издавая удушливый храп. За креслом возвышались плечи какой-то высокой и дородной женщины, смотревшей в лицо Ипполита Сергеевича тусклыми глазами.

— Рад вас видеть, — ваш брат?.. Полковник Василий Олесов... бил турок и текинцев, а ныне сам разбит болезнями... хо-хо-хо! Рад вас видеть... Мне Варвара все лето барабанит в уши о вашей учености и уме, и прочее такое... Прошу сюда, в гостиную. Фекла, — вези!

Пронзительно завизжали колеса кресла, полковник качнулся вперед, откинулся назад и разразился хриплым кашлем, так болтая головой, точно желал, чтоб она у него оторвалась.

— Когда барин кашляет — стой! Не говорила я тебе этого тысячу раз?

И тетя Лучицкая, схватив Феклу за плечо, вдавила ее в пол.

Полкановы стояли и ждали, когда откашляется грузно колыхавшееся тело Олесова.

Наконец, двинулись вперед и очутились в маленькой комнате, где было душно и тесно от обилия мягкой мебели в парусиновых чехлах.

— Рассаживайтесь... Фекла — за барышней! — командовала тетя Лучицкая.

— Елизавета Сергеевна, голубушка, я вам рад! — заявил полковник, глядя на гостью из-под седых бровей, сросшихся на переносье, круглыми, как у филина, глазами. Нос у полковника был комически велик, и конец его, сизый и блестящий, уныло прятался в седой щетине усов.

— Я знаю, что вы рады мне так же, как и я рада видеть вас, — ласково сказала гостя.

— Хо-хо-хо! Это — пардон! — вы врете! Какое удовольствие видеть старика, разбитого подагрой и болящего от неутолимой жажды выпить водки? Лет двадцать пять тому назад можно было действительно радоваться при виде Васьки Олесова... И много женщин радовались... а теперь ни вы мне, ни я вам совершенно не нужны... Но при вас мне дадут водки, — и я рад вам!

— Не говори много, опять закашляешь... — предупредила его Лучицкая.

— Слышали? — обратился полковник к Ипполиту Сергеевичу. — Я не должен говорить — вредно, пить — вредно, есть, сколько хочу, — вредно! Все вредно, чорт возьми! И я вижу — мне жить вредно! Хо-хо-хо! Отжил... не желаю вам сказать когда-нибудь этакое про себя... А впрочем, вы наверное скоро умрете... схватите чашотку — у вас невозможно узкая грудь...

Ипполит смотрел то на него, то на тетю Лучицкую и думал о Вареньке:

«Однако, среди каких монстров она живет!»

Суровая, угловатая худоба тети Лучицкой колола ему глаза; он не мог видеть ее длинной шеи, обтянутой желтой кожей, и всякий раз, как она говорила, — ему становилось чего-то боязно, точно он ждал, что басовые звуки, исходившие из широкой, но плоской, как доска, груди этой женщины, — разорвут ей грудь. Шелест юбок тети Лучицкой казался ему трением ее костей. От полковника пахло каким-то спиртом, пдтом и скверным табаком. Судя по блеску его глаз, он, должно быть, часто раздражался, и Полканов, воображая его раздраженным, почувствовал отвращение к этому старику. В комнатах было неуютно, обои на стенах закоптили, а изразцы печи испещрили

трещины. Краска пола была стерта колесами кресла, рамы в окнах кривы, стекла тусклы; отовсюду веяло старостью, разрушением.

— Сегодня душно, — говорила Елизавета Сергеевна.

— Будет дождь, — категорически объявила Лучицкая.

— Неужели? — усомнилась гостья.

— Верьте Маргарите, — захрипел старик. — Ей известно все, что будет. Она ежедневно уверяет меня в этом. Ты, говорит, умрешь, а Варьку ограбят и сломят ей голову... видите? Я спору: — дочь полковника Олесова не позволит кому-нибудь сломить ей голову, — она сама это сделает! А что я умру — это правда... так должно быть. А вы, господин ученый, как себя здесь чувствуете? Тошища в кубе, не правда ли?

— Нет, почему же? Красивая лесная местность... — любезно откликнулся Ипполит.

— Красивая местность, — здесь-то? Пхе! Это значит, что вы не видали красивого на земле. Красивое — это долина Казанлыка в Болгарии, красиво в Хорассане... На Мургабе есть места, как рай... А! Мое драгоценное детище!..

Варенька внесла аромат свежести в затхлый воздух гостиной. Фигура ее была окутана в какую-то хламиду из сарпинки светлосиреневого цвета. В руках она держала большой букет только что срезанных цветов, и ее лицо сияло удовольствием.

— Как хорошо, что вы приехали именно сегодня! — восклицала она, здороваясь с гостями. — Я уже собиралась к вам, — они меня загрызли!

Широким жестом руки она указала на отца и тетку, сидевшую рядом с гостьей до того неестественно прямо, точно у нее позвоночник окаменел.

— Варвара! Ты говоришь вздор! — сурово окрикнула она девушку, сверкнув глазами.

— Не кричите! А то я начну рассказывать Ипполиту Сергеевичу о поручике Яковлеве и его пылком сердце...

— Хо-хо-хо! Варька — смирно! Я сам расскажу...

«Куда я попал?» — соображал Ипполит, с удивлением поглядывая на сестру.

Но ей, очевидно, было знакомо все это, в углах ее губ дрожала улыбка пренебрежения.

— Иду распорядиться чаем! — объявила Маргарита Лучицкая, не сгибая корпуса, вытянувшись кверху и исчезла, окинув полковника укоризненным взглядом.

Варенька села на ее место и начала что-то говорить на ухо Елизавете Сергеевне.

«Что у нее за страсть к широким одеждам?» — думал Ипполит Сергеевич, искоса поглядывая на ее фигуру, в красивой позе склоненную к сестре.

А полковник гудел, как разбитый контрабас:

— Вы, конечно, знаете, что Маргарита — жена моего товарища, подполковника Лучицкого, убитого при Эски-Загре? Она с ним делала поход, да! Энергичная, знаете, женщина. Ну и вот, был у нас в полку поручик Яковлев, этакая нежная барышня... ему редиф разбил грудь прикладом, чахотка и... конец! И вот он болел, а она за ним ухаживала пять месяцев! а? каково? И, знаете, дала ему слово не выходить замуж. Молодая она была, очень эффектна. За ней ухаживали достойные люди... капитан Шмурло, очень милый хохол, даже спился и бросил службу. Я — тоже... то есть тоже предлагал: «Маргарита! иди за меня замуж!..» Не пошла... очень глупо, но, конечно, благородно. А вот когда меня разбила подагра, она явилась и говорит: «Ты один, я одна...» и прочее такое. Трогательно и свято. Дружба навек, и всегда грыземся. Она приезжает каждое лето, даже хочет продать имение и переселиться навсегда, то есть до моей смерти. Я ценю, но смешно все это — да? Хо-хо-хо! Потому что была женщина с огнем и — видите, как он ее высушил? Не шути с огнем... хо! Она, знаете, злится, когда рассказываешь эту поэзию ее жизни, как она выражается. «Не смей, говорит, оскорблять гнусным языком святыню моего сердца!» Хо-хо! А, в существе дела, — какая святыня? Заблуждение ума... мечты институтки... Жизнь проста, не так ли? Наслаждайся и умри в свое время, вот и вся философия! Но... умри в свое время! А я вот пропустил срок, это скверно, не желаю вам этого...

У Ипполита кружилась голова от рассказа и запаха, который распространял полковник. А Варенька, не обращая на него внимания, вполголоса разговаривала с Елизаветой Сергеевной, слушавшей ее внимательно и серьезно.

— Приглашаю чай пить! — раздался в дверях бас Маргариты Лучицкой. — Варвара, вези отца!

Полканов облегченно вздохнул и пошел сзади Вареньки, легко катившей пред собой тяжелое кресло.

Чай был приготовлен по-английски, с массой холодных закусок. Громадный кровавый ростбиф окружали бутылки вина, и это вызвало довольный хохот у полковника. Казалось, что и его полумертвые ноги, окутанные медвежьей шкурой, дрогнули от предвкушения удовольствия. Он ехал к столу и, простирая к бутылкам дрожжащие пухлые руки, поросшие темной шерстью, хохотал, сотрясая воздух столовой, обставленной плетеными стульями.

Чаепитие продолжалось мучительно долго, и все время полковник с хрипом рассказывал военные анекдоты, Маргарита кратко и басом вставляла свои замечания, а Варенька тихо, но оживленно разговаривала с Елизаветой Сергеевной.

«О чем она?» — с тоской думал Ипполит, предоставленный в жертву полковнику.

Ему казалось, что сегодня она слишком мало обращает на него внимания. Что это — кокетство? Он чувствовал, что готов рассердиться на нее.

Но вот она взглянула в его сторону и звонко засмеялась.

«Это сестра обратила ее внимание на меня!» — недовольно хмуря брови, сообразил Полканов.

— Ипполит Сергеевич! Вы кончили чай? — спросила Варенька.

— Да, уже..

— Гулять? Я покажу вам славные местечки!

— Пойдемте. А ты, Лиза, идешь?

— Я — нет! Мне приятно посидеть с Маргаритой Родионовной и полковником.

— Хо-хо-хо! Приятно постоять на краю могилы, куда сваливается полумертвое тело мое! Зачем так говорить?

«Сейчас она спросит у меня — вам скучно у нас?» — думал Ипполит, выйдя с Варенькой из комнат в сад. Но она спросила его:

— Как вам нравится папа?

— О! — тихо воскликнул Ипполит Сергеевич — Он возбуждает почтение!

— Ага! — довольно отозвалась Варенька. — Вот и все так. Он ужасно храбрый! Знаете, он не говорит о себе сам, но тетя Лучицкая, — она ведь одного полка с ним, — рассказывала, что под Горным Дубняком у его лошади разбили пулей ноздрю и она понесла его прямо на турок. А турки наступали; он как-то свернул и поскакал вдоль фронта; лошадь, конечно, убили, он упал и видит — на него бегут четверо... Вот наскочил один и замахнулся на него прикладом, а папа — цап его за ногу! Свалил и прямо в лицо из револьвера — бац! И ногу из-под лошади вытащил, а тут еще трое бегут, а там еще за ними, и наши солдатики тоже мчатся навстречу с Яковлевым... это вы знаете кто?.. Папа схватил ружье убитого, вскочил на ноги — вперед! Но он ужасно сильный был, это чуть не погубило его; он ударил по голове турка, и ружье сломалось, осталась сабля, но она была скверная и тупая, а уж турок хочет бить его штыком в грудь. Тогда папа поймал рукой ремень ружья, да и побежал навстречу своим, таща за собой турка. В это время его ранили в бок пулей и в шею штыком. Он понял, что погиб, обернулся лицом к неприятелю, вырвал ружье у турка и на них — ура! А тут Яковлев с солдатами прибежал, и они так дружно взялись, что турки отступили. Папе дали за это Георгия, но он рассердился на то, что не дали Георгия одному унтеру его полка, который в этой свалке два раза спас Яковлева и раз — папу, папа отказался от креста. А когда дали унтеру — и он взял.

— Вы так рассказываете об этой свалке, точно сами в ней участвовали, -- заметил Ипполит.

— Да-а, — протянула она, вздыхая и щуря глаза. — Мне нравится война... И я уйду в сестры милосердия, если будут воевать...

— А я тогда поступлю в солдаты...

— Вы? — спросила она, оглядывая его фигуру. — Ну, это вы шутите... из вас вышел бы плохой солдат... худой такой..

Его задело это.

— Я достаточно силен, поверьте, — заявил он, точно предостерегая ее.

— Ну, где же? — спокойно не верила ему Варенька. В нем вспыхнуло бешеное желание схватить ее и, что есть силы, прижать к себе — так, чтобы слезы брызнули у нее из глаз. Он быстро оглянулся вокруг, поводя плечами, и тотчас устыдился своего желания.

Они шли садом по дорожке, обсаженной правильными рядами яблонь, сзади них в конце дорожки смотрело им в спины окно дома. С деревьев падали яблоки, глухо ударяясь о землю, и где-то вблизи раздавались голоса. Один спрашивал:

— Он, стало быть, тоже в женихи к нам?

А другой угрюмо ругался.

— Подождите... — остановила Варенька своего спутника, взяв его за рукав, — послушаем, это они про вас говорят...

Он сухо взглянул на нее и сказал:

— Я не охотник подслушивать разговоры слуг.

— А я люблю! — объявила Варенька. — Сами с собой они всегда очень интересно говорят про нас, господ...

— Может быть, интересно, но — едва ли хорошо! — усмехнулся Ипполит.

— Почему же? Про меня они всегда хорошо говорят.

— Поздравляю вас...

Он был во власти злого желания говорить с ней резко, грубо, оскорблять ее. Сегодня его возмущало ее поведение: там, в комнатах, она не обращала на него внимания, точно не понимая, что он приехал ради нее, к ней, а не к ее безногому отцу и высушенной тетке. Потом, признав его слабым, она стала смотреть на него как-то снисходительно.

«Что все это значит? — думал он. — Если я не нравлюсь ей внешне и не интересен с внутренней стороны — что же влекло ее ко мне? Новое лицо и — только?»

Он верил в ее тяготение к нему и снова думал, что имеет дело с кокетством, ловко скрытым под маской наивности и простодушия.

«Быть может, она считает меня глупым... и надеется, что я поумнею...»

— А тетя права — дождь будет! — сказала Варенька, глядя вдаль, — смотрите, какая туча!.. И становится душно, как всегда перед грозой...

— Это неприятно... — сказал Ипполит. — Нужно воротиться и предупредить сестру...

— Зачем же?

— Чтоб до дождя возвратиться домой...

— Кто вас отпустит? Нужно переждать здесь.

— А если дождь затянется до ночи?

— Ночевать у нас... — категорически сказала Варенька.

— Нет, это неудобно... — протестовал Ипполит.

— Господи! Разве уж так трудно провести одну ночь неудобно?

— Я не свои удобства имею в виду...

— А о других не беспокойтесь — всякий умеет сам о себе заботиться.

Они спорили и шли вперед, а встречу им по небу быстро ползла темная туча, и уже где-то далеко глухо ворчал гром. Тяжелая духота разливалась в воздухе, точно надвигавшаяся туча, сгущая зной дня, гнала его пред собой. В жадном ожидании освежающей влаги листья на деревьях замерли.

— Воротимесь? — предложил Ипполит.

— Да, душно... Как я не люблю время пред чем-нибудь — пред грозой, пред праздниками. Сама гроза или праздники — хорошо, но ожидать — скучно. Вот если б все делалось сразу... ложишься спать — зима, мороз; проснешься — весна, цветы, солнце... Или — солнце сияет, и вдруг тьма, гром и ливень.

— Может быть, вы хотите, чтоб и человек изменялся также вдруг и неожиданно? — усмехаясь, спросил Ипполит.

— Человек всегда должен быть интересен... — сказала она.

— Да — что же значит быть интересным? — с досадой воскликнул Полканов.

— Это трудно сказать... Я думаю, что люди были бы все интересны, если бы они были... живее... да, живее! Больше бы смеялись, пели, играли... были бы более смелыми, сильными... даже дерзкими... даже грубыми.

Он внимательно слушал и спрашивал себя:

«Это она рекомендует мне программу желательных отношений к ней?..»

— Быстроги нет в людях... а нужно, чтобы все делалось быстро, для того, чтобы жилось интересно...

— Может быть, вы и правы... — тихо заметил Ипполит. — Конечно, не совсем правы...

— Да не отговаривайтесь! — засмеялась она. — Как это не совсем? Или уж совсем, или не права... или хорошая, или дурная... или красивая, или урод... вот как надо рассуждать! А то говорят: порядочная, миленькая — это просто из трусости так говорят... бояться правды поэтому что!

— Ну, знаете, с одним этим делением на два вы уж чересчур многих обидите!

— Чем это?

— Несправедливостью...

— Вот далась человеку эта справедливость! Точно в ней вся жизнь и без нее никак не обойдешься. А кому она нужна?

Она восклицала с сердцем и капризно, а глаза у нее то и дело щурились и метали искры.

— Всем людям, Варвара Васильевна! Всем, от мужика до вас... — внушительно сказал Ипполит, наблюдая ее волнение и стараясь объяснить его себе.

— Мне никакой справедливости не нужно! — решительно отвергла она и даже сделала движение рукой, точно отталкивая от себя что-то. — А понадобится — я сама себе найду ее. Чего вы всегда о всех людях беспокоитесь? И... просто вы говорите это для того, чтоб злить меня... потому что вы сегодня важный, надутый...

— Я? Злить вас? Зачем же? — изумился Ипполит.

— Почему я знаю? Скуки ради, должно быть... Но — лучше бросьте! Я и без вас, — ух, как заряжена! Меня из-за женихов целую неделю кормили разными рацеями... обливали ядом... и грязными подозрениями... благодарю вас!

Ее глаза вспыхивали фосфорическим блеском, ноздри вздрагивали, и вся она трепетала от волнения, вдруг охватившего ее. Ипполит с туманом в глазах стал горячо оправдываться пред нею.

— Я не хотел злить вас...

Но в этот момент над ними гулко грянул гром — точно захохотал кто-то чудовищно огромный и грубо добродуш-

ный. Оглушенные, они вздрогнули, остановились на миг, но сейчас же быстро пошли к дому. Листва дрожала на деревьях, и тень падала на землю от тучи, расстилавшейся по небу бархатным пологом.

— Как мы, однако, заспорились, — сказала Варенька на ходу. — Я и не заметила, как она подкралась.

На крыльце дома стояли Елизавета Сергеевна и тетя Лучицкая в большой соломенной шляпе на голове, — шляпа придавала ей сходство с подсолнухом.

— Будет страшная гроза, — объявила она своим внушительным басом прямо в лицо Полканову, точно считала своей обязанностью уверить его в приближении грозы. Потом она сказала: — Полковник уснул... — И исчезла.

— Как это тебе нравится? — спросила Елизавета Сергеевна, кивком головы указывая на небо. — Пожалуй, нам придется ночевать здесь.

— Если мы никого не стесним.

— Вот человек! — воскликнула Варенька, смотря на него с удивлением и чуть ли не с жалостью. — Все боится стеснить, быть несправедливым... ах, ты господи! Ну и скучно же вам, должно быть, жить, всегда в удилах! А по-моему — хочется вам стеснить — стесните, хочется быть несправедливым — будьте!..

— А бог — сам разберет, кто прав... — перебила ее Елизавета Сергеевна, улыбаясь ей с сознанием своего превосходства. — Я думаю, нужно спрятаться под крышу — а вы?

— Мы будем здесь смотреть грозу — да? — обратилась девушка к Полканову.

Он изъявил ей свое согласие поклоном.

— Ну, я не охотница до грандиозных явлений природы — если они могут вызвать лихорадку или насморк. К тому же можно наслаждаться грозой и сквозь стекло окна... ай!

Сверкнула молния; разорванная ею тьма вздрогнула и, на миг открыв поглощенное ею, вновь слилась. Секунды две царила подавляющая тишина, потом, как выстрел, грохнул гром, и его раскаты понеслись над домом. Откуда-то бешено рванулся ветер, подхватил пыль и сор с земли, и все, поднятое им, закружилось, столбом

поднимаясь кверху Летели соломинки, бумажки, листья; стрижи с испуганным писком пронизывали воздух, глухо шумела листва деревьев, на железо крыши дома сыпалась пыль, рождая гулкий шорох.

Варенька смотрела на эту игру бури из-за косяка двери, а Ипполит, морщась от пыли, стоял сзади ее. Крыльцо представляло собою коробку, в которой было темно, но, когда вспыхивали молнии, стройная фигура девушки освещалась голубоватым призрачным светом.

— Смотрите, смотрите! — вскрикивала Варенька, когда молния рвала тучу. — Видели? Туча точно улыбается — не правда ли? Это очень похоже на улыбку.. есть такие люди, угрюмые и молчаливые... молчит, молчит такой человек и вдруг улыбнется — глаза загорятся, зубы сверкнут...

По крыше барабанили тяжелые, крупные капли, сначала редко, потом все чаще, наконец с каким-то воющим гулом.

— Уйдемте, — сказал Ипполит, — вас замочит!

Ему было неловко стоять так близко к ней в этой тесной темноте, неловко и приятно. И он думал, глядя на ее шею:

«Что, если я поцелую ее?»

Сверкнула молния, озарив полнеба, и при блеске ее Ипполит увидел, что Варенька с восклицанием восторга взмахнула руками и стоит, откинувшись назад, точно подставляя свою грудь молниям. Он схватил ее сзади за талию и, почти положив свою голову на плечо ей, спросил ее, задыхаясь:

— Что, что с вами?

— Да ничего! — воскликнула она с досадой, освобождаясь из его рук гибким и сильным движением корпуса. — Боже мой, как вы пугаетесь! А еще мужчина!

— Я испугался за вас, — глухо сказал он, отступая в угол.

Прикосновение к ней точно обожгло его руки и наполнило грудь его неукротимым огнем желания обнять ее до боли крепко. Он терял самообладание, ему хотелось сойти с крыльца и стать под дождь, там, где крупные капли хлестали по деревьям, как бичи.

— Я иду в комнаты, — сказал он.

— Идемте, — недовольно согласилась Варенька и, бесшумно скользнув мимо него, вошла в двери.

— Хо-хо-хо! — встретил их полковник. — Что? По распоряжению командующего стихиями арестованы впредь до отмены приказа? Хо-хо-хо!

— Ужасный гром, — совершенно серьезно сообщила тетя Лучицкая, пристально рассматривая бледное лицо гостя.

— Вот не люблю этих безумств в природе! — говорила Елизавета Сергеевна с гримасой пренебрежения на холодном лице. — Грозы, вьюги, — к чему эта бесполезная грата такой массы энергии?

Ипполит, подавляя свое волнение, едва нашел в себе силы спокойно спросить сестру:

— Как ты думаешь, надолго это?

— На всю ночь, — ответила ему Маргарита Родионова.

— Уж вы отсюда не вырветесь! — со смехом заявила Варенька.

Полканов вздрогнул, чувствуя что-то фатальное в ее смехе.

— Да, придется ночевать, — заявила Елизавета Сергеевна. — Ночью мы не проедем Камовым перелеском, не изуродовав экипажа...

— Здесь достаточно комнат! — изрекла тетя Лучицкая.

— Тогда... я попросил бы... извините, пожалуйста!.. гроза действует на меня отвратительно!.. Я бы желал знать... где я помещусь... пойти туда на несколько минут.

Его слова, сказанные глухим и прерывающимся голосом, произвели общий переполох.

— Нашатырный спирт! — октавой прогудела Маргарита Родионова и, вскочив с места, исчезла.

Варенька суежилась по комнате с изумлением на лице и говорила ему:

— Сейчас я покажу вам... отведу... там тихо...

Елизавета Сергеевна была спокойнее всех и, улыбаясь, спрашивала его:

— Закружилась голова?

А полковник хрипел:

— Ерунда! Пройдет. Мой товарищ, майор Горталов, заколотый турками во время вылазки, был молодчина! О! Нaredкость! Храбрый малый! Под Систовым лез на штыки впереди солдат так спокойно, точно танцами дирижировал: бил, рубил, орал, сломал шашку, схватил какую-то дубину и бьет ею турок. Храбрец, каких немного! Но тоже в грозу нервничал, как женщина... Вот так же, как вы, бледнеет, шатается, ах, ох! Пьяница, жуир, двенадцать вершков, — вообразите, как это к нему шло?

Ипполит извинялся, успокаивал всех и проклинал себя. У него действительно кружилась голова, и, когда Маргарита Родионовна, сунув ему под нос какой-то флакон, скомандовала: «Нюхайте!», он схватил спирт и начал усердно втягивать ноздрями его едкий запах; чувствуя, что вся эта сцена комична и унижает его в глазах Вареньки.

А в окно барабанил дождь, заглядывали молнии, гром заставлял стекла испуганно дребезжать, и все это будило у полковника воспоминания о шуме битв.

— В турецкую кампанию... не помню где... такой же гвалт был. Гроза, ливень, молнии, пальба залпами из орудий, пехота бьет врассыпную... поручик Вяхирев вынул бутылку коньяку, горлышко в губы — буль-буль-буль! А пуля трах по бутылке — вдребезги! Поручик смотрит на горло бутылки в своей руке и говорит: «Чорт возьми, они воют с бутылками!» Хо-хо-хо! А я ему: «Вы ошибаетесь, поручик, турки стреляют по бутылкам, а воюете с бутылками — вы!» Хо-хо-хо! Остроумно, а?

— Лучше вам? — спрашивала Полканова тетя Лучицкая.

Он, стиснув зубы, благодарил ее, глядя на всех тоскливо-злыми глазами и замечая, что Варенька недоверчиво и удивленно улыбается под шопот его сестры, склонившейся к ее уху. Наконец ему удалось уйти от этих людей, и в маленькой комнатке, отведенной ему, он, под шум дождя, стал приводить в порядок свои чувства.

Бессильный гнев на себя боролся в нем с желанием понять, как это случилось, что он утратил способность самообладания, — неужели настолько глубоко в нем увлечение этой девушкой? Но ему не удавалось остановиться на чем-либо одном; в нем бушевал бешеный вихрь возму-

щенного чувства. Он решил сегодня объясниться с ней и тотчас же откинул это решение, вспоминая, что за ним стоит нежелательная ему обязанность вступить с Варенькой в определенные отношения, а ведь невозможно же жениться на этом красивом уроде! Он обвинял себя в том, что зашел так далеко в своем увлечении ею, и в том, что недостаточно смел в отношениях к ней. Ему казалось, что она вполне готова отдаться и что она играет с ним, играет, как кокетка. Он называл ее глупой, бессердечной и возражал себе, оправдывая ее. А в окно угрожающе стучал дождь, и дом весь вздрагивал от ударов грома.

Наконец ему удалось сжать себя в тисках рассудочности, взволнованные чувства, отхлынув куда-то глубоко в его сердце, уступили место обиде на самого себя.

Девушка, непоправимо испорченная уродливой средой, недоступная внушениям здравого смысла, непоколебимо твердая в своих заблуждениях, — эта странная девушка в течение каких-то трех месяцев превратила его почти в животное! Он чувствовал себя подавленным позором. Он сделал не меньше того, сколько мог сделать, чтоб очеловечить ее; если же у него не было возможности сделать больше — не он виноват в этом. Но, сделав то, что мог, он должен был уйти от нее, и он виновен в том, что своевременно не ушел, а позволил ей возбудить в себе постыдный взрыв чувственности.

«Человек менее порядочный, чем я, в данном случае был бы, пожалуй, умнее меня».

Тут его болью кольнула одна неожиданная мысль:

«Порядочность ли удерживает меня? Быть может, только бессилие чувства? Могу ли я любить вообще... могу ли я быть мужем, отцом... есть ли во мне то, что нужно для этих обязанностей?»

Думая в этом направлении, он ощущал внутри себя холод и что-то пугливое, унижавшее его.

Позвали ужинать.

Варенька встретила его любопытным взглядом и ласковым вопросом:

— Прошла головка?

— Да, благодарю вас... — сухо ответил он, садясь вдали от нее и думая про себя:

«Даже говорить не умеет: «прошла головка»!

Полковник дремал, покачивая головой, всхрапывая, дамы сидели все три рядом на диване и говорили о каких-то пустяках. Шум дождя за окнами стал тише, но этот негромкий, настойчивый звук явно свидетельствовал о его твердом решении обливаться землей бесконечно долго.

В окна смотрела тьма, в комнате было душно, запах керосина трех зажженных ламп, смешиваясь с запахом полковника, увеличивал духоту и нервное настроение Ипполита. Он смотрел на Вареньку и размышлял:

«Не подходит ко мне... Уж не сообщила ли ей Елизавета... что-нибудь глупое... сделав вывод из своих наблюдений за мной?»

В столовой тяжело возилась дородная Фекла. Ее большие глаза то и дело заглядывали в гостиную на Ипполита, молча курившего папиросу.

— Барышня! Готово для ужина, — со вздохом заявила она, вставив свою фигуру в двери гостиной.

— Идемте есть... Ипполит Сергеевич, пожалуйста. Тетя, не надо тревожить папу, пусть останется тут и дремлет, — там он снова будет пить.

— Это благоразумно, — заметила Елизавета Сергеевна.

А тетя Лучицкая изрекла вполголоса и пожимая плечами:

— Теперь уже поздно все это! Будет пить — скорее умрет, зато больше получит удовольствия, не будет пить — проживет годом больше, но — хуже.

— И это тоже благоразумно, — смеясь, сказала Елизавета Сергеевна.

За столом Ипполит сидел рядом с Варенькой и подмечал за собой, что близость девушки снова возбуждает в нем смятение. Ему хотелось подвинуться к ней так близко, чтобы можно было прикоснуться ее. И, по обыкновению, следя за собой, он подумал, что в его влечении к ней есть много упрямства плоти, но нет силы духа...

«Вялое сердце!» — с горечью воскликнул он про себя. И вслед за тем почти с гордостью отметил, что вот он не боится сказать правду о самом себе и умеет понять каждое колебание своего «я».

Занятый собой, он молчал.

Варенька сначала обращалась к нему часто, но, получая ответы сухие, односложные, утратила желание беседовать с ним. Лишь после ужина, когда они случайно остались один на один, она просто спросила у него:

— Вы почему такой унылый? Вам скучно, или вы недовольны мной?

Он ответил, что не чувствует ни уныния, ни, тем более, недовольства ею.

— Так что же с вами? — допрашивала она.

— Кажется, ничего особенного... Впрочем... иногда излишек внимания к человеку утомляет его.

— Излишек внимания? — заботливо переспросила Варенька. — Чьего же, — папина? Тетя ведь не говорила с вами.

Он чувствовал, что краснеет пред этим неуязвимым простодушием или безнадежной глупостью. А она, не дожидая его ответа, с улыбкой предложила ему:

— Не будьте таким, а? Пожалуйста! Я ужасно не люблю хмурых людей... Знаете что? Давайте играть в карты... вы умеете?

— Я плохо играю... и, признаюсь, не люблю этот вид бесполезной траты времени... — заявил Ипполит, чувствуя, что примиряется с ней.

— И я тоже не люблю, но — что же делать? Вы видите, какая у нас скука! — огорченно заявила девушка. — Я знаю, что вы стали такой оттого, что скучно.

Он начал уверять ее в противном и чем более говорил, тем горячее у него становились слова, пока, наконец, он незаметно для себя не закончил:

— Если вы захотите, с вами и в пустыне не будет скучно...

— Что же я должна сделать для этого? — подхватила она, и он видел, что ее желание развеселить его вполне искренно.

— Ничего не должны вы делать, — ответил он, глубоко пряча в себе то, что хотел бы ответить.

— Нет, право, — вы приехали сюда отдыхать, у вас много трудной работы, вам нужны силы, и перед вашим приездом мне Лиза говорила: «Вот мы с тобой поможем

ученому отдохнуть и развлечься...» А мы... что я могу сделать? Право... Я... если б от этого скука ушла... расцеловала бы вас!

У него помутилось в глазах, и вся кровь так бурно хлынула ему к сердцу, что он даже пошатнулся.

— Попробуйте... поцелуйте... — глухо сказал он, стоя перед ней, но не видя ее.

— Ого! Ишь вы какой! — засмеялась Варенька, исчезая.

Он шагнул вперед и остановился, схватившись за косяк двери, все в нем рвалось за ней.

Через несколько секунд он увидал полковника: старик спал, склонив голову на плечо, и сладко всхрапывал. Потом ему нужно было убедить себя в том, что монотонное и жалобное стенание раздается не в его груди, а за окнами и что это плачет дождь, а не его обиженное сердце. Тогда в нем вспыхнула злоба.

«Ты играешь, — ты так играешь?» — твердил он про себя, стиснув зубы, и грозил ей какой-то унижительной карой. В груди у него было жарко, а ноги и голову точно острые льдинки кололи.

Весело смеясь над чем-то, вошли дамы, при виде их Ипполит внутренне подтянулся. Тетя Лучицкая смеялась так глухо, что, казалось, у нее в груди лопаются какие-то пузыри. Лицо Вареньки было оживлено плутоватой улыбкой, а смех Елизаветы Сергеевны был снисходительно сдержанным.

«Быть может, это они надо мной!» — подумал Ипполит Сергеевич.

Предложенная Варенькой игра в карты не состоялась, и это дало возможность Ипполиту уйти в свою комнату, извинившись недомоганием. Уходя из гостиной, он чувствовал на своей спине три взгляда и знал, что все они выражают недоумение.

Теперь в груди у него было что-то неустрашимое и тяжелое; ему одновременно хотелось и не хотелось определить это странное, почти болезненное ощущение.

«Да будут прокляты безымянные чувства!» — восклицал он про себя.

А капли воды, падая откуда-то на пол, монотонно отчеканивали:

— Так... так...

Просидев с час в состоянии борьбы с самим собой, он решил лечь и заснуть с тем, чтоб завтра уехать свободным от всего, что ломало и унижало его. Но, лежа на постели, он невольно представлял себе Вареньку такой, как видел ее на крыльце, с руками, поднятыми как бы для объятий, с грудью, трепещущей при блеске молний. И снова думал о том, что если б он был смелее с ней... и обрывал себя, доканчивая эту мысль так: — то навязал бы себе на шею бесспорно очень красивую, но страшно неудобную, тяжелую, глупую любовницу, с характером дикой кошки и с грубейшей чувственностью, — это уж наверное!..

Но вдруг среди этих дум, озаренный одной догадкой или предчувствием, он вздрогнул всем телом, быстро вскочил на ноги и, подбежав к двери своей комнаты, отпер ее. Потом, улыбаясь, снова лег в постель и стал смотреть на дверь, думая про себя с надеждой и восторгом:

«Это бывает... бывает...»

Он читал где-то, как однажды это было: она вошла среди ночи и отдалась, ни о чем не спрашивая, ничего не требуя, просто для того, чтобы пережить момент. Варенька, — ведь в ней есть что-то общее с героиней рассказа, — она может поступить так. В ее милом возгласе: «Ишь вы какой!» — может быть, в нем звучало обещание, не слышанное им? И вот — вдруг она придет, в белом, вся трепещущая от стыда и желания!

Он несколько раз вставал с постели, прислушиваясь к тишине в доме, к шуму дождя за окнами и охлаждая свое горячее тело. Но не раздавалось в тишине желанного звука осторожных шагов.

«Как она войдет? — думал он и представлял ее себе на пороге двери с лицом решительным и гордым. — Конечно, она гордо отдаст ему свою красоту! Это подарок царицы. А может быть, она остановится пред ним с опущенной головой, смущенная, стыдливая, со слезами на глазах. Или, вдруг, явится со смехом, с тихим смехом над его муками, которые она знает, замечала, но не показывала ему, что замечает, чтобы помучить его, потешить себя».

В этом состоянии, близком к бреду безумия, рисуя в воображении сладострастные картины, Ипполит

Сергеевич не замечал, что дождь прекратился и в окна его комнаты с ясного неба смотрели звезды. Он все ждал звука шагов женщины, несущей ему наслаждение. Порой, на краткий миг, надежда обнять девушку гасла в нем; тогда он слышал в учащенном биении своего сердца упрек себе и сознавал, что состояние, переживаемое им, позорно для него, болезненно и гадко.

До утра бредил он, мучимый страстью, и уже когда солнце взошло — шаги раздались. Он сел на постели, дрожащий, с воспаленными глазами, и ждал и чувствовал, что, когда явится она, — он не в силах будет даже слово благодарности сказать ей.

Вот дверь тихо отворилась... Ипполит бессильно откинулся на подушку и, закрыв глаза, замер.

— Али я вас разбудила? Сапоги мне надо бы ваши... и брюки, — сонным голосом говорила толстая Фекла, медленно, как вол, идя к постели. Вздыхая и двигая мебель, она забрала его платье и ушла, оставив за собою запах кухни.

Он долго лежал, разбитый и уничтоженный, равнодушно отмечая в себе медленное исчезновение осколков тех образов, которые всю ночь истязали его нервы.

Опять пришла баба с вычищенным платьем, положила его и ушла, тяжело вздохнув. Он стал одеваться, не представляя себе, зачем это нужно так рано. Потом, не думая, он решил пойти выкупаться в реке, и это несколько оживило его. Осторожно ступая по полу, он прошел мимо комнаты, в которой гудел храп полковника, потом еще мимо затворенной двери в какую-то комнату. Он на миг остановился перед ней, но, внимательно взглянув на нее, почувствовал, что это не та. И, наконец, в полусне, вышел в сад и пошел узкой дорожкой, зная, что она приведет его к реке.

Было светло и свежо, лучи солнца еще не утратили розовых красок восхода. Скворцы оживленно болтали друг с другом, ошипывая вишни. На листьях дрожали капли дождя, как бриллианты, радостными, сверкающими слезами падая на землю. Земля была сыра, но она поглотила всю влагу, упавшую за ночь, и нигде не видно было ни грязи, ни луж. Все кругом было чисто, свежо и ново — точно родилось в эту ночь, все было тихо и неподвижно,

как будто еще не освоилось с жизнью на земле и, первый раз видя солнце, молча изумлялось его красоте.

Ипполит смотрел вокруг себя, а пелена тоски, одевшая его ум и душу за эту ночь, понемногу освобождала его, уступая чистому веянию новорожденного дня, полному сладких, освежающих запахов.

Вот — река, еще розоватая и золотая в лучах солнца. Вода, мутная от дождя, слабо отражает прибрежную зелень. Где-то близко плещется рыба; этот плеск да пение птиц — все звуки, нарушающие тишину утра. Если б не было сыро, можно бы лечь на землю, здесь у реки, под навесом зелени, и лежать, пока душа не успокоится.

Полканов шел по берегу, причудливо изрезанному песчаными мысами и маленькими заливами, окруженными зеленью, — почти каждые пять шагов открывали пред ним новую картину. Бесшумно шагая около самой воды, он так и знал, что впереди его ждет все новое и новое. И он подробно рассматривал очертания каждого залива и фигуры деревьев, склоненных над ним, точно желая навсегда запомнить, чем разнится эта деталь картины от той, что осталась сзади него.

И вдруг, ослепленный, он остановился.

Пред ним, по пояс в воде, стояла Варенька, наклонив голову, выжимая руками мокрые волосы. Ее тело — розовое от холода и лучей солнца, и на нем блестели капли воды, как серебряная чешуя. Они, медленно стекая по ее плечам и груди, падали в воду, и перед тем как упасть, каждая капля долго блестела на солнце, как будто ей не хотелось расстаться с телом, омытым ею. И из волос ее лилась вода, проходя между розовых пальцев девушки, лилась с нежным, ласкающим ухо звуком.

Он смотрел с восторгом, с благоговением, как на что-то святое — так чиста и гармонична была красота этой девушки, цветущей силой юности, он не чувствовал иных желаний, кроме желания смотреть на нее. Над головой его на ветке орешника рыдал соловей, — но для него весь свет солнца и все звуки были в этой девушке среди волн. Волны тихо гладили ее тело, бесшумно и ласково обходя его в своем мирном течении.

Но хорошее так же кратко, как редко красивое; то, что видел он, — он видел несколько секунд, ибо девушка вдруг

подняла голову и с гневным криком быстро опустилась в воду по шею.

Это ее движение отразилось в его сердце — оно тоже, вздрогнув, как бы упало в холод, стеснивший его. Девушка смотрела на него сверкающими глазами, а ее лоб разрезала злая складка, искажившая лицо испугом и гневом. Он слышал ее негодующий голос:

— Прочь... идите прочь! Что вы? Как не стыдно!..

Ее слова долетали до него откуда-то издалека, неясные, ничего не запрещающие ему. И он наклонялся к воде, простирая вперед руки, едва держась на ногах, дрожавших от усилия сдержать его неестественно изогнутое тело, горевшее в пытке страсти. Весь, каждым фибром своего существа, он стремился к ней, и вот он упал на колени, почти коснувшись ими воды.

Она гневно вскрикнула, сделала движение, чтобы плыть, но остановилась, глухо и тревожно говоря:

— Уходите!..

«Я не могу», — хотел он ответить, но его дрожащие губы не выговорили этих слов, не было силы сказать что-либо.

— Берегись... ты! Прочь иди! — крикнула девушка. — Подлый!

Что ему были эти крики? Он смотрел ей в глаза сухо горящими глазами и, стоя на коленях, ждал ее. И ждал бы, если б знал, что над его головой некто замахнулся топором, чтобы разбить ему череп.

— О!.. гадкий пес... ну, я тебя... — с отвращением прошептала девушка и вдруг бросилась из воды к нему.

Она росла на его глазах, сверкая своей красотой, — вот вся она до пальцев ног пред ним, прекрасная и гневная; он видел это и ждал ее с жадным трепетом. Вот она наклонилась к нему — он взмахнул руками, но обнял воздух.

И в то же время удар по лицу чем-то мокрым и тяжелым ослепил его и покачул назад.

Он быстро стал протирать глаза — мокрый песок и грязь были под его пальцами, а на его голову, плечи, щеки сыпались удары. Но удары — не боль, а что-то другое будили в нем, и, закрывая голову руками, он делал это скорее машинально, чем сознательно. Он слышал злые

рыдания... Наконец, опрокинутый сильным ударом в грудь, он упал на спину. Его не били больше. Раздался шорох кустов и замер...

Невероятно длинны были секунды угрюмого молчания, наступившего после того, как замер этот звук. Человек все лежал вверх лицом, неподвижный, раздавленный своим позором, и, полный инстинктивного стремления спрятаться от стыда, жался к земле. Открывая глаза, он увидел голубое небо, бесконечно глубокое, и ему казалось, что оно быстро уходит от него выше, выше...

... Так пролежал он до поры, пока ему не стало холодно; когда он открыл глаза, то увидел Вареньку, наклонившуюся над ним. Сквозь ее пальцы на лицо ему струилась вода. Он слышал ее голос:

— ...Что, — хорошо?.. Как вы придете в дом такой?.. весь грязный, мокрый, оборванный... Эх вы!.. Скажите хоть, что в воду с берега сорвались... Не стыдно ли? Ведь я могла бы убить, если б в руки попало что другое.

И еще много она говорила ему, но все это нисколько не уменьшало и не увеличивало того, что он чувствовал. Он ничего не отвечал на ее слова до поры, пока она не сказала ему, что уходит. Тогда он тихонько спросил:

— Вы... больше... я не увижу вас?

И когда спросил это, то вспомнил и понял, что ему нужно было сказать ей:

«Простите меня...»

Но он не успел сказать этого, потому что девушка, махнув рукой, быстро скрылась за деревьями.

Он сидел, прислонясь спиной к стволу дерева или к чему-то другому, и тупо смотрел, как у ног его текла мутная вода реки.

Она текла медленно... медленно...

ПРИМЕЧАНИЯ

Во второй том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1895—1896 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Вывод», «На плотях», «Дело с застежками», «Хан и его сын», «Товарищи», «Читатель», «Тоска», «Баллада о графине Эллиен де Курси», «Варенька Олесова». Эти произведения неоднократно редактировались самим М. Горьким. В последний раз они редактировались писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923—1927 гг.

Остальные сорок четыре произведения второго тома включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями эти произведения, опубликованные в провинциальных газетах 90-х годов, М. Горький повторно не редактировал.

«ВЫВОД»

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 44, 26 февраля, в серии рассказов «Теневые картинки», включавшей также рассказы: «Красавица», «Черноморье», «Несколько испорченных минут», «Дележ» и «Открытие (Из мемуаров современника)».

Произведение входило во все собрания сочинений М. Горького.

В 1935 году М. Горький подверг рассказ стилистической правке, дописал новый заключительный абзац и опубликовал в «Крестьянской газете», 1935, № 35—36, 8 марта.

В рассказе изображено действительное событие — избивание Сильвестром Гайченко своей жены Горпыны, случайным свидетелем чего явился молодой Горький во время своих странствий «по Руси». Горький бросился на защиту истязуемой женщины, за что был до полусмерти избит мужиками, вывезен из села и брошен в кусты. Проезжий шарманщик подобрал Горького и доставил в больницу, в город Николаев.

«Крестьянская газета», опубликовавшая рассказ «Вывод» в международный женский день 8 марта, весь номер посвятила сравнению положения женщины в старой Кандыбовке и в современном социалистическом Кандыбове.

В газете помещен рассказ, озаглавленный «Под редакцией великого Октября». Он сопровождается факсимильно воспроизведенным «Примечанием Алексея Максимовича Горького»:

«Прочитал Горький этот рассказ в рукописи и завистливо сказал сам себе:

— Эх, Максимыч, побывать бы тебе еще разок в Кандыбове, полюбоваться на людей, пожать могучие их руки!

Но — староват Горький, слабоват стал. И может только заочно приветствовать новых людей удивительной родины нашей.

М. Горький.

Печатается по тексту «Крестьянской газеты».

ПРОЩАЙ!

Стихотворение впервые напечатано без подписи в «Самарской газете», 1895, № 50, 5 марта.

В 1905 году две строфы данного произведения в переработанном виде М. Горький ввел в стихотворение «— Прощай! Душа тоской полна...» центрального персонажа из «Рассказа Филиппа Васильевича». Подобным приемом публикации своих стихов М. Горький пользовался очень часто в течение всей жизни и, сурово оценивая собственные поэтические опыты, 12 января 1935 года полушутя сообщал одному из своих корреспондентов: «...верно, я грешен, стихи писал и не мало писал, и всегда очень дубовато. Понимая сие и будучи правоверным прозаиком, я уничтожал их, печатал же в молодости лет — по легкомыслию, а позднее — лишь в случаях крайней необходимости и когда мог оклеветать кого-либо из героев, будто бы — это его, а не мои стихи» (Архив А. М. Горького).

В собрания сочинений стихотворение «Прощай!» автором не включалось. Принадлежность его М. Горькому подтверждается специальным сообщением Е. П. Пешковой от 13 сентября 1949 года (Архив А. М. Горького).

Печатается по тексту «Самарской газеты».

НЕСКОЛЬКО ИСПОРЧЕННЫХ МИНУТ

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 56, 12 марта, в серии рассказов «Теневые картинки».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

ДЕЛЕЖ

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 62, 19 марта, в серии рассказов «Теневые картинки».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

НА ПЛОТАХ
Пасхальный рассказ

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 71, 2 апреля, с подзаголовком «I. Картина». Написано в 1895 году, что подтверждается указанием М. Горького в наборном тексте для собрания сочинений издания «Книга».

Рассказ вошел в первый том «Очерков и рассказов» 1898 года и затем во все собрания сочинений писателя.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

В ЧЕРНОМОРЬЕ

Стихотворение впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 71, 2 апреля.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

ОТКРЫТИЕ
Из мемуаров современника

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 74, 9 апреля, в серии рассказов «Теневые картинки».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В РОЛИ РЕДАКТОРА ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ
Прекрасная тема для остроумных людей. (Перевод с американского)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 116, 4 июня; № 117, 6 июня; № 122, 11 июня; № 129, 20 июня. Подпись: Паскаrello.

Принадлежность М. Горькому данного псевдонима подтверждается Е. П. Пешковой (см. хранящуюся в Архиве А. М. Горького «Краткую запись беседы от 13 сентября 1949 г.») и А. Треплевым, работавшим вместе с М. Горьким в Самаре (см. его воспоминания в сб. «О Горьком — современники», М. 1928, стр. 51).

Указание на «перевод с американского» сделано автором по цензурным соображениям.

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту «Самарской газеты». Восстановлены следующие части текста, изъятые царским цензором: эпизод с будочником, начиная от слов: «Пришел будочник» и кончая словами: «Я боялся, что он будет строг» (стр. 58—59); фраза на стр. 62 в пятом абзаце сверху: «В красных рубцах лежали предо мной гранки, и мне казалось, что это их до крови высекали».

ДЕЛО С ЗАСТЕЖКАМИ

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 139, 2 июля; № 143, 7 июля, под заглавием: «История с застешками (Картинка из быта босяков)»

Рассказ включался в «Очерки и рассказы», 1898, и во все последующие собрания сочинений М. Горького под заглавием «Дело с застешками».

Написан в 1895 году. Во всех изданиях товарищества «Знание» рассказ датировался 1896 годом. Эта дата исправлена автором на 1895 год при подготовке издания собрания сочинений в 1923 году.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

МА-АЛЕНЬКАЯ!..

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 174, 13 августа.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

КОЛЮША

Набросок

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 186, 29 августа, в разделе «Маленький фельетон».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 193, 8 сентября; № 194, 10 сентября. Подпись: Иегудиил Хламида.

Принадлежность М. Горькому этого псевдонима подтверждена им самим в очерке-воспоминании «В. Г. Короленко». Рассказав о том,

как В. Г. Короленко уговаривал его уехать в Самару, М. Горький вспоминал: «Потом, когда я писал в «Самарской газете» плохие ежедневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдонимом «Иегудиил Хламида», Короленко посылал мне письма, критикуя окаянную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но — всегда дружески».

Рассказ «Грустная история» в собрания сочинений не включался. Печатается по тексту «Самарской газеты».

ЖЕНЩИНА С ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 197, 14 сентября; № 199, 17 сентября.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

«ГОСТЬ»

Волжская картинка

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 203, 22 сентября, в разделе «Маленький фельетон».

Позднее материал этого очерка был использован М. Горьким в третьей главе повести «Фома Гордеев».

В собрания сочинений очерк не включался.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

ОДИНОКИЙ

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 235, 1 ноября, с подзаголовком «Силуэт».

В конце 90-х и начале 900-х годов М. Горький дважды правил гранки первого набора, повидимому, предполагая вторичное издание рассказа. Но замысел этот осуществлен не был.

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту «Самарской газеты» с исправлениями, внесенными М. Горьким в гранки набора: снят подзаголовок, сделан ряд стилистических поправок.

НЕПРИЯТНОСТЬ

Эскиз

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 246, 14 ноября.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

КАК ПОЙМАЛИ СЕМАГУ

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 250, 19 ноября, под заглавием «О том, как поймали Семагу. Набросок».

М. Горький предполагал включить рассказ в третий том «Очерков и рассказов», в связи с чем в начале 1899 года он писал издателю С. Дороватовскому: «Семага у вас? А я его искал. Да, его можно сунуть в книжку, кажется» (Архив А. М. Горького). Но рассказ в книжку включен не был.

В собрания сочинений рассказ также не включался.

Печатается по сохранившейся вырезке из «Самарской газеты» с исправлениями, сделанными рукою М. Горького (Архив А. М. Горького).

БАБУШКА АКУЛИНА

Набросок

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 261, 3 декабря; № 266, 10 декабря.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

ИЗВОЗЧИК

Святочный рассказ

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 277, 25 декабря.

В тексте рассказа купчиха Заметова в первом случае названа автором Капитолиной Петровной, а во втором Сосипатрой Андреевной.

На странице 164 взято в прямые скобки слово «нет», введенное в текст редакцией.

Рассказ «Извозчик» в собрания сочинений не включался.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

ХАН И ЕГО СЫН

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 148, 31 мая, под заглавием «Хан и его сын (Крымская легенда)».

Рассказ написан в 1895 году. Дата написания «1896», под которой рассказ печатался в собраниях сочинений, изданных товариществом «Знание», исправлена М. Горьким на «1895» при подготовке издания своих сочинений в 1923 году.

Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ТОВАРИЩИ

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1897, № 5, 6 января; № 7, 8 января, под заглавием «Старые товарищи (Эпизод)».

Рассказ написан в 1895 году. Дата написания «1897», под которой рассказ печатался в собраниях сочинений, изданных товариществом «Знание», исправлена М. Горьким на «1895» при подготовке издания сочинений в 1923 году.

Включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ЧИТАТЕЛЬ

Впервые напечатано в ноябре 1898 года с подзаголовком «Беседа».

Без подзаголовка рассказ включался автором во все собрания сочинений.

В письме к И. Е. Репину от 23 ноября 1899 года М. Горький сообщал: «Читателя» я написал года четыре тому назад» (Архив А. М. Горького).

Подготавливая в 1898 году рассказ для печати, М. Горький, повидимому, значительно переработал первоначальный текст, что видно из переписки его с Ф. Д. Батюшковым.

В рукописи рассказа, посланного первому его издателю, заглавие еще не было определено. В письме к Батюшкову от 27 сентября 1898 года Горький назвал его «Воздаяние», а в письме от 9 октября того же года предлагал назвать: «Первый рассказ», «Читатель», «Некто». «Последнее, — писал Горький, — быть может, самое лучшее... Назовите вы, пожалуйста...» (См. переписку М. Горького с Ф. Батюшковым в книге «М. Горький. Материалы и исследования», т. II, 1936.) В гранках первого набора рассказ был озаглавлен: «Разговор с читателем (фантазия)». Горький зачеркнул этот заголовок и надписал «Читатель». В первой публикации, однако, добавлен подзаголовок «Беседа».

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким в 1923 году для собрания сочинений в издании «Книга».

СТАРЫЙ ГОД

Сказка

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 1, 1 января, в разделе «Маленький фельетон».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 7, 10 января.
В собрания сочинений не включалось.
Печатается по тексту «Самарской газеты».

ПОЧТАЛЬОН

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 35, 14 февраля.
В собрания сочинений не включалось.
Печатается по тексту «Самарской газеты».

ЧАСЫ ОТДЫХА УЧИТЕЛЯ КОРЖИКА

Очерк

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 62, 17 марта.
В собрания сочинений не включалось.
Печатается по тексту «Самарской газеты».

КОЛОКОЛ

Набросок

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 67, 24 марта.
В собрания сочинений не включалось.
Печатается по тексту «Самарской газеты».

СВАДЬБА

Очерк

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 76, 7 апреля.
В собрания сочинений не включалось.
Печатается по тексту «Самарской газеты».

ГРИВЕННИК

Эпизод из жизни одного романтика

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 89, 23 апреля.
В собрания сочинений не включалось.
Печатается по тексту «Самарской газеты».

ТРОНУЛО

С натуры

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 136, 19 мая.
В собрания сочинений не включалось.
Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

ТОСКА

Впервые напечатано в журнале «Новое слово», 1896, №№ 9 и 10, июнь — июль, под заглавием «Тоска (Страничка из жизни одного мельника)».

Включалось автором в «Очерки и рассказы», 1898, и во все собрания сочинений.

На странице 282 взято в прямые скобки слово «ли», введенное в текст редакцией.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

АРТИСТ

С натуры

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 153, 5 июня, в разделе «Фельетон». Подпись: Некто Х.

Принадлежность М. Горькому этого псевдонима подтверждена им самим в письме к Е. П. Пешковой от 1 июня 1896 года (Архив А. М. Горького).

Очерк «Артист» в собрания сочинений не включался.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

ВОР

С натуры

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 163, 15 июня, в разделе «Маленький фельетон». Подпись: Некто Х.

В собрания сочинений очерк не включался.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

ТРУБОЧИСТ

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 184, 16 июня, в разделе «Фельетон», с подзаголовком «Роман».

В 1898 году М. Горький предполагал включить рассказ в третий том «Очерков и рассказов». «...При сем, — писал он Дороватовскому, — посылаю Вам транспорт: Варенька Олесова, Самоубиение, Месть, Трубочист, Однажды осенью» (Архив А. М. Горького).

В Архиве А. М. Горького сохранился вырезанный из газеты текст рассказа, наклеенный на бумагу и стилистически выправленный автором: снят подзаголовок и изменен конец. Рассказ, однако,

в «Очерках и рассказах» напечатан не был и никогда М. Горьким не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок» с исправлениями М. Горького (Архив А. М. Горького).

ОТКРЫТИЕ

Этюд

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 173, 25 июня; № 181, 3 июля, в разделе «Фельетон».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

ОТОМСТИЛ...

Набросок

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 185, 7 июля, в разделе «Фельетон».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

ДИПЛОМАТИЯ

Картинка с натуры

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 206, 28 июля, в разделе «Фельетон».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

СОН

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 220, 11 августа, в разделе «Фельетон», под заглавием «Сны. 1. Катастрофа».

В начале 900-х годов М. Горький заново отредактировал текст рассказа для предполагавшегося его издания на немецком языке. Редактируя рассказ, автор изменил заглавие «Сны. 1. Катастрофа» на «Сон» и внес в текст ряд поправок и изменений.

В собрания сочинений рассказ «Сон» не включался.

Печатается по хранящейся в Архиве А. М. Горького газетной вырезке первопечатного текста с исправлениями, сделанными автором в начале 900-х годов.

ЗА БОРТОМ

Элегия

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 249, 9 сентября, в разделе «Фельетон»

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

ИДИЛЛИЯ

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 258, 18 сентября, под заглавием «Ради «них» и с подзаголовком «Идиллия». Рассказ помещен в разделе «Фельетон».

В 1905 году автор отредактировал текст рассказа и напечатал его под заглавием «Идиллия» в изданном товариществом «Знание» «Нижегородском сборнике», СПб. 1905; издание 2-е, 1905; издание 3-е, 1906.

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту первого издания «Нижегородского сборника».

КАК МЕНЯ ОТБРИЛИ...

Quasi una fantasia

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 262, 22 сентября, в разделе «Фельетон».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

КРАСОТА

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 269, 29 сентября, в разделе «Фельетон», с подзаголовком «Рассказ одного романтика».

В конце 90-х — начале 900-х годов, редактируя рассказ для переиздания, автор вычеркнул подзаголовок и внес в текст несколько изменений и поправок. Однако рассказ переиздан не был и в собрания сочинений М. Горьким не включался.

На стр. 385 взято в прямые скобки слово «ее», введенное в текст редакцией.

Печатается по хранящейся в Архиве А. М. Горького газетной вырезке первопечатного текста с авторскими поправками и изменениями, сделанными в конце 90-х — начале 900-х годов.

ПОЭТ
Набросок

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 286, 16 октября, в разделе «Фельетон».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

«ВОДА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 290, 20 октября, в разделе «Фельетон», с подзаголовком «Исповедь преступника». В 1905 году М. Горький перепечатал рассказ в «Нижегородском сборнике», сопроводив его следующим примечанием: «Этот и следующие два рассказа («Идиллия» и «Часы». — *Ред.*) были напечатаны в провинциальных газетах несколько лет тому назад».

В новом издании рассказ значительно переработан, снят подзаголовок.

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту первого издания «Нижегородского сборника».

РОМАН

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 297, 27 октября, в разделе «Фельетон».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

НЕМОЙ
Башкирская легенда

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 316, 15 ноября, в разделе «Фельетон».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

ВСТРЕЧА
Набросок

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 321, 20 ноября, в разделе «Фельетон».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

ЧАСЫ

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 323, 22 ноября, с подзаголовком «Элегия». Переиздано автором в «Нижегородском сборнике».

Для нового издания М. Горький стилистически переработал рассказ, снял подзаголовок и написал новую заключительную главу.

В собрания сочинений элегия не включалась.

Печатается по тексту первого издания «Нижегородского сборника».

ШАБРЫ *Рассказ*

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 332, 1 декабря; № 334, 3 декабря; № 337, 6 декабря, в разделе «Фельетон». В декабре 1897 года М. Горький предполагал поместить рассказ в «Журнале для всех». Редактору журнала В. С. Мирянову он писал: «И еще я вам, Виктор Сергеевич, показал бы рассказик «Шабры»... и рассказ «Ефимушка» (имеется в виду рассказ «Товарищи». — *Ред.*). Я скоро перееду жить в Нижний и оттуда вышлю вам эти штуки. Их очень хвалили извозчики, а также и интеллигенция» («М. Горький. Материалы и исследования», т. III, М.—Л. 1941, стр. 21).

В архиве писателя сохранился вырезанный из газеты текст рассказа со следами начатой правки. Но рассказ до конца выправлен не был и никогда автором не переиздавался.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

СВОБОДНЫЕ ДНИ *Этюд*

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 346, 15 декабря; № 348, 17 декабря и № 352, 21 декабря, в разделе «Фельетон».

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

НАВОЖДЕНИЕ *Святочный рассказ*

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 359, 25 декабря, в разделе «Фельетон».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

БАЛЛАДА О ГРАФИНЕ ЭЛЛЕН ДЕ КУРСИ,

украшенная различными сентенциями, среди которых есть весьма забавные

Впервые напечатано в журнале «Летопись», 1917, № 7—8, июль — август. Включалось автором в сборник «Ералаш и другие рассказы» и во все последующие собрания сочинений.

На специальный запрос о времени написания М. Горьким баллады Е. П. Пешкова ответила: «Я очень хорошо помню, что «Баллада о графине Эллен де Курси» написана Алексеем Максимовичем в 1896 году. В 1896 году он нам ее читал... в конце 1896 года, до отъезда нашего в Крым» (Архив А. М. Горького).

Сам М. Горький в письме к Г. А. Вяткину 12 января 1935 года отнес балладу к числу стихотворений, вошедших в первый том своих рассказов, т. е. связывал ее с ранним периодом своего творчества.

В годы первой мировой войны М. Горький, повидимому, вернулся к балладе, заново отредактировал ее и переписал набело, снабдив следующим подзаголовком: «Приписывается Гюгу де Брюн, труверу доброго короля Рене, властителя Прованса».

В настоящем издании баллада печатается с рукописи, хранящейся в Архиве А. М. Горького.

ВАРЕНЬКА ОЛЕСОВА

Впервые напечатано в журнале «Северный вестник», 1898, № 3, март; № 4, апрель; № 5, май, с подзаголовком «Рассказ» и с эпиграфом: «Купидон, к вящему земнородных мучению, устрояет так, что не всегда любят ту особу, коею бывают любимы, а равно и наоборот. Фенелон. Странствования Телемака, сына Улисса, в переводе Тредьяковского».

В изданиях товарищества «Знание» повесть датирована 1897 годом. Этот же год М. Горький обозначает в письме к Д. Д. Протопопову (март 1900 года), сообщая хронологический порядок, в котором были написаны рассказы 1—3 томов. Подготавливая рассказ для собрания сочинений в издании «Книга», М. Горький в оригинале набора переправил «1897» на «1896».

Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. А. М. Горький. Нижний-Новгород, 1896 г. С фотографии.

2. А. М. Горький. Самара, 1895—1896 гг. С фотографии.

СОДЕРЖАНИЕ

«Вывод»	5
Прощай!	8
Несколько испорченных минут	10
Дележ	17
На плотях. <i>Пасхальный рассказ</i>	22
В Черноморье	35
Открытие. <i>Из мемуаров современника</i>	38
Несколько дней в роли редактора провинциальной газеты. <i>Прекрасная тема для остроумных людей. (Перевод с американского)</i>	46
Дело с застешками	72
Ма-аленькая!	84
Колюша. <i>Набросок</i>	89
Грустная история	93
Женщина с голубыми глазами	104
«Гость». <i>Волжская картинка</i>	117
Одинокий	121
Неприятность. <i>Эскиз</i>	127
Как поймали Семагу	134

Бабушка Акулина. <i>Набросок</i>	142
Извозчик. <i>Святочный рассказ</i>	153
Хан и его сын	171
Товарищи	178
Читатель	192
Старый год. <i>Сказка</i>	207
Первый дебют	211
Почтальон	214
Часы отдыха учителя Коржика. <i>Очерк</i>	219
Колокол. <i>Набросок</i>	223
Свадьба. <i>Очерк</i>	239
Гривенник. <i>Эпизод из жизни одного романтика</i>	247
Тронуло. <i>С натуры</i>	251
Тоска	258
Артист. <i>С натуры</i>	301
Вор. <i>С натуры</i>	303
Трубочист	308
Открытие. <i>Этюд</i>	316
Отомстит... <i>Набросок</i>	337
Дипломатия. <i>Картинка с натуры</i>	344
Сон	351
За бортом. <i>Элегия</i>	359
Идиллия	355
Как меня отбрили... <i>Quasi una fantasia</i>	373
Красота	381
Поэт. <i>Набросок</i>	388
«Вода и ее значение в природе и жизни человека»	397
Роман	405
Немой. <i>Башкирская легенда</i>	415
Встреча. <i>Набросок</i>	418
Часы	426
Шабы. <i>Рассказ</i>	431
Свободные дни. <i>Этюд</i>	445
Навождение. <i>Святочный рассказ</i>	461

Баллада о графине Эллиен де Курси, украшенная различными сентенциями, среди которых есть весьма забавные	471
Варенька Олесова	476
Примечания	569
Иллюстрации	583

Подписано к печати 30/XI 1949 г.

А-10636.

36³/₄ печ. листа + 2 вклейки.

28,1 уч.-авт. листа.

Формат бумаги 82×103¹/₃₂.

Тираж 300 000.

Цена 12 руб.

2-я типография «Печатный Двор»
им. А. М. Горького Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР.
Ленинград, Гатчинская, 26.

О П Е Ч А Т К И

Страница	Строка	Напечатано	Следует
78	4 св.	несчастье	нечестие
264	13 св.	понимая	понимат
474	7 св.	что	чего

Собрание сочинений А. М. Горького, том II